

Джон
Ролстон
СОЛ



УБЛЮДКИ
ВОЛЬТЕРА

ДИКТАТУРА РАЗУМА
НА ЗАПАДЕ

Джон РОЛСТОН СОЛ

УБЛЮДКИ ВОЛЬТЕРА

Диктатура разума на Западе

Перевод с английского А.Н. Сайдашева

АСТ • Астрель
Москва

УДК 008(4)
ББК 71.05(4)
С60

Сол, Джон Ролстон

С60 Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе / Джон Ролстон Сол; пер. с англ. А.Н. Сайдашева — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 895, [1] с.

ISBN 5-17-041029-8 (АСТ)(Philosophy)

ISBN 5-271-15689-3 (Астрель)(Philosophy)

ISBN 5-17-0141030-1 (АСТ) (История (У))

ISBN 5-271-15688-5 (Астрель) (История (У))

ISBN 0-14-015373-X (канадск.)

Знаменитый канадский ученый и писатель Джон Ролстон Сол, кавалер ордена Канады I степени, ордена Искусств и Литературы Франции, обладатель премии генерал-губернатора в области научной литературы, дает захватывающий анализ кризиса, поразившего западную цивилизацию в последние десятилетия XX века. Книга, ставшая откровением для наших современников за рубежом, теперь пришла и к русскоязычному читателю.

УДК 008(4)
ББК 71.05(4)

Настоящее издание представляет собой перевод оригинального издания
Saul John Rolston. Voltaire's Bastards

Впервые опубликовано Viking by Penguin Books Canada Ltd, 1992
Все права защищены

ISBN 978-985-16-0247-2 (ООО «Харвест»)(Philosophy)
ISBN 978-985-16-0248-9 (ООО «Харвест»)(История(У))

© John Rolston Saul, 1992
© Издательство «Астрель», перевод на русский язык, 2006

**Посвящается
Морису Стронгу,
который учил меня поиску гармонии
между идеями и действием.**

**Ecartons ces romans qu'on appelle systèmes;
Et pour nous élever descendons dans nous-mêmes.**

VOLTAIRE

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. АРГУМЕНТАЦИЯ

Глава первая.	Автор излагает свою позицию	9
Глава вторая.	Теология власти	16
Глава третья.	Возвышение разума	56
Глава четвертая.	Рациональный придворный	112
Глава пятая.	Дети Вольтера	157
Глава шестая.	Расцвет гонки вооружений	205

Часть II. СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ

Глава седьмая.	Вопрос убийства	253
Глава восьмая.	Как организовать смерть	269
Глава девятая.	Непрерывность преемственности в сердце власти	293
Глава десятая.	На службе у великой личности	335
Глава одиннадцатая.	Три короткие экскурсии в неразумное	384
Глава двенадцатая.	Искусство секретности	405
Глава тринадцатая.	Рыцари секретности	435
Глава четырнадцатая.	О государях и Героях	461
Глава пятнадцатая.	Герой и политика бессмертия	504
Глава шестнадцатая.	Захват капитализма в заложники	520
Глава семнадцатая.	Умножение хлебов	573

**Часть III.
ВЫЖИВАНИЕ НА ЗЕМЛЕ ФАНТАЗИИ.**

Человек в мире разума

Глава восемнадцатая.	Образы бессмертия, или Победа идолопоклонства	616
Глава девятнадцатая.	Жизнь в клетке: специализация и личность	675
Глава двадцатая.	Звезды	722
Глава двадцать первая.	Свидетель верный	776
Глава двадцать вторая.	Добродетель сомнения	837
Примечания		851

Часть I

АРГУМЕНТАЦИЯ

Разум — это тонкая система, переходящая в идеологию.

Со временем и при наличии силы, он становится догмой без ориентиров. Он постоянно скрывается под маской объективного исследования.

Как и большинство религий, разум пытается решить проблемы, которые он сам создал.

Глава первая

АВТОР ИЗЛАГАЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

В сознании человека, охваченного страстью, царит образ любимой, которая находится рядом. В это время мы не склонны анализировать свои — настоящие или воображаемые — порывы. Когда мы лежим в объятиях, мы, как правило, не думаем о возможных последствиях нашей близости. Только большие оригиналы могут размышлять при этом о том, будет ли дитя любви желанным.

Было бы недальновидным критиковать Вольтера и других мыслителей XVIII века за ту страсть, с которой они боготворили разум. Но они жили в обществе, подчинявшемся унизительным требованиям дворцового этикета. Философ мог оказаться за решеткой и даже поплатиться жизнью за высказывание своих взглядов. В судебной системе большинства стран мира в те времена при допросах еще были разрешены

пытки, а в качестве наказания осужденных подвергали жесточайшим экзекуциям, например колесованию. Эти и другие инструменты грубой силы являлись проявлением мракобесия. Европейские, в том числе английские, а также американские философы бросились в объятия разума с убеждением, что в результате этой страсти родится новая интеллектуальная элита, способная создать новую цивилизацию. Эта любовная связь была удивительно плодотворной. В дальнейшем общество было реформировано в лучшую сторону, о чем эти мыслители и не помышляли.

Но вскоре демонстрация силы без сдерживающего воздействия со стороны этических структур превратилась в религию новых элит. Их реформы подразумевали беспримерное и постоянное узаконивание государственного насилия. Это сопровождалось усилением борьбы между демократичными и рациональными методами, в которой перевес оказался на стороне последних.

Если бы Вольтер перенесся в наши дни, новые структуры, до неузнаваемости искажившие идеалы, за которые он боролся, вызвали бы его гнев. Что же касается его потомков в лице наших правящих элит, он бы опроверг саму законность их прав и вступил с ними в борьбу с той же яростью, с какой он боролся в Европе против правителей и священников в XVIII веке.

Сейчас трудно определить силу воздействия Вольтера на современное ему общество. Он был самой знаменитой личностью XVIII века. Хотя он не был ни философом, ни создателем цельной философской школы, именно ему было суждено определить направление развития почти всего XIX столетия. Его жизнь была полна противоречий. К сожалению, он не был лишен общественных и финансовых амбиций. Будучи выходцем из среднего класса, он потратил значительную часть своей жизни на достижение признания среди аристократии и на попытки приблизиться ко двору. Сын провинциального предпринимателя, он сколотил состояние на мануфактурном производстве и финансовых спекуляциях. Но его деятельность всегда была сопряжена с грязными скандалами и судебными преследованиями. С другой сторо-

ны, он безгранично верил в социальные реформы. Он, единственный из писателей Европы XVIII столетия, знал, как донести эту идею до сознания масс.

На формирование его характера положительно повлияли два драматических события. В 1726 году, в возрасте 32 лет, он во второй раз был заключен в Бастилию. Власти предложили ему свободу в обмен на обещание покинуть страну. Он уехал в Англию и два с половиной года провел в стране, «где люди думают свободно и благородно». И действительно, он вернулся во Францию с завышенным представлением о добродетелях Англии, которые он считал образцом для подражания в осуществлении преобразований у себя на родине.

Три месяца, проведенные с Джонатаном Свифтом в доме лорда Петерборо, оказали огромное влияние на Вольтера. Памфлеты и повести, написанные им впоследствии, были полны иронии и насмешек. Свифт довел этот стиль до совершенства, а Вольтер превратил его в мощное пропагандистское оружие. Он говорил, что «все жанры хороши, за исключением скучного». Его «Философские письма», написанные в 1733 году, стали одним из первых мощных ударов по властям. Его книга «Век Людовика XIV» представляет собой основу современного исторического метода. Он проделал большую исследовательскую работу и написал труд не о короле, а об обществе.

Крушение надежды на карьеру придворного сначала в Версале, а затем при дворе Фридриха Великого стало для него второй личной катастрофой. К тому времени он уже самый популярный драматург Европы, и его имя у всех на устах. Но Вольтер неожиданно покидает прусский королевский двор, и его больше нигде не приглашают. Он селится в Ферне, поместье, находящемся во Франции, но у самой границы со Швейцарией, что немаловажно с точки зрения безопасности. Там, вдали от столиц и королевских дворов, он посвящает все свои силы литературному творчеству.

Потерпев неудачу в попытке напрямую воздействовать на монархов и властителей, Вольтер обратился к гражданскому обществу и стал ведущим защитником прав человека и са-

мым изобретательным поборником конкретных реформ. «Нашей главной страстью должно стать общественное благо» — вот квинтэссенция двух последних десятилетий его жизни. Он наводнил Европу политическими памфлетами, романами, поэмами, письмами.

Профессиональные философы время от времени критиковали работы Вольтера за отсутствие в них великих и цельных идей. Но великие и цельные идеи не всегда изменяют общество. Вольтер сконцентрировал свое внимание на шести основных свободах — личности (от рабства), слова и прессы, совести, гражданских свободах, неприкосновенности частной собственности и праве на труд. Обращаясь к третьему сословию, а не к правителям и другим мыслителям, он стал создателем современного общественного мнения. Удачно составив новый, «приемлемый» словарь для всех «цивилизованных» людей, он вынудил даже власть имущих бороться по его правилам. Он был партизанской армией, состоящей из одного человека, заявив: «Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне более метких стрелков»¹.

В 1778-м, последнем году своей жизни, Вольтер с триумфом вернулся в Париж. В последние месяцы жизни он в центре внимания всех слоев общества: с ним обращаются как со знаменитостью, ищут его расположения. Создавалось впечатление, что возвращение старика в крупнейший город Европы стало поводом продемонстрировать, что все классы привержены идее управления обществом новой философской коалицией разума и гуманизма. Деспотическая власть церкви и государства стала вдруг выглядеть хрупкой, существующей лишь до первого серьезного кризиса. Сам же Вольтер купался в лучах славы. Лесть и обожание постепенно изнурили его, и он скончался.

Когда же кризис разразился, то он мгновенно охватил всю Европу. К 1800 году стали очевидны как плюсы, так и минусы новых методов. Углубляясь в историю того времени, мы вольно или невольно вычленим отдельные политические коллизии, однако при ретроспективном взгляде выясняется, что главный посыл Вольтера и его друзей в Евро-

ле, Англии и Америке был ошибочным. Гуманизм показал свою неспособность уравновесить разум. Фактически они были врагами.

Если цивилизация не способна отличать иллюзию от действительности, то она близка к гибели. В нашем реальном мире господствуют те самые элиты, которые большую часть двух, если не четырех, последних веков затратили на организацию общества вокруг ответов на вопросы и вокруг структур, созданных для производства ответов. Эти структуры кормились оценками, а оценки выставлялись по степени сложности вопросов. Следствием стало едва ли не всеобщее непонимание. «О чем нельзя говорить, — писал Людвиг Витгенштейн, — о том должно умолкнуть»². Самое действенное оружие писателя против подобного умолчания — простота и здравый смысл. Никогда еще хранители слова не были настолько отстранены от реальной власти, и именно поэтому люди, поднатворевшие в жонглировании словами, обладают такими властными полномочиями. Как следствие, западная культура становится все менее и менее критичной в отношении своего общества.

Наша цивилизация удивительна тем, что в действительности она вовсе не такая, какой кажется. Никогда в истории не было так много элит, обремененных весьма большим объемом знаний. Эта радужная картинка доминирует в нашей жизни. Естественно, самыми важными и замечательными качествами элиты считают именно те, на которых они сами сконцентрировали внимание.

Обладание знаниями, их использование и проверка стали главной заботой, оценкой мастерства и лейтмотивом деятельности элит. Однако сила этих элит зависит не от эффективности использования этих знаний, а от эффективности контроля их использования. Таким образом, среди иллюзий, в которых пребывает наша цивилизация, присутствует и абсолютная вера в то, что решение наших проблем заключается в более точном применении рационально организованной экспертизы. В действительности же наши проблемы являются чаще всего следствием ее применения. Утверждение, будто мы создали самое усовершенствованное общество в исто-

рии человечества, — всего лишь иллюзия. А реальность такова, что разделение знаний на феодальные вотчины сделало всеобщее понимание и скоординированное действие не только невозможными, но и сомнительными и вызывающими презрение.

Если принять во внимание роль и силу денег, армий, судебных чиновников или то, с какой простотой затыкают рот писателям с помощью цензуры, насилия или тюремного заключения, покажется, что мир похож на хрупкий цветок. Но более внимательное рассмотрение действительности позволит увидеть силу слова. Больше всего на свете власть боится критики. Ни демократы, ни диктаторы не способны признать тот факт, что критика является наилучшим средством от совершения ошибок и самым действенным инструментом любого общества. Слабость власти, основанной на рационализме, хорошо видна в том, что она даже в большей степени, нежели средневековые властители, воспринимает критику как деструктивную силу. Из замков современной власти изгнаны даже шуты. Чего же так боятся современные элиты?

Язык, а не деньги или власть, обеспечивает легитимность. До тех пор пока военные, политические, финансовые или религиозные институты не установят контроль над языком, воображение масс будет оставаться в плену своих собственных представлений. Неконтролируемые слова для властей куда опаснее, чем вооруженные силы. Даже карательная цензура становится эффективной лишь на непродолжительное время и на ограниченных территориях.

Наблюдать, как сокрушаются интеллектуальные, политические, социальные и эмоциональные стены тюрьмы, в которую был заключен язык, как он оказывается на свободе, а затем его снова хватают и сажают под замок, — зрелище весьма печальное и не оригинальное. В истории человечества этот процесс повторялся бесконечно. Мастера слова, призванные обслуживать наше воображение, всецело преданы средствам массовой информации. Их метод — ясность. Универсальность — их цель. А мастера слова, находящиеся на службе у власти, всецело преданы обскурантизму. Они кастрируют во-

ображение общества, намеренно усложняя мысль и делая ее недоступной для понимания. Они всегда стремятся к элитарности. Несомненной отличительной чертой общества, находящегося под контролем или клонящегося к упадку, является то, что его язык перестает быть средством общения и становится щитом для тех, кто им владеет.

Если разум есть идея, а рациональное общество — абстракция, то вся эпоха вращалась и продолжает вращаться вокруг языка. Подобно тому как в семнадцатом и восемнадцатом веках освобождение от мифических представлений проложило путь к бесконечным изменениям в государственных и общественных структурах, так и последующее раздробление языка и закрепление его за феодальными вотчинами не позволило гражданам принимать серьезное участие в жизни общества. Привлекательная гуманистическая ирония начального этапа в наши дни уступила место рациональному, вызывающему отвращение цинизму и скандированию лозунгов. И поскольку в первоначальных изменениях уже таилась некая роковая ошибка, так как сама суть разума получила ошибочное толкование, чреватое последствиями, этот изъян должен был уцелеть и до наших дней, скрываясь в запутанных и закрытых структурах нашего общества.

Идея всеобщего понимания все еще жива в нашей памяти. Стефан Малларме, которому вторил Т.С. Элиот, сказал, что мы должны «очистить диалект племени». Этот труд можно воспринимать в качестве ритуала очищения и освобождения от усложненных, запутанных структур в поисках исторической основы современной действительности. Эта работа не является попыткой пересмотра идей, но всего лишь попыткой выяснить, насколько они опираются на здравый смысл.

Здесь, на нескольких страницах, мы бегло и беспорядочно пронеслись сквозь четыре века. Философские символы, сопоставимые с дорожными знаками на улице с односторонним движением, в данном случае просто игнорировались. Главные сферы современного человеческого знания здесь перемешаны так, словно они составляют единое целое и не яв-

ляются автономными территориями, управляемыми независимыми властями. А провозглашаемый суверенитет наций умалется ввиду схожести наших современных элит, наших структур и форм, которые приняла власть вследствие безумной любви к идеалам Века Разума.

Глава вторая

ТЕОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Около двадцати лет тому назад демократический, индустриальный, развитый мир начал бессмысленную, ошибочную, но ожесточенную внутреннюю борьбу, которую назвали борьбой между левыми и правыми. На самом деле это была предсмертная агония Века Разума. Лозунги, использовавшиеся обеими сторонами в этой мнимой борьбе, были на удивление схожими. Такие понятия, как «реформа», «социалист», «социал-демократ» и «вмешательство государства», противопоставлялись понятиям «капиталист», «консерватизм», «индивидуализм» и «общепризнанные ценности».

Как представляется, эту борьбу породили два последовавших один за другим кризиса. Поражение США во вьетнамской войне разрушило спектр ожиданий, основанных на непогрешимости США, что было присуще всем демократиям. Подобные воззрения утвердились в мире начиная с 1945 года. Большинство западных демократических стран не поддерживало войну Соединенных Штатов во Вьетнаме, но в остальном эти страны продолжали следовать в фарватере американской внешней политики. Поражение США — не говоря уже о настроениях в самих Штатах — повергло их в замешательство. Почти одновременно разразился второй кризис, принявший форму мирового экономического спада. Эта депрессия продолжается уже девятнадцать лет.

Однако мы уже привыкли к заявлениям наших политических и деловых лидеров, заостряющих внимание лишь на малозначимых проявлениях этого кризиса, и то всегда в одоб-

рительной форме, которая дает основание называть его временным спадом. Это выливалось или в обсуждение проблемы задолженности стран Третьего мира, или в локальную борьбу с инфляцией, или в концентрацию внимания на той части экономики, которую они искусственно стимулировали до точки взрыва, в то время как остальная экономика находилась в глубоком упадке — так что мы никогда не знали наверняка, продолжается ли эта депрессия или уже заканчивается. Казалось, что мы отправляемся ко сну со смутным ожиданием, что утром все волшебным образом прояснится. Ночью происходил новый взрыв, и, проснувшись, мы обнаруживали, что на смену прежней проблеме приходила другая, столь же ограниченная.

Депрессия, аналогичная депрессии 1930 года (если не более глубокая), все еще преследует нас. И никто из наших руководителей не имеет ни малейшего представления, как с ней покончить. Почему это происходит? Суть рационального руководства заключается в контроле, основанном на компетентности. Признать поражение — значит признать потерю контроля. Официально у нас не было депрессии с 1930 года. А так как большинство экспертов, например экономических, являются частью системы, то вместо того, чтобы давать реальные независимые оценки, они способствуют отрицанию действительности. Другими словами, у нашей цивилизации имеется постоянная потребность иллюзию предпочитать действительности, потребность отрицания собственных ощущений.

Действительно, за последние двадцать лет мы не видели ничего, что по своим проявлениям напоминало бы типичную депрессию. Причина этого проста. После экономического кризиса 1930-х годов мы создали множество предохранительных механизмов и систем защиты, чтобы избежать всеобщего коллапса, как, например: строгое регулирование банковской сферы, программы социальной защиты, а в некоторых странах и национальные системы здравоохранения. В течение последних двадцати лет применение этих механизмов и систем оказалось успешным, несмотря на отдельные сбои и управленческие ошибки. Однако в результате того,

что рациональная система не допускает, чтобы лица, принимающие решения, для получения цельной картины могли абстрагироваться от частностей, многие наши правительства утратили ориентиры и начали движение в неверном направлении. Так, исходя из того, что такой способ разрешения кризиса теоретически возможен, начался демонтаж этих систем и механизмов.

Хуже того, отладка этих инструментов подменила решение самой проблемы. Таким образом, прекращение регулирования банковской сферы использовалось для симуляции роста через спекуляции ценными бумагами. Когда это приводило к инфляции, применялся контроль в отношении секторов реальной экономики, что порождало безработицу. Когда проблема с занятостью усугублялась до такой степени, что необходимо было принимать меры по ее устранению, понижались требования в отношении найма рабочей силы. Если такая нестабильность на рынке труда вела к новой инфляции, возрастали процентные ставки. И так все шло по кругу, во главе с профессиональными экономистами, которые последовательно и во всех случаях использовали аргументацию, не имеющую отношения к историческим реалиям. Например, в последнее десятилетие идея использования государственного долга в качестве инструмента экономического роста получила сугубо отрицательную оценку. В то же время отношение к задолженности корпораций изменилось от негативного к положительному. Это стало возможным лишь потому, что экономисты близоруко рассматривали каждый конкретный аргумент, и это не позволило им провести серьезные сравнения и учесть реальные уроки предыдущего периода.

В общем, все это свидетельствует, что методы менеджмента принимают за решения и проблема, как в некой изозированной игре, при помощи длинной палки разума перемещается по полю из одной точки в другую. Как следствие, мы постоянно находимся на пороге спада (и только лишь рядом, а не в падении, вне зависимости от текущих значений индексов) либо искусственно расцветаем и умудряемся убедить самих себя в быстром росте.

Соответствующая политическая аргументация сопровождала этот процесс в течение нескольких лет, пока не стало ясно, что она не отражает реалии дня. Например, в 1970–1980-х годах считалось, что в США, Англии и Германии проводится экономическая политика, характерная для левых сил, и она способствовала поражению существующих правительств и приходу к власти новых правительств, которые считались правыми. В то же самое время аналогичная экономическая политика во Франции, Испании, Австралии и Италии, которую считали правой, привела к замене правительств этих стран на те, которые причисляли себя к левым.

Всеобщая путаница подобного рода затуманила историческую память общества. Например, американские правые находились у власти двадцать из последних двадцати пяти лет. Ключевые лозунги правых в США — это закон и порядок. Их главный аргумент заключается в том, что американские левые — *либералы* (вне зависимости от того смысла, который вкладывается в это слово), не способные поддерживать закон и порядок. Но, несмотря на это, количество вооруженных ограблений, насильственных преступлений и убийств ежегодно возрастало и достигло рекордного уровня как для самих США, так и для других западных стран. Однако и по сей день они, равно как и их оппоненты с левого фланга, продолжают считать себя глашатаями закона и порядка.

Подобные явные противоречия мы видим повсюду. Так, мы бесконечно говорим о личности и об индивидуализме, но, если оставаться объективными и смотреть на вещи непредвзято, мы обнаружим, что живем в эпоху величайшего конформизма. Наше общество основано на демократических принципах, но абсолютное большинство граждан отказывается принимать участие в демократических процедурах, более того, допускает к кормилу политической власти тех, к кому испытывает презрение. Наши промышленные и финансовые лидеры обирают нас во имя капитализма, являясь всего лишь наемными работниками корпораций, избавленными от личных рисков. Основной объем международной торговли, представляющей собой арену непрерывной

борьбы, приходится на торговлю оружием — противоестественным потребительским товаром. Мы осуждаем торговцев оружием и считаем их аморальными и грязными дельцами, игнорируя тот факт, что наши высшие государственные чиновники совместно с руководителями крупнейших корпораций контролируют 90% рынка вооружений. Мы могли бы использовать огромные потоки информации, но все организации, как частные, так и общественные, в своей деятельности основываются на принципе, что информация является секретной, если особо не оговорено, что она таковой не является. Существует убеждение, что правительства никогда не были так сильны, как сейчас, однако в то же время создается представление, что они виртуально бессильны проводить какие-либо преобразования до тех пор, пока не проявят нечеловеческие усилия. Или, возвращаясь к первому примеру из сферы экономики, после столетних усилий по стабилизации рынка рабочей силы и воспитания у работников самоуважения, при первых признаках депрессии мы стремимся перевести их из обрабатывающей промышленности в сферу обслуживания. Мы убеждаем себя, что за сферой обслуживания — будущее: компьютерные программы, консалтинговые услуги — но создаем новые рабочие места на низшем уровне сферы обслуживания: разнообразных приемщиков, работников торговых залов, часто с неполной занятостью, без социальной защиты, без долгосрочной перспективы. Иначе говоря, значительная часть рабочих мест, созданных в 1980-е годы, представляет собой свидетельство поражения наших теоретически обоснованных и стабильных обществ.

Мы склонны осуждать западную шизофрению в отношении национальных интересов или идеологических конфликтов. Большинство наших проблем левые политики относят на счет неконтролируемого личного интереса, как будто они имеют представление о том, как можно во имя всеобщего блага преодолеть личный интерес. Правые политики мужественножимают плечами, как бы намекая на то, что действительность сурова. Но скорее всего, мужественным цинизмом прикрывается неспособность найти выход из положе-

ния. И ни одно из этих противоречий не имеет ничего общего с действительностью.

Существует ли на свете хоть что-нибудь, на что мы смотрели бы реально? Мы взираем на все, не осознавая разницы между мифом и действительностью. И только когда возникает впечатление, что, например на международной арене, одно из этих противоречий, со всем его мифологическим багажом, разрешено, нас охватывает всеобщая эйфория, которая постепенно убывает, но проявления шизофрении при этом неизменно сохраняются. Эта постоянная подмена ответственности привела нас к утрате единства Запада и вместо этого заставила отчаянно колебаться между оптимистическими и пессимистическими представлениями о национализме и интернационализме.

Верно, что на первый взгляд единый Запад выглядит не чем иным, как химерой. Что объединяет семнадцать различных стран, расположенных на трех континентах и разделенных языками, мифологией и постоянным соперничеством? Даже с точки зрения географии затруднительно определить ту территорию, которая может называться Западом.

При более внимательном анализе связь между Европой, Северной Америкой и Австралией и Новой Зеландией можно увидеть в фундаментальном совместном опыте и убеждениях. Пронесся отпечаток иудео-христианства через Реформацию, Ренессанс, промышленный переворот, демократические и революционные кризисы, Запад формировался путем проб, основанных на ряде посылок, выстроенных на реальном или мифологическом представлении о Древней Греции и Древнем Риме. И именно этот Запад объединился под лозунгом разума, а не великие и неорганизованные империи Китая и России, которые прошли свой исторический путь, опираясь на совершенно иной опыт и посылки, и не Япония, которая представляет собой вещь в себе. И не то, что мы именуем Третьим миром, который одновременно пользуется благами и является жертвой наших амбиций. Именно этот Запад пристрастился к определенному набору иллюзий, с тем чтобы избежать соответствия со своей собственной реальностью.

Мы живем в эпоху, которая продолжается четыре с половиной века. Из-за своей заикленности на прогрессе и подострастия перед структурами мы были вынуждены давать ей разные названия, переименовая, десяток раз, и нам казалось, что эта карусель теоретических и фундаментальных концепций обозначает реальное движение. А реальность такова, что мы не продвинулись дальше базовых идей шестнадцатого века, которые ввиду отсутствия более совершенного определения нам пришлось назвать концепцией разума. И этот Век Разума пребывает с нами уже почти пятьсот лет. С каждым днем все больше и больше идей, понятий и убеждений взгромождается на его хрупкую спину.

Но даже на заре своей туманной юности эта концепция не отличалась большой жизнестойкостью. Более того, с самого начала она основывалась на существенном недоразумении, что разум является моральным оружием, в то время как на самом деле это не более чем беспристрастный метод управления. Этой фундаментальной ошибкой можно объяснить, в чем заключается неиссякаемый источник силы разума, так как в течение веков западные элиты были вынуждены давать моральные ориентиры движения в несуществующем направлении.

Память всегда является врагом структуры. Последняя расцветает на основе системы и разрушается содержанием. Необходимость разоблачения аморальности разума основывается на том, что память о прошлом станет первой жертвой новых структур. Мы должны постоянно напоминать себе, что рационалистическая идея присутствовала в качестве главной силы в течение почти пяти веков кризисного развития на Западе. Она предоставила важнейшие послышки и, таким образом, создала основу для важнейших противоречий. Разум продолжает оставаться символом самосознания западного человека, причем лучшей части его личности. Он все еще воспринимается как путеводная звезда, указывающая путь сквозь джунгли наших основных инстинктов.

Вначале существовало простое убеждение, что моральный багаж разума можно сохранять в неизменном виде хоть тысячу лет. В разнот интерпретации греки определяли ра-

зум (*логос*) как ключевую особенность человека, как его высшее достоинство. Разум был добродетелью. Разумный поступок вел к величайшей праведности. Римские философы не пытались оспорить это убеждение, равно как и христианские церкви, которые лишь сузили его значение для оправдания своей общепринятой позиции. И когда в XVI веке философы стали освобождаться от этой стерильной схоластики, в поисках основы для решения этических проблем они снова выбрали в качестве ориентиров Сократа, Аристотеля и стоиков.

В результате этого большинство людей, в особенности философы, пришли к общему пониманию того, чем является разум. Но все не так просто. Как не существовало, так и не существует точного общепринятого определения. Это часто случается с базисными понятиями: они ускользают, когда вы пытаетесь приблизиться к ним. А философы в течение сотен лет были заняты поисками более точных определений.

В действительности дефиниции не имели особого значения, по сравнению со знанием, которое в них содержится. Гораздо важнее то, что в нашей цивилизации подразумевается, либо ощущается, либо вкладывается в понятие идеального разума. Каковы наши ожидания? Какова мифология окружающего нас мира?

Ясно одно: несмотря на постоянные попытки философов дать новые определения, всеобщее понимание и всеобщие ожидания оставались, в сущности, неизменными. Этой стабильности, как кажется, удастся выстоять даже несмотря на соприкосновение с реальными результатами воздействия разума там, где он проявлял себя, и выстоять настолько эффективно, что трудно представить себе более стойкую оптимистическую концепцию, чем эта, за исключением, пожалуй, идеи жизни после смерти.

Более того, непрерывная и настойчивая сосредоточенность на рациональности, зародившаяся в семнадцатом веке, дала неожиданный результат. Постепенно разум начал дистанцироваться и отделять себя от других — так или иначе признанных — характеристик человека: духа, инстинк-

тивных потребностей, веры и эмоций, а также интуиции, воли и, самое главное, опыта. Это постоянное выдвижение разума на передний план продолжается и в наши дни. И оно уже достигло такой степени дисбаланса, что мифическая важность разума затмила все другие категории и едва ли не поставила под сомнение их важность. Практическим следствием такого затянувшегося гипноза стало превращение последних пятисот лет в Век Разума. Мы привычно подразделяем этот век на следующие периоды: Просвещение, романтизм, неоклассицизм, неореализм, символизм, эстетизм, нигилизм и модернизм и так далее. Но разница между этими периодами, как и разница между школой Бэкона и школой Декарта при внимательном ретроспективном рассмотрении исчезает. Таким образом, дедуктивный метод абстрактной аргументации Декарта, математически доказывающего правильность своих выводов, постепенно переходит в эмпирический, механистический подход Локка, который, в свою очередь, перетекает в детерминизм Маркса. Другими словами, с 1620-х, если не с 1530-х годов, мы возмизаем с одними и теми же деталями, переключая их с места на место, не желая признаться себе в том, что за этот долгий период сделали всего лишь один шаг в сторону от божественного откровения церкви и абсолютной власти государства.

В этой реальной борьбе против суеверия и деспотической власти победа была одержана при помощи разума и скептицизма. В течение этого долгого периода разум и логика, с одной стороны, и скептицизм — с другой, укоренились в основании западного общества. В конце концов, абсолютная монархия существовала в Германии всего лишь 75 лет назад, а во Франции 120 лет назад, а всеобщее избирательное право утвердилось лишь 50 лет тому назад; католицизм отказался от антисемитизма менее полувека тому назад, крупнейшим землевладельцем Англии является герцог, сегрегация в США — скрытая, зато легальная форма рабства — стала отмирать 40 лет назад, хотя и сейчас кажется, что нищета, распространенная среди чернокожего населения, является одной из ее разновидностей.

Конечно, можно с легкостью оспорить утверждение, что рационализм глубоко укоренился в западном обществе. Большие районы юга Соединенных Штатов Америки и такие северные города, как Нью-Йорк и Вашингтон, Южная Италия, Средняя Англия и даже Лондон, в реальности так и не вырвались или вновь оказались в тех же условиях, которые характерны для стран Третьего мира. Но развитие цивилизации всегда противоречиво, что не может отменить фундаментальные истины.

Наши споры по идеологическим вопросам почти не изменили направления движения, которого мы придерживались последние сто лет. Напротив, ряд грандиозных и мрачных событий в Европе — назовем лишь три из них: религиозные войны, диктатура Наполеона и ожесточенная промышленная конкуренция — являясь порождениями рационализма, стали серьезными испытаниями для западного общества. Исходное упрощенное убеждение, что разум является моральной силой, постепенно превратилось в безысходное, оборонительное и оправдательное допущение. Двадцатый век, когда была засвидетельствована окончательная победа разума как силы, стал также свидетелем беспрецедентного разгула насилия и деформации власти. Трудно согласиться с предположением, что убийство шести миллионов евреев было абсолютно рациональным актом.

И все же наша цивилизация была создана именно для того, чтобы избежать таких заключений. Мы очень осторожно, фактически рационально, возлагаем вину за подобные преступления на иррациональные импульсы. Таким способом мы лишь закрываем глаза на главное и основное заблуждение: разум — не более чем структура. А структуру легче всего контролировать тем, кто считает себя свободным от бремени здравого смысла и гуманизма. Структура подходит тем, чьи таланты лежат в области манипулирования и кто испытывает вкус к власти в ее чистом виде.

Таким образом, Век Разума оказался Веком Структуры; временем, когда при отсутствии цели стремление к власти как к самодостаточной ценности превратилось в основной индикатор социального одобрения. А достижение власти стало мерилom социальной добродетели.

Знание, разумеется, было вынуждено стать гарантом моральной силы разума. Знание — это непобедимое оружие в руках индивидуума, оружие, могущее гарантировать, что общество построено на продуманной и разумной основе. Но в мире, который зависит от силы, исходящей от структур, объективная оценка силы не могла сохраниться и быстро трансформировалась в приверженность к контролю со стороны разума. Старую классовую цивилизацию заменила цивилизация кастовая — до крайней степени изощренная версия корпоративизма. Знание превратилось в валюту власти и остается таковой и поныне. Эта цивилизация засекреченных экспертов вполне естественно одержима не поиском понимания проблем, а подготовкой ответов на вопросы.

Наше непреодолимое желание получать ответы на вопросы превратилось в одну из главных характеристик Запада второй половины XX века. Но какими могут быть ответы на вопросы, когда не существует ни памяти, ни общего понимания их значения? Эта погоня за правильными ответами вместе с поисками правды, возможно, является самым явным знаком нашего замешательства.

Это замешательство особого рода. Внешне организованные и спокойные, мы живем в атмосфере нервного, даже неистового возбуждения. Насущные вопросы роятся вокруг нас и исчезают так же неожиданно, как и появляются. Для важнейших общественных проблем отыскиваются наилучшие решения, которые затем исчезают, не оставив даже малейшего следа своего провала в нашем сознании. Ни власти, ни руководство корпораций, ни эксперты не несут и маломальской ответственности за свои действия, так как затрудненность восприятия и провалы памяти создают полный хаос в понимании каждым индивидуумом, что такое ответственность.

Это следствие того, что господство структуры и абстрактной власти притупляет в нас чувство языка. Основные понятия, которыми мы оперируем, давно оторвались от своих корней и превратились в фигуры речи. Они не имеют никакого значения. Повсеместно и целенаправленно они исполь-

зуются для маскировки. И чем больше наш язык превращается в орудие ограничения общего дискурса, тем более возрастает наше желание получать ответы на вопросы.

Хотя всеобщей потребности в ответах еще нет. Решения — самый дешевый товар наших дней, а для рационалистических элит — это своеобразный допинг. И структуры, производящие их, в значительной степени ответственны за состояние внутренней паники, свойственной современному человеку.

Конечно, мы изо всех сил стараемся оценивать этот век скорее позитивно: как не слишком благополучный, но более драматичный. Выразительный. Мы ощущаем себя жертвами беспорядка, который неизбежно возникает после социальных и религиозных катастроф. В таком вакууме коллективное западное сознание не могло не расколоться. Из этого следует, что черед великих, всеобъемлющих веков: Разума, Просвещения, Романтизма — закончилась взрывом. Из осколков, оставшихся после этого взрыва, возник беспорядочный век, в котором бесчисленные идеологии сошлись в борьбе за наши умы и тела.

И вот, Фашизм, Нацизм, Коммунизм, Марксизм, Социализм, Демократия и Капитализм, как и другие идеологии, повели свои интеллектуальные, военные и экономические армии в бой за овладение Западом. И не только Западом, но и всем миром. Благодаря временному альянсу всех других сил, к середине века Фашизм и Нацизм были уничтожены. Теперь на повестке дня стоит уничтожение Коммунизма и Марксизма. После почти века ожесточенной всеобщей борьбы, воцарились Капитализм и Демократия с примесью Социализма. Таковы итоги второй Столетней войны.

Эта война, как и первая, к сожалению, оказалась сравнительно бессмысленной тратой времени и ресурсов. Например, в терминах реальной политики, век начинался почти так же, как и заканчивается. Япония укрепляется и доминирует на Востоке, Германия укрепляется и доминирует в Европе. Соединенные Штаты, хотя и не вполне уверенно, господствуют на Американском континенте. Рос-

сия, Китай и Британия, как и прежде, в упадке, и каждая из этих стран зависит друг от друга. Также и средние по мощи державы вернулись к относительной стабильности начала 1900-х годов. Даже Франция находится примерно на том же самом уровне, что и в начале века, уравнив потерю империи восстановлением центральной роли на континенте.

Война идеологий бывает дорогостоящей в любом смысле, но это не делает ее более осмысленной. Люди обладают удивительной способностью изобретать конкретные, но глупые оправдания убийства себе подобных. Это убедительно доказали великие битвы при Креси и Азенкуре во время первой Столетней войны.

Вакуум, который впоследствии пытались заполнить, на самом деле не был таковым. Во время этих войн везде господствовали структура и методология разума. Фактически в течение всего XX века Запад отличался удивительным единением: кажущийся беспорядок, который мы по ошибке принимаем за вакуум, является всего лишь результатом аморальности, присущей разуму. Переход западной цивилизации к методологии, свободной от ценностей — человеческих, моральных или эстетических — не мог не привести нас к бесконечным, бессмысленным сражениям. Если говорить более конкретно, то битвы XX века можно охарактеризовать как абсолютно бессознательные, так как их движущей силой была бессмысленная абстракция. Возможно, этим объясняется наша заикленность на индивидуальном сознании. Людям свойственно персонализировать именно те цивилизационные проблемы, которые ускользают от их понимания.

В то самое десятилетие, когда утверждалось рациональное государство-нация, в результате таких событий, как Гражданская война в Америке, билль о второй избирательной реформе в Британии, превращение Австрийской империи в децентрализованную Австро-Венгерскую монархию, освобождение крепостных в России, образование Германии, Канады и Италии, Мэтью Арнолд в «Дуврском взморье» описал свое видение грядущего века:

И стоим мы во мраке, тревоги полны:
Перед нами, охвачены диким азартом, в ночи
бьются темных неведжд легионы.

В таком контексте копать в противоречиях современных лагерей вряд ли целесообразно. Ни капитализм, ни социализм не могут рассматриваться как идеологии. Они всего лишь методы распределения собственности и доходов. Что особенно характерно для этих сугубо практических методологий, которые идеально противостоят друг другу, так это то, что как одна, так и другая существовали только в экспериментальных образцах. Но даже в таком состоянии они тесно переплетены друг с другом. Их взаимоисключающие словари содержат больше общих, чем различных понятий. Они, как несмышленные братья, стремятся обратить наше внимание на свое детское соперничество. А действительность такова, что они являются подвидом большей группы, включающей христианство, нацизм и коммунизм, и по причине отсутствия других оснований, все они достигали успеха, обещая людям исполнение желаний, что, кстати, характерно и для ислама. Только буддизм, единственный из мировых мифов, ориентирован на сокращение желаний индивидуума.

Мы не можем считать ни одну из современных мифологий великой. К примеру, Маркс, хотя и являлся талантливым аналитиком, исходя из неверных идей, предлагал неприемлемые решения. И тот факт, что эти идеи имели некоторый поверхностный успех, не делает их более верными. В XVI веке влияние инквизиции было огромно, она была основной структурой в толковании того, что есть разум. Но по убеждению инквизиторов, наилучший способ получения информации — это выворачивание суставов и дробление костей. Вся Европа приняла это и трепетала. Элиты, даже короли, не осмеливались протестовать.

Марксу посчастливилось родиться на восемьдесят лет раньше Уолта Диснея. Дисней тоже обещал детский рай, но, в отличие от Маркса, сдержал обещание. Это замечание, к сожалению, справедливо. В конце концов, одним из дока-

зательств того, что идеологии, базирующиеся на разуме, ничем его не обогащали, может служить тот факт, что, становясь главенствующими, они полностью утрачивали все связующие нити со своей мифологией. Так, коммунистического государства никогда не существовало. Существовали всего лишь старомодные, неэффективные, но авторитарные диктатуры. Написано много критических трудов о неуклюжей, неэффективной коммунистической бюрократии. Но что же в ней, собственно говоря, было коммунистического? И можно ли отличить ее от десятков других неповоротливых, неэффективных бюрократий, как, например, поздних периодов династии Цин, Османской империи или Византии? Отсутствие частной собственности часто преподносится как особенность исключительно марксизма, но большинство феодальных обществ рассматривали ту же самую идею и структуру; единственным различием было то, что верховный носитель власти предстал в ином обличье. Король, представляющий Бога и являющийся защитником всеобщего блага, был заменен Верховным Советом, представляющим коммунистическую партию, которая также выступала за всеобщее благо.

Марксизм стал мифическим ответом на реальные запросы западного общества, но с таким же успехом можно было бы использовать десяток других мифических идей. Уолт Дисней, например, появившись на передовых рубежах мифологии, подменил Америку американской мечтой, где гражданин является зрителем, который верит в то, что утверждается с киноэкрана, а руководители — характерные актеры. И это более соответствует реальной жизни, чем воображаемые идеологии или системы, например капитализм.

И наконец, современные ведущие защитники свободного предпринимательства и конкуренции, хорошо охраняемые бюрократические менеджеры крупнейших компаний, как правило, способны относительно легко нейтрализовать своих настоящих хозяев (акционеров) и тех, кто фактически несет ответственность за управление компаниями (директоров). Что касается компетенции на уровне спортивной площадки, то классическим примером того, как она проявляется,

стала невозможность регулирования воздушных сообщений в США в 1980-х годах. В результате должно было появиться больше конкурирующих авиакомпаний, которые предоставляли бы более дешевые и качественные услуги. Вместо этого число авиалиний сократилось, а цены на авиабилеты возросли. Нерегулируемая конкуренция ведет в лучшем случае к олигополизации, а в худшем — к монополизации. Но и то и другое приводит к фиксации цен. Эта действительность стерлась в памяти некоторых людей вследствие мнимого симбиоза капитализма и демократии, который является почти такой же абсурдной идеей, как симбиоз социализма и демократии. И тот и другой при удобном случае порождают коррупцию государственных служащих и насаждают корпоративизм.

Правые и Левые, подобно Фашизму и Коммунизму, — не более чем маргинальные диалекты крайних проявлений разума. Они представляют собой наивные ответы, которых можно ожидать от господствующей идеологии, базирующейся на вере в абсолютные решения, И, несмотря на смешение ложных идеологий, этика разума продолжает распространяться в нашем обществе. Некоторые характерные для этой этики признаки, поначалу бывшие не столь явными, просочились на главные позиции. Подобная этика породила систему, побуждающую использовать чистую, холодную логику при разработке любого решения так неуклонно, что на смену диктатуре абсолютных монархов пришла диктатура абсолютного разума. Создание этих запутанных систем и контроль над ними стали ключом к власти.

На первый план выступила поверхностная сторона учения Декарта. Нам нужны ответы — простые, абсолютные ответы на действительно чрезвычайно сложные вопросы. Противопоставление истинного ложному приводит нас к противостественным выводам, аналогичным древнему утверждению, что земля плоская. Стремление к эффективности как самоцели ведет огромные отрасли нашей экономики к хаосу. Информационные бюллетени и схемы организации производства в наши дни стали протоколами власти, напоминающими церемонию пробуждения короля в восемнадцатом ве-

ке в Версале. Разум в наши дни имеет много общего с последними днями режимов древности. Разум, как и монархии, обладает замечательно организованной, полностью интегрированной, абсолютно самооправдывающей системой. Система сама по себе стала оправданием нашего общества. Мало кто знает, что в конце восемнадцатого века уже никто не помнил, что церковь и короли изначально разрабатывали свою систему власти для стабилизации положения на континенте, погруженном в анархию. Равным образом, мало кто вспоминает в наши дни, какова была изначальная цель при разработке технократической системы, господствующей в современном мире. Она создавалась для борьбы с неконтролируемыми, своекорыстными силами, которые использовали власть, в зависимости от своих прихотей.

До недавнего времени существовала точка зрения, будто все, что продиктовано разумом, хорошо по определению. Но с середины шестидесятых годов в обществе стала укрепляться мысль, что наши системы не работают. Накопилось множество примеров, указывающих на это, но они до сих пор не систематизированы. Вот некоторые из них: спад, непомерно развитая индустрия вооружений, развал законодательной системы, путаница в определении понятий «собственность» и «капитализм» — всего лишь несколько случайных примеров из бесконечного списка. Налицо последствия сбоя, но система не располагает терминами для его описания, так как мы продолжаем вести себя разумно: ведь словарь неразумия — это словарь темноты, потому мы и избегаем его.

Отсутствие интеллектуального механизма для оценки наших действий становится особенно очевидным, когда высказываются неопределенные сомнения, например, в отношении экспорта вооружений вероятному противнику, или перехода властных полномочий от пайщиков к менеджерам, или умаления законодательной власти с одновременным усилением исполнительной. Сомнения подобного рода считаются наивными или идеалистическими, либо вредными для экономики. Как только мы пытаемся использовать соответствующую лексику для оценки этих проблем, она немед-

ленно перехватывается официальными структурами, которым сопутствуют современные официальные идеологии. Затем эта лексика превращается в аргументацию настолько стерильную, насколько эти идеологии не соответствуют настоящему моменту. Наше общество не располагает методами серьезной самокритики по простой причине: оно является самооправдывающей системой, вырабатывающей свою собственную логику.

Просто поразительно, с какой непоколебимостью современные руководители отстаивают единство своих взглядов. Куда бы они ни направились, они везде получают одну и ту же оценку своих позиций от элит других стран. Программы в школах бизнеса и подготовки государственных служащих в рамках науки системного менеджмента практически одинаковы. Гарвардская школа бизнеса является самым ярким образчиком всеобщей привязанности к менеджменту при помощи методов управления — системы, в которой логика всегда служит оправданием принимаемых решений. В беспокойные времена общество прибегает к ответственным партиям. Но когда элиты похожи одна на другую, выбор элит напоминает поиск козла отпущения. В США появилась тенденция отводить эту роль Гарвардскому университету. Именно такой подход становится преобладающим в образовательной системе Запада, будь то подготовка юристов или политологов. В частности, во Франции, где выпускники ЭНА (*Ecole Nationale d'Administration*/Национальной школы администрирования) получают ключевые посты в государственном аппарате. ЭНА специализируется на обучении абстрактным, логическим процессам. В этом смысле подготовка во всех этих учебных заведениях направлена не на развитие талантов для решения проблем, а для подготовки специалистов, обладающих методом распознавания решений, которые бы удовлетворяли систему. После чего официальная внутренняя логика выдает все необходимые обоснования.

Вот уже добрых полвека утверждение, что христианство мертво, а психиатры превратились в новых священников, звучит как банальность. Но это справедливо, если смотреть

на мир с точки зрения автора колонок светской хроники, когда принимаются во внимание лишь стиль и детали. В действительности нас окружает теология чистой силы — силы, порожденной структурами, а не династиями или оружием. Современной святой троицей является организация, технология и информация. Современный священник — это технократ, человек, который понимает организацию, использует технологию и контролирует доступ к информации, которая представляет собой краткое изложение «фактов».

Технократ превратился в настоящего посредника между людьми и божествами. Подобно старинным христианским священникам, он держит в руках ключ от дарохранительницы, откуда он время от времени достает и раздает облатки — маленькие кусочки манны, которые пробуждают у просителя еще больший голод. Облатка — это знания, понимание, доступ к информации, доступ к власти. А дарохранительница — это то, чем она была всегда, место, где прячут знания, место, обеспечивающее таинство одного из ключей к современной власти. Наконец, это способ избавления от личной ответственности. Кажется, все религии нуждаются в специальном приспособлении — ящике, при помощи которого легче иметь дело с неконтролируемыми реалиями мира, противоречащими официальной идеологии. Эти приспособления принимают форму мифологии личного доступа, которая почти насильственно внедрена в структуры власти. На смену старому феномену святости пришел феномен Ирода. Что касается христианства, то в нем он играет двойную роль. Он дает «люду» нечто эмоциональное, конкретное, то, на чем можно сосредоточиться. И являясь стабильным, как все крупные системы, имеющие абстрактную природу, механизм Святого/Героя обеспечивает этой системе практическую возможность довести дело до конца.

Ни один из членов этой касты не станет называть себя технократом, хотя на самом деле он таковым является. Вне зависимости от того, закончили ли они Гарвард, Лондонскую школу бизнеса, ЭНА или одно из сотен других подобных заведений, они всегда являются членами комитетов, служащи-

ми, иногда их называют «калькуляторами», занимающимися сложными математическими расчетами. Всегда отстранившиеся от практической деятельности, неизменно самоуверенные, связанные со структурами управления, на самом деле они — искушенные механики, обученные управлять промышленной или государственной машиной, но не умеющие управлять автомобилем и не имеющие понятия, как его припарковать, если им доведется оказаться за рулем. Они приверженцы чистой власти, полностью независимой от моральных норм, которые первоначально служили оправданием силы разума.

Они могут быть, а могут и не быть приличными людьми. Аморализм нашего руководства необходим для понимания природы нашего времени. Вокабулярий Локка, Вольтера и Джефферсона вынуждает нас оценивать людей по простой шкале добра и зла. Теоретически считается, что человек, который осознанно использует власть для того, чтобы творить зло, заслуживает наказания, подобно преступнику, совершившему преднамеренное убийство. Но технократ не обучен до такой степени. Он понимает события в рамках логики системы. Величайшим добром для него является величайшая логика, или величайшая видимость эффективности, или ответственность за наибольшую часть структуры. Таким образом, делая добро или зло, он действует непреднамеренно. В плохой день он совершенный человекоубийца, в хороший день он безгрешный святой. Более того, наибольших успехов в работе такого рода достигают те, кто имеет склонности к ней. Таким образом, они усиливают этот аморализм. Как говорят французы: «Среди импотентов кастрат — король». («На безрыбье и рак — рыба» — *прим. пер.*)

Эта форма образования применяется не только для подготовки руководителей бизнеса и правительства. Фактически она используется при обучении любой профессии. Если вы посмотрите, как готовят архитекторов или искусствоведов, преподавателей литературы или офицеров, вы встретите такую же страсть к деталям, к накоплению фактов, к внутренней логике. «Социальные ученые» — прежде всего, экономисты и политологи — состоят из чего-то большего, чем

эти элементы, потому что у них нет даже возможности для реальных действий, что сдерживало бы их. Понимание роли архитектора или офицера теряется на общем фоне, и технократ, который берется за строительство или руководство военной частью, убежден в том, что он вооружен величайшим благом всех времен: пониманием системы разумного принятия решений, инструментарием, который соответствует этой системе и таким образом обеспечивает конкретное проявление логики системы.

Роберт Макнамара является одним из великих представителей этой технократии. Он был министром обороны при Кеннеди и Джонсоне, потом президентом Мирового банка (Международный банк реконструкции и развития — *прим. ред.*). Он активнейшим образом участвовал во вьетнамской войне, был ключевой фигурой как развязывания гонки ядерных вооружений, так и коммерциализации производства вооружений, а также важнейшим лицом в создании финансовой структуры, которая привела к современному кризису задолженности стран Третьего мира.

Вне всяких сомнений, он — порядочный человек, но эта частность не имеет отношения к делу. Удивительно, но в нашей системе личная порядочность или ее отсутствие у наших лидеров никак не влияет на их профессиональную деятельность. Проблемы, возникавшие во время вьетнамской войны, Макнамара решал абсолютно теми же методами, что и проблемы Третьего мира, когда он руководил Мировым банком. Чистая логика, которая на бумаге могла бы позволить выиграть войну, была той же самой логикой, которую он применял в отношении массированного повторного использования денег западных нефтедобывающих компаний, что, в свою очередь, привело к огромной задолженности стран Третьего мира.

Во время всех этих бедствий он представлял собой квинт-эссенцию разума, оставаясь верным абстрактной природе технократа. Фактически он намеревался делать добро, не понимая того, что он делал. Его дела находились в полном противоречии с его заявлениями и статьями. Как порядочный

человек, он не пытался вводить в заблуждение. Другой, менее умный, менее порядочный технократ, просто переписал бы свои мемуары, чтобы продемонстрировать, что его логика всегда верна.

Может показаться странным, что внимание автора переключилось с глобальных проблем на рассмотрение конкретного человека. Но Роберт Макнамара — символ конца Века Разума, и автор, пробираясь сквозь лабиринт последних четырех десятилетий, постоянно наталкивался на это имя. Попытка избежать односторонней трактовки и явилась следствием этого анализа. Применительно к Макнамаре интересно не то, что он способствовал росту торговли вооружениями, а сравнение этого с тем, что он делал для оказания помощи странам Третьего мира. Интересно и сравнить его с другой ключевой фигурой начала века Разума.

Кардинал Ришельё, современник Декарта, был первым министром короля и руководил Францией с 1624 по 1642 год. Во многом он был первым государственным деятелем современного типа, первым человеком, который применил всеобъемлющий рациональный метод к новому явлению: национальному государству. При детальном исследовании Ришельё как государственного деятеля он предстал бы как изворотливый, скрытный автократ, тогда как подобное же изучение Макнамары показало бы, что он порядочный, честный человек, заботящийся об эффективности и справедливости. А из общей оценки следует, что Ришельё, закладывая основы первого современного государства, личную и социальную ответственность ставил во главу угла, и в этом его заслуга, в то время как Макнамара в значительной степени лично ответствен за четыре крупнейшие послевоенные катастрофы на Западе. Но, тем не менее, в глазах современных элит он предстает как безукоризненный лидер современности и пример для подражания.

Тем не менее, Макнамару вполне можно считать «отпрыском» кардинала. При ретроспективном взгляде этих героев трудно различить. Приглядевшись внимательнее, можно найти только одно важное отличие: Ришельё проводил свою политику в отношении Франции и Европы с чис-

той логикой революционера, который использует новое оружие, в то время как Макнамара действовал с самонадеянной слепотой прирожденного, а точнее, вырождающегося аристократа.

Юношеский задор Ришельё, с одной стороны, и интеллектуальная деградация Макнамары являются своеобразными вехами начала и конца Века Разума. Но оба они принадлежат к единой великой семье рационализма. По сути дела за это время мало что изменилось. Начав разговор о XVII веке, мы отмечали приоритет того, что философы называли слепой логикой. В конце XX века доминирует слепой разум, более утонченная версия той же самой проблемы.

Что изменилось радикально, так это та роль, которую должны играть люди, стремящиеся к власти. Мы избавились от неудовлетворительной вертикальной системы, которая, однако, имела несколько преимуществ, например: функционирование в относительно открытой форме. Рациональные структуры, как ни парадоксально, осуществляют руководство в более абсолютистской манере.

Это не означает, что вся власть принадлежит технократам. На деле абсолютизм и недоступность, которые сопутствовали им с самого начала Века Разума, были и фактически продолжают оставаться настолько неуместными, что к концу XVIII века на историческую арену выступил новый тип общественного деятеля: люди, которые могли, по выражению Муссолини, заставить поезда ходить вовремя. Наполеон был первой и самой характерной фигурой. Эти Герои обещали создать рациональное государство, но стали делать это в популистской манере. Путь от Наполеона к Гитлеру был прямым. И в наши дни большинство современных политиков всю свою деятельность манифестируют как поступки Героя.

Среди деятелей последнего столетия, которых рационализм вывел на политическую сцену, можно выделить следующие группы; технократов, Героев и Псевдогероев. Им противостоит небольшая, но активная группа противников структурных императивов, которая непоколебимо выступает на стороне гуманистических традиций. Джефферсон, возможно, самый яркий пример этой линии, хотя существуют и дру-

тие. Корсиканец Паскаль Паоли, создатель первой современной республики, является одним из самых вдохновляющих и, возможно, самых трагических примеров.

Тот же самый феномен противостояния технократов и Героев с настоящими гуманистами проявляется в любой сфере деятельности нашего общества. Конфликт бесконечно повторяется с одинаковым результатом и одинаковым дисбалансом. Он справедлив как в отношении военных и бизнесменов, так и в отношении писателей и архитекторов.

Чем дольше исследуешь эти конфликты, тем яснее понимаешь, что некоторые из наших важнейших инстинктов: демократический, практический, образный — глубоко враждебны господствующему рациональному подходу. Этот конфликт между разумным и рациональным — один из тех, которые изначально присущи нашей цивилизации, и, как мы уже отмечали, изначально не разрешим. Во всяком случае, восхождение к вершинам власти все более и более пародийных Героических лидеров указывает на то, что система все быстрее эволюционирует в соответствии со своей внутренней логикой. Отрицание любых внутренних противоречий, не говоря уже о внутренних конфликтах, присуще этой логике.

Но разве Ришельё и Макнамара не являются всего лишь разрозненными фрагментами на поле руин? Большая опасность для нашего общества заключается в том, что мы попадаем в зависимость от отдельных личностей, путая, таким образом, сам процесс с его участниками. Возможно, именно поэтому, рассматривая эту цельную паутину, я уподобляюсь археологу, откапывающему следы древних цивилизаций, и в результате таких исследований Век Разума предстает как Век Глупости.

Рациональная мифология достигла таких размеров и настолько дезориентирует нас, что кажется, будто реальность, в которой мы существуем, уже мертва. Земля вокруг нас, похоже, уже усыпана разрушенными колоннами и осколками горшков, указывающих на произошедшую катастрофу. Но эти осколки, если рассматривать их по отдельности, не говорят нам ни о чем.

И я, подобно человеку, который осознает свое невежество, начал в следующих главах расчищать слои мусора, с тем чтобы обнажить изучаемую поверхность. Этот мусор состоит главным образом из мифов и идей, которые выдают за факты. Строго говоря, узор не слишком сложный. Это всего лишь эволюция Века Разума. Не философское рассуждение, а исследование действительности. Не теоретические доказательства, а анализ взаимосвязанных событий, событий, которые, несмотря на сотни лет разницы, роднят Ришельё и Макнамару.

Одними из первых проступают на этой картине профили технократов и Героев, и именно в той очередности, в какой они превращаются в хранителей рациональной идеи, которая затем начинает искажаться. Учитывая нашу всеобщую приверженность к личностям, я не мог не дать зарисовку современных элит и их лидеров. Приводится также и оправдание этой привязанности. Оно проясняет общую методологию, используемую теми, кто держит в своих руках рычаги власти на Западе.

В конце двадцатого века уже невозможно считать случайностью появление наших элит на властных позициях. Это именно те люди, которых тщательно отбирает наша система: Роберт Макнамара и Рональд Рейган, Роберт Армстронг и Брайан Малруни, Валери Жискар д'Эстен и Уильям Уэстморленд, Джим Слейтер и Майкл Милкен вместе с армией безликих президентов корпораций. Это желанные и избранные лидеры. Они идеальный продукт, выпускаемый нашей системой образования.

Как и все действующие элиты, наша элита пытается увековечить себя во имя всеобщего блага. Это невозможно без создания особой системы образования. Процесс подготовки кадров в различных странах, на первый взгляд, имеет различия, но при внимательном рассмотрении эти различия исчезают. Образование — это одна из сфер, где высокие идеалы и туманная мифология сталкиваются с реалиями грубого эгоизма. Исследуя историю, типологию и особенности воспроизводства элиты, я пытался найти общую модель элит разных наций, чистый образец — как с точки зрения теории, так и

практического применения — который показал бы аморальную, фактически мрачно-комическую природу рационального подхода. Самым ярким и наглядным примером этого подхода является международная торговля вооружениями. Вдвойне интересен тот факт, что такие разные лидеры, как Кеннеди, Гарольд Вильсон и де Голль, были причастны к этой деятельности. Противоречия между целями торговли вооружениями и последствиями этой деятельности настолько велики, насколько первоначальный успех отличается от среднесрочных катастрофических последствий для экономики и внешней политики.

Следующим шагом стала попытка выяснить, применимы ли эти методы в других сферах: военной, государственном управлении и бизнесе. Печальная, но справедливая закономерность: когда человеческое сообщество стремится к изменениям, будь то в технологии, или в организации, то обычно все начинается на поле боя. Поэтому неудивительно, что первыми технократами были штабные офицеры. А беспрецедентное насилие этого века может быть понято и как результат победы штабных офицеров над строевыми командирами в борьбе за право руководства, и как следствие пагубного подхода штабистов к стратегии.

Случай с государственным управлением более сложный. Во многих странах происходило постепенное улучшение социальных стандартов, в значительной мере благодаря работе широких слоев бюрократии. Но превращение политического класса в подвид технократии имело ужасающие последствия. Самой большой ошибкой, которую породила наша приверженность к экспертным заключениям и программам, стала реорганизация выборных институтов с целью повышения эффективности их деятельности. Уравнивание идеи эффективности — производной третьего уровня разума — с самим демократическим правлением показывает, насколько далеки мы от элементарного здравого смысла. В конечном итоге эффективное принятие решений является свойством авторитарных правительств. Наполеон был эффективен. Гитлер был эффективен. Эффективная демократия может означать кастрированную демократию. Фактически вопрос ставится так:

не отнял ли рациональный подход у демократии ее единственное преимущество — способность действовать нетрадиционными способами. Если взглянуть, например, на наше сражение двадцатилетней давности с инфляцией, то нельзя не заметить, что политики, превратившиеся в апологетов логики технократов, также оказались заложниками традиционных решений.

Отсюда следует, что теология власти, при которой процветает технократия, полностью маргинализирует идею оппозиции и, как следствие, идею разумных изменений. Оппозиция отказывается участвовать в процессе, так как сам процесс становится иррациональным. И подобное опошление критики властных структур имеет место не только в политике, но и повсеместно.

Победы разума сделали возвышение Героев неизбежным. А маргинализация политиков, в свою очередь, заставила их рядиться в одежды Героев, так как это стало единственным доступным способом обретения искомого статуса. Воздействие этих изменений на политиков было очень глубоким. Оно изменило эмоциональную атмосферу их взаимоотношений с обществом. Роль руководителей была поколеблена, их внутренние побуждения превратились в психодраму, не имеющую никакого отношения к дискуссиям в обществе по вопросам идеологии и управления.

Между тем успех технократов и Героев делал бессильным закон, который теоретически был их излюбленным инструментом изменений и улучшений. На заре Века Разума предполагалось, что закон должен защищать человека от неразумных действий других людей, особенно тех, кто стоит у власти. Это затрагивало и сферу регулирования отношений между собственником и индивидуумом, или между государством, индивидуумом и корпорацией, или между обязательствами и людьми, на которых они возложены. Иными словами, закон пытается регулировать применение власти.

Но в нашем обществе природа власти полностью изменилась. Возникли связь между государством и средствами производства, интеграция элит во взаимозаменяемую технокра-

тию, смешение понятий права собственности и права управления корпорациями. Новые структуры делают почти невозможным использование закона применительно к этим понятиям.

В центре наших проблем стоят реалии современного капитализма. Существующий термин далеко отстоит от старых понятий, но все еще используется в качестве определения частной собственности. Любопытно, что слово «капиталист» и все сопутствующие понятия используются в отношении собственности на средства производства, способа получения денег и возможности успешной деятельности на этом поприще. Но большинство современных западных корпораций контролируются менеджерами, а не собственниками. Менеджерами, которые фактически выполняют функции штабных офицеров и правительственных управленцев.

Конечно, существуют и другие, кто претендует на звание капиталистов. Например, представители малого бизнеса весьма многочисленны и часто соответствуют изначальным характеристикам. Но они имеют мало власти и влияния в нашем обществе. Гораздо более важную роль играет нетехнократическое бизнес-сообщество, представителей которого традиционно называют спекулянтами: банкиры, брокеры, промоутеры. Они действуют так, будто капитализм прогрессирует от медленной и неуклюжей формы собственности на средства производства к более высокой форме, при которой деньги просто производят сами себя. XIX век доказал, что дельцы подобного рода являются маргинальными, безответственными паразитами, живущими на теле настоящего капитализма. Их роль в обществе можно сравнить с ролью современной мафии. Но мы до сих пор относимся к ним как к столпам общества, его социальных и экономических структур.

Что касается профессиональных менеджеров, то их появление предполагало преодоление определенного эгоизма нашей экономики. Предполагалось, что они, в отличие от настоящих собственников, будут свободны от бесконтрольной жадности наживы. Вместо этого эти наемные служащие унаследовали мифологию капитализма, но не несут персональной

ответственности за крупные риски. Они не стеснялись использовать теорию свободного капитализма, словно речь шла о самосовершенствующейся абстракции, а не о сфере человеческой действительности.

Руководители всех этих отраслей действуют не в интересах населения. Как и всеми другими, ими руководят общие социальные феномены. Даже краткого взгляда на три эти феномена: миф о секретности, приверженность к правам личности и почитание звезд — достаточно, чтобы понять, каково воздействие разума на нашу жизнь.

Окутывание всего покровом тайны, возможно, стало самым губительным следствием контроля над знаниями в сочетании с защитной броней специализации. До недавнего времени стремление получать информацию не считалось зазорным. В наши дни списки, ограничивающие информацию, стали бесконечными. И тем не менее, во всем мире существует не более чем два или три подлинных секрета. Даже способы создания атомной бомбы являются доступной информацией. Тем не менее, ограничение доступа к информации продолжается, несмотря на принятие законов о свободном доступе к информации.

Эти ограничения за последние тридцать лет были уравновешены расширением личных свобод. Разрушение норм поведения: ношения одежды, сексуального контроля, запрета ненормативной лексики, семейных структур — рассматривалось как великая победа в борьбе за права личности. С другой стороны, этот процесс можно также считать лишь отражением недовольства граждан чрезмерными ограничениями, хотя подобные акты проявления личной свободы и действия властей лежат в разных плоскостях. Поэтому, вместо того, чтобы принимать реальное участие в развитии общества, индивидуум пытается выглядеть так, будто никто не имеет права осуществлять контроль над его личностной эволюцией. Таким образом, победы, одержанные во имя индивидуальных свобод, могут считаться признанием поражения индивидуума.

Например, число людей, желающих высказать свое мнение по самым важным вопросам, в наши дни мало как неког-

да. Причина этого не в угрозе физической расправы, а, упрощенно говоря, в нежелании выглядеть белой вороной в глазах коллег и в боязни повредить карьере. Со времени скованных этикетом судов XVIII века общественные дискуссии никогда не были столь скованы фиксированными позициями, фиксированными формулами и фиксированными элитными специалистами ораторского искусства. Предчувствуя крушение, тогдашняя знать потакала своим страстям, что можно назвать куртуазным эгоизмом. Очень трудно найти реальное отличие между ним и личными свободами, которыми все настолько озабочены в наши дни.

Комбинация сдерживающих технологий внутри власти и декоративных личных свобод вовне сделала неизбежным возникновение нового класса. Первым об этом сказал в пятидесятые годы XX века американский социолог Ч. Райт Миллс. Знаменитости. Звезды. Люди, единственное объяснение известности которых заключается в том, что они знамениты. Теннисисты, члены аристократических семейств, дети художников, кинозвезды. В истории всегда были известны знаменитые куртизанки, но их слава измерялась главным образом тем, насколько ярко на них отражался блеск монарха. Сегодняшние знаменитости обладают славой, не связанной с властью. И в течение последних сорока лет они постепенно привлекли внимание прессы, людей, стали объектами для подражания. В общественном воображении они заняли место представителей власти, которые, будучи технократами, не вызывают интереса у общества.

Эти знаменитости играют важную общественную роль. Они привлекают общественное внимание аналогично тому, как это ранее делали королевские дворы. А теперь, после того как знаменитости установили контроль над сферой общественной мифологии, они получили доступ к реальной власти.

Наконец, под влиянием Века Разума наше воображение претерпело радикальные изменения и в двух других областях. Образ, который в начале процарапывали на каменных стенах, затем рисовали, печатали, фотографировали и проеци-

ровали, теперь благодаря компьютерным программам стал трехмерным. Другими словами, после тысяч лет прогресса образ стал технически совершенен. Этот прогресс изменил наши взгляды на личное бессмертие и оказал огромное дестабилизирующее воздействие на наше представление о том, кем мы являемся. Кроме того, уничтожение универсального языка, который был понятен большинству, специальными и отраслевыми диалектами означало, что мы не можем вернуться к слову как к основе нашей устойчивости. Более того, писатели, то есть именно те, кто сформулировал идеи Века Разума, благодаря ему превратились в заключенных и поэтому не способны задавать правильные вопросы, не говоря уж о способности разбить тюремные лингвистические стены, которые они сами выстроили.

Слепой разум — это элемент, который все связывает воедино в этом общем рассмотрении. Что такое слепой разум? Возможно, это не более чем утонченная форма логики: более утонченная, более цельная, более структурированная версия слепой логики, от которой пытались убежать реформаторы XVII—XVIII веков. Этот побег предполагалось осуществить на плечах разума. Иными словами, сегодня мы оказались почти на том же самом месте, откуда начали свое движение почти пятьсот лет тому назад.

Конец часто похож на начало. Гораздо чаще, чем это кажется на наш близорукий взгляд. И это вынуждает нас верить, что, подходя к концу, мы приступаем к началу чего-то нового. Это заблуждение, типичное для самонадеянных старых цивилизаций, порожаемое обстоятельствами и отсутствием исторической памяти, во многом схоже со старческим слабоумием. Наша рациональность побуждает контролировать понимание, таким образом, память усиливает путаницу.

Конец, в любом случае, является частью человеческого опыта, который чаще всего ошибочно принимается за что-то другое. В этот период все бывает более усложненным, более организованным, более стабильным. Сама утонченность организма указывает на кризис идей, которые были достаточно

ясными и простым, когда впервые были взяты из замечательной структуры, построенной вокруг этих идей в начальный период существования. Эта структура становится поверхностным выражением тех идей, которые она сама неизбежно разрушает. Эта простая истина скрыта от нас под покровом чувства стабильности, которое возникает благодаря наличию структуры. Но стабильность — самый хрупкий из элементов человеческого состояния. Ничто не кажется более прочным, чем правительство, длительное время находящееся у власти, накануне своего падения, ничто не кажется более непобедимым, чем огромная армия накануне своего поражения.

Современное состояние разума можно понять, сравнив современные византийские системы с четкими заявлениями Фрэнсиса Бэкона в начале XVII века или, например, с высказыванием Вольтера сотню лет спустя в «Философском словаре»: «Всем ясно, что судебная повестка лучше, чем нанесение оскорбления, что доброта лучше гнева. Таким образом, остается использовать наш разум для того, чтобы отличать оттенки доброго и дурного»¹. Эти слова наводят нас на мысль ассоциировать разум с моралью, здравым смыслом и, постепенно, с личной свободой, которая в наши дни известна под именем демократии.

Как же случилось, что ни Вольтер, ни его сподвижники не заметили, что Игнатий Лойола постоянно использовал разум веком ранее, когда он создавал орден иезуитов и почти единолично возглавил Контрреформацию? Лойола пришел в восторг, обнаружив систему, которую стал использовать для укрепления власти папы. И Бэкон, лорд-канцлер Англии, не был ни демократом, ни слишком заботливым радетелем морали. Но он был современен — как идеолог современной науки, и только в этом важность его влияния на энциклопедистов². И даже Вольтер и его друзья, хотя и ошибались, полагая, что мораль и здравый смысл являются естественными союзниками разума, также рассматривали эти три категории в контексте власти. Они хотели сильного, но справедливого короля. Они думали, что разум сделает власть справедливой. Как они могли допустить такую очевидную ошибку?

Они придумывали объяснения по ходу действия. Они отвечали на реальные запросы, точно так же, как и Лойола, который взял на себя ответственность, когда католицизм столкнулся с победой протестантизма, подобно Ришельё, который стал создавать современное государство для разгрома враждебной знати. Даже Уильям Блейк, с его ясностью мистического видения, написал в «Иерусалиме»: «Я должен создать систему, или буду поработен системой, созданной другим человеком». По следам энциклопедистов пошло множество других философов, которые модифицировали их важнейшие идеи, для того чтобы они соответствовали развитию событий. Но они лишь построили более сложную структуру на ложном фундаменте. Навязывая разумные действия, разум в качестве прикладной идеи с самого начала достиг успеха — в создании новых уровней варварства и насилия, в становлении нового племени авторитарных лидеров, которых вскоре стали называть абсолютными диктаторами, совершенными образчиками ответственной демократии.

Таково наше западное наследие. Остальной мир занят борьбой с другими проблемами и другими силами. Это не означает, что мы с ним не связаны самым тесным образом. Мы все находимся в неразрывной связи друг с другом. И мы должны проводить такую политику, которая принимала бы во внимание эти связи. Но это не означает, что мы должны анализировать или реформировать наше общество исключительно в свете связей с остальным миром. Действовать таким образом было бы равносильно закрытию наших предприятий сталелитейной промышленности из-за того, что где-то производят более дешевую сталь с использованием детского труда.

Наша собственная эволюция является следствием событий, которые имеют лишь отдаленное сходство с теми, которые происходили в Африке, Азии или Советском Союзе. Китайцы, например, узнали формальную логику гораздо раньше, чем мы помешались на ней, и пришли к выводу, что она гораздо менее важна по сравнению с другими вещами. Они окунулись в рыночную экономику, когда мы еще

пребывали в Средневековье, и поэтому они ни в коей мере не связывают ее с демократической идеологией. Непонимание этого Западом привело нас к неумным выводам о стремлении Китая к политическому либерализму вследствие осуществления в стране либеральных экономических реформ.

Буддизм, индуизм и ислам — это религии с сильной верой, в то время как христианство на Западе существенно редуцировалось до уровня социального явления. Сравнение Оливье Жермен-Тома жизни внутри индийского храма с прохладной пустотой собора в Шартре особенно трогательно: «В моей стране кафедральные соборы — это только памятники культуры, в то время как в этом храме все говорит, все вибрирует, все поет, все живет». В буддизме думать о мире — значит бежать от него, а не доискиваться объяснений его происхождения³.

По мере того как Запад все глубже и глубже погружался в логику самооправдания собственной системы, становилось все труднее сосредоточиться на правдивом анализе ситуации, в которой мы оказались. Вместо этого за последние двадцать лет возникло множество политических и экономических планов, каждый из которых создавался с целью освободить нас от депрессии и внутренних противоречий. Большинство из них зависело от ключевых факторов вне Запада — не из-за практического интернационализма, а вследствие обманчивых надежд, что решение внешних проблем будет способствовать решению проблем внутренних. Все они были усовершенствованными версиями великого финансового надувательства XVIII века: аферы компании Южных морей. Ни один из этих планов не был осуществлен, и поэтому в последнее десятилетие программ и планов стало появляться гораздо больше.

Несмотря на наши заявления по всякому поводу о необходимости финансовой экономии, массированное предоставление займов как внутри страны, так и странам Третьего мира не остановлено. Прекращение финансового регулирования не вызвало волны слияний внутри страны и за рубежом в объеме, способном дестабилизировать нашу экономи-

ку; но было выявлено сокращение инвестиций, и мы назвали это рационализацией. Представление о Японии как о лучшей модели экономического развития резко изменилось в сторону демонизации ее как источника наших экономических проблем. Десятилетие наших надежд в связи с либерализацией экономики Китая закончилось событиями на площади Тяньаньмынь, но мы получили эмоциональное утешение от событий в Восточной Европе.

Возникли новые радужные надежды на масштабные инвестиции в страны бывшего Варшавского пакта. Это был новый, вожделенный хинтерланд, там люди верили, что наша система — лучшая.

Но многие из этих стран, если не принимать во внимание отдельные провальные эксперименты, никогда не развивались по западному образцу. Другие были отрезаны от Запада начиная с 1939 года. В своих неосуществленных ожиданиях они отстают от нашего опыта по крайней мере на пятьдесят лет. Невзирая на экономическую и политическую анархию, существующую в этих странах, им придется решить ряд серьезных внутренних проблем, прежде чем ставить вопрос о реальной интеграции в западные структуры. Какие бы чувства ни охватывали жителей стран, входивших в то, что мы привыкли называть Восточным блоком, в связи с происходящими изменениями на Западе, они вызвали чувство облегчения. Это еще один пример того, как гипнотизируют нас доставляющими удовольствие иллюзорными обещаниями. Появляется дополнительное пространство для очередного раунда длительного самообмана и еще один повод не обращаться к нашим собственным проблемам.

Итак, эта книга о Западе, о том мнимом географическом понятии, которое касается лишь 750 миллионов человек, живущих в горстке стран, разбросанных по всему миру. Все эти страны находятся в объятиях Века Разума. Конечно, в той или иной степени, тем или иным образом, этот век повсеместно проник во все уголки планеты. Зачастую наши собственные проблемы — суть отражение этого проникновения. Например, когда технократическое руководство

представляло нам свои радужные планы разумного управления демократическим обществом, точно такие же принципы управления представлялись в Южно-Африканской Республике, Алжире, Марокко, Танзании, Вьетнаме и Кении в качестве мер решения тамошних проблем. Удивительно, как технократия доказывала свою неразрывную связь с демократическим западным обществом, в котором человек оценивает свою личную свободу по спокойствию и порядку в управлении обществом, в то же самое время являясь неотъемлемой частью системы, уничтожающей или игнорирующей демократию и индивидуализм в других странах? Как гигантский прогресс в методах демократического управления мог уживаться со столь же гигантским прогрессом в эффективности репрессий в других местах? Ответ может быть вполне простым: Разум не имеет ничего общего с демократическими свободами, или индивидуализмом, или социальной справедливостью.

Чтобы понять непостижимую, заботящуюся только о себе логику старого режима, Вольтер и его друзья стали использовать скептицизм. Добившись успеха, они продолжали использовать скептицизм, т. е. талант к критике — орудие, более простое в обращении, чем бдительный здравый смысл и мораль, которыми и руководствуется человеческий разум. Так и укоренилась скептическая логика, освободившаяся от исторической памяти и поэтому пекущаяся только о своих собственных интересах еще больше, чем старая классическая логика.

Скептицизм стал фирменным знаком новых элит и постепенно превратился в цинизм. Хуже всего то, что сложности новых систем только увеличились, и новые элиты, давая вознаграждение наиболее преуспевшим с точки зрения власти, стали демонстрировать презрение к гражданам. Элиты стали считать граждан существами особого рода, примером чему служат особые формы обращения к ним, типа «народ этого не поймет», «электорат хочет знать» или «пипл хавет». Последнее выражение особенно популярно среди представителей «четвертой власти». Неспособность властей разговаривать с народом о животрепещущих поли-

тических и экономических вопросах в ясной и не унижающей его достоинство манере служит самым ярким доказательством этого презрения.

К женщинам наши элиты относятся еще более негативно. Попытки лоббирования и вековая борьба за включение женщин во властные механизмы ни к чему не привели и не дали никаких результатов. Правда заключается в том, что женщины не были среди тех, кто формулировал и разрабатывал Век Разума. Женщины всегда были символом иррационального. С первых моментов зарождения Века Разума новые элиты рассматривали женщин как малопригодный балласт.

Примеров тому масса. Ришельё в письме к склонному к колебаниям королю выражал пожелание, чтобы тот развивал в себе «мужские добродетели принятия рациональных решений»⁴. Несколькими веками позднее медленность продвижения к всеобщему избирательному праву в западных демократиях показала, что ничего не изменилось. Когда аристократия утрачивала свой исключительный контроль над обществом, она была готова дать право голоса другим собственникам: среднему классу. Когда позиции собственников ослабли, пришлось предоставить избирательные права тем, кто не имел собственности. Постепенно ослабевали позиции и этих слоев, и основные гражданские права были предоставлены и другим меньшинствам — в последнюю очередь религиозным, представителей которых включили в списки избирателей. Лишь после этого право голоса дали тем, кто не является членом правящего племени — инородцам: к примеру, черным в США и азиатам в Канаде.

Участие женщин в этом процессе даже не предполагалось. Менее семидесяти пяти лет тому назад считалось, что хорошо образованная, богатая аристократка менее пригодна для участия в выборах, чем безграмотный нищий шахтер или сегрегированный сын недавнего раба. Было бы огромной ошибкой считать, что наше общество было или является сейчас достаточно гибким, чтобы позволить женщинам участвовать в управлении обществом. В конечном итоге, в планах

создания современного общества женщинам никакой существенной роли не отводилось.

Не далее как в 1945 году, когда французское правительство решило создать свою революционную рациональную Национальную школу администрирования (ЭНА), в преамбуле соответствующего законодательного предложения можно было прочесть следующее: «Вне всякого сомнения, молодые женщины пригодны ко многим видам работ на государственной службе в качестве младшего обслуживающего персонала. Они могут работать и в качестве управляющего персонала, в частности в здравоохранении и социальном страховании, где их присутствие на руководящих должностях представляется желательным. Но способность женщин работать в качестве младшего персонала не является достаточным основанием для допуска их на ответственные посты в государственные учреждения, где требуются навыки государственного управления. Навык отдавать команды, способность решать важные вопросы, умение вести себя на должном уровне при решении сложных политических проблем – вот основные элементы, которые необходимо принимать во внимание и которые обычно отсутствуют у женщин»⁵. Министром, создавшим ЭНА и автором этого высказывания, был Мишель Дебре, в 1958 году он получил пост премьер-министра.

Этот пример мы привели не в качестве доказательства того, что женщины не играли никакой роли во властных структурах. Были и выдающиеся королевы, главы правительств и министры, так же как и ученые, художницы, писательницы и так далее. Сегодня женщины чаще, чем когда-либо, занимают влиятельные посты. Однако в прошлом это было исключением из правил, и женщины были вынуждены видоизменять себя и превращаться в некое подобие мужчины или в вызывающий чувство восхищения архетип женщины, манипулирующей мужчинами. И до сих пор неясно, могут ли женщины стать частью истеблишмента, не прибегая к подобным метаморфозам.

Далее в этой книге мы хотели бы поговорить о реалиях западной рационалистической цивилизации. Это – мужская реальность. Женщины охотно изменили бы ее, однако неяс-

но, будет ли способствовать этому поддержка ими существующих структур, а также вхождение в эти структуры. Даже если женщины и войдут в них, то трудно понять, по какой причине они захотят нести ответственность за то, что было сделано прежде.

Повсеместно на Западе нами руководят как выборные, так и не выборные элиты, которые не верят в общество. Они кооперируются с существующими институтами представительной демократии, но и не верят в ценность общественного сотрудничества. Не верят они также и в существование общественной нравственности. Во что они верят, так это в Героические воззвания, контрактные обязательства и административные методы. Это означает, что, по их разумению, самый простой способ общения с народом — это обращение к самым низким чувствам людей. Тот факт, что это зачастую приводит к нужным для них результатам, усиливает их презрение к массам, недостойным ничего лучшего. Они не принимают во внимание, что общество, как и каждый из его членов, способно как на самое возвышенное, так и на самое низменное. Роль граждан в общественной жизни зависит от наличия у них свободного времени и знаний. Их повседневная жизнь наполнена работой и семейными заботами. Они боятся выходить за рамки своего опыта. Несмотря на постоянные жалобы, они питают чувство удивительной веры в свои элиты. По их мнению, элиты состоят из людей, которые были выбраны и специально обучены, чтобы способствовать дальнейшему развитию Века Разума. Презрение, которым элиты платят за эту веру, является предательством тех, кому они публично клялись служить. Или, чтобы быть более конкретным, это предательство своего законного работодателя.

Цинизм, амбициозность, краснобайство и преклонение перед силой — вот наиболее распространенная характеристика королевских дворов и придворных XVIII века. Но этим же характеризуются и современные бесстрастные элиты, которые и выросли из этих придворных. А вежливость и учтивость — это те качества, которые современные элиты хотят

привить массам. Новое послание восемнадцатого века не было замысловатым. Оно всего лишь пыталось с помощью разума и скептицизма разрушить примитивную логику деспотической власти и суеверия. Теперь такая же самооправдывающая логика утвердилась в новой системе. Понадобилось четыре с половиной века, чтобы разрушить власть божественного откровения, лишь для того, чтобы заменить ее божественным откровением разума. Теперь нам необходим новый этап разрушения, на этот раз — разрушения деспотической логики и преклонения перед знаниями.

Но в этом логическом лабиринте с исключительной легкостью находится место для непростительных крайностей. Стяжатели, циники, фанатичные поборники ничем не сдерживаемой конкуренции, эксплуататоры общества — все они находят в разуме удобное для себя орудие. И тем не менее, спорить с идеями разума — пустая и глупая трата времени. Разработчики этой системы были столь совершенны в выстраивании аргументации, что если кто-нибудь и займется поиском слов и терминов для выражения собственных взглядов, то он с удивлением обнаружит, что эти слова уже активно используются теми, кто стоит на службе у власти. Наше время фактически стало диктатурой терминов. Неудивительно, что общество, основанное на структуре и логике, должно подбирать ответы на большинство вопросов в зависимости от того, как они поставлены. Нам придется сделать то, что некогда проделал Вольтер, — удалить верхний слой, чтобы добраться до сути. Мы должны заново научиться задавать простые вопросы о самих себе.

Технология и знания развиваются с огромной скоростью. Это уже благо, или станет таковым. Человек, однако, не изменился. Он такой же, каким был в тот день, когда немецкий теолог Дитрих Бонхёффер публично выступил против нацизма и антисемитизма, зная, что после этого выступления его ожидает лагерь смерти. Он такой же, каким был, когда аплодировал в римском Колизее, когда распинал Христа, когда убивал безоружных вальденсов, когда травил газом людей в Освенциме, когда пытал повстанцев в Малайзии, Алжире и Вьетнаме. Свое последнее интервью фран-

цузский историк Фернан Бродель закончил словами, что хотя знание означает, что у человека остается меньше оправданий своему варварству, но человек, тем не менее, остается в «высшей степени варваром»⁶. У человека нет генетически заложенных механизмов, которые позволили бы ему избежать дурных поступков своих предков. Мы рождены с шизофренией добра и зла внутри нас, поэтому каждое поколение должно воспитывать в себе чувство самопознания и самоконтроля. Темноту трудно отличить от света в плотной паутине структуры и логики, сотканной вокруг них. Поэтому, если мы хотим вновь обрести контроль над нашим здравым смыслом и моралью, нам необходимо удалить слои фальшивых напластований над ними.

Глава третья

ВОЗВЫШЕНИЕ РАЗУМА

Слабость интеллектуалов заключается в том, что они способны внушить себе, будто их слова являются завершением одного этапа и началом другого. На ранних этапах революции история всегда уступчива. Беспорядок в сочетании с оптимизмом уничтожают старую правду, искусственно сохраняемую предыдущим режимом. Одновременно они уничтожают и память обо всех неудобных для нового режима реальных событиях.

В семнадцатом и восемнадцатом веках люди справедливо осуждали невежество и предрассудки. Тогдашние интеллектуалы еще хранили память о временах, когда поклонялись святым, процветала коррупция в церкви и было распространено давать гостию больной корове с целью изгнания из нее демона¹. Они помнили также и о временах своевольного политического правления.

Философы-апологеты разума, именно потому, что они появились на исторической арене после двух веков религиозных и гражданских войн, считали, что ничто не провоцирует насилие в такой степени, как страх, и что страх порожд-

дается невежеством. Они способствовали тому, что уровень насилия в обществе не превышал того уровня вплоть до двадцатого века. Рациональные люди восемнадцатого века хотели подрубить корни своего страха. Их стратегией было атаковать то, что Исайя Берлин называл «темными тайнами и гротескными сказками, которые выступали под именем теологии, метафизики и других разновидностей скрытой догмы или суеверий, при помощи которых бессовестные жулики так долго одурманивали массы, которые они поработывали, убивали, подавляли и эксплуатировали»². Было вполне естественным назвать Просвещением эту атаку на темноту и на представление о сакральности абсолютной власти монархов. То, что руководство этой атакой началось из Франции, добавляло этому определенную остроту, учитывая тот факт, что французский король и его двор были образцом абсолютизма и обожествления королевской власти для всей Европы. И интеллектуальная французская оппозиция выросла в настоящую армию ученых во всех областях знаний, в первую очередь в философии, сельском хозяйстве, науке, военном деле и, разумеется, в литературе. Литераторы действовали подобно группам спецназа, атакующим там, где их меньше всего ожидают. Благодаря тому что Дидро руководил изданием «Энциклопедии», он возглавил штаб этой армии. Всемерную поддержку ему оказывали верные офицеры штаба, типа Д'Аламбера. Вольтер был стратегом и лучшим бойцом. Он всегда находился на передней линии общественных дебатов, постоянно изобретая фразы, которые становились оружием в этой борьбе.

Однако эти философы, как представляется, не заметили того, что методы, которые они распространяли по всему миру во имя разума, уже повсеместно использовались в течение двух предыдущих веков насилия. Фактически эти методы использовал Ришельё для создания абсолютистского государства, против которого деятели Просвещения и боролись:

Возможно, Вольтер и его друзья считали, что разум нельзя использовать так неразборчиво, как это делалось ранее как порядочными, так и беспринципными людьми. Было необ-

ходимо овладеть разумом, чтобы использовать знания для торжества морали и здравого смысла. Именно так философы преподносили свой крестовый поход.

Конечно, ни мораль, ни здравый смысл не были чем-то новым. Они были интегрированы в средневековую концепцию, затем были взяты на вооружение новыми мыслителями и включены в концепцию божественной природы монархической власти. И они снова были утрачены разваливающимися структурами стареющей системы и вновь обретены другой группой мыслителей, которые провозгласили верховенство разума в качестве нового способа решения проблем человечества.

Революция в мифологии восемнадцатого века не была, таким образом, чем-то принципиально новым, но изменились лишь названия тех сил, которые уже были задействованы. Новой консолидации этих сил способствовал переход контроля над ними от структур старого класса к лидерам нового типа — технократам и Героям. Эта тенденция возобладала сразу же, хотя до сих пор нет общественного, философского или официального консенсуса относительно того, что именно эти два типа являются действительными руководителями рациональных структур власти.

Технократ начал свою деятельность как идеальный слуга народа — как человек, свободный и от иррациональных амбиций, и от эгоистических интересов. Затем он стал с удивительной быстротой эволюционировать, используя систему с выгодой для себя и демонстрируя холодное презрение к народу.

Герой был более сложным явлением. Он появился неожиданно из тени разума, выступив на сцену, когда люди стали проявлять неконтролируемое беспокойство в отношении того, как ими управляют. Это нетерпение могло провоцироваться бездарным или своекорыстным правлением, неспособностью новой технократии к действенному управлению или даже властями, которые стали раздражать население. С прекращением противостояния баронов и королевской власти исчезли и устоявшиеся структуры, восполнявшие нехватку непопулярного правительства. Идея выборов была нова и

даже теперь, спустя два века не всегда позволяет реализовать желания людей относительно своего правительства. И именно в такие моменты из тени выступает Герой и позиционирует себя в качестве лика разума, вызывающего всеобщее волнение, человека, который может разрешить людские нужды и быть любимым; человека, который взвалит на себя нелегкое бремя размышлений о судьбах усталых и сбитых с толку граждан.

Между технократами и Героями находились и разумные люди, полагавшие, что именно они мыслят рационально и твердо придерживаются морали и здравого смысла. Но они не обладали ни достаточной квалификацией, ни достаточной харизмой, чтобы удержаться между порочным структуризмом и героической логикой. Некоторым это на какое-то время удавалось: Паскалю Паоли в течение двадцати лет на Корсике, Джефферсону еще более длительный срок во вновь созданных Соединенных Штатах, Питту Старшему в течение нескольких десятилетий в Англии. Мишель Лопиталю почти удалось предотвратить религиозные войны во Франции. Имя им, которые служили и продолжают служить до сих пор во имя добра, как его понимал Дидро, — легион. Но не только они прокладывали магистральные пути развития Запада в последние четыре с половиной века. Они вели арьергардные бои в защиту гуманизма и были исключением из правил.

Приверженность к двум навязчивым идеям заслоняет нам это основное направление. Первая — это безотчетное желание внушить самим себе, что мы выходим на новый старт. Мы постоянно объявляем начало новых эпох. Превращение Века Разума в Век Просвещения в восемнадцатом столетии было лишь первым шагом в этих гонках, которые стали бесконечными. Не соответствует ли это определению Просвещения как «убеждения, что разум должен постичь все знания, занять место организованных религий и обеспечить прогресс с целью достижения счастья и совершенства»³.

С тех самых пор рациональная машина работала без остановки, выдавая все новые дефиниции, например Канта, до тех пор, пока Ницше теоретически не опроверг саму концеп-

цию. Но открытие Ницше, что разум зависит от страсти и от сверхчеловека, было сформулировано спустя полвека после того, как реальный сверхчеловек действительно въехал на историческую арену верхом на разуме и показал себя во всей красе. Наполеон пришел к власти от имени разума, перекрашивал Европу во имя разума и правил под лозунгами разума. Результатом его прихода к власти стало усиление рациональных принципов, а не их ослабление.

Все это напрямую связано с другой навязчивой идеей. Нам трудно применять философские методы в контексте реальных событий. Кажется, что методы и события обитают на разных планетах. Мы, например, убеждены, что насилие — это результат страха, а страх — это следствие невежества. Но, тем не менее, с первых дней Века Разума уровень насилия возрастал одновременно с ростом уровня знаний, достигнув наивысшей точки в двадцатом веке.

Означает ли это, что знание порождает больший страх, чем невежество? Или это означает, что рациональная система исказила ценности знания? Во всяком случае, это доказывает одно: отделение философии от реальных событий стимулировало развитие мифотворческого невежества. Постоянное изобретение новых философских эпох — составная часть системы подобного мифотворчества.

Революции не совершаются к определенным датам, хотя мы постоянно ищем в истории какие-либо отправные точки. Можно высказать предположение, что впервые основные посылы и методы прикладного разума были применены инквизицией. В их революционном подходе к определению того, из чего состоит вопрос, каким должен быть ответ и в чем заключается истина, можно найти все ключевые составляющие мышления современного интеллектуала.

Инквизиторы первыми сформулировали идею, что для каждого вопроса есть правильный ответ. Ответ известен, но вопрос нужно правильно поставить и правильно на него ответить. Релятивизм, гуманизм, здравый смысл и моральные воззрения не имеют никакого отношения к этому процессу, так как в них содержится элемент сомнения. Поскольку ин-

квизиторы знали ответ, то сомнение было невозможным. Однако для эффективного руководства был необходим процесс, а процесс подразумевает, что для получения правильных ответов следует задавать вопросы.

Когда в тринадцатом веке была создана инквизиция, никто, в том числе и папа римский Григорий IX, не осознал, какой процесс запускался в движение. Издание булл, согласно которой преследование ереси стало особой функцией доминиканцев, едва ли можно назвать революционным шагом. Определение инквизицией того, что есть истина, было выработано не сразу. Но по мере выявления каждой детали этого процесса все более ясным становилось понятие истины.

Все, что инквизиция делала — кроме казни виновных — происходило втайне. Работа странствующих инквизиторов была окружена молчанием. В отличие от судей, чиновников, знати и короля, которые всегда носили одежду, имеющую символы, инквизиторы одевались в самые простые, черные облачения, подобно бухгалтерам из пословицы. И в то время как власть позволяла им исполнять на основе обвинений и разоблачений свою работу, на самом деле они стремились к исчерпывающему расследованию. Являясь апологетами истины, они были заинтересованы в том, чтобы каждая из их жертв сама заявила об истине. Деталью, говорящей сама за себя, было участие в этих секретных судилищах нотариуса. Он должен был записывать каждое слово, каждый вопрос и ответ. Эти нотариально засвидетельствованные бумаги стали бессрочными отчетами правды. Но цель такой точности — прославление методологии, а не результатов. Нотариус должен был удостоверить соответствие между априорными истинами и собранными фактами. При поверхностном подходе инквизиторы предстают мучителями и чудовищами, однако по сути они являлись моральными аудиторами.

Если искать конкретного отца Века Разума, то наиболее подходящим кандидатом будет Никколо Макиавелли. Именно он сформулировал в «Государе» (1513) и в «Рассуждениях» (1519) важнейшие принципы управления, которые-

ми мы руководствуемся и в наши дни. На него яростно нападали гуманисты Ренессанса, а впоследствии и энциклопедисты.

Они видели в Макиавелли своего старшего брата-антипода. «Отвратительная политическая система, которую можно суммировать двумя словами — искусство тирании»⁴. Но этот бывший высокопоставленный государственный служащий Флоренции, проявлявший особый интерес к реорганизации армии, по сути был человеком наших дней: честолюбивой личностью, умеренным националистом, постоянно пребывающим в поиске серьезного работодателя. Столкнувшись с князьями Медичи после уничтожения ими республики во Флоренции, он начал писать свои книги в значительной мере для того, чтобы завоевать доверие нового режима. Он был бы совершенным образцом для нового класса интеллектуалов, которых выискивал четыре с половиной столетия спустя Генри Киссинджер, человеком, преимущество которого заключалось в том, что он не принадлежал ни к какой партии, не имел никаких верований и был свободным агентом. Конечно, если смотреть на этого человека не глазами доверчивого работодателя, а более критически, то под маской эмоциональной и интеллектуальной свободы можно было разглядеть нейтральность наемника.

Посыл Макиавелли, что «новые методы и новые порядки», то есть новые пути и новые системы, потребуют острого взгляда скептика, превратил его в непреходящий символ Века Разума. Общественная мифология утверждала, что он был пророком политической безнравственности. По правде говоря, он был нейтрален к моральным вопросам. Он был придворным своего века, озабоченным поиском службы. Жизнеспособность, а не Добродетель искал он в политическом лидере. Вопросы политической эффективности были главной темой его исследований. В наши дни люди, к поведению которых применимо определение «макиавеллизм», едва ли сделают успешную карьеру. И тем не менее, можно задаться вопросом: почему так мало людей считают это определение положительным? Если издать комментарии шестнадцатого века к «Государю» и озаглавить их: «Власть и уп-

равление», или «Эффективное правительство», книга немедленно войдет во все курсы подготовки бизнесменов, государственных служащих и профессиональных политических деятелей. Она стала бы идеальным пособием для подготовки современного мирового лидера.

Следом за Макиавелли наступил третий акт становления разума: раскол в католической церкви. 95 тезисов Лютера (1517), англиканская церковь (1531), «Наставление в христианской вере» Кальвина (1536) были подобны одному огромному взрыву. Вероятно, произвол официального католицизма послужил катализатором такого взрыва. Но растущее понимание рациональной аргументации убеждало людей в том, что реформа возможна. И почти бессознательный популизм здравого смысла подталкивал подстрекателей к переводу Библии на различные языки. Простая популяризация разрушила монополию священников на слово. Это стало самым эффективным ударом по управляемой тайне.

Ясность таких основных идей, как право на несогласие с точкой зрения официальной церкви, персональная ответственность и личные свободы была вскоре утоплена в море крови. По мере того как количество жертв религиозных войн возрастало от тысяч до сотен тысяч и миллионов, обе стороны, казалось, потеряли из виду цель. В результате Реформация сильно изменила Европу. Но неоднозначность, свойственная всему процессу, была столько велика, что образ будущего в большей степени определялся теми, кто боролся против реформ, чем самими реформаторами.

Игнатий Лойола мало подходил на роль лидера Контрреформации. И менее всего он соответствовал образу разработчика идей современной рациональной методологии. Мелкий испанский дворянин, честолюбивый, отмеченный успехами как на поле брани, так и в покорении женских сердец, он обладал талантом царедворца. Эти способности и сыграли большую роль в его дальнейшей жизни.

В одном из сражений пушечное ядро попало ему между ног, раздробив кости и сделав калекой. Он не смирился с та-

кой участью и настоял на проведении ряда крайне рискованных операций, в ходе которых ему несколько раз ломали ноги. Но результат оказался неудовлетворительным: из одной ноги выступала кость. Тогда Лойола, боясь потерять место придворного, заставил врачей сделать еще одну операцию и отпилить часть выступавшей кости⁵.

После всех этих изнурительных операций он пережил тяжелый физический и душевный кризис и обратился к Богу. Его обращению сопутствовали чудесные явления и видения Всевышнего, скорее характерные для великого святого. И тогда произошло непредвиденное: классический путь к спасению души превратился в революцию.

Когда завершился первый, мистический этап его преобразования, стали меняться его воззрения на сам институт церкви. Такое интеллектуальное абстрагирование было четко обосновано, благодаря его пристрастию, свойственному юристам, к детализации, к закону, процедуре и, как следствие, к структуре. Этот период окончательного становления его взглядов занял всего несколько лет. И начался он с самого Игнатия, одиноко хромавшего к Богу по дорогам Испании (хирургические операции так и не дали желаемого результата), проповедовавшего в городах и деревнях, испытывавшего чувство любви и естественной общности с людьми и даже с землей. Неожиданно к нему стали присоединяться и следовать его примеру. Церковь не могла игнорировать эту небольшую группу людей, одетых в простые черные одежды и несущих веру. Поначалу наблюдатели полагали, что они подражают примеру святого Франциска Ассизского, также принявшего обет нестяжательства и простоты. Но облачения группы Игнатия не были результатом ни смирения, ни духовности, которая была им чужда, не говоря уже об их хорошей физической подготовке.

Игнатий обратился к людям, чтобы убеждать их, вести их к Богу не через любовь, а через логику. Он не стремился использовать свой необычный облик, чтобы привести человека к Богу. Скорее, его облик был сознательно приспособлен к тому, чтобы вернуть людей в Церковь. Он осмоторительно одевался чрезвычайно просто. Игнатий посте-

ленно превращался в первого совершенно рационального технократа.

В те времена любая религиозная инициатива была опасна. Игнатий был в соответствии с установленным порядком анонимно приговорен к суду Инквизиции. Инквизиция, с ее мастерством устрашения, была действительно духом новой эры, но и другие учились ее методам и совершенствовали их. Инквизиторам не удавалось соответствовать своей концепции власти через структуру. Насколько они отстали, стало очевидным, когда они столкнулись с Лойолой. В 1535 году он собирался со своими последователями покинуть Париж, и до него докатились слухи, что кто-то донес на него за его религиозную книгу «Духовные упражнения». Его жизнь была в опасности. Лойола сразу же явился к местному инквизитору и сообщил ему, что собирается уехать в Испанию. Если инквизиция намерена обвинить его в ереси, то она должна сделать это быстро. Инквизитор, не ожидавший подобной дерзости, был захвачен врасплох и стал думать, что у молодого человека имеются высокие покровители. С другой стороны, ему было интересно ознакомиться с книгой Лойолы. Исходя из большого опыта инквизиции, он знал, что письменные свидетельства лучше всего могут обличить человека.

Инквизитор немедленно прочитал «Духовные упражнения», похвалил книгу и попросил сделать для него копию. Он просто хотел внимательно изучить книгу для выявления еретических мыслей. Кроме того, небольшая книга могла бы также служить потенциальным мечом, который можно было бы держать над головой Лойолы с целью дальнейшей манипуляции молодым человеком.

Игнатий согласился, но настаивал на том, чтобы обвинение было предъявлено ему немедленно, с тем чтобы он мог попытаться доказать свою невиновность. Инквизитор заверил его, что в этом нет необходимости, оставляя за собой право решения вопроса. Игнатий удалился, обратился к официальному нотариусу и попросил его прийти к инквизитору и официально заверить хвалебный отзыв инквизитора о его книге, а заодно и отказ от дальнейшего преследования⁶.

Эта маленькая частная сцена имела колоссальные последствия. Первую структуру в истории человечества, основанную на обоснованном терроре, перехитрил будущий создатель второй.

Всего через четыре года Лойола убедил папу римского официально объявить о создании его ордена. В учредительном документе разъяснялась методология деятельности ордена. Эта методология содержала квинтэссенцию всего того, что в дальнейшем Век Разума провозгласил в качестве своей главной цели: «Каждый желающий стать иезуитом должен полностью утвердиться в мысли, что он является членом Общества, созданного исключительно для достижения прогресса в человеческих душах, в их жизни и в христианской доктрине... Эти цели могут быть достигнуты путем аргументации и обучения общества»⁷.

Послание было однозначным. Прежде всего, человек должен принадлежать организации, которая обладает методом. Вступление в организацию будет ограничено методом. Ее члены, таким образом, должны стать специально обученной элитой. Ее сила должна основываться на точности, исследовании и мобильности. Элита должна применять особые методы, чтобы обучать людей и через такое образование утверждать определенную точку зрения. Степень успеха должна постоянно контролироваться. Понятия «прогресс» и «система мер» с тех самых времен и вплоть до сегодняшнего дня стали использоваться как синонимы.

Этот холодный, профессиональный подход был конечным продуктом опытного, испытанного в битвах солдата, который организовывал Общество Иисуса как религиозную армию. Такой подход не имел ничего общего со слепой верой и деспотичной властью старой церкви. Вдруг стало ясно, что орден иезуитов овладел ключами к будущему: организационному и частично политическому. Доктрина сократилась до размеров полезного инструмента. Роль Бога стала вторичной. Вместо этого новый орден вынуждал католический мир поставить интересы матери-Церкви на первое место. В результате этого накал религиозных войн стал постепенно ослабевать: с уровня фанатичных убеждений и

эмоций он перешел на уровень политических интересов. Практический интерес означал договорный интерес, и принципиальные вопросы веры, которые невозможно было согласовать, неожиданно стали трансформироваться в территориальные претензии через монархические браки и финансовые интересы.

Избрание Лойолы главой ордена стало иллюстрацией его методов. У него не было конкурентов, все признали его лидерство. Голосование превратилось в пустую формальность. И все же Лойола, незадолго до этого пережитивший папу римского и ватиканскую бюрократию, с показной скромностью отказывался признавать результаты голосования в течение двух недель. После этого он вынудил своих коллег голосовать повторно, но результат оказался таким же. Наконец он едет через весь Рим, чтобы посетить своего духовника и испросить его совета. Бедный монах не мог посоветовать Лойоле отказаться от предложения, в противном случае все руководство церкви было бы возмущено. Лойола заставил духовника написать свой совет на бумаге и послать руководству католической церкви. На основании этой скрепленной печатью рекомендации, которая для простых смертных была равносильна Божьей воле, «скромный подвижник» наконец-то согласился возглавить Орден.

С самого начала деятельность Ордена была исключительно успешной. Спустя семнадцать лет, в 1556 году — год смерти Лойолы, Орден насчитывал тысячу членов. К 1700 году в Ордене было уже двадцать три тысячи человек, и это была самая мощная политическая сила на Западе. Иезуиты руководили большинством европейских правительств из-за кулис, не говоря уже об управлении колониями этих стран. Даже папа римский стал бояться их, и в конечном счете враги Ордена объединились и в 1773 году расформировали его. Однако именно иезуиты едва ли не в одиночку остановили распространение Реформации.

Лойола всегда использовал осторожный, аргументированный подход, свободный от догмы. Например, он стремился к введению инквизиции в Риме с тем, чтобы воспрепятствовать распространению новых еретических учений, но

выступал против ее использования в Германии, где церковь не имела достаточной власти. По тем же самым «политическим» причинам Лойола выступал за высшую меру наказания, когда речь шла о еретиках, но вместе с тем говорил, что «в современной ситуации в Германии это невозможно»⁸.

Создается впечатление, что его инструкции иезуитам Германии написаны человеком двадцатого столетия: «Люди, подверженные ошибкам, должны быть устранены из сфер управления, просвещения и образования; еретические книги должны быть сожжены вне зависимости от того, кто автор этих книг. Если он заражен вредоносными идеями, то нельзя допустить, чтобы люди испытывали к нему симпатию; необходимо созывать синоды, чтобы разоблачить определенные ошибки; еретика запрещается называть «евангелистом»⁹.

Эта последняя, самая незатейливая инструкция представляет наибольший интерес, потому что она провозглашает будущую диктатуру терминов, которая стала чрезвычайно важной в двадцатом столетии. Лойола был первым, кто признал за словами не только моральную силу. Поэтому было крайне важно управлять такими словами, полностью овладевать ими во благо церкви. Лучше всего, чтобы люди относились к этим словам как к иконам, чтобы их можно было поместить в оклад и использовать в политически выгодных целях. Таким образом, в прошлом существовали разнообразные «евангелистские» символы, некоторые из них были хорошими, некоторые — плохими. «Евангелие» означает «благая весть». В дальнейшем только те, кто говорит от имени церкви, могли извлечь выгоду из этих слов.

В нашем веке слова типа «капитализм», «революционер» или «свободный» используются аналогичным образом. Уже только то, что вы употребляете слово «свободный», ставит ваших оппонентов в затруднительное положение. Именно поэтому политические деятели или бизнесмены, намереваясь сократить объем социальных пособий или закрыть фабрики, всегда используют слово «справедливость» для оправдания своих действий, наряду с такими понятиями, как «правосудие», «модернизация» и «эффективность». Эти ми-

фологические слова создаются для того, чтобы заменить мысль. Они — современный эквивалент интеллектуальной пустоты.

Почти немедленно Общество Иисуса стало создавать образованную элиту среди светского населения. Никакое другое образование того времени не могло сравниться с системой образования иезуитов. Те, кто хотел дать хорошее образование своим детям, прежде всего обращались в иезуитскую школу. И все же с самого начала иезуитов критиковали за их цинизм, амбиции, вмешательство в вопросы политики и аморальные методы получения информации, то есть за все то, в чем выпускники ЭНА или обладатели степени MBA (магистр делового администрирования — *прим. пер.*) из Гарварда могут быть обвинены сегодня.

В основе этой критики лежит одно верное положение. Вне зависимости от того, что делало Общество, его политику почти всегда признавали двусмысленной. И даже выпускники его учебных заведений, несмотря на блестящую подготовку, обладали значительными нравственными дефектами. Чем более блестящим был студент, тем более отвратительной была эта деформация.

Происхождение этого недостатка лежит в изначальной посылке Ордена. Протестанты были первыми активными глашатаями реформ, получивших широкую поддержку. Лойола украл метод, при помощи которого они доносили свое послание, и применил его для защиты дела, диаметрально противоположного идеям реформаторов и идеям разума. На первый взгляд это казалось фундаментальным противоречием, но на самом деле принесло огромный успех. Фактически разум в его руках оказался гораздо сильнее, чем в руках реформаторов. То, что он создал, было послушным оружием, не стесненным никакими условностями и свободным от каких бы то ни было моральных или этических обязательств.

Иезуиты, отделив метод от каких-либо корней, обрели поверхностную силу, которая впоследствии обернулась слабостью. Созданная система оказалась неспособной защищать себя от неизбежных атак чуждых, противоречивых и

разрушительных моральных и интеллектуальных идей. Неудивительно, что уже к началу шестнадцатого века Орден иезуитов был глубоко заражен цинизмом.

Не требуется глубоких знаний, чтобы найти то общее, что связывает эти три феномена. Инквизиторы, Макиавелли и Лойола — все они были приверженцами априорной истины и служили уже существующим властям. Они были профессиональными администраторами. Макиавелли и Лойола были придворными и имели военный опыт. Их методология не была связана с идеями или этикой. Страх и тайна были их любимым оружием. Они предпочитали личную анонимность, осторожность, простое платье и действия из-за кулис. Методология становилась платным наемником, используемым как инструмент социальной и политической реформы.

Следующий шаг был решающим. В начале 1600-х годов рациональная технократия нашла долгосрочного партнера: национальное государство. Этот страстный брак планировался кардиналом и состоялся под эгидой теоретически абсолютного монарха: Людовика XIII.

Конечно, когда мы рассматриваем события тех лет, мы невольно попадаем под гипноз философского фейерверка, который вспыхнул в ту эпоху. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт вели Запад от средневекового прошлого к созданию двух противоположных рациональных школ: одной, основанной на новой науке, другой — на математике.

Бэкон долго занимался проблемой различия между построением аргументации для вывода и поиском ответа на задаваемые вопросы. Построения первого типа он впоследствии отклонил. «Логика, которой теперь пользуются, служит скорее укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в общепризнанных понятиях, чем отысканию истин. Поэтому она более вредна, чем полезна»¹⁰. С совершенной, удивительной простотой он показал фундаментальное различие между мыслью и суждением. Эта ясность, некогда высказанная им, казалось, не была востребована в течение полутора столетий, пока энциклопедисты не вдохновились идеями Бэкона и Джона Локка.

Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что ясность и открытость Бэкона не столь очевидны. Он сделал карьеру при дворе, с взлетами и падениями, и в этом он мало чем отличался от Макиавелли. Он предал своего патрона — графа Эссекса, затем возвысился, но согласился принять участие в специфической процедуре признания вины, проведенной в традициях инквизиции, и использовал свое высокое положение в корыстных целях. Он, кажется, был большим макиавеллистом, чем сам Макиавелли. Бэкон много писал о правде, но сам не признавал верховенства права, а следовательно, и парламента. Он считал естественный закон или разум более высокими категориями. Подобное определение источника правды требовало наличия абсолютного монарха, при котором присутствовал бы мудрый советник — сам Бэкон. И когда в своем произведении «Новая Атлантида» Бэкон представил идеальное общество, то фактически описал диктатуру технократов, которые стремились к знанию и правде, при этом скрываясь от людей. Знание и власть вступили в брачный союз с тайной и целомудрием. Это целомудрие или асексуальность могла на первый взгляд показаться странностью, присущей рациональному видению Бэкона, но постепенно она превращается в часть общего принципа.

Когда говорят о различиях между английской и французской философией, между Бэконом и Декартом, то указывают на различие их методов. Технически их аргументация сильно различается. Но намерение и результат фактически неразличимы.

Декарт, конечно, остается полубогом рациональной мысли. Его «Рассуждения о методе...» формализовали удивительное представление о разуме. Он учился у иезуитов, и казалось, именно они внушили ему, помимо прочего, покорное уважение к властям. Из опасения навлечь гнев властей он даже по собственной инициативе изъясил из продажи одну из своих книг. Его знаменитое использование сомнения постепенно утвердило себя в качестве консервативной силы, препятствующей разумным доводам о необходимости изменений пройти проверку рациональной истиной.

Декарт (1596–1650) был современником Ришельё (1585–1642). Этот кардинал независимо от мыслителя непрерывно занимался строительством первого подлинно современного государства, и в методах его управления можно обнаружить практически все дедуктивные идеи Декарта. Можно даже утверждать, что именно Декарт заимствовал некоторые идеи у Ришельё, а не наоборот. К тому времени, когда в 1637 году появились «Рассуждения о методе...» Декарта, Ришельё уже занимал пост первого министра в течение тринадцати лет. Уже в 1627 году кардинал внес предложения из тринадцати пунктов о «Рациональной реорганизации правительства». О степени усердия, с которым он создавал наше будущее, можно судить по таким предложениям, как реорганизация образовательной системы с целью увеличения выпуска дипломированных специалистов в научных, практических профессиях и в области искусства.

У Ришельё, государственного деятеля, правившего четыре столетия тому назад, можно найти как лучшие, так и худшие качества человека двадцатого века. Как человек, он был классическим примером лидера-технократа. Он обладал нервным, нетерпеливым характером, и это позволяло ему тайными методами управлять гораздо более эффективно, чем публично. Ему часто приходилось иметь дело с широкой оппозицией, и он предпочитал выбрать и при поддержке других уничтожить одного врага в группе оппозиционеров. Он цинично считал, что силой своего интеллекта может воздействовать на ход истории и изменять его направление.

Он сосредоточивался на деталях и был образцом трудолюбия. Ришельё замкнул на себя потоки информации и руководил ее отбором. К концу жизни он создал эффективную сеть секретных агентов и был копилкой человеческих секретов. Приверженность к секретам лежала в основе его системы управления. В своем самом первом публичном выступлении в Генеральных Штатах в 1614 году он, молодой и малоизвестный епископ, предложил для обсуждения два момента: первый — указание точного времени, когда они должны собираться, и второй — абсолютный запрет на разглашение то-

го, что обсуждалось на заседаниях. Точность, трудолюбие и секретность. Если этого недостаточно для законченной модели технократа, то можно добавить, например, его мстительность. Спустя двадцать восемь лет он лежал в агонии на смертном одре, распухший и жестоко страдающий, ясно сознавая, что через несколько дней умрет, но остаток сил он отдал на проведение суда и вынесение смертного приговора своему главному врагу, маркизу де Сен-Мару. Одиннадцать из тринадцати судей, вершивших суд над молодым человеком, утвердили приговор. Ришельё, хотя и не имел на это права, требовал, чтобы ему сообщили имена двух судей, проголосовавших против вынесения смертного приговора¹¹. И если бы не смерть, то Ришельё, вне всякого сомнения, добился бы признания того, что двое несогласных судей были пособниками предателя.

У Ришельё была также черта, свойственная людям, которые предпочитают иметь дело с системами, а не с людьми. На людях он старался выглядеть сдержанным и хладнокровным. Но среди доверенных лиц с ним часто случались приступы мстительного гнева и раздражительности. Он анонимно или под псевдонимом публиковал памфлеты против своих врагов. Например, памфлет против фаворита Людовика XIII герцога де Линя. В напечатанном анонимно памфлете кардинал писал, что у герцога шесть главных грехов, что он «некомпетентен, труслив, честолюбив, жаден, неблагодарен и лжив»¹². Язык, по мнению Ришельё, дан для того, чтобы скрывать от других свои мысли и поступки. Приверженность к секретности, стремление использовать властные структуры для достижения собственных целей и склонность к коварной интриге — вот далеко не полный перечень методов управления, которые применял Ришельё.

Но как у него возник вкус к интриге и манипулированию, откуда у него такой мрачный взгляд на самого себя, людей и общество? Китайская традиция кастрации советников императора была средством подавления династических мечтаний у честолюбивых молодых людей. Без сомнения, методы Ришельё напоминают подходы евнуха. И праздный исследователь неизбежно припомнит, как высоко ценил Бэкон асексу-

альность рациональных элит или как высоко между ног создателя рациональной системы Игнатия Лойолы угодило пушечное ядро и какой ущерб оно ему нанесло. Кажется, разум, вне зависимости от наличия в нем положительных моментов, часто выступает в облики кастрата. Стоит ли удивляться тому, что на руководящие должности он выдвигает людей с асексуальным видением мира?

Структура, которую внедрил Ришельё, конечно же имела прогрессивные черты, заслуживающие внимания. Он намеревался создавать честную систему управления, включая наиболее сложный элемент: честную систему сбора налогов. Он проявлял жесткость по отношению к оппозиционно настроенной знати, но зачастую помогал бедным, даже если они не были лояльны к властям. Он стремился искоренить элементы своеволия и волюнтаризма из королевского правительства. «Здравый смысл позволяет нам понять, что человек, обладающий разумом, должен поступать только разумным образом, так как в противном случае он будет действовать вопреки своей природе... нет ничего в природе менее совместимого с разумом, чем эмоция»¹³.

Централизация должна стать стержнем национального государства, и именно Ришельё принадлежит авторство в придании необратимости этому процессу. Он делал это, прежде всего, для того, чтобы создать эффективное, честное правительство, но также и для того, чтобы уменьшить негативное влияние как Церкви, так и аристократии. Сейчас трудно понять, насколько революционен был его подход. Его национализм был новой идеей, едва понятой, не говоря уже о принятии ее. Он боролся против господствующей линии властей и против всеобщей веры в права аристократии. Современная республика и ее эквивалент — конституционная монархия — в значительной мере являются творениями Ришельё.

В то же самое время во всех своих действиях, как положительных, так и отрицательных, он использовал страх как важнейший инструмент современной организации. «Наказания и награда являются двумя самыми важными инструментами управления... Власть должна внушать страх. Несомненно

одно: из всех сил, обладающих самой высокой эффективностью в общественных делах, страх является наиболее эффективным, если он основывается на уважении и на почтении, так как он может заставить каждого выполнять свои обязанности»¹⁴.

Однажды кардинал был отстранен от дел. Он стал вдруг неуверенным в себе, даже некомпетентным. Он начал ошибаться как в речах, так и в поступках. Стали проявляться признаки неконтролируемой паранойи. Оказалось, что его навыки пригодны для того, чтобы находиться у власти, но не в оппозиции. Но если рациональный метод вырос из защиты установленной власти, то как можно было ожидать от великого технократа симпатий к оппозиции? Эффективное использование власти исключает идею достойной оппозиции.

Если мы рассмотрим способы и методы действия, а также черты характера Ришельё, то увидим абсолютно современного человека. Вместе с тем он был первым, кто воплотил в жизнь мечту Макиавелли. Незачем становиться совершенным государем. Государь Макиавелли был только необходимым прикладным центром политического метода, продиктованного временем и местом. Ришельё, использовавший идею нового государя для создания новой системы правления, был, скорее, воплощением личной мечты Макиавелли. Людовик XIII, в силу своей слабыхарактерности и эмоциональной неустойчивости, был идеальной марионеткой в руках Ришельё. Те, кто обращал внимание лишь на постановочную сторону каждодневных взаимоотношений кардинала с королем и королевой-матерью, видели в них лишь мелкое интриганство. Они проглядели то, что действительно происходило во Франции.

В руках закоренелого технократа страна превращалась из феодального королевства в нацию. Вскоре утвердившаяся абсолютная монархия, которая обычно воспринимается как великолепная лебединая песня старых традиций, фактически стала первым полным проявлением рационально управляемого национального государства.

За дворцовым театром абсолютной монархии быстро возростала мощь государства Ришельё, правителя, лишен-

ного как малейших реальных претензий на королевские права, так и каких-либо моральных принципов. Версаль был государством современным, но имевшим блестящую личину театральности. Учитывая силы, которые Ришельё привел в действие, появление вместо государя чего-нибудь более податливого, например конституционной демократии, при которой правительства приходят и уходят, а кардиналы, либо их светский эквивалент, остаются, стало всего лишь вопросом времени

В буддизме есть понятие о срединном пути, которое всегда очаровывало жителей западных стран, неудовлетворенных тем направлением, по которому шло развитие нашего общества. При внимательном изучении, этот срединный путь оказывается чрезвычайно трудным. Однако фраза выражает ту разумность, которая отсутствует в нашем собственном рациональном абсолютизме. Тенденция авторов восемнадцатого столетия искать аллегории на Востоке основывалась на предположении, что люди там, вероятно, более благоразумны.

Это не означало, что умеренность отсутствовала в западной мысли. Бэкон испытывал сильнейшее нервное напряжение, пытаясь найти открытость мышления. Ришельё сталкивался с аналогичными затруднениями, стараясь создавать справедливые общественные учреждения. И конечно, Блез Паскаль напряженно трудился, пытаясь вслед за Декартом установить моральные источники разума: «Итак, все наше достоинство заключается в мысли. Вот в чем наше величие... Постараемся же мыслить как должно: вот основание морали»¹⁵.

В некотором смысле Мольер был *альтер эго* Паскаля. Возможно, благодаря огромной популярности Мольера возникло впечатление, что разумным действиям дан шанс на осуществление. Но те, кто, подобно Мольеру, высказывал прямые истины перед большим числом зрителей, стали играть особую роль в обществах, где господствовала субъективная власть в государстве, в сфере образования, в бизнесе и в любой другой ключевой области. Они играли роль клоунов на

сцене. После того как гражданин посвятил день, год, жизнь реальной системе — той, которая имела власть, — он шел мечтать и смеяться в театре, где Мольер высмеивал его хозяев и начальников.

Однако Паскаля невозможно полностью игнорировать. Им можно было восхищаться, и это подразумевало, что его было невозможно слушать. Он мог стать подобием почитаемого святого, который лучше, чем прочие смертные, но за которым невозможно следовать. В противоположность, например, Томасу Гоббсу, который оказал огромное влияние на Англию, выдвинув идею механистического светского социального контракта, который зависел от абсолютного монарха и, прежде всего, от насаждаемого страха как инструмента контроля.

Другие, подобно Джону Локку, выглядели гораздо привлекательнее. Но он нападал на старые власти и на неподдающийся объяснению установленный порядок. И это приветствовалось. В то же время он вел население, с его системой контракта, дальше, по тому легкому пути, открытому Бэконом и Декартом, который, в конечном итоге, привел их к навязчивой идее о необходимости доказательств и, следовательно, фактов.

Факты тогда были большой редкостью, как самородки, и никто не знал, как они множатся. Все считали, что настоящие факты должны быть твердыми и неодушевленными. Но тогда никто не понял, что жизнь превратится в бесконечный неудобный спуск по берегу, густо усеянному фактами всех размеров и форм. Валуны, галька, черепки, идеальные овалы. Никому не приходило в голову, что эти факты, реальные и искусственные, сами по себе не имели никакого смысла, были не более полезны, чем несовершенный словарь без грамматики или синтаксиса. Человек мог выбрать любой понравившийся факт и бросить его, как камешек, по поверхности воды. Опытная, талантливая рука могла заставить срикошеть три, возможно, четыре раза, в то время как менее опытная не могла добиться и единственного рикошета, и факт плюхался в воду с одинаковым звуком конкретного доказательства как той, так и совершенно противоположной прав-

ды. Другой человек мог бы выстроить на берегу из этих же фактов некоторое подобие крепости.

Что касается Локка, то он, разумеется, не предполагал, что факты быстро станут оружием не только в руках хороших, но также и дурных людей и будут орудием не только правды, но и лжи. Если бы он оглянулся назад на карьеру Ришельё, то, возможно, увидел то, к чему это может привести. Ришельё, находясь в Риме в возрасте двадцати лет, обсуждал проповедь перед папой римским, чтобы доказать определенное положение. На следующий день он снова стоял перед папой римским, обсуждал ту же самую проповедь и сумел доказать совершенно противоположное утверждение¹⁶.

Едва в Европе зародился современный разум, как появились первые ласточки будущей слепой логики. Конечно, находились и такие, которые понимали, что может произойти, и убедительно предупреждали об этом. Вскоре прозвучали резкие слова Джонатана Свифта. Книжки, подобные «Путешествию Гулливера» (1726), принесли ему специфическую славу эксцентричного маргинала. Кроме того, был несчастный профессор Джамбаттиста Вико, который пытался обнародовать свои идеи в католическом Неаполе. Он использовал исторический подход для опровержения картезианских абстракций самооправдания. Чтобы принизить значение его взглядов, рационалисты впоследствии приклеили на него ярлык реакционера-обскурантиста. Но он не стремился защищать старый порядок, не говоря о худших его проявлениях. Скорее всего, им двигала такая же любознательность, как и в случае Паскаля, то же самое стремление определить, что такое добро и зло. «Ныне, — писал он в 1708 году, — восхищаются критикой и суждением. Предмет рассмотрения сам по себе имеет маловажное значение... Говорят, что человек способен к суждению, надо лишь научить его этому, и он сможет определять, справедливо оно или нет. Но кто может быть уверен, что видел все?»¹⁷

Что касается новых методов анализа, то «невозможно отрицать сказанное до тех пор, пока вы не начнете атаку на это с самого начала»¹⁸.

Вико был, возможно, первым, кто признал непреодолимую силу новых и теоретически свободных методов аргумен-

тации, которые фактически были сформулированы таким образом, что заранее заданный ответ становился неизбежным. Он и Монтескьё осудили потерю «политического призвания», как это проповедовали греки и католики — призвания в пользу правды, видения общества как морального, нравственного целого¹⁹.

Именно Монтескьё, профессиональный юрист, сын мелкого дворянина из Бордо, в начале восемнадцатого столетия первым из французских философов заявил о своем восхищении гражданскими свободами в Англии.

Но если правда становилась не чем иным, как выстроенным аргументом, насыщенным полезными, удобными фактами, тогда что остается от морали, кроме макиавеллизма, с одной стороны, и грубого чувства — с другой? Здравый смысл, который можно было бы назвать осторожной эмоцией или благоразумием, вовсе перестал приниматься во внимание. Вико и Монтескьё чувствовали, что может произойти после того, как будут срезаны якоря старой системы: воцарится технократия в любопытной коалиции с животными эмоциями. Совершенно нормальные эмоциональные потребности человека, в отсутствии социального контекста, сводятся к чувству. И это было то основное чувство, высвобожденное рациональным технократом, которое превратилось впоследствии в культ Героя.

Лиссабонское землетрясение 1755 года пошатнуло моральные основы существующей власти. Была нарушена внутренняя стабильность Церкви и абсолютной монархии; впоследствии вьетнамская война имела аналогичный эффект в Соединенных Штатах. Эта катастрофа, в которой погибли тысячи невинных детей, женщин и мужчин, бедных и богатых, казалось, так или иначе, требовала немедленного объяснения. В Европе люди задавались вопросом: за что? Церковь и официальные власти не нашли другого ответа, кроме того, что Бог наказал грешников.

Люди инстинктивно признали такой ответ смешным. Лиссабон не был каким-то чрезмерно грешным городом. По этой части он, конечно, уступал Мадриду, Парижу или Лон-

дону. И к тому же погибли дети, женщины, бедняки. Они никак не могли натворить особенно страшных грехов. Заявление о божественном возмездии было настолько курьезным, что люди вдруг почувствовали себя свободными от всякой обязанности верить высказываниям властей. Особенно сильно пострадал моральный авторитет церкви с ее претензиями на роль духовного ориентира в жизни людей.

Из всего населения в наиболее затруднительном положении оказалась аристократия. В течение десятилетий она непоколебимо верила в законность своих прав. Более того, она извлекала прибыль из того, что народ до определенного момента верил властям и церкви. Философы Просвещения, со всем своим едким остроумием, напали на официальную трактовку лиссабонской трагедии, значительно подорвав позиции аристократии. До краха было еще далеко, но первый удар был нанесен.

В том же году произошло событие, которое позволило предположить, что разум не только абстрактная идея, но и орудие управления обществом. После этого философам не нужно было, подобно Монтескьё или Вольтеру, придумывать мифические восточные народы для иллюстрации своих идей. Достаточно было обратить свой взор на республику на Корсике²⁰.

История избирательна в своем стремлении сохранить память о событиях. Фиксация в истории того или иного события требует длительного существования достаточно многочисленного сообщества людей — племени или народа, которое бы могло включить это событие в свою мифологию и сохранять его в течение столетий. Корсиканская республика выветрилась из общей памяти, потому что никто, кроме жителей этого средиземноморского острова, не был заинтересован в сохранении ее истории. Философские идеи, которые Паскаль Паоли использовал при создании своей республики, имели в значительной степени французское происхождение. И именно французы разрушили эту республику: сначала Людовик XV, затем Революция и окончательно — Бонапарт. Даже на самом острове понимали, что значение республики Паоли будет уменьшаться в связи с интеграцией во Францию.

Корсика принадлежала Генуе с шестнадцатого столетия. Генуя уделяла больше внимания портам острова, в то время как большинство населения проживало в горной местности внутренних районов. Время от времени, особенно в восемнадцатом веке, враждующие корсиканские кланы договаривались об общем лидере и поднимали восстание. Отец Паоли успешно руководил одним из таких освободительных восстаний. Но генуэзцы обратились за военной помощью к австрийцам и французам, и в 1738 году Паоли-старший бежал в Неаполь со своим тринадцатилетним сыном. Паскаль Паоли был воспитан в изгнании в Италии, где изучал классиков, философию восемнадцатого века, итальянский, французский и английский языки, получил военное образование и стал офицером.

В 1755 году кланы снова объединились, «всеобщим голосованием» избрали тридцатилетнего изгнанника своим главой и попросили его вернуться на родину. Паоли приехал с намерением воплотить в жизнь идеи философов на Корсике. Паоли изменил ход заурядного восстания корсиканских кланов, и вскоре весь остров, кроме нескольких осажденных портов, был освобожден. Отчаявшись, генуэзцы вновь обратились за помощью к Франции, и Людовик XV отправил на остров военную экспедицию. (По странному стечению обстоятельств будущий революционер Мирабо оказался среди французских офицеров.) Армия Паоли использовала партизанскую тактику, изматывая регулярные войска, но в ответ Людовик XV, чтобы одолеть повстанцев, решил отправить вторую, большую экспедицию, взамен потребовав от Генуи прав на остров.

По поводу этого вторжения Руссо писал: «Невозможно поверить, что Франция хочет быть подвергнута осуждению всего мира»²¹. Питт-старший, позднее выступивший против своего короля в поддержку американских революционеров, поднял свой голос в защиту Корсики, заявив, что Паоли — «один из тех людей, которых можно встретить разве что в «Жизнеописаниях» Плутарха»²².

Во второй французской экспедиции находился молодой майор граф де Жибер, будущий создатель современной воен-

ной стратегии. Теперь, когда их территориальные претензии оказались под вопросом, французы стали серьезней относиться к наличным резервам и к соотношению сил воюющих сторон. Единственная крупная стратегическая ошибка привела к разгрому армии Паоли близ горной речки у Понте-Нуово в 1769 году.

Республика была разгромлена. Паоли бежал. Его высшие офицеры, включая отца Наполеона Бонапарта, разошлись по домам. И Париж начал стандартную процедуру поглощения недавно завоеванных территорий. Она включала запрет на обучение корсиканскому языку и отправку молодежи мужского пола из числа местной элиты во Францию для получения образования.

Тем временем Паоли отправился в эмиграцию в Англию. Тогда большинство философов полагало, что англичане имеют наибольшую политическую свободу в Европе. И Паоли надеялся на теплый прием там, благодаря Джеймсу Босуэллу, который за несколько лет до этого посетил Корсику и написал восторженную книгу о событиях на острове и о республике Паоли.

На пути в Лондон побежденный лидер побывал во многих европейских странах, и везде его приветствовали как выдающегося героя — носителя политического разума. Огромные толпы — зачастую настолько большие, что он не мог выйти из здания, в котором останавливался, — следовали за ним повсюду. Его портреты вышивали на носовых платках. Короли Европы устраивали в его честь пышные приемы. Когда он прибыл в Англию, Джон Уэсли написал: «Господь да проявит к нему свое благоволение и даст ему королевство, которое никто не сможет у него отнять!»²³

Это было время начала американской революции, и в колониях чтили только трех иностранных героев: Питта-старшего, Джона Уилкса и Паоли. Корсика играла ключевую роль в распространении республиканского идеала среди населения этих тринадцати колоний. Кораблям и детям давали имена в честь лидера-мученика. Когда революция началась, мятежники использовали его имя как лозунг для объединения в выступлениях против английских частей. И позднее

старые революционеры повсюду в американской республике поднимали стакан в честь дня рождения Паоли.

Сегодня трудно вообразить то воздействие, которое корсиканская республика оказывала на Европу и Америку в течение четырнадцати лет, а позднее и на ход французской революции, когда Паоли пригласили из лондонского изгнания в Париж. Там его приветствовало Учредительное собрание в полном составе — от умеренных до революционеров — как первого человека, который поднялся на борьбу с королями и начал управлять страной под лозунгом разума. Все они: Мирабо, Дантон, Робеспьер — знали, что в 1762 году, когда республике Паоли было только семь лет, Руссо написал в своем труде «Об общественном договоре»: «Есть еще в Европе страна, способная к восприятию законов: это остров Корсика. Мужеством и стойкостью, с каким этот славный народ вернул и отстоял свою свободу, он, безусловно, заслужил, чтобы какой-нибудь мудрый муж научил его, как ее сохранить»²⁴.

Различные философы представляли себя в этой роли, но обстоятельства вынудили Паоли принять ее на себя. Не будучи идеологом, он ощущал себя носителем разума. Он обладал природным здравым смыслом, позволявшим ему руководить разумно и мудро, в отличие от его противников — как старых, так и новых. Но тем не менее, он был побежден объединившимися против него монархистами и крайними националистами.

В двадцатом веке популярность Александра Дубчека в Чехословакии или Сальвадора Альенде в Чили может быть сравнима с популярностью Паоли в Европе и Америке восемнадцатого века, хотя такое сравнение может показаться надуманным. Паоли был предвестником абсолютно новой идеи. Он был первым лидером, которому идею удалось превратить в жизнь. Он популяризировал среди интеллигенции и через нее среди населения Европы идею правления разума. Его воздействие на массы было аналогично влиянию Джона Кеннеди в Америке. Позднее, в эмиграции, он стал напоминать Нородома Сианука — блуждающую тень маленькой страны, разрушенной великими державами.

Но ни в коей мере нельзя утверждать, что воплощение на практике образа современной республики оказалось идеальным. Он имел дело с бедным населением, все еще разделенным на кланы. Выбор Паоли стал результатом компромисса между кланами. В некотором смысле можно сказать, что если и было общество, невольно напоминающее демократию Маркса, то это была Корсика, куда Паоли прибыл в 1755 году.

Он попытался провести свою страну непосредственно из средневековья в Век Разума, перепрыгнув через столетия абсолютных монархий, аналогично тому, как это пытались сделать в наши дни многие правители. Сначала он, казалось, был образцовым республиканским лидером. Он одевался в простую одежду и отказывался от денег, которые выделяла для него Ассамблея. Он стал создателем системы школьного образования и основал университет. Хотя сам он был верующим человеком, но он серьезно ослабил политическую и экономическую власть церкви, создал справедливую судебную систему, поощрял развитие местной промышленности в том направлении, которое мы теперь называем социал-демократическим. Он помогал Ассамблее в разработке образцовой конституции, которая поощряла децентрализацию и местное самоуправление. Весь мир узнал о его прогрессивных идеях и реформах, благодаря статьям Босуэлла и обширной переписке, которую вел сам Паоли.

Им, как политическим деятелем, отстаивающим интересы народа, восхищались многие политики разных стран. Он был националистом на службе общества и свободного государства. Уильям Пенн говорил, что в этой мирной колонии живут люди, «более счастливые, чем Александр Македонский после разгрома Фив»²⁵. Он обладал сильно развитым чувством справедливости и «веры в народ», которая не изменяла ему до последних дней жизни. Благодаря принципам Просвещения, заложенным в ней, конституция Корсики 1762 года оказала влияние и на современное законодательство. Его вступительная речь на открытии Консульты была образцом разума в действии: «Наши сограждане, избрав Вас в качестве своих законных представителей, вручили Вам свои

самые дорогие надежды... поэтому будьте честными, просветите друг друга открытым обсуждением и убедите себя в том, что решения, которые Вы совместно будете принимать, станут законом этой земли, так как они станут искренним выражением воли всех жителей страны».

Именно Паоли первым написал, что свободные граждане готовы принять только «свободу или смерть». Возвратившись на Корсику после двадцати одного года изгнания в Англии, он упал, чтобы поцеловать землю, запечатлев таким образом, связь между разумом и любовью к родине: понятиями, которые, больше чем любые другие, были искажены и служили противоположным целям.

Республика Паоли в большей степени, чем американская, была предшественницей французской революции. В 1790 году Мирабо, желая очистить свои руки, «запачканные» участием в военной экспедиции, которую Людовик XV направил, чтобы уничтожить корсиканскую республику, предложил Учредительному собранию пригласить Паоли из английской эмиграции во Францию. Французская конституция 1790 года имела много общего с конституцией, которую Паоли разработал за четверть века до ее принятия, поэтому он прибыл в Париж как герой. Перед дверями Собрания его восторженно приветствовала толпа. Лидеры фракций выстроились в очередь у трибуны, чтобы выразить ему свое восхищение. Задал тон Робеспьер: «Вы защищали свободу тогда, когда мы даже не смели думать об этом»²⁶.

Экзальтированные и переменчивые трибуны Парижа послали его на Корсику, чтобы управлять ею от их имени и во имя Разума. На родине Паоли встретили как национального спасителя. Как и в 1755 году, он не поддался искушению прославиться и приступил к работе. Это стало кульминацией всей его жизни. Создав первое правительство разума, он оказался между двумя силами, которые стали господствовать над Западом: технократами и Героями — классическими подвидами современного рационального общества. Честность Паоли, его возраст и небольшие размеры Корсики, оказавшейся в центре этого урагана, — все это ограничивало для него свободу маневра.

Не успел он приступить к выполнению своего мандата, как выяснилось, что в Париже нарастает вал смуты и беспорядков, и революционеры в непрерывной грызне стали уничтожать друг друга. Было просто невозможно оставаться в стороне от этих грязных и кровавых событий. Трудно сказать, было ли большое отдаление от Парижа недостатком или преимуществом. В любом случае, он оказался под огнем критики Собрания, члены которого делали все возможное, чтобы ослабить позиции Паоли.

Наиболее уязвимым в условиях дестабилизации оказалось новое поколение молодых корсиканских аристократов, которые выросли в течение двадцати лет французского правления. Это была любопытная группа — почти шизофреники. Получившие образование во Франции и втянутые в парижскую орбиту — с неявным, поверхностным комплексом городского превосходства, под которым кроются демоны провинциальной неполноценности, — они были сыновьями вождей кланов и корсиканскими националистами, хранившими неприязнь к французским захватчикам. Паоли был их духовным отцом.

Теперь, вместе с революцией в Париже, в моду вошло новое явление: романтические устремления. Каждый молодой человек мнил себя потенциальным Героем, в котором во всей полноте раскрывается раскрепощенное эго. Этим людям стал чужд дух общественного служения и самопожертвования, к которому призывал Паоли. Если молодой человек чувствовал себя достаточно храбрым, чтобы пуститься на поиски личной славы, то судьба и разум так или иначе подталкивали его к тому, чтобы ее добиться, невзирая ни на что. Предательство близких и родины ничего не значило по сравнению с достижением славы — осязаемым результатом карьеры. Еще Вольтер в своем «Философском словаре» писал: «Тот, кто захвачен амбицией стать эдилом, трибуном, претором, консулом, диктатором, кричит, что он любит свою страну, но он любит только самого себя»²⁷. Для молодого корсиканца, пылавшего огнем героических амбиций, не было большего препятствия, чем Паоли — живое воплощение разумного общественного служения.

Братья Бонапарты были в первых рядах новых поклонников Героя. Паоли имел все основания доверять им. Их отец был одним из лучших и самых близких ему офицеров. Их мать была известной патриоткой. Во время кампании против войск Людовика XV она шла вместе с мужем через горы от одного сражения к другому. 8 мая 1769 года она, на шестом месяце беременности, была среди бойцов, когда корсиканская республика потерпела самое большое и последнее поражение при Понте-Нуово. Она вместе с мужем сумела избежать гибели и добраться до дома в Аяччо, где и родился Бонапарт. Двадцать лет спустя молодой человек служил во французской артиллерии, но все еще был искренним сторонником независимости Корсики. Его, подобно Паоли, вначале вдохновляли идеи революции 1789 года. Позднее, по мере роста смуты и шовинистических настроений в Париже, Бонапарт писал Паоли о своей ненависти к французам и о своем сочувствии бедным корсиканцам, «придавленным цепями даже тогда, когда они, дрожа, целовали руку, которая их угнетала»²⁸.

Однако, по правде говоря, молодые корсиканские аристократы уже втянулись во фракционную борьбу и водоворот революционных событий. Кто был чист? Кто не был? Кто был революционером? Кто предателем? Что такое свобода? В чем состоит общественное благо? Кому должна принадлежать власть? Кто должен умереть? Абстрактная рациональная мысль работала во всю мощь, оказывая непосредственное воздействие на реальный мир. Паоли не позволил втянуть Корсику в этот кровавый водоворот. Вместо этого он продолжал курс последовательных, спокойных реформ. Парижское Собрание было в руках крайних радикалов и повсюду разоблачало заговоры. Они объявили Паоли преступником и угрожали вторжением на Корсику. Они также нашли молодых корсиканцев, живущих в Париже, и убедили их, что умеренный реформатор Паоли является контрреволюционером. На остров была послана небольшая группа молодых людей, чтобы спровоцировать героические, революционные события. Паоли, против которого эти события были направлены, созывает корсиканскую Консульту: 1000 членов консти-

туционного собрания. Во второй раз за сорок лет они объявили остров независимой республикой.

Но когда старик обнаружил, что группа молодых корсиканцев, включая Бонапарта, фактически устроила заговор против него, чтобы захватить власть в Париже, он впал в отчаяние и стал искать противовес Франции. Таковым противовесом стала Англия. Он объявил, что корсиканская республика переходит под британский протекторат, но вскоре убедился, что англичане столь же корыстны, как и французы. Лондон послал губернатором сэра Джильберта Эллиота, технократа ограниченного ума. Тщеславный, склонный к заговорам и лести, ревнивый к почестям администратор, не покидающий своего дворца, Эллиот не мог смириться с тем, что поддержка, которую англичане имеют на острове, полностью зависит от лояльности к Лондону людей Паоли. Вместе с тем он видел в старом вожде конкурента и составил с английскими властями заговор, целью которого стало отстранение Паоли от власти.

Эллиот полагал, что его собственная неспособность контролировать остров может быть полностью устранена при помощи административных ухищрений. Проблема, утверждал он, в возрасте Паоли. Старик замедлял ход событий, используя длительные переговоры с корсиканцами. И его желание управлять государством, основываясь на принципах разума, борясь с французским империализмом, мало сочеталось с войной, бушующей в Европе. Эллиот полагал, что если он сможет избавиться от Паоли, то унаследует его административную систему, а таким образом и весь остров. Через некоторое время он благодаря своим ухищрениям вынудил старика эмигрировать в третий раз. Эллиот в течение одного дня имел в своих руках контроль над островом. Но затем положение резко изменилось. Ему стало небезопасно выходить из дворца. Вскоре англичане были вынуждены покинуть остров.

На бумаге Эллиот, разумеется, не потерял Корсику. Он решил бежать с нее, возложив всю вину на Паоли. По его версии, если бы старик отошел от дел раньше, то все было бы хорошо. В отчетах, которые он посылал в Лондон, упоминалось

очень много людей, которые мешали ему управлять островом. Эллиот умудрился получить титул графа Минто, и впоследствии стало традицией награждать штабных офицеров, проигравших сражение. А своим семейным гербом он сделал национальный символ Корсики: голову мавра с белой лентой в волосах.

Что касается Бонапарта, то после того, как был раскрыт его заговор, он бежал во Францию и поставил перед собой более высокие цели. Он являл собой совершенный образец идеального Героя в стране, в которой он был иностранцем. Рациональные мыслители со времен Макиавелли часто возвращались к мысли об одиноком Герое или наемнике.

Тем временем братья Бонапарты воплощали в жизнь идею создания и возвеличивания рационального героя. Будучи первыми, действуя как организованная семейная группа и удерживая власть более десяти лет, они определили направление героических действий в течение следующих двух столетий. Единственной проблемой, которая возникла в процессе создания этой мифологической ауры, было то, что они пробились во власть, предав первого крупного рационально ориентированного государственного деятеля, который также был человеком, руководившим их отцом и их родиной. Другими словами, они также предали и свою собственную страну.

Упорное нежелание посетить Корсику после прихода Наполеона к власти является косвенным свидетельством того, что он не признал своей вины. Кроме этого, он ускорил интеграцию острова в структуры французского государства. Париж развернул чрезвычайную пропагандистскую и мифотворческую кампанию с целью дискредитации Паоли и его деятельности. Поскольку Революция представляла собой воплощение разума, а Наполеон был ее естественным наследником, то Паоли следовало представить врагом разума. Поэтому официальная мифология постоянно балансировала между идеализацией Бонапарта и созданием карикатурного образа Паоли. Эта формула была наконец доведена до совершенства в двадцатом столетии в блестящем, но абсолютно не соответствующем фактам фильме Абеля Ганса,

обожествляющем Бонапарта. Молодой человек представлен как бескорыстный, нравственно чистый, физически совершенный идеалист, который был вынужден иметь дело с диктатором Паоли — старым, обрюзгшим, коррумпированным дегенератом, к тому же сифилитиком. Тот факт, что Паоли был исключительно честен, умер в бедности, что он вел монашескую жизнь и радел за демократию, в то время как Бонапарт был политическим, военным и финансовым авантюристом, что он потворствовал своим безудержным эгоцентрическим амбициям, исчезает в легковесном потоке кинематографической мифологии. Абелью Гансу удалось извратить даже внешний вид этих деятелей. Паоли был высоким и статен, Бонапарт же был коротышкой с неопущением яичка, а в зрелые годы сильно растолстел. Но это не имело никакого значения. В конце концов, создание Героя имеет такое же отношение к действительности, как административные заслуги сэра Джильберта Эллиота, известно как граф Минто.

Задолго до этого бедственного периода в жизни Паоли пример его первой республики был уже подхвачен в американских колониях. Там разуму дали еще одну возможность продемонстрировать свою жизнеспособность. Колонисты оказались удачливее корсиканцев. К тому же Лондон был далеко. Власть британского парламента умеряла власть короля. А влияние сторонников колоний в самом парламенте, в свою очередь, ослабляло военную партию. Колонии занимали гораздо большую территорию и управлялись не одним блестящим человеком, а группой выдающихся людей. В этой группе были два человека, которые пришли на смену Паоли в международной мифологии идеала республиканца.

Справедливости ради надо сказать, что, если бы в начале их истории во главе Соединенных Штатов не стояли Вашингтон и Джефферсон, развитие страны пошло бы по другому пути. Трудно предположить, по какому руслу направилось бы революционное возбуждение, и стала ли бы страна развиваться в направлении разума, если бы ее не возглавили спокойный по характеру первый президент, обладавший

безукоризненной честью и ограниченными амбициями, и третий президент, который, вдобавок ко всему, был наделен гениальным воображением и спроектировал республику разума.

Нельзя сказать, что ход Революции удовлетворял ее лидеров. Одобренная Конституция, как справедливо заметил судья Верховного Суда Торгуд Маршалл, была «с самого начала ущербна»²⁹. Даже после Гражданской войны и важных социальных преобразований система управления все еще была неспособна справляться с ужасными экономическими противоречиями, насилием и ростом процента безграмотного, аполитичного населения. Однако Вашингтону и Джефферсону удалось сдержать в республике накал революционных страстей. Опыт Франции показывал, что могло бы произойти. Захваченная революцией без выдающихся республиканских лидеров, страна билась в припадке, как эпилептик, от республики к диктатору, от диктатора к королю, от короля к диктатору, от диктатора к республике, от республики к диктатору и снова к республике, каковой она является и в настоящее время.

Существует расхожее представление, что революция во Франции вызвала гораздо более сильные изменения в обществе по сравнению с американской. Последующая нестабильность положения во Франции, как полагают, стала результатом этих резких изменений. Но если мы говорим о глубоких социальных изменениях, то анализ ошибочен. Во Франции реальная революция уже происходила постепенно, в течение предыдущих двадцати лет.

Новый интеллектуальный и административный класс уже формировался в духе рационализма. Большинство из его представителей вышло из аристократии, точнее, из ее обедневших слоев, которые можно было бы сравнить с верхами современного нового среднего класса. Многие из административных изменений, которые провозгласили революционеры, уже осуществлялись к моменту начала революции. *Ecole Royale des Ponts et Chaussées* (Национальная школа гражданского строительства) была основана в 1776 году, вслед за Высшей горной школой и *Ecole Normale Supérieure* (Высшей нормальной школой) для подготовки

преподавателей. Только самая крупная из всех национальных школ — Национальный политехнический институт — был создан в разгар революции группой представителей средних классов, которые почувствовали, что они являются продолжателями процесса, а не его инициаторами. Уже при Людовике XVI армия была модернизирована до такой степени, которой англичане смогли достичь лишь в конце девятнадцатого века. Революционная армия, вызывавшая всеобщее восхищение и разгромившая огромную прусскую армию при Вальми в 1792 году, фактически была реформированной королевской армией, которой, по большей части, командовали воспитанники королевской системы военного образования: молодые, родовитые, профессиональные офицеры, которые были подготовлены в соответствии с принципами рационального управления задолго до 1789 года.

Что касается божественного происхождения королевской власти, против чего официально и выступила Революция, то в эту сказку уже давно никто не верил. Да и как в это можно было верить, когда большинство представителей правящей элиты едва верило в Бога. Вполне понятно, что они не верили в активного, практикующего Бога.

Просто те формы, в которые Людовик XIV первоначально облек государство, стали прочными и надежными. Он одевался и жил как король-солнце, чтобы представить аристократии и народу зримый образ своей власти. На ступенях, которые спускались от его величественного трона, каждый аристократ имел свое место в порядке убывания власти. Людовик стремился связать аристократию с этим бессмысленным кодексом, чтобы управлять ею в процессе укрепления своей власти. В конце концов, он был человеком, которому больше нравилась простота, человеком, который видел разницу между образом короля-солнца и самим собой — реально действующим главой государства. Особенно в течение второй половины своего правления, он при возможности избегал общества, отказался от экстравагантных костюмов и, подобно актеру за кулисами, спокойно сидел с женой в своем маленьком салоне.

Понадобилось столетие для преодоления разногласий. Людовик XVI и его окружение на самом деле стали считать, что видимость определяет все. Они полагали, что именно этот маскарад, эта система публичности и сделали Людовика королем, без этого он был бы никем. Боле того, если имела значение только видимость, то пропадала всякая необходимость волноваться по поводу реальной компетентности, когда речь шла о выполнении конкретной работы. Это рассуждение может показаться знакомым, потому что это напоминает расхожее представление о компетентности нынешних политических лидеров.

Во время революции Людовик утратил контроль над событиями не только из-за своей слабохарактерности, пьянства или глупости своей жены, но и из-за неумения проводить различие между реальностью и видимостью. Это проявилось во время неудачной попытки спастись бегством в 1791 году, которая закончилась повторным арестом в Варенне. Путаница в его голове между королевским достоинством и необходимостью прибегать к маскировке стала причиной отказа от нескольких эффективных планов спасения. Он соглашался на самые трудноосуществимые варианты и отвергал малейшую возможность маскировки. Людовик носил розовый парик, но отказывался переодеться в другой костюм, считая это ниже своего достоинства. Весь план побега казался костюмированным балом, а не событием, от которого зависела его жизнь. Правительственная структура, в которой руководитель и его старшие советники могут поставить под удар существование всей системы из-за отказа руководителя на несколько часов надеть парик слуги, не просто больна, она по нормальным клиническим меркам фактически уже мертва.

Но почему результаты революции во Франции были более негативными, чем в Соединенных Штатах? Первый ответ уже приведен: Америке повезло с революционными лидерами. Во-вторых, в отличие от Франции, Америка не стремилась воплотить до конца республиканские идеалы. Оценка Вашингтона как руководителя почти полностью соответствует вольтеровскому определению доброжелательного монарха, за исключением названия титула. В-третьих, не ясно,

была ли история Соединенных Штатов более спокойной, чем французская. Например, сохраняющийся высокий уровень насилия в Америке обычно приписывают традициям границы. Но в такой же степени это можно объяснить синдромом решения социальных проблем силой, что характерно для революционных периодов.

Реальный ответ, однако, может быть гораздо более общим. Угроза или обещание изменений оказывают сильное воздействие на хрупкую человеческую психику. И нестабильность является обязательным следствием внезапных изменений. В современном варианте рациональной аргументации всегда присутствовала тенденция к бегству от суровой реальности. Множество абстрактных социальных моделей: математических, научных, механистических, рыночных — базируются на оптимистическом предположении, что схематичная реорганизация общества будет иметь благотворные последствия для человечества. Даже представление о человеке как о существе, способном к совершенствованию, вытекает из идеи, что на человека можно воздействовать со стороны или свыше. Технократы и Герои — два излюбленных типа рациональных манипуляторов.

Но пример французской и американской революций показал, что люди не реагируют на подобные манипуляции адекватно и эффективно. И чем более абстрактными становятся эти манипуляции, тем более сильное сопротивление вызывают они в людях. А если у людей не хватает сил на сопротивление, то они впадают в безудержные эмоциональные и политические эксцессы. В этом смысле революции являются знаком поражения как тех, кто теряет власть, так и тех, кто ее обретает. Это приводит к неустойчивости, которую народ и новые лидеры стремятся преодолеть как можно быстрее. Но, вырвавшись на свободу, эта неустойчивость становится самостоятельной силой, вызывающей страдания и кровь. В конечном итоге могут быть решены некоторые проблемы, но в процессе революции цивилизация постоянно травмируется насилием. Применение насилия обычно способствует росту уровня экстремизма и абсолютизма и еще большему насилию.

Такой ретроспективный подход позволяет довольно легко определить долгосрочные дестабилизирующие последствия экстремальных вариантов социальной инженерии. В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях люди впервые столкнулись с подобным явлением и испытывали затруднения в прогнозировании возможных последствий. Те, кто, подобно Паоли и Джефферсону, ориентировались на средний путь, искали его среди окружающего беспорядка, руководствуясь здравым смыслом.

В связи с этим заслуживает интереса личность Эдмунда Бёрка — одного из лидеров партии вигов, осторожного и любознательного мыслителя, сторонника Корсики, независимости Ирландии и американских революционеров. В своем «Обращении к избирателям Бристоля» он выдвинул одно из первых разумных предложений касательно взаимоотношений между избирателями и депутатами. Он выступал и против рабства. В своей деятельности он, однако, допустил одну важную «идеологическую» ошибку: Бёрк выступал против французской революции. Некоторые из его аргументов были блестящими, другие — неверными. Он плохо представлял себе положение дел во Франции и защищал старый режим. Но здравый смысл действительно помог ему увидеть, в каком бедственном положении оказались французы: «Я лщу себе надеждой, что люблю подлинную, мужественную и нравственную свободу не меньше, чем любой член Революционного общества... Но я не могу хулить или хвалить что бы то ни было... если не увижу предмета во всех его связях, во всей обнаженности, а не в единичности метафизической абстракции»³⁰.

По этой причине большая группа рационалистических философов, включая Иеремию Бентама и Джеймса Милля, зачислила его в ряды реакционеров, подобно тому как их предшественники записали в реакционеры Вико. В некотором смысле Бёрк, подобно судам инквизиции или сталинским показательным процессам, навлек на себя интеллектуальное осуждение за то, что подверг сомнению картезианскую логику.

Те, кто характеризовал его подобным образом, не принимали во внимание его выступления в пользу Паоли и Ва-

шингтона, но ставили ему в вину высказывания о французской революции. Фактически им не нравились не взгляды Бёрка, но форма их выражения. Он не то чтобы выступал против реформ или справедливости, но отказывался принимать новую логику. По большому счету Бёрк обладал удивительным историческим чутьем. Он был способен видеть события такими, какими они были на самом деле, и понимал, в чем состоит моральная правда. Он был практичным человеком, полагающимся на здравый смысл. Бёрк не использовал априорные аргументы, поэтому он стал врагом нового века.

Рациональным мыслителям казалось, что его поддержка реформ в некоторых областях противоречила его консерватизму в других. Но Бёрк воспринимал реформы и сохранение стабильности как часть баланса или компромисса, который отражал реальный мир. А реальный мир был заполнен противоречиями, которые нельзя было устранить одним взмахом руки. В этом смысле даже в своих наиболее консервативных высказываниях он ближе к среднему пути, нежели оптимистические рационалисты, представленные целыми слоями населения, люди, очищенные от исторической памяти и знания настоящего и перемещенные в светлое будущее с неодоленной пассивностью «бигмака». Это была та действительность, которую Бёрк ощущал, нападая на французскую революцию: чем более сложные идеалистические планы предлагались, тем яснее становилось, что их осуществление приведет к всеобщему краху и разложению, хаотичной смене власти, росту анархии и экстремизма. Для устранения этого потребуются чрезвычайные меры. В любом случае, анархия достигла в этом новом, чистом мире, свободном от опыта и здравого смысла, такого уровня, что сдержать ее было немыслимо...

Среди реформаторов не один Бёрк испытывал сомнения относительно Революции. Томас Джефферсон в 1785–1789 годах занимал пост американского посла во Франции. Во время американской Революции он подружился с Лафайетом. В 1789 году в Париже Джефферсон был единственным человеком, имевшим положительный опыт Революции, и его дом

стал Меккой для недавно избранных членов Собрания. Они обращались к нему за советами, и он вскоре стал им говорить, что они уклоняются от курса, что ситуация выходит из-под контроля не только короля, но и реформаторов и революционеров. Они не могли реально оценивать ошибки, которые совершили в ходе революции. Была упущена реальная возможность объединения демократических сил для достижения социальной справедливости; лидеры вели между собой бесконечные споры на такие абстрактные темы, как «в чем состоит истинная природа человека и как добиться абсолютного решения всех проблем». Мирабо и Дантон были увлечены этими высокими идеями и коррупционными делishками. Робеспьер и Сен-Жюст рядились в одежды революционных ангелов мести, становясь перевоплощением инквизиторов и Игнатия Лойолы.

Джефферсон вошел в историю как революционер и как справедливый, честный президент, и, в отличие от Бёрка, он не подвергался интеллектуальной травле. Фактически Джефферсон является единственным примером великого деятеля-рационалиста, который не навлек на себя критику рациональных идеологов. Он был очень успешен как в разработке идей, так и в их осуществлении на практике. Несомненно, и он совершал ошибки, но он был, пожалуй, крупнейшим общественным деятелем тогдашней эпохи. Этот философ, писатель, архитектор, фермер, изобретатель, революционер, политический деятель, глава государства был окружен друзьями и любовью. Он избегал интриг, секретность не была его главным оружием. Он понимал различие между первостепенной важностью мира и неизбежным оправданием войны. Он не смог убедить коллег включить осуждение рабства в Декларацию независимости, но писал: «В Книге Судеб не написано ничего более конкретного, чем то, что люди должны быть свободны». «Человек должен содрогаться при мысли, что он может ограничить свободу другого»³¹. Как истинный демократ, он верил, что люди — «источник всей полноты власти»³². Все свои поступки он оценивал с позиций морали. «Да будет первым благословенно честное сердце, а вторым —

умная голова». «Делая первый шаг, Вы не знаете, каким будет следующий, — писал он племяннику, — и все же следуйте за правдой, справедливостью, правосудием и простотой в отношениях и никогда не сомневайтесь, что они выведут вас из лабиринта самым коротким путем. То, что Вам кажется гордиевым узлом, развяжется само. Ничего нет более ошибочного, чем предположение, что человек может выйти из затруднения при помощи интриг, уловок, клеветы, с помощью неправды и беззакония»³³.

До сих пор его слова звучат нравственным камертоном. Но этот камертон применим только к нам, а не его словам. Он старался, чтобы его слова не расходились с делом. «Никакой эксперимент не может быть более интересен, чем тот, который мы осуществляем. И мы верим, что он закончится подтверждением того факта, что человеком могут управлять разум и правда. Поэтому наша важнейшая цель должна состоять в том, чтобы открыть человеку все дороги к правде»³⁴. В то же время он знал, что насилие, лежавшее в основе образования Соединенных Штатов, породило такую мифологию, которой ее граждане были обязаны гордиться, и эта гордость способствовала тому, что насилие приобретало все большее историческое значение. «Кровь людей становится историческим наследием»³⁵. Такое наследие новая система должна была медленно переваривать.

Он нигде не говорит, что хороший государственный деятель должен быть гением, или Героем, или чемпионом, или, на худой конец, уметь выдавать правильные ответы. Его описание Джорджа Вашингтона — подлинный гимн посредственности: «Он обладал большими, незаурядными умственными способностями, но не выдающимися; он был сообразительным, но, конечно, уступал в этом Ньютону, Бэкону или Локку. Однако, если принять во внимание его кругозор, его суждения были основательными. Он был тугодумом, почти лишенным находчивости или воображения, но делал правильные выводы... Возможно, самой важной чертой его характера была рассудительность... Он отличался исключительной честностью; на его решения, отличавшиеся исключительной гибкостью, не влияли ни родственные или друже

ственные чувства, ни чувство ненависти, этим качеством он отличался от многих других людей... Он считал нашу новую Конституцию экспериментом по претворению в жизнь республиканского правления... и готов был отдать последнюю каплю крови в ее поддержку»³⁶.

Неудивительно, что политические деятели разных течений пытались засвидетельствовать нравственное родство с Джефферсоном. С этой целью они не рассматривают его философские, моральные или политические воззрения в их полноте, а выдергивают отдельные конкретные высказывания Джефферсона по тем или иным конкретным поводам. В воровстве отдельных идей Джефферсона для оправдания своих действий особенно отличился президент Рейган. Нет сомнений, что отца-основателя такие вольности в отношении его наследия привели бы в ужас. Джефферсону, как и Бёрку, удалось совместить здравый смысл с моралью, разумом и пониманием истории. Но исторический взгляд подразумевает наличие надежной памяти о том, как развивались события в прошлом, что, в свою очередь, затрудняет процесс принятия чисто абстрактных рациональных решений.

Можно предположить, что революция во Франции развивалась бы иначе, если бы ее возглавили Вашингтон или Джефферсон. Во главе людей, непосредственно вовлеченных в революционные события, потерявших ориентиры в океане сверхчеловеческих идей и иллюзий, встали блестящие, но незрелые эгоисты, которые вскоре занялись самоуничтожением. На смену им явилась группа продажных и посредственных политиканов, в результате чего люди испытывали сильнейшее разочарование, общество охватила всеобщая депрессия. Тогда возникла нужда в лидерах, способных объяснить им, что истинная доблесть свободы такая же скучная вещь, как честный политический деятель. Или что процесс становления разума медленен и труден. Или то, что для победы разума важнее всего ограничение индивидуального эго.

Вместо этого на сцене среди всеобщего замешательства появилась вполне созревшая мужская версия низменных чувств, о которой Монтескьё и Джамбаттиста Вико преду-

преждали за семьдесят пять лет до этого. Якорь старой системы был срезан абстрактной революцией. Рациональные мыслители и технократы были не способны выправить кренящийся корабль. И так, в отсутствии нормального, устойчивого социального контекста, совершенно нормальные эмоциональные потребности населения превратились в сантименты. Это приняло конкретную форму культа Героя — золотого тельца разума. Бонапарт, ученик Паоли, появился на сцене благодаря предательству как своего наставника, так и своей родины. То, что он был иностранцем, сделало его более совершенным Героем. Он не должен был бросать якорь, а вести судно дальше. Другими словами, Разум использовал героя в качестве волшебника, и тот появился на сцене, заменив собой память и историю.

Несомненно, воздействие Бонапарта оказалось столь сильным благодаря его бесспорным талантам. Он признан выдающимся военачальником. Он был талантливым реформатором государственных учреждений и права. Он не мог завоевать город, как это делали римские императоры, т. е. без намерения проложить через его центр величественный проспект и затем построить что-то великое с обоих концов. Фактически почти все, что он делал, было следствием безудержного эгоизма. И с момента государственного переворота 18 брюмера, в момент государственного переворота, он проявил слабость в президиуме Собрания. Его брату пришлось довести дело до конца, а пропасть между мифом о рациональном Герое, с одной стороны, и реальным человеком и его поступками — с другой, постоянно расширялась.

В связи с этим следует напомнить, что из первых четырех современных республик Бонапарт разрушил три: Корсику, Францию и Гаити, чей лидер Туссен-Лювертьюр был брошен голым в сырую, холодную камеру и умер от холода. Уцелела только одна республика: Соединенные Штаты.

Бонапарт быстро показал лицо Героя, и с самого начала на нем были все черты слепого разума. В своих суждениях он был поверхностен, в неясных ситуациях — нетерпелив. Незадолго до государственного переворота он сказал, что Фран-

ции необходима «полная победа одной из партий. Десять тысяч убитых с одной или с другой стороны. В противном случае, мы будем вынуждены начинать сами». В этих словах сквозит презрение к людям. «В чем они нуждаются, так это в славе, вознаграждении тщеславия»³⁷. Он активно использовал дешевые популистские лозунги, но сам в них не верил. Практический вывод, который он сделал из опыта революции, заключался в том, что необходима рациональная администрация: «Как только счастье французов будет основано на лучших органических законах, вся Европа станет свободной»³⁸. Другими словами, разум равняется структуре, равняется счастью, и этом есть свобода. Разум означает удовлетворенную эффективность. Бонапарт понял, что власть, основанная на эффективных методах и рациональных аргументах, более абсолютна, чем та, которую когда-либо имели короли. Единственно, кто мог бы сделать эту комбинацию непреодолимой, это личность, вызывающая сильные чувства. Таким образом, эмоциональная неустойчивость — известная как харизма — в сочетании с талантом к рациональным методам стала средством достижения власти современным абсолютным диктатором.

За стенами Собрания 18 брюмера, сразу после удачного переворота, Бонапарт почувствовал, что к нему вернулась храбрость, и обратился к своим солдатам: «Такое положение вещей не может продолжаться. Через три года они приведут нас назад к деспотизму. Мы хотим Республику, основанную на равенстве, нравственности, гражданской свободе и политической терпимости. С хорошей администрацией все люди забудут, к какой фракции они принадлежат, и будут способны стать французами»³⁹. Другими словами, он осуществил переворот, чтобы предотвратить деспотизм. Он обещал различные привилегии в тот самый момент, когда подавлял свободу. Он в очередной раз обещал эффективность как волшебный эликсир для достижения того, что он когда-то назвал «счастьем», а теперь называл «французом». Скорость, с которой разум стремился к национализму, поистине поразительна.

За этим быстро последовало уничтожение новых, а потом и старых инструментов свободы слова. Для сравнения

вспомним, что Франция в последние годы правления Бурбонов была страной относительных свобод. Даже Вольтер вернулся в Париж, где ему в театре в торжественной обстановке вручили подарок от королевы. Наполеон расправился бы с Вольтером за две минуты. Он до минимума сократил прерогативы Собрания. При нем писатели вынуждены были эмигрировать. Он заимствовал идею Ришельё относительно шпионской сети и создал современную систему эффективной секретной полиции, которую возглавил Фуше. Он восстановил многоступенчатую систему управления обществом в духе Людовика XIV, провозгласил себя императором, восстановил униформу и стал награждать своих приближенных титулами и соответствующими им регалиями. Потом он цинично принялся раздавать огромное количество медалей, больше, чем любой другой государь. Он называл их безделушками.

И он непрерывно продолжал создавать героическую мифологию о самом себе. В ее основу было положено самое блестящее и наиболее искаженное открытие: эмоциональная уловка, хитрость, обман, которым взволнованное население приковывало себя к герою. Эта уловка основывалась на очень простом понятии: все Герои имеют трагическую судьбу. Они женятся. Они жертвуют собой, подобно девственнице, на алтаре мистического долга службы людям. Секретарь Наполеона, граф Рёдерер вспоминает, что, когда Герой переехал в Тюильри, темный, сырой, но — королевский дворец, между ними произошел следующий диалог:

Рёдерер: «Как печально это место, мой генерал!»

Бонапарт: «Да, подобно величию!»⁴⁰

В продолжение многих лет он регулярно повторял подобную мистическую ерунду. Во время пожара Москвы Наполеон и его доверенное лицо граф Нарбонн вели такую романтическую беседу: «Что касается меня, то я больше всего люблю трагедию, великую, возвышенную, в духе Корнеля. Великие люди больше верны правде жизни в пьесах, чем в действительности. В пьесах вы видите их только в моменты кризисов, которые испытывают их, в высшие моменты принятия решений. Многие историки ошибают-

ся, полагая, что, изучая детали, они только впустую тратят время. Напрасно они пытаются освободить нас от подробностей. Человек испытывает много невзгод, колебаний и сомнений. Все это должно исчезнуть в герое. Он — монументальный памятник, на котором нет следов бед, колебаний и сомнений. Он подобен «Персею» Челлини. Той возвышенной статусе полубога, в которой нет и следа вульгарного свинца или олова»⁴¹.

И вдруг становится понятно, почему Бонапарт был единственным человеком, которого действительно ненавидел Джефферсон. Даже Александра Гамильтона, обладавшего некоторыми качествами опасного Героя, он рассматривал как противника, а не чудовище. Но в случае с Гамильтоном речь шла об американской системе, и Джефферсон, должно быть, полагал, что именно она принесет больше пользы. Поэтому Гамильтон потерпел неудачу. Бонапарт действовал в другой системе, и Джефферсон со времени пребывания в Париже знал, что не было ни одного разумного лидера, который мог бы выступить против этого Героя. Чего Джефферсон не был способен признать, так это то, что успех разума полностью зависит от наличия необходимого человека. Доказательством того, насколько легко все могло быть искажено, был успех Бонапарта, который уже предал все, что должен был преподнести ему разум. Он был «...негодяем, ответственным за большее количество страданий и несчастий во всем мире, чем любой другой из живших на свете до него. После уничтожения свобод в своей стране он истощил все ее ресурсы, физические и моральные, чтобы потворствовать своим маниакальным амбициям, своему тираническому и властному духу... Чем можно искупить те страдания, которые он уже причинил своим современникам и грядущим поколениям, которые он сковал цепями деспотизма!»⁴²

Джефферсона возмущал не только тот непоправимый ущерб, который Бонапарт нанес делу разума. Его раздражало и то, что этот ущерб был нанесен в первые десятилетия существования системы, когда она еще должна быть совершенно незамутненной и полной жизненной силы. В одном из писем

он пытался успокоить себя, сравнивая собственную карьеру с карьерой Бонапарта: «Ему, как и мне, было доверено счастье его страны, но больше ни в чем я не вижу благословенного сходства. Не по моей вине погибли пять или десять миллионов человек, не я явился виновником опустошения других стран, сокращения населения в своей стране, истощения всех ее ресурсов, уничтожения всех свобод, иностранной интервенции. Все это, как и многие другие злодеяния, было сделано им для украшения себя и своей семьи награбленными диадемами и скипетрами. Я же утешаю себя мыслью, что в течение моего правления не было пролито ни одной капли крови моих сограждан на войне или по решению суда. После восьми лет мира и процветания, которые я ставлю себе в заслугу, народ верил мне страну, и с его согласия, по его просьбе и с его благословения я слагаю с себя возложенную на меня миссию»⁴³.

Конечно, многие в Соединенных Штатах, во Франции и в других странах старались следовать этому примеру. Существовало множество талантливых и самоотверженных государственных служащих — как избранных, так и назначенных. Они многое сделали для процветания стран Запада. Но перед ними вставал лживый миф о Герое и его трагической судьбе; стоило лишь слугам народа увлечься системой манипулирования, как народ терял ощущение, что им руководят.

К концу девятнадцатого столетия мир заполнили кайзеры Вильгельмы, генералы Буланже и Сесилы Родсы — полуфабрикаты Героев, выросшие на трудах недоделанных философов, большинство из которых страдало психическими отклонениями. Этот брак гения с безумием, который ярче всего проявился у Фридриха Ницше, принес хотя и восхваляемое, но глубоко неизлечимое потомство.

В 1912 году известный французский писатель Леон Блуа опубликовал книгу «Душа Наполеона». «Наполеон необъясним, и, без сомнения, он самый необъяснимый из людей, потому что он, раньше и прежде всего, ОН, который пришел перед ТЕМ, кто должен прийти и кто, возможно, не далеко»⁴⁴.

Людям следовало бы посмеяться над подобными высказываниями или счесть их бредом сумасшедшего. Но Блуа, напротив, стал популярным как часть странного, непредсказуемого явления, обеспечивающего связь между рациональным Героем и дохристианскими корнями религии. На первый взгляд, то, что писал Блуа, можно принять за христианскую традицию. На самом деле это гораздо ближе к анимизму. Он действительно имел дело с феноменом необъяснимого и неизбежного единства вещей, в котором они — как одушевленные, так и неодушевленные — существуют, где Герой — это мы сами.

Когда философы восемнадцатого столетия убивали Бога, они полагали, что занимаются работами по дому: зло коррумпированной религии будет выметено, с приличных положений христианской этики будет стерта пыль, и они будут аккуратно упакованы в обертку разума. По неосторожности они посчитали старую этику необязательной либо ненужной для нового общества. Новым важнейшим элементом стала структура. И так как для Леона Блуа не находилось места в официальных разделах философии, в обществе к концу девятнадцатого столетия возникло растущее желание верить во что-то, находящееся за пределами бесплодной структуры и вне довольно скучных суждений новых рациональных лидеров — политиков весьма среднего уровня или технократов. Разумеется, пророчество Блуа оказалось совершенно точным — Наполеон действительно был «предтечей». «Он, кто прибывает перед ТЕМ». Неожиданным, по всей вероятности, стало то, что ТОТ оказался не французом, а внебрачным сыном австрийского таможенника.

Леон Блуа, возможно, интеллектуально уступал Ницше, но, в отличие от него, он не был сумасшедшим. И в то время как Ницше строил совершенное философское гнездо для культа дохристианского Героя в сердцевине современного разума, Блуа имел преимущество в том, что низвел все это до уровня мистической практики в манере, которая подходила для воскресного собрания современных новых правых.

Более того, Блуа, разумеется, не был более сумасшедшим, чем Освальд Шпенглер, который начал оправдание первого

великого Героя следующим образом: «Трагическое в жизни Наполеона — тема, не раскрывшаяся еще поэту, который обладал бы достаточным величием, чтобы осмыслить ее и оформить...»⁴⁵ Хотя Шпенглер писал о веке Героев, как будто это был конец нашей цивилизации, он все же увидел начало новой цивилизации еще в одном Герое (возможно, другого типа), который прокладывал путь через дебри Африки и строил новую, девственную цивилизацию. Он писал: «Оттого-то я вижу в Сесиле Родсе первого человека новой эпохи. Он представляет собою политический стиль отдаленного, западного... будущего»⁴⁶. Фактически, что Шпенглер говорит о Родсе — так это то, что Героем легче стать в Африке, где не было никаких глубоких основ западной цивилизации, которая могла бы замедлить его становление.

Этих трех авторов: эксцентричного маргинала Блуа; блестящего Шпенглера, озабоченного циклами истории и слишком эгоцентричного, чтобы оказать благотворное влияние на нацистов; и Ницше, идеи которого использовали нацисты, но сам он не подвергался за это критике, так как сам не был ни антисемитом, ни расистом, ни немецким националистом, — обычно рассматривают раздельно, как три самостоятельных явления. По этой причине только Ницше остается достаточно незапятнанным, чтобы стать главным вдохновителем современных мыслителей всех политических направлений.

Истина заключается в следующем: если убрать технические детали, то останется одно — обожествление Героя. Все трое добивались этого, венчая бога-героя земной религии с современным Героем разума. Блестящий анализ супермена, проделанный Ницше, — это просто приукрашенная версия картины самоуничтожения человека, который валяется в ногах диктатора, страдающего манией величия. И когда образованный индивидуум щекочет себе нервы утонченными размышлениями Ницше, он просто удовлетворяет потребность современного рационального человека чувствовать то, что Блуа называл возбуждением человека при виде объекта поклонения. В случае всех трех авторов супермен получает власть, с одной стороны, благодаря смерти Бога и благодаря

тому, что он выступает во всеоружии непобедимого разума — с другой.

В конце двадцатого столетия многие пришли к выводу, что Гитлер, а возможно, и Сталин, хотя люди на Западе часто не принимают последнего во внимание, были случайными явлениями в ходе истории. Он застал нас врасплох, но мы вовремя пришли в себя, чтобы выйти на бой с силами зла. Теперь его нет. Ужасное заблуждение. Неудивительно, что никто не хочет понять, что Гитлер — прямо-таки образец современной нормы. И если ныне все еще длится Век Разума и если Гитлер — великий образец темной стороны разума, то он по сей день с нами.

Большинство людей не могут признать, что человек может совершить некоторые поступки, не являясь сумасшедшим. Мы не можем признать, что зло находится в нас самих. Это — признак непоколебимого оптимизма человека и его стремления выглядеть хорошим. Поэтому мы относим создание концентрационных лагерей, укомплектование их персоналом и управление ими к категории абсолютно сумасшедших поступков. Конечно, существовали большие отклонения — как в людях, так и в режиме. Но это организованное уничтожение людей не было проявлением этих отклонений.

История перегружена примерами уничтожения наций, городов, армий, а также уничтожения религиозных, социальных и политических групп. Но все предыдущие случаи резни всегда имели связь с проявлениями сравнительно конкретных политических, экономических или социальных амбиций: захвата чьей-то частной собственности или территории, роста могущества другой группы, искоренения верований конкурирующей группы, получения финансовых долгов или просто устрашения. Это применимо даже к эпохе создания Монгольской империи армиями Чингисхана. Они часто начинали захват новых земель с полного уничтожения населения первого захваченного города. Это делалось для того, чтобы другие города шли на сотрудничество с захватчиками: платили налоги, соглашались отдавать в рабство своих сыновей.

Гитлер поступал совершенно иначе. Он устроил первое абсолютно немотивированное массовое убийство в истории человечества. Причиной этого не было сумасшествие, хотя отдельные исполнители и были клинически безумны. И это не было только следствием традиционного антисемитизма. Это больше походило на глубокую панику мира, лишенного логики, вследствие чего преступники утратили способность понимать, на что у человека есть право, а на что — нет. Холокост был подкреплён абсолютно рациональной аргументацией, поскольку разум стал самооправдывающим и герметично закрытым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что встреча, на которой было принято «окончательное решение», была, прежде всего, собранием ведущих министров. Технократов. Неудивительно и то, что эта конференция в Ванзее продолжалась только час — для присутствовавших это было всего лишь очередное из множества других совещаний — и превратилась в обсуждение форм выполнения поставленной задачи. Систематический, научный подход, с которым те методы были впоследствии применены, был охарактеризован как симптом сумасшествия или буйного помешательства и сброшен со счетов как часть явления, названного банальностью зла. Резней действительно управляли, причем весьма умело. Это был чистый профессионализм в духе социологического исследования Гарварда. Для резни не существовало никаких практических причин. В результате не была даже приобретена какая-либо собственность, поскольку все уже было конфисковано. Не было необходимости отстоять какую-то территорию. С финансовой точки зрения убийства были затратными: нацистская Германия уничтожала рабское население, которое можно было использовать на производстве, а мужчины арийского происхождения были отправлены на фронт. Иудаизм ни в коей мере не был конкурирующей религией, так как в нем не поощряется прозелитизм. Эти убийства не увеличивали мощь Германии. И даже для других это не могло служить примером. Кроме того, все это держалось в тайне.

Холокост — сочетание чистой логики и рационального исполнения — был порождением брака между двумя ключе-

выми составляющими разума: Героем и технократом. Сводить все к неумяняемости или к банальности зла в современном технологическом обществе — значит совершить грубую ошибку. И если мы надеялись, что негативные последствия этого брака были полностью уничтожены после разоблачения и устранения Гитлера, то события последующих сорока лет доказали, что это совершенно не так.

Мало того что наполеоновская мечта в нашем воображении сегодня сильна как никогда, сейчас нельзя не заметить, что моральное осуждение Гитлера постепенно выветривается из людской памяти. Через какие-нибудь пятьдесят лет мы можем оказаться под грузом еще одной чудовищной мечты о чистом величии, которое необходимо, чтобы соответствовать этому Императору. Два человека, которые имели смелость. Два человека, которых обожали. Два человека, которые руководили с блеском. Два человека, которые управляли справедливо и эффективно. Два человека, которые имели предельно скромные личные потребности, но окружили себя подчиненными, получавшими от них воздаяния и стоявшими между Героем и народом. Последнее напоминание о минимуме личных потребностей — «синдром походной кровати»: Герой привык спать только на своей железной раскладной кровати в палатке, он борется за людей и находится среди них в простой одежде. Если он носит форму, то просто — без украшений, без медалей. Он — солдат на службе у людей. Только горячее желание людей обожать своего Героя обязывает его преодолевать себя и вынуждает спать на позолоченных кроватях во дворцах, наряжаясь по утрам, и окружать себя аурой роскоши, чтобы дать народу возможность восхищаться своим Героем. Само собой разумеется, жадные элиты, от которых Герой защищает людей, получают от этого выгоду. И таким образом, эти двое были преданы теми, кто их окружал, но не народом. Два человека, преданные окружением, что и предначертано трагической судьбой Героев.

И мысль о том, что к Гитлеру будут относиться с большим уважением и почетом спустя сто лет после его смерти, не должна вызывать удивления. Гроб Наполеона, который по-

терпел не менее позорное поражение и изгнание, был с императорскими почестями возвращен в Париж спустя всего двадцать пять лет после свержения императора. На совести этих двух человек приблизительно равное количество убитых. И наполеоновская идея о том, что сочетание эффективной администрации с грубой силой вполне правомерно и необходимо, сегодня ночует под подушкой каждого честолюбивого полковника, который ложится спать в надежде, что фея власти ночью коснется его своей палочкой. Пройдет немного лет, и все свидетели, которые помнят, что на самом деле представлял собой гитлеровский режим, будут на том свете. Даже те, кто только появился на свет при его правлении. Тогда мифология сможет творить все что угодно. И что мифология сделает с убийством шести миллионов евреев? При отсутствии свидетелей, отвращение, которое мы испытываем, узнавая об этом событии, станет трагическим абстрактным недостатком, характерным для трагической судьбы Героев, подобно тому как вторжение Наполеона в Россию считается единственной серьезной ошибкой в его карьере. По активности ревизии событий холокоста можно судить о скорости, с которой развивается процесс изменения отношения к Гитлеру.

Мы полагаем, что отвергли все мечты о верховных лидерах и о сильном правительстве. И все же речь даже самого незначашего министра почтовой службы пестрит наполеоновскими высказываниями о силе и эффективности. Появление политических лидеров в обществе обычно организуют в стиле, сопоставимом с наполеоновскими триумфами. И наша терпимость как к диктатуре, так и к насилию никогда не была столь велика, как сейчас. Список наших друзей и союзников во всем мире за прошедшие сорок лет пополнился удивительной коллекцией массовых убийц, торговцев наркотиками и заправских палачей. Даже красные кхмеры были повторно допущены в международное сообщество без особых затруднений под предлогом решения относительно мелкой юридической проблемы. Мы признаем как данность, что мир будет производить Героев и что эти Герои убьют бесчисленные массы людей.

«Цель пыток — получение ответа»⁴⁷. Этот лозунг красные кхмеры повесили в тюрьме Туол Сленг в Пномпене, главном центре допросов, где погибли тысячи людей. Можно подумывать, что эта мысль — результат западного рационального образования.

Такой лозунг на латыни мог висеть где-нибудь в подвалах инквизиции в семнадцатом веке. Или в чешской тюрьме 1950-х годов. Или в любой современной западной военной разведывательной службе, хотя современная наука считает, что психологическая пытка более эффективна, чем физическая. Сама проблема, постановка которой первоначально пробудила интерес к разуму, теперь появляется вновь, как официальный инструмент разума. Более того, такие действия, как «пытки с целью получения ответа», кажется, в реальности не имеют отрицательного смысла.

Вместо этого мы сосредоточиваем наше, относительно абстрактное, нравственное чувство на одном или двух выбранных случаях массовых убийств, которые дополняются наглядным изображением, например: воздушного гражданского лайнера, сбитого террористами, или уничтожения маленькой мирной деревни — как будто наш разум не способен адекватно зарегистрировать и осознать что-то большее.

Нет никакого смысла брать в качестве образца человека, подобного Джефферсону, гений которого позволил ему полностью подчиняться как личным, так и общественным моральным нормам. Ему повезло, что он был именно таким, но подражание Джефферсону означает превращение его именно в того, кого он больше всего не терпел — в Героя. Однако в этом случае мы можем лелеять мечту, что и нам удастся поднестись на такой героический уровень.

Итак, общественная деятельность требует не увеличения, а очищения нравственности. И моральные стандарты, так как они являются личностными и должны применяться на практике, не могут быть абстрактными. Это не мешает нам искать решения наших проблем, и современное решение состоит в том, чтобы устанавливать стандарты через конституции и законы. Но повторим еще раз: конституции и законы

есть абстракции, и они воздействуют на волю тех, кто их применяет, больше, чем мы можем допустить. А они являются либо технократами, либо Героями.

Глава четвертая

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИДВОРНЫЙ

Полагать, что любой класс действует бескорыстно, в интересах общества в продолжение нескольких столетий, значит проявлять неуместный оптимизм. Интеллектуальное становление нашей рациональной цивилизации из поколений придворных на практике могло быть только актом воспроизводства и продвижения по службе себе подобных.

Это не исключает наличия элементов идеализма в их работе или реальных улучшений в жизни масс в результате их деятельности. Но их основные методы были методами придворных, и, каких бы высот ни достигла наша цивилизация, она продолжает оставаться цивилизацией придворных.

Мы не ощущаем этого непосредственно, потому что нас научили описывать в замечательных и положительных терминах те характеристики, которые, будь они описаны иначе, соответствовали бы Версалю или Запретному городу. И мы концентрируем наше внимание на конфликтах между такими группами, как бюрократы и бизнесмены, но не признаем, что те и другие используют одни и те же методы. Когда говорят о придворных, обычно всплывают понятия, имеющие отношение к абсолютным монархиям.

Но понятие «придворный» имеет отношение не только к королевским дворам. Им описывается не функция, а способ получения власти. Только один важный фактор изменился за столетия. В прошлом, когда придворные преуспевали в получении реальной власти, им приходилось делать трудный выбор. Они либо поддерживали паразитические методы старого правящего класса, либо сами становились ответственной правящей элитой. Евнухи, правившие от имени династии Цин в девятнадцатом веке, выбрали паразитический тип и постепенно лишили Китай энергии и

перспектив развития. Грузинские евнухи продемонстрировали такой же подход в семнадцатом веке, когда они управляли Персией от имени династии Сефевидов. Багдадские халифы великой династии Аббасидов в десятом веке были настолько дискредитированы всевластием своих евнухов, что военные совершили переворот и сохранили их только как номинальных правителей. Отдельные придворные — даже евнухи — иногда становились истинными лидерами. Но класс придворных никогда не становился ответственной элитой.

Рациональное общество облегчило трудный выбор между позицией придворного и лидера, постепенно превратив эту проблему в малозначашую. В конце концов, наше общество было в значительной степени задумано придворными, с присущими им манерами и элитарными навыками. Они овладели самой идеей модернизации, в частности, в более широком смысле, и поэтому влияют на нашу оценку других социальных сил как ретроградных или недейственных. Впервые в западной истории, овладевая властью, придворные не нуждаются в мимикрии, потому что эта власть сначала была разработана в их головах.

Современный технократ и королевский придворный фактически неотличимы друг от друга. Конечно, некоторые поверхностные детали изменились. Большое достижение рационального подхода состояло в том, что абстрактный комплексный метод упразднял необходимость видимых отличий. Например, во многих странах кастрация была обычной практикой...

Такая пикантная деталь, как отсутствие яиц у евнухов и китайского императора, и персидского шаха, может показаться случайным совпадением. По понятным причинам не подлежит сомнению тот факт, что кастрат не мог иметь династических претензий. Он был человеком императора. Как известно, особенно если речь идет о Китае, существовал внутренний двор и внешний двор. Евнухи относились к внутреннему двору и, таким образом, обслуживали власть, а не население. Понятие «внутренний» подразумевало также, что они правили скрытно и деспотично. Их личная власть могла быть

увеличена до той степени, которую позволяли создать формальные структуры в непосредственном окружении императора. Возможно, самая красноречивая иллюстрация этой власти — лабиринт окруженных высокой стеной улочек Запретного города в Пекине. Каждая улочка ведет куда угодно и в никуда, и это было символом права неограниченного манипулирования, которое имел евнух.

Жизнь в Версале отличалась меньшей топографической запутанностью и большей сложностью правил ношения одежды и кодексов поведения и скрупулезно подсчитываемых привилегий. Человек, пробуящий еду короля (его брат). Человек, несущий его шляпу. Но какую из шляп, соответствующих данной церемонии? Право ступить здесь, но не там. Присутствие при церемонии пробуждения, при приеме пищи, на королевской охоте. Иметь право охотиться или иметь право присутствовать при королевской охоте. Происходили бесконечные перестановки. Дидро писал, что все это было «искусственной деятельностью в стремлении достичь совершенства»¹. Во время таких церемоний разрабатывалась религиозная политика, объявлялись войны. Во всем этом Версаль напоминал двор багдадского халифа семьсот лет тому назад, когда могущество евнуха оценивалось в зависимости от его ответственности за личную собственность халифа. Например, носитель чернильницы. Выше всех стоял тот, кто сооружал на голове халифа специальную чалму.

Герцог Луи де Сен-Симон был главным летописцем Версаля и утонченным придворным. Его отец начинал карьеру на конюшне, и сын, испытывавший сильнейший комплекс социальной неполноценности, был вынужден впустую тратить свои гениальные способности на придворную деятельность. Подобно большинству придворных, он был полон презрения к другим, но неспособен к самоанализу, который нуждается в иронии. Так, он мог описать придворного (не исключено, что себя самого) как «одно из тех придворных насекомых, один вид которого уже вызывает удивление, которого во дворце можно обнаружить повсюду, и который существует в постоянном страхе лишиться своего места»².

Острый язык сам по себе достаточно безопасен. Столь же безопасный, как вечерние собрания горстки аристократов в начале шестнадцатого столетия в северной Италии. Они собирались в гостинной *sala della veglie* герцогини Урбино, чтобы определить характеристики совершенного придворного. Один из них, дипломат Бальдассаре Кастильоне, позже опубликовал «дебаты» в своей книге «Придворный», и в этом бестселлере отразилась вся эlegantность Ренессанса. Эта книга стала библией светских манер. Участниками этих встреч были влиятельные люди: епископ, архиепископ, кардинал, секретарь папы римского, дож Генуи, герцог Немурский, префект Рима. Они не смогли определить, что важнее: красота, умение прекрасно танцевать и изящная одежда или умение лгать во имя интересов хозяина: честность или верность, а быть может, личная храбрость — для достижения единственной цели: сделать карьеру, отличиться. Однако наличие разума было признано одним из немногих бесспорных требований: «Разум имеет такую силу, что вынуждает других повиноваться и распространяет свое владычество удивительными путями и способами, если только невежество не захватит то, чем разум должен обладать»³.

На этих беседах незримо присутствует свекор герцогини, первый герцог Урбино, один из самых известных кондотьеров своего времени. Он стремился избавить Италию от политического насилия и анархии. Герцогиня была замужем за его единственным сыном, калекой и импотентом. В действительности, несмотря на все изящные разговоры про придворную жизнь, в герцогстве воцарялось безвластие, и один из гостей герцогини вскоре стал герцогом и до последних дней своей жизни управлял герцогством от имени папы римского. Конечно, нельзя отрицать обаяние герцогини Урбино, так же как и графа Эссекса, пока он находился при дворе Елизаветы I. Но стоило ей послать его в Ирландию, где ему пришлось заниматься делами, как при соприкосновении с реальным миром его обаяние улетучилось, и в результате случилась военная и политическая катастрофа.

Поскольку вся общественная жизнь была сосредоточена при дворах, казалось, что они являются прибежищем как до-

бра, так и зла. Версаль позволил королю защитить Мольера. Гений Гольбейна расцвел под сенью Генриха VIII. Но сущность дворов заключалась отнюдь не в творчестве и эlegantности. Достаточно одного взгляда на портреты работы Гольбейна, чтобы убедиться, что на них изображены мошенники, хвастуны, предатели, сластолюбцы и рабы прочих страстей.

Нельзя сказать, насколько эти характеристики соотносятся с современными типами придворных. Макнамару, например, можно назвать современным вариантом Ришельё. А Валери Жискар д'Эстена — вариантом Сен-Симона. Но что действительно имеет значение — так это то, что общество изменилось до такой степени, что этот тип людей приобрел господствующую тенденцию социального заказа. И именно поэтому следует привести несколько примеров типов современных придворных, чтобы выяснить, что они представляют собой на данном этапе.

Эти индивидуумы не являются лидерами в прежнем политическом смысле. Они не проводят политику, отвечающую общественным потребностям. И даже не озвучивают их, формулируя то, что не удалось четко сформулировать общественности. Иногда они идеалисты, подсознательно находящиеся во власти своего идеала, как Роберт Макнамара или Майкл Питфилд. Иногда — циничные приспособленцы, как Генри Киссинджер, Гарольд Вильсон или Джеймс Бейкер, которые играют на узком поле между системой и политическими деятелями. Иногда у них, как в случае с Саймоном Рейсманом, нарушение баланса между внешне не поддающимися контролю эмоциями и продвинутыми техническими навыками, кажется, настолько велико, что в результате возникающего конфликта страдает политика. Встречаются и такие политики, которые, подобно Жаку Шираку, хотели бы иметь нравственность или идеологические позиции, но в них преобладает механистическая версия интеллектуальных навыков. Или, подобно Валери Жискар д'Эстену, это люди ограниченного интеллекта, обладающие конкретными механистическими навыками, что позволяет им достичь определенных высот. Некоторые из них обладают большим интеллектом, подобно сэру Роберту

Армстронгу, но преисполнены тех же самых механистических навыков, и в результате они уверенно и с блеском справляются со своими обязанностями, не имея перед собой видимой конкретной цели.

В совокупности они формируют определенную группу, класс, тип, объединенный специфическим видом интеллекта, и он является главной отличительной чертой людей системы. Это люди, которые работают и творят преимущественно внутри системы и через систему, символами которой они и становятся. Люди, работающие с властью. Люди, которые привыкли манипулировать фактами и испытывают презрение к публичным дебатам. Различия между ними — либо возрастные, либо в незначительной степени индивидуальные. И все же их единство — не просто следствие их общественной подготовки. Это не результат унифицированного образования. Скорее, они — выдающиеся экземпляры особой разновидности людей, которых отбирает современная система и которые успешнее всего способствуют ее развитию.

Идея о врожденных нравственных человеческих качествах была очень популярна в первой половине Века Разума, затем отошла в тень в результате усиления потребности доказывать все посредством того, что впоследствии стало называться фактами. И все же главное, что объединяет новых представителей власти, это внутренние механистические и логические таланты. Они обладают тем, что правильнее всего определить как способность к манипулированию. Система просто вознаграждает их этим талантом. Кажется, что они постоянно испытывают недостаток нравственного здравого смысла — качества, которое вызывает наибольшее уважение среди людей — чувства пропорции в отношениях с людьми и осознание того, что содержание имеет большую ценность, нежели форма. Другими словами, они напоминают придворных или куртизанок семнадцатого—восемнадцатого столетий.

Во многих европейских языках эти слова имеют общий корень, различаются они только по роду. В английском языке различие по некоторым причинам несколько больше, чем,

например, во французском или в итальянском, из которого эти слова заимствованы. Английский язык дифференцирует действие социальное и действие сексуальное, подразумевая, что продажа чести не столь плоха, как продажа тела. У итальянцев и французов оба слова обозначают умное и подлостное поведение при дворе; вне зависимости от того, касается ли это души, тела или ума, главное состоит в том, что это продается. И так как придворный фактически выполняет мифологическую женскую роль, в наиболее легкомысленной и аморальной форме — то есть ищет покровительства своим поведением или лестью — в противоположность реальной женщине, то будет более верно назвать современного технократа как куртизанку, а его методы — методами продажной куртизанки.

Роберт Макнамара — пример предельно драматической роли человека разума в период заката Века Разума. Он шагал по нашей эпохе, как колосс, однако в любом социологическом опросе, в котором фигурировали бы известные деятели, он вряд ли бы набрал и 1%. Он — человек, который верит в силы света и силы тьмы. Человек чести. Он ушел в отставку с поста министра обороны при Джонсоне, так как чувствовал, что вьетнамская война вышла из-под контроля. Как глава Мирового банка, он отчаянно пытался спасти Третий мир, наводнив его потоками денег. Он верит, что использование разума, логики и эффективности обязательно приведет к положительным результатам. И тем не менее, все его действия заканчивались бедствиями, не поддающимися контролю, от которых Запад не оправился и по сей день.

Когда Роберт Макнамара оставил пост президента Ford Motor Company, чтобы стать министром обороны в правительстве Джона Кеннеди в 1961 году, была надежда, что он принесет в правительство современные методы управления частной промышленностью. Никто не мог и подумать, что эти методы окажутся бедственными как для частной промышленности, так и для государственной политики.

Макнамара немедленно приступил к реорганизации Пентагона и американских вооруженных сил. Точнее, он присту-

пил к их рационализации. Без сомнения, он обнаружил, что их деятельность была организована весьма неэффективно. Без сомнения, он вскрыл допотопные методы в управлении. Он также запустил три различных процесса, первые два касаются применения рациональных деловых принципов в подготовке офицерских кадров и производстве вооружений. Третий процесс мы более подробно рассмотрим ниже.

Программа подготовки офицеров как рациональных исполнителей основывалась на идее «использования деловых методов и технологий с целью повышения эффективности работы бюрократии Пентагона»⁴. Результаты внедрения этих эффективных методов имели далекоидущие последствия. Они преобразили офицерский корпус американской армии, внедрив в него, по словам Ричарда Габриэля, «привычки, ценности и методы делового сообщества»⁵. Это, в свою очередь, изменило мотивацию офицеров: на смену духу самопожертвования пришел личный интерес. В результате профессиональные офицеры превратились в полубюрократов, полуисполнителей. Кроме того, был утрачен основополагающий принцип офицерского корпуса: каждый его член при выполнении своих обязанностей был готов пожертвовать своей жизнью. В конце концов, гибель не логична, не рациональна, не эффективна и уж никак не входит в круг личных интересов бизнесмена.

Эта перестройка продолжалась длительное время, в течение которого американские вооруженные силы были неспособны побеждать. Или, выражаясь иначе, способны были только терпеть поражения. Ричард Габриэль, который стал ворчливым пересказчиком правды об американской армии, как и Базиль Лидделл Гарту в Англии после Первой мировой войны, объяснил лучше, чем кто-либо другой, как армия превращается в бюрократический организм, который если и способен вести боевые действия, то только неуклюже и грубо. Стремление вести боевые действия против заведомо более слабого противника с применением грубой силы лишь подтверждает эту мысль.

Второй процесс, запущенный Макнамарой, явился естественным продолжением первого. Поскольку в недавнем

прошлом он занимался производством автомобилей, он заметил, что вооружение дорого. Исходя из принципа Генри Форда о том, что производство следует поставить на поток, Макнамара пришел к выводу, что производство больших объемов каждого вида вооружений и экспорт излишков позволяют рационально ограничить расходы на оборону. Экспорт вооружений, возможно, и не покрывал все затраты Пентагона на производство вооружений, но существенно сокращал их. Кроме того, сокращалась стоимость единицы каждого типа вооружений, которые требовались самим Соединенным Штатам. Закупая это вооружение, союзники возмещали США часть затрат на оборону. Наконец, повсеместное использование на Западе американского вооружения обеспечивало унификацию, что облегчало взаимодействие в совместных акциях и в поставке запчастей. Эффективность, оборот долларов, этика и разумная военная стратегия получили привлекательную упаковку.

У Соединенных Штатов, кроме того, был внешнеторговый дефицит в размере трех миллиардов долларов. Экспорт вооружений был также способом сбалансировать ситуацию.

Благодаря такому разумному подходу была создана Международная организация по переговорам в области материально-технического обеспечения. Его название соответствовало неуклюжей форме управления Агентства по торговле вооружением американского правительства. Вскоре большинство западных стран последовало примеру США и приняло подобные теории управления. Мы встали на путь создания самого крупного рынка оружия в мировой истории, который, что более существенно, ныне является крупнейшим рынком мировой экономики.

И в-третьих, Макнамара провел реорганизацию американской военной стратегии, которую к тому времени стали считать как безнравственной, так и иррациональной, поскольку оборона Запада основывалась на средствах ядерного устрашения, единственным результатом применения которых стало бы уничтожение всего живого на Земле. Эта стратегия, известная как доктрина «массированного возмездия», исходила из идеи «все или ничего» в ядерной войне. Если

предполагалось применение ядерного оружия, то оно должно быть настолько массированным, чтобы полностью уничтожить противника. Уничтожение противника означало, что и собственная гибель неизбежна. Ведь противник, прежде чем погибнуть, смог бы нанести ответный удар. К тому же оружия, задействованного даже одной стороной, хватило бы на уничтожение жизни на всей Земле.

Кроме подобного массированного удара, не было никакой иной ядерной стратегии, никакой организации; фактически не существовало такого вида ядерного оружия с соответствующими системами его доставки, применение которого не означало бы всеобщей катастрофы. Любое «рациональное» использование ядерного оружия неизбежно повлечет за собой всемирную катастрофу. К тому же теоретически существовал и вариант случайного Апокалипсиса. С рациональной точки зрения Макнамары, подразумевалось, что ядерное превосходство Америки «...не переводится автоматически в военную мощь, которая может быть использована реально»⁶.

Поэтому Макнамара и американское правительство предложили союзникам по НАТО новую стратегию. Ее окрестили стратегией «гибкого реагирования». Эта стратегия состояла из равных, более или менее параллельных линий эшелонированной обороны, которая началась от границ, отделяющих территорию НАТО от советского блока. Ответ советским армиям в случае их нападения на Западную Европу усиливался бы по мере пересечения ими этих линий, начиная от использования обычного вооружения до применения ядерного оружия поля боя. И если бы использование различных систем тактического ядерного оружия не останавливало это наступление, то Запад прибегнул бы к применению старых тяжелых межконтинентальных стратегических ракет, что привело бы к катастрофическим последствиям. Предусматривалось использование оружия меньшей мощности. Поэтому стратегия «гибкого реагирования» уменьшала риск катастрофы.

Конечно, еще никто, кроме Макнамары и американского правительства, не рассматривал это в таком свете. Для Европы значение этой стратегии было вполне ясно: Вашингтон

больше не желал сражаться за своих союзников. Европа была бы уничтожена раньше, чем США решили, стоит ли вмешиваться серьезно.

Макнамара просто упустил из виду, что он проложил свои ровные, параллельные линии наращивания военного ответа поперек реального мира Западной Европы. Расположены ли Дюссельдорф, Амстердам, Бонн, Страсбург, Париж и Рим в зонах номер один, два, три или четыре? Гибкий, взвешенный, рациональный ответ, который Макнамара предлагал — или, скорее, благодаря значительному превосходству США, навязывал, — фактически был планом уничтожения населения Западной Европы.

Навязывание стратегии «гибкого реагирования» в 1961 году полностью разрушило доверие народов Западной Европы к лидерству Америки. Союзники отказались принять эту стратегию США, хотя на практике это не имело никакого значения. «Очевидно, — заявил де Голль в 1963 году, — что независимости не может существовать для страны, которая не имеет ядерного оружия, потому что без него она оказывается в зависимости от страны, которая его имеет, и поэтому вынуждена соглашаться с ее политикой»⁷. Несмотря на серьезные дебаты в НАТО с 1961 по 1967 год, стратегия «гибкого реагирования» фактически являлась стратегией организации с момента ее объявления Соединенными Штатами. Немцы, которые находились на передовой линии и, таким образом, оказались в положении жертвенных ягнят, больше других выступали против этой стратегии, но первыми и согласились с ней из опасения, что дальнейшие протесты вынудят Вашингтон вскоре покинуть Европу.

Что касается французов, то стратегия «гибкого реагирования» сделала неизбежным как создание своих собственных ядерных сил, так и выход Франции из НАТО (только из военных структур НАТО — *прим. ред.*). Через некоторое время де Голль объяснил, что Франция не может оставаться в «Европе, чья стратегия в рамках НАТО, является американской стратегией»⁸.

Быстрое распространение ядерного оружия в результате применения рациональной стратегии Макнамары вышло за

рамки французских *force de frappe*. В соответствии с новыми принципами возможного применения ядерного оружия, началась разработка новых типов ядерных боеприпасов всех видов и размеров и систем их доставки. Советский Союз со своей стороны также был вынужден разрабатывать новое оружие.

В результате, помимо создания новых типов ядерного оружия, что требовало огромных расходов, увеличился риск начала ядерной войны по сравнению с прежней стратегией. Прежде всего вследствие того, что из-за разнообразия типов ядерного оружия и увеличения числа военнослужащих, занимающихся его обслуживанием, возрастала вероятность ошибки. Например, армейским командирам было предоставлено право применения ядерного оружия поля боя, что, соответственно, увеличивало вероятность ошибки. Во-вторых, моральный порог стрельбы из танка или из орудия «маленьким» ядерным зарядом намного ниже по сравнению с запуском межконтинентальной баллистической ракеты с ядерными боеголовками.

Утрата Европой веры в готовность Америки к решительному ответу в случае возможного нападения имела и другие последствия. Для Советского Союза уменьшился риск ответного ядерного удара, соответственно повысился и соблазн использовать силу. Это, в свою очередь, стимулировало новую гонку вооружений с обеих сторон. Наконец, длительные американские военные провалы увеличили этот риск. «Когда у страны есть череда успешных военных действий, — подчеркивает Габриэль, — поле для маневра у ее противников сокращается»⁹. Провалы США в ведении боевых действий, сильно подорвавшие кредит доверия к ним, без всякого сомнения, были следствием проведенной Макнамарой рационализации, то есть усиления роли идей разума в армии.

Практический результат стратегии «гибкого реагирования» оказался полностью противоположным ее теоретическим целям, за исключением того, что ядерное оружие действительно было переведено в разряд, как выразился Макнамара, «военной силы, пригодной к применению». Это и было изначальным рациональным стимулом для его реформы.

Еще более удивительным стало то, что тот же Макнамара в начале 1980-х годов с наивностью младенца выступил в качестве критика стратегии «гибкого реагирования». Именно он в 1984 году подписал обращение к западным «государственным деятелям» с просьбой об изъятии тактического ядерного оружия. В названии документа: «Управление конфликтом Восток — Запад» — слышится знакомый мотив. В 1986 году Макнамара издал целую книгу, посвященную сокращению ядерных арсеналов. «Нам не хватает согласованной концептуальной основы в наших отношениях с Советским Союзом». Почему? «Цель повышения ядерного порога, которая предусматривалась, когда принималась стратегия «гибкого реагирования», так и не была в действительности достигнута». «Таков незапланированный — и для меня неприемлемый — результат длинного ряда подкрепляющих друг друга решений, принятых военными и гражданскими руководителями Востока и Запада»¹⁰.

Он ни разу не упоминает и даже косвенно не допускает того, что нынешняя гонка ядерных вооружений и рост напряженности в значительной мере является делом его рук. При этом он не признает, что это стало результатом применения разработанной им системы перспективного планирования и управления. И при этом он, кажется, не понимает, что двигался в замкнутом круге.

Люди, подобные Макнамаре, всегда не в ладу с ходом истории. История — это память, и, следовательно, она вне организации и безразлична к разуму. Для современного разумного человека характерно терять память. Он не просто утрачивает, а скорее, отрицает ее как элемент, не поддающийся контролю. А если что-то приходится вспомнить, то реальные события всегда воспринимаются им как странные или как опасные. Прошлое, когда речь идет о неудавшихся планах, стирается из мозга. Прошлое всегда спонтанно. Будущее всегда оптимистично, потому что в нем всегда есть место для свободного принятия решений и манипулирования. А настоящее покорно лежит на пороге будущего, являясь его началом.

Неудивительно, что Роберт Макнамара не воспринимал как собственную ошибку все то, что не укладывалось в

его технологическую схему. А то, что не укладывалось в заданные рамки, не имело никакого отношения к его планированию.

В 1991 году он выдвинул предложение об уничтожении ядерного оружия на Земле, за исключением нескольких сотен единиц с обеих сторон. Они бы находились под пристальным контролем каждой из сторон. Но если бы у каждой из сторон существовало по двести ракет, ядерная война стала бы практически возможной по той простой причине, что применение ядерного оружия не повлекло бы уничтожения всего мира. Существовал бы взаимный мониторинг. Но при таких малых количествах оружия малейший обман с любой стороны радикально изменял бы баланс сил. И вследствие этого подобный обман становился бы соблазнительным. Ужасающие объемы вооружений в современном мире делают дальнейшее развитие стратегического оружия почти бессмысленным. 2000 единиц с одной стороны против 1900 единиц с другой стороны или даже 2000 единиц против 1500 единиц в стратегическом плане не столь важны. Но 300 единиц против 200 имеют большое значение. Даже 250 единиц против 200 могут сыграть важную роль.

Сокращение количества ядерных боеголовок — хорошая и разумная цель. За прошедшие годы было сделано несколько маленьких шагов в этом направлении. Эти сокращения были представлены политическими деятелями, стремящимися к дешевому авторитету, как важнейшее достижение. Реальность состоит в том, что они на самом деле незначительны. Но если в Москве у власти останется руководство, продолжающее курс на реформы, эти сокращения будут расти.

Но какое преимущество получил бы тот, кто ведет ядерную войну рациональным способом? Это, конечно, не тот вопрос, который мог бы интересовать человека типа Роберта Макнамары. Рациональность хороша уже сама по себе. Несоизмеримая простота его продвинутой логики редко принимает во внимание человеческий фактор. Учет этого фактора привнес бы в его концептуальную структуру непрофессиональное искажение.

После восьми лет руководства министерством обороны Макнамара ушел в отставку по нравственным соображениям и посвятил себя — в период с 1969 по 1981 год — работе, которая соответствовала его видению службы на благо общества. Его попытку превратить Мировой банк в западный мост в Третий мир можно было считать актом личного искупления грехов тех лет, которые он провел в Пентагоне. Имеются свидетельства того, что, до некоторой степени, и сам он видел ситуацию именно в таком свете. Принимая на себя личную ответственность, смоделированную на эмоциональных механизмах христианской вины, он как бы ставил собственные методы выше всяких сомнения и анализа. Но решение дистанцироваться от войны, которую он перестал одобрять, само по себе было удивительным актом. В годы вьетнамской войны он был самым влиятельным ястребом в администрации президента. В правительстве он упорно отстаивал свои жесткие взгляды. Он делал это перед лицом таких противников войны в окружении президента, как Джордж Болл, сенатор Уэйн Морзе, сенатор Ричард Расселл, сенатор Майкл Мансфилд, вице-президент Губерт Хэмфри и сенатор Уильям Фулбайт. К тому же президент Джонсон был неопытен во внешнеполитических вопросах и в своих военных взглядах не был ястребом.

И то, что Америка оказалась расколотой в результате вьетнамской войны, произошло, в значительной мере, благодаря тому, что министр обороны Роберт Макнамара преуспел в превращении этой войны в свою собственную войну. А затем, когда события стали развиваться не по его сценарию, он не признал ни одной своей ошибки и от него не услышали даже намек на извинения. Он просто ушел. Своим уходом он протестовал против того, что война вышла из-под его контроля, и этим простым актом он умыл руки. Он, казалось, полагал, что таким образом он вычеркнул свое имя из истории войны.

От здания Пентагона до Мирового банка — расстояние всего в несколько городских кварталов. Заняв важный пост, Макнамара сразу же стал старательно делать «добро». Но эти усердия обернулись международным бедствием. Основной

идеей Макнамары было увеличение объема денег, переданных Банку на предоставление помощи нуждающимся странам. Чтобы осуществлять эту помощь должным образом, он реорганизовал методы оценки деятельности Банка.

Это вылилось в разработку двух новых документов: Плана страны и Плана использования ассигнований. В соответствии с первым, «разрабатывалась пятилетняя программа предоставления кредитов Международным агентством развития Банка конкретной стране на основе детального статистического анализа отраслей экономики страны». В соответствии со вторым, «устанавливались цели для руководства каждой из стран и для каждой отрасли экономики этих стран»¹¹. Общеизвестно, что технократы не являются выборными лицами и что они — рабы централизации. Таким образом, Макнамара контролировал осуществление этих программ.

В 1973 году разразился нефтяной кризис. Он спровоцировал поток денег, в срочном порядке напечатанных в Соединенных Штатах и других западных странах, в страны ОПЕК, которые, в свою очередь, направили их на хранение в самые безопасные места на земле: то есть обратно в Соединенные Штаты, Канаду и Западную Европу. Эта эмиссия денег породила инфляцию. Платежи странам ОПЕК спровоцировали нарушение торгового баланса. Возврат инвестиций из стран ОПЕК удвоил этот дисбаланс, увеличивая внешний долг.

Американская экономика, охваченная инфляцией, увеличением цен на энергоносители и сопутствующим дефицитом торгового баланса, была не способна рационально использовать эти средства. Возникла критическая ситуация. Чтобы избежать катастрофы, вмешался Макнамара. Он видел выход в направлении этой лавины неиспользуемых банковских вкладов в страны Третьего мира. Он уговаривал коммерческие банки последовать примеру Мирового банка под предлогом, что этот приток капитала будет способствовать процветанию стран Третьего мира. Такое процветание способствовало бы развитию этих стран по западным моделям и подталкивало бы страны Третьего мира покупать промышленные изделия и товары потребления в западных странах.

Это, в свою очередь, вернуло бы деньги снова на Запад и стимулировало бы выпуск продукции и рост экспорта. Это привело бы к окончанию депрессии и улучшению торгового баланса.

К сожалению, в диаграммах и моделях Макнамары не были поставлены правильные вопросы. Разумно ли предложение подтолкнуть слабые, аграрные, сплошь и рядом примитивные экономики развивающихся стран на путь индустриального развития на основе использования нефтедолларов во время энергетического кризиса, который больно ударил по гораздо более сильным экономикам Запада? Располагают ли эти страны другими источниками энергии, благодаря которым они смогут избежать ловушки импорта нефти, в которую попали многие страны Запада? Располагают ли эти страны инфраструктурной базой, чтобы быстро справиться с таким искусственно вызванным ростом? Следует ли этим аграрным обществам, где отсутствует городское население, которое можно отнести к среднему классу, а зачастую и сколько-нибудь значительные природные ресурсы, вообще вступать на подобный путь развития? Соответствует ли он сложившимся экономическим укладам? Удовлетворяет ли этот путь само общество? Не было бы более мудрым сосредоточить усилия на развитии аграрного сектора этих стран? Если эти страны собираются расширять основы своей экономики, то не было ли бы разумнее сконцентрироваться на развитии местной промышленности с целью производства товаров первой необходимости, вместо того чтобы бросаться в высокозатратную, полную рисков и торговых войн мировую торговлю?

Наконец, самый главный вопрос: что будет, если эти массированные ссуды с Запада не вызовут процветания Третьего мира и бедные нации не смогут возвернуть долги? Никто не задал этого вопроса. Никто не задал и другого вопроса, вытекающего из предыдущего: что произойдет, если американские и другие западные банки вследствие банкротства стран Третьего мира сами окажутся не способными раздать собственные долги — то есть заплатить своим вкладчикам?

Фактически до 1981 года, то есть почти в течение десяти лет, в Мировом банке никто даже не задумывался над цифрами долга в рамках программы «Мировая модель развития» (World Development Model). На первый взгляд такая ошибка выглядит преступной некомпетентностью. На второй взгляд это становится совершенно понятным. Лишенные памяти, привязанные к настоящему, необоснованно оптимистичные относительно будущего, рациональные модели всегда с большим трудом приспособляются к реальной действительности.

Практические последствия руководства Макнамары были следующими. Его централизованные, абстрактные методы разрушили коллегиальность, касалось ли это руководства Банком, или взаимоотношений Банка с кредиторами, или отношений с заемщиками. В основу методов управления было положено «управление страхом»¹². Эта фраза звучит бесконечным рефреном в методах управления любой современной организации. В программу деятельности Мирового банка были включены две методики: объемные данные по странам и отчеты руководству Банка. Они служили самооправданием как для сотрудников Банка, так и для стран-заемщиц. Как только пятилетняя программа вступала в действие, приступал к работе служащий банка, непосредственно ответственный за нее. В конце концов, именно он рекомендовал эту программу. Как конкретная страна, так и программа находились под его контролем. Он регулировал оборот документов, чтобы управлять денежным потоком. Страны-заемщицы учились затоплять банк тоннами статистической отчетности, графиков и диаграмм, чтобы соответствовать этим требованиям и сделать каждого счастливым¹³.

Например, филиппинская экономика в начале 1980-х годов, если верить этим замечательным отчетам, считалась «одной из лучших среди стран Третьего мира». Каждый был слишком тесно связан корпоративными узами, чтобы сказать правду. Но с определенного момента долговой кризис стал настолько серьезен, что правду уже нельзя было скрыть. Это обнаружилось неожиданно и полностью расходилось с тем, что в течение многих лет утверждалось Банком.

Но статистика стран Третьего мира так долго успешно фальсифицировалась, что истинные цифры казались столь же нереальными, как и прежние. И когда нарастающий мировой кризис вызвал озабоченность Международного валютного фонда (МВФ) и он стал применять для его преодоления исключительно жесткие экономические методы, выяснилось, что статистика никак не отражала состояние экономик стран Третьего мира.

По статистике экономика процветала, в то время как жизнь людей ухудшалась. И какой смысл был в применении Международным валютным фондом драконовских мер с целью улучшения экономического положения, если население и без того жило в нищете? Правомерен вопрос, включались ли реальные люди как элемент статистики в наши повсеместно принятые экономические категории, или это были всего лишь абстрактные цифры, ничего общего с людьми не имевшие?

Роберт Макнамара, вне сомнения, был бы возмущен сложившимся положением. Он — самый яркий пример технократа, имевшего в своем распоряжении огромную власть, раздвоенной личности, характеризующейся блестящими механистическими способностями, с одной стороны, и детским идеализмом — с другой, при отсутствии связующей нити здравого смысла между первым и вторым.

Роберт Макнамара может быть ярчайшим примером рационального подхода, но он не является исключением из правила. Он — правило в своей наиболее развитой форме. Другие, подобные ему, встречаются повсеместно, в большом количестве и в разных странах. Эдуард Хит, например, имел такое же безграничное рвение, вкупе с убеждением, что системы являются благом. Процесс, который Макнамара инициировал в Соединенных Штатах, Хит продолжил в Великобритании. Его интегрированный план пересмотра политики, Central policy Review Staff («О реформе трудовых отношений» и «О новой политике в области государственных расходов и стимулировании капиталовложений» — *прим. ред.*) производил блестящее впечатление на дилетантов. В этом документе

были сформулированы приоритеты и этапы планирования, в которые были заложены методы анализа и обзора, а также способы проверки эффективности программы. Он также, казалось, был не способен соединить свою веру в методы с результатами их применения в реальном мире.

Правительство Эдуарда Хита было вынуждено уйти в отставку в результате мощной забастовки шахтеров. Сам он проявил неспособность нового рационального человека, лишённого защитных барьеров системы, выдержать столкновение с действительностью. В отличие от Макнамары он был избран на свой пост. Так что избирателям пришлось расплачиваться за его ошибки.

Поражение Хита обычно связывают с особенностями его характера и чрезмерно абстрактным интеллектуализированным подходом к работе правительства. Возможно, это и так. Но нас интересует уверенность Хита в том, что структуры и людей можно изменить коренным образом, для этого достаточно лишь показать им, как можно работать лучше. Он был абсолютно в этом уверен. Его не волновал тот факт, что предлагаемые им меры могут и не привести к улучшению работы. Эта уверенность выдает в нем технократа, обладающего политической властью.

Роберт Армстронг, который в течение десяти лет был секретарем британского кабинета и главой аппарата государственной службы, является классическим примером рационального администратора. С момента назначения на пост в 1978 году он всячески избегал подчиненного положения в общественных делах, оставался за кулисами и сосредоточил в своих руках огромную политическую власть, не неся за нее реальной ответственности. По образованию и подготовке он был типичным бюрократом старой закваски, но при этом владел абсолютно совершенными методами работы. Он был помешан на секретности. Он контролировал потоки информации в правительстве, обладая большей, чем у министров, властью. Он любил манипулировать людьми и структурами. Как и в случае с Макнамарой, стремление к манипулированию вело к деморализации государственной службы. В высказываниях о нем слово «придворный» не кажется лишним.

«В этом заключается роль придворного, чтобы терпеть, успокаивать, использовать хитрость и уловки, манипулировать властью, быть всегда позади трона»¹⁴. В этих способностях Армстронг превосходил других.

Он старался предотвращать дебаты между министрами по тем проблемам, которые его интересовали. Он максимально использовал информацию в собственных интересах. Казалось, он не верил ни во что, кроме исключительности своих позиций, которые определялись его прямыми должностными и классовыми интересами.

Только с кризисом, связанным с делом о «вертолете Уэстленда» в 1985 году, он, наконец, переступил через защитные барьеры административной структуры в попытке защитить «своего» работодателя и организовал общественные дебаты. Уэстленд был последним британским производителем вертолетов. Американская компания хотела купить это производство. Премьер-министр и некоторые члены кабинета министров выступали в поддержку этой сделки, в то время как министр обороны предпочел европейский консорциум. Последовала острая дискуссия, которая расколола кабинет, бизнес-сообщество и прессу. Спор достиг кульминации после преднамеренной утечки закрытой информации, которая усилила позиции премьер-министра. Армстронгу было поручено остановить разразившийся скандал, внося официальный запрос о том, каким образом эта информация просочилась в прессу. По правде говоря, трудно поверить в то, что он не знал ответа еще до того, как начал свое расследование. Он представил его результаты премьер-министру, как если бы госпожа Тэтчер была отстраненным наблюдателем, хотя все указывало на то, что в этом деле она была заинтересованным лицом. Кроме того, он согласился выступить перед Специальным комитетом палаты общин по обороне (Commons Select Committee on Defense). Другие ответственные чиновники, вовлеченные в эти дебаты, отказались выступать перед Комитетом. Это превратило его, главного государственного служащего, в защитника и представителя политических властей. Он выступил очень тонко, по-иезуитски, утопив в потоке красноречия суть вопроса.

То, что ему удалось, используя завесу необоснованной тайны, уладить скандал и таким образом спасти правительство, возможно, и стало его личным успехом. Вскоре после этого госпожа Тэтчер направила его в Австралию. Снова речь шла о секретах. Снова обстоятельства потребовали представить все в искусственном свете. Разгневанный отставкой секретный британский агент, живущий в штате Новый Южный Уэльс, написал мемуары и раскрыл в них некоторые секреты безопасности Британии. Когда Армстронг прибыл в Австралию, содержание книги уже стало известно, поэтому уже ничего нельзя было изменить. Однако для рациональных, логических умов госпожи Тэтчер и, по всей видимости, для высшего чиновника ее правительства информирование общества по некоторым вопросам являлось недопустимым. Они, по всей видимости, полагали, что все можно переиграть с помощью определенных юридических и технических ухищрений.

Однако стоило Армстронгу выйти из своего лондонского защитного кокона, как он уже ничего не мог сделать. Официальная точка зрения такова, что он потерпел неудачу из-за того, что оказался в суровом месте: менее цивилизованном. Там были менее склонны воздавать Армстронгу по заслугам. Действительно, адвокаты, которые докучали ему, не зависели от него. У него не было над ними контроля. Он не мог их купить. Не мог ничего предложить и чем-либо угрожать.

Технократ вне своей собственной системы похож на любого ребенка вне собственного дома. В минуту раздражения от собственной беспомощности, Армстронг допустил неосторожное высказывание, которое стало знаменитым: «Экономика в отношении правды». Его можно интерпретировать по-разному, но эти слова остаются прекрасной эпитафией для рационального придворного.

Разумеется, и в других странах встречались подобные типы. Одним из наиболее ярких представителей был Майкл Питфилд, руководитель канадской государственной службы (сотрудник Тайного совета/ Privy Council) в правительстве Пьера Эллиота Трюдо с 1974 по 1982 год. Питфилд обладал большими способностями и поступил в университет в возра-

сте четырнадцать лет, а в тридцать семь получил самую важную из невыборных должностей в правительстве. Из-за его молодого возраста и тесных связей с премьер-министром его ошибочно считали протеже премьер-министра. Но благодаря своеобразному стилю управления ему удалось сохранить политическую репутацию.

Бюрократы и политические деятели — не только оппозиционные — чувствовали, что его методы и способы управления имеют серьезные недостатки. Но большинство из них не было готово бороться с ним по причине его интеллектуального превосходства или из-за того, что он, подобно Макнамаре, постоянно пересматривал методы своей работы. Его оппонентам было трудно найти повод для борьбы.

Питфилд верил в то, что он делал. Он был убежден, что в каждой проблеме есть справедливое зерно и что оно имеет отношение к порядочности, благопристойности, социальной справедливости и защите слабых. Во всем этом он напоминал Макнамару. Даже внешне высокий, долговязый Питфилд напоминал старомодного американского нотариуса.

Питфилд постоянно экспериментировал со структурой правительства, пытаясь повысить его эффективность, ускорить обмен информацией, побуждал министров изучать варианты рациональных решений. Он экспериментировал настолько удачно, что отдельные министры утратили рычаги власти, оказавшиеся в руках молодых бюрократов. В атмосфере, которую насаждал Питфилд, министры боялись потерять свои посты и находились в неведении относительно намерений премьер-министра и всего правительства, членами которого являлись они, а не сотрудники Тайного Совета (Council office). Методы управления Питфилда отличались оригинальностью: он требовал привлечения огромных объемов информации, в результате чего возникала неразбериха, и было невозможно принять правильное решение.

Одна из последних реорганизаций, затеянных им, включала объединение двух ключевых министерств: внешних сношений и торговли. Это предложение имело убедительное обоснование: дипломатия и внешняя торговля являются двумя аспектами внешней политики и, соответственно, должны

тесно координироваться. Документ, регламентирующий работу нового министерства, был составлен просто блестяще. Он читался как зашифрованный средневековый масонский план, содержащий элементы детективного романа, полного перекрестных ссылок — не интеллектуальных, а чисто технических. Для того чтобы действовать в соответствии с организационным планом, чиновник тратил больше времени не на основную работу, а на преодоление всевозможных внутриминистерских барьеров. Никто из сотрудников не имел ни малейшего представления о том, чем он должен заниматься на практике. Им постоянно приходилось сверять свои действия с организационной структурой и выяснять, за какую область они отвечают. На эту взаимопроверку уходило практически все рабочее время.

Эта реорганизация, осуществленная Питфилдом, стала последним гвоздем, заколоченным в крышку гроба канадской внешней политики. Ошибка его заключалась в убеждении, будто при современной форме организация будет работать сама по себе. В структуре организации были прописаны все виды деятельности, и поэтому служащие лишались творческой инициативы. Иными словами, форма уничтожила содержание.

В Канаде государственная служба всегда пользовалась уважением общества, люди видели, что чиновники служат обществу. То есть они защищали общество. Структуры, которые создавались по указанию Питфилда, способствовали возведению барьеров между обществом и государственными службами. Его холодный расчет и централизация процесса принятия решений еще больше увеличивали эти барьеры и создавали ситуацию, в которой слуга (государственный служащий) стал испытывать презрение к хозяину (обществу). И несмотря на то, что в эти годы отмечался рост объема социальных программ и заботы о гражданах, в то же время наблюдался и рост недовольства и недоверия со стороны общества к государственным структурам.

Наращение подобного недовольства в обществе и привело к приходу консервативного правительства в 1984 году. Это недовольство активно использовалось, чтобы деморализо-

вать бюрократию и создать из нее образ своекорыстного врага. Высказывания о том, что государственная служба является политическим инструментом и действует вопреки интересам общества, позволили новому правительству полностью политизировать ее, поставив на многие должности своих сторонников. Таким образом, научные и идеалистические методы управления Питфилда превратили одну из самых эффективных и уважаемых государственных служб в мире в один из самых непопулярных политических инструментов власти.

Макнамара, Хит и Питфилд имеют мало общего с Генри Киссинджером. Чем бы они ни занимались, они были уверены в том, что делают это во благо общества. Они, возможно, использовали не те методы работы, и им не хватало здравого смысла. Киссинджер применял точно такие же методы, но использовал их сознательно и цинично. Упомянутые деятели пользовались этими методами для достижения общей задачи, в то время как Киссинджер использовал средства во благо себе.

Лермонтов, клеймя убийц Пушкина, очень точно отобразил в своем стихотворении худшие черты царедворца:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Это описание наиболее точно соответствует образу Генри Киссинджера — технократа, играющего традиционную роль царедворца. Когда Киссинджер выступал в роли Яго перед президентом Никсоном — Ричардом III, при его дворе уже существовали все действующие лица драмы. Но Киссинджер не был простым реликтом прошедшей эпохи. Он использовал современные технологии с почти гениальной точностью.

Неясно одно, считал ли он сам, что служит интересам общества. Невозможно знать, о чем он думал в первые месяцы службы на посту советника по национальной безопасности при президенте Никсоне. Возможно, он испытывал

такую эйфорию, что забыл о том, что находится на службе общества.

В те времена его слова звучали как слова пророка, указывающего новый путь, ведущий в рациональный рай. В своем окружении он искал людей, которые «жаждали получать реальные знания, с тем, чтобы не только заниматься решением проблем, но и помогать определять цели»¹⁵. По его замыслу они должны были составить новый класс интеллектуалов, отличный от юристов, бюрократов и бизнесменов, которые ранее обычно работали в органах власти.

Заглянув в прошлое Киссинджера, можно сказать, что его карьера развивалась вполне логично. Он говорил, что в теории и практике его интеллектуальным героем был князь Меттерних, человек, господствовавший в Европе после разгрома Наполеона в течение тридцати четырех лет. В конгрессе, правительстве и СМИ Соединенных Штатов это заявление Киссинджера было воспринято как символ интеллектуального превосходства новичка. Никто не задался вопросом, прочему все стали считать его мысли гласом будущего, в то время как он брал за образец самого реакционного и упорного врага политических реформ из европейских руководителей девятнадцатого века.

После поражения Наполеона Меттерних переиграл всех тех, кто надеялся установить в Европе некое подобие гуманистического порядка, который учитывал бы опыт социальных и политических реформ и революций, имевших место в Европе в ту эпоху. Он выступал против любого лидера, в чьих позициях имелся хотя бы малейший намек на либерализм или веру в справедливое общество. Он был уверен, что французской революции, итальянским республикам, избранным народом законодательным учреждениям и борьбе за гражданские права нет места на политической арене. Он пресекал любые намеки на реформы, которые пытались проводить некоторые европейские монархи. Он подталкивал царя Александра к реакционному деспотизму, препятствуя таким образом курсу на европеизацию России, что впоследствии привело к революционному взрыву 1917 года. Он также препятствовал плану британского министра иностранных дел Каслри

о принятии общеевропейского соглашения, в котором, наряду с защитой монархического правления, предусматривались также и определенные политические реформы. После Меттерниха подобные планы стали рассматриваться только начиная с 1945 года.

Меттерних активно способствовал реставрации абсолютных монархий в Европе. На континенте надолго установился мир, что впоследствии больше всего приводило Киссинджера в восторг. Революционный взрыв 1848 года, разделивший континент на революционеров и реакционеров, стал прямым следствием этого давящего мира. Этот искусственный раскол препятствовал принятию разумных решений на базе здравого смысла. Все впадало в крайность. Рост классовой борьбы, о которой говорил Маркс, был следствием многолетних усилий Меттерниха. Не проводя слишком далеких параллелей, можно сказать, что войны и беспрецедентное насилие в Европе в двадцатом веке также стали следствием успешного применения Меттернихом современного цинизма в реакционной форме. Этот цинизм способствовал развитию искусственного разделения между политическими силами и не давал им выражать практические интересы населения. Князь Меттерних в девятнадцатом веке сыграл ту же роль, что и Игнатий Лойола в шестнадцатом.

И лишь сейчас, после двух мировых и бесконечного числа гражданских войн и революций, Западная Европа избавляется от этого духа разногласий. Что же касается Генри Киссинджера, то он пересмотрел подходы Меттерниха и внес свой вклад в его школу политических действий.

Киссинджер считал, что кризис лучше всего улаживать тогда, когда события выходят из-под контроля. Разгар событий, особенно с применением насилия, способен «выпарить» старые политические, социальные и экономические препятствия на пути преобразований. После того как эти старые структуры испарялись под воздействием высокой температуры, Генри Киссинджер, «человек из асбеста», быстро спускался в ад и строил новое здание на старом месте. Этот процесс Киссинджер называл созданием новой надежды из старых предрассудков.

Неудивительно, что прессу привлекал человек, который не только не боялся опасности, но и любил риск и спрос на которого возрастал от одного кризиса к другому. Помимо широкого освещения в печати, его действия вызывали возбуждение. Для редакторов он был героем первых полос. Более того, он был мечтой редакторов бульварных газет, потому что медленное, осторожное развитие событий, которое не позволяло ситуации выходить из-под контроля, по мнению Киссинджера, было крайне неэффективным. Генри Киссинджер относился к событиям как к заголовкам газет и, по сути, сам был одним из таких заголовков.

Но в высокой температуре не плавятся структуры, созданные в процессе истории. История имеет исключительно прочный каркас, сооруженный на основе глубинной памяти. Пламя кризиса создает дым и мрак. Оно уничтожает окна, перегородки и даже целые этажи. Но структуры остаются. Если они изменяются, то происходит это или очень медленно, или вследствие полного, всеобъемлющего катаклизма. И даже тогда, память так или иначе противится этому. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на Францию, Германию, Японию и Австрию — страны, пережившие трагедию последней войны. Решения, искусственно навязанные во времена катастроф, вызывают у людей чувство неудовлетворенности, когда беда оказывается позади. Они воспринимаются людьми как действия, идущие вразрез с ходом истории и оскорбляющие их лично, но противостоять которым они не могут по причине своей временной слабости. Но стоит лишь людям восстановить силы, как они неизбежно начинают сопротивляться, зачастую с применением насилия, как в 1848 году. Или как в Восточной Европе в 1989 году.

В подходе Киссинджера присутствует и другой изъян. Руссо писал в своем труде «Об общественном договоре»: «Узурпаторы всегда вызывают или выбирают такие смутные времена, чтобы провести, пользуясь охватившим все общество страхом, разрушительные законы, которые народ никогда не принял бы в спокойном состоянии. Выбор момента для первоначального устройства — это один из самых не-

сомненных признаков, по которым можно отличить творение Законодателя от дела тирана»¹⁶.

Наклонности Киссинджера к узурпации проявились вскоре после его появления в Вашингтоне. Много времени было потрачено в связи с его причастностью к кампучийской операции или в связи с прослушиванием телефонных разговоров. Но все это вторично по сравнению с его отношением к власти, то есть с его пониманием того, как добиться власти, манипулируя структурой.

Он приступил к работе в качестве советника президента по национальной безопасности. Этот пост не являлся ключевым в структуре власти. Он имел куда меньше веса, нежели пост госсекретаря, министра обороны, или роль самого Совета национальной безопасности. И все же к концу срока пребывания Киссинджера на этом посту эта должность стала в Соединенных Штатах самой важной в сфере внешней политики и обороны. Он не был даже членом кабинета, юридически ответственным и официально призванным американской системой власти руководить в правительстве иностранными делами или обороной. Фактически он был ставленником президента. Но, так или иначе, он дошел до вершин власти.

Он добился этого вовсе не благодаря должности советника, хотя он обладал выдающимися талантами придворного, что помогло ему обрести доверие президента, более, чем другие, падкого на лесть и проявление подобоострастия. Секрет возвышения Киссинджера таился в его способности реорганизовать структуру правительства так, что и Совет, и министр обороны, и госсекретарь стали выполнять функцию придатков к его должности. Добиваясь этого, он совершил нечто гораздо более серьезное, чем любой из участников Уотергейта. Он ниспровергал американскую систему управления с тем, чтобы поместить себя в ее центр.

Он убедил президента Никсона уменьшить количество заседаний Совета, на которых он не имел веса, ограничивая таким образом возможности реальных дебатов на этих заседаниях. Вместо этого он стал председателем подкомитета, который называли группой обзора (Review Group), в

которую вошли заместители директора ЦРУ, руководитель Объединенного комитета начальников штабов, министр обороны и госсекретарь. Они, в свою очередь, передавали вопросы на рассмотрение в соответствующие комитеты или в Совет.

Эта организационная власть позволяла ему контролировать рассмотрение всех проблем. В отсутствие полновесных заседаний Совета он стал рупором президента. Группа обзора решала, какие вопросы должны готовиться министерствами для вынесения на рассмотрение Совета. Более того, его аппарат наводнял министерства заявками на исследования и обзоры, и создавалось впечатление, что они участвуют в процессе принятия решений. В действительности их загружали работой для того, чтобы держать в стороне. И когда происходили заседания Совета, президента готовили к ним таким образом, что на них он зачитывал заранее подготовленные заявления по вопросу, так что какая бы то ни было дискуссия со стороны членов кабинета автоматически исключалась. Но главная задача Совета заключалась при этом в неофициальном обсуждении ключевых проблем безопасности, которые по своей значимости выходили за рамки отдельного министерства. Добавьте к этому подробнейшие аналитические записки, составлявшиеся для обоснования точки зрения Киссинджера, но содержавшие в себе море фактов, которые собирал весь аппарат Совета, и станет ясно, что весь аппарат правительства мог действовать только в соответствии с указаниями советника президента.

В результате воздействия аналитических записок на реальную демократию последняя практически исчезает — это феномен наших дней. Если факты — знание, и знание верно, то эти документы представляют собой синоним абсолютной власти для тех, кто их готовит. Кто подготавливает аналитические записки, тот и контролирует ход дебатов. Эти документы убивают функцию заседаний кабинета правительства, в котором пытаются использовать коллегиальный здравый смысл. Аналитические записки — один из важнейших инструментов нашего времени, излюбленное оружие современных технократов, которое используется там, где ведущую

роль в западном обществе некогда играла дискуссия: в кабинете министров, комитетах правительства, межведомственных комитетах, советах директоров корпораций, исполнительных комитетах, консультативных комитетах, чрезвычайных комитетах и простых комитетах.

Киссинджер усилил свои организаторские способности, применив эффективный метод: всегда находиться на гребне информационной волны, чтобы быть ее глашатаем и толкователем, или, при необходимости, погасить ее. Его потребность управлять потоком информации была связана с пристрастием к секретности и с атмосферой страха, которая проникала повсюду, поскольку он постоянно манипулировал всеми, кто находился в пределах досягаемости.

С куртизанками у него была общая черта — переменчивость в поведении и в оценках окружающих. На публике он был и остается обладателем благородной логики. Мудрый государственный деятель: «На прошлой неделе я имел честь встречаться с [японским] премьер-министром Накаоне... Я сказал ему, что весьма удивительно различие отношения к безопасности в Азии и в Европе. И он сказал мне слова, которые разрешил мне цитировать. Он сказал: «Различие в этом такое же, как различие между европейской живописью и японской живописью»¹⁷.

Однако в личной жизни Киссинджер мог позволить себе грубые нападки и насмешки. Так, он неоднократно заявлял, разумеется не для печати, что госсекретарь Уильям Роджерс — «гомик», что министр обороны Мелвин Лэйрд страдает манией величия, а Дэниел Эллсберг, допустивший утечку информации из Пентагона, имеет сексуальные отклонения¹⁸. Он явно смаковал информацию ФБР о частной жизни, используя подслушанные телефонные разговоры общественных деятелей, в поддержке которых он не был заинтересован.

Вера Киссинджера в свою способность управлять событиями порой играла с ним злую шутку. Он верил в то, что способен изменять ход истории, используя модернизированный метод Меттерниха. Несмотря на стремление использовать уроки истории, непоследовательность в дейст-

виях выдавала в нем натуру технократа. Например, он решил, что шах Ирана — человек Америки на Ближнем Востоке. Шах начал осуществлять модернизацию в стране, но Киссинджер советовал ускорить перевооружение армии, чтобы противостоять русским, полковнику Каддафи в Ливии и бороться с нестабильностью в регионе. В Иране большие запасы нефти, но это страна с большой численностью населения. Шах увеличил объемы финансирования на модернизацию, закупку вооружений, строительство дорог, но вскоре средств стало не хватать. В один из моментов просветления Киссинджер убедил шаха для возмещения недостатка финансов повысить цену на нефть. Совсем немного. Но сразу выяснилось, что цена на нефть может повести себя непредсказуемо. Киссинджер, как и многие другие, высказался за инфляционный вариант, полагая, что с помощью инфляции Америка преодолест негативные последствия повышения цены на нефть. Его представителей можно было встретить на многих совещаниях в разных странах. Они выступали с заявлениями, что инфляция станет панацеей от всех бед, если все начнут печатать деньги и сохранят спокойствие, когда инфляционные показатели будут расти¹⁹. Плавающие курсы, валютные войны (которые продолжаются по сей день), шах в трясине финансовых затруднений и на пути к изгнанию — все эти факты указывают на то, что история продолжает движение по заданному курсу, после того как Киссинджер попытался на время изменить этот курс.

Когда технократы находятся на выборных должностях, их слабости приобретают другие формы. Они могут быть мастерами искусственного самовозбуждения, но в свете общественного внимания многие черты их характера выглядят малопривлекательными. Жак Ширак, несмотря на то что дважды занимал пост премьер-министра, так и не смог избавиться от ярлыка политика, который получал должности не по заслугам. Его слегка неестественная манера расплывчато высказывать свои мысли заставляет людей думать, что в действительности он так не думает. Люди чувствуют, что его амбиции не

подкреплены конкретными убеждениями, которые обосновывали бы, что он по праву занимает свою должность.

Спустя пятнадцать лет никто не забыл его блестящих маневров, благодаря которым он отодвинул в сторону своих коллег-политиков, что позволило Валери Жискар д'Эстену стать президентом, а ему самому впервые занять пост премьер-министра. Всякий раз, когда он вступает в игру, готовый предать своих друзей и свою партию во имя продвижения наверх, в памяти людей всплывает образ существа, напоминающего акулу. И в то же время он человек, способный совершать правильные поступки. В обычные времена он был бы руководителем, действующим с несколько прямолинейной эффективностью. Но в критический момент, когда для контроля ситуации требуется подлинная нравственная позиция, он паникует и действует неправильно.

Например, на неделе, разделяющей два тура голосования на выборах президента в 1988 году, когда опросы выявили, что он серьезно отстает от лидера, он предпринял несметное число «государственных» действий. Он отдал приказ начать военное наступление против националистов в Новой Каледонии. Военное руководство на месте выступало против этого, но премьер-министр хотел продемонстрировать свою твердость. В результате жизнь девятнадцати человек оказалась под угрозой во время атаки на пещеру, в которой они укрывались. Потом он пытался продемонстрировать свой гуманизм и опыт в разрешении международных проблем, участвуя в переговорах по освобождению французских заложников на Ближнем Востоке. Фактически вся его деятельность свелась к уступкам похитителям, что поставило под угрозу жизнь части заложников, оставшихся в их руках. Своими уступками он спровоцировал новые захваты заложников. Но зато в вечерних новостях несколько секунд показывали, как он приветствовал в аэропорту освобожденных заложников. И наконец, желая привлечь голоса небольшой группы избирателей-националистов, он превратил коммерческое разноегласие по вопросу о рыбной ловле с ближайшим союзником — Канадой в крупный дипломатический, почти военный инцидент.

Французские избиратели, преисполненные здравого смысла, расценили эти три действия как конкретное доказательство того, что этот человек не готов стать президентом. Мало того что ошибки Ширака стоили ему в последнем туре победы, они также ухудшили позиции его партии на последующих выборах в Национальное собрание. Не вызывает сомнений способность людей делать правильный выбор, если имеется четкая альтернатива. Дело в том, что новое технократическое руководство обычно умеет исказить природу и ценность этого выбора.

Неоднократные публичные провалы Ширака позволяют предположить, что он представляет собой противоположность политикам типа Генри Киссинджера. Но это не совсем так. Оба они обладают навыками технократов. У обоих большие амбиции. Им обоим недостает нравственного здравого смысла. Киссинджер заполняет этот недостаток тщательно дозированным цинизмом.

Гарольд Вильсон, один из первых в поколении технократов на выборных должностях, сделал блестящую политическую карьеру. Возможно, благодаря сочетанию практических знаний с цинизмом и амбициями Киссинджера. И он знал, как использовать их в правильном соотношении. Подобно Киссинджеру, он не использовал свой талант и знания для продолжения крестового похода во имя модернизации. Он просто стремился к власти в пределах современной системы, используя искусство манипулирования. После нескольких лет его правления в стране почти все считали, что в делах государственного управления не делалось ничего серьезного в среднесрочном или долгосрочном плане. Рассматривались и учитывались лишь сиюминутные проблемы: споры о заработной плате, о курсе фунта стерлингов. Технократ, лишенный убеждений, даже если они неправильные, сродни карточному шулеру, который старается отвлечь внимание от своих рук. Ни один поступок Вильсона не может расцениваться как нравственный, потому что при нем были утрачены критерии оценки положительных действий.

В такой атмосфере даже обычные, растяжимые стандарты правды в политике были утрачены. Он, например, про-

должил крестовый поход против белого населения Родезии, установив экономическую блокаду страны под контролем британского правительства. За этим последовала демагогическая риторика о расовой справедливости и равенстве, широко подхваченная во всем мире. Но в то же время он прекрасно знал, что нефтяная компания, контролируемая Британией, осуществляет поставки энергоносителей режиму Солсбери.

Даже если оставить в стороне этические соображения, неужели он мог вообразить, что правда не всплывет? В контексте технократического мышления, правда, подобно истории и событиям, — это то, что соответствует интересам системы или плану игры руководителя. Правда — это интеллектуальная абстракция, и человек типа Гарольда Вильсона считает, что он управляет дефинициями.

Он обладал специфическим взглядом на действительность, считая себя независимым как от устоявшихся традиций, так и от текущих событий. Нагляднее всего это демонстрирует его отношение к прессе. Он использовал средства информации, чтобы позиционировать себя человеком из народа, но, когда речь зашла о свободе печати, он использовал весь свой вес премьер-министра и даже прямые угрозы в адрес журналистов, чтобы не допустить нападок в свой адрес в средствах массовой информации. Если в ходе телевизионного интервью он чувствовал, что ситуация выходит из-под его контроля, он мог потребовать остановить съемку и угрожать судебным иском продюсерам и репортерам, которые, вообще-то, отрабатывали свой хлеб.

Длительное правление Гарольда Вильсона в качестве премьер-министра не имело ни судьбоносных, ни драматических последствий, скорее, оно было сродни театральному фарсу. Это была постановка на тему повседневной жизни, не отягощенная особым содержанием. Правительство существовало в унылой атмосфере. Он держался за власть, играл свою роль в системе, подобно скрипачу в провинциальном оркестре, а затем перешел в палату лордов. Он управлял системой, а не правил страной, и это единственная привлекательная черта его стиля руководства.

Гораздо более интересным примером раннего выборного технократа был человек, которому Жак Ширак помог стать президентом Франции: Валери Жискар, или Жискар д'Эстен, если принимать во внимание покупку его отцом чье-то имени, а значит, и «аристократическое происхождение» своему семейству. Пример Жискара, как наиболее безнадёжного из рассматриваемой группы, позволяет сделать много важных выводов как о технократах, так и о самой власти.

Этот человек ограниченных интеллектуальных способностей происходил из семейства честолюбивых нуворишей, которые в годы последней войны были сторонниками Петена. Жискар должен был воплотить чаяния своего семейства. Он закончил ЭНА в 1954 году и к сорока годам занялся созданием имиджа важного человека. У него был прирожденный талант бухгалтера: он умел мастерски манипулировать цифрами. Кроме того, он был чрезвычайно самоуверен. Эта самоуверенность часто облекалась в форму аристократической изысканности. Фактически это была самоуверенность технократа, который, договариваясь о встречах, всегда диктует свои условия. Жискар обладал необычным талантом иметь обо всем собственное мнение как по поводу частных, так и в отношении проблем Франции и всего мира.

Талант финансиста и надежные денежные тылы его семейства позволили молодому человеку занять пост министра финансов. В этой должности он проявил себя человеком нового поколения современности. Период его руководства был относительно легким, так как он совпал с длительным периодом подъема западной экономики. Шарлю де Голлю, который руководил страной творчески и со знанием дела, помогал целый ряд деятельных министров. Роль Жискара в правительстве можно сравнить с пятым колесом в телеге. Он играл отрицательную, пассивную роль, лишенную творческого потенциала и требований лидерства.

В кабинете все, кроме него, были энтузиастами, но пассивный негативизм Жискара был полезен. Он продолжал играть ту же роль в период стабильного развития в течение десяти лет. Когда на смену де Голлю пришел Жорж Помпиду, позиции Жискара остались неизменными.

И только после кончины Помпиду на посту президента, когда Жискар стал кандидатом в президенты, начал проявляться его истинный характер. Стартом его (избирательной) кампании стала маленькая административная уловка, целью которой было устранение конкурента: голлиста Жака Шабан-Дельмаса. Каким-то образом была допущена утечка в прессу сведений из налоговой декларации Шабана. Как министр финансов, Жискар отвечал за налоговые декларации. Из опубликованных данных можно было понять, что Шабан не заплатил часть налогов. На Западе такая информация вызывает шок и, если богатые люди уклоняются от уплаты налогов, это всегда привлекает пристальное внимание общества. Вероятно, налоговая декларация самого Жискара была бы еще более шокирующей, но министр финансов не допустил ее утечки.

Эта налоговая декларация позволила Шираку выставить Шабана старым, коррумпированным представителем правых сил, в то время как себя он преподносил абсолютно в ином свете: либералом, который уверенно строит будущее. Технократические навыки тогда считались синонимами открытых, либеральных отношений. Но в послужном списке Жискара на посту министра финансов ничто не указывало на то, что он либерал. В голлистском правительстве, порой якобинском, а порой и жирондистском, Жискар всегда выступал консерватором. С другой стороны, Шабан был самым радикальным, социально ответственным премьер-министром Пятой республики.

Вслед за Жискаром, Шабан-Дельмаса предал и Ширак. Чтобы продвинуться, молодой член кабинета министров спровоцировал раскол в рядах голлистской партии и перешел со своими единомышленниками на сторону Жискара. В результате сложилось впечатление, что все молодые технократы сплотились вокруг Жискара.

Но это было не так. Если взглянуть на руководство Франции тех лет, то можно увидеть, что у Жискара было мало друзей. Он был нелюдим и честолюбив — изолированный электронный счетовод. Все талантливые люди на государственной службе — мыслители, высшие чиновники, творцы — бы-

ли сторонниками или Шабана, или Франсуа Миттерана, кандидата от социалистов. Ширак стремился всего лишь к власти, он ее и получил.

После своего избрания Жискар вознаградил молодого человека за его предательство постом премьер-министра. Вытеснение Шабана Жискаром и Шираком было примером классической битвы между худшими представителями новой элиты и лучшими представителями старой. Шабан был далеко не идеалом. Но он был героем Сопrotивления, который сделал свой выбор в годы Второй мировой войны, когда, казалось, не было никакой надежды на победу. Свой выбор он сделал не потому, что стремился к власти, но потому, что хотел защищать лучшие ценности в обществе. На посту премьер-министра Шабан начал активно проводить реформы. Но тем не менее, Жискар и Ширак в ходе предвыборной кампании объявляли себя рациональными и эффективными реформаторами. Получив власть, они, строго говоря, не знали, как ей распорядиться. Но в борьбе между действительно разумной политикой Шабана, которая выставлялась ими в наихудшем свете, и иллюзорным образом Жискара и модернизмом Ширака победил иллюзорный образ.

Сразу после завершения выборов 1974 года, Жискар совершил ряд смешных поступков. На завтраки в Елисейский дворец он приглашал мусорщиков. С другой стороны, на официальных обедах он и его жена настаивали на первоочередном обслуживании, как будто они жили в старые времена и были коронованными особами. Две пожилые женщины, занимавшиеся большой благотворительной работой, были приглашены во дворец на чай. Но его подали им в отдельной комнате, а затем их провели в большой зал, где Жискар приветствовал их, сидя в высоком кресле, будто на троне. И историй подобного рода было множество.

В то же время экономические взгляды Жискара были ненадежны. Он первым из западных лидеров, намного раньше Рейгана и Тэтчер, попытался подавить инфляцию высокими процентными ставками, следствием чего стали банкротства и рост безработицы. В своих публичных выступлениях он постоянно абсолютно самоуверенным тоном утверждал, что

эти частные проблемы носят временный характер, тогда как в действительности все было наоборот. Он первым из западных лидеров обобщил взгляды технократов на то, что широкие слои общества никогда не должны знать реальной экономической ситуации, что они не способны ее понять или изменить.

Он очень часто заменял одного премьер-министра другим, признавая, таким образом, свою некомпетентность. Вместо Ширака он назначил экономиста Раймона Барра. Таким образом, не прошло и половины срока его правления, как он уступил контроль в той области, в которой, как он ранее пытался убедить массы, он разбирался наилучшим образом.

Теперь люди почувствовали, что совершили серьезную ошибку, но они не могли до конца понять, в чем именно. Так как одной из отличительных черт современного технократа является интеллект, то у них язык не поворачивался сказать, что Жискар глуп или, выражаясь корректно, что у него низкий, ограниченный интеллект. Он проиграл на следующих президентских выборах в значительной степени из-за того, что, по мнению народа, Жискар был хотя и интеллигентен, но не слишком умен (имея в виду его социальные амбиции), а к тому же и нечестен (из-за алмазов, которые он принял от Бокасса, президента/императора Центрально-Африканской Республики). Возможно, были и другие причины, но главной его проблемой был недостаток практического интеллекта. В 1991 году его карьера закончилась тем, что, воспользовавшись нарастающей нетерпимостью французов к небелым иммигрантам, он выступил с рядом заявлений, в которых трагивались расовые проблемы. Можно предположить, что его отец, сторонник Петена, гордился бы своим сыном.

Наконец, Джеймс Бейкер и Саймон Рейсман — оба представители одного и того же класса, но весьма различающиеся своими методами. Их конфликт, закончившийся ничьей, показал, какими чертами обладает современный технократ, использующий властные рычаги, которые ослабляют его как общественного деятеля. Саймон Рейсман, продукт депрес-

сии, стал заместителем министра финансов в Оттаве, потом ушел в отставку, чтобы стать лоббистом крупных корпораций, затем вернулся в правительство, чтобы вести переговоры по торговому договору между Соединенными Штатами и Канадой в конце 1980-х годов. Там он сблизился с Джеймсом Бейкером, тогдашним министром финансов, чья карьера выстраивалась в тени Джорджа Буша. Бейкер во многом унаследовал методы Киссинджера. Казалось, что он лучше, чем Киссинджер, понимал принципы и методы управления. В одном качестве он превосходил Киссинджера — он знал, как сдерживать свое собственное «я».

С другой стороны, Рейсман обладал худшим из возможных недостатков технократа. Вне зависимости от проблемы, его «я» шествовало впереди него. Несмотря на энергичность и громогласность, он был слабым переговорщиком. Раньше эти недостатки казались преимуществом. Государственные служащие старой закалки в поведении были сдержанными, тогда как Рейсман постоянно закатывал истерики и кричал на людей. Таким образом он производил впечатление человека, который стремится к достижению цели. Постоянное давление на людей казалось признаком его интеллектуального превосходства.

Со временем накопилось достаточно данных, ставивших под сомнение его интеллектуальный уровень, равно как и эмоциональную устойчивость, но к тому времени он уже оказался в обойме политиков. Его единственный успех в середине 1960-х годов — это соглашение между США и Канадой по вопросам автомобилестроения, авторство которого он приписывал себе и который считался конкретным доказательством того, что он является компетентным чиновником и администратором. В действительности он был демагогом, хотя и обладавшим житейским умом, но недостаточно развитым, чтобы обходиться без подсказок экономистов.

Рейсман вскоре получил должность первого заместителя министра и на этой должности полностью проявил свои способности. Однажды он беседовал в своем кабинете с крупнейшими японскими бизнесменами и, позвонив кому-то, стал кричать в трубку: «У меня здесь эти чертовы япошки,

они хотят договориться о более низких тарифах!» Во время торговых переговоров со странами Общего рынка в конце 1960-х он вдруг принялся запугивать представителей этих стран, словно это были его подчиненные, потом начал ругаться, переходя на крик. Казалось, что он впадает в истерику. В результате без всяких к тому причин у Канады стало больше врагов. Власть технократа, в конце концов, ограничена системой, в которой он господствует²⁰.

Рейсман обладал колоссальной энергией, которая просто пугала его подчиненных, благодаря чему министерство работало успешно. Но его стремление к власти имело негативные последствия. Он постоянно пытался очернить других заместителей министра. Позднее, когда он оказался на вершине власти, он заблокировал предложения о гарантированном ежегодном доходе, за утверждение которого выступал кабинет министров. Рейсман открыто хвастался, что ему одному удалось заблокировать избранных народных представителей. Уйдя в начале 1974 года в отставку с поста заместителя министра финансов, он создал компанию по лоббированию интересов именно тех кругов, которые он контролировал на посту государственного служащего. В результате протестов общественности в отношении его компании были разработаны новые правительственные инструкции о государственных служащих, правда, и они оказались малоэффективными.

Репутация жесткого переговорщика и его поддержка свободной торговли с Соединенными Штатами способствовали тому, что канадское правительство обратилось к Рейсману с предложением возглавить делегацию на переговорах по заключению торгового договора между Соединенными Штатами и Канадой. Обе стороны знали, что в результате заключения договора политическая и экономическая ситуация в Северной Америке может претерпеть серьезные изменения. Именно тогда жесткость Рейсмана обернулась его слабостью.

Он собрал сравнительно небольшую команду, которой, однако, пришлось действовать без хорошо организованной поддержки со стороны государственного аппарата. Его агрессивную манеру ведения переговоров можно было сравнить с действиями старого кавалерийского генерала с быст-

рыми шпорами и туго мыслящими мозгами. Но в этой команде не было взаимодействия. Вся надежда была на Рейсмана, на его легендарные способности жесткого переговорщика. Вашингтон воспользовался этим, поставив во главе делегации на переговорах спокойного, относительно неизвестного человека. Рейсман счел это личным оскорблением. На переговорах он стал проводить еще более эгоцентричную, авторитарную линию. А за спиной Джеймса Бейкера — внешне равнодушного американского представителя на переговорах — стояла прекрасно организованная большая группа экспертов в Вашингтоне, обладавшая преимуществом по всем ключевым вопросам.

Подобно Рейсману, Киссинджеру и Шираку, Бейкер был лишен высоких идей или моральных принципов. В своих действиях он руководствовался стремлением к власти и боязнью ее потерять. Но в отличие от них он был мастером закулисных манипуляций, что позволяет человеку системы на все сто использовать власть, которую он аккумулирует в своих руках.

Такой человек не доверяет предложениям, которые высказывают громким голосом, и у него нет уважения к тем, кто выдвигает их²¹. Его методы ведения переговоров совершенно ясны. Вот как он сам описывает их: «Суть в том, что их следует подстрелить там, где вам нужно, и на ваших условиях. А потом у *вас* есть свобода выбора — нажать на курок или нет. Но после того как они оказались в ваших руках, это уже не имеет значения. Важно лишь знать, что они в ваших руках, что вы можете делать все, что угодно, и именно так, как вы решили»²².

Так Бейкер описывает охоту на дикую индейку. В то время как Рейсман бесился, кричал и тушил сигары о стол переговоров, в глазах американского министра финансов он был очередной надутый индейкой, которая топчется у кормушки, а страх-то сильнее голода. В самые драматические дни переговоров появился невозмутимый Бейкер, пригласил растерянных канадцев в свой офис и произвел последний выстрел. Они умерли счастливо, потому что думали только о кормушке в тот момент, когда пуля попала в их коллективный мозг.

Однако первые недели пребывания Бейкера на посту секретаря при президенте Буше были мало впечатляющими. Он сопровождал президента в нескольких зарубежных поездках, которые вызвали сильное недовольство союзников Америки. Политические обозреватели стали поговаривать, что на предыдущей должности Бейкер был более эффективен. Но Бейкер быстро вошел в курс дела и вскоре стал играть ведущую роль на международной политической арене.

То, что Бейкер обладает выдающимися, не хуже, чем у Меттерниха, способностями к манипулированию, выяснилось в ходе переговоров руководителей ряда западных стран по вопросу падения курса доллара, проведенных в нью-йоркском отеле «Плаза» в 1985 году. В этих переговорах с американской стороны участвовали также президент и Дональд Риган, бывший министр финансов и руководитель администрации президента. С каждым из западных руководителей Бейкер вел переговоры в мягкой и доверительной манере и добился того, что они не смогли выступить единым фронтом против американской стороны. Но системный руководитель высшего уровня, прежде всего, изучает работу структуры, с которой он будет иметь дело.

Бейкер достиг высокого уровня в искусстве дипломатии. Он действует в осторожной, но жесткой манере, очень четко и взвешенно. По мере необходимости он дозированно информирует общественность о своих шагах, но чаще всего он предпочитает действовать в обстановке секретности. Он использует профессионалов из госдепартамента, главным образом, в качестве поставщиков информации. Он делает политику в узком кругу, состоящем из четырех советников.

Проблема состоит в том, что у него, как кажется, нет шкалы нравственных ценностей. Поэтому делать политику в изоляции — примерно то же самое, что делать ее без направления или конкретных намерений. А его утонченные методы мало эффективны в отношении людей, имеющих четкое представление о своих целях. Во время оккупации Ираком Кувейта Бейкер не сумел эффективно применить свой опыт. Несмотря на беспрецедентную поддержку международного сообщества, включая исламские страны, инициативы Бейкера не да-

ли результатов. Объективная оценка реальности в дипломатии подразумевает, что в переговорах необходимо учитывать все факторы, включая и время, необходимое для их осмысления. Часто при урегулировании международных кризисов не хватает именно времени. И как следствие, начинаются военные действия, что еще больше затрудняет урегулирование.

В этих наскоро сделанных, эскизных портретах политических деятелей, руководивших западными странами в последние десятилетия, мы старались выявить их общие черты. Разумеется, их характеристики более сложны и не исчерпываются этими чертами. Но их объединяет то, что, прежде всего, им трудно действовать в условиях демократии. Талант технократа не подходит для публичных дебатов или открытых отношений с людьми. Они либо избегают людей, чтобы скрыть презрение к ним, либо проявляют фальшивое дружелюбие, принимая людей за полных идиотов, или смущаются. Им присущи таланты другого рода. Они мастера закрытых структур, закулисной борьбы, работы с секретной информацией. Они продают информацию в обмен на власть. Они придают огромное значение секретности.

Случайно или нет, но их методы вселяют страх в тех, кто вынужден постоянно общаться с ними. Почти все они запугивают людей, оказывая на них интеллектуальное давление. Используя закрытую информацию и манипулируя, они шантажируют людей их зарплатой, карьерой и пенсией. Во многих случаях это вырождается в мелочную борьбу с подчиненными. Иногда они допускают утечку информации как шоковую терапию. Поэтому не удивительно, что эти люди редко имеют друзей или рассчитывают на их помощь. Как правило, они — одинокие существа, перетекающие, подобно Макнамаре или Жискару, из одной структуры в другую. Либо они привязаны к какому-либо лидеру, как это происходило с Киссинджером, Питфилдом или Бейкером.

У руководителей такого сорта нетрудно обнаружить наихудшие черты китайских евнухов. Современный евнух держится за свои яички и старается сохранить их в целостности и сохранности, но, по всей видимости, так же страдает, как от по-

следствий их удаления. Возможно, кастрация больше воздействует на ум, чем на физическое состояние. Технократы страдают от дефектов характера, которые делают их неспособными устанавливать связь между разумом, здравым смыслом и нравственностью. Они считают себя наследниками Века Разума и в результате не могут понять, почему их таланты не приводят к желаемым результатам. Их абстрактное представление о механизмах человеческого общества не позволяет им понять естественный ход событий и осознать, когда и почему они совершили ошибки.

Создается впечатление, что они не понимают сути исторического процесса. Вместо этого они, вероятно, искренне верят, что дефиниции, которые они предлагают миру, будут не только реальными, но и вечными, так как эти дефиниции — продукт прикладной логики. Когда же эти формулы не срабатывают, мозг технократа, вместо того чтобы смириться с поражением, просто удаляет информацию и выдает новую дефиницию. В этом смысле они — рабы догмы. Одновременно с этим они стараются обходиться без линейной памяти. Если бы они сохраняли в памяти точную картину недавних событий, то им бы не приходилось, подобно компьютеру, постоянно стирать из памяти часть информации и заново реконструировать ее.

Их таланты стали использоваться в качестве мерила современного интеллекта. Однако это чрезвычайно узкое определение, и в нем не учитывается большая часть человеческого опыта и человеческой природы. Достаточно сказать, что если подходить с таким мерилom к интеллекту Сократа, Байрона, Джефферсона, Вашингтона, Черчилля, Диккенса, Джозефа Конрада, Джона А. Макдональда и Жоржа Клемансо, то их, несомненно, можно назвать либо людьми с низким интеллектом, либо эксцентричными, либо романтическими или ненадежными.

Технократы — это гедонисты власти. Их зависимость от структур, их неспособность или нежелание использовать их во имя общественного блага делает эту власть абстрактной силой, силой, которая работает в направлении, противоположном реальным потребностям этого очень реального мира.

Глава пятая

ДЕТИ ВОЛЬТЕРА

Между новоиспеченным членом ордена иезуитов, молодым марксистом, начинающим штабным офицером и недавним выпускником ЭНА или МВА нет существенной разницы. Все они – рабы того или иного метода, и все эти методы имеют общий источник. На первый взгляд можно предположить, что между ними существует большое различие, так как представители этих систем находятся в постоянной борьбе между собой во имя профессиональных или национальных интересов. Различия заключаются лишь в толковании универсального метода их подготовки. А возможно, эти различия являются следствием противоположности интересов, которые, судя по ожесточенности борьбы между ними, очень велики.

Однако когда мы приступим к анализу этих различий или противоречий, то не обнаружим большой разницы. В итоге мы приходим к выводу, что их разделяют только должности, которые они занимают. Они защищают интересы той структуры, или системы, которая их выдвинула. Если убрать идеологические шоры, то станет ясно, что они преследуют сходные цели.

На первый взгляд это можно считать положительным явлением и доказательством того, что рациональные структуры и соответствующее образование разрушили барьеры узкого национализма. В этом можно увидеть признак международного порядка, объединяющего все современные элиты.

Но производит ли эта рациональная система образования те элиты, о которых мечтали философы Века Разума? Признал бы Вольтер их своими детьми? Люди подобные Макнамаре и Шираку – способные ученики, но типичны ли они? Ответ на эти вопросы мы получим, сравнив первоначальные намерения рационального образования с его современными потомками. Если, например, наши элиты обучаются в соответствии с методами и намерениями, которые предают базовые ценности западной цивилизации, то, возможно, это происходит потому, что их создатели неправильно определяли и

толковали эти ценности. Если мы производим элиты, которые не обслуживают наши интересы и не соответствуют нашим желаниям, то, возможно, проблема состоит в том, что наши ожидания всегда базировались на ложном фундаменте. Возможно, эти элиты являются абсолютно логичным продуктом рационального общества.

Объединенная западная элита, использующая единую систему мышления, является именно тем, что Лойола намеревался создать в 1539 году. Благодаря его изобретению, иезуиты впервые в мире создали интеллектуальную международную систему. Однако за несколько лет, прошедших от создания ордена до смерти Лойолы, раскрылась злополучная сущность его изобретения. Иезуиты быстро стали либо инструментом, обслуживающим местные интересы, либо просто заменили их. Через сорок лет современный метод, оставаясь глубоко интернациональным, оказался тесно связанным с национализмом.

Во второй половине двадцатого столетия эта связь достигла своего апофеоза. Системы доминируют повсюду, так же как и люди системы. В то же время национализм никогда не был настолько силен, он стал самоцелью.

Американцев все больше волнует положение дел в США и то, почему не претворяется в жизнь американская мечта. Западные европейцы заняты своими проблемами. Одной из главнейших задач, которую должен решать их наднациональный орган, — это решение проблем, вытекающих из растущего национализма, в том числе и в США. Третий мир состоит из более сотни новых наций, только начинающих движение к осуществлению национальной мечты. Советская система утратила контроль над местными националистами, противоречия между которыми могут вызвать непредсказуемые и опасные последствия. И пять наций Восточной Европы, которые безуспешно боролись в течение девятнадцатого и в начале двадцатого века за справедливую национальную идентичность, снова отчаянно пытаются воплотить в жизнь свою мечту. Иными словами, несмотря на успокоительную риторику, мы находимся в начале самой националистической эры, которую когда-либо знал мир.

Хотя в наши дни многие политические и интеллектуальные структуры пытаются использовать националистические лозунги, простой факт принадлежности к тому, что римляне называли племенем, дает этому законное обоснование и оправдывает борьбу. Национальная составляющая стала последним инструментом современного правителя и его системы.

И все же эти мужчины и, в постоянно возрастающей степени, женщины — дети Вольтера. Они — продукт его нападков на коррумпированное, грешащее суеверием общество со сложной абсолютистской структурой. Вольтер направил острие своей критики на старые элиты и призывал к созданию новых рациональных лидеров, которые были способны заглянуть в будущее, дальше восемнадцатого столетия. Его идеальный человек — это человек, обладающий знаниями. И эти знания он переосмысливает через этику и здравый смысл.

Современный технократ кое-что знает. Но его мыслительные процессы полностью исключают и этику, и здравый смысл. Противоречие между воображаемым современным рациональным человеком разума и реальностью может заключаться уже в его имени — «технократ».

Слово «технология» — относительно новое, оно образовано от греческого *techne* (мастерство, специальность) и *logos* (знание). Мастерское знание. А существительное *технократ* имеет другое значение. *Techne*, мастерство, в этом случае соединено с *kratos* (сила, мощь). Мастерство технократа проявляется в осуществлении власти. Иными словами, это искусство властвовать. Технократ — представитель абстрактной профессии, использующий узкоспециальные знания. Его привлекают в качестве наемника в организации, которые занимаются производством, услугами или торговлей; в сфере их интересов более широкие области знания. Иными словами, его нанимают для того, чтобы он мог присвоить себе власть других людей.

Вольтер часто высмеивал современную ему элиту, отмечая, что, несмотря на титулы и богатство, она была ужасающе невежественной. Они просто покупали знания и услуги в любых областях: финансах, архитектуре, управлении,

искусстве или военном деле. Невежество элиты было настолько вопиющим, что она была просто не способна к руководству. Вольтер не пытался доказать, что для того, чтобы руководить или принимать на себя ответственность, человек должен быть совершенен, как идеал эпохи Ренессанса. Но тогда существовала потребность в общих и, по всей видимости, глубоких знаниях в некоторых областях. Поэтому люди должны были интересоваться идеями и изобретениями своего времени. А для этого — читать, думать, задавать вопросы и обсуждать проблемы, выходящие за узкопрофессиональные рамки. Рассматривать общество как органическую, живую материю.

По сравнению с технократами наших дней, прежние руководители-аристократы покажутся знатоками, эрудитами и цивилизованными людьми. Современный технократ активен и действительно сильно подготовлен. Но, исходя из любого традиционного стандарта западной цивилизации, он — фактически неграмотный человек. Одна из причин того, что он не способен признать прямую зависимость между властью и нравственностью, заключается в том, что моральные нормы — продукт цивилизации, а технократ имеет весьма расплывчатое представление о своей собственной цивилизации.

Грамотность подразумевает способность читать, поэтому в понятие западной цивилизации входит умение человека читать — для того чтобы получать информацию о своей цивилизации. Грамотность передает цивилизации совместный опыт. Один из признаков умирания цивилизации — это то, что в ее языке начинается дробление на отдельные диалекты, что затрудняет взаимодействие и общение. Совершенствующаяся, здоровая цивилизация использует язык как повседневный инструмент развития общества. Роль ответственных, грамотных элит заключается, наряду с другими функциями, и в укреплении взаимодействия.

Что можно думать об элитах, которые стремятся развивать, прежде всего, отдельные диалекты? Они хотят, чтобы общение сокращалось? Активно препятствуют массам населения понимать друг друга? Они ратуют за безграмотность.

Что можно подумать о врачах, зарабатывающих несколько сотен тысяч долларов в год, но прочитывающих за год, в лучшем случае, два-три примитивных триллера? Чье политическое мышление ограничено схематическим представлением о борьбе между капитализмом и социализмом? Кто, благодаря оценкам представителей своей профессии, получает все больше наград и признания заслуг по мере сужения своего медицинского кругозора? В девятнадцатом столетии медицины были в центре политических, социальных и культурных перемен. Сегодня врач достигает вершины своего профессионального мастерства лишь тогда, когда он, вместо того чтобы обследовать весь организм пациента, сознательно ограничивается изучением одного органа. Можно ли такого специалиста назвать грамотным?

А что мы скажем о профессоре английской литературы, который рассматривает свой предмет в отрыве от общества? Как относиться к неконструктивным идеям, согласно которым литературное произведение может быть доступно лишь отдельным посвященным? Как воспринимать тех, кто пытается уничтожить великие традиции гражданственности в литературе, которые всегда считались орудием борьбы за социальные изменения? Кто считает настоящей литературой лишь те ее формы, которые доступны только пониманию избранных? Кто утверждает, что литература должна рассматривать лишь вопросы, далекие от жизни простых людей? И в результате становится не способным понимать реалии окружающего мира? Можно ли считать такого человека более грамотным, чем, скажем, мелкий фермер, который не умеет читать, но адекватно и реально воспринимает действительность?

А что говорить о банкире или экономисте, который обязан решать практические вопросы, связанные с развитием экономики в период инфляции и нестабильности общества, если он никогда не слышал о Джоне Лоу или уже забыл, кто это и чем он занимался? О нем он, по всей видимости, знает даже меньше, чем о железнодорожных аферах девятнадцатого века или о крахе 1880-х годов? Что он имеет в виду, когда с серьезным видом говорит о катастрофе, которая

произойдет в случае списания долгов, если не знает, что Афины, которые западная цивилизация берет за образец, достигли расцвета после того, как Солон отменил выплату долгов по ссудам, выданным под высокий процент? Или не знает, что экономическая мощь Америки в двадцатом столетии в значительной мере стала результатом хронического невыполнения финансовых обязательств в течение всего девятнадцатого века?

Это не является ни неграмотностью, ни, тем более, невежеством в обычном понимании слова. Возможно, более правильно назвать это *преднамеренной неграмотностью*. Не удивительно, что современному менеджеру трудно длительное время успешно осуществлять руководство одной сферой. Он понятия не имеет, где находится наше общество и каковы его истоки. Более того, он и не желает этого знать, потому что эти знания мешают его успешной работе.

Вместо этого он учится маскировать эту внутреннюю пустоту различными способами, чтобы внушить ложное впечатление о собственной компетентности. Вольтер обладал талантом ниспровергать авторитеты, в результате чего исчезала легитимность власти. Его оружием были слова, настолько простые, что их мог понять и повторить любой человек. Гениальность, к сожалению, не передается по наследству. Но Вольтер применял и другое оружие, которое можно передавать другим: скептицизм. Он был полезным инструментом, когда здравый смысл применялся к необъяснимым тайнам, которыми власти окружали себя. Скептицизм — это то, что может понять человек среднего ума. Ему надлежало стать мощным универсальным оружием новых рациональных элит.

Но на практике невозможно поддерживать здоровый скептицизм, если власть находится в твоих руках. В этом случае человек оказался бы в состоянии постоянного внутреннего конфликта между пониманием своей обязанности перед обществом и неуверенностью в том, что он способен ее выполнить. Вместо этого новые элиты соединили эти два элемента во всемирно известную версию скептицизма, известную как цинизм. Цинизм порождает взаимное презрение —

как со стороны общества, так и со стороны тех, кто ему служит. К тому же элита самонадеянно, но зачастую оправданно, заявляет, что все делается исключительно в интересах общества.

В этом и заключается трагедия новых элит. Сердцем разума является логика, но Вольтер создал такую логику, которая основана на здравом смысле. Разум он считал логикой, которую рационально используют. Скептицизм в этом случае был не более чем простым дополнением к разуму. Но цинизм — нечто совершенно другое. Он разрушал связи между логикой и здравым смыслом, и неожиданно логика оказалась свободной, как в старые времена — пригодной для слепого самооправдания, или исключительно эффективной в дискуссии, вне зависимости от смысла аргументов.

По крайней мере, одно можно утверждать, говоря о современных элитах. Они — явление интернациональное. Но представители современного национализма, обманывая в первую очередь самих себя, пытаются внушить всем, что это не так. Региональные элиты пытаются доказать, что они обладают самобытными чертами, отражающими особенности той или иной нации или этноса. Так они пытаются доказать свою легитимность. Поэтому и нельзя сравнивать выпускника ЭНА из одной страны с выпускником МБА из другой и с марксистом из третьей. Поскольку «профессионализм» является одной из важнейших ценностей нашего времени, то люди стараются не сравнивать профессии. Штабного офицера никогда не будут сравнивать с иезуитом, технократом или менеджером. И все же пять минут беседы с одним из них будут равнозначны разговору с любым другим — стоит всего лишь заменить один профессиональный словарь другим.

Это нежелание сравнивать различные профессиональные группы настолько сильно, что, даже когда люди хотят критиковать свои элиты, они не могут этого сделать. Нет у непосвященных языка, при помощи которого они могли бы разумно выразить свою критику. Такие возможности имеются лишь у тех, кто находится внутри той или иной профессиональной группы. Сегодня различия между языками

зачастую менее глубоки, чем различия между профессиональными диалектами в пределах каждого языка. Любой достаточно прилежный человек может выучить один или два иностранных языка. Но профессиональный жаргон бухгалтера, врача, политолога, экономиста, программиста или чиновника доступен только представителям данной профессии. Этот защитный, самодовольный провинциализм больше всего напоминает диалект и манерность вырождающейся аристократии.

Рационалистам восемнадцатого века едва ли понравились бы воплощенные плоды их просветительских инициатив. То же можно сказать и об Игнатии Лойоле. Но направление эволюции очевидно.

Интеллектуальная церковная армия Лойолы привнесла драматизм в эпоху смут и насилия Контрреформации. Но основополагающей в его концепции была невероятно современная и рациональная военная структура. Она не имела ничего общего с традицией странствующих рыцарей или личной доблестью отдельного воина. Наоборот, она использовала профессионализм наемных армий, которые были очень распространены в его времена. Лойола преобразовал его в современный профессионализм.

Он разработал для иезуитов высоко централизованную авторитарную структуру. Генерал избирался пожизненно. Он, в свою очередь, единовластно назначал своих непосредственных подчиненных: провинциалов. Но Лойола не удовлетворился созданием военной иерархии. Он внедрил два революционных элемента: новый тип образования и регулярный отчет подчиненных начальству. Внедрение второго элемента распространило воздействие первого на всю жизнь иезуитов. Абсолютное повиновение было положено в основу как образования, так и системы отчетности. В определение повиновения, по мнению Лойолы, входило следующее: «Мы можем допустить, что другие религиозные ордена превосходят нас в посту, бдении и аскетизме... но я искренне желаю, чтобы все те, кто служит Господу в этом Обществе, были абсолютно безупречны в отношении полного повиновения и отсечения своей воли и суждений».

Отсечение воли и суждений стало сердцевиной нового метода. Эти понятия оставались неизменными в течение следующих четырех столетий и поныне определяют суть наших элит.

Новый стиль повиновения насаждался при помощи строгого обучения, которое начиналось с периода двухлетнего послушничества. Было бы достаточно и одного года, но цель этих двадцати четырех месяцев состояла в том, чтобы полностью расчленить волю молодого человека на составляющие части и удалить все нежелательное. Идея состояла не в том, чтобы изменить взгляды или веру человека, а в том, чтобы уничтожить нежелательные элементы сознания. Затем наступал период подготовки, в течение которого очищалось все приемлемое и полезное и приводилось в соответствие с требованиями Ордена.

Разрушить, устранить ненужное и очистить, затем собрать повторно при помощи клея Ордена: его структуры, правил и традиций. Конечный продукт облачался в идеологию Царства Божия¹.

Затем следовало десять—пятнадцать лет интенсивного обучения. Это были длительные периоды учебы, чисто духовной дисциплины, преподавания и следовавших одна за другой проверок, в ходе которых Общество Иисуса шаг за шагом решало, насколько испытуемый подготовлен к тому, чтобы стать его полноправным членом.

Весь этот процесс находился под постоянным контролем наставника, перед которым послушник регулярно исповедовался. Такие исповеди назывались «отчетами совести». Идея подвергнуть совесть бухгалтерскому отчету по принципу «приход-расход», когда под увеличительным стеклом рассматривались ошибки и грехи испытуемого, уже сама по себе была революционной. Нормы морали Лойола всегда измерял математическими методами. Дух взаимопонимания, как и ощущение реальной власти, которым определялись отношения между новоиспеченным монахом и Орденом, поддерживался при помощи письменных отчетов, которые каждый иезуит был обязан регулярно представлять своему руководителю. В этих отчетах говорилось не только о проделанной рабо-

те, но и коллегах, других членах Ордена. Таким образом, доносы рассматривались как неотъемлемая часть групповых интересов.

Нельзя было утаивать даже мельчайшие подробности: кто как ест, спит, и так далее. Лойола почти серьезно говорил о том, что необходимо докладывать даже о такой малости, как укусы блохи. Этот подход воспринимался как патернализм. Постепенно это превратилось в формальность, в элемент системы, в иезуитское послушание, доведенное до профессионализма. Сторонние наблюдатели называли это душевным деспотизмом. И это верно. В подобных условиях невозможно было сохранить индивидуальность. *Деперсонализация* – современный термин, который максимально точно определяет этот процесс.

На первый взгляд, методы подготовки иезуитов напоминают современную систему промывки мозгов или перевоспитания. При современных методах ведения допросов или идеологической обработки не применяется насилие или угроза насилия. Основной задачей является моральное разоружение и промывка мозгов жертвы, после чего ей будут внушены новые установки. Система отчетов и докладов иезуитов предвосхитила систему социального контроля в странах с репрессивными режимами, разработанную в двадцатом веке, при которой использовались анонимные информаторы, секретные службы и министерства внутренних дел.

В результате такой исключительной подготовки и всестороннего обучения иезуиты стали ведущей интеллектуальной силой в Европе. Лойола вместе с другими основателями Ордена, прежде всего, изучил опыт самых лучших университетов Европы как в католических, так и в протестантских странах. И только после этого, используя самый передовой опыт, они стали создавать свои колледжи. Они продолжали эксперименты в области образования в течение сорока лет, пока в 1599 году не разработали официальный документ, «*Ratio studiorum*», или «План обучения». Если не принимать во внимание идеологическую направленность и систему отчетов, то нельзя не признать, что система образования, разработанная иезуитами, была исключи-

тельно эффективной. Фрэнсис Бэкон восхищался этой системой, но, разумеется, не соглашался с ее моральным обоснованием. Вскоре в этих учебных заведениях стали обучаться не только иезуиты, но и все представители европейской элиты. Это вызывало раздражение со стороны властей и других монашеских орденов. Контроль со стороны иезуитов над интеллектом и эмоциями будущих руководителей государств являлся составной частью сложной системы политического манипулирования Ордена и служил выполнению главной задачи: установлению влияния на европейские правительства.

И не случайно Ришельё и Декарт были продуктом этой системы, равно как Вольтер и Дидро. Но вместе с тем возросло недовольство как тайными постулатами, так и методами политической манипуляции Ордена. Кроме того, после принятия «*Ratio studiorum*» система перестала развиваться. Казалось, что очень эффективная машина работала в отрыве от окружающей действительности. Это несоответствие стало очевидным в 1755 году после Лиссабонского землетрясения. Именно авторитетный иезуит Габриеле Малагрида и выдвинул тезис о том, что гибель множества ни в чем не повинных людей была Божьей карой. Вопреки ожиданиям, реакция людей оказалась прямо противоположной.

Появление в восемнадцатом столетии новых рациональных школ, более полно отвечавших национальным интересам и ориентированных на отдельные области знаний, стало практическим подтверждением неспособности иезуитов идти в ногу с социальной эволюцией. Эти учебные заведения отбросили идеологический посыл Ордена, а вместе с ним и значительную часть его гуманитарной подготовки. Но они сохранили его удивительную методологию подготовки и применили ее к таким учреждениям, как штабные военные колледжи и технические школы. К середине девятнадцатого века эта методология распространилась и в учебных заведениях, готовивших управленцев — сначала для государства, а позднее и для бизнеса. По мере развития в обществе навязчивой идеи о необходимости подготовки узких специалистов, сужался и диапазон подготовки, и все более сжималось фак-

тическое содержание образования. Исчезло и иезуитское понимание повиновения, а новый профессионализм проявился в концентрации на таких вещах, как структура, бухгалтерский учет, отчетность, маневрирование и умение оперировать деталями. Все это можно охарактеризовать как бессознательную и неуправляемую версию лойоловского «отречения от желания и суждения».

Для непосвященных самый верным признаком того, что некто получил иезуитское образование, служила его способность переспорить кого угодно. Это оружие «аргументации» было также взято на вооружение нашими элитами. Иезуиты называли это риторикой. Люди со стороны считали это напыщенным, формальным стилем общения. Поскольку официальные формы в наше время не в моде, казалось, что это ушло в прошлое. Однако формальность была всего лишь камуфляжем. А риторика была не только современной. Она была революционной. И она до сих пор сохраняется в нашем обществе.

Иезуиты были целиком увлечены риторикой еще при жизни Лойолы, и не просто потому, что он хотел этого. Она являлась логичным элементом разработанной им системы, подразумевавшей, что священнослужители должны уметь аргументированно убеждать. Порой «убеждать» не всегда означает вступать в диалог, или обсуждать, или исследовать вопрос. Это означает заставить согласиться с твоей позицией. То есть спорить надо таким образом, чтобы управлять дискуссией, что автоматически обеспечивает инициатору победу в споре. Под разумом он понимал такое владение аргументацией, при котором вопросы и ответы неизбежно вынудят людей признать авторитет папы римского. Смысл спора заключался в переходе от одной подобранной формулировки к следующей, усиливающей аргументацию, причем в форме обмена репликами между священнослужителем и тем, с кем он ведет дискуссию. Риторика была наукой формы. Изящное выражение было просто художественным оформлением аргумента, кроме того, оно отвлекало людей от того, как реальные аргументы в споре теряли смысл и заменялись другими, подготовленными заранее.

Именно этому методу обучают магистров делового администрирования в Америке и выпускников ЭНА во Франции. Современный технократ во что бы то ни стало пытается затеять дискуссию. Так он может установить — уже в самом начале предполагаемой дискуссии — контекст, порядок и правила теоретического обсуждения. В письменных дискуссиях аналогичную роль играют информационные бюллетени. Аудитория с легкостью воспринимает представленные аргументы. Ее зажимают в кольцо железной логики и заставляют метаться от вопросов к ответам, вытекающим из заранее определенной структуры спора. В ходе такого спора его участник или испытывает чувство удовлетворения от мысли, что он просто понимает, о чем идет речь, или впадает в отчаяние от собственной неполноценности, если не понимает сути вопроса. А на рассмотрение или обсуждение основных положений дискуссии просто не остается времени.

Но установить прямую связь между интеллектуальным подходом иезуитов и технократов достаточно сложно, так как нам кажется, что основным элементом риторики было формальное красноречие. Ныне аргументация уже не зависит от голосовых модуляций. Она также не играет в подобию страсти и не прибегает к артистизму. Она не стремится очаровать внешними формами. Строго говоря, современная аргументация, как правило, уродлива и скучна. В знак честности и свободы, из нее неуклюже выпирают кости фактов и цифр. Диаграммы и графики прокладывают линии неизбежности, которые всегда начинаются в прошлом и спокойно простираются в будущее с простотой исторического факта. В ней нет ни малейшего намека на хитроумие.

Но эта неуклюжая, скучная оболочка — новая форма красноречия. Используемые факты, личности, исторические события отобраны произвольно, но не случайно, а лишь для того, чтобы направить линии графиков и весь ход дискуссии в сторону принятия нужного решения. С особой настойчивостью подчеркивается, что современная аргументация постоянно опирается на опросы, в доказательство того, что она берет начало от Сократа. Школы, которые формировали элиты Запада в двадцатом веке, снова и снова напоминают, что они

являются наследниками Сократа. Под этим подразумевается, что в поисках правды они используют такой инструмент, как сомнение. В действительности, те методы, которым они обучают, противоположны методу сократовых диалогов. В случае с афинянином каждый ответ порождает вопрос. В случае с современными элитами каждый вопрос производит ответ. Сократ, вне всякого сомнения, выгнал бы современные элиты из своей академии.

Зачем же тогда они с таким упорством пытаются доказать, что именно Сократ был их крестным отцом? Во-первых, никто, кроме Сократа, не может обеспечить большую легитимность интеллектуальной честности, открытой для сомнений. Во-вторых, они утверждают: кто способен нести факел Афин, сможет нести и свет западной цивилизации. В западной мифологии наследие Афин является мандатом на борьбу за права философии и закона, гражданского общества, правосудия и красоты. И, венчая все это, Сократ выступает в роли мученика-Христа афинской мифологии.

Так называемое афинское наследие, наряду с проведением ложных опросов и предоставлением бесконечных фактов, призвано замаскировать методы, которые технократы применяют в дискуссиях. Риторика все еще доминирует в нашей жизни. Неизменная с семнадцатого столетия, она изменила лишь стиль: раньше она была элегантной, ныне стала уродливой.

Интересно наблюдать технократа, который опоздал к началу дискуссии. По его разумению, это — ситуация вне его контроля, поэтому он не включится в такую дискуссию. Он постарается прервать дискуссию и начать ее заново. Для этого чаще всего используется личное оскорбление оппонента — этот прием стал классическим. Грубое выступление прерывает спор. Затем технократ выбирает один или два самых слабых пункта из аргументации оппонента и направляет на них весь свой сарказм. Такое доведение до абсурда приводит всех в замешательство, и еще до того, как люди придут в себя, он переходит к обсуждению, но уже в форме, удобной ему самому. Именно так вели себя в ходе общественных дебатов герои двадцатого века: Гитлер, Муссолини, Сталин. После 1945 года новые элиты продолжили эту славную традицию.

Уже в середине восемнадцатого столетия Общество Иисуса было застигнуто врасплох новыми профессиональными светскими школами и их элитами. Но иезуиты не утратили своего влияния на ход событий. Будучи расформированным с 1773 по 1814 год, Орден возродился, чтобы повсеместно поддерживать консервативные силы Запада. В дальнейшем имели место бесконечные интеллектуальные браки между светской и иезуитской образовательными системами. Французский маршал Фош, например, применил иезуитский подход в штабном военном училище и, таким образом, в двадцатом веке привел военное руководство Франции в бедственное состояние.

Орден также продолжал свои политические манипуляции. В 1860 году (ошибка автора: собор был созван в 1869 году — *прим. ред.*) иезуиты играли решающую роль в созыве Первого Ватиканского собора. Шли заключительные бои за итальянское единство, и каждая национальная победа автоматически становилась временным поражением Церкви. На Ватиканском соборе идее папской непогрешимости старались придать законную силу. Их идея заключалась в создании власти, не подверженной контролю. В этом они преуспели. Идея непогрешимости папы римского была юридически оформлена. Он получил право требовать от своих последователей определенной лояльности. Но использование в конце девятнадцатого столетия юридических структур для приведения людей в безусловное повиновение спровоцировало восстание. С тех пор идея непогрешимости римского понтифика тяжелой гирей повисла на шее самого папства.

На первый взгляд это, казалось бы, подтверждает невозможность достижения намеченных результатов при помощи устарелой риторики. И все же если отбросить внешнюю оболочку, то много ли различий между победным признанием непогрешимости папы римского и планом мирного урегулирования во Вьетнаме Генри Киссинджера? И то и другое было блестящей победой лишь на бумаге. Но реальные последующие события доказали их нежизнеспособность. Оба эти события — прекрасные наглядные примеры. Иезуитский совет-

ник папы римского и Генри Киссинджер получили бы самые высокие оценки за эти решения, если бы они представили их в качестве научных социологических исследований в Гарвардской школе управления имени Кеннеди.

Но это — крайние случаи, и у нас нет острой необходимости прибегать к ним. Методы Лойолы используются нашими современными элитами повсеместно, и их можно постоянно встретить в деталях повседневной жизни. Особенность риторики заключается в том, что это наука для украшения аргументации и самой себя. Например, в Англии Лондонская школа бизнеса утверждает, что главная идея ее программы подготовки менеджеров состоит в том, что «менеджменту надлежит обучать как квинтэссенции важнейших знаний, применимых к управлению любой организацией»². Данное утверждение искажает наше понимание того, чем занимается это учебное заведение, искажая значение слова «знание». Нет такого знания, которое применимо ко всем организациям. Знание всегда конкретно и специализировано. То, что они подразумевают под «знанием», является методом. А неаккуратное использование прилагательного «важнейший» — классический случай шарлатанства. Что подразумевается под словом «важнейший»? Если бы все обстояло именно так, то большинство фирм в Англии, которые еще не нанимают дипломированных специалистов этой Школы, давно бы обанкротились. Другими словами, Лондонская школа бизнеса обучает манипулированию. И частью этого манипулирования должно стать само искусство представить манипулирование как правду — то есть как знание. Такое представление также пытается создать впечатление универсальности, непредубежденности и гибкости. Но то, о чем они действительно говорят — так это о подготовке менеджеров, которые могут сделать все что угодно, для кого угодно и где угодно. Этими качествами характеризуется наемник, или кондотьер.

Джефферсон написал американскую Декларацию независимости (проект — *прим. ред.*). За нее он и его товарищи, подписавшие этот документ, поклялись отдать «жизнь, состояние и священную честь». Впоследствии Джефферсон не

раз советовал молодым американцам получить рациональное образование на основе разумного подхода, так как он понимал разум, исходя из собственного опыта. Но есть одно обстоятельство, характеризующее современного менеджера: он никогда не станет клясться ни своей жизнью, ни своим состоянием. Что же касается чести, то об этом речь не идет вообще. Некоторые названия учебников, написанных профессорами Гарвардской школы бизнеса, дают полное представление об образовании менеджеров: *Власть и влияние, Новые конкуренты, Преимущества конкурентоспособности, Управление человеческими ресурсами, Грани маркетинга – Как заставить работать стратегию*. У этих профессоров очень специфическое представление о ценностях. Возьмем, например, описание курса сравнительной идеологии, который та же самая школа предлагает своим студентам. В нем говорится о «роли идеологии в современном бизнесе: Идеология – ключевое аналитическое понятие и необходимый инструмент управления, важность которого вытекает из тесной связи между идеологией и экономической деятельностью»³.

Не удивительно, что Роберт Макнамара получил первую премию за выдающиеся успехи в учебе в этом вузе. Но о чем думают люди, которые вручают подобные награды? Они, по их словам, «готовят людей к практическому менеджменту»⁴. Другими словами, они видят себя в качестве «практикующих», как доктора или адвокаты, членов довольно специализированной группы, которая сочетает прикладные знания с системой профессиональной этики.

Гарвардская школа бизнеса была основана в 1908 году и с самого начала своей деятельности стала символом очень специфического метода. Основатели этого учебного заведения заявляли, что «менеджмент является новейшей профессией»⁵. В Соединенных Штатах в течение полувека открылось множество коммерческих школ. Однако определяющим моментом стало выступление Тейлора в 1895 году в американском Обществе механических инженеров. Грубый, с резкими манерами выходец из зажиточной протестантской семьи, Фредерик Уинслоу Тейлор стал основоположником научного

управления — менеджмента, которое впоследствии стали называть тейлоризмом. На практике Тейлор предлагал новый метод организации управления фабричным производством. Но с самого начала своих изысканий он пояснял, что эта перестройка является частью социальной революции, которая отрицает как пессимистические идеи классовой борьбы, так и оптимистический гуманистический подход, типа совместного использования прибыли.

Тейлор заменил оба этих подхода рациональной, научной системой, которой будут придерживаться все служащие. Большее вознаграждение работники должны получать в награду за безоговорочную лояльность. В целом, целью системы было повышение значимости класса управленцев-менеджеров. «Как правило, — писал Тейлор, — чем больше людей будет эффективно работать в управлении... тем выше будет уровень вашей экономики»⁶.

Будущие деканы Школы бизнеса Гарварда посетили Тейлора в 1908 году, с одобрением восприняли его идеи и решили на основе его теории разработать собственную учебную программу. Тейлор и его ученики поддерживали их, регулярно приезжая с лекциями в Гарвард. В 1924 году там обучалось уже шестьсот студентов, а учебные программы Гарварда использовали в ста колледжах.

Тейлор полагал, что его система породит «утопию, свободную от конфликтов, с высоким уровнем потребления, основанную на массовом производстве»⁷. На его взгляд, подчинение машинам должно разрушить естественное стремление человека к злу. Господство технократов заменило бы коррумпированные и неэффективные политические элиты. Материальный стимул должен лишить человека возможности выбрать классовую борьбу в качестве средства улучшения своего положения. Ключом к успеху станет обезличивание продукта.

Прямо или косвенно, тейлоризм стал господствовать в вузах при подготовке бизнесменов и изменил бизнес-структуры во всем мире. Но его применяли в разных формах как советский, так и нацистский режимы. Ленин в основу своих экономических реформ положил собственный

вариант научного управления. «Мы должны, — говорил он, — организовать в России изучение системы Тейлора, постоянно проверять ее на практике и приспособить ее к нашим целям»⁸. Троцкий во время Гражданской войны использовал методы научного управления в военных целях, в частности, в управлении транспортом, а Сталин вознес эту систему до уровня коммунистической истины. Первый советский пятилетний план был разработан при поддержке американских советников-тейлорианцев. Как следствие, две трети советской экономики было создано американцами. И теперь, семьдесят лет спустя, американских потомков Тейлора вновь приглашают в бывший Советский Союз в качестве советников для исправления той ситуации в экономике, которую в значительной мере создали их соотечественники. Точно такие же методы применял Альберт Шпеер для организации экономики Третьего рейха. С небольшими изменениями, научное управление применялось для организации военного производства, рабского труда и для проведения расовых генетических программ, в которых подразумевалось отравление газом больных полиомиелитом и геноцид.

Было бы глупо отрицать главенствующую роль тейлоризма в развитии промышленного производства в начале двадцатого века. С другой стороны, тейлоризм возносил технократические принципы руководства на уровень новой морали. Его антидемократические принципы оправдывались «спасительной ролью технически подготовленных профессионалов из числа среднего класса»⁹. Несомненно, адепты тейлоризма снимут с себя всякую ответственность за советский и нацистский опыт, аргументируя это тем, что любая система может давать сбой, если ей неправильно пользоваться. В различных экономических системах методы научного управления применялись по-разному. Но поразительно то, что эти методы всегда имели успешный результат, если их оценивали по собственным критериям. В любом случае, было бы неверно возлагать слишком много вины или слишком превозносить Тейлора и его последователей. Теории, подобные этой, лишь на первый взгляд кажутся

оригинальными, хотя на самом деле они всего лишь указывают на существующие тенденции или формулируют их.

В США тенденции к диктатуре технократии уравновешиваются наличием других социальных сил. Гарвардская версия преподавания бизнеса не лишена некоторого очарования. Профессора Гарварда считают ее основанной на «полевых исследованиях» и эмпирической, «не замкнутой в лабораториях или гипотетических моделях». Кроме того, они добавляют, что она основана на «четком и постоянно развивающемся методе преподавания: методе конкретно-ситуационного анализа». Но в этом-то и заключается главное противоречие. Данный метод знаменит, прежде всего, тем, что он передает ведению бизнеса абстрактный, независимый подход. Теоретики из Гарварда утверждают, что метод конкретно-ситуационного анализа «способствует выработке понимания, суждения, проницательности, способности ясно выражать свои мысли, быстроте реакции и интуиции, необходимых для успешного практического управления. Этот метод помогает студентам успешно действовать в дальнейшем в недружественной, агрессивной среде»¹⁰.

Другими словами, технократов учат покорять действительность. Они должны деформировать действительность, чтобы достичь намеченной цели. В этом процессе нет ничего эмпирического, он начинается с решения и заранее выработанной аргументации, в которую должны быть втиснуты проблемы с тем, чтобы прийти к заданному решению.

Наиболее успешный в этой игре студент неизбежно работает в себе агрессивные качества и способности манипулировать абстрактными структурами. На смену интеллекту в данном случае придет комбинация из аналитических способностей, примитивных амбиций и банального материализма. Творчество, изобретательность не приветствуются. Воображение, которое подталкивает бизнесмена на поиск новых рынков, также отсутствует. И нет никакого намека на то, что интересы общества будут приниматься во внимание. В этом нет нужды. Методология гарвардских профессоров автономна и независима. Она разработана таким образом,

чтобы быть независимой от памяти, убеждений и обязательств, которые нельзя нарушить. Как декларируют теоретики Лондонской школы бизнеса, их методология — это свод важнейших знаний, которые можно применить к любой организации.

Проигрывают они в битве с реальностью или побеждают — не столь важно. Когда нет памяти, невозможно определить, какими будут долгосрочные результаты. Наоборот, человек быстро переходит к следующему делу. Вмешательство в эту систему любого непосвященного «непрофессионала» представляет большую опасность, так как он может настаивать на использовании памяти¹¹.

Такая подготовка не может не оказывать воздействия на студентов. В результате у них развиваются природные задатки. Так, если у студентов, как и у большинства людей, таланты распределены неравномерно, учеба в бизнес-школе не будет способствовать их здоровому равновесию. Наоборот, она выявляет у студента нарушение этого равновесия и еще больше усиливает его. Воображение, способность к творчеству, духовное равновесие, знания, здравый смысл, общественная позиция — все это ослабевает. В то же время всячески стимулируются: соревновательный дух, умение дать заранее готовые ответы на любые вопросы, талант манипулировать ситуацией и так далее. Все это ведет к аморальности, всезнайству, агрессивности в отношении тех, кто не является членом команды. Кроме того, утрачивается понятие о добре, и, главное — когда важнее всего победа, возникает безграничный эгоизм.

Стимулирование безграничного эгоизма стало особенно заметно за последние три десятилетия. Это стало показателем изменения нравственных ориентиров в обществе. Большинство ученых считает, что за две с половиной тысячи лет истории западного общества самоограничение индивидуума стало важнейшей чертой любой цивилизации. В авторитарном обществе это самоограничение частично навязывается сверху. В свободном обществе человек в значительной мере ограничивает себя сам, частично это делает общество. В сложности реального мира всегда присутствует та или иная

комбинация самоограничений и ограничений. Конец двадцатого века — это фактически первая эра, когда ведущие центры элитного образования отвернулись от вопросов ограничений в области нравственности, посчитав их не актуальными. Другими словами, впервые в западной истории наши наиболее уважаемые учреждения проповедуют социальную анархию.

Негармоничное, однобокое развитие определенных качеств у современных студентов способствует обострению у них нравственных и психологических проблем. Как правило, человек обладает теми или иными нравственными качествами; у одних людей в большей степени развиты одни качества, у других — другие. На подавление этих качеств психика человека отвечает фрустрацией. Гарвардская школа ответила на эту проблему новым курсом «Социальная психология управления», нацеленным на «решение проблем семьи, эмоциональной жизни человека и на снятие противоречия между карьерным ростом и личными устремлениями». Профессор, отвечающий за этот курс, отметил, что мы «абстрагируем людей от проблем управления, как будто они вообще не существуют... Студентов учат быть прагматиками и ходячими калькуляторами. [В результате] они часто избегают близости в семейной жизни и убегают от самих себя». В заключение он сделал удивительный вывод: «Способность к близости и стремление к личному благополучию — характерная особенность самых эффективных лидеров. Существует не только прямая зависимость между личным удовлетворением и способностью отдавать, но что последнее к тому же стимулирует раскрытие творческого потенциала (личности)»¹².

Подобное утверждение представляется более чем сомнительным. Описания частной жизни лидеров и творцов — как хороших, так и плохих — состоит из огромного скучного перечня их личных несчастий. В любом случае, характерен ответ профессора на личностные проблемы студента: вам необходимо получать больше счастья. Читая свой курс, он использует метод ситуационного анализа, пытаясь таким образом привязать априорное определение личного счастья к

проблемам управления и компенсировать отсутствие человеческого элемента, который был изъят ранее.

Если оценивать ситуацию с точки зрения школы, то такое отношение совершенно понятно. Школа должна компенсировать, пусть в малой степени, подрыв нравственных устоев человека и гражданина. Но ради сохранения эффективного метода подготовки бизнес-кадров можно внушать студентам идиллию семейного и личного счастья.

Эти особенности характерны не только для Гарварда. Когда англичане почувствовали, что отстают в подготовке деловых кадров, они поручили лорду Фрэнксу провести соответствующее исследование. В 1963 году он рекомендовал создать школу бизнеса: «Нам предстоит многое перенять из успешного опыта ведущих американских Школ бизнеса как в экспериментальной сфере, так и... в методических и учебных планах»¹³. Эти рекомендации привели к созданию Лондонской школы бизнеса, которая использует те же вступительные тесты, что и большинство американских бизнес-школ¹⁴.

Эти методы, применявшиеся в двух разных странах, дали почти одинаковые результаты. Школы создавались для улучшения системы управления. Утверждалось, что это усовершенствование приведет к реальному росту, оживлению промышленности и оздоровлению экономики. Но куда пошли работать эти современные менеджеры после окончания бизнес-школ? 71 процент дипломированных специалистов МБА Гарварда заняты в непроизводственной сфере; аналогичная ситуация и в Англии. Свыше 80 процентов дипломированных специалистов работает не по специальности, к тому же свыше 80 процентов выпускников, получивших дипломы менеджеров, вообще ничем не управляют¹⁵. Как в США, так и в Великобритании они заняты в консалтинге, в банковской сфере и в сфере недвижимости, а также в сфере управления собственностью. Они, главным образом, заняты в сфере услуг, а не в сфере производства. Можно утверждать, что одна из важных причин упадка нашей промышленности заключается в стремлении специалистов в области бизнес-администрирования избегать реального управления и сконцентри-

роваться на областях столь же поверхностных, как резюме их собственного образования.

Существует мнение, что личное удовлетворение может служить противовесом излишнему стремлению к соревнованию и победе, которое активно стимулируют в бизнес-школах. Географическое расположение крупных промышленных центров дает мало возможностей для удовлетворения личных потребностей. Современная промышленность испытывает недостаток в перспективных высококлассных менеджерах, которые могли бы работать в тех местах, где расположены предприятия. Вместо этого они стремятся остаться в больших постиндустриальных центрах: например, в Нью-Йорке, Лондоне, Торонто и Париже. А Питтсбург и Бирмингем, Гамильтон и Лилль для них малопривлекательны.

В Англии представители новых элит избегают промышленности в большей мере, чем в других странах, и стремятся найти работу в Сити или Уэст-Энде. Их отказ жить в городах с развитой промышленностью можно рассматривать как важный элемент упадка британской промышленности. На Западе это повсюду одна из важнейших причин роста сферы услуг, которую принято считать панацеей от бед в сфере экономики.

Современные правящие элиты в своем развитии шли тем же курсом, что и новые деловые элиты, хотя этому процессу и были присущи некоторые особенности. Во многих странах их развитие сопровождалось усилением роли общественных наук, которые стремились втиснуть множество реальных социальных вопросов в наукообразную смиренную рубашку. Политологические и экономические школы, создание которых особенно активно шло в послевоенное время, особенно много внимания уделяли абстрактным моделям, блок-схемам и квазинаучному жаргону. Помимо этого они были скучны и предлагали неверные решения практически всех рассматриваемых проблем. Последние сорок лет эксперты в этих областях знания составляли проекты развития нашего общества в самых различных направлениях. Каждый раз они доказывали свою правоту це-

лым ворохом аргументов и графиков, таких же фальшивых, как любой из проектов подающего большие надежды магистра бизнес-администрирования. Они могли доказать справедливость совершенно противоположных теорий: от полного одобрения кейнсианской экономики до ее всеобщего осуждения. Именно поэтому монетаризм внезапно стал считаться панацеей от всех бед. Поэтому смешанную экономику, ранее считавшуюся угодной Богу, заклеили как орудие дьявола. Раньше инфляцию считали безобидным экономическим инструментом. Позднее ее сопоставили с орудием убийства свободных людей. Еще через некоторое время мы обнаружили, что финансирование с привлечением заемного капитала является еще большим злом. Однако — только для правительства. Одновременно те же самые люди утверждали, что огромные коммерческие долги — вещь хорошая. А национализация государственных корпораций, которая в течение многих лет после депрессии тридцатых годов двадцатого века считалась важнейшим средством восстановления экономики Запада, внезапно стала источником наших проблем. И все упования оказались связаны с приватизацией и конкурентоспособностью.

Никогда такие резкие изменения в оценках не имели рационального зерна. В них отсутствовал спокойный здравый смысл. Социологи несут нам истину и утверждают ее. Противоречить им — значит противиться истине.

Одним из самых удивительных явлений в «профессионализации управления» было быстрое возвышение Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарварде. При подготовке управленцев для государственного сектора Школа Кеннеди стала использовать методы, аналогичные тем, которые применялись Гарвардской школой бизнеса при подготовке менеджеров для частного сектора. Школу Кеннеди считают «профессиональной школой государственного управления». Ее руководство полагает, что в Школе обучают не более и не менее как «новой профессии. Этой профессии должны обучаться люди, избранные на общественные должности, назначаемые на руководящие посты, а также гражданские чиновники». Когда люди осознают, что в этой школе не

проводится различий между государственным служащим и выборным лицом, эта идея их настораживает. Но этому не стоит особо удивляться. Возникла потребность в исполнителях воли технократической диктатуры. Миф о спасении через эффективное управление теперь настолько силен, что никто не обращает внимания на ту почву, на которой взращиваются новые элиты.

Эффективность. Профессионализм. Вера в то, что правильные ответы могут давать только профессионалы. Все эти понятия просто исключают основные демократические ценности. Члены этого единого профессионального класса политических деятелей, назначаемых министров и государственных служащих «должны обладать аналитическими навыками, организаторскими способностями, нравственной чуткостью и соответствующим складом ума».

Сколько лжи в этих словах! Например, они должны отличаться не наличием нравственности или хотя бы осознанием того, что это такое, а нравственной чуткостью. То есть они должны быть чуткими к нравственности других людей и способными манипулировать ею в интересах менеджмента. Идея о том, что в основе общества лежат определенные нравственные ценности, которые одинаковы как для простых людей, так и для лидеров, во внимание не принимается.

Чем больше объясняют, что такое менеджмент, тем больше это становится похожим на *интересы государства*. Впервые эти слова употребил французский сатирик Матюрен Ренне в 1609 году, когда говорил, что правительства взывают к «государственным интересам» для оправдания своих незаконных или несправедливых действий. Это понятие было неотделимо от становления разума и становления национального государства. Теперь «государственные интересы» превращаются в универсальный принцип, который можно сформулировать следующим образом: «технократ знает лучше всех». Гражданин устраняется от управления, хотя это никогда и нигде не декларируется. У него есть право быть управляемым. Профессиональные политические деятели и государственные служащие не обязаны иметь понятий об идеях, политике или ответственности. «Решение проблемы» —

вот их главное умение. «Получение ответов на правильно поставленные вопросы часто зависит от способности лица, принимающего решение, распознать возможность применения формальных количественных методов к структуре проблем и от его умения извлекать информацию из этих данных»¹⁶.

То есть, по сути, при отсутствии осознанного понимания мотивации или действий предпринимается попытка создания класса с ограниченным, по общим стандартам, доступом извне. Этот класс будет управлять общественными отношениями, станет аристократией общественных отношений. Рациональная управленческая элита, состоящая из одаренных людей. Они разработают обязательную для всех методологию, которая, как дворцовый ритуал, исключит всех граждан, не имеющих права допуска. Этот класс будет управлять обществом и изъясняться на профессиональном языке, который будет столь же недоступен массам, как дворцовый ритуал или риторика иезуитов. И все это должно быть сделано во имя разума, для всеобщей пользы.

Идея деления общества на правых и левых теперь стала неуместной. Люди, которые причисляют себя к либеральным реформаторам, предлагают якобы разумную форму управления обществом с помощью элит. Только если как следует вдуматься, можно осознать, что эта форма ниспровергает демократический процесс. Люди, которые причисляют себя к консерваторам, то есть те, кто согласно термину «консерватор» должны выступать в защиту «вечных» ценностей, с радостью приветствуют новую методологию как наиболее быстрый способ получения личной выгоды за счет общества.

По сравнению с ЭНА (l'Ecole Nationale d'Administration, Национальной школой администрирования), самой большой французской школой государственных служащих, Школа Кеннеди отличается неуклюжим многословием терминов и ограниченностью влияния ее выпускников в американском правительстве.

Желание создать сильную, технически ориентированную французскую элиту возникло еще во времена Ришельё. Первые учебные заведения подобного рода стали создавать при

Людовике XVI, а самая известная из технических школ — Национальный политехнический институт — был основан в годы Революции по решению Конвента. Первая неудачная попытка создания центра по подготовке бюрократии была осуществлена в период Второй республики, в 1848 году. Однако после государственного переворота Луи Бонапарта этот центр закрыли, но в 1871 году господин Ботиньи создал *l'Ecole Libre des Sciences Politiques*, Свободную школу политических наук. Это учебное заведение было частным и финансировалось банкирами и промышленниками. В этой школе стали обучаться будущие представители бюрократической и политической элиты, и десять лет спустя премьер-министр Жюль Ферри, умеренный реформатор, пытался национализировать ее, заручившись поддержкой ее основателя. В 1936 году социалист Леон Блюм вновь предпринял попытку национализировать эту школу. Наконец, де Голль при поддержке двух левых голлистов Жаннена и Капитэна специальным законом национализировал Школу политических наук, так появилась ЭНА.

Каждое изменение в системе подготовки национальной элиты происходило в революционную эпоху или в ходе важных реформ непосредственно после революции. Богатые консерваторы, которые основали Школу политических наук, как и представители крупной буржуазии, которые создали ЭНА, по своим убеждениям были республиканцами, и действовали они по окончании периодов ужасающего насилия в обществе. Эти инициативы были направлены на осуществление давней мечты о том, что хорошо подготовленные представители бюрократии будут способствовать торжеству демократии и равенства. Будущему премьер-министру Мишелю Дебре была поручена разработка соответствующего закона, а в дальнейшем — и претворение его в жизнь. Неудивительно, что в своем официальном докладе он писал о необходимости «возродить веру и надежду республиканцев 1848 года в гражданские нравственные ценности, которые следует внушить студентам». По его мнению, ЭНА должна привить своим студентам вкус к определенным ключевым навыкам: «умению разобраться, что представля-

ет собой человек, это вносит живую струю в любую деятельность; умение выделить главное, что после изучения рисков позволяет принимать правильное решение; воображению, необходимому для творческой работы»¹⁷.

Посреди этого панегирика в честь рациональных гуманных и республиканских достоинств административной элиты, Дебре разражается пессимистическими откровениями. Что может случиться, вопрошает он, если «эта новая элита проникнется верой в свою касту, верой, которая извратит принципы государственной службы»? Однако он сразу же отменяет такую возможность как маловероятную.

Но именно это и произошло вскоре после периода созидательного энтузиазма. Симон Нора, бывший директор ЭНА, описал, как он прямо из рядов Сопротивления поступил в новую школу. «Взрыв на железной дороге и поступление в ЭНА было почти одним и тем же. В обоих случаях мы были маленькой группой людей, которые лучше других знали, что полезно для нашей страны. И мы были правы. Мы были самыми симпатичными, самыми честными, самыми умными, и мы несли пламя законности»¹⁸.

В этой небольшой вспышке страсти, мистики и эго есть определенная доля правды. Действительно, первое поколение выпускников ЭНА еще до получения диплома о высшем образовании достаточно проявило себя на практике. Они поступили в школу с твердым намерением изменить мир к лучшему, потому что опыт военного времени, времени разрушений убеждал их в том, что это можно и нужно сделать. Потом они продолжали управлять страной. И учитывая масштаб проблем пятидесятых и шестидесятых годов, они делали это хорошо. Эти люди полагали, что это им удалось благодаря новой системе рационального обучения в ЭНА. В действительности это обучение просто отшлифовало те человеческие качества, которые сформировались у них во время войны.

С 1950 года то же самое обучение проходила другая молодежь, с обычными, «сырыми» характерами. Эти студенты воспитывались в школах и семьях. Но результат был иным. Каждый выпуск имел собственные отличия, но в целом всем выпускникам было присуще одно общее качество: непомер-

ные личные амбиции. Для молодых людей, которые ничего не знали о реальном мире, но быстро получили реальную власть, абстрактная организация становилась самодовлеющим носителем самоочевидной и абсолютной истины на все случаи жизни.

За сорок лет ЭНА, так же как и другие высшие учебные заведения, полностью изменилась. По словам Жан-Мишеля Гайяра, выпускника ЭНА и советника президента Миттерана, «вне зависимости от формальных причин существования или их предполагаемого назначения, они — учреждения без содержания, механизмы для отбора универсальной элиты и подготовки людей, равно пригодных везде и — нигде»¹⁹. За время своего существования ЭНА подготовила около четырех тысяч специалистов. Они заправляют практически всей государственной службой, в их числе: тридцать семь депутатов, от двадцати пяти до сорока процентов членов кабинета министров, около одной трети руководящих сотрудников министерств, один президент республики и семь из одиннадцати премьер-министров. Все ведущие кандидаты на президентских выборах 1988 года, кроме действующего президента, были выпускниками ЭНА. Более того, количество студентов последнего курса сократили со 160 до 90 человек, причем в итоге объем властных полномочий бывших выпускников школы не только не сократился, но, наоборот, увеличился. Учитывая беспокойство в обществе по поводу возрастающей власти ЭНА, это подавалось как мера, ограничивающая влияние ЭНА. В действительности же каждый политический деятель, участвующий в процессе принятия решений во Франции, является выпускником Национальной школы администрации.

Их характеристика, данная Гайяром, абсолютно верна. В Париже их можно отличить по плохо сидящим темным костюмам, которыми они как бы отдают дань давней иезуитской традиции личной безликости, свойственной человеку власти. На их озабоченных, неулыбчивых лицах застыла печаль усталого превосходства. Их речи настолько напыщенны, настолько полны банальных штампов, что слушатель почти не обращает внимания на смысловое содержание.

Этот язык, лишенный индивидуальности и гендерных признаков, напоминает плохой перевод на французский. Столкнувшись с таким пустым многословием представителя властей, слушатель бывает обескуражен словосочетаниями типа «государственный интерес» и «конфиденциальная информация».

Руководство этого вуза, похоже, устраивает подобное положение вещей, хотя следует отметить, что на начальном этапе, в течение ряда послевоенных лет, оно пыталось поддерживать среди студентов дух бескорыстного общественного служения, но с исчезновением поколения Сопротивления он стал улетучиваться. В 1958 году деятельность школы была полностью реорганизована с тем, чтобы программа обучения стала более абстрактной и теоретической. В государственном образовании стала внедряться идея о необходимости подготовки многоцелевого государственного служащего. Независимо от того, какие виды работ предстоит им выполнять в будущем, всех поступающих надлежало оценивать по результатам идентичного тестирования культурного и общеобразовательного уровня, затем они обучались в школе идентичным образом. В 1965 году изменения были продолжены.

Эта система создала серьезные проблемы в национальной бюрократии. Студентами ЭНА становились люди, отобранные по заниженным критериям вступительных экзаменов. Большинство из них получало высшее образование и с его заниженным уровнем продолжало службу на благо Франции. К 1971 году руководство было вынуждено признать, что невозможно подготовить высококомпетентного дипломированного специалиста, ориентирующегося во многих областях. Идею изменили, отказавшись от получения глубоких знаний и сделав упор на подготовке таких специалистов, которые вписывались бы в единую систему, а она будет иметь дело со всеми областями государственного управления. Человек должен быть одномерным, но вооруженным многоцелевым методом. По словам руководства, вуз должен готовить студентов, обладающих «поливалентной точкой зрения»²⁰. Гений их административной системы позволял им иметь дело со всем, начиная от театра и кончая налогами.

Теперь они оказались очень близки к гарвардской теории управления. И действительно, тейлоризм был очень популярен во Франции, да и повсюду в Европе, за исключением Великобритании. Франция, однако, была родиной рациональной структуры, корнями уходящей к Ришельё, поэтому во Франции были разработаны свои собственные теории научного управления. Их изобретателем был Анри Файоль. Он и его ученики конкурировали с тейлоризмом в течение нескольких десятилетий. Тогда, в 1925 году эти две группы формально слились в одну и стали одной из составляющих длительного исторического процесса, который привел к проблеме ЭНА и ее выпускников.

Несмотря на новую поливалентную теорию, большинство людей считало, что проблема не решена. Элита стала более властной и менее продуктивной, чем когда-либо. Она стала своекорыстной и заботилась только о своих интересах. Однако процесс продолжался, и в 1986 году новый директор ЭНА, Роже Фору, заявил: «Мы должны привнести в государственную службу дух эффективности, заботиться о рентабельности инвестиций и о производительности»²¹. Другими словами, первоначальные задачи, поставленные во время основания школы: реформы и общественное служение — были преданы полному забвению.

Поверхностное ознакомление с предметами, которые изучают в ЭНА, не производит удручающего впечатления. На первый взгляд, дисциплины ориентированы на понимание проблем реального мира, для их усвоения необходим интеллект. Даже пояснения к вступительным экзаменам выглядят разумными. Они предполагают размышление, а не механическое заучивание. Прежде всего, абитуриенту советуют шире подходить к теме, чтобы овладеть ею. «Овладеть» на языке выпускника ЭНА значит «контролировать». На языке Гарварда то же самое называется «приручением неуправляемой действительности». И «размышление» в данном случае означает поиск и подгонку ответа под требования экзаменатора. Комментарии профессоров к предыдущим вступительным экзаменам всегда печатаются как пособие для абитуриентов. Так, предполагаемые ответы даются под заголовками,

иногда в стихотворной форме. Все превращается в сложную интеллектуальную игру в рисование цифр.

Смехотворность подобной проверки уровня знаний можно показать на примере раздела, посвященного спортивным мероприятиям. Эти мероприятия изложены в правилах проведения, пестрящих фразами типа: «Порядок испытания кандидатов на различных спортивных состязаниях устанавливается по усмотрению жюри, в зависимости от требований организации. Мероприятие включает в себя преодоление расстояния за заданное время, соревнование проводится между не более пятнадцати участниками на стартовой линии. Когда дается сигнал окончания забега, участники должны продолжать соревноваться до следующего контрольного пункта, где будет зарегистрировано окончание выступления»²².

Проблемы управления, не имеющие отношения к спорту, которые профессора разъясняют своим студентам, наряду с предложением использовать воображение, представлены столь же несуразно.

Гарвард и ЭНА — самые яркие примеры общей картины. Школы бизнеса и административные школы существуют на Западе повсеместно и повторяют одни и те же логические ошибки многоцелевых элит, заранее ориентированных на ответ. Немногие из дипломированных специалистов обладают чувством относительной истины, рождающейся в результате столкновения с реальным миром. Абсолютные истины, основанные на беспристрастной независимой абстракции, властвуют безраздельно. Эти истины бесконечно взаимозаменяемы и доказуемы. Выпускник Гарварда или ЭНА вряд ли поймет иронию или идею об относительности истины в обсуждении Вольтером разнообразных видов обрезания, которые существуют в мире: «Парижанин озадачен, когда ему говорят, что готтентоты отрезают одно яичко у своих мальчиков. Готтентоты, возможно, удивлены тем, что парижане сохраняют два»²³.

Качество образования в школах, воспитывающих лидеров технократии, повышается, растет и количество инвестиций в них, в то же время качество всеобщего образования

неуклонно снижается. Сама идея такого подхода возникла в «верхах» высшего и среднего класса, веривших в ценность элитарности, и совсем не удивительно, что более доступные формы образования всегда рассматривались как второстепенные.

В контексте моральных целей рационального рассматривалась и идея поощрения общего образования. Образование прививает знания. Знания рассеивают суеверия и приучают нас рассуждать. Человек, способный рассуждать, готов стать гражданином. Но сама идея воспитания граждан неопределенна. Зачем они элите? Ведь философы восемнадцатого столетия верили в стабильную, но милосердную власть. Всеобщее образование задумывалось как средство гармонизации отношений между высшими и низшими слоями общества. Но вовсе не для того, чтобы изменить природу этих взаимоотношений.

Технократы, как любая другая имеющая огромную власть элита, не заинтересованы в создании дочерних элит. Следовательно, пока огромные средства вкладываются в государственные школы и университеты, вся система всеобщего образования будет приходить в упадок. Усилия интеллектуалов, которые должны направлять государственное образование, вместо этого сконцентрированы на рафинировании технократического образования. Действительно, о каких бы нуждах всеобщего образования ни говорилось, всегда есть подспудное противоречие относительно того, чему именно национальное государство желает учить своих граждан. Массам следует давать только базовое образование, основные навыки и — чего в элитном образовании нигде не встретишь — основы морали. Другими словами, они должны получить комплект знаний, необходимых для формирования личности.

Но с самого начала здравомыслящие люди жаловались на излишнее количество гуманитарности, или, говоря об образовании, гуманитарных дисциплин. В шестнадцатом и семнадцатом веках именно гуманитарные предметы были тем полем, где легче всего тайно произрастали сорняки суеверия и предубеждения. Чтобы выполоть их, требовалась победа

науки. И все-таки, когда Ришельё жаловался, что гуманитарным предметам отводится слишком много места, он был озабочен не опасностью предрассудков, а угрозой, которую представляет гуманитарное образование для государства, пытающегося создать полезную для себя элиту. Такое понимание гуманитарных предметов как пустой траты времени, которое можно использовать для полезного образования, с течением веков снова и снова выносятся на поверхность. Ботиньи поднял этот вопрос, когда создавал Свободную школу политических наук в 1871 году. Его и сегодня вспоминают, муссируя его идеи всякий раз, когда обсуждаются проблемы образования.

Гуманитарные предметы были не только признаны враждебными разуму, была также предпринята серьезная попытка, трансформируя раздел за разделом, включить их в сферу точных наук. Так, архитектура стала наукой количественных измерений, где отдельные детали технологически формируют целое здание. Даже история искусства была превращена из суммы знаний о красоте и ремесле в математическое осознание творчества. Новые историки искусства озабочены не столько искусством или историей, сколько эволюцией технических приемов. Общественные науки — новообразование страсти к математике, без сомнения, являются самым показательным примером того, как деформируются гуманитарные знания. Те, кто придет после нас, вероятно, будут воспринимать сужение политических, экономических, социальных знаний и искусства до математических оценок и неясного, герметически замкнутого словаря для их описания как одну из величайших глупостей нашей цивилизации.

Удаление гуманитарных предметов из образования подрывало наш здравый смысл и чувство сдержанности и, таким образом, способствовало тому, что в публичной политике мы бросаемся из одной крайности в другую. И все же, несмотря на это, с точки зрения технократической элиты, в нашем образовании слишком много гуманитарного. Именно за это элиты критикуют недостатки финансируемого государством образования. Наши элиты фактически уже не верят в то, что можно разработать систему общего универ-

сального образования. В Британии в это, возможно, никогда и не верили, разве что какие-то небольшие группы идеалистов, и то представляя это в каком-то очень абстрактном виде. Даже лидеры Лейбористской партии стремятся отдать своих детей в частные школы, хотя сами призывают к улучшению государственного образования. Когда же эти лидеры порой приходят к власти, образование не улучшается. В Соединенных Штатах большие группы населения вообще с самого начала с радостью согласились оставаться неграмотными. А теперь к этим люмпенам каждый год прибавляются все новые группы населения. И везде можно слышать, как избранники элиты в частных разговорах говорят друг другу: «Разумеется, ведь они не обучаемы!» И множество статистических исследований об образовании подтверждает их пессимизм. Неграмотны семьдесят два миллиона американцев, и большинство из них белые. В это число не включены неграмотные по объективным причинам. Четверть американских детей живут за чертой бедности. Сорок процентов детей в общеобразовательных школах — представители расовых меньшинств. Белые, которые могут себе позволить это, предпочитают частные школы. В Америке тинейджеры рожают вдвое больше детей, чем в других демократических странах²⁴. Но если вы станете приводить факты о том, что сорок миллионов американцев не имеют доступа к медицинской помощи, вас непременно удивит, что проблема эта будто бы касается не всего населения, а элит, их ожиданий и их собственного образования.

Если исходить из вышеизложенных фактов, Гарвард является тем, на что он претендует, а его выпускники представлены повсюду, почему же не видно, чтобы они занимались проблемами, которые ужасают общество? Если бы общеизвестный перс Монтескьё смог взглянуть на сегодняшнее американское общество, то единственный вывод, который он мог бы сделать, гласил бы, что никогда еще такая блистательная элита не опускалась так низко. Более того, она делает это с небольшой бестактностью: она настаивает на том, что в большей части существующих бед повинны те, кто стоит на другом конце социальной лестницы.

В других странах также отмечается снижение уровня общего образования, но оно не является столь резким. Из стран Запада наилучшим образом сохранили систему общего образования Германия и Франция. Из пяти процентов школьников, обучающихся в частных школах, большинство составляют дети из неполных семей или отпрыски аристократических фамилий и очень богатых людей — двух групп, которые предпочтут скорее исключительность образования, чем его качество.

И тем не менее, когда в 1986 году Французский национальный институт по исследованиям в сфере образования (French National Institute of Educational Research) проводил исследования среди шестнадцати тысяч школьников, обнаружилось, что 69 процентов пятнадцатилетних подростков были совсем или почти неграмотны. Они или вовсе не могли прочитать предложенный им текст, или читали его вслух, по слогам, и только так понимали прочитанное. Незадолго до этого правительство с деловитостью атнигуманитарной направленности объявило, что хочет улучшить народное образование и довести его до такого уровня, чтобы 80 процентов школьников сдавали бакалавриат (последние экзамены в университете). Это при уровне на сегодняшний день в 50 процентов.

Исследователи сделали вывод, что способ обучения чтению был неправильным. «Чтобы читать, необходимо проявлять находчивость»²⁵. Грамотность требует, чтобы читающий использовал воображение. Они также обнаружили, что 53 процента школьников получают наибольшее удовольствие от чтения комиксов. Все остальное время, когда можно проявить находчивость, вне всякого сомнения, было отдано телевидению и кинематографу.

По всему Западу реакцией на этот кризис стало дружное скандирование призывов остановить упадок и вернуться к базовому образованию. Но как это всегда случается в разумном обществе, подобное возвращение к основам рассматривалось как абсолютное и полное решение проблемы, носящей системный характер. Намека на то, что надо что-то предпринять по поводу катастрофического распада союза

между гуманитарными дисциплинами и системой, которая управляет обществом, то есть правящими кругами, не было. Равно как и попытки выработать разумную линию взаимоотношений между общим и элитным образованием. Равно как и оценки, почему самая сложная и конкурентоспособная система высшего образования в истории человечества не воспитывает элиту, способную заниматься общественными проблемами. В результате усиливается презрение к образованию, которое не является узкоспециальным. Престиж общего университетского образования стремительно падает. А призыв вернуться к основам школьного образования отражает, скорее, рост недовольства общественности из-за поголовной неграмотности, а не желание всерьез заняться проблемой. Как бы то ни было, это напоминает новый вариант старой химической формулы, приспособленной к новым условиям. Новая выдумка менеджеров, над которой эхом звучат старые призывы к рабочему классу больше трудиться, раз в неделю ходить в баню, а по воскресеньям посещать церковь.

Тем временем элита и дальше занимается самосовершенствованием, уклоняясь от гуманитарных дисциплин. В результате постепенно формируется технократ с характером интеллектуального громила. Эти агрессивные мужчины и женщины не имеют способностей реагировать на общественные запросы. Удивительная форма их подготовки дала им фундаментальную пустоту во всем, кроме практических навыков той работы, которую они выполняют в данный момент. Когда же им указывают, что эта работа организована неправильно, они чаще всего жестко отстаивают свои позиции и не готовы идти на компромисс, так как отсутствие фундаментальных знаний не позволяет им понять суть проблемы. Они часто упрямы и защищают то, что их напрямую не касается. Психологическим следствием такой поверхностности является то, что они путают власть с такими понятиями, как нравственность и способность к пониманию.

Однако и среди элит растет осознание того, что что-то идет не так, что их система не дает того результата, который был обещан. Бизнес-сообщество, битком набитое личностями-

ми, имеющими столь серьезные изъяны, что часто они не способны справляться с неструктурными проблемами, на которые им указывают их же старшие менеджеры, начало поговаривать о переучивании исполнителей среднего звена.

The Aspen Institute, ведущий центр семинаров по бизнесу в США, теперь проводит недельный курс гуманитарных дисциплин²⁶. У него странное название: «Могут ли гуманитарные знания улучшить эффективность менеджмента?» и соответствующее такому названию описание: «Корпорация AT&T, одна из крупнейших и влиятельнейших в мире, считает, что гуманитарные знания являются важной частью образования для развития исполнительской квалификации менеджеров среднего звена. На курс принимаются успешные менеджеры высшего и среднего звена, показавшие, что они потенциально достойны более высоких управленческих должностей. Основные цели: улучшение эффективности менеджмента, воспитание более компетентных и общественно-адаптированных менеджеров, помощь в устройстве менеджеров на руководящие должности... Акцент делается на пяти аспектах: лидерство, межличностные отношения в коллективе, решение проблем и принятие решений, толерантное отношение к переменам и личная самооценка». И целая неделя на то, чтобы этим заниматься.

Таких фальшивых, ничтожных и жалких мер, принимаемых в попытках задним числом присобачить гуманизм к рационально образованным существам, предостаточно. Но теперь хотя бы стало заметно, что современные элиты, несмотря на кучи дипломов, начинают сомневаться, действительно ли они образованы.

Хотя совершенно очевидно, что им недостает исторического багажа, налицо тенденция читать как можно меньше. Особенно они обходят стороной книги по истории, философии и серьезную художественную литературу, обращаясь исключительно к беллетристике, газетам и технической документации. Они могут прочитать даже несколько биографий, что по сути играет такую же роль, что и чтение житий святых в ранних обществах — подглядывания и примерки данной роли на себя.

У себя дома они редко вешают что-то на стенку. И чем выше они поднимаются по профессиональной лестнице, тем более предпочтительной формой «официальной» культуры для них становится опера девятнадцатого века и классический балет; и то и другое — мертвое искусство. Когда-то исключительно популярная, порой революционная опера теперь является ритуалом, как и балет, который в любом случае ценился не выше, чем развлечение для высшего света. Красивые лодыжки, голые бедра и высокие прыжки. Вначале балет был всего лишь легкой интерлюдией оперы. С исчезновением королевских дворов в конце девятнадцатого века местом притяжения новых элит постепенно стал большой оперный театр. Этот дворец из мрамора и сусального золота был лучшим зеркалом для легитимности в нашей цивилизации, которая понятие легитимности часто принимала за нечто другое. Ее и сейчас не понимают, какой бы прекрасной ни была музыка и исполнители, хотя это не более чем просто фон.

Короче говоря, в отличие от среднего и высшего класса Викторианской эпохи, современные элиты редко связывают себя браком с искусством. Они стремятся дистанцироваться от дальнейшего развития своей цивилизации. Следовательно, они не видят смысла в том, чтобы их поступки множились. Утрата исторической перспективы, вероятно, один из наиболее серьезных их пороков, так как они не могут себе представить то влияние, которое выходит за рамки каждого конкретного случая. В таком контексте понятно, почему они воспринимают Сократа в качестве бога. У них просто нет системы координат, чтобы понять, насколько глупо вообще заявлять о такой связи.

Более того, весь процесс рационального образования — от формулы Игнатия, через современную виртуальную монополию технократов, захвативших руководящие позиции в западном мире, — развивался, совершенно не принимая в расчет женщину как участника этого процесса. Женщин-технократов сейчас огромное количество. Но система не подает никаких знаков того, что она приспосабливается к этой отнюдь не новой реальности. Если рациональная цивили-

зация — идея мужская, неудивительно, что образование станет той сферой, где особенно будет не хватать гибкости. Несомненно, что образование наших элит является той сферой, где в первую очередь назрела необходимость изменений. Поскольку такое образование окажется неудачным, женщинам следовало бы стать катализаторами радикальных изменений, а не еще одной амбициозной группой, которая стремится занять побольше ведущих мест в этой системе, куда вообще не стоит стремиться.

Ныне методы наших технократов представляют собой пародию на то, что делали царедворцы в последние годы правления помазанников Божьих. При русском дворе в семнадцатом веке «изошренность интриги ошибочно принимались за проницательность»²⁷. Это та самая ненормальность, которой страдает большинство западных элит. В наше время за методы управления выдают псевдонаучные версии придворной жизни. Приемы придворных для современной женщины едва ли являются положительным примером, которому можно следовать. Но если она хочет победить современную элиту, играя по ее правилам, то этого ей не избежать.

Суть наших заблуждений в том, что мы верим в единую многоцелевую элиту, которая якобы имеет единую методологию на все случаи жизни. Мы развиваем эту методологию в поисках сплоченности общества на основе разумности. Конечно, отыскать общее основание, на котором можно выстроить единую нравственную позицию, необходимо. Без нее общество не может развиваться. Но общество, которое учит философии администрирования и «решению проблем», как будто это является самой важной частью знания, и которое сосредоточено на том, чтобы создавать элиты, чьим главным талантом и является администрирование, потеряло не только здравый смысл и чувство моральной ответственности, но также и понимание сути технического прогресса. Управление не может решать проблемы. Оно также не может порождать какого-либо творческого начала. Оно может только распоряжаться тем, что уже существует. Если его попросить заняться чем-то помимо этого, оно испортит то, что окажется в его руках.

Одним из признаков здоровья западной цивилизации является то, что относительно единых важнейших моральных ценностей — к примеру, соглашения о принципах демократии — лицом к лицу сталкиваются миллионы идей и методов. Конфликт подвергает принятые обществом моральные нормы постоянному тестированию. Подобный конфликт: эмоциональный, интеллектуальный, нравственный — и двигает общество вперед. Такие противоречия — вот что заставляет демократию работать, они же двигают и технический прогресс.

Сосредоточиваясь на методе интегрированного управления, который осуществляет та или иная элита, мы отдаем власть людям, которые лучше других умеют устранять противоречия или, по крайней мере, внешние их проявления. Неудачи и ошибки не слишком сильно потрясают управленцев. К нервному коллапсу их приводит лишь публичная демонстрация противоречивости решений. Разумеется, не они одни реагируют подобным образом. Им вторит обязательное детище технократической цивилизации — Герой. Герои перенимают весь процесс движения на шаг вперед, поскольку они только воплощают и искажают то, чему посвятила себя элита — абсолютные истины.

Как можно оценивать общественные ценности, если решения принимаются на основе заранее интегрированной логики? Экзаменаторы ЭНА рекомендуют своим студентам решать проблемы, атакуя их сверху. С какой высоты? С высоты общества? С высоты его взглядов, принципов и нравственных ценностей? То, чему учат, это сила, освобожденная от общественной реальности. И чем более зримыми являются успешные наработки такой элиты, тем более дезориентированным становится общество.

Трудно представить, как с этим можно справиться, если мы не разрушим наше образование, сделав его более практичным, устранив искусственные препоны в системе элитарного образования. Джефферсон, основатель и попечитель университета штата Виргиния, никогда не позволял, чтобы его университет присваивал степени. Он считал это делом показным, не важным для обучения и не связанным с воспи-

танием ответственности. Это не было проявлением идеализма. Это было мнение человека, который был самым успешным практиком разума. Сейчас цели университетов искажены. Обучение становится процессом, который имеет своей целью получение степени.

Как указывал Гайяр, нам были нужны, или мы думали, что нам были нужны, такие разновидности элиты, поскольку тогда перед нашими обществами еще стояла внутренняя угроза деспотии. Теперь этого нет²⁸. И мы не можем позволить, чтобы существование такой деспотии вне западного мира служило оправданием продолжения попыток создать фальшивую элиту внутри нашего общества.

«Очень опасно думать, — писал Нортроп Фрай, — что одни лишь эмоции могут привести ум в паническое состояние»²⁹. Мы настолько основательно ухватились за аналитический подход, что противовесы, такие как изучение исторической перспективы, стали панически отметаться как не имеющие значения. Не так должно было произойти с точки зрения Джефферсона и философов восемнадцатого века. Анализ считался средством для выискивания фальши и суеверий. А здравая и практическая оценка прошлого опыта для практичного человека была основанием, на котором он строил свои теоретические обоснования. Энциклопедисты прошли громадный путь, чтобы описать то, что происходило до них. Они сделали это очень точно, так как существовавшая власть церкви и монархии проложила колею только для тех абсолютных истин, которые оправдывали легитимность их власти. Джефферсон очень много думал о том, каким в реальности будет будущее. Снова и снова, опираясь на разумный оптимизм, он возвращался к аналитическим и научным прогнозам на основе всесторонней и разумной оценки прошлого. Самым разным молодым людям он постоянно советовал смело применять комплекс методов научного прогнозирования будущего и анализа исторических событий, считая это лучшим способом добиваться изменений, при этом уменьшая количество рисков. Для претворения своих принципов в жизнь он выбрал Виргинский университет³⁰.

Такой тщательно выверенный подход был выметен силами чистого разума. Вместо него мы получили элиту, созданную в результате смерти памяти и зависимую от нее. Не просто нашей памяти о прошлом, но также о недавнем прошлом, и даже о настоящем. Такой подход можно назвать концом отношений с прошлым или сопоставлений с ним. Остается обесцененная память или ностальгия, которую используют в патриотических и рекламных целях. Настоящая память не вызывает сожаления. Она не более чем сдерживающий фактор для анализа, действующего как инструмент для осуществления изменений. Память — это часть однородной такни, соединяющей нас с будущим, помогающей нам помнить, на чем построена наша цивилизация, и, следовательно, какую форму следует придавать действиям, чтобы они служили нашим потребностям и интересам.

Отдав себя в руки аналитиков от технократии, мы приобрели иллюзию, что каждый день существует сам по себе. Каждый замысел можно оспаривать заново. Но ведь новый день не существует сам по себе. Здравый смысл подсказывает, что он связан со вчерашним и направлен в завтра, тогда как один из главных принципов элитного образования — отделить нас от того, что само собой разумеется.

Науки об обществе, монополизировавшие нашу память в двадцатом веке, обещая исследовать каждый ее уголок у любого из нас, добились того, что раздробили и затуманили всякий смысл существования нашей цивилизации. Обосновавшись в большинстве гуманитарных сфер, они похоронили гуманизм.

Чтобы улучшить ситуацию в этой сфере, мы прежде всего должны прекратить презирать общество, как это заложено в фундамент нашего элитного образования. Джефферсон писал: «По конституционным воззрениям люди естественным образом подразделяются на две партии: 1. Тех, кто боится народа и не доверяет ему и желает передать всю власть в руки высших классов. 2. Тех, кто считает, что принадлежит к народу, верит в него, высоко его ценит, считает его образцом честности и надежности, хотя и не самым мудрым хранителем интересов общества»³¹. Словосочетание «высшие классы»

следует заменить словами «управляющие классы» или «технократия». Эти люди использовали веру общества в их умение рассуждать, чтобы внушить обществу, что мудрость является основополагающим качеством общества, что все остальные качества второстепенны и даже опасны для общественных интересов. Таким образом, «честность» и «осторожность» стали словами, метафорически означающими «наивность». Что касается мудрости, то ее сократили до узкого взгляда — их собственного. Иными словами, наши современные элиты попадают в первую джефферсоновскую категорию. Они боятся народа и не доверяют ему.

Состояние упадка, в котором находится общественное образование, является естественным следствием такого положения дел, так же как и реакции элит, которые предпринимают еще больше усилий для укрепления каркаса собственного образования. Все труднее и труднее найти деньги для общественных школ, так как те, кто должны платить налоги, посылают своих детей учиться в какие угодно другие школы. И чем более дорогим становится частное образование, тем больше средние классы уклоняются от уплаты налогов на народное образование. Они, по большому счету, не могут позволить себе частные школы. Но они чувствуют, что образование становится все более и более элитным. И лишить своих детей именно такого образования означает лишить их в будущем многих возможностей. Чтобы оплатить школы и университеты, они идут на огромные материальные затраты. Таким образом, средний класс, который прежде был сердцем и душой демократического национального государства, превращается во врага этого общества.

Любопытно, что само по себе создание компетентных элит не должно становиться проблемой. В обществах, которые так богаты и структурированы, как наши, есть нечто, способное позаботиться о себе. Если общество здорово, оно найдет подходящие готовые решения или выработает новые. И чем более разнообразны и противоречивы такие решения, тем лучше. В каждой стране это делается по-разному. Это справедливо и для общего базового образования. Нет нужды искать глобальные решения, кроме одного: есть абсолютная

необходимость разрушить саму идею, что глобальные решения существуют. Есть необходимость разобрать ту нависающую конструкцию, которая ограничивает наше пространство, и взорвать ту логику вертикали, которая доминирует в образовании.

В то же время не удивительно, что наши демократические национальные государства обнаруживают, что им невозможно заниматься проектами, которые, быть может, помогли бы преодолеть наши политические и экономические трудности. Для управления демократией требуется, чтобы от населения постоянно шла ответная реакция. Между нашей высшей, замкнутой в себе и презирующей других элитой и нашей разделенной системой народного образования разрушилась связь, необходимая для того, чтобы возникла такая реакция.

Одним из направлений, с которым связаны наибольшие ожидания, является включение родителей в систему школьного образования. Современные элиты выступают против этого, заявляя, что толку от этого не будет: вмешаются неправильные родители, не понимающие современного образования, и потребуют изменения его форм. То, что из школьной программы под давлением родителей периодически изымаются книги спорных авторов, неизменно служит примером того, как опасно допускать граждан в систему образования. Таким образом, основные либеральные и демократические инстинкты нашего общества используются для того, чтобы отучить людей от участия в демократических процедурах. Народ опасен, элиты знают это лучше всех.

Но в чем же корни этого нездорового демократического влияния? Не в том ли проблема, что даже там, где существуют школьные советы, большинство граждан не участвует в их выборах, отдавая управление этими процессами неформальным группам. Если бы все верили в то, что участвовать в выборах школьных советов важнее, чем в выборах президентов и премьер-министров, то в этих школьных советах возникла бы прослойка нормальных граждан. Упадок школьной системы наилучшим образом отражает суть нашей общей проблемы. Элиты проповедуют власть, а не участие в ней. Они про-

поведуют контроль, а не свой вклад в управление. Они проповедуют удовлетворение собственного «я», а не беззаветное служение большинству.

Власть обычно понимается как дело, которым занимаются на высших уровнях. На более низких уровнях располагаются эксперты — люди, являющиеся знатоками в своей области, будь то образование или планирование налогообложения.

В странах, где большая часть среднего и высшего класса посылает своих детей в частные школы, ситуация еще хуже. Те, кто занимают основные властные должности в правительстве и промышленности и отвечают за централизованное управление системой образования, знают: что бы ни случилось, их детей ничто не затронет. Образование, которое они предлагают детям других граждан — детям менее важных родителей, — разумеется, не может быть таким же, как образование, которого они бы добивались для своих детей. Повторюсь, в Британии, в Соединенных Штатах, то есть в двух западных странах, где в частных школах обучается большая часть элиты, система всеобщего образования — наихудшая. И именно в этих странах вам снова и снова приходится слышать жалобы элиты на то, что большие группы населения просто не обучаемы.

Если бы Вольтер мог оказаться среди нас, очень маловероятно, чтобы преуспевающие технократы признали в нем своего духовного отца, а уж он-то точно не признал бы их своими детьми. Возможно, повторилась бы история из романа Достоевского: в шестнадцатом веке, на следующий день после аутодафе, во время которого Великий Инквизитор сжег на костре сотню еретиков, да еще сделал это с помпой, перед королевским дворцом и толпой людей, Христос возвращается в Севилью. Кардинал узнает Сына Божьего, приказывает его арестовать и грозит сжечь, если тот не покинет город. В случае с Вольтером наши элиты немедленно приняли бы умалять важность его идей, приводя логические аргументы, призванные доказать, что доводам Вольтера недостает профессионализма.

Наскок, по всей видимости, возглавляли бы пять гарвардских профессоров, написавших «Управление человеческими ресурсами»³². Они привели бы некую «структурограмму» и

неопровержимо доказали, что не важно, прав был Вольтер или не прав. Его присутствие несет опасность для стабильности. Отыскали бы выпускников ЭНА и структуралистов, которые стали бы доказывать, что он обманывает. А разве нет? Как мог такой умный человек стать опасным для государства, гражданином которого он был? Появились бы ученые политики и целый хор *«постструктуралистов»*, которые доказали бы, что Вольтер никогда не понимал того, что говорил. Уж они-то гарантировали бы правильный, профессиональный анализ его текстов.

Наихудшим последним аргументом в таком следственном разбирательстве было бы привлечение д-ра Мадсена Пири, президента британского Института имени Адама Смита. Д-р Пири имел огромное влияние на правительство Маргарет Тэтчер. Усовершенствование (или разрушение) Государственной службы здравоохранения — важнейшее его достижение. Он, вероятно, доказал бы, что сам Вольтер — ложный вольтерьянец, так как он был на уровне подсознания предшественником социалистов. При этом д-р Пири убедил бы всех, что настоящим вольтерьянцем является он сам, а посему обязан осудить мэтра. Он сделал бы это в высшей степени убедительно, как это могут только бывшие профессора логики, каковым он и является.

Такие нападки привели бы Вольтера в восторг. Профессора логики всегда были его врагами. В качестве защитного аргумента он указал бы на то, что созданием элит, которые чересчур заняты интеллектуальным процессом поиска решений, мы действительно устранили из этого процесса предрассудки и суеверия. Но при этом мы препоручили себя людям, которые никак не связаны с организмом, которым они управляют. То есть мы отказались от таких вещей, как социальная ответственность, возможность быть частью этого организма, и от веры в то, что этот организм собою представляет. Все это устранено из процесса принятия решений.

Все три фактора могут повлечь за собой риск принятия иррациональных решений. Но если их не принимать, остается только абстракция, лишенная здравого смысла и моральной ответственности. Разум, представленный в таком абст-

рактном виде, превращается в цепь не связанных между собой утверждений, выстроенных вне памяти. И элиты, которые прибегают к таким абстракциям, начинают конкурировать между собой, то есть приходят в состояние, которое характеризуется бесцельными амбициями и близорукой зависимостью от прибыли. Вольтер однажды сокрушался по поводу казней людей, обвиненных в богохульстве: «Каждый здравомыслящий человек, каждый честный человек, должен держать христианские секты в страхе». Если бы он был жив сегодня, он, наверное, распространил бы этот страх и на секту Разума.

Глава шестая

РАСЦВЕТ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

Мы живем в самый разгар эпохи устойчивого преобладания военной экономики. Самые большие состояния Запада сколочены на вооружениях. Самым важным сектором международной торговли является не нефть, не автомобили и не самолеты, а оружие.

Многие думают, что процесс перевооружения был ограничен по времени и месту и касается Соединенных Штатов и восьми лет правления Рейгана. На самом деле он начался на двадцать лет раньше и был всеобщим явлением. Более того, меры, применяемые сегодня для разрядки и демилитаризации, не говорят о том, что этот процесс остановится. Никакие сокращения производства, никакие изменения экономических ориентиров даже не рассматриваются, что само по себе стало бы реальным признаком того, что грядут какие-то изменения.

С любой точки зрения — исторической, экономической, нравственной или просто практической — здоровая экономика не может базироваться на производстве вооружений, если, конечно, страна не находится в состоянии войны. Но и в этом случае приоритет этой отрасли рассматривался бы как

временное явление, от которого непременно откажутся, когда закончатся боевые действия.

Подобный головокружительный взлет производства вооружений наилучшим образом демонстрирует, какова рациональная система на практике. Возникновение этой гигантской отрасли производства — результат сознательной политики, которая проводится совместными усилиями самых значимых современных элит: политиков, бюрократов, менеджеров корпораций, штабных офицеров, ученых и экономистов. Создание экономики, ориентированной на вооружения, было, вероятно, самым счастливым моментом жизни рациональной системы. В целом, в такой экономике была чистота, структурная управляемость, холодный и абстрактный ум, не отягощенные реалиями неконтролируемого населения и непредсказуемыми отраслями хозяйства.

Именно независимость этой экономики привела к тому, что гражданин напрочь лишился возможности влиять на ситуацию. Будучи частичками цивилизации, которая барахтается в информации, словно свинья в грязи, мы воспринимаем статистику как нечто ничего не значащее. Это как запятые и двоеточия в разговорной речи. Поскольку технократ использует цифры, чтобы украсить свои самодостаточные аргументы, гражданин, сам того не осознавая, защищается от них. Он отключает оценочное восприятие в тот момент, когда только начинает слышать цифры. В такой ситуации интеллектуальное сопротивление абсолютно невозможно. Глухота, таким образом, является здоровой реакцией. К сожалению, отказ от обращения к любой статистике означает, что даже те, кто способен постичь связанную с ней истину, пребывают в растерянности.

Если, к примеру, сказать, что годовой объем продаж оружия на внутреннем и внешнем рынке составляет примерно 900 миллиардов долларов, никакой реакции не последует¹. Во-первых, очевидно, что цифра неточна. Точность на таких уровнях невозможна. Но она дает представление, обозначая, что вооружений продается много, громадное количество, невообразимо много.

На самом деле никто — ни простой гражданин, ни банкир, ни министр — конкретно не представляют, что означает

900 миллиардов долларов. Деньги сами по себе — абстрактны. Люди способны представить, что значат небольшие суммы, когда они могут цифры сопоставить с ценами на конкретные товары. Некоторые лучше других знают, что представляют собой очень большие математические величины. Человек, управляющий большим промышленным концерном, вероятно, реально представляет, что значат сотни миллионов долларов. Но где-то выше сотен миллионов феномен осознания количества перестает существовать.

Даже Роберт Макнамара, который изобрел системы управления финансами для автомобильной промышленности, для министерства обороны и для развития стран Третьего мира, был неспособен создать способ, который смог бы контролировать применение подобных цифр на практике. Занимая свои должности, он сам утрачивал контроль над расходами на оборону и развитие. Это не к тому, что у кого-то другого получилось бы лучше. Ни один банкир или экономист, разрабатывавшие эти системы, не смог бы контролировать такие бюджеты. Появились перехлесты по стоимости, они и продолжаются, что неизбежно, когда цифры взлетают выше уровня, который может себе представить воображение. Какой бы технически строгой ни была система бюджетного контроля, любой человек, будь то рядовой гражданин или представитель контрольной инстанции, в конце концов, пришел бы к тому, что, начиная с некоторого уровня, такой финансовый контроль не работает.

Проблема отчасти напоминает то, как мы представляем себе установление спортивных рекордов. Вероятно, каждый может представить прыжок через планку на высоте 1 метра, всдь почти все делали это. Многие могут представить прыжок в высоту на 2,43 метра, что сейчас является мировым рекордом, если бы судьба одарила нас более длинными ногами и крепкими мускулами. Наверное, можно даже представить себе прыжок выше еще примерно на метр. Но прыжок на высоту 10 метров представить нельзя: он возможен только в мире комиксов.

Совокупный бюджет американского оборонного ведомства составляет 300 миллиардов долларов. А каков совокуп-

ный бюджет всех оборонных ведомств планеты? Сколько миллиардов долларов? Но даже эти цифры не будут включать показателей других секторов нашей экономики, ориентированных на оборону, зависимых от обороны, субсидируемых оборонным ведомством. Все подсчеты того, каково влияние военных на нашу промышленность, занижены, так как все военные программы так глубоко интегрированы в гражданский сектор, что отделить цифры, чтобы честно их подсчитать, просто невозможно. В Швеции была предпринята довольно серьезная попытка понять это явление. Провели расчеты, и выяснилось, что невоенная продукция, которую используют военные, стоит примерно столько же, как и чисто военная продукция. Поэтому с довольно большой уверенностью мы можем взять цифры оборонных ведомств во всем мире и просто удвоить их. Нет необходимости говорить, что мы совершенно не представляем, каковы были бы финансовые и структурные последствия, если убрать все эти прямые и не прямые вложения. Сколько программ и отраслей промышленности, внешне с обороной не связанных, пострадало бы, да и просто развалилось?

Следует помнить, что совокупный бюджет образования, социальной сферы и дорожного строительства составлял в 1988 году менее 15 процентов от федерального бюджета США, а оборонный бюджет в 312 миллиардов долларов составляет 33 процента. Более того, подсчитано, что примерно одна четверть валового национального продукта (ВНП) ориентирована на военную промышленность.

Если взять политику по защите и развитию оборонной промышленности, проводимую французским правительством уже тридцать лет, то процент части ВНП, которая зависит от военных, будет, вероятно, выше. Эта интегрированная стратегия нацелена на создание альтернативы американскому вооружению и одновременно — на финансирование гражданского сектора высокотехнологичной продукции при помощи военных инвестиций. Более того, французы экспортируют 40 процентов своей военной продукции, и Франция — не исключение. Великобритания экспортирует 33 процента.

Можно посчитать и иначе: более половины экспортируемых Францией средств производства — вооружения².

Но и эти официальные цифры слишком занижены. Многие сделки по оружию и его компонентам держатся в секрете по соображениям безопасности. В статистику они не попадают. Цены, указанные в контрактах по продаже вооружений, нельзя назвать «твердыми». Они скрыты за громадными субсидиями, искусственной инфляцией или дефляцией, что связано многообразными отступными, объясняемыми чем угодно: как нуждами внешней политики и условиями международной торговли, так и безработицей и национальной безопасностью.

Классическим примером может служить цена на «Мираж» — один из самых лучших истребителей, если судить по количеству проданных машин, шестидесятых—семидесятых годов. Одним из самых привлекательных моментов была его смехотворно низкая цена. Она складывалась из бесконечного ряда расчетов, из которых могли вычесть цену за реактивный двигатель. Французское правительство покупало их у производителя — государственной корпорации SNECMA — по очень высокой цене, которую публично не оглашали, что обеспечивало полный порядок в бухгалтерских книгах компании. Затем правительство продавало эти двигатели теоретически частному производителю самолетов Дассо по любой цене, которая могла способствовать заключению экспортной сделки. И опять-таки общественности цену не называли. В результате Дассо, имея совершенно необозримое поле для маневра, мог проводить международные переговоры на любых условиях. Если нужно было продать самолет стране, угодной для внешней политики Франции, Дассо переигрывал любого конкурента.

Какой же была реальная стоимость «Миража»? Какой процент от ВВП она реально представляла? Действительно ли компания SNECMA или Дассо имели от этих продаж прибыль? Если в годовых отчетах о производстве французских вооружений, их экспорте, торговом балансе, показателях инфляции, уровнях производительности и так далее реактивный двигатель стоил 100 засекреченных франков, были ли

все эти расчеты правильными? Где проходит разделительная линия между военной помощью другим государствам, политикой в области занятости и промышленным развитием? И даже если вы сможете ответить на все эти вопросы, вам все-таки не удастся получить прямой ответ на вопрос о цене реактивного самолета, проданного бедной африканской стране, где добывается уран, поставки которого вы хотели бы контролировать, чтобы загрузить вашу гражданскую и военную атомную промышленность. Ведь во Франции уран не добывают, но страна обладает третьим по величине ядерным арсеналом в мире, а также поставляет топливо на свои атомные электростанции, которые удовлетворяют более 50 процентов энергетических потребностей страны.

Американские цифровые данные такие же щадящие, как французские, но выводятся другим способом. Пентагон, например, имеет специальную программу поставок «излишков» вооружений своим союзникам, в основном странам Третьего мира, которые иначе не смогли бы позволить себе купить, скажем, хитроумные штурмовые вертолеты. В официальных отчетных данных указываются только мизерные суммы на «косметический ремонт» и перевозку такого вооружения.

40 процентов американских ученых заняты в разработке проектов, связанных с обороной. Незадолго до развала Советского Союза НАТО сообщало, что там эта цифра достигает 75 процентов всех ученых и что 40 процентов всей советской промышленности работает на военных. Исследовательская служба конгресса (Congressional Research Service) в докладе 1987 года поместила Советский Союз на первое место среди поставщиков вооружений в страны Третьего мира (60 миллиардов долларов в период с 1983 по 1986 год). Шведский независимый исследовательский институт SIRPI придерживался той же точки зрения. По мере нарастания кризиса в Советском Союзе на это место выходили США, и теперь первое место за ними. SIRPI ставит Советы на второе место после США по общему объему продаж вооружений³. Вашингтон настаивает, что SIRPI — это недружественный источник. На таких уровнях не очень важно, кто на каком мес-

те, и новые цифры, которые приходят из Москвы, по всей видимости, отличаются такой же точностью, как цифры Запада о собственном производстве.

Многие эксперты полагают, что реальные объемы продаж вооружений дадут цифры в два, три, а то и в четыре раза выше, чем названные нами 900 миллиардов долларов, которые мы получили, суммировав данные открытой статистики. Нет смысла пытаться осмыслить эти цифры. Их просто невозможно представить, и их следует воспринимать как общий итог состояния дел. Мы удержали и, несмотря на все экономические трудности, продолжаем удерживать исторические максимумы военных расходов, хотя формально на планете — мирное время.

Сокращения, начатые Горбачевым и Рейганом, захватили воображение всего мира. Конечно, дело это хорошее. Конечно, сделаны шаги в правильном направлении. Но правда состоит в том, что это коснулось лишь крох на вершине горы военного снаряжения и расходов. Хорошая новость оказалась такой незначительной, что ее роль для истории соперничает лишь с пактом Келлога—Бриана. Что касается продолжающейся неумемной радости по поводу сокращений военных бюджетов, то следует отметить, что сокращаются только уровни ежегодного роста. Сами бюджеты остаются на своих исторических максимумах. Если сокращение идет на потрясающую цифру — скажем, на 25 процентов, — расходы на вооружение все равно будут на порядок выше зафиксированных историей уровней военного времени. Seriously они, однако, не сократятся. Результатом войны в Заливе станет всеобщее перевооружение исламского мира и переоценка систем вооружений как на Западе, так и на всем постсоветском пространстве. Такая переоценка приведет к тому, что будут много писать о том, что некоторые системы и ядерного, и обычного оружия устарели. Также поднимется волна модернизации высокотехнологичного оружия. И все же дребезжание вокруг статус-кво между сверхдержавами-близнецами прибавило оптимизма по поводу серьезных сокращений производства вооружений. Это, тем не менее, привело к неконтролируемому взрыву национализма, кото-

рый — в сочетании с непрекращающимися расовыми распрями — постоянно дробит государства на все более мелкие части. А это, вероятно, приведет к расширению, а не к сужению рынка вооружений.

Может быть, невообразимые размеры всей этой коммерции и производства и объясняют, почему политики, СМИ и общественность направляют свое нравственное негодование на крохотные военные скандалы, ведь малые размеры каждый может конкретно представить. На 20 или 30 миллионов долларов, о которых шла речь в деле о продаже оружия «Иран-контрас», можно посмотреть в свете цифр любого нового контракта средней стоимости, цена которого будет составлять от 300 до 400 миллионов долларов. Двести миллионов долларов в бизнесе вооружений такая небольшая сумма, что профессионалы ее даже не замечают. Но публика полюбила «Ирангейт», потому что такую сумму можно не только представить, но и потрогать пинцетом нерастраченного традиционного морального негодования.

А тем временем Пентагон каждый год без всяких объяснений теряет — просто теряет — вооружений и снаряжения примерно на миллиард долларов⁴. Бюджеты, стоимость и реально существующие запасы настолько велики, что их невозможно учесть при помощи даже самых совершенных методов учета. Цифры можно объяснить. Но их невозможно сократить до какого-то рационального уровня. Они настолько не поддаются контролю, что потеря одного миллиарда долларов является просто статистической погрешностью.

И поэтому, пока государство пытается под микроскопом проследить судьбу каждого пенни из двадцати миллионов долларов Ирангейта, ответственность за потерю одного миллиарда не будет нести никто. Никого не уволили. То, что пропажа вроде бы была, в некоторых газетах упомянули и быстро забыли. Кроме того, что это — некомпетентность и промашка, пропажа одного миллиарда позволяет предположить, что существуют также громадные возможности для обмана, ведь вооруженные силы являются самым крупным покупателем товаров и услуг в Соединенных Штатах.

Именно во время Ирангейта аппарат финансового инспектора Пентагона заканчивал длившееся четыре года расследование о корпоративном сговоре по завышению цен. Было установлено, что девяносто пять подрядчиков представляли ложные сведения о цене 365 из 774 контрактов. Завышение цены составило 788,9 миллиона долларов. Rockwell International Corporation только по одному контракту о поставке 340 бомб завысила стоимость на 7,4 миллиона долларов. Пока страна агонизировала вокруг 12 миллионов долларов Аднана Хашоги, федеральные следователи искали возможность собраться и объяснить 365 необъяснимых случаев мошенничества подрядчиков⁵.

Политики, которые дают обоснование военных расходов, заявляют, что мы живем в мирное время. Они говорят о мире, который куплен ценой оборонных усилий. Придавая им различные оттенки политической лояльности, они оправдывают расходы от имени Демократии, Капитализма, Социализма, Коммунизма, диктатуры пролетариата или борьбы с колониализмом. Пожимая плечами, они допускают, что оборонные бюджеты, может быть, и слишком велики, но так надо.

Отойдя от власти, эти левые берутся за оружейный бизнес, как за символ военно-промышленного комплекса, предсказанного еще той странной командой Иоанна и Иисуса: американским интеллектуалом-марксистом Ч. Райтом Миллсом и консервативным администратором Дуайтом Д. Эйзенхауэром. Находясь у власти, левые принимают позицию правых, которые по этой теме обычно говорят одно и то же, независимо от того, при власти они или нет. Таким образом, и левые и правые правительства сетуют, что подобная ситуация стала неизбежным следствием противостояния врагу, которому дела нет до его собственного народа, вслед за чем тратят огромные суммы на вооружение. У западных правительств не было выбора, убеждают они, кроме как встать на этот путь. Разные социалистические правительства Великобритании, Франции и Германии за последние три десятилетия отточили свои аргументы. Сейчас вследствие событий в советском блоке их риторике место на складе забытых ве-

шей. Однако сейчас ее снова реанимируют, внося подходящие по случаю необходимые поправки.

Что же до великого либерального центра, то он в общем-то хранит молчание. Либералы знают, насколько значителен был рост производства вооружений в годы, когда они находились у власти. Они знают, что это они применяли доступные им самые рациональные современные методы, результатом которых стал быстрый рост расходов на вооружение. Они, например, знают, что самым несчастным случаем в истории было, скорее всего, то, что вьетнамская война совпала с ростом инфляции, за которым последовал нефтяной кризис. И все-таки их рациональные методы позволяли решать такие относительно замкнутые проблемы.

Либералы также знают, как опасно казаться наивными. Поэтому они не осмеливаются высказываться против производства вооружений. И все-таки именно они более, чем кто-либо другой, чувствуют, что это серьезная проблема.

Производство вооружений и их продажа не имеет ничего общего с самим существованием военно-промышленного комплекса. Этот термин подразумевает хорошо продуманную организацию с некоторым предназначением, которое трактуется законом как предусмотрительность. Но если торговля оружием, согласно оценке ее собственных экспертов, не управляема и не просчитывается, а принадлежит только политическим фигурам, она не может быть ни предусмотрительной, ни имеющей предназначение.

Расцвет гонки вооружений — это наглядный пример того, что военные, правительства и промышленные элиты Запада действительно не знают, какая цель стоит перед ними: все развивается, в частности, потому, что они сами все перепутали, и потому, что у них единая методика. Поэтому не удивительно, что политики и СМИ, которые кормятся за счет элит, просто должны были потерпеть фиаско и представить иранское дело не более чем тривиальным примером неправильных действий одного человека. Они могли бы использовать эту мелкую сделку как удобный случай, чтобы объяснить, на каком направлении американцы и европейцы работают без выходных. Ирангейт не был исклю-

чением. Это была обычная сделка. Одна из тысяч. Но чтобы принять такие объяснения, люди должны были впервые в истории западной цивилизации смириться с тем, что продажа вооружений больше не является второстепенным бизнесом.

Последние два десятилетия мир то и дело сотрясают экономические кризисы и неразбериха. Наши правительства любят поговорить о периодических спадах, а сами отчаянно пытаются любыми способами разблокировать нашу экономику — то от недостатка денег, то от их излишка, то от высоких, то от низких тарифов, то от обесцененных валют, то от невыплаченных внутренних долгов. Но если успех измерять количеством рабочих мест и проданных товаров, самым успешно решенным ими вопросом было то, что в наших больных, наполовину социал-демократических, наполовину капиталистических обществах мирная экономика превратилась в экономику военного времени.

Такая ситуация стала завершением длительного процесса, который набрал высокую скорость в начале шестидесятых годов, когда левоцентристское американское правительство Кеннеди, радикально-консервативное французское правительство де Голля и социалистическое правительство Вильсона, каждое имея свои собственные резоны, решили, что наилучший способ найти средства для государственных программ вооружений — это продавать как можно больше оружия за рубеж. Все это было частью нового подхода к тому, как тратить правительственные деньги, который предложила первая волна аполитичных технократов. Имелось в виду, что такой способ укрепит национальную индустрию вооружений, и она станет еще более независимой.

Шарль де Голль был первым, кто ступил на этот путь. Он пришел к власти в возрасте шестидесяти восьми лет, когда политическая ситуация была нестабильной. С многих точек зрения, экономика, которую он унаследовал в 1958 году, все еще оставалась экономикой девятнадцатого века. Из-за давнего увлечения передовыми военными технологиями, а так-

же из-за понимания, что времени у него немного, де Голль с головокружительной скоростью принялся модернизировать и военную, и гражданскую Францию.

Прекрасный солдат, он к тому же немало претерпел от устатевших традиций наполеоновской армии и ее самодовольного генералитета. Ему приходилось иметь дело с тем офицерским корпусом, который привел его к власти и который также мог и убрать его.

Независимо от того, что он хотел бы сделать для Франции в целом, в военной организации он разбирался лучше всего. Поэтому он и произвел революционный переворот в экономике через военную организацию. Получилось гораздо более разумно, чем можно было ожидать. Де Голль был убежден, что путь к новой Франции преграждает старая армия. С идеализмом интеллектуала восемнадцатого столетия он верил, что только новый класс служащих-технократов сможет вытравить мифологию кланов офицерского корпуса, зараженного негативным отношением к демократии, республике и верой в преимущество живой силы перед техникой.

Следуя своим принципам, он выдвигал технически грамотных офицеров. Тремя самыми высокопоставленными генералами во времена де Голля были инженеры: выпускники Национального политехнического института. Они сразу начали выдвигать других технарей, процент которых в офицерском корпусе вырос с двадцати пяти до пятидесяти.

Следующим шагом де Голля стало кредитование промышленности посредством армейских заказов. Естественным продолжением этих новых военных исследований и производств явилось то, что Франция стала более напористо поставлять оружие на экспорт. Уже в конце 1950-х годов экспорт французского вооружения ежегодно возрастал на 16 процентов, в то время как в остальном мире рост вооружения составлял 10 процентов⁶. Такой ежегодный прирост давался легко, он стал тем крохотным основанием, с которого и начало продвигаться новое правительство.

На самом деле на международном рынке вооружений все было спокойно. Фактически на нем без всяких усилий доминировали Соединенные Штаты, раздавая свои вооружения

согласно положениям «плана Маршалла». Комфортное второе место занимала Великобритания, так как она продолжала производить вооружения и сохраняла монопольное право на их поставку в свои существующие и бывшие колонии.

Эта ситуация была взорвана 6 февраля 1961 года, когда президент Кеннеди зачитал конгрессу специальное послание об общем кризисе платежного баланса Америки. Соединенные Штаты недосчитались трех миллиардов долларов. Одним из главных выводов, к которому пришел Кеннеди (т. е. Макнамара и технари обновленного министерства обороны), был таков, что Америка больше не может себе позволить раздавать оружие. Его нужно продавать. Если выразиться более определенно, Соединенные Штаты должны продать гораздо больше оружия, чем они его раздали. Коммерческую реальность Кеннеди завернул в идеалистическую упаковку. Он говорил о необходимости защитить демократию, а также о необходимости того, чтобы союзники Америки коренным образом модернизировали свои военные возможности. Союзники должны нести более тяжелую ношу в системе обороны Запада, но делать это с американским оружием, а не со своим. Покупая его у США, они облегчат Соединенным Штатам тяжелое финансовое бремя, которое те несут, защищая свободу. Кеннеди высказывался очень определенно. Он говорил, что следует «побудить наших финансово состоятельных союзников приобретать новое оружие и системы вооружений». Оставим риторику в стороне: американский президент требовал, чтобы союзники субсидировали американскую экономику, покупая американское оружие. Это наилучшим образом иллюстрирует феномен де Голля, описанный в его «Военных мемуарах»: «Соединенные Штаты вносят в великие дела элементарные чувства и сложную политику».

Макнамара еще больше запутал новые политические установки, представив дополнительные объяснения на новом рационалистическом жаргоне. Его официальное заявление состояло из трех частей, первую из которых, хоть она и написана на языке технократа, стоит процитировать: «Продолжить практику кооперативной логистики и стандартизации с нашими союзниками путем интеграции систем наших поста-

вок и доведения их до степени максимальной практичности, а также помогая ограничить распространение других типов оборудования»⁷. Как и в случае с большинством предложений Макнамары, реальный эффект оказался прямо противоположным объявленному или ожидаемому.

Лихорадочное распространение всех видов вооружений, включая ядерные, в течение двух последующих десятилетий было начато именно этой политикой. Североатлантический альянс, политическое крыло НАТО, имеет в своем составе учреждение, которое называется Группа по стандартизации, где представлены все страны-участницы. Ее задачей является согласование единого стандарта на пули, снаряды, стрелковое оружие, танки, истребители и так далее. Идея в том, что в случаях кризиса и в обеспечение общей стратегии все виды вооружений и запасных частей к ним должны быть совместимы с таковыми у всех союзников, а возможности любого военного оборудования должны быть совместимы между собой. Неписаным принципом такой стандартизации является то, что она достигается путем взаимной торговли различными видами вооружений между союзниками. Ни один из союзников не может выпасть из этой системы, оставаясь покупателем и перестав быть продавцом. Если, скажем, стрелковое оружие бельгийское, значит, танк будет немецким, а самолет — американским. В реальности, однако, Группа по стандартизации всегда была дверью, через которую Соединенные Штаты снабжали своих союзников. Такой дверью, через которую Соединенные Штаты стали продавать оружие, и была новая политика Кеннеди—Макнамары.

Система стандартизации пропускала ровно столько неамериканского оружия, чтобы союзники все время были счастливы. Время от времени европейский заказ объявлялся особой политикой НАТО. Быстрая индустриализация Северной Италии по Аньелли/Фиату в основе своей имела военные заказы. Движущим импульсом было то, что в НАТО были убеждены: процветание этого региона сведет на нет мощное влияние, которое имели там коммунисты, что и случилось. А вообще-то все слова про кооперацию, стандартиза-

цию и интеграцию на самом деле означали, что союзники должны покупать американское. Более того, новая торговая политика Америки стала реальностью одновременно с новой ядерной стратегией «гибкого реагирования». Одним из очевидных последствий этой стратегии, которую Соединенные Штаты навязали своим союзникам, стало то, что всем им потребовалась массовая замена обычных вооружений. Иными словами, Кеннеди объявил новую стратегию, которая требовала перевооружения, и в то же время утвердил политику продажи оружия.

Наконец, новой политике коммерциализации вооружений была придана практическая форма. Пентагон создал Управление финансового контроля над военными поставками, чтобы следить за тем, как продаются вооружения. Генри Касс, его первый руководитель, был ведущим экспертом по поставкам вооружений. Он не делал секрета из того, что движет политику. В своей речи на совещании американских производителей вооружений он ясно об этом заявил: «С военной точки зрения нам грозит потеря всех основных международных связей, оплаченных грантами, если мы не сможем установить профессиональных военных отношений при помощи торговых инструментов. Решение проблемы погашения платежей в основном состоит в том, чтобы больше торговать. Все другие решения будут просто затягивать решение проблемы»⁸.

Благодаря его усилиям продажи американского оружия резко возросли. Но и союзники, особенно французы, стали вести себя напористо. Это был один из трех зафиксированных случаев, когда у французов возникали разногласия с НАТО⁹. Те, кто в то время заседал в Группе НАТО по стандартизации, помнят постоянные войны между Вашингтоном и Парижем, когда одни ждали, что все будут покупать американское, а другие настаивали, чтобы французы могли продавать альянсу столько же, сколько они покупают.

Генерал Пьер Галуа, один из самых оригинальных военных мыслителей, писал, что, если бы Европа приняла американскую политику, она превратилась бы не более чем в «производителя потребительских товаров. Что касается всего ос-

тального, то почему бы и не экономить деньги и не пользоваться тем, что производят американцы. С точки зрения коммерции, в разделении труда нет ничего плохого, за исключением того, что это превратило бы Западную Европу в недо-развитый континент. Нам пришлось бы закрыть инженерные учебные заведения, наши лаборатории, наши исследовательские учреждения и начать учить нашу молодежь на продавцов, которые будут работать исключительно по иностранной лицензии»¹⁰.

Любопытно, что такое ироническое видение комфортабельного спада не сильно отличается от того, что было действительно рекомендовано большинством западных экономистов, которые и сейчас полагают, что это было бы абсолютно правильно и что государства должны избавляться от тех производств, которые дешевле держать в других странах. Таким образом, Соединенные Штаты должны отказаться от производства стали в пользу Азии. А Канада должна отказаться от сельского хозяйства в пользу Соединенных Штатов. Если бы Европа приняла такую идею в начале шестидесятых годов, сейчас она была бы свалкой промышленных отходов, а не самой мощной экономической силой в мире.

Французы отказались выбрать такую перспективу в 1961 году и принялись менять приоритеты всей своей экономики, которая, по их мнению, должна быть конкурентоспособной на всех фронтах, но прежде всего на фронте новейших вооружений. В Пятом государственном плане были выделены шесть секторов экономики, которые должны были обеспечить независимость и прогресс. Все шесть позиций отражали точку зрения министерства обороны: атомная энергия, электроника, компьютеры, авиация, ракеты и спутники. В электронике 50 процентов продукции предназначалось для военных целей. Вся экономика отреагировала на такие массивные финансовые вливания в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и перспективные отрасли. А замечательное взаимопроникновение элит всей страны обесценило саму идею создания военно-промышленного комплекса. Национальный политехнический ин-

ститут выпускал целую армию технически грамотных специалистов, а также чиновников высокого уровня и руководителей корпораций. О комплексе не могло идти речи, поскольку существовала только одна элита, один источник финансирования и не было никакого юридического закрепленного разделения власти между политиками, военными и промышленниками. Вопросы несовпадения интересов даже не обсуждались. Интерес был только один.

В American aeronautics corporation, где работают восемь тысяч инженеров, две тысячи занимают должности аналитиков и управленцев. Это необходимо для того, чтобы корпорация могла обосновывать (не объясняя) своему правительству каждую деталь проекта, отстаивать сильные стороны характеристик своей продукции, переубеждать политиков, демонстрируя им качество методов управления, контроль над субподрядчиками и ценами. То же и в отношении правительств других стран при экспортных продажах. Во французской корпорации этими вопросами почти никто не занимался. Большинство таких вопросов должны были заниматься технократы, сидящие в принадлежащем им правительстве, через Министерскую делегацию по вооружениям (Ministerial Delegation for Armaments).

Такое проникновение элиты в правительство было лишь предзнаменованием скорого начала аналогичного процесса в других странах Запада. Повсюду, где официальные органы служили барьером между правительством, промышленностью и армией, поддерживалось мифическое представление, будто существуют реальные рычаги воздействия на политику в области вооружений. Однако дружная работа технократов в этих трех сферах свидетельствовала, что они без труда могут преодолевать любые барьеры, не обращая внимания на контролирующие органы. С осторожными высказываниями озабоченной общественности можно было разбираться постфактум. Юридическое и законодательное оформление административных действий стало напоминать церемонию разрезания ленточки.

Трудно допустить, что французские элиты не осознавали того, что экономика их страны перестраивается в соответствии с военными приоритетами. Они были уверены: только

армия может позволить себе инвестиции для развития высоких технологий на гребне созидательности.

Именно этот аргумент стал излюбленным в конце двадцатого века. Его используют в любой стране мира, когда необходимо оправдать военные расходы. Реальность состоит в том, что военные инвестиции — это просто часть правительственных инвестиций. И независимо от того, предназначены эти деньги для военных или гражданских нужд, средств для проведения НИОКР нет ни здесь, ни там.

Как бы то ни было, по официальным данным, французская армия уже в шестидесятые годы обеспечивала 30 процентов государственных инвестиций. На самом деле 70 процентов государственных средств, выделяемых на НИОКР, предназначалось военному сектору¹¹. Такой же процесс протекал и в Соединенных Штатах, только более медленно, так как там до 1973 года было относительно более здоровое общее состояние экономики. Однако к 1980 году 40 процентов американских фондов на НИОКР предназначалось для военных программ. К 1985 году им было посвящено уже 50 процентов университетских исследований. К 1988 году 70 процентов средств, выделяемых на НИОКР, шло военным.

Де Голль указывал, что только государство может определять, какие исследования «наиболее полезны для интересов общества»¹². Политические лидеры во всем мире постепенно согласились с такой постановкой вопроса. Наверное, у них и выбора-то не было, так как в момент занятия должности каждый из них обнаруживал, что невидимая паутина уже соединила деньги, выделяемые на НИОКР, с оснащенностью военных. Оказывалось, что никаких других возможностей производить исследования не существует. Оставался только вопрос, как найти способы, чтобы оплатить и исследования, и появляющуюся в их результате «необходимость» в военном снаряжении. Самый простой выход: экспорт. Продажа двух сотен истребителей на экспорт профинансирует производство пятидесяти самолетов, необходимых для собственных военно-воздушных сил.

Таким образом, трюизм экономистов, политиков и военных о том, что национальная независимость может быть

обеспечена увеличением объемов собственного производства вооружений, при условии, что оно будет финансироваться за счет экспорта, стал новой религией западного мира. Повсюду технократы — и офицеры, и управленцы — объясняют своим подчиненным, какие замечательные выгоды сулит такой циклический процесс национальной экономике. И то, что воспринималось как успехи американцев и французов, теперь кажется еще более привлекательным на фоне британских неудач.

Лондон слишком поздно обратил внимание на политику в области производства вооружений и, таким образом, растерял свое послевоенное преимущество, потеряв большую часть рынков сбыта даже в своих бывших колониях. К 1966 году Гарольд Вильсон и его министр обороны Денис Хейли в отчаянии решили присоединиться к этой гонке. Оба принадлежали к левому крылу Лейбористской партии. В качестве еще одного напоминания о том, что ни идеология, ни милитаризм не имеют значения для происходящих процессов, укажем, что двое из трех людей, создавших и руководивших Британской организацией по продаже вооружений (British Defense Sales organisation), были выдернуты из автомобильной промышленности, так же как в Соединенных Штатах Роберт Макнамара пришел в оборонное ведомство из Детройта. Рост рынка вооружений — это результат усилий промышленников и администраторов, а не военных. Он связан с производством и продажей техники и компьютеризированного оборудования. Большинство людей, работающих в этих сферах, не задумываются всерьез о природе того, что они производят.

Новой группе Британской организации по продаже вооружений удалось остановить закат британских рынков, и Лондон вышел на четвертое место на все растущем мировом рынке вооружений. К концу восьмидесятых годов Британия вновь оспаривала у Франции третье место.

Но все поддались этому веянию гораздо раньше. К концу шестидесятых годов шведы, швейцарцы, бельгийцы, немцы и итальянцы разъезжали по миру и продавали свои вооружения. Окончание эры колониализма означало ста-

новление новых государств. Новые государства — значит новые армии и потребность в новом вооружении. Правительства новых государств хотели его покупать, но наличных денег не было. Оказалось, что это чисто техническая проблема. Те же западные правительства, которые будут продавать им вооружения, будут и финансировать эти расходы через программы помощи, или нецелевые банковские кредиты, или по специальным соглашениям по финансированию вооружений, и все это удобно опирается на низкие, льготные цены.

Иными словами, на самом деле продавцы не финансировали собственные военные потребности за счет экспортных продаж, так как они финансировали покупателей. Согласно их рациональной системе расчетов, истребитель, проданный на экспорт, более-менее покрывал расходы на истребитель для собственных ВВС. В реальности правительство-продавец платило и за тот, и за другой. Весь процесс был и остается не чем иным, как звеньями инфляционной цепи, где деньги, в форме долга, должны быть напечатаны для оплаты производства товаров непроемчивой сферы, которые будут храниться в своей стране или за рубежом.

После целого десятилетия чересчур бодрой гонки конкурентов за рынки сбыта мировой экономической кризис 1973 года вызвал растерянность в правительственных и деловых кругах, от которой они не избавились до сих пор. Никто из них не понял, что произошло. Технократы обнаружили, что рост производства техники впервые с 1945 года серьезно застопорился. Они наугад пробовали различные средства — безрезультатно. Печатали деньги. Не печатали деньги. Финансировали тяжелую промышленность. С чувством досады отказывались финансировать больную тяжелую промышленность. Независимо от того, финансировали они или не финансировали, облагали налогом или не делали этого, экономический организм не подавал признаков жизни.

Единственным сектором экономики, который быстро и положительно реагировал на стимулирование со стороны правительства, была военная промышленность. Снижение

налоговых ставок для нормальных секторов промышленности или субсидирование НИОКР, списание прибылей или любая другая поддержка, оказание которой находится в компетенции правительства, может серьезно подтолкнуть компании к производственной деятельности. Но это не заставит потребителей покупать. Во время экономических спадов покупатели не бросаются за покупками сломя голову. Они ограничивают себя в расходах.

Но производство оружия — это совершенно искусственный бизнес, не являющийся субъектом обычных рыночных отношений. Вооружения — идеальный потребительский продукт, потому что даже его потребитель искусственен. Покупателем выступает не частное лицо, а правительство.

Движение финансовых потоков вдруг приобретает особую важность. Платить странам, чтобы они покупали ваши вооружения, стало способом стимулирования экономики в собственной стране. Заказывать оружие для собственных вооруженных сил у себя в стране означает то же самое. И чем больше оружия произведет ваша собственная промышленность, тем больше нужно напечатать денег. Но это не похоже на классическую инфляционную экономику. Правительство печатает разнообразные долговые бумаги, а не старомодные расписки. Одновременно задействуется патриотизм и запускаются программы поощрения экспорта. Деньги, потраченные на откат за экспортные сделки, больше не рассматриваются как расходы. Теперь это — стимуляторы.

Производство такой массы оружия действительно давало людям работу в трудные времена. Если рассматривать только прямо относящиеся к военному производству отрасли, то в настоящее время в США в них числится 400 тысяч рабочих мест, в Европе — 750 тысяч. Любопытно, что с возрастанием социоэкономического значения производства вооружений вопрос о том, как реально защищен сам продавец, отходит на второй план. На первый план выходят вопросы количества рабочих мест, структуры производства, торговых балансов и развития технологий. Производители вооружений это поняли и действуют соответственно.

Например, в 1981 году Rockwell International продавливала через конгресс бомбардировщик Б-1Б. Утверждалось, что детали для него будут производиться в сорока восьми американских штатах — замечательный пример промышленно-политической экономики. В 1986 году в Великобритании компания Plessey, обосновывая продажу Ирану шести радарных комплексов AR-3D за 240 миллионов фунтов, утверждала: «Этот контракт означает два года работы для полутора тысяч наших граждан». «Иранцы, — сказано далее, — обещали не использовать эти системы против Ирака». Разумеется, они ведь покупали их, чтобы следить за метеоритами. Каспар Уайнбергер, министр обороны при президенте Рейгане, в совершенстве знал, как быть прямолинейным: «Мы должны помнить, что на кону — 350 тысяч рабочих мест, которые мы потеряем, если военные расходы подвергнутся серьезному сокращению». Итак, в конце двадцатого века производство вооружений стало важнейшим источником создания новых рабочих мест. Неоконсерваторы могут осуждать проекты WPA Франклина Д. Рузвельта, но тогда, по крайней мере, в сельской местности было чисто и сами эти проекты были разумно недорогими.

Представление о том, что производство вооружений является хорошим способом создания новых рабочих мест и зарабатывания иностранной валюты, настолько наивно, что в нем даже есть некоторый шарм. Даже поверить в то, что военные расходы могут помочь экономике, уже сплошная революционная сказка. Прежде военные расходы считались катастрофой для экономики. То, что в двадцатом веке Запад убежден в обратном, частично объясняется неожиданным следствием кейнсианских теорий, порожденных убежденностью, что Вторая мировая война остановила депрессию. Еще одной глупостью современной экономики является то, что самого Кейнса теперь считают плохим, но его теории увеличения производства вооружений — хорошими.

Чтобы замаскировать это противоречие, экономисты выдвинули теорию «трюка с исчезновением». Например, инвестирование нескольких миллиардов долларов в неразвивающуюся танковую промышленность вселяет надежду, что сот-

ня миллионов долларов перепадет и гражданскому транспорту, и это представляется как эффективная форма вложений в промышленность.

Те, кто защищает эту теорию, в качестве подтверждения приводят длинный список побед. Дескать, нет такого самолета или радиоприемника, в создании которого не принимали бы участие военные. Быстрые поезда. Новые металлы. Весь сектор ядерной энергетики, компьютерная электроника. Спутники связи. Список бесконечен. И ни тени сомнения, что самым правильным решением было бы провести изыскания и проверить, так ли это на самом деле.

Во время своей первой предвыборной кампании (будущий) президент Джордж Буш дал своим оппонентам, сетующим, что 70 процентов федеральных средств, выделяемых на НИОКР, идет на оборонные нужды, странный ответ: «Критики не замечают важности исследований в области обороны для науки и технологии, производственного сектора и торговли, а они расширяют границы наших знаний и способствуют нашему процветанию»¹³.

Интересно, однако, не то, работает эта система или нет, а то, что не мешало бы выяснить, нет ли какой-нибудь другой, лучшей системы. Почему правительство не может направить свои инвестиции прямо в мирные сектора тех отраслей, которые все время надеются получить крохи научных знаний со стола военных исследований? Если нам действительно нужны НИОКР, имеющие мирную направленность, и внедрение их результатов в производство, тогда эта система трюкачества представляет собой исключительно неэффективный способ их развития.

Мы вовсе не считаем, что вооружения куда-то исчезнут или что им надлежит исчезнуть. Мы просто констатируем, что приоритеты западной экономики сейчас вывернуты наизнанку. Любой представитель новой элиты, каким бы ни было его профессиональное образование, знает, что следует делать. Но его точка отсчета неверна. Не производство вооружений для нужд Второй мировой войны прекратило Великую депрессию, а послевоенная необходимость восстановления опустошенной Европы. Поэтому, если мы действительно надеемся покончить

с экономическими трудностями при помощи военного производства, нам следует начать всерьез что-то взрывать. Продолжительные бомбардировки в ходе войны в Заливе было явно недостаточным шагом в этом направлении.

Правда состоит в том, что производство вооружений, занимающее центральное место в нашей экономике, стало главным тормозом ее роста, а следовательно, и оздоровления. Проблема оружия — если оставить в стороне гуманистические и моральные аспекты — заключается в том, что оно не является средством производства. С его помощью нельзя ни строить, ни развивать. Его можно только хранить. Или использовать. В большинстве случаев только один раз. И только для разрушения, вырывая экономический двигатель у средств производства, предназначенных для роста, а не разрушения. Иными словами, как при хранении, так и в случае использования оружие является самым затратным потребительским товаром.

Торговцы оружием и гонка вооружений — совсем не новое явление. Но раньше торговцы были лишь крошечными точками на экономической карте мира, да и сама международная торговля оружием была едва ли больше. Например, гонка морских вооружений, за которой последовала Первая мировая война, воспринималась как настолько дорогая, что это калечило экономику. Речь шла о тридцати четырех дредноутах Великобритании и ее союзников против двадцати германских и австрийских.

Расходы на их строительство вызывали в обществе бурные разногласия. Незадолго до того, как разразился 1914 год, британское либеральное правительство буквально разрывали на части первый лорд Адмиралтейства (военно-морской министр — *прим. ред.*) Уинстон Черчилль и Ллойд Джордж, канцлер казначейства (министр финансов — *прим. ред.*). Черчилль настаивал на ежегодном увеличении расходов на флот, чтобы их хватало на строительство большего числа дредноутов, а Ллойд Джордж возражал ему, выдвигая социальные и экономические доводы. Британцы вынудили свое правительство уменьшить бремя расходов страны и застави-

ли его оказать давление на союзников — доминионы, чтобы те сами строили дредноуты. «Имперский флот», естественно, оказывался под имперским командованием Адмиралтейства. Такое давление по-разному влияло на доминионы. Возражать пожеланиям Лондона означало проявить мягкость по отношению к немцам, неблагодарность — к родине и подспудное республиканство. Такие аргументы сыграли свою роль в случае с канадским правительством Уилфрида Лорье в 1911 году, они чуть не сломали и следующее правительство Роберта Бордена. Считалось, что тот, кто за дредноуты, хочет предотвратить войну, а кто против — ее начать.

Пятидесятые, начало шестидесятых и восьмидесятые годы характеризуются аналогичной риторикой, только уже в отношении «холодной войны». Но наше время радикально отличается от времени перед обеими мировыми войнами. Никогда прежде мир не сохранялся при помощи такого высокого уровня расходов на вооружение, как это происходит на протяжении последних тридцати лет. Никогда еще в мирное время производство вооружений не занимало столь значительного места в экономике.

И все-таки имеется один общий аспект. Нынешние торговцы оружием, как и прежде, — маргиналы, второстепенные личности. Несмотря на свою известность, Аднан Хашоги был самой малозначащей фигурой в «Ирангейте». Торговцы не заключают сделок. Они бегают за ними в надежде вписаться в дело и ухватить несколько бесхозных тысяч или миллионов. Они — падальщики промышленности, которой заведуют правительства, а без правительств серьезных сделок не заключается. С помощью дилеров заключается не более пяти процентов сделок по продаже оружия, да и то, если за ними стоят правительства-покупатели или правительства-продавцы¹⁴. Имя Хашоги всплыло в иранском скандале, когда до сведения журналистов и соответствующих официальных лиц было доведено, что именно его следует назвать источником зла. Журнал *Time*, проводник официальной американской мифологии, поместил его портрет на обложку под заголовком: «Теневые торговцы оружием». В самой статье были да-

ны диаграммы, названы правительства, президенты, министры и генералы, но в центре всего этого был Хашоги. Снова и снова в каждом выпуске новостей говорилось о скандале с Хашоги и пропаже двенадцати миллионов долларов. Ныне за двенадцать миллионов долларов купишь разве что один танк.

Именно потому, что правительство играет главную роль в сделках с оружием, оно всегда должно держать ухо востро. Общество не в состоянии понять его истинной роли, быть может, потому, что оно затушевывает саму аморальность оружейного бизнеса. В прошлом, когда на добро и зло смотрели непредвзято, было ясно, что торговцы — это зло, которое не очень затрагивает непосредственные интересы общества. Такая ясность, тем не менее, помогала людям понимать состояние дел в своем государстве.

Теперь на смену такому мрачному бессмертному монстру, как Василий Захаров (сэр Бэзил Захарофф), самый знаменитый торговец начала двадцатого века, вдруг пришли — нами же избранные — наши честные слуги, государственные служащие. Что подумает простой гражданин? Политики могут быть популярными и непопулярными. Честными и нечестными. Способными и не способными. Но сама природа демократического процесса не позволяет видеть в них воплощение зла. Политик не может воплощать в себе зло, если общество не считает себя порочным. Что же касается бюрократов, которые и являются настоящими «торговцами», то, будучи призванными исполнять функции государственных служащих, они избавлены от традиционного общественного надзора за их нравственностью.

Кроме того, успехи политиков и бюрократов в продаже оружия за рубеж теоретически ослабляют бремя налогов, которые платит налогоплательщик на содержание оборонного ведомства. «Что касается нравственной стороны дела, — заявлял Реймонд Браун, будучи главой Defence Sales Department в британском правительстве, — я просто не беру ее во внимание»¹⁵. Его французский коллега из Ministerial Delegate for Armaments Юг де Льестьюаль дал более стандартный ответ на подобный вопрос: «Когда меня критикуют за то, что я торговец оружием, я всегда думаю, что, подписывая

контракт, я обеспечиваю, ну например, 10 тысяч рабочих мест на три года»¹⁶. Что касается Генри Касса, дилера американского правительства, то он утверждает, что является не продавцом оружия, а человеком, отвечающим за рационализацию и координацию.

Производство вооружений настолько срослось с тем, что мы воспринимаем как необходимую часть национальной экономики, что критиковать — значит оторваться от реальности, быть идеалистом, все упрощать и так далее. Высказывания комментаторов и официальных представителей этой отрасли предельно осторожны, что свойственно как левым, так и правым. В 1986 году Великобритания, конкурируя с Францией на рынке экспорта вооружений, выдавливала Францию с третьего места. Газета *Libération*, так или иначе представляющая французскую интеллигенцию левого толка, ответила на действия конкурента длинной вымученной аналитической статьей, разъясняя ему, что его действия ошибочны. Статья заканчивалась выводом, что некоторые люди, имеющие довольно романтический взгляд на мир, сожалеют, что внешняя политика Франции иногда сводится к роли торговца оружием. Они забыли, что, если мы хотим быть сильными, нам следует полагаться на нашу мощь, то есть на наше оружие — и на то, которое остается у нас, и на то, которое мы продаем¹⁷. В 1987 году Франция вновь оказалась на третьем месте.

Степень, до которой была деформирована внешняя политика и искажено законодательство, переставшее соответствовать системе управления, более всего очевидна в сфере вооружений. Доходит до смешного. В начале восьмидесятых годов Соединенные Штаты прилагали все усилия, чтобы европейцы не построили истребитель нового поколения, а покупали американские самолеты. Вашингтон утверждал, что американская машина будет дешевле и лучше. Их аргументы европейцев не убедили, и в 1985 году европейцы создали два консорциума. Первый, более крупный, отражал интересы Великобритании, Испании, Германии и Италии и планировал построить восемьсот истребителей.

Реакцией Вашингтона была попытка США вступить в этот консорциум. И не потому, что они хотели приобретать этот самолет. В Америке есть пять независимых друг от друга корпораций, работающих над проектом истребителя нового поколения. Эти пять компаний будут без устали бороться друг с другом на американском рынке. Вашингтон хотел участвовать в европейском консорциуме, чтобы создать дополнительные рабочие места на американских заводах.

Правительства так рьяно стремятся обеспечить инвестиции и увеличить занятость в сфере производства вооружений, что, если бы их пригласили, они, наверное, приняли бы участие в создании советского истребителя. А Москва так уж наверняка пошла бы на участие в американском проекте. Доказательством такого утверждения может служить то, что, хотя Китай и Запад не напрямую конфликтуют на многих направлениях, а на многих фронтах потенциально готовы вступить в прямой конфликт, западные страны без колебаний подписали военные контракты с Пекином. Чтобы вернуть несколько субсидированных миллионов, мы помогли Пекину стать серьезным конкурентом Западу на мировом рынке вооружений.

Одной из особенностей этого любопытного рынка является то, что каждый его участник обвиняет другого в нечестной игре с неправильно установленными ценами. В 1987 году европейский консорциум Airbus выиграл генеральный контракт в Соединенных Штатах Америки. Это стало серьезным поражением корпорации Boeing-Lockheed-McDonnell Douglas на своем поле. Вашингтон попытался сорвать сделку, обвиняя европейцев в занижении продажной цены гражданского авиалайнера путем скрытых военных инвестиций. Обвинение было сформулировано в дипломатической ноте, которая, в конце концов, более уместна в сношениях с врагами, нежели с союзниками. Лидером консорциума была Франция, и ее тогдашний премьер-министр Жак Ширак немедленноотреагировал, ответив, что, если Вашингтон тронет контракт, Европа введет эмбарго на все американские товары, а кроме этого, «все американские авиаконструкторы финансируются Пентагоном и НАСА»¹⁸. Вашингтон отступил. Без сомнения, обе стороны были правы.

В нашем столетии всякая маленькая война крупными странами используется в качестве полигона для испытаний нового оборудования и новых тактических разработок. В наше время жесткой конкуренции все сорок с небольшим конфликтов, происходящих на нашей планете, производители вооружений оценивают с надеждой, что там утонет, выстрелит или взорвется что-нибудь произведенное ими.

Гибель американского фрегата «Старк» в Персидском заливе в 1987 году, а до этого эскадренного миноносца Королевских военно-морских сил Великобритании «Шеффилд» близ Фолклендских островов, может быть, и навредила экспорту военных кораблей США и Соединенного Королевства, но способствовала продаже французской ракеты «Экзосет». Такие примеры активно используются в рекламных кампаниях, ведь СМИ во всем мире кормятся описаниями сражений, в которых косвенно восхваляется то или иное оружие. С точки зрения коммерции, не столь важно, каковы цель и смысл каких бы то ни было военных действий.

Война в Заливе была самым большим испытательным полигоном после окончания Второй мировой войны. 15 февраля 1991 года, в самый разгар войны, президент Буш совершил поездку на завод, где производятся ракеты «Пэтриот», в Андовере, штат Массачусетс. Там он произнес то, что назвали программной речью, которую во всем мире транслировали в прямом эфире. Главной идеей, которую он хотел донести до сведения собравшихся рабочих и всего мира, было то, что ракеты «Пэтриот» — это «триумф американской технологии» и «их производство способствует экономическому росту». Он произнес это в контексте необходимости создания СОИ. Акцент на необходимость торговли (вооружением) еще раз был сделан 6 марта — после окончания войны, в его ежегодном «Послании конгрессу о положении в стране»: «Они победили, благодаря технологиям, разработанным Америкой. Мы увидели, как великолепна ракета «Пэтриот» и как великолепны патриоты, которые заставили ее работать». Действительно, переговоры о продаже новых вооружений на сумму в десятки миллиардов долларов уже велись с союзниками на Ближнем Востоке¹⁹.

В этом и в других случаях собственные национальные интересы производителя вполне могут отступить на второй план. Например, канадские и французские государственные корпорации подтолкнули к тому, чтобы они продавали ядерные реакторы в страны Третьего мира. При этом ни одна ответственная политическая фигура не задалась вопросом: действительно ли стоит получить те несколько сотен миллионов, которые уплатят за реактор, если в результате распространение ядерного оружия станет неизбежной реальностью. Еще более специфическим был случай с Анри Конзе, главным торговцем оружием при французском правительстве в конце восьмидесятых годов. Время было настолько тяжелое, что Дассо, французский производитель истребителей, в 1987 году был вынужден временно уволить восемьсот человек. Конзе прокомментировал это так: «Будущее очень неопределенно, но производители не должны впадать в отчаяние. Рынок есть рынок. [Это о нефтедобывающих странах.] Вопрос в том, когда у клиентов снова появятся деньги для модернизации своей обороны. ... Кто знает, сколько будет стоить нефть в следующем году?»²⁰

Иными словами, взрослый мужчина с интеллектом выше среднего уровня и чиновник высокого ранга надеется, что цена на нефть вновь возрастет, и ближневосточные правительства смогут купить еще больше истребителей. Такое повышение цены на нефть сулит катастрофу для его государства, так как Франция, как и почти вся Европа, импортирует углеводородное сырье. Этот пример ясно показывает, на какое безумие толкает людей оружейный бизнес.

Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что страх выглядеть «весьма романтично» (Liberation) просто заставляет тех, кто действительно критикует современное безумие, обратить особое внимание на экстравагантное и необычное: на торговцев, у которых в слоноподобном «Боинге-747» имеется джакузи, на проблемы с психикой у полковников, на то, какой официальный представитель и что сказал президенту Соединенных Штатов, а также в котором часу какого дня и в какой комнате. В реальности даже традиционно ключевые вопросы: кто солгал, какой закон был нарушен, кто об этом

знал — не имеют значения. В оружейном бизнесе все лгут и, как правило, делают это «в национальных интересах». В конце концов, они ведь слуги народа или находятся на содержании у слуг народа. Почти всегда законы нарушают те, кто сам их принимает, или те, кому платят, чтобы они их соблюдали.

Не стоит удивляться тому, что приличных людей заставляют быть такими. Во-первых, экономические обязательства. Во-вторых, их убеждают, что все подобные операции как с самим оружием, так и с нуждами потенциальных покупателей — это часть большой государственной программы, и у любого технократа на все это имеется обоснование. В-третьих, все операции совершаются под покровом секретности, что подталкивает людей заниматься детскими фантазиями на тему, ну как бы заставить мир работать.

В 1987 году американское оборонное ведомство, например, запросило бюджет в 22,4 миллиарда долларов на «черные программы», когда от общества скрыто или название программы, или ее цель, или стоимость, или все сразу²¹. Если высшие должностные лица правительства официально вовлечены в сокрытие реальных расходов, реальных цен, имен субподрядчиков, реальных оценок внешней политики, то это всего лишь небольшой шаг в сторону коррупции и экспорта в страны, которым продавать нельзя. Такие факты, как фальшивые лицензии конечного пользователя и деньги на номерных счетах, характерны не для нелегальных, а для вполне законных сделок с оружием. Эта сторона «беллетристики в стиле аэропорта» в применении к бизнесу делает приемлемым бесконечный список сомнительных сделок, даже если здравый смысл подсказывает их участникам, что они не приемлемы.

Именно таким образом Великобритания дошла до того, что отправила в Иран запасных частей для танков на 50 миллионов долларов, хотя это шло вразрез с ее публично заявленной внешней политикой. Было решение, запрещающее продавать «смертоносное» оборудование Ирану и Ираку, в случаях, когда оно может оказать существенную помощь любой из сторон. Те, кто выносил такое решение, затем принялись манипулировать его смыслом. Разве запасные части «смертоносны»? Какая помощь существенна?

Даже Швеция с ее строгими законами, запрещающими экспорт вооружений в «зоны конфликтов», в 1986 году обнаружила, что именно этим занимались высшие должностные лица в течение десяти лет. В Иран продали вооружений на сотни миллионов долларов. Когда началось расследование, один из старших офицеров бросился под поезд или его толкнули. Никто точно не знает.

Мартин Ардбо, бывший президент Нобелевского филиала, осуществлявшего эти поставки, признался: «Мы думали, что живем по системе двойных стандартов. Они [правительство и *War Equipment Inspectorate*] хотели, чтобы мы этим занимались». Как все, кто этим занимался, Ардбо думал, что, нарушая закон, он служит своей стране²².

Наши элиты полагают, что такие нарушения общественной морали не столь важны по сравнению со стратегической самонадеянностью, которая финансируется экспортом оружия. Истина находится на противоположном полюсе. Каждая новая продажа оружия за рубеж ограничивает внешнюю политику страны-продавца.

В первую очередь, это касается огромных расходов, необходимых для создания инвентария: ведь нужно не просто изготовить оружие, а изготовить его в определенном количестве и с учетом сложнейших особенностей, что всегда необходимо на внешнем рынке. Расходы на это загоняют продавца в угол. Он должен продавать и дальше, чтобы компенсировать инвестиции и не увольнять своих работников. Важность таких вещей, как политическая разборчивость в отношении клиента, неизбежно уменьшается. Финансирование производства вооружений само по себе становится императивом внешней политики.

Но торговец подталкивает не только необходимость продать в данный момент. Системам вооружений нужны запасные части и боеприпасы. Таким образом, производитель гарантирует себе долгосрочные поступления доходов, ведь запчасти и боеприпасы — это как проценты по вкладу. Но, к сожалению, они создают и долгосрочные обязательства перед продавцом. Отказ продавать запасные части грозит репутации страны-продавца.

Если бы дело касалось военных действий, клиенту можно было бы нанести ущерб. А в мирное время все страны возмут ненадежного продавца на заметку. И чем больше имеется причин морального или политического оттенка, чтобы не продавать оружие, тем хуже это для репутации международного поставщика.

Именно эти соображения двигали работников Нобелевского филиала, что и привело к скандалу с шведским вооружением. Они утверждали, что отказать Ирану в оружии значит навредить репутации Швеции как надежного поставщика. Вероятно, они были правы. Следовательно, продажа оружия — это внешнеполитические обязательства. И чем более агрессивно ведется международная торговая кампания, тем сильнее коммерческий успех деформирует внешнюю политику.

Что касается особо сложных систем вооружения, которые нужны самим западным производителям, то они настолько дороги, что их могут выпускать, в основном, только крупные международные консорциумы. Это ведет к укреплению союзничества. Но никому не придет в голову сказать, что от этого есть хоть какая-то польза национальной независимости.

И наконец, с каждым годом все больше стран принимаются за производство оружия или расширяют производство собственного оружия и подключаются к конкурентной борьбе. Теперь рынок принадлежит покупателю, и поэтому получение большого контракта зависит от обещаний покупателю поддержки со стороны военного командования или от финансовой поддержки на территории, которую предполагается оборонять. Фактически продавец скорее будет поощрять агрессивную внешнюю политику клиента, чем укреплять свою собственную.

Что касается попыток поставщиков повлиять на внешнюю или внутреннюю политику своих клиентов, то такие попытки всегда с треском проваливались. Например, в 1958 году Франция в рамках программы НАТО по стандартизации приняла на вооружение бельгийскую винтовку FN. К винтовке FN поставлялись американские пули калибра 7,62.

В критический период алжирской войны Америка сократила поставку пуль, мотивируя это своим неодобрением колониальных войн. Французы были убеждены, что истинной причиной был интерес Вашингтона к газовым месторождениям, разведанным на юге Алжира. Этот инцидент подтолкнул Францию к выходу из НАТО и концентрации усилий на собственном производстве вооружений.

Быстрый спад британского экспорта, отбросивший ее со второго места на четвертое, начался с введения Гарольдом Вильсоном эмбарго на продажу вооружений в Южно-Африканскую Республику. Франция немедленно заняла освободившуюся нишу и, помимо прочего, продала ЮАР шестьдесят четыре истребителя «Мираж», семьдесят пять вертолетов и несколько ядерных реакторов. Не прошло и двух лет, как Вильсон создал Организацию по торговле вооружениями (The Defence Sales Organisation), чтобы стабилизировать стремительно падающий объем продаж. Государства «черной Африки», как и многие другие, были напуганы британским заявлением о принципах торговли. Но, создав новую Торговую организацию на месте старой, Великобритания, пренебрегая нравственными принципами и расталкивая локтями других, вскоре вернула международное уважение. Что касается Франции, то до конца восьмидесятых годов она ни одним словом не осудила апартеид, пока не исполнила перед Южно-Африканской Республикой все свои обязательства по поставкам оружия.

В 1967 году, пытаясь остановить «шестидневную войну», Франция сократила поставки оружия Израилю. Израиль немедленно сменил поставщиков, обратившись к тем, у кого другие взгляды, а затем сконцентрировался на собственном производстве вооружений. После переворота генерала Аугусто Пиночета Запад стал постепенно сокращать свои военные поставки в Чили. Теперь Чили — серьезный производитель вооружений. Иными словами, в случае любых сложностей заказчик вооружений меняет поставщиков, а затем стремится освободиться от проблем зависимости и начинает создавать собственную военную промышленность, а затем и экспортировать свое вооружение. Итак,

прямым следствием давления на клиента становится появление еще одного конкурента.

В 1960 году всего несколько стран Третьего мира были серьезными производителями вооружений. Сегодня уже двадцать семь из них вступили в конкурентную борьбу. В период с 1950 по 1972 год примерно 86 процентов основных систем вооружения поступали заказчикам в странах Третьего мира из Соединенных Штатов, Советского Союза, Франции и Великобритании. Сегодня одиннадцать стран Третьего мира поставляют боевые истребители на экспорт. Девять поставляют военные корабли. Двадцать две страны имеют программы производства баллистических ракет, шесть из которых уже продают ракеты, способные нести ядерный заряд. Китай продает три таких модели, Израиль — две, Бразилия — три, Индия — четыре²³. Борьба с безработицей и выравнивание торгового баланса путем развития экспорта вооружений стали серьезной проблемой экономической политики в Аргентине, Бразилии, Китае, Египте, Индии, Индонезии, Израиле, Мексике, Северной и Южной Корее, на Филиппинах и Тайване. И это только те страны, которые успешно работают.

Например, Бразилия продает половину бронетранспортеров в мире. От экспорта вооружений она получает больше прибыли, чем от экспорта кофе. Стоимость военного экспорта больше, чем весь оборонный бюджет. Бразильцы оспорили бы факт, что их политика в области вооружений очень успешна, так как их правительство создало военную промышленность, имея в виду, что на внутреннем рынке нет никакого спроса на вооружения. Она последовала оригинальной американо-французско-британской теории, согласно которой экспорт — это передовой способ финансирования внутренних потребностей.

Многие страны Третьего мира сейчас продают вооружение только потому, что делают на этом деньги, при отсутствии собственных потребностей в вооружениях. В Пакистане в секторе военной промышленности работает сорок тысяч человек, а инженеров и квалифицированных рабочих в ней больше, чем в какой-либо другой отрасли²⁴. Такой подход

позволяет развивающимся странам побеждать развитые страны на их собственном поле.

То, что они смогли так быстро перестроиться и освоить западные методы производства, только на первый взгляд выглядит необычным. Это объясняется тем, что их элиты получили (и продолжают получать) образование на Западе. Подобно тому как предыдущее поколение колоний училось, например, марксизму в Париже и Лондоне, затем пытались воплотить усвоенные идеи дома, так и те, кто учился в шестидесятые годы и позже, изучали те же самые методы, что и западная технократия. Военные — это самая важная составляющая новых элит Третьего мира. Вот военные и возвращались домой, одержимые тремя идеями: индустриализация, рациональный менеджмент и высокотехнологичное вооружение. Повсюду в Третьем мире существуют военные правительства, и даже когда они позволяют гражданскому лицу стать президентом, армейские офицеры продолжают занимать ключевые посты в администрации.

В период между 1950 годом и началом мирового экономического кризиса в 1973 году ВВП развивающихся стран рос на 5 процентов в год. Бюджеты оборонных ведомств росли на 7 процентов, а импорт вооружений на 8 процентов²⁵. Кризис 1973 года остановил рост ВВП. Однако военные изнутри влияли на правительства, настаивая на дальнейшем росте затрат на вооружение. Это было еще одним фактором, вследствие которого происходил поворот в пользу производства оружия как для внутренних нужд, так и на экспорт. С самого начала они осознали свое основное конкурентное преимущество: дешевизна рабочей силы. К этому можно добавить отсутствие внутреннего политического вмешательства в экспортную политику. Такие преимущества еще более значимы в наши дни, поэтому производители вооружений в странах Третьего мира без всякого сомнения продолжают расширять свою деятельность, распространять вооружения и будут оказывать все более серьезное влияние на основных производителей вооружений на Западе.

Перечень слабых мест в экономических, внешнеполитических и военных аспектах современной торговли вооруже-

ниями почти бесконечен. Скажем, секретность всегда была положительным фактором для национальной обороны. Если у вас есть хорошее оружие, вы не станете рассказывать о нем вашим врагам. Секретность перестала быть актуальной, равно как и правило продавать оружие только своим надежным союзникам. Сегодня идет отчаянная конкурентная борьба: своим товаром хвастаются, продают его всем подряд, и таким образом доктрина о нераспространении стратегических вооружений утратила всякий смысл.

Эксперты министерств обороны во всех странах, разумеется, станут это отрицать. Они будут указывать на то, что имеется тщательно выверенный список товаров стратегического назначения и проводится мониторинг тех стран, в которые эти товары продавать запрещено. Но эти списки не имеют обязательной силы и не могут быть никому навязаны для исполнения. Это всего лишь болтовня пиарщиков. Когда происходят нарушения, их не замечают или умалчивают, а те нарушения, вокруг которых поднимается общественная шумиха, обычно изучаются с неприкрытым лицемерием.

Например, в 1983 году японская корпорация продала русским четыре изготовленных в Америке станка с программным управлением для производства корабельных винтов. Такие станки американцы внесли в список запрещенных стратегических товаров. Директор правительственного ведомства США по продаже вооружений гневно протестовал. Он заявлял, что теперь обнаружение советских подводных лодок станет невозможным. Соединенным Штатам придется потратить миллиард долларов на разработку новых систем обнаружения. «Помимо всего прочего, — сетовал он, — эти люди нанесли громадный ущерб, и все это только ради того, чтобы заключить еще одну сделку»²⁶.

Но если со стратегической точки зрения эти станки были так важны, как же они оказались в распоряжении японской корпорации? В реальности дело обстояло так: во второй половине восьмидесятых годов пять тысяч станков, занесенных в список стратегических позиций Запада, было продано в Советский Союз из разных стран. И в довершение ко всему, европейские партнеры американцев в КОКОМ, натовской

структуре, призванной контролировать движение стратегических товаров, требуют, чтобы этот список был или значительно сокращен, или вообще отменен.

За пределами этих искусственных стратегических списков ситуация контролируется еще хуже. Например, Израиль долгое время 35 процентов своего военного экспорта отправлял в Южную Африку. Другими серьезными заказчиками выступали: Тайвань, Чили во времена Пиночета и Иран. Никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса вообще считался солидным покупателем. В 1983 году Бразилия продавала Никарагуа самолеты, подвергая таким образом опасности подписанную именно тогда мирную инициативу стран Контадорской группы. Британский Vickers и американская FMC совместно с китайцами разработали бронированный автомобиль для перевозки военнослужащих. Китайцы сразу же стали поставлять его в Иран. Иран, естественно, значится в списке стран, куда из США и Соединенного Королевства подобный экспорт запрещен. Китай также продавал бомбардировщики одновременно Ирану и Ираку, точно так же как Франция продавала оружие и Индии, и Пакистану во время последней войны между ними. А не так давно Китай занял четвертую строчку в списке поставщиков оружия в страны Третьего мира.

Ирано-иракская война — яркая иллюстрация того, как выглядят стандарты внешней политики в век оружейной экономики. Почти все осуждали эту войну. Но оружие то одной, то другой стороне продавали пятьдесят стран. Двадцать восемь из пятидесяти, включая Бразилию и Китай, продавали много, причем обеим враждующим сторонам. Советские ракеты «земля-земля» понравились обеим армиям. Иран, имевший американские истребители Ф-14 и сильно нуждавшийся в запасных частях для них, проводил переговоры с Ханое и скупал самолетные развалы, оставленные американцами во Вьетнаме. Планировалось разбирать старые самолеты на запчасти. Ирану действительно удалось удержать в воздухе десять своих Ф-14. Запчасти приходили и из Ханоя, и из Чили или от союзников США. Что касается Ирака, то его основными поставщиками (на

сумму примерно в 50 миллиардов долларов) были Советский Союз, Франция, Бразилия, Южная Африка и Китай²⁷.

Всякий раз, когда Польша и Румыния продавали боеприпасы никарагуанским контрастам, эти коммунистические поставки оплачивались долларами, которые поступали в качестве американской помощи. А сделка на 7 миллионов долларов 1984—1985 годов, когда китайское правительство продало никарагуанским контрастам ракеты «земля-воздух» и другое, менее важное вооружение, была проведена настолько гладко, что все ее участники, должно быть, чувствовали, что не несут никакой ответственности за связь между своими убеждениями и своими действиями. Эту сделку с контрастами финансировало правительство Тайваня²⁸.

Все эти списки и комбинации находятся в вопиющем противоречии со здравым смыслом. Само существование внешней политики они превращают в бессмыслицу.

Ясно одно. Наша безумная идея спасти экономику путем продажи вооружений стреляет нам в спину. Мы не только даем покупателям в долг слишком большие суммы, чтобы можно было получить прибыль. Мы делаем плохие вложения. Большинство государств-должников не может справиться даже с выплатой процентов.

Хуже того, правительства западных стран настолько щедро финансируют военную промышленность, что наши промышленники не хотят заниматься невоенными товарами. Во Франции правительство предоставляет военным кредиты на 85 процентов стоимости контракта с процентной ставкой менее чем 7 процентов, при том что коммерческие ставки всегда выше 10 процентов. В Соединенных Штатах под контракт программы торговли вооружением выдается стопроцентный кредит под 3 процента, с возвратом кредита через тридцать лет.

И все же из-за того, что в слишком многих местах собрано слишком много оружия, в большинстве западных стран появляется подозрение, что они неверно выбрали направление: они чрезмерно вооружают и своих нынешних врагов, и тех, кто может стать врагом в будущем.

После 1950 года поток вооружений в страны Третьего мира — или, ближе к нашему времени, внутри него — увеличился в среднем примерно на 10 процентов в год. В странах, являющихся потенциальными, но технически несостоятельными заказчиками, вооружения — это та часть бюджета, которая менее всего подвержена экономическому сдерживанию. Очевидно, что МВФ не заставляет их прекращать покупку вооружений до тех пор, пока все другие программы не сократятся до того, что превратятся в рваные лохмотья. Польша, к примеру, страна, которая не может купить бумагу, чтобы печатать книги, но свое возвращение в мир демократии отпраздновала тем, что заказала в Соединенных Штатах истребители.

Мы находимся между молотом экономики и наковальней моральных требований. Официальные лица, как назначенные, так и избранные, и правые, и левые, до смерти боятся говорить о том секторе экономики, который, согласно общепринятым понятиям, стоит между нами и экономическим коллапсом. Многие из них уверены, что производство вооружений — это камень, привязанный к нашей шее. Но такое мнение является еретическим и, следовательно, секретным. В результате оружие молча и угрюмо нависает над нашей экономикой, а общественность даже не знает, что об этом думать.

Любое неудачное действие оправдывается существованием некой необходимости. К сожалению, та необходимость, о которой мы говорим, является результатом сознательных действий, совершенных ранее. И следовательно, такое действие — не необходимость, а выбор результата, который неизбежен. Для общественности этот настораживающий факт обычно маскируется за декларативным лозунгом *государственной необходимости*, что само по себе выхолащивает идею об ответственности правительства.

А раз так, то, решая экономические проблемы, мы крутимся как белка в колесе, постоянно принимая одни и те же решения и получая один и тот же результат. В последнее десятилетие нас пощадили проблемы с поставкой основных ресурсов. Цены на нефть качнулись в нашу пользу. Во мно-

гих странах уровень правительственных услуг был сокращен, а система социального обеспечения частично отменена. И, несмотря на это, безработица в Европе выросла с 5,8 процента в 1980 году до 11 процентов в 1987-м. Затем она стала медленно снижаться, точнее, очень медленно. Уровень безработицы падал и в Соединенных Штатах, но это было связано, прежде всего, с тем, что занятость полного рабочего дня, с ее нормами в области безопасности и социальной защиты труда, сократилась за счет трудящихся, нанятых на неполный рабочий день и без социальной защиты. Все более часто такие новые вакансии оплачиваются на уровне черты бедности или даже ниже. К концу восьмидесятых годов статистические данные безработицы на Западе снова пошли вверх.

Доказать, что такое положение дел в экономике хоть как-то зависит от производства вооружений, невозможно. Но можно легко и четко установить, что именно производство вооружений сейчас является тем двигателем, который отвечает и за скорость, и за направление научно-технического прогресса на Западе. А также за промышленное производство, производство высокотехнологичной продукции и программы занятости населения.

Краткий анализ сводок министерства торговли США показывает, что от месяца к месяцу успех или неудача определяются оружейным бизнесом. Например, ноябрь 1986 года был для американской промышленности хорошим месяцем: рост составил 4,1 процента. Однако, если отбросить цифры по заказам на военное снаряжение, он составил бы всего 1,3 процента. Апрель 1987 года был плохим месяцем. Заказов было больше всего на 0,2 процента. И тем не менее, без военных заказов падение составило бы 0,2 процента. Итак, месяц за месяцем опытный глаз выхватывает цифры военных сводок, чтобы увидеть, как идут дела в экономике в целом.

В этом контексте стратегическая оборонная инициатива (СОИ) влияет на экономику даже больше, чем возгласы милитаристов. Даже программа президента или министра обороны не побеждает на военном фронте так убедительно. Вместо этого они вяло жуют старую жвачку из многовеко-

вого словаря националистов: «Наша деятельность в космосе — это, в какой-то мере, ответ на действия Советов, она опирается на тезис, что мы должны иметь свободный доступ в космос и свободно его использовать», — заявлял Каспар Уайнбергер²⁹. Питт Младший, вероятно, говорил нечто подобное Наполеону: «Наши действия на море — это, в какой-то мере, реакция на действия императора Франции, и они диктуются необходимостью иметь свободный выход в море и свободное его использование». Такое же мнение по этому вопросу, несомненно, было и у Уинстона Черчилля в 1914 году, и у Вудро Вильсона в 1917 году. И Пальмерстон в 1854 году, наверное, так говорил русскому царю: «Наши действия на Босфоре, в определенной мере, являются ответом на действия имперской России, они определяются тем, что нам нужен свободный доступ к этому проливу и свободное пользование им». Так же, наверное, было и тогда, когда Великобритания обратилась к вдовствующей императрице по вопросу доступа в Китай в 1890-х годах. Так же, наверное, разговаривал римский сенат с Карфагеном по поводу доступа в Северную Африку. Да, вероятно, кто угодно, так как формула Уайнбергера является извечным оправданием военного вмешательства, предпринимаемого по экономическим соображениям.

В действительности министр обороны говорил о том, что данные военные расходы недостаточно повлияют на экономику, если правительство не потратит больше бумаги для ее разогрева. И проконтролировать такой поток обязательств или старых облигаций было весьма хитрым делом. Вооружений стало продаваться меньше, так как появились новые производители и возросла конкуренция. Промышленности понадобилась новая, расширенная стратегия, причем такая запутанная, чтобы большая часть потенциальных конкурентов сразу отсеялась, а Соединенные Штаты и Запад в целом двинулись вперед. Само собой разумеется, что эта стратегия будет закручиваться вокруг оборонной тематики. Она станет новой версией военно-промышленной инициативы Кеннеди—Макнамары 1961 года. Действительно, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания проанализировали ре-

корд продаж, достигнутый опытом войны в Заливе, и убедились, что меньший объем оружия и меньше стран-участниц — пустая трата денег. Победить можно только с новыми технологиями.

И все-таки, когда западные экономисты с завистью и непониманием пытаются определить, в чем причина успеха японской экономики, они находят любой ответ, кроме самого очевидного: отсутствие доминирования индустрии вооружений. Это не означает, что японцы мудрее других. Просто в соответствии с правилами, установленными после Второй мировой войны, их не пускают в этот бизнес. После войны, чтобы не допустить сползания страны к милитаризму, ее расходы на оборону ограничились одним процентом от ВВП.

Эти правила и защитили японцев от гипнотической логики вдохновляемых милитаризмом исследований и внедренчества, от военного управления промышленными мощностями и определяемой военными экспортной политики. Конечно, их экономические успехи объясняются не только этим, но Япония — единственная из развитых стран, которая решительно избегает экономических кризисов и не имеет милитаризованной экономики. Это, по крайней мере, уж точно может служить одним из объяснений ее успешности.

Давление, которое Запад оказывает на Японию, заставляя ее возложить на себя ношу больших расходов на оборону и для этого участвовать в шоу, посвященном СОИ, показывает, как мало мы думаем о роли военной промышленности. Не совсем понятно, зачем нам привлекать Японию, если этот бизнес, как мы утверждаем, настолько успешен. Напрашивается ответ: затем, что если Япония присоединится к нам, то ее экономика ослабнет, как это уже случилось с нашей экономикой. Есть ли лучший способ справиться с японской экономикой, чем втянуть ее в саморазрушение? С другой стороны, общеизвестная конкурентоспособность японской продукции не оставляет сомнений в том, что Япония станет вести свою игру на нашем поле. Что останется Западу, с его острой необходимостью экспортировать вооружения, если все будут стремиться покупать японские танки и истребители?

Мы начали возлагать надежды на военную экономику, когда технократы сознательно стали решать проблемы бремени военных расходов с тех же позиций, как любые другие торгово-экономические проблемы, то есть с точки зрения выгоды и убытков. Такой подход, как они думали, заодно будет укреплять нашу внешнюю политику и усиливать нашу национальную независимость.

Главным доводом была экономика. Современное вооружение, убеждали они, обходится слишком дорого, чтобы производить его только для себя. За этим последовал рост его производства, а затем и экспорт излишков. Как писал генерал Мишель Фурке в свою бытность главой французского ведомства по продаже вооружений, мы должны *«принять как точку отсчета правило, что эта промышленность жива только экспортом»*³⁰. (Курсив Фурке.)

Три десятилетия спустя независимость каждого из вовлеченных государств не укрепились, а наши внешнеполитические принципы искажены. Мы погрязли в трясине экономического кризиса, которому скоро исполнится два десятилетия. Тому факту, что мы постоянно имеем проблемы, предлагается много объяснений. Но как нам избежать вопроса, а не могут ли быть в этом виноваты, хотя бы отчасти, те отрасли промышленности, которые занимали в этот период главенствующее положение. Ведь производству вооружений обеспечивалась огромная финансовая и экономическая поддержка, и она была более чем достаточной, чтобы любую жизнеспособную отрасль промышленности сделать успешной. И тридцатилетний период является достаточно продолжительным, чтобы правильно оценить любые экономические пропорции.

Если военная промышленность несет частичную ответственность за разбалансированность нашей экономики, то не в том ли причина, что оружие не является средством производства? Оно не может служить стимулом развития самодостаточной экономики, если неизвестна его реальная стоимость, его настоящие покупатели, невозможно рассчитать рентабельность инвестиций.

Что касается воспевания трюка с исчезновением средств, то, право, это смехотворно. Зачем нам связывать инвестиции

в промышленность и ее развитие с тем способом, который и неэффективен, и зависит от случая? Все это свидетельство того, насколько ошибочна наша рациональная система, а также того, что мы покорно приняли стратегию экономического развития, по сравнению с которой рулетка в Монте-Карло выглядит как вполне надежная вещь. Тем не менее, эта система уже приняла форму беличьего колеса, и никто не помнит, когда мы в него угодили, и не знает, как из него выбраться.

Оружие нельзя рассматривать как обычный продукт экономики, так как оно таковым не является. Оборона государства — одна из немногих священных обязанностей общества, такая же, как поддержание справедливости. Справедливостью не торгуют. Не продаются места в законодательном собрании. Не продается президентство и место премьер-министра. Не продаются военные звания. Не торгуют интересами своей страны. Все это — основы современного демократического государства. Само собой разумеется, что собственной обороной тоже не торгуют.

Оружие — неотъемлемая часть национальной обороны. Любой серьезный стратег со времен Сунь-цзы знает, что лучший способ защиты — это недопущение войны путем занятия положения стратегического лидера. Если это не удастся, следует стремиться, чтобы война была как можно более короткой, а материальный ущерб минимальным. Поэтому мудрое государство или альянс хранит оружие дома, чтобы сохранить преимущества, которые дает это оружие. Передача оружия кому бы то ни было недопустима.

Такая осторожность помогает государству избегать разрушительных войн, которые происходят снова и снова. А такие конфликты влекут за собой полную неразбериху и опасное нарушение международного военного равновесия.

К чему тогда аргумент, что современные вооружения слишком дороги и не окупаются, если производятся в малых количествах? Разве не большие объемы производства вооружений диктуют необходимость их экспорта? Логика заманчивая, но только уж слишком узко сфокусированная, хитроумная бухгалтерия заставила увидеть в вооружениях источ-

ник прибыли. Даже в классическом примере с истребителями «Мираж», если сложить реальную стоимость исследований и внедрения в производство, субсидии, иностранные займы для промышленных инвестиций и на обучение, вы обнаружите только колоссальные убытки. Колеса, однако, пряли пряжу. Деньги путешествовали по миру. Люди работали, а истребители производились.

Когда быстро и весело крутятся колеса, современные экономисты и управленцы легко проникаются иллюзией, что экономика развивается. Однако, может быть, стоит принять разумное решение и удалить производство вооружений из экономического сектора, передав его в сектор общественный, где ему и место. До 1914 года речь шла, практически, только о королевских и государственных арсеналах и судостроительных верфях. В таком контексте оружие можно и должно рассматривать вне всякой связи с финансовыми интересами. Оно является неизбежным и несчастным спутником государственности, и государство обязано нести за него прямую ответственность. Налогоплательщик платит налоги в любом случае. Так почему не отказаться от огромных дополнительных расходов, возникающих вследствие того, что мы притворяемся, будто оружие является средством производства, которое производится для рынка и покупателей?

Отчуждение западного гражданского сообщества от участия в своей собственной обороне — одна из самых запутанных драм последней четверти нашего века. Почему вдруг демократии решили, что они больше не могут позволить себе расходы на собственную оборону? Разве что-то столь радикально изменилось в историческом развитии государств? Или в экономических законах?

Фундаментально ничего не изменилось. Просто на общественное служение из таких мест, как автомобильная промышленность, явилась орда ушлых технократов. Их вера в свои новейшие методы управления заставила их поверить даже в то, что они смогут превратить оружие в средство производства и извлекать из обороны государства прибыль для правительства.

Нет ничего более захватывающего, чем алхимия. Каждый хотел бы верить, что у него хватит таланта, чтобы получить

золото из другого металла. Так и наш разумный подход в результате превратился в подобие алхимии. Оружие объявляется средством производства. Экономическая структура строится таким образом, чтобы укрепить то, что пока является не более чем предположением. Исходя из этого, экономикой управляют так, словно оружие изменилось по своей сути. И кажется, никому нет дела до того, что сама экономика с этой новой истиной не согласна. Построение системы закончено, и, следовательно, она сможет пережить любую неудачу. Мы уже имеем огромные структуры, жизнь которых зависит от того, как будет продаваться оружие.

А наши элиты перед лицом непрекращающихся экономических трудностей продолжают без устали повторять, что их система работает, продажа оружия создает рабочие места, зарабатывается валюта, оправдываются расходы на исследования и внедрение, стоимость внутренних заказов на оружие окупается, а сама продажа оружия является доказательством их влияния во внешней политике. Не имеет значения, что все это неправда. Наши элиты убеждены, что это должно быть правдой.

Такова современная риторика в действии. Появление экономики, зависимой от вооружений, ясно демонстрирует, каковы тенденции действий разума в его самой изощренной форме. Историческая и интеллектуальная эволюция от Макиавелли, Бэкона и Лойолы до Макнамары успешно завершилась. Мы получили совершенно замечательную элиту, которая отвечает на вопросы, а сама их не задает и которая зависит от существования системы. Секретность, государственный интерес, брак между разумом и национализмом, между отсутствием морали и исчезновением личной ответственности — все это типичные черты современных разумных подходов. В отсутствие механизмов реализации здравого смысла мы не способны представить, как можно изменить эту ситуацию.

Часть II

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ

Никогда еще неудачу не защищали так пылко, выдавая ее за победный успех. Частично, потому что кое-какой успех все-таки был. Частично, потому что цивилизация — не более чем система, которая не имеет ни памяти, ни формы.

Из-за нашего умения топить все что угодно в фактах все вдруг стало одновременно и истиной, и ложью.

Власть экспертов привела к тому, что успех не отличим от поражения.

Быстрые ответы и неоспоримые истины — хлеб рациональной цивилизации. Никаких попыток распознать в повторяющихся событиях именно повторение того, что уже было, не предпринимается из страха, что память может быть восстановлена.

Абсолютные истины таятся в самых простых наших привычках. Общепринятый анализ общественного начинается с правительства, переходит на военных, затем на экономику. Но Век Разума развил традиционно принятую последовательность, и теперь правительства шествуют следом за звуками военных фанфар.

Глава седьмая

ВОПРОС УБИЙСТВА

Война — это самое древнее и постоянное из искусств, если вы, конечно, не считаете таковым проституцию. Пока гражданское общество проходило через бесконечную чере-

ду радикальных реформ, война шествовала сквозь века, не изменяя своим принципам. Если выразаться точнее, принципы войны не изменились, но в корне изменилась ее структура.

Структурные изменения, введенные в восемнадцатом веке, породили огромную надежду. Казалось, что профессионализация офицерского корпуса отдалит войну от ее истоков: грязи и умения убивать. Новый разумный офицер будет вести быстрые и умелые войны. У великих полководцев всегда поддерживался необходимый баланс между воображением и тем, что мы назвали бы профессионализмом. Здесь под профессионализмом мы понимаем способность распоряжаться материальными ресурсами армии в реальной ситуации. Под воображением мы понимаем стратегию или врожденную гибкость ума, которая необходима, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу, удивить врага и, само собой разумеется, победить его. Нововведения начались в восемнадцатом веке и были направлены на то, чтобы на примерах великих полководцев создать основы профессионализма и стратегии. Тогда новый офицерский корпус в случае войны сможет уменьшить количество смертей и разрушений. Ясность самого процесса, казалось, обещала исчезновение «ненужных» войн. Трезвый анализ последствий военных действий не учитывал многих эмоциональных факторов, таких как предрассудки, личная гордость или амбиции, роль социального статуса, что, как тогда казалось, заставляет нас переступить черту, за которой начинается чистое насилие.

Вместо этого процесс заставил нас ходить по кругу, снова наступая в грязь, только еще чаще, и принес еще больше насилия, небывалого насилия. Более того, нет никаких признаков, что ужасный опыт, который мы пережили с 1914 по 1918 год, привел к важным реформам. Разумным войнам, похоже, недостает памяти, ими движет самоуверенность, они не видят цели и не знают, в каком направлении ее следует искать. Если говорить более конкретно, то природа профессиональных армий такова, что они стремятся поддерживать свою боевую готовность и в мирное время и иметь столько оружия, сколь-

ко его необходимо в военное время. Реальность оказалась гораздо практичнее теории: разумный подход обосновал перманентное состояние войны.

И из того века, и из девятнадцатого к нам поступали сигналы о парадоксальных последствиях всевластия военных. Наша риторика и конституция декларировали главенство гражданской власти. Казалось бы, система выборной и исполнительной власти это подтверждает. И тем не менее, портрет двадцатого века писали мощные, как никогда прежде, чисто военные авантюры, в количестве, которое невозможно было даже представить себе в эпоху абсолютных монархий. Мода на длительные авантюры пошла от Наполеона, и конца ей пока не видно. Армии продолжают играть ведущую роль в науке, государственном управлении и промышленности. И вместо того, чтобы осознать пагубность подобного положения дел, мы находим все новые способы делать вид, что ничего не происходит, по мере того как возрастает роль военных.

За последние два века высший командный состав получил в свои руки новые средства разрушения. Самое очевидное — новые виды вооружений. Но гораздо более значимо то, что произошла трансформация военной мифологии: ее традиционная опора на «славные победы» подменена чем-то запутанным, заставляющим безвольных и растерявших ориентиры генералов-технократов приравнивать свои неудачи к неким обрядам жертвоприношения. Такое понимание войны — не как последнего довода в споре, который, чисто теоретически, ведется с целью улучшения мирной жизни государства, а как двухголового монстра абстрактной методологии и очистительного кровопускания — и есть совершенно неожиданное дитя разума.

К несчастью, наши гражданские лидеры, мысленно, точнее, психологически отодвинувшие войну на второй план, явно оказываются безоружными, когда она становится реальностью нашей жизни. Наш разумный бред разоружил наше сознание, и это в то время, когда в мире физически присутствует война. Возможно, именно поэтому гражданское общество так быстро забывает, полностью

выбрасывает из памяти все достоверные воспоминания о происходившем насилии, словно желая убедить себя в том, что прошлое — это прошлое, а настоящее — совсем другое дело. Сегодня люди старательно, как никогда, закрывают глаза на тот бесспорный факт, что они сами совершают насилие, но всякий раз представляют его как нечто случайное или как событие, не вполне относящееся к насилию. И это происходит в середине самого жестокого века нашего тысячелетия.

В истории западной цивилизации еще не было такого, чтобы дикость так ее преследовала и в то же время так рьяно охраняла общество. Как бы то ни было, наша мифология в сфере научных открытий и философских аргументов, которую так стремятся представить социальной эволюцией, на самом деле была войной. Война прокладывала ей путь, и в двадцатом веке она продолжила свое дело. Даже наши технологические структуры появились во время модернизации вооруженных сил в Европе. Первого технократа произвела не ЭНА, не Свободная школа политических наук и не Гарвард. Он вышел из военной академии и был штабным офицером.

Вечный человеческий оптимизм, подпитанный после рациональной ампутации памяти, позволяет современному человеку отворачиваться от реальной хронологии прошедших событий и действовать так, словно будущее наступает как результат общественной инициативы. Может быть, нам необходимо верить, что все изменится. Но мы должны действовать так, чтобы перемены стали возможными. Оттого что мы не верим ни в реальность присутствия войны, ни в то, что нами руководят военные, сила воздействия этих фактов не снижается.

Одним из самых серьезных заблуждений второй половины двадцатого века является то, что мы живем в мирное время. Такое наше видение мира не столько ложное, сколько ложно сфокусированное. Запад скован наручниками ядерного мира, единственной альтернативой которому стало массовое, если не всеобщее уничтожение. Но создание ядерного оружия дало два не связанных между собой рыча-

га для управления войной и миром. На протяжении вот уже пятидесяти лет мы имеем ядерный мир, который постепенно сползает в новую разновидность обычной мировой войны. Но, фокусируя свое внимание на развитых странах, мы обманываем самих себя и полагаем, что живем в мире, который гарантирован международными договорами. Отсюда наше придуманное для самих себя определение того, что есть война.

В девятнадцатом веке война была тем, в чем с обеих сторон были заняты люди белой расы. Если по ту сторону фронта были не белые — говорилось о военной экспедиции. А уж если белые в конфликте не участвовали, значит, и войны-то никакой не было. Считалось, что это межплеменной конфликт — пища для любопытного, даже, скорее, оригинального ума. Конфликты между колониальными державами также рассматривались как второстепенные, если, конечно, они не угрожали самим метрополиям.

Так, инцидент между Австрией и Пруссией, когда погибли примерно тысяча человек, был войной. Конфликт в Судане между британцами и Махди, в котором жертв было на порядок больше, считался всего лишь экспедицией. Такой подход и позволил нам думать, что вторая половина девятнадцатого века — это долгий период мирного времени.

Именно этот способ мышления до сих пор верно служит нам и позволяет решительно не замечать насилия, которого так много за пределами западного мира. Действительно, восемнадцать развитых стран живут в мире между собой. Они даже умудрились на протяжении почти полувека не напасть на своего главного соперника: Советский Союз. А теперь распад советского блока, а затем и самого Союза подтолкнул нас провозгласить, что наступила новая, недолгая эпоха и новый мировой порядок. Теперь принято считать, что с окончанием «холодной войны» опасность ядерной войны также ушла в прошлое. Однако подтверждений правильности такой точки зрения нет. Мы не знаем, в каком состоянии — географическом, политическом, в конце концов, идеологическом — окажется бывший Советский Союз. Ядерные и обычные вооружения с обеих сторон как были, так и оста-

лись. Государства Восточной Европы частично восприняли демократическое устройство и либеральные ценности, частично — не восприняли их. Быть может, лет через десять обстановка прояснится.

А тем временем нестабильность повышает риск войны и поощряет военные авантюры. Запад, так же как и остальной мир, попал в тиски общей нестабильности, какой со времен Второй мировой войны еще не было. Прямым ее следствием стало то, что военное насилие, которое в течение последних сорока лет постоянно распространялось за пределами западного мира, сейчас расползается со скоростью раковой опухоли. Иными словами, недавние события поощрили продолжение войны, не устранив противоречий продолжающегося ядерного мира. Боевые действия, сопровождающие такой «мир», ведутся при помощи обычных вооружений, но распространены они гораздо шире и контролируются хуже, чем когда бы то ни было.

Период пятидесятих—шестидесятих годов, когда распались европейские колониальные империи, казалось, угрожал нашему иллюзорному спокойствию. Тогда был найден ряд решений, и волнения улеглись. По всему миру возникли национальные государства, созданные по европейскому образцу. Для территорий от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии ООН изобрела миротворческие силы, целью создания которых было не разрешение конфликтов, а замораживание их в стадии бесконечного полуконфликта.

В ту пору вмешательство Генерального секретаря ООН и миротворческих сил, по крайней мере, предполагало, что ситуация находится под контролем. Сейчас идет столько войн, что ООН физически может вмешаться только в те из них, которые на Западе считаются модными. Миротворцев используют редко. Конфликтов так много, что даже международное политическое вмешательство является роскошью, доступной только на короткий период.

Такая терпимость к высокому уровню насилия, происходящему на планете, считается нормальной составляющей мирного времени, как его понимают на Западе, и не только в

ООН. Большинство организаций — и общемировых, и западного сообщества, а также региональных, таких как Организация африканского единства, — согласны с тем, что мировой процесс идет именно таким образом. Без оглушительного треска, а лишь с хныканьем и всхлипываниями.

Когда в 1973 году начался нынешний экономический кризис, на планете происходило лишь несколько конфликтов. К 1980 году их было примерно тридцать, сегодня — более сорока. Статистика утверждает, что каждый день на планете гибнет примерно тысяча солдат¹. Точные данные со всех театров боевых действий собрать невозможно, поэтому приводится эта, скорее всего, заниженная цифра. Сколько человек гибнет в камбоджийской глубинке? В Эритрее? В Шанском национальном государстве в Бирме? Достоверно никто не знает. Тысяча трупов в день, примерно столько французских солдат гибли ежедневно на фронтах Первой мировой войны². Тот конфликт продолжался всего пять лет. Ныне такая статистика с нами уже более десяти лет. Плюс к этому, в результате прямого и косвенного военного воздействия ежедневно погибает пять тысяч человек гражданского населения. В итоге за последнее десятилетие погибло три с половиной миллиона солдат и двадцать миллионов гражданских лиц. В это число не включены жертвы случаев массовой резни, как, например, в Камбодже.

Иными словами, война сейчас идет в большей части мира. Только мы — незначительное меньшинство — ею не затронуты. Мы — исключение, а не правило. Но и мы и прямо, и косвенно вовлечены в эту цепь насилия, даже если количество погибших на нашем пространстве ограничивается жертвами террористических актов, региональных конфликтов, таких как конфликты в Северной Ирландии и на Корсике, и возросшим уровнем организованной преступности. Сорок жертв в месяц дают гангстерские войны в Вашингтоне, еще сорок в Лос-Анджелесе, и их нельзя сбрасывать со счетов, думая, что это обычные преступления или проявления жадности.

Конечно, наши цифры выглядят бледно на фоне тысячи или пяти тысяч погибших в день. Поэтому наше сознание их фиксирует отдельно. Там цифры слишком высоки. Их трупы

принадлежат другой цивилизации. Они не наши. Время от времени мы обращаем внимание на их катастрофы. Это случается, когда нужна своя — западная — точка зрения. Например, на захват заложников или при вовлеченности гуманитарных организаций Запада. Или при получении новостей от Гордона, хулиганистого христианского борца с рабством в Хартуме, или от современного сторонника крестовых походов, журналиста за линией фронта моджахедов, или от юного доктора из организации Врачи без границ. Связь с ними работает без сбоев.

Очень поздно и совсем на короткое время нам удалось сосредоточить внимание на массовой резне в Камбодже. Мы также вполглаза увидели вызванный войной голод миллионов эфиопов. Конечно, нам представлялось, что это два отдельных острова. Не было даже намека на то, что рядом живущие народы: карены, народности тайской группы на границе с Таиландом — также затронуты катастрофой, равно как суданцы и сомалийцы. Нам не показывали, что эти люди тоже или воюют, или умирают, а бывает, что и то и другое. Глаз уловил только голодающих эфиопов и замученных до смерти камбоджийцев. В 1991 году мы только краем глаза заметили подавленное восстание иракских курдов, и то потому, что там оказались западные войска и журналисты. Трагические фотографии сопровождались сообщениями, что в день погибало от пятисот до двух тысяч гражданского населения. Но такие же цифры ежедневных смертей в Сомали и Судане уже долгое время были явью, и интереса на Западе не вызывали, за исключением того, что время от времени появлялись серьезные журнальные публикации.

Эта способность сфокусировать внимание на войне, о которой в данный момент говорить модно, по окончании такого конфликта дает нам возможность притворяться, что на планете опять наступил мир. Так было, например, в августе 1988 года, когда русские ушли из Афганистана, а в ирано-иракской войне было объявлено о прекращении огня. Война в Афганистане была для нас модной войной, так как демонстрировала, что Советам приходится не сладко. Ирано-иракская резня к этому времени продолжалась уже

несколько лет, и о ней стали опять в общих чертах говорить в связи с тем, что военно-морские силы Запада вторглись в Залив. К тому времени уровень смертности вследствие насилия был уже не так высок. Обе войны закончились, и западные лидеры и журналисты объявили, что планета отходит от опасной кромки насилия. То есть наступил сезон мира.

В течение одной недели в Бирме после еще одного военного переворота расстреляли три или пять тысяч человек; не менее пяти тысяч было вырезано в Бурунди; после того как из засады убили несколько активистов ИРА, в Ирландии взорвалось несколько бомб, убив несколько человек как гражданских, так и военных; был взорван самолет, в котором летел президент Пакистана вместе со всем своим сопровождением и генералами, а также американским послом; несколько смертей в бунтах в Чили; вспышка насилия в Гаити; серьезная схватка между марокканцами и партизанами фронта ПОЛИСАРИО за контроль над Рио-де-Оро, самой пустынной частью Сахары; ирано-иракское перемирие и последовавший за ним рейд иракской армии по восставшим курдским провинциям. Сто тысяч курдских беженцев бежали в Турцию. Руководители восстания были окружены и уничтожены. Поскольку там не было западного присутствия, то и внимание этому было уделено минимальное, несмотря на то что против гражданского населения применялось химическое оружие.

Даже в Афганистане, который теоретически нежится в мире, произошло уже несколько бунтов, в которых погибли десятки людей, что привело к возобновлению войны. То, что мы называем миром в Афганистане, означает только то, что в военных действиях больше не участвуют солдаты с белой кожей. Мы упоминаем только те конфликты, о которых модно писать репортажи. В таких репортажах не прочтешь о ежедневных жертвах целой серии длящихся и длящихся войн от Камбоджи и Филиппин до Ливана, о других курдских территориях, еще не упомянутых мною, о Намибии, Анголе, большинстве центральноафриканских стран, Колумбии и так далее. Любопытно отметить, что ни один политик или журна-

лист в конце недели не объявлял, что то самое лето 1988 года мирным все-таки не было.

Даже сама атомная бомба в контексте войны рассматривается так же двояко: с одной стороны есть «настоящая» (западная) версия, противопоставленная «воображаемой» (не западной) версии. В течение десятилетий нас страшно волновала — и вполне справедливо — ядерная гонка, а еще сильнее — все более сложные поколения ракет, системы противоракетной обороны и разделяющихся боеголовок, что привело нас туда, где мы сейчас и находимся: к гонке ядерных вооружений в космическом пространстве. Поэтому постепенное ослабление напряженности между Востоком и Западом в течение последних нескольких лет воспринималось с чувством громадного облегчения. Но ведь очень большого риска, что Советы или американцы, французы или британцы применяют ядерное оружие, никогда и не существовало.

Практическим следствием такого хода событий стало то, что ядерное оружие расплзлось по всей планете: Индия, Пакистан, Израиль, Египет, Южная Африка, быть может, Ливия. Даже Ирак, может быть, до сих пор остается в числе тех, кто способен производить ядерное оружие. Ни одна из перечисленных стран не имеет сложных систем доставки. Да они им и не нужны, поскольку ни на Вашингтон, ни на Москву они нападать не собираются. Они также, в отличие от ядерных сил Запада, не ограничены сверхсильными, хитроумными схемами взаимного сдерживания со своими врагами. Следовательно, они смогут с успехом использовать их, не вызвав взаимного уничтожения. Иными словами, громадные ядерные арсеналы Запада почти иллюзорны, а настоящее ядерное оружие находится вне нашего контроля, в невидимом мире, где постоянно идет война с тяжкими ежедневными жертвоприношениями.

При нашей близорукости наш разум пребывает в состоянии искусственного мира. Близорукость лишает нас необходимых средств, чтобы иметь дело с силами, находящимися рядом с нами и сталкивающимися между собой. Мы можем

развернуть нашу военную машину только на полную мощность. Иначе говоря, наша стратегия состоит в том, чтобы нанести удар такой мощи, что последствия будет невозможно оценить. Но войны, которые настолько сильно все дестабилизируют, что на фоне всеобщего разорения остаются лишь крошечные островки порядка, не могут считаться победными. Наш принцип «все или ничего» также затушевывает тот факт, что независимо от того, ведутся боевые действия или нет, войны у нас все равно идут, и в них — в контексте национального государства западного типа — сталкиваются наши экономики и наши вооружения. Наше воображение этих войн не улавливает, но они идут, и нет никаких реальных барьеров, которыми мы можем отгородиться от применяемого в них насилия.

Только когда случаются нападения террористов на наших граждан, мы, наконец, замечаем жестокость и начинаем осматриваться. Но моменты, когда наше сознание фокусируется на этом, редки и, как правило, длятся не более недели. Если за десятилетие количество террористических актов возросло со 175 до тысячи в год, то значит, все более высокие волны насилия, зарождаясь за пределами Запада, разбиваются о наши берега. Но что значит тысяча терактов в год или тысяча смертей в год? Пустяк по сравнению с тем, что шесть тысяч солдат и гражданских лиц гибнут в других местах ежедневно.

Если бы не телевидение, мы бы даже не заметили сорока восьми часов бездны, произведенных бомбой в Париже или Лондоне. Когда в центре города взрывается семь килограммов динамита, через два квартала звук взрыва уже не слышен. Когда это случилось в 1986 году в Латинском квартале Парижа — в районе, битком набитом кинотеатрами, барами и ресторанами, — десятки тысяч счастливых людей продолжали есть, пить и стоять в очереди за билетами на романтический или политический фильм, даже не догадываясь, что всего в нескольких метрах от них 150 человек лежат на асфальте мертвые, истекающие кровью и искалеченные. А поскольку лишь немногие из тех, кто развлекался, попали домой к выпуску вечерних новостей, то только тех, кого там не было,

удалось заставить раньше следующего утра узнать, что что-то произошло.

Современный терроризм — это событие для средств массовой информации, если не считать того, что еще оно является событием для нескольких жертв. Людей убивают не для того, чтобы кого-то проучить. Эти жертвы нужны для того, чтобы создать сценарий для фильма и дать материалы в газету, которая обобщит частные случаи, и, таким образом, событие станет политическим. И все-таки даже эти небольшие потоки крови напоминают нам о неприемлемости насилия, которое сопровождает современные войны. В этом смысле у нас совсем другие перспективы — не те, что последовали после семнадцатого и даже восемнадцатого века. Когда Мирабо выступал в Авиньоне, еще в начале французской революции, он предупредил, что характер «национальных войн» изменит само понятие войны: «Наш век будет веком войн, гораздо более честолюбивых, гораздо более варварских, чем это было в прошлом»³.

Сегодня мы стремимся объяснить такое варварство, используя изречения Клаузевица: «Для объяснения философии войны принцип умеренности абсурден: война — акт насилия, доведенного до крайности». Но Клаузевиц был простодушным наблюдателем. Насилие вырвалось из своих традиционных рамок задолго до того, как он начал писать. Если бы это было не так, он бы это оспаривал в связи с опустошительными Наполеоновскими войнами, свидетелем которых он был на протяжении двадцати лет. Его изречение о войне вырвано из контекста и представлено как оправдание насилия. На самом деле его слова лишь подтверждали справедливость его позиции в других, столь же сильных и порой спорных выражениях. Этот трудный для понимания аргумент он привел, чтобы не произносить избитых истин. Теория Клаузевица, как указывал английский стратег Базиль Лиддел Гарт, была «слишком абстрактной, предназначенной для того, чтобы ей следовали прямолинейные умы военных»⁴. К тому же ее упростили и использовали Клаузевица для оправдания своего стремления вести абсолютную войну. Мирабо отлично понимал, что случится, если власть захватят силы разума. За тор-

говыми войнами последовали войны династические, и те и другие велись при полном непонимании государственных дел и положения населения, к тому же при полном безразличии к ним. И до того момента, как война выходила за рамки профессии и касалась гражданского населения, она редко покидала свои границы по иной причине, чем стремление солдата удовлетворить свои личные потребности, которые в обобщенном виде сводятся к сексу, еде и деньгам. Но это были войны элит. Национальные войны, о которых писал Мирабо, это войны народов. Он, да и мы считали, что первопричиной тотальных войн стало образование национальных государств. Национальное государство, разумеется, играло свою роль, но прежде всего в плане возникновения нового класса офицеров-профессионалов, которые понимали стратегию как абстракцию, а войну — как грубый инструмент.

Этот офицерский класс был создан для упразднения деспотической власти и непрофессионализма аристократа-военного. Солдат-профессионал должен был стать служащим государства, что покончило бы с традицией, когда государство регулярно оказывалось в заложниках удачливых генералов. Послушный офицер-профессионал будет лучшим исполнителем на государственных войнах. К сожалению, определение, которое касалось неограниченных войн, подразумевало, что военное руководство сохранится и будет послушно воевать, пока у него есть оружие и живые рекруты. Теоретически офицер больше не являлся инициатором войны, но одновременно он больше не являл собой и сдерживающего начала. Он исполнял приказы, а ключевые функции управления переходили к политическому лидеру. Опыт девятнадцатого века, однако, показал, что гражданские власти всегда оказываются не способными принимать на себя ответственность в большей мере, чем предшествовавшие им солдаты и монархи. Случаи беспричинной резни, впервые устроенные в двадцатом веке как военными, так и гражданскими, и есть показатель этой неспособности.

Две с половиной тысячи лет назад китайский стратег Сунь-цзы так начал изложение своей теории войны: «Война — это великое дело для государства... Это нужно понять»⁵.

А в наши дни вне профессиональных армейских кругов и в отсутствие модного кризиса о войне или вообще не говорят, так как это личные и ностальгические воспоминания, или ведут острые политические дискуссии, в которых высказываются позиции черных и белых. Это не то, что является предметом тщательного рассмотрения, как часть жизни гражданского общества. Райт Миллс был, наверное, первым, кто признал существование нарастающей дихотомии между неконтролируемым насилием и отказом общественности обратить на это внимание. В середине пятидесятых годов он писал: «Везде и повсюду военщина вновь завоевывает свои былые позиции. Везде и повсюду реальная действительность воспринимается под углом зрения ее философии»⁶. По своим взглядам Миллс близок к марксистам, и это мешает ему понять причины происходящего, но тенденцию он уловил правильно.

Сегодня, когда политики во всем мире творят насилие, они делают это, решая какие-то текущие задачи. Администрация Рейгана, например, бесконечно повторяла, что в мире идет сорок две войны и все они спровоцированы амбициями Советов. Это стало аргументом в пользу увеличения расходов на оборону. Но в действительности большинство военных конфликтов не имеет ничего общего ни с капитализмом, ни с коммунизмом, ни с какой-либо другой западной идеологией. К примеру, никогда не выяснится, как отнеслись бы кочевники Сахары к диктатуре пролетариата или как крестьяне-буддисты, выращивающие рис, могли быть связаны с конкуренцией частных собственников и рынком. Такой взгляд на мир настолько надуман, что, когда наш потенциальный партнер из страны Третьего мира становится нам неудобен, мы без всякого труда меняем полюса, как мы несколько раз проделывали это с Китаем. С Эфиопией-Сомали. С Ираком. С Египтом. Даже с Камбоджей.

Наш откровенно надуманный подход к решению международных конфликтов убедил наших граждан, что ни они, ни их политические лидеры не понимают механизма этих конфликтов и, стало быть, не знают, как их контролировать. В результате возникла малопонятная, низкопробная всеобщая истерия. Некоторые аналитики объясняют ее сублимирован-

ным страхом перед грядущей опасностью. Правых, например, зеленых или сторонников одностороннего разоружения они обвиняют в создании идеалистических движений, предлагающих радикальные решения сложных проблем⁷. На самом деле истерия приняла аполитичные формы. Психоз вокруг бомбоубежищ в Соединенных Штатах был лишь одним из первых примеров.

Ближе к нашему времени Запад разразился радостными аплодисментами, когда сначала в Бирме, а затем и в Китае появились признаки перемен к лучшему. Все увидели, что демократия и капитализм могут победить, не вступая для этого в войну. По своей природе эта радость была нервической, что было видно по нашим мрачно-растерянными лицам, когда где-то появлялись правительственные войска и открывали огонь. Вместо того чтобы выждать и попытаться совладать с собственной растерянностью, мы открыли новую упаковку восторгов, на этот раз по поводу либерализации в Восточной Европе. Когда оказалось, что плоды либерализации — националистическое насилие и экономический коллапс, мы рванулись спасать абсолютную монархию в Кувейте, как будто именно за ее счет можно было решить проблемы, возникшие в Восточной Европе. Затем мы опять бросились давать подробные бесплатные советы, как надлежит Советам разбираться у себя дома. Конфликт с Ираком, как бы там ни развивались события, на Западе разворачивался под звуки веселого патриотизма и истерических преувеличений, которые мы слышали из уст глав правительств и генералов. Общественные прения сводились к противопоставлению добра злу, а мужчин — юношам. Иными словами, уровень вразумительного в дебатах держался не выше ура-патриотизма девятнадцатого века. Гражданское общество было либо пассивным, либо активно участвовало в дебатах, что демонстрирует уровень растерянности внутри нашего сложного общества.

Например, по совсем другому вопросу более 70 процентов французов ответили, что они за то, чтобы иметь собственные ядерные силы — силы сдерживания. Более 70 процентов также ответили, что они против их применения, даже в крайнем случае⁸. Складывается впечатление, что они уповают на то,

что кризисами можно управлять — одним за другим. Но эта вера в управляемость и есть самая опасная вера. За исключением только того, что мы можем избежать ядерной войны, мы совершенно не способны управлять современными военными кризисами. Мы не только сделали бессмысленным развитие ядерного оружия, но и обычные наши армии, как представляется, готовятся к таким войнам, которых никогда не будет, и в то же время терпят поражение в большинстве тех войн, куда их посылают побеждать.

Если пока не говорить об Ираке, то американская армия после 1945 года войн не выигрывала. За исключением высадки Макартура в корейском Инчхоне, она даже не побеждала ни в одном значительном конфликте. Две другие западные интервенционистские армии — Великобритании и Франции — выглядят несколько лучше. Британцы могут считать важной свою победу в Малайе в 1950-х годах, а французы — в нескольких конфликтах в Африке. Даже принятая стратегия профессиональных армий, ориентированная на попытку задавить всех врагов массой, во многих случаях оказывалась проигрышной. А когда успех все-таки достигался, то все выходило столь запутанно, что в результате создавалось столько же проблем, сколько их было решено ранее.

Такие неудачи самых больших, самых тренированных и лучше всех вооруженных армий в истории могли бы заставить общественность задуматься и пересмотреть принципы организации военного давления. К слову сказать, в таком контексте неудивительно, что структуры современного государства лишают избирателей чувства политической ответственности, в том числе по вопросам точного и беспристрастного контроля над военной машиной. Громадное большинство граждан, а также большинство избранных ими депутатов и министров не верят, что наши собственные армии жизненно важны как для них самих, так и для жизни всего общества. Многим просто все равно.

Но ведь ни одна цивилизация не может не замечать механизмов насилия. То, что наши армии не умеют воевать с небольшими партизанскими соединениями, не означает, что сама военная организация устарела. Это означает, что наша

военная организация для этого не подходит. Отказ решать вопрос силой, потому что мы просто не хотим использовать силу, оставляет нас беззащитными перед теми, кто может использовать силу против нас.

Глава восьмая

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СМЕРТЬ

С тех пор как Сунь-цзы написал свою небольшую инструкцию для военных в 500 году до н. э., о войне не было сказано ничего существенно нового. На Западе этой инструкции не знали вплоть до второй половины восемнадцатого века, когда она была переведена на французский язык. Высказанные в ней идеи сразу же повлияли на новое рационалистическое видение французской военной мысли.

Гений Сунь-цзы был столь масштабен, что даже Бонапарт по сравнению с ним не более чем генерал, то есть человек, способный решать задачи только путем сражений. А Сунь-цзы считал, что «...тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую армию, не сражаясь; берет чужие крепости, не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа свое войско долго. Он обязательно сохраняет все в целости. ... Это и есть правило стратегического нападения»¹. Понятно, что он говорил не о той наступательной стратегии, как позднее ее понимали командующие Первой мировой войны или люди, задумавшие иракскую кампанию 1991 года, когда за шестьдесятю днями интенсивных массированных бомбардировок последовали пожары на нефтепромыслах и межэтнические столкновения.

Когда идеи Сунь-цзы окончательно переварили, стали меньше удивляться тому, что сама по себе численность армии преимущества не дает, армией нужно правильно командовать: «...На войне слышали об успехе при быстроте... и не видели еще успеха при продолжительности... Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству». Современный генерал, этаким современ-

ный Герой, эту часть урока усвоить не смог. Чем величественнее гений, чем величественнее победы, тем больше генерал сражается. Один из первых последователей Сунь-цзы писал: «Война — это огонь, и те, кто не отложит оружие в сторону, станут топливом для нее». Практичность стратегии Сунь-цзы в том, что и сегодня она злободневна так же, как тогда при дворах китайских правителей: «...Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости». В связи с этим вспоминаются ранние идеи Мао. Еще более важно то, что это заставляет вспомнить о стратегических бомбардировках городов — как Германией, так и союзниками, — которые не принесли успеха. Такую же стратегию разрушения применяли во Вьетнаме, она занимает центральное место и в ядерной доктрине. Иногда воспроизведенные слово в слово фразы Сунь-цзы встречаются в теоретических трудах Лиддел Гарта и Мао. Когда слышишь их впервые, они почему-то кажутся знакомыми: «Форма у войска подобна воде: форма у воды — избегать высоты и стремиться вниз; форма у войска — избегать полноты и ударять по пустоте». «...Тот, кто предпринимает движение по... обходному пути, отвлекает противника выгодой...» «В войне самое главное — быстрота»².

Он все время подчеркивает, что военачальники не должны пользоваться установленными правилами и фиксированными линиями. Скорее, они должны опираться на несколько истин, которые, если они находятся в распоряжении компетентного руководителя, превратятся в тысячи отдельных действий: «Тонов не более пяти, но изменений этих тонов всех и слышать невозможно»³.

Зная о массовых кровопролитиях нашего века и о полувекковой истории свинцово-ядерной стратегии, некоторые склонны рассматривать Сунь-цзы как идеалиста. Но внимательный читатель, сознательно или бессознательно, отметит для себя, что Сунь-цзы присутствует в действиях и словах любого современного командующего. Наполеон постоянно прислушивался к его секретам военного искусства, «которые заменяли мне сто тысяч солдат, которых мне не хватало.

Имеет значение не множество людей, но один человек». Именно эта идеология позволила ему связать в единый клубок множество армий: «Я был слишком слаб, чтобы защищаться, поэтому я атаковал»⁴. Лиддел Гарт, возможно величайший стратег нашего века, обнаружил, что повторяет принципы Сунь-цзы: «Одной из глубочайших истин войны является та, что исход битвы обычно решается умами противоборствующих командующих, а не телами их солдат»⁵. Он постоянно высмеивал «официального Клаузевица». Утверждение, что «война — это продолжение политики, только другими средствами, стало назойливой и потому опасной фразой. С одинаковой уверенностью мы можем сказать, что война — это банкротство политики»⁶. А Шарль де Голль в своем первом большом военном трактате «Лезвие меча» писал: «Если не считать некоторых основных принципов, в войне нет никакой универсальной системы, только складывающиеся обстоятельства и личности»⁷.

Согласно учению Сунь-цзы главное — гибкость ума, подвижность, скорость, а также сведение к минимуму насилия и разрушений. Важнейший элемент — совершенное и вместе с тем непредсказуемое видение командующего. Успех он определял как решение проблемы. В упрощенном виде генералов можно разделить на две категории. Одни — это потомки Сунь-цзы, которых можно назвать компетентными. Всех остальных можно объединить в другую категорию: серость, некомпетентность, бюрократизм, безынициативность, жертвы обстоятельств и те, кто бессмысленно сеет смерть в собственном лагере или в лагере противника.

Первые три западных военачальника, освоившие новые приемы ведения подвижной войны, продемонстрировали их превосходство настолько совершенным образом, что это стало образцом для всех последующих одаренных творческим началом командующих. Герцог Мальборо и принц Евгений (Савойский) не много смыслили в организации. Это были простые солдаты, которые считали, что сложившиеся на Западе приемы ведения войны неприемлемы и не учитывают принципов линейной стратегии. Вместо этого они в начале

восемнадцатого века совсем не по-джентельменски гоняли по Европе и тащили за собой свои армии, ставя в тупик военачальников Людовика XIV, которые полагали, что неприятеля рядом нет. Позднее фактор скорости задействовал Фридрих Великий. Но ему по наследству досталось одно из первых бюрократических государств, и именно на его основе он создал профессиональную армию, в которой не было необученных добровольцев и купцов. Несмотря на свои специфические псевдофилософские отношения с Вольтером, он был абсолютным монархом настолько, насколько это позволяли обстоятельства. Он использовал свою бюрократию для укрепления своей власти. Это был первый образец диктатора технократического толка двадцатого века, в то время как Мальборо и принц Евгений были джокерами в колоде, и в том же веке стали бы солдатами, такими как американец Джордж Паттон и немец Хайнц Гудериан, руководивший танковым рейдом по Франции в мае 1940 года.

Именно эти три личности прорыли канал, по которому хлынуло наводнение разума. Сила желания тех, кто применял разум в военных целях, была восхитительной. Они испытывали отвращение оттого, что им приходилось воевать в непрофессиональной армии и выполнять приказы необученных военному делу аристократов, среди которых были и болтливые герцоги, и пустоголовые дети. Этим апостолам разума самим приходилось, когда они были молодыми офицерами, действовать на полях сражений, где их буквально калечили неуклюжие, громоздкие официальные военные доктрины и тактические приемы того времени, тогда как Фридрих унижал их и расстреливал каждого десятого. Но вместо того, чтобы закоснеть или впасть в депрессию, они почувствовали, что есть другой путь. И состоит он в том, чтобы использовать силу человеческого разума.

Маркиз де Бурсе начал с того, что создал штабное училище — первое в мире — в Гренобле, а в 1764 году написал «Принципы войны в горах». Это учебное заведение было больше, чем первый штабной колледж. Это вообще была первая современная школа управления. Мы хотим сказать, что военные начали готовить технократов за век до того, как

по этому пути пошли управленцы из правительства, и за 150 лет до того, как появилась первая школа бизнеса. Что касается книги де Бурсе «Принципы войны в горах», то она оказала огромное влияние на Бонапарта и вдохновила его самую блестящую кампанию — итальянскую.

За Бурсе быстро последовали еще три французских генерала: Сен-Жермен, Грибоваль и Гибер. Граф де Сен-Жермен был радикальным министром обороны. Его то назначали, то снимали с должности, так как он воевал то против интриганов в суде, то с оппозицией в военном истеблишменте. Хотя он и сам был аристократом, но поставил перед собой цель заменить армию классового типа на армию, руководимую профессиональными военными. Жан-Батист де Грибоваль стал первым генералом, который помог Сен-Жермену осуществить такую замену. Созданная им современная артиллерия стала основой артиллерии Наполеона, которую считают детищем только Бонапарта. На самом деле Наполеон просто блестяще использовал механизм, доставшийся ему по наследству. За Грибовалем пришел граф де Гибер, который связал идею профессионализма с рационализмом и стратегией. В 1773 году он опубликовал книгу «Общие принципы тактики», которая сразу же стала настольным пособием. Он изложил принципы ведения подвижной войны. Его дважды приглашали на работу в министерство Сен-Жермена. В оба периода своей службы в министерстве он заложил основы современной армии, которая затем служила и революционерам, и Бонапарту. И оба периода своей службы в министерстве его постоянно третировали.

Первый раз он проработал в министерстве два года. Он так разъярил военный истеблишмент, что его на десять лет отослали на полковую службу. В течение своей десятилетней ссылки он много думал и писал. Его амбиции простирались до того, что он хотел уравнивать хорошую солдатскую службу с нравственным служением. Именно такую связь он продемонстрировал в своей книге «Похвала канцлеру Мишелю Лопиталю». Лопиталь стал путеводной звездой для тех, кто выбрал путь честного служения в шестнадцатом веке, когда он, будучи главой правительства, пытался остановить рели-

гиозные войны, терзавшие Францию на протяжении уже двух веков. «Похвала» Гибера конечно же была атакой, принятой против двора Людовика XVI. Нападение было не слишком скрытым, и успех последовал сразу же, да такой, что Гибер стал членом Французской академии.

Это был единственный период в истории Академии, когда она способствовала не установлению власти, а ее смене. Церемония принятия Гибера запала в память присутствовавших своей зрелищностью, и стала первым появлением на публике той власти, которую просвещенные круги предчувствовали еще в 1786 году. Одна церемония сделала Гибера звездой интеллектуальной жизни Парижа и послужила толчком к тому, что через год его опять пригласили в министерство. И вновь придворные не давали ходу многому из того, что он пытался делать.

То, что он увязывал военный профессионализм и стратегию с разумом и моралью, создало громадную проблему выбора, которая существует и по сей день. Раз так, то почему бы этой проблеме не стать предметом обсуждения в ее чистом и безусловном виде? Ведь существует замечательное единство событий, которые впервые принесли идею подвижной войны в современную историю Запада, а затем легли в основу двух типов стратегии. Одна предназначалась для генералов, которые пытались оперировать большими армиями. Другая отвергала формальный стиль ведения войны. Это то, что сейчас известно как партизанская война. Но обе эти стратегии в большой мере обязаны существованию проблем, связанных с защитой или разгромом корсиканской республики Паскаля Паоли.

Корсиканец по рождению, Бонапарт вырос в окружении людей, которые для борьбы с европейскими армиями использовали партизанские методы. Его отец был одним из старших офицеров Паоли и сражался за первую корсиканскую республику до ее гибели при Понте-Нуово. Армия Паоли использовала *маккию*, холмистую местность, поросшую жестким труднопроходимым кустарником, это было их основным преимуществом. Такую же роль позднее будут играть джунгли. Такая стратегия была для французов настолько не-

обычной, что из слова «маккия» они образовали термин «маки», слово, обозначающее способ боевых действий, применяемый партизанами. Тем не менее, француз граф де Гибер был единственным офицером, который извлек из этой тактики практические выводы, чтобы трепать большую французскую регулярную армию набегами маленькой, почти невидимой, корсиканской армии. Тогда он был молодым офицером и командовал группой корсиканских ополченцев, сражавшихся на стороне Франции против республики Паоли. В сражении при Понте-Нуово Гибер командовал подразделением, которое захватило мост, от этой операции зависела судьба острова. Когда он писал свои «Общие принципы тактики», в значительной мере навеянные как раз этой войной, он отмечал, что хотя европейцы войну и выиграли, но это произошло только потому, что корсиканцы с каждой выигранной ими битвой обретали все большую уверенность и, наконец, поддавшись глупой гордости, стали сражаться как европейцы. При Понте-Нуово они вышли из маккии и стали сражаться на открытой местности, в тяжелых условиях позиционного боя.

Бонапарт родился спустя несколько месяцев после сражения при Понте-Нуово. Юношей его послали на материк, чтобы он стал французским офицером. Там он стал изучать новую методику Гибера. В ней он заново открыл унаследованную от своих предков гибкость и умение уклоняться от прямого столкновения, но теперь корсиканская подвижность была усвоена и реформирована европейскими профессионалами. То бесконечное движение, которое позднее даст Бонапарту власть над всей Европой, фактически было тактикой корсиканских партизан, трансформированной Гибером в стратегию больших армий и применяемое Бонапартом потому, что он с детства усвоил тактику абсолютной подвижности. Это был брак, заключенный на небесах.

Тот же самый источник питал не только Бонапарта и французов. Во времена второго правительства Паоли, которое скатилось до того, что стало зависеть от англичан, был один светлый эпизод. Лондон прислал молодого полковника по имени Джон Мур обучать корсиканцев формальной так-

тике. Как и сам Паоли, он пал жертвой интриг и амбиций Эллиота, представителя технократов Георга III. Его в том же месяце, что и Паоли, выслали с Корсики. Но за тот короткий период, пока он находился при исполнении своих обязанностей, его собственные взгляды были дополнены и изменились вследствие того, что он увидел на острове. Приехав учить, Мур сам освоил много нового. Именно он начал реформировать тактику британской армии. Он создал легкую бригаду, гибкость которой была взята за основу во время войны на (Пиренейском) полуострове. После смерти Мура в 1809 году в Ла-Корунье его методы стал использовать человек, который пришел ему на смену: Артур Уэлсли, ставший позднее герцогом Веллингтонским. К тактическим и стратегическим наработкам Мура он прибавил свой опыт ведения подвижных боевых действий в колониальной Индии. Итак, постепенная эволюция европейской военной мысли к моменту сведения счетов между Бонапартом и Уэлсли была в какой-то мере конкуренцией между двумя раздутыми и кое-как формализованными интерпретациями корсиканской тактики *маки*.

Интересно отметить, что использование преимуществ тактики подвижности в Европе снова и снова становилось возможным благодаря заграничному опыту, приобретенному офицерами, занимающими в армии второстепенные посты. Придворные, а затем и штабные офицеры душили любую инициативу, поэтому без свежего воздуха из-за границы никакой творческой тактики не было бы введено. Военная история последних сотен лет наполнена примерами применения иностранного опыта. Каждый раз военной бюрократии удавалось нейтрализовать такие нововведения.

Пример судьбы реформ Гибера — отправная точка в этом процессе. Чтобы создать современную армию, способную использовать стратегию подвижности, он применил рациональное мышление. Он пытался устранить некомпетентность и посредственность, введя систему, которая продвигала по служебной лестнице только настоящих солдат. Но урок, который гражданские власти получили через тридцать лет после наполеоновских авантур, показал, что соединение

профессионализма и гениальности создает опасных людей. Гений вдруг оказывается врагом стабильности, и это несмотря на то, что главным обоснованием создания армии на принципах разума является именно обуздание гения на службе нации. Власти резко сменили цель профессионализма, ориентируясь на создание таких структур, которые помогли бы избежать появления гения. То есть они выхолостили саму суть профессионализма: подготовку солдат, способных побеждать, — и сузили эту суть до таланта бюрократа-организатора.

Возможно, это было неотвратимым результатом развития рациональной идеи, разрабатываемой Макиавелли и Ришельё. Они представляли себе развитие профессиональных армий как путь к воспитанию аполитичных офицеров. Предыдущая история переполнена военными-политиками, которые каждый свой личный успех использовали как возможность бросить вызов законной власти. Но Гибер и Сен-Жермен появились после полутора веков военного послушания. Ранее Гибер писал в своей книге «Общие принципы тактики»: «Если в государстве появляется хороший генерал, то политики-министры и придворные позаботятся, чтобы в мирное время к солдатам его не допустить. Солдат лучше доверить посредственностям, которые не способны их обучать и будут пассивно и покорно сносить капризы и требования всех систем существующей власти... А когда начнется война, только катастрофа может заставить их отвернуться от хорошего генерала»⁸.

Следствием рациональной реформы стало стремление не уклониться от этой проблемы, а расширить ее таким образом, чтобы атака Гибера на старый режим была с еще большей легкостью повернута против властей, ответственных за Крымскую войну, Первую, Вторую мировую войну, за Индокитай, вьетнамцев и, наверное, за все другое. Это относится и к тем, кто ныне командует западными армиями.

Разум, который не способен иметь дело с гением, увял и превратился в серость. Гибер и все другие создатели современной армии думали, что профессионализм штабистов будет с максимальным успехом использовать технические и ма-

териальные ресурсы, таким образом освобождая профессиональных командиров от этих забот — то есть для собственно боевых операций. Вместо этого штабы различных государств начали раздуваться один больше другого и по численности, и по влиянию. Это началось после разгрома Пруссии Наполеоном. Пруссаки считали, что величие Наполеона обеспечивается организацией армии, созданной Грибовалем, Сен-Жерменом и Гибером. Они бросились вдогонку и создали германский Генеральный штаб, переживший моменты славы в 1870 и в 1914 годах. Не просто побежденные — униженные в 1870 году — французы стали возлагать еще больше надежд на военную бюрократию. Незадолго до Первой мировой войны они умудрились создать командный тандем, не отличающийся от германской модели. Это произошло в тот период, когда высшей военной академией командовал Фош, который и ввел такую связь между штабом и командованием. Что касается Англии, то даже крымской катастрофы ей оказалось недостаточно, чтобы возникло желание реальных перемен. В 1860 году половина офицерских должностей все еще покупались. А поражение, которое Китченер в 1898 году нанес махдистам в Судане, вроде бы подтвердило, что пока все в порядке.

Суданская кампания в то время считалась победой западного ноу-хау и техники над бесстрашными мусульманами. Более того, Китченер имел ауру и популярность современного Героя. Он был одинок, как-то таинственен и набожен. Имел манеры великого полководца. На самом деле он был лишен способностей как стратегических, так и по части ведения боевых действий. Он был инженером и два года педантично строил охраняемую войсками железную дорогу в столицу махдистов Хартум. Когда он ее достроил, произошла решающая битва, или, как сообщал военный корреспондент, «не битва, а бойня» при Омдурмане. Благодаря пулеметам и пулям «дум-дум» (при попадании в человека они взрываются, превращая таким образом незначительные ранения в смертельные), англо-египетские силы смогли уничтожить 10 800 человек, потеряв всего 48. Такая, на первый взгляд, блестящая победа скрывает туповато-жесткие методы побе-

дителя, если не упомянуть о низком уровне подготовки армии его противника. В течение последующих пятнадцати лет мощь партизанских сил, имеющих хорошо организованное управление, а также нейтрализующие действия равных по численности и тщательно обученных войск противника, неизменно становилось сюрпризом.

Первый удар британцы получили почти немедленно в Южной Африке, где их чуть ли не откровенно уголовный непрофессионализм спровоцировал движение за реформы. Их военная кампания по типу была такой же, как вьетнамская кампания американцев, за исключением того, что в конечном итоге британцы не проиграли. Буры по численности их превосходили, были оснащены новейшим вооружением, но совершенно не умели читать карты, да у них и не было карт. Они не понимали значения фактора времени, движения, сложившихся обстоятельств, не понимали ничего, кроме линии фронта. Очевидно, им не хватало обученных штабистов. Как бы там ни было, но у американцев во Вьетнаме недостатка в штабистах не ощущалось. Может быть, даже наоборот. Интересно, что неспособность армий воевать против врага была идентичной. В любом случае, после Англо-бурской войны британцы принялись лихорадочно обучать штабистов. Только неумный станет оспаривать, что им отчаянно не хватало специалистов по перевозкам и поставкам, не говоря уже о передвижных средствах связи или взаимодействия при проведении операций.

Но если бы британцы повнимательнее изучили свои трудности в Южной Африке, они убедились бы, что на самом деле проблемой был не дилетантизм, хотя это и было серьезным недостатком, а непонимание природы сражения. Об этом семьдесят лет спустя писал французский генерал Гамбье: «Буры не читали Клаузевица и применили все не прямые методы ведения войны»⁹. То есть обладали гибкостью и здравым смыслом. В конце концов, Китченер их разбил. Он снова применял свои туповато-жестokie методы, включая концентрационные лагеря и тактику выжженной земли. Но английские военные, тем не менее, сфокусировали свое внимание не на стратегических просчетах, а на

фактах недостаточно профессиональных действий. Они сделали ставку на умелое применение своей классической неуклюжей стратегии. Если бы они внимательнее изучили эволюцию германского и французского штабов, то легко обнаружили бы, что подобная реформа приведет не к большому профессионализму, а к опасной форме бюрократической логики.

Эти ведомые Генеральным штабом и прекрасно обученные британские офицеры, по словам Лиддел Гарта, не собирались представить себя как некий «коллективный эквивалент гения, которого не может произвести какая-либо армия, даже в случае необходимости»¹⁰. Положительной стороной такого интегрированного и формального образования было то, что была создана методика и введена терминология интегрированных подходов. Были усовершенствованы системы связи. Военные стали лучше друг друга слышать. Вот один из самых банальных примеров противопоставления старого новому: во время Крымской войны легкая бригада пошла в атаку не по той долине, потому что неправильно поняла приказ, теперь такое вряд ли могло случиться. Сэр Уильям Робертсон, во время Первой мировой войны глава имперского Генерального штаба, позднее говорил, что, благодаря отдельным методам управления, он мог слать телеграммы из любого места и не бояться, что его неправильно поймут¹¹.

Но, отдавая эту улучшенную штабную систему в руки посредственного командования, новые интегрированные методы и терминология стали закреплять ее право на постоянные ошибки. Штабная администрация обеспечивает коллективное управление действиями, но избегает как индивидуальной, так и коллективной ответственности.

Робертсон с большим удовлетворением отмечал, что обычная методология не позволяет им паниковать в трудные моменты. Умение сдерживать чувства и предотвращать панику технократы всегда представляли признаками своего профессионализма. И в наше время это их любимая уловка: когда происходят публичные дебаты с непрофессионалами, они говорят, что паника — удел непрофессионалов, так как именно отсутствие компетенции ведет к панике.

Но если проанализировать довод профессионалов, то пыл вокруг паники непрофессионалов несколько остывает. Довод, который со времен Первой мировой войны получил столь грандиозную популярность, что позднее возникла необходимость как следует изучить его. Не лучше ли было для штабов различных армий поспешить, вместо того чтобы деловито продолжать взаимное и бессмысленное убийство людей, состоящих под их командованием? Разве способность паниковать является признаком глупости или какого-то другого серьезного порока?

Способность не поддаваться панике стали трактовать как одну из величайших добродетелей нынешнего века. С точки зрения этого качества оценивают не только военное, но и любое другое руководство. Бизнесмены, банкиры, чиновники, политики и генералы то и дело хорошо поставленным голосом излагают доводы в пользу того, что нам следует расслабиться и довериться их компетентному руководству. Так рациональное стало методом успокоения наших тревог.

Какие же у них основания для подобного высокомерия? Где доказательства того, что бесстрастные знания способствуют делу цивилизации? Ведь на самом деле умение вовремя запаниковать всегда было одним из сильнейших рычагов тех, кто занимал командные должности. Паниковать не обязательно означает развернуться и убежать. Ум и чувство собственного достоинства обычно позволяют сохранять внешнее самообладание. Внутренние сомнения в сочетании с достойным поведением являются главными качествами компетентного руководителя. Человек или организация, даже общество, которому знакомо глубокое внутреннее чувство паники, способно различить момент, когда оно пошло по неправильному пути, и, наверное, распознать свои ошибки, давая им по необходимости полную переоценку. Результатом такой переоценки может стать выбор правильного направления движения.

Рациональный человек, как мы сейчас понимаем, не способен на такую панику. Он обладает такими знаниями и так устроен, что сохраняет абсолютную уверенность в себе. Благодаря своей умственной оснащенности, он всегда может до-

казать, что прав, даже если находится в центре неминуемой катастрофы, устроенной им самим. Если на поле битвы — в прямом или переносном смысле слова — что-то идет не так, значит, ошибочными являются обстоятельства. Независимо от того, насколько слугитель разума не прав, он достаточно самоуверен, чтобы настоять на своей точке зрения. Рано или поздно он ее отстоит — разум увидит свет.

Способность реагировать на обстоятельства, согласно Сунь-цзы, появляется только в том случае, когда военачальник может пересмотреть свою заранее выработанную стратегию. Внутренняя сила, которая требует, чтобы паническому порыву был дан выход, является центром такой способности. Не только эту силу игнорировало военное образование двадцатого века. Оно активно сосредоточилось на том, чтобы вытаптывать любые ростки индивидуального ума в кадровом офицере.

Как неандерталец из пещеры, так и штабной офицер вышел в двадцатый век с дубиной в руке, только ручка этой дубины вырезана из разума. Именно эта ручка дает ему возможность при помощи специальной терминологии ловко манипулировать аргументами, что позволило ему с практически незапятнанной репутацией выйти из войны 1914–1918 годов. Та защитная мифология, которую он создал, возложила вину за военную катастрофу на существующую только в его воображении свору отставших от века генералов-ретроградов. На самом деле Первую мировую войну развязали на более высоком уровне: ее инициаторами явились новые люди, которые были на всех фронтах, кроме разве что русского. Это стало первым боевым столкновением конкурировавших между собой, полностью сложившихся современных штабов.

Самым профессиональным из них был германский. Старшее командование и административные функции были сведены в одном месте, в Берлине, и руководство было тщательно отделено от сражавшихся на фронте боевых офицеров. Такое полное разделение давало изначальное преимущество. Существовала законченная концепция — «план Шлиффена»,

получивший свое название от имени генерал-фельдмаршала Альфреда фон Шлифена, начальника Генерального штаба в период с 1891 по 1906 год. План, отшлифованный до последней детали, ждал своего применения почти десять лет и дождался. Иными словами, германский Генеральный штаб был, если можно так выразиться, сверхготов. Когда плану дали ход, события стали разворачиваться с огромной скоростью и зашли настолько далеко, насколько позволяла его логика. Но когда доведенная до совершенства логика на берегах Марны столкнулась с реальностью, вся машина сломалась. Сотрудники Генерального штаба были признаны виновными за важнейшие военные ошибки. Они попытались изменить обстоятельства, чтобы те соответствовали стратегии, а не наоборот.

Французская армия имела преимущество, потому что она была организована намного хуже, нежели германская, а также потому, что в ней было много офицеров колониальных войск, которые недооценили предложения, разработанные парижским штабом. Это означало, что еще оставалось место для личной инициативы колониального *маки* сражаться по-своему. Один из них (генерал Жозеф Галлиени, военный губернатор Парижа, прославившийся покорением Индокитая, аннексией Мадагаскара, чего он добился благодаря неординарно проведенным кампаниям) протолкнул еще одного (Жозефа Жоффра — человека посредственного ума, но специалиста по армейским перевозкам), вот они и делали то, чего не было ни в штабных учебниках, ни в штабных умах. Галлиени и Жоффр остановили немцев, так как действовали иррационально. Можно даже сказать, что они добились успеха благодаря панике. Если бы французской армией руководил Фош и его единомышленники, то беспорядочное, но блестящее маневрирование, известное сейчас как «марнское такси», было бы невозможно. И война, наверное, была бы проиграна.

Хотя британцы начали серьезно учиться штабному делу намного позже французов, они так быстро их догнали, что во время Первой мировой войны речь о приоритете в этом вопросе уже не шла. Не подлежит сомнению, что на первом

этапе войны британский штаб работал хорошо, командующим тогда был Китченер, у которого не было штабного образования. Нарыв противоречий между его героической личностью лидера и реальной тяжестью его методов созрел позже. В результате два перспективных штабиста Дуглас Хейг и Уильям Робертсон, защищаясь против обвинений в некомпетентности, будут позднее вспоминать, как в действительности обстояли дела, когда руководил Китченер.

Война продолжалась всего год, а уже стало ясно, что единственное место, где еще сохранилась оригинальность, находится далеко от европейских столиц. Штабисты, как и прочие технократы, не любят удаляться от центров власти. Отсутствие на месте — одно из самых эффективных средств нападения, которые можно использовать против них. Стоит ли удивляться, что одна из самых интересных кампаний Первой мировой войны была проведена на Ближнем Востоке генералом Эдмундом Алленби. Или тому, что одна из самых интересных кампаний Второй мировой войны прошла там же под руководством генералов Клода Окинлека и Арчибалда Уэйвелла. Ах да, действительно, еще дальше — при генерале Слиме на Дальнем Востоке. В Европе, однако, вся тяжесть штабной солидарности во время Первой мировой войны в течение почти пяти лет гарантировала танцы неспешных, методических боевых сражений под музыку мясников.

Степень, до которой Китченера использовали как козла отпущения, можно оценить, обратившись к военной статистике. К началу войны 1914 года сорок из сорока пяти старших командных должностей в Британском экспедиционном корпусе занимали выпускники Академии Генерального штаба. Четырнадцать из этих сорока преподавали в этой Академии. А четыре ключевые фигуры — включая Хейга и Робертсона — возглавляли Академию. С того самого момента, как раздались первые выстрелы в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года, стратегическое и командное руководство было сосредоточено в руках самых ярких передовиков модернизации.

Философию их школы легче всего понять, сравнив личности двух самых ярких ее выпускников. Хейг и Алленби поступили в Академию одновременно, в 1896 году. Оба закончили свою карьеру в звании пэров Англии и фельдмаршалов. Хейг имел огромную власть, он командовал войсками в Европе, стоял ниже только самого Фоша, и нес ответственность за целую цепь провальных наступлений. Алленби, с другой стороны, вполне умело выиграл свою ближневосточную кампанию. Штаб оценил это таким образом, что представил его операции скорее как излишние, нежели необходимые.

Хейга характеризовали как наихудшего штабного офицера, Алленби был чуть ли не лучшим. Если бы система работала действительно разумно и беспристрастно, вознаграждая лучших и отметая худших, их карьеры сложились бы с точностью до наоборот. Фактически, если бы система работала вообще, Хейг едва ли бы дослужился выше чем до полковника.

Алленби (прозвище Бык) был волевым, но в то же время отзывчивым и приветливым человеком. Он легко сходиллся с другими офицерами и вдохновлял солдат. Хейг был робок, не умел влиять на других и предпочитал держаться особняком. В обстановке секретности такому нелюдимому человеку было легче скрывать свои слабости, и он делал карьеру, работая с бумагами. Даже когда его назначили командовать британскими силами в Европе, он редко покидал штаб. Алленби был прекрасно начитан, изучал орнитологию, был меломаном. Он впитывал все, его интересы простирались далеко за пределы военного дела. Ум Хейга был односторонен, «как телескоп»¹², он видел только службу. Других интересов у него не было. Таким образом, Алленби исполнял свои генеральские обязанности с определенным гуманизмом и здравым смыслом, который исходит из того, что насилие присутствует в мире. Хейг же был просто генералом, интересовался только техникой, конечно, он не отрицал того, что солдат еще и человек, но он его не знал. Он работал не покладая рук, но, несмотря на количество затраченного времени и усилий, решения он принимал медленно, и в них не было ни воображения, ни глубины понимания. Когда было необходимо, он встречался с людьми. И очень много работал, чтобы лучше

узнать тех людей (включая принца Уэльского), которые могут помочь его карьере. По сути, Хейг был совершенной моделью раннего технократа.

Алленби, с другой стороны, был человеком, испытывавшим отвращение к технократам. Хотя оба они были люди с сильной волей, Алленби был готов выслушать мнение других, а Хейг не воспринимал чужого мнения, был замкнут и самоуверен. И излишне, наверное, говорить, что Алленби не был амбициозен, в то время как Хейг был воплощением амбиций.

Это противоречие между успешными штабными офицерами и компетентными руководителями в нашем веке было весьма распространенным явлением. Оригинальность молодого Уэйвелла за несколько лет до Первой мировой войны критиковал начальник Академии Генерального штаба Уильям Робертсон. А генерал Ф.Ч. Фуллер, один из родоначальников революционной танковой стратегии, только с третьей попытки поступил в Академию. Когда же его все же приняли, его уверяли, что он ее не закончит. Только разразившаяся Первая мировая война спасла его от такого унижения. Начальником Академии в то время был Ланселот Киггел, человек, который позже станет начальником штаба Хейга. Если быть точным, то Киггел был первым, кто посетил «пашендельское болото», после того как отправил туда 250 тысяч своих бойцов, которые нашли в нем свою смерть. Разительное несоответствие между тем, что он увидел своими глазами, и тем, что на штабной карте выглядело весьма разумно, повергло его в шок; он даже заплакал и вскричал: «Боже, Боже, неужели мы действительно посылали сюда людей?»

Многое во время Первой мировой войны совершалось под флагом наступательной стратегии Фоша. Безусловно, он был умнее Хейга и не принадлежал к числу технократов, сделавших своим оружием секретность. Фош даже обладал харизмой, порожденной его прямолинейным и несгибаемым оптимизмом. Описывая в 1921 году свое командование войсками союзников, Фош сообщает: «Война продемонстрировала, что для победы нам нужны были цель, план и методика». Затем он останавливается, возвращается назад и повто-

ряет сказанное другими словами: «Война продемонстрировала, что командование должно иметь цель, план и методику»¹³. Иными словами, он специально и сознательно не назвал единственный значимый элемент: сражаться, чтобы победить — а заменил его озабоченностью относительно полномочий старшего офицера. В его понимании война нужна не для победы, а для администрирования. Характерные признаки трех названных им инструментов командования — бюрократичность и отсутствие гибкости. Он много сделал для того, чтобы командование имело необходимую целеустремленность, но в его контексте она предстала просто доведенной до предела жесткостью. Все это прямо противоположно принципам, сформулированным великими стратегами от Сунь-цзы до де Голля.

Фош во многих смыслах был отцом современного французского штабного колледжа. Впервые он пришел туда как преподаватель в 1895 году. С 1908 по 1911 год он руководил колледжем и создал тот тип генерала-интеллектуала, который затем окажется на фронте. «Выигранное сражение, — утверждал он, — это такое сражение, о котором сражавшийся думает, что он не побежден». «Нужно действовать, поскольку только это принесет результат». Его стратегия «атаковать, всегда атаковать» была перефразированным тезисом иезуитов, у которых Фош обучался и остался восторженным сторонником их методов. Его уверенность в том, что войной следует командовать из штаба, не отличалась от идеи Лойолы, который, став генералом Ордена, не выезжал из Рима на протяжении шестнадцати лет, вплоть до своей кончины.

То, что с точки зрения стратегии Первая мировая война была катастрофой, уже стало общим местом. Но ответственного за это так и не назвали. Все решения принимал штаб. Их абстрактно формулировали на бумаге и передавали на фронт командующим в письменном виде. Боевых офицеров, которые отваживались предупреждать свои штабы, что выполнение этих решений приведет к катастрофе, никоим образом не принимали в расчет. Штабам было более важно поддержать неразрывность того, что они считали логически выстроенной цепью: принятые формулировки, принятая методика

действия, принятые командованием меры по подавлению паники. Но если в ходе сражения оказывалось, что предостережения боевого офицера были правильными, его, как правило, увольняли, если ему суждено было выжить в мясорубке боя.

Французский командующий генерал Ферри в 1915 году получил сведения о том, что на войне — впервые — будет применен отравляющий газ. Он предупредил свое начальство, а также британцев и канадцев на флангах. Вышестоящий штаб был в ярости. Его предупредили, чтобы он не связывался с союзниками напрямую, а придерживался должной процедуры докладов. Ему также сообщили, что таким слухам поверит, не говоря о том, чтобы писать рапорты, только дурак. После газовой атаки его уволили.

Незадолго до того, как германцы атаковали Верден, что стало началом самого кровопролитного сражения войны, до главнокомандующего дошли непроверенные сведения о том, что система обороны имеет изъяны. Сведения поступили от офицеров, которые не могли добиться, чтобы их выслушал главнокомандующий Жоффри. После запроса из министерства, главнокомандующий обратил внимание на изъяны, но предпочел их проигнорировать. Вместо этого он направил в министерство запрос с требованием выяснить источник этих слухов. Офицеры, которые их распространяли, нарушили субординацию. Министерство сообщило имена, и офицеров, как водится, уволили. Немцы атаковали. Оборона рухнула.

А тем временем разные штабы с обеих сторон работали не покладая рук, слали рапорта, подсчитывали данные, разрабатывали планы невиданных сражений и рассылали приказы об этих тщательно организованных битвах. В 1914 году был мобилизован двадцать один миллион человек. К 1918 году мобилизованных было уже 68 миллионов. А штабы все сообщали, что этого недостаточно. Они буквально заполоняли донесениями министерства и правительства, манипулируя информацией таким образом, чтобы всем казалось, что людей всегда не хватает. И эти 68 миллионов людей в униформе стали триумфом штабной работы. Мир не

видел ничего подобного. И действительно, у генералов не хватало живых тел для ведения сражений по различным сценариям. Они и могли бы задействовать больше, но это поставит под сомнение современную организацию дела. В их заявках такая потребность присутствует всегда, а их способность расширять масштабы планирования является бесконечной. Генералам Первой мировой войны всегда не хватало людей точно так же, как современным генералам всегда не хватает оружия.

Генералам не хватало не только чувства движения, они также не понимали, зачем они сражаются. Перед наступлением Фоша на Сомме генерал Файоль писал: «Сражение, о котором он мечтает, не имеет смысла. Так даже не прорваться»¹⁴. Только в том сражении с обеих сторон погиб один миллион двести пятьдесят тысяч человек. Шесть с половиной миллионов снарядов выпустили только французы.

Такое безрассудство можно понять, только разобравшись в ходе мысли командующих. Они искренне верили, что действуют правильно, и их правота была облечена в форму некой конструкции. Их преданность методологии сделала их крестоносцами в великом сражении за прогресс. Сторонний наблюдатель, вероятно, указал бы, что им недоставало необходимого для генерала таланта: умения побеждать. Свои должности они получили только благодаря своему чувству конструкции.

Когда разразилась война, эти причесанные под одну гребенку технократы были обязаны командовать. При отсутствии того, что Сунь-цзы называл стратегическим чутьем, они избежали абсолютной катастрофы только потому, что бросали массы живых людей на врага. Это не было реакцией военных паникеров. Они были совершенно уверены, что так и следует поступать. К такому подходу они подготовились задолго до 1914 года. Еще в 1909 году Хейг говорил о затяжной войне, в которой враг будет, наконец, измотан. Робертсон, как начальник Академии Генерального штаба, высмеивал неординарное мышление, которое, как он думал, «не связано с грубой и кровавой работой массы солдат, каждый из которых стремится убить другого»¹⁵. Только Фош продумывал страте-

гию, записывал ее, но и верил в то, что на врага нужно бросать несчетные массы солдат.

Само количество бесцельных боен во время Первой мировой войны вызвало возмущение и недоумение нормальных людей. Столь существенные и постоянные расхождения между тем, что нам представляли, и что происходило на самом деле — между победоносными войнами и командующими армиями — такого в западном обществе после последних десятилетий правления монархов — помазанников Божьих — еще не видывали. Даже в те времена разница была гораздо менее шокирующей, она не имела таких законченных форм. Это можно было сравнить разве что с худшими временами в истории церкви, когда она перед Реформацией погрязла в коррупции. Тогда слова о преданности и чистоте также использовались для того, чтобы поддерживать мир неведения, физических удовольствий и извлечения прибыли. Как только началась Реформация, этот же самый лексикон стали использовать для оправдания бесконечной резни с обеих сторон.

Мы увидели несоответствие между реальностью и тем, что нам преподносили, только после 1914 года. Но рациональный язык, изобилующий отточенными логическими построениями, так глубоко укоренился в нашей речи и других средствах общения, что сама реальность представляется чем-то второстепенным. Это как если бы приборы и знания Галилея поменялись местами, и все наблюдения, демонстрация опытов и аргументы были направлены на доказательство того, что Солнце движется вокруг Земли. Разум, конструкция и процесс — вот современные инструменты законной власти и общепринятой мудрости. А во времена кризисов такая мудрость становится абсолютной истиной правящих элит. Она дает им уверенность в их движении вперед, так как устраняет нужду в обдумывании и сомнениях, что, в свою очередь, позволяет элитам представлять чужие мнения или как наивность, или как предательство. Нормальный человек, ставший свидетелем варварской резни, не сразу найдет слова, которыми он сможет рассказать о том, что увидел.

Дело, однако, не в том, что профессиональные военные безразличны к солдатским жизням. В таком безразличии нет ничего личного, это означает только то, что штаб, по своему естеству, предпочитает грубые методы. Принципиальной разницы между тем, как он распоряжается людьми и взрывчаткой, нет. Единственным изменением за последние восемьдесят лет в такой методике стало то, что за большие людские потери платят все большую политическую цену. Поэтому штабы и перенесли акцент на оснащенность вооружением и взрывчаткой, не отказываясь — как показали события 1991 года в Ираке — от своей привязанности к работе с пушечным мясом. Разумная подмена для мотивации и стратегии — неограниченное количество огневой мощи, оснащения и людей. Обрушивая без счета любой из названных компонентов на врага, ставят цель либо подавить его, либо измотать. Это не стратегия. Это возврат к древнему варварству.

Огневая мощь — это, вероятно, самый интересный из названных элементов. Именно ее элиты любят больше всего. Ее привлекательность состоит в том, что по своей природе она абстрактна и поддается учету. Она позволяет избежать физического контакта и неприятного зрелища убийств. Единственная проблема состоит в том, что мощные обстрелы и бомбардировки не сработали в Первой мировой войне. Не выполнили своей работы во Второй мировой войне. Не удалось это и в Индокитае, и во Вьетнаме, второстепенная роль ей выпала и в Ираке. Но технократы стремятся отместить идею линейного развития. Память иррациональна. На каждую проблему есть свой аргумент. Если скажут, что бомбы в огромном количестве сбросили не в те места, не в то время, а нужного эффекта не достигли, технократ-офицер объяснит все просто: взрывчатые боеприпасы просто неправильно использовали.

В том, что командующие Первой мировой войны так открыто любили технику, есть некий парадокс. Например, в течение войны, между войнами и на ранних этапах Второй мировой войны они собрали массы танков. Затем они блокировали попытки разумно их использовать. Их заботило не то,

как лучше использовать танки, а как их лучше всего контролировать штабными структурами.

Конечно, можно оспорить, что на европейском театре во время Первой мировой войны было всего три случая их разумного и результативного использования. Первым из них была оборона на Марне, когда проводился в жизнь замысел Галлиени. Лиддел Гарт два других случая связывает с Черчиллем: режим блокады Германии, которую обеспечивали военно-морские силы, что привело к голоду, который через пять лет и сломил Германию; а также высадка трех тысяч человек в Бельгии в тылу германских войск, которые в 1914 году рвались к Парижу. Высадка сопровождалась утечками ложной информации, раздувавшей размер десанта до сорока тысяч. Это заставило немцев оглядываться и замедлять движение. Следующие пять лет прошли в медлительных действиях, которые навязывались штабами.

Технократ всегда живет надуманной реорганизацией всевозможных деталей и обстоятельств. Фельдмаршал сэр Дуглас Хейг взялся за создание окончательной официальной версии исторических событий. После заключения мира он основал комитет друзей, чтобы тот составил доклад об организации работы штаба во время войны. Доклад заканчивался так: «Самым характерным свидетельством, которое нам представили, были успехи работы штаба на войне. Это, без всякого сомнения, указывает на правильность основных принципов, на базе которых работал штаб»¹⁶.

С эмоциональной точки зрения трудно оценить важность этих пяти лет правления штабного офицера. Например, разница между Хейгом, Фошем и германским главнокомандующим генералом Эрихом Людендорфом семьдесят пять лет назад и сегодняшним Пол Потом на удивление невелика. Но все они были весьма самоуверенны, помешаны на секретности и собственных амбициях, убеждены в справедливости своей миссии, жертвовали любым числом своих солдат и верили в необходимость уничтожения других людей. Некогда в Англии адмиралов вешали за то, что они проигрывали сражения. Начиная с 1914 года западные государства вместо этого вешают медали на грудь некомпетентных командующих.

Глава девятая

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СЕРДЦЕ ВЛАСТИ

Принято считать, что, с точки зрения использования военных знаний, после 1918 года дела пошли лучше. Что хотя союзники и начали плохо, но во Второй мировой войне генералы по обе стороны были лучше, чем в Первой. Что штабы были более или менее под контролем.

И тем не менее, чтобы победить Германию, потребовалось столько же лет, и это при том, что Германия и в 1914 году начала с гораздо более слабых позиций, и в 1939-м была гораздо слабее, чем союзники; Германия ослабляла себя чистками больших групп собственного населения, и его численность была по крайней мере в три раза меньше численности населения стран-союзниц в 1940 году, а в 1943 году — в десять раз меньше. Даже после высадки в Нормандии в 1944 году, когда союзники имели абсолютное и постоянное господство в воздухе и на море, а также подавляющее преимущество по всем видам вооружений, нашим генералам понадобилось больше года, чтобы вдумчиво пересечь всего-навсего треть Европы¹.

Урок, который извлекли наши профессиональные военные из двух мировых войн, состоял в том, что после двух мировых войн с обеих сторон произошли гораздо худшие события, чем допускали генералы. Не важно, насколько беспросветна серость командования, ведь армия, имеющая в своем распоряжении все самое лучшее: людей, боеприпасы и вооружение — в конце концов победит, если она упорна и политики разрешают ей палить вовсю. Казалось бы, наши генералы не могли забыть тот неудачный урок. И все же за последние полвека они сотни раз заходили в тупик, несли потери и одерживали пирровы победы. Короче говоря, они с трудом одерживали победы в полномасштабных войнах, платя за них немало, но были не способны справляться с маленькими непредсказуемыми войнами, которые постепенно расплодись по всей планете.

В годы Второй мировой войны люди были благодарны за то, что командующие все-таки как-то сдерживали себя, по-

сылая войска на бойню. Большинство из этих генералов во время предыдущей войны были младшими офицерами, сидели в окопах и поэтому осознавали, что такое потери. Но этот похвальный самоконтроль ничего не говорит о том, почему же так удивительно сильна была Германия.

Возможно, это объясняется тем, что, хотя обе стороны одинаково пострадали от кровавой бани, устроенной генералами во время Первой мировой войны, немцам было невыносимо ощущать себя побежденными. Этот кризис постепенно надломил логику Века Разума. Из трещины позора и отчаяния и умершей веры выползли два типа людей. Один был безумен — нацист. Другой был настоящим офицером, стремящимся воспользоваться силами разума, но не стать их пленником. В нормальное время безумца высмеяли бы, а хорошего солдата сломали бы штабисты. С другой стороны, союзники были обязаны и дальше активно притворяться, что это они выиграли Первую мировую войну, и, следовательно, такие люди, как Фош и Хейг, считались хорошими солдатами. Через двадцать лет эмоциональное и интеллектуальное освобождение, отягощенное анархией, порожденное поражением Германии, лицом к лицу сошлось на поле брани с отдаленными последствиями победы союзников. То, что случилось в 1940 году, стало великолепной иллюстрацией утверждения Сунь-цзы, что войны выигрываются в умах командующих.

И тем не менее, стратегические инновации, которые вели Германию к победам, начались в Великобритании и связаны с именем Базиля Лиддел Гарта, который первым написал о стратегии быстрых, глубоко проникающих танковых рейдов. Сначала в 1919 году он опубликовал статью в журнале *RUSI Journal*, в которой обрисовал, как немцы использовали танки во время наступления в марте 1918 года. Этот новый вид наступления был их жестом отчаяния, вызванным тремя с половиной годами поражений Генерального штаба. Лиддел Гарт упорно пытался оказывать влияние на правительство и военное ведомство. Солдаты британской армии, такие как Фуллер и Перси Хобарт, уже тогда бывшие танкистами, вели ту же самую борьбу, абсолютно без успеха.

В 1926 году Лиддел Гарт побывал в частях французской армии, где делился своими идеями. Он встречался с Шарлем де Голлем, который тогда был молодым офицером, служившим у маршала Петена. Де Голль начал свой собственный крестовый поход за новую тактику, но во Франции фальшивая мифология о «победоносной» армии была еще сильнее, чем в Великобритании. Генерал Максим Вейган, штабист и верный соратник Фоша, убедил его отказаться от каких бы то ни было нововведений, а после смерти Фоша стал начальником штаба. Через год британские танкисты осуществили первый танковый бросок. Они убедили армию, после чего были созданы Экспериментальные бронированные силы (Experimental Armoured Force). Но Британский штаб вскоре умудрился их расформировать.

Тем временем командующий рейхсвера Ханс фон Сект немедленно после заключения мира начал разрабатывать стратегию, согласно которой «каждое действие должно быть направлено на достижение цели». Хотя сам он и не был танкистом, но заботился о преуспевании танковых частей. Последовавшее поражение ослабило Генеральный штаб, но не сломило его. В 1926 году фон Сект был уволен. В 1928 году он отыгрался, опубликовав книгу, критикующую армию, формируемые на основе призыва: «Масса теряет подвижность... Пушечное мясо... Будущая война в целом, с моей точки зрения, будет представлять собой действия наемных мобильных армий, относительно немногочисленных, но хорошо подготовленных»².

Все это время в танковых частях Германии медленно, но верно подрастал Хайнц Гудериан. В период существования Экспериментальных бронированных сил он преподавал танковую тактику. К 1930 году он скопировал британскую тактику, используя макеты танков, и ждал дня, когда они превратятся в полностью экипированные машины. В 1933 году британцы сделали еще один шаг вперед, создав танковую бригаду под командованием Хобарта. Если бы они и дальше двигались в этом направлении и смогли убедить французов сделать то же самое, 1940 год был бы совсем другим. Вместо этого британский военный истеблишмент делал все, чтобы

ограничить возможности Хобарта. Его бригаду сократили до экспериментальной группы, как если бы танковое дело уже было зачато, но еще не родилось. В 1934 году де Голль в своей книге «Профессиональная армия» обобщил все новые идеи, начиная от соображений Лиддел Гарта, высказанных еще в 1919 году, до взглядов на скорость передвижения профессиональной армии фон Секта. Все высказанное им было ярко, наглядно, убедительно и вызвало яростное сопротивление всего военного истеблишмента. Возможно, что это все пришло слишком поздно, так как уже через год немцы сформировали три танковые дивизии, второй из них командовал Гудериан. До 1936 года он проводил маневры, точно копируя тактические наработки Лиддел Гарта и Хобарта, извлекая знания из их книг, перевод которых он заказывал сам.

Было бы ошибкой думать, что Генеральный штаб Германии играл какую-то положительную роль в этом замечательном интеллектуальном прорыве. Как только Секта уволили, штабисты вернулись к своим стандартным нормам и выступили против танковой стратегии. Против самого танка они не возражали, они возражали против того, как его собирались использовать.

Причиной такого всеобщего яростного неприятия было то, что танковая стратегия Лиддел Гарта точно следовала принципам Сунь-цзы. Это была стратегия неожиданности, гибкости и оригинальности. Она предоставляла командующему свободу учитывать возникающие обстоятельства. Она была прямо противоположна штабным планам. Где схемы? Где *органиграммы*? Где комитеты? А решения комитетов? Где сбалансированные уступки другим родам войск? Где должный учет принципа субординации? Где уважение к субординации?

Вместо этого штабных генералов просили передать такое дорогостоящее оборудование двум младшим по званию боевым командирам. Да еще без утвержденной инструкции по использованию. Решения должны приниматься на местности, по обстоятельствам, очень быстро и без консультаций с штабом. Да это тщательно разработанный заговор против традиций «плана Шлиффена», если танки пойдут через поле и

лес, выбирая, где им лучше двигаться. Все это было неприемлемо для любого разумного штабного офицера. Поэтому Гудериан имел столько же неприятностей, сколько Хобарт от своих британских штабистов или де Голль от французских.

А вот Гитлер заставил своих генералов принять новую стратегию. Гений Гитлера состоял в том, что он парализовал своего противника неожиданными ходами. Это и роднило его с Гудерианом. Как указывал Лиддел Гарт, он умел показывать «ошибочность общепринятого»³.

Появление слова «гений» в контексте с Гитлером напоминает, что по своему значению оно лишено морального аспекта. Оно напоминает о том, какой урок извлекли законные власти со времени Наполеона: гений, который приходит со стороны, не известной разуму, должен быть уничтожен. Эта логика, однако, была и остается близорукой. Гений, не имеющий моральных ценностей, оказывает влияние на все стороны жизни. Если вы намереваетесь уничтожить гения, как нечто, представляющее опасность, то чем устойчивее ваше общество, тем более успешно пройдет такое уничтожение. Только общества, где отсутствует порядок, не способны осуществить это. Стабильные общественные системы — так уж точно наилучшим образом годятся для того, чтобы поставить гения на безопасный с моральной точки зрения фундамент. Нестабильные общества всегда избирали своим правителем худшего из гениев. Таким образом, Фуллера, Хобарта и де Голля сломили, а Гудериан при поддержке Гитлера проявил себя.

Чего Гитлеру не хватало, так это профессионального спокойствия, чтобы наилучшим и наиболее перспективным образом использовать победы, которые он, будучи гением, одержал. Ну конечно, он был нездоров. Но Генеральный штаб мог бы поддерживать в нем спокойствие, а не уйти в молчаливую и мрачную оппозицию, которая не была ни следствием классовой неприязни, ни альтруистической оппозицией нацизму. Их оппозиция была следствием того, что Гитлер и его соратники не оказывали должного уважения сложившимся военным структурам и власти, которая с ними была связана, а это раздражало генералов. Генералы, державшие в руках рычаги административного управления, смогли

перебросить Эриха фон Манштейна, начальника штаба, на командную должность. Именно Манштейн разработал план наступления механизированных соединений, который столь успешно был осуществлен в 1940 году. А чтобы он сам не принимал участие в воплощении его на практике, штаб послал его командовать пехотным корпусом.

К началу боевых действий в июне (ошибка автора: наступление началось в мае — *прим. ред.*) 1940 года они умудрились наполовину нейтрализовать Гудериана, отдав ему под командование лишь небольшое танковое соединение. Но он как мог игнорировал их приказы и рвался вперед с тем, что у него было, как — он всегда это говорил — это и следовало делать. Германскому Генеральному штабу ничего не оставалось, как действовать ему вдогонку. Гудериан не только побеждал противника, который был сильнее его и лучше его вооружен, он также делал это, располагая лишь небольшим числом танков и при противодействии своего собственного Генерального штаба.

Именно трения между бесстрастными и рациональными интересами штаба и нервным гением Гитлера за четыре следующих года изотрут в пыль все несомненные победы, которые для всех них одержал Гудериан. Иными словами, Гитлер потерпел поражение из-за собственного безумия.

После 1940 года армии союзников отказались от свободного мышления, которое обычно несет с собой поражение. Вместо этого они принялись собирать огромные массы людей и вооружений точно так же, как они делали это в предыдущей войне. Периодически среди военных появлялась личность, способная мыслить оригинально. И неизменно, как только талант проявлял свои возможности, такую личность убирали или отсылали на фронт, подальше от центра власти.

Вероятно, самый яркий пример — это случай со стратегом, генерал-майором Эриком Дорман-Смитом, благодаря которому Уэйвелл, имея 40 тысяч солдат, одержал победу над 134 тысячами итальянцев в Египте в октябре (ошибка автора: в декабре — *прим. ред.*) 1940 года. Если бы его тактику «в суде представили как решения Академии Генерального штаба Великобритании, их бы высмеяли»⁴. Вместо того чтобы награ-

дить его за эту победу и повысить в должности как ценного советника, его буквально оставили безработным. В 1942 году Роммель был в Африке, он перехватил у британцев инициативу и крушил все на своем пути. В это время Дорман-Смит был советником у Окинлека, они пытались остановить Роммеля. Остановив германскую армию, они фактически его переиграли. В тех обстоятельствах это была замечательная победа.

Однако их методы плавных перебросок, осуществляемых скорее по вдохновению, чем по бюрократической необходимости, потребовали быстрой реорганизации наличных британских сил. Это затронуло и структуры самой военной организации, что взбесило Генеральный штаб. Штаб за кулисами и в коридорах принялся маневрировать, чтобы отстранить от дел их обоих. Найденный выход из положения был плодом самого изощренного бюрократического ума. Они убедили Черчилля, что Окинлек действует весьма успешно и Роммеля следует немедленно вновь атаковать, чтобы добить. Им было известно, что Окинлек этого сделать не сможет. Операция почти ничего не оставила от его резервов, и он не мог предпринимать никаких немедленных действий. Поэтому, когда Черчилль приказал ему атаковать, он — будучи человеком умным и ответственным — отказался. В результате его уволили. Это было как раз перед тем, как ему предложили другое назначение — еще дальше от Европы, в Индию. Что же до Дорман-Смита, то ему мстили так, что, по словам Майкла Эллиот-Бейтмана, это была «национальная катастрофа и позор армейской профессии»⁵. Строки официального документа сообщали, что Дорман-Смит был «умен, но совершенно не здравомыслящ»⁶. Знание дела и стабильность — вот два великих аргумента, которые современный человек использует, чтобы скрыть свою некомпетентность. Самым ранним примером такого феномена следует считать тот, когда в середине восемнадцатого века королевские офицеры пожаловались Георгу III на то, что генерал Джеймс Вулф сумасшедший. Король ответил, что желал бы, чтобы Вулф кусал других офицеров.

Самым известным подобным случаем Второй мировой войны была история с вице-маршалом авиации сэром Хью Даудином. Он предвидел участие Великобритании в войне и пытался подготовить Королевские военно-воздушные силы, несмотря на противодействие экспертов, которые были уверены, что единственное, к чему следует готовиться, так это к бомбардировкам Германии. Когда война началась, в тяжелой ситуации он действовал наилучшим образом и выиграл «битву за Англию». Это была единственная крупная победа в воздухе, одержанная на западном театре войны, и, возможно, самая крупная победа Великобритании за всю Вторую мировую войну. Во всяком случае, если бы ее проиграли, произошло бы вторжение в Англию. К тому времени, когда эта победа была одержана, Даудинга уже уволили, частично за то, что он оказался прав, частично для того, чтобы эксперты по стратегическим бомбардировкам смогли равняться с землей германские и другие европейские города.

Для победы в войне упорные бомбардировки городов не имеют почти никакого значения, поэтому их применение не может рассматриваться только как стратегическая некомпетентность. Германцы сбросили на Великобританию максимально возможное количество бомб, но это никоим образом не отразилось ни на решимости союзников сражаться, ни на их военных приготовлениях. Кроме того, чем больше погибло гражданских лиц, тем больше общество было готово сражаться. Почему же тогда союзники хотели зеркально повторить то, что германцы осуществили в Великобритании?

Они, должно быть, полагали, что их стратегический замысел сработает. В таком случае они были наследниками менталитета «линии Мажино» и стратегии «окопной войны». Подобно Фошу и Хейгу, они были уверены, что если бесконечно атаковать, то можно победить. Пущенные таким образом в расход люди, техника и боеприпасы и являются объяснением, почему война тянулась аж до 1945 года.

Что касается Даудинга, то его имя не упоминалось в правительственных публикациях в связи с его победой, а маршалом Королевских военно-воздушных сил его так и не сделали. Гейвин Стамп указывал, что со времен Нельсона он был

единственным человеком, призванным спасти Британию, и он это сделал⁷. Но наградой ему была травля со стороны штаба военно-воздушных сил, которая, надо ли говорить, крутилась вокруг того, что он был странным и тяжелым человеком.

Кроме тех странных и коротких моментов, когда Паттон, французский генерал Латр де Трассиньи и, возможно, Монтгомери все-таки умудрялись сделать то, что они хотели, оригинальность — генеральская уж точно — была изгнана с европейского театра военных действий. Вместо этого война трудолюбиво корпела над относительно профессионально выстроенными, но воображаемыми линиями фронтов, примерно так же, как во времена Первой мировой. Если бы русские не измотали немцев и так сильно не сократили численность их войск, эта война могла бы идти еще много лет. Как и во время Первой мировой войны оригинальность лучше проявлялась вдали от штабов. На тихоокеанском театре Макартур доказал, что мобильная тактика может быть действенной: он прыгал с острова на остров, не трогая японцев, а оставляя их позади, но уже лишенными сил. И в Бирме генерал Слим провел довольно оригинальную кампанию.

До этого Орде Уингейт, хотя он и был по-настоящему неуравновешенным человеком, предпринял первую на Западе попытку вести партизанскую войну. Его операции в тылу японских войск в бирманских джунглях осуществлялись на основе стратегии, которая в основном была разработана Сунь-цзы, позднее ее авторство ошибочно приписали Мао. «Прыжком нападай на врага из темноты, — писал Уингейт. — «Разгроми его наголову и исчезни в темноте без единого звука»⁸. Еще в 1938 году, будучи убежден, что израильский бог призывает его, он создал для евреев в Палестине военную организацию, которая и по сей день является стратегическим фундаментом их вооруженных сил. Его растущее влияние в Израиле показывает, каким бы оно могло быть, если бы он не был убит в первый день своей второй бирманской кампании. Одной из его сильных сторон было понимание того, что идет борьба между талантом солдата и профессионализмом управленцев; это понимание и помогало ему от них отбиваться. «Основное различие между хорошим и плохим руководите-

лем состоит в том, — утверждал он, — что у хорошего руководителя точное воображение». И все же, если бы он не погиб, защитники профессиональной ортодоксальности, в конце концов, добились бы его, в этом нет никаких сомнений. Стоит только взглянуть, что они делали в его память. Хотя Уингейт никогда не проигрывал сражений, как это случалось с другими генералами на Востоке, зачастую вследствие своей некомпетентности, он единственный командующий, о котором в «Official History of the Japanese War» (Официальной истории японской войны)⁹ написано грубо.

Тот, кто подло преследует хороших генералов, вероятно, совершает это не только потому, что успехи этих генералов сделают очевидной некомпетентность штаба. Это еще и реализация идеи о том, что успешные тактические приемы не следует повторять. Уингейт капля за каплей привил дух своей тактики в Палестине, и она продолжает жить в наше время — через успехи Израиля. Но когда западные армии попытались использовать его наработки, им это не удалось. Ни один Генеральный штаб не сможет освоить тактику потока — конечно, это не тот поток, о котором писал Сунь-цзы: «У войска нет неизменной мощи, у воды нет неизменной формы»¹⁰. Следует помнить, что 1936 году Уингейта не приняли в Академию Генерального штаба.

То, что происходит с современным вооружением, стало частью единого, непрерывного процесса эволюции. И все же анонимность штабистов, если сравнить ее с известностью героических командиров, на которых направлено наше внимание, скрывает это единство. Генерал Максим Вейган — одна из немногих известных фигур среди штабистов, в течение последних пятидесяти лет он был видным деятелем в области вооружений. Именно по этой причине его имя получило такую известность и связывается с возвышением современных военных структур.

Начало его карьеры на изломе века включало следствие по делу Дрейфуса, во время Первой мировой войны он был личным представителем Фоша в Высшем военном совете союзников, в период между войнами начальником Генерально-

го штаба, во второй половине 1940 года Верховным главнокомандующим, который вел Францию к окончательному поражению. Его карьера продолжилась и в послевоенный период, когда он снова выплыл живым и невредимым. Можно сказать, что он был образцовым современным офицером: бесталанным, непреерекаемо самоуверенным, мелочным и геройским во всех военных катастрофах, за которые сам несет ответственность.

После смерти Фоша в 1929 году Вейган стал его естественным преемником, как представитель штаба, со всеми своими новыми и рациональными методами. Еще с юности по своим убеждениям он был классическим правым. Как большинство офицеров, он сочетал в себе преданность армии с антисемитизмом, будучи в оппозиции к капитану Дрейфусу. Но Вейган пошел дальше. Он чтит память полковника Анри, офицера, который лгал, обвиняя еврея для того, чтобы защитить офицерский корпус. Когда де Голль в 1934 году опубликовал свою книгу «Профессиональная армия», Вейган, тогдашний начальник Генерального штаба, увидел в ней угрозу нерациональных нападков на разумную систему со стороны непредсказуемого, а следовательно, неустойчивого и опасного человека. Он сделал все, чтобы заставить де Голля замолчать.

Детище штабов, Вейган едва ли хлебнул настоящей службы. Он выступал за разум, эффективность системы управления, классовые привилегии, антисемитизм и интересы системы, которые должны быть выше истины. Де Голль выступал за республику, открытую отчетность структур, независимо от их принадлежности к любой из ветвей власти. Он владел той разящей иррациональностью, которая проливала свет на правду.

В июне 1940 года, когда все рушилось, система продолжала оставаться рациональной, а Вейган — лояльным ей. Командуя французскими силами, которые уже заканчивали свою битву — было все-таки еще не слишком поздно, — он, должно быть, пытался найти в своем образовании, опыте, рычагах власти, своих возможностях и воображении какой-то способ остановить иррациональный натиск танков Гудериана. Может быть, он вспоминал давно забытые слова и

поступки своего наставника, маршала Фоша. Но ничего не вспомнил. Абсолютно ничего. С другой стороны, как большинство консервативных военных технарей, которые служат государству, он верил, что разрушение существующих структур приведет к социальному взрыву.

Де Голль, в то время заместитель министра обороны, пришел к нему и спросил о планах контрнаступления и обороны. У Вейгана не было ничего. Его тревожили мысли о коммунистическом перевороте в случае, если армия будет разбита, а ее структура разрушена. Поэтому он предложил спасти армию и ее офицерский корпус путем сдачи в плен, пока военная структура еще цела. Де Голль видел ситуацию совсем по-другому. Он почувствовал, что система или сошла с ума, или отказывается исполнять свой долг перед нацией, отдаваясь в руки предателей. Поэтому он и улетел в Лондон, чтобы разрушить систему.

В конце концов союзники победили, а большинство старших офицеров, сгубивших свою репутацию сотрудничеством с государствами Оси, в послевоенной Франции пошли под суд. Из их числа, наверное, только один Вейган выплыл. И сегодня его имени нет в списке людей, которых разрешено критиковать. Над его действиями и репутацией витает вечная неопределенность. Можно сказать, что на самом деле именно неопределенность и есть та аура, которая окружает его, как штабного любимца.

Разве только из стремления как можно лучше угодить шовинизму мы все еще способны сами себе сказать, что во время Второй мировой войны союзники вели себя хорошо. Военные трудности Запада после 1945 года возникли в значительной мере вследствие некой обобщенной формы детского бахвальства, которое позволяло военному истеблишменту поступать так, как будто ничего не произошло, как будто их методы были правильными. Это же касается и германского штаба, который смог приписать свое поражение в 1945 году безумию нацистов. Все они могут сказать, что, вероятно, в Первой войне и были сбои в системах новой формы управления, но во Второй их устранили настолько, что

штабное планирование действительно заставляло обстоятельства меняться. Иными словами, их методы священны, как военная правда.

Штабы и штабные академии в западном мире, однако, не могли не заметить, что после 1945 года их преследует сплошная цепь поражений. Имидж западных армий, которые на протяжении последнего полувека все время из чего-то выпутываются, уже четко зафиксировался в сознании людей. Но события, с которыми это связано, представляются как отдельные. Последние колониальные войны видятся как войны за освобождение. Британские неудачи не увязываются с французскими, испанскими и португальскими. Постколониальные войны тоже отдельное явление. За ними пришли партизанские войны, а затем и террористические. Всего произошло примерно двести конфликтов на пространстве от Индокитая, Алжира и Йемена до Кореи, Ливана, Кубы и Анголы¹¹.

Не очень сведущий наблюдатель, наверное, недоумевает, что же на самом деле происходит. Может быть, имеющие все самое совершенное рациональные армии просто заключили какие-то соглашения с менее совершенными иррациональными армиями, вооруженными как попало и возглавляемыми менее умудренными и менее рациональными людьми? Если говорить совершенно прямо, то в результате эти несовершенные и иррациональные армии регулярно бьют армии совершенные и рациональные. Похоже, что наши эксперты этим даже удовлетворены, вполне в духе французских рыцарей, которые некогда заявляли, что в 1415 году англичанам удалось разгромить их при Азенкуре потому, что они использовали крестьянскую армию, вооруженную большими ножами и неприемлемыми в хорошем обществе длинными луками. На самом деле за последние триста лет многие большие армии — как и посылавшие их передовые общества — терпели поражения от армий, которые, с точки зрения побежденных, были слабее и по численности, и по оснащенности.

Те, кто нас побеждает, не совершают ничего нового. Их действия просто подчинены принципам гибкой стратегии, которая простым и ясным языком описана еще за пять веков до рождения Христа. Наши армии терпят поражение, потому

что они забыли, что побеждать — это их работа. Вместо этого они концентрируют свои усилия на создании структуры, на позиционирование этой структуры по отношению к власти и готовятся к такой войне, которая теоретически будет соответствовать структуре их организации. Они думают, что они маневренны, так как собрали громадное количество мощного и мобильного снаряжения. Но ведь оружие — не живое существо. Его мобильность зависит от воли и воображения командиров. А командиры пребывают в рабстве у методологии и структуры.

Совершенно естественно, что, служа свою литургию, мы ищем оправдания в том, что другие операции были еще более жестокими и плохо подготовленными. Но такие оправдания опровергаются тем, что методы победителя бесхитростны, и в реальности это подтверждается всякий раз, когда европейский военачальник применяет основные принципы стратегии. Когда Макартур совершил марш-бросок за корейцами после высадки в Инчхоне, его вдохновлял именно пример неожиданной высадки Джеймса Вулфа в Квебеке в 1759 году¹². А когда британский командующий Джеральд Темптер переиграл коммунистов во время малайских событий в 1950 году, можно сказать, что он следовал учению Сунь-цзы в толковании Мао Цзэдуна.

«Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней; тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес»¹³. Любая партизанская армия пользуется этой идеей Сунь-цзы, адаптируя ее к своим задачам. Неспособность наших военных структур действовать подобным образом все дальше и дальше уводит нас от разумных действий — и это несмотря на повторяющиеся попытки думающих военных объяснить суть этой проблемы. Эллиот Бейтман попытался сделать это в 1967 году в своей книге «Поражение на Востоке». Она была написана специально, чтобы разъяснить в свете тех трудностей, которые испытывала Франция во время своей кампании в Индокитае, почему и у американцев возникли трудности во Вьетнаме. Ему это не удалось.

Получилось, будто американские штабисты убедили себя в том, что существует некая тройная логика. Во-первых,

французы бедные, старомодные, плохо вооруженные, не имеют воздушной мощи для стратегических бомбардировок. Во-вторых, американская военная машина так сильна, что командиры на поле боя — не более чем ее винтики. Их нужно организовать и настроить на победу при помощи пульта дистанционного управления. Действительно, расстояние и различие между Пентагоном и вьетнамскими джунглями не позволяет управлять иначе как дистанционно. В-третьих, роль командира действующего подразделения так незначительна, что ее можно доверить не самым умным. Еще более цинично то, что, поручив командование людям, менее умным и имеющим худшее воображение, Пентагону было легче их контролировать и манипулировать ими.

В результате применения такой логики самая большая военная машина в истории планеты попала в руки группы командующих. Их, так сказать, наивысшей величиной стал Уильям Уэстморленд, страдавший острой интеллектуальной недостаточностью. Генерал Уэстморленд идеально заменил бы фельдмаршала сэра Дугласа Хейга или маршала Фоша.

В череде своих неудач военные стремились обвинить одновременно и прессу, и народ, и правительство. Однако правда, которую необходимо знать, состоит в том, что, имея много войск и сложнейшую технику, они проигрывали сражение за сражением. Одним из самых тревожных последствий подобных поражений стало то, что солдаты были недовольны своими командирами, и это привело к тому, что тысячи американских офицеров и сержантов были убиты или ранены своими собственными солдатами¹⁴. Большинство офицеров и сержантов были профессионалами, солдаты — призывниками.

Результатом поражения во Вьетнаме стало создание полнотью профессиональной армии. И все же когда частицу этой новой силы послали на карибский остров Гренада сражаться с пятьюдесятью кубинскими солдатами и шестьюстами гражданскими кубинцами, то понадобилось семь полных батальонов и целая неделя времени, чтобы одержать «победу» в бою¹⁵. За время этой операции было потеряно много тяжелого вооружения. Оказалось также, что довольно высок

процент тяжелых ранений, большая часть которых была получена от огня своих же солдат. За эту операцию было вручено 8633 медали — это несколько больше, чем количество участвовавших в ней людей. Похоже, что единственным уроком, который преподала Гренада, стало то, что количество, даже неповоротливое, может компенсировать недостаток качества. Именно поэтому спустя семь лет в Панаму направили 25 тысяч человек. Такое использование слона для расправы с мухой не могло не стать причиной серьезных жертв среди гражданского населения. Но, наверное, можно было ожидать, что такое превосходство, по крайней мере, обеспечит долгий гражданский мир. Вместо него воцарилась анархия, были разрушены целые кварталы города Панама, после чего последовал разгул мародерства и экономический коллапс. Стабильность нарушили настолько, что Панама и до сих пор что-то восстанавливает.

Что касается реформирования американского военного командования, то достаточно было понаблюдать за действиями генерала Максвелла Турмана. Генерал Турман был офицером разведки во Вьетнаме, непродолжительное время занимался артиллерией и больше двадцати лет до операции в Панаме работал в штабе, где занимался личным составом, вопросами реорганизации и обучения. В разгар жесткой панамской операции этот сухой кабинетный офицер в очках отдал себя на суд публики, как это бывает в дешевых фильмах. Он, казалось, не знал, как следует вести себя действующему командиру: то он заявлял, что солдаты — хорошие парни, то клеил на них ярлыки головорезов и вел себя манерно, как персонаж Джона Уэйна.

Несмотря на торжественные слова о своем превосходстве, британцы за этот период ничего лучшего не добивались. У них была только одна безусловная победа — Малайя, 1950 год. Против нее — целая серия поражений: Палестина, Кипр, Аден. Даже высадка в Суэце была проведена настолько неуклюже и с такой несуразной медлительностью, что даже те страны, которым было все равно, долго размышляли, но, наконец, стали оказывать политическое давление с целью остановки операции.

Британцам действительно удалось несколько операций на Фолклендах. Но стратегия и тактика здесь ни при чем. Просто благодаря отдаленности и тому, что у Аргентины плохо обученная и плохо экипированная армия, все можно было сделать так, словно с июня 1944 года и высадки в Нормандии ничего не изменилось.

Та же самая армия до сих пор не способна выполнить свою ответственную миссию в Ирландии. Стандартная отговорка — в Ирландии настоящих боевых действий нет, и правительство не разрешает военным делать то, что необходимо для победы. Но настоящая армия должна уметь действовать в тех ограниченных условиях, которые ей диктует ситуация. Самой важной задачей, поставленной перед британской армией в последней четверти века, стало поддержание порядка в королевстве, и армия обнаружила несостоятельность своей тактики применительно к конкретной ситуации.

Французы разработали определенную тактику быстрого реагирования для действий в своих бывших колониях в Африке. Но все основные операции, осуществленные их армией после 1945 года, были провалены или выиграны такой ценой, что политически победы пользы не принесли. Алжир — самый яркий пример того, как победа была упущена только потому, что была неправильно избрана тактика. Недавние операции: интервенция в Ливане, инцидент с гринписовским «Рэйнбоу Уорриор», резня в Новой Каледонии — показали, что французы приспособились к современной военной реальности лишь немного лучше, чем британцы или американцы.

Эти примеры свидетельствуют о том, что технический прогресс и рациональные действия не всегда следуют за умными и либеральными реформами. То же касается жестокости и разрушений. Главное в них то, что они равнодушны к оценкам и благоволят к посредственности, основными качествами которой являются амбиции, самоуверенность и талант подтасовывать факты.

При таком положении дел продолжают надеяться на восхитительный интеллектуальный трюк. Рассуждение обращается к современной реальности, которая опирается на свои

системы и методы. Ум же полагается, прежде всего, на практичность. Даже чистое исследование является формой практики, так как стремится исполнить, а не управлять. Практика, как ее понимают представители системы, не преемственна. Она стремится исполнить действие, а не продолжить его. И поскольку действие не преемственно, оно также и ненадежно, а значит, доверять ему не следует. Ум солдата всегда пробуждал в Наполеоне чувство страха — он боялся солдата, который умеет сражаться.

Чтобы офицеру доверили солдат и снаряжение, он должен быть современен, но не умен и не компетентен. В этом случае в боевой ситуации скорее всего не возникнет риска потери солдат и снаряжения. Современные армии создаются, чтобы воевать в абстрактном смысле этого слова. И следовательно, способность побеждать, если возникает необходимость, — забота второстепенной важности.

Наши военные озабочены, прежде всего, системами управления, а не достижением победы, что вполне естественно приводит к тому, что военные управленцы подменяют стратегию технологией. Такой симбиоз методики и техники автоматически влечет за собой стремление принимать обобщенные и неоспоримые решения. Начиная с педантично исполненной Китченером операции в Судане, через стратегические бомбардировки двух мировых войн, до чрезмерных жертв Гренады, Панамы и Ирака, эта тенденция подтверждается вновь и вновь.

Интересный пример того, как подобная система может исказить простейшую военную операцию, случился на обочинах вьетнамской войны. Удаленные от мест основных событий участки для северных вьетнамцев имели особое значение, так как через них они перебрасывали с места на место войска и технику. Особые трудности в этих местах были связаны с тем, что там живут горные племена, скрываются маргинальные группы националистов, производится опиум, имеются тайные тропы и сложный рельеф: обычно это — поросшие джунглями холмы. Преодоление даже небольшой на первый взгляд трудности порой оказывается весьма сложной

проблемой. Вскоре стало очевидно, что западная система не способна решать такие мелкомасштабные задачи. Она не способна даже составить план действий на таком уровне.

Офицеры, которые были вынуждены заниматься прифронтовыми проблемами, обнаружили, что общих решений не существует. Нет никакой возможности для движения крупных войсковых соединений. Некуда вложить крупные средства, чтобы решить проблему переселения, образования или обучения милиции. С другой стороны, существовали бесконечные возможности для реализации мелких, отдельных проектов, что могло бы оказаться исключительно эффективным в таких тонких обстоятельствах.

Однако любые запросы о финансировании проекта стоимостью, скажем, 25 тысяч долларов отклонялись в Сайгоне или Вашингтоне. Система армейского планирования не могла иметь дело с конкретной проблемой, касавшейся одного небольшого горного племени.

Особенно красноречивый пример связан с попыткой строительства во Вьетнаме укрепленных деревень («стратегических деревень» — *прим. ред.*). Этот проект восходил к одному из немногих успешных нововведений генерала Джеральда Темплера, осуществленных во время волнений в 1950 году в Малайе. Идея состояла в том, чтобы защитить сельское население на территориях, где влияние коммунистов особенно сильно, и постепенно укреплять их деревни. Так крестьяне избегают угрозы нападений со стороны партизан, которые обычно совершали свои рейды ночью. В дневное время они далеко от полей не уходили.

Крестьяне во Вьетнаме страдали от такой же напасти. И американский штаб в Сайгоне полагал, что сможет изменить положение дел к лучшему. Построили несколько совершенно новых деревень в безопасной зоне. Планировалась и была выстроена сложная система обороны. Армия вывозила крестьян из зон коммунистического влияния в безопасные места.

Проект «Укрепленная деревня» был технически сложным, дорогим и требовал решения многих административных проблем, без существенного участия военных. Особой защиты деревни не требовали. К сожалению, сайгонский

штаб провалил саму идею предприятия. Вместо того чтобы завоевать доверие крестьян, принялись опустошать деревни. Крестьян не защищали в их домах, а захватывали и свозили в какие-то странные места вдалеке от родных полей. На бумаге все выглядело замечательно и вполне соответствовало результатам, в духе современных методов управления. Все были убеждены, что очень ограниченный по бюджету британский план был существенно улучшен. Разумеется, вся эта затея с треском провалилась.

Подобные великие проекты, направленные на решение мелких проблем, являются следствием безудержного стремления к эффективности. Это понятие можно трактовать двояко. Во-первых, это свойство, измеряемое соотношением цены и качества. Например, какова цена обеда по отношению к качеству приобретаемой пищи? Во-вторых, если продукции производится много, то каждая единица продукта стоит дешевле: например, гамбургер в ресторане «Макдоналдс» может быть и не так хорош, но он дешев, так как их производится много.

Большинству людей приятно верить, что в случаях первого соотношения они получают выгоду. Конечно, мифология, распространяемая рекламой, редко сообщает о больших объемах производства, но никогда не забывает подчеркнуть соотношение качества и цены. Понимание штабным офицером эффективности не слишком отличается от понимания ее современным торговцем, если судить о качестве товаров массового потребления по рекламе. Так, например, Пентагон верит, что более эффективно профинансировать программу образования для горных племен стоимостью в пять миллионов долларов и отклонить программы стоимостью в двадцать пять тысяч. Точно так же понимают эффективность, когда посылают войска воевать. Больше людей и больше снаряжения — это эффективно. При таком подходе есть уверенность, что работа будет выполнена.

Французские и английские офицеры напрасно будут уверять, что так транжируют ресурсы американцы — это у них от американского процветания. Как бы кого-то эта идея ни утешала, но анализ двух мировых войн показывает, что конвей-

ер по производству вооружений был изобретен Генеральными штабами Германии, Франции и Англии. А не Пентагоном и Генри Фордом.

Замена офицеров, имеющих стратегические таланты, на офицеров, имеющих пристрастие к количеству, почему-то напоминает то, что происходило в армиях европейских монархий в конце восемнадцатого века. Гибер писал о дореформенной французской армии 1773 года: «Мы создали мундир, который вынуждает солдата и офицера тратить три часа в день на *туалет*, что превратило военных в расчесывателей париков, наводчиков блеска и лоска»¹⁶. Но действительной проблемой был не изысканный мундир. Поскольку в военном руководстве конца восемнадцатого века было полным-полно придворных, понятия не имевших о войне, то существовала подсознательная надежда, что солдаты настолько прочно будут отождествлять себя со своим мундиром и своим полком, что это чувство принадлежности заставит их добровольно стройными рядами маршировать на открытой местности под пулями. В наше время в качестве *туалета* вместо мундира ввели оружие. Существует неписаная теория, что, если солдат «хорошо вооружен», никто не заметит, что его не научили побеждать в войне.

Преимущество маленьких мобильных армий касается и оружия, и солдат. Наполеон, несмотря на свою репутацию артиллерийского офицера, в эпоху, когда артиллерия изменила характер войны, не очень интересовался новыми видами оружия. Он отказался от использования шрапнели и воздушных шаров. Он придерживался простых вещей, чтобы сохранять мобильность. Он чувствовал, что его солдаты могут усвоить и какое оружие им по плечу. Это оружие должно быть естественным продолжением солдата, а не наоборот. Если оружие будет слишком сложным для солдата, он не сможет действовать естественно и быстро.

Обожествление современными армиями количественного фактора и приоритета техники поставило такие отношения с ног на голову. И офицер, и солдат, да фактически целые армии, превратились в придатки своего оружия. Два инцидента за одну неделю весной 1987 года и третий летом

1988 года ясно продемонстрировали, как опасно стать придатком технического устройства.

Первая катастрофа случилась с американским фрегатом «Старк», который курсировал в Персидском заливе, выполняя задачи по обеспечению прохода танкеров с нефтью между противоборствующими силами Ирана и Ирака. К фрегату приблизился иракский истребитель «Мираж». Команда держала «Мираж» под наблюдением в течение трех минут. Затем истребитель выпустил две ракеты «Экзосет», которые попали в цель и серьезно повредили фрегат. Было убито тридцать семь моряков. «Мираж» безнаказанно улетел.

Поднялся скандал в прессе. Почему с фрегата не открыли стрельбу ни до, ни в ответ на атаку, ни после нее? Весь экипаж находился на своих местах. Корабль был оснащен противоракетной системой, которая может перехватывать ракеты «Экзосет».

А дело было в том, что исключительно сложную противоракетную систему отключили, потому что если она включена, то огонь по любому приближающемуся самолету открывается автоматически. А над Персидским заливом находилось много самолетов. Некоторые были военными, но своими, другие — гражданскими. Кроме того, фрегат дважды посылал истребителю предупреждения. На это ушло две минуты. Противоракетная система приводится в готовность за девяносто секунд. Следовательно, с момента приведения в боеготовность до первого попадания ракеты, выведшей из строя электронику, оставалось еще тридцать секунд. Как только включили резервное питание, взорвалась вторая ракета.

В данной цепи обстоятельств не было технического сбоя или ошибок экипажа. Однако приборы носовой надстройки блокировали работу собственных противоракетных датчиков и вооружения. Значит, в случае приближения подозрительного самолета фрегат должен развернуться кормой так, чтобы противоракетная система могла обнаружить любые выпущенные по кораблю ракеты. Когда все точно подсчитали, было установлено, что оставалось достаточно времени для того, чтобы развернуть корабль, обнаружить ракету и выстре-

лить. Секунд хватало. Ну а что фрегату делать, если два подозрительных самолета приближаются к нему с противоположных сторон, остается проблематичным.

Военные специалисты проанализировали этот инцидент. Они установили, что имела место ошибка экипажа. Вследствие этого капитана отстранили от командования и уволили из военно-морского флота. Но если разобраться в том, сколько сложных реакций требуется, чтобы считать показания многочисленных приборов и выбрать те немногие, на которые необходимо отреагировать, возникает другой вопрос. У капитана была реальная возможность открыть огонь или только теоретическая? Чисто теоретически, несмотря на сложные обстоятельства, у него оставалось всего несколько секунд, чтобы развернуть корабль, оценить информацию и приказать включить противоракетную систему. На самом деле замечательное снаряжение, защищавшее «Старк», представляло собой чисто теоретическую защиту, не приспособленную для того, чтобы даже хорошо обученный экипаж мог легко ее использовать в случае возникновения реальной опасности.

Через несколько дней молодой гражданин Западной Германии на одномоторном самолете «Сесна» перелетел из Финляндии через российскую границу. Он проник в советское воздушное пространство, преодолел все линии противовоздушной обороны и, пролетев 680 километров до Москвы, покружил над Красной площадью, над мавзолеем Ленина и приземлился у Кремлевской стены. Советы ничего не объясняли, а западные эксперты высказали предположение, что советские радарные системы не могут обнаруживать ни низко, ни медленно летящие самолеты, в частности из-за того, что высокие деревья закрывают экраны радаров. Все, однако, согласились, что ошиблись люди, а не система, и несколько человек было уволено.

В июле 1988 года опять в Персидском заливе американский крейсер «Винсент» сбил иранский аэробус, погибли 290 гражданских пассажиров. После первых, сбивающих с толку извинений со стороны военных и американских политиков, американский военно-морской флот выпустил тысяче-

страничный доклад, в котором все свели к тому, что виноват вахтенный офицер. За это он получил письменный выговор командования, который никак не влияет на его дальнейшую службу. Но если это была ошибка, тогда почему наказание оказалось столь незначительным? Если же он не был виноват, зачем тогда выносить выговор? Ответ, как представляется, состоит в том, что военные предпочли обвинить человека, а не технику: техника настолько сложна, что не смогла отличить огромный аэробус от маленького истребителя. Больше всего они хотели избежать критики системы «Иджис». Военно-морской флот вложил в нее 46 миллиардов долларов и оборудовал ею пятьдесят шесть крейсеров и эскадренных миноносцев.

А тем временем двадцать тысяч человек на двадцати пяти гигантских американских кораблях в Персидском заливе замерли, как динозавры. Они почти не могли передвигаться из-за мин, расставленных маленькими деревянными плашкоутами. Они не могли включить электронное оборудование из страха, что все вокруг начнет взрываться, в том числе свои корабли и самолеты. Вскоре после инцидента со «Старком» и примерно через год после инцидента с «Винсентом» адмирал Карлайл Трост, руководитель военно-морских операций,отреагировал на общую ситуацию, употребив магическую формулу: военно-морские силы не заказывают маленькие корабли, потому что это не эффективно с финансовой точки зрения¹⁷.

Проблемы с неуправляемой техникой в последнее десятилетие возникали постоянно. Спасательная операция в Иране не удалась, так как не работали вертолеты. В Гренаде большой процент техники вышел из строя из-за сбоев в работе оборудования. Когда в Бейруте американские морские пехотинцы вернулись на свои суда после того, как в их лагере взорвался автомобиль, унеся 240 жизней, обнаружилось, что, пока суда стоят в гавани, на них не будет включена радарная система. Пришлось расставить по всей палубе моряков с переносными ракетными комплексами, чтобы отслеживать низколетающие самолеты и быстроходные суда.

Ричард Габриэль в своем исследовании о недавних американских военных операциях пришел к выводу, что излишняя

привязанность к военному снаряжению промышленного производства калечит армию. Противотанковая ракета TOW не срабатывает в 30 процентах случаев; ракеты «Сайдуиндер» дают 35 процентов сбоя, а «Спарроу» — 25 процентов. Фактически получается, что природные импульсы технократа и императивы технологии настолько отделились от человеческого сообщества, что уже никто не может сказать, где кончаются технические исследования и начинается работа технического изделия на человека.

Все большее количество военного снаряжения слишком рано покидает пределы исследовательских полигонов. Его начинают использовать на практике и не учитывают человеческий фактор, то есть что человек может сделать в той или иной ситуации. На бумаге западные армии имеют замечательный арсенал. В реальности его большая часть в случае войны бесполезна, если, конечно, враг не переоснащен в такой степени, что как противник уже не важен. Ясно, как день: его слишком сложно использовать.

Даже винтовка М-16, которой вооружен американский солдат, слишком «усложнена» — это слово употребляется специально, чтобы в случае отказа оружия можно было переложить ответственность на солдата. В идеальных условиях М-16, без сомнения, лучшая винтовка в мире. В реальных условиях ее часто заклинивает. Партизаны во всем мире, а они воюют в сложных условиях, предпочитают использовать «Калашников», хотя он не способен и на четверть того, что обещает М-16. Военные плановики на это ответят, что партизаны не так «сложны», как западные солдаты. В большинстве случаев это неправда. Средний европейский солдат много учится, но имеет мало практического опыта. Каждый партизан знает, что он может и чего не может при реальном использовании оружия.

Проблема Запада в том, что в настоящее время оружие разрабатывается без учета того, как человек будет пользоваться им в какой-то реальной ситуации. Современный штабной генералитет настолько озабочен получением как можно большего количества сложного оружия, что часто планирует выложить максимальную сумму за само оружие,

не оставляя резервного фонда на покупку запасных частей и обучение личного состава.

В результате в 1985 году военно-воздушные силы США имели 7200 самолетов без средств для поддержания их боевой готовности. У них также не было в Европе баз, способных принять оборудование, которое необходимо развернуть в случае возникновения кризисной ситуации. У них было только само оборудование¹⁸.

Это неумное желание иметь как можно больше самого нового, самого сложного оборудования можно назвать «комплекс армады». Это правда, что пока еще бюджеты других западных армий ограничивают безумие генералов-собирателей, сам «комплекс армады», тем не менее, является причиной общей озабоченности западных военных кругов.

Победа Запада над Ираком, казалось бы, сняла беспокоящие всех вопросы о военном руководстве, стратегической компетентности и о непрактичном военном снаряжении. Всего один успех, и позор десятков проигранных кампаний и плохо руководимых войн был смыт. Но нет ничего хуже, чем уверенность, основанная на ложной интерпретации событий. И война, в которой одна из сторон отказывается сопротивляться, — это не победа другой стороны, если к тому же в последовавшее мирное время проигравший остается при власти. Вместо того чтобы демонстрировать благодушную самоуверенность, нам бы следовало задуматься о том, какие качества западных армий продемонстрировала эта война.

Во-первых, вопрос мобилизации. Мы провели мобилизацию, как для мировой войны, и смогли доставить на передовую войска и снаряжение со всего мира без военного противодействия со стороны врага. Мы месяцами делали это с легкостью, подчеркивая таким образом, что наш противник настолько ничтожен, что ни стратегически, ни даже пропагандистски не готов к мировой войне.

Во-вторых, мы предприняли длительную кампанию безнаказанных бомбардировок, которые, как сообщали официальные источники, впервые были точными и эффективными, так как применялись «умные» бомбы. В действительнос-

ти только семь процентов из 88 500 сброшенных бомб оказались «умными»¹⁹. У нас нет информации, насколько умными они были на самом деле. Общественность видела успехи только в видеозаписи. Мы, однако, знаем, что, несмотря на неоднократно повторенные генералом Шварцкопфом заявления о том, что «нам удалось нейтрализовать стационарные установки» ракет «Скад», на самом деле половина из них оставалась в рабочем состоянии²⁰. Что касается остальных 93 процентов бомб, сброшенных союзниками, то у них процент попаданий был традиционным: 25 процентов. Иными словами, кампания бомбардировок не очень отличалась от налетов Первой мировой войны и стратегических бомбардировок Второй мировой войны, когда было множество жертв и промахов в ударах по военным целям. В ходе иракской войны были уничтожены некоторые военные объекты и большая часть гражданской инфраструктуры. Мы совершенно не представляем, казалось ли это решающим образом на способности иракцев продолжать войну. Последующие события демонстрируют, что иракская армия серьезного урона не понесла. Даже короткие столкновения на земле показали, что массированные длительные ковровые бомбардировки серьезно не повлияли на последующее развитие событий. Например, целые полки, не попавшие под бомбардировки сдавались без единого выстрела. Сейчас выясняется, что армия Саддама Хусейна, за исключением его республиканской гвардии, с самого начала не желала воевать. Наши военачальники возражали, утверждали, что они были вынуждены действовать так, как если бы враг был готов воевать, поскольку другой информации у них не было. Иными словами, западная разведывательная сеть не функционировала. Армия не может разумно воевать, если у нее нет точной информации о противнике.

В-третьих, совсем не очевидно, что наша техника проявила себя хорошо. Поскольку наши армии могли рассчитывать на восполнение израсходованных боеприпасов и замену снаряжения из общих запасов западного блока, то нельзя говорить, что она действовала в стесненных обстоятельствах реальной войны, имея в виду серьезные проблемы в случае не-

обходимости замены снаряжения. По опыту мы знаем, что насчитывается до 25 процентов случаев отказа. Наши вооруженные силы имели настолько роскошный резерв, что даже высокий уровень отказов большого значения не имел.

В-четвертых, стратегия наземного вторжения была почти стандартной. Нам благоприятствовал фактор неожиданности, хотя бы уже потому, что противник, по сравнению с нами, был настолько отсталым, что не мог получать никакой информации из-за границы. То, что нам представили как быструю и дерзкую наземную операцию, на самом деле являлось плановыми маневрами против врага, который только и ждал, чтобы сдаться или, как в случае с республиканской гвардией, ушел в подполье на время наших активных боевых действий.

Стратегия использования живой силы, техники и методы управления войсками, примененные в ходе этой войны, на протяжении полувека отрабатывались в расчете на европейский театр военных действий. Сейчас мы мудры тем, что с распадом Варшавского договора и Советского Союза «холодная война» закончилась. Однако основные противоречия между Востоком и Западом сохраняются, а вместе с ними — и между военными инфраструктурами.

Чтобы оценить последствия иракской кампании, нужно представить ее с точки зрения реального противника, вероятнее всего, европейского. Для начала нужно избавиться от высокомерия. Шесть недель стратегических бомбардировок обернулись бы шестью неделями бомбардировок с другой стороны. Сосредоточение войск и снаряжения вдалеке от линии фронта было бы невозможно вследствие того, что противник имеет возможность наносить удары на значительную глубину. Без быстрого перехода в наступление обе армии понесли бы серьезные потери. Расход боеприпасов зависел бы от возможностей снабжения. Стратегические переброски любой армии в любом направлении немедленно отслеживались бы со спутников противника.

Два отдельных примера дадут более реалистичную картину нашей ситуации. Главная счетная палата США в январе 1991 года составила доклад, из которого следовало, что аме-

риканская армия так плохо оснащена и обучена на случай химической войны, что более 50 процентов подвергшихся падению войск погибнут²¹. Нет причин полагать, что союзные армии были готовы лучше. Второй вывод касался ракеты «Пэтриот» — звезды технологической войны. Сейчас выясняется, что ее параметры не соответствуют тому, о чем сообщалось во время войны. Сто пятьдесят восемь «Пэтриотов» понадобилось, чтобы накрыть сорок семь ракет «Скад». Попадания не разрушали их боеголовки. Вместо этого они приходились по топливному цилиндру, причем по той его части, в которой топливо было уже израсходовано. В результате боеголовка просто отклонялась с курса. Как только начали использовать ракеты «Пэтриот», количество жертв и разрушений в Израиле увеличилось в несколько раз²².

Президент Буш настойчиво сравнивал Саддама Хусейна с Гитлером и в своем послевоенном обращении к государственным профсоюзам упорно сравнивал военные действия в Ираке со сражениями в двух мировых войнах: «До этого весь мир уже дважды сотряснулся войной». Не будем обращать внимание на подобную риторику, она настолько чрезмерна, что оскорбляет наш ум. На самом деле выверенные методы Запада, примененные в Ираке, обернулись бы катастрофой, если бы нам противостоял настоящий противник. И даже в качестве стратегии для освобождения Кувейта они оказались неприемлемыми. Иракцам дали максимум времени, чтобы они могли подготовить разрушение городов и нефтяной инфраструктуры, а затем нанесли им поражение таким образом, чтобы они осуществили эти разрушения. Эта настоящая катастрофа была еще более усугублена тем, что иракцы отказались сражаться после нового захвата власти дома. Еще хуже то, что эта война не только не решила проблем, которыми она была вызвана, она спровоцировала в регионе массовый рост вооруженных сил и гонку вооружений. Иран, к примеру, перевооружается. Тем не менее, впервые, насколько помнится, Пентагон не саботировал свою армию. Это стало следствием личного решения генерала Колина Пауэлла, председателя Объединенного комитета начальников штабов, который просто проигнорировал мнение официальных

структур Пентагона. Иными словами, реформы не было, только единичный случай исключения из правил.

Во многих смыслах победа над Ираком прозвучала как жуткое эхо британской победы над Махди в Судане в 1898 году. Китченер, внешне колоритный командующий, на самом деле был медлительным и предсказуемым. После двух лет подготовки к сражению он одержал легкую победу над плохо оснащенными отрядами противника, у которого не было даже пулеметов. Махдисты понесли тяжелые потери. У британцев потерь почти не было. Был драматический кавалерийский рейд, чем-то напоминающий недавний танковый рейд, который на итоги войны не повлиял. Это, однако, был весьма захватывающий эпизод. Эта победа дала британцам основания верить, что они на правильном военном пути. В результате они все испортили в южноафриканской (Англо-бурской — *прим. ред.*) войне и устроили бойню в 1914–1918 годах. Подобные сравнения никогда и никого не удовлетворяют вполне. Но если их все-таки приводить, удастся, по крайней мере, слегка поумерить триумфаторский пыл.

Раздутый офицерский корпус Запада прошел путь от мифа о современной организации до мифа о современном управлении. Ныне в штабах налицо все синдромы бюрократизма. Отношение к работе по принципу «с девяти до пяти». Единогласная защита каждого члена коллектива. Неумение реагировать на информацию, указывающую на сбой в работе системы. Руководство редко оценивается так, как того заслуживает. Управление армиями сознательно осуществляется методами бизнес-менеджмента. Не будет преувеличением сказать, что офицеры сейчас лучше разбираются в системах менеджмента, чем в вопросах военной тактики.

В этом «предпринимательском военном корпусе, — пишет Ричард Габриэль, — конкуренция и карьеризм заставляют каждого офицера заниматься самим собой... Системе сейчас нужны менеджеры по подбору персонала, и они перестроили систему присвоения званий и поощрений в систему поощрения бюрократов от менеджмента»²³. Списки присвоения очередных званий контролируются штабными офицерами,

которые или вовсе не участвовали в боевых действиях, или почти не имеют боевого опыта.

Не удивительно, что военные организации Запада не в состоянии адаптироваться к тому, использовать мобильные, маленькие, легко вооруженные армии, которые будут сражаться не по традициям рационализма. Озабоченный менеджментом офицер, скорее всего, не понимает, из-за чего происходят конфликты. А также, каковы должны быть мотивации офицера, участвующего в таком конфликте. Или как в таких войнах разворачивается цепь событий. Эти тайны Третьего мира ниже уровня их сложного мастерства.

Когда утром 25 апреля 1980 года американский министр обороны был вынужден говорить о катастрофической неудаче сотни с лишним человек, отправленных в Иран для спасательной операции, примерно 35 тысяч штабных офицеров и прочих военных стояли в коридорах Пентагона, следя за его выступлением на висящих под потолками экранов телевизоров. На их лицах было любопытство и растерянность²⁴. Им говорили о мире, которому нет дела до их обычаев и системы, — реальном мире, который им часто приходилось представлять на бумаге. Почти каждая американская военная операция за последние сорок лет очень подробно обсуждалась в тысячах офисов этих коридоров. Министр обороны сообщал своему штабу, что их представление о том, что такое Иран, привело их к катастрофе. И всем в Пентагоне сразу стало понятно, что ошибку совершили люди, там на земле.

Несколько лет спустя, когда межведомственный комитет США бодро представил планы вторжения на Гренаду, каждое подразделение, принимавшее участие во вторжении, должно было исполнить свою маленькую задачу. Такая задача была поставлена перед каждым отделом каждого ведомства, представленного в комитете. По сложности операция была сопоставима с высадкой десанта в Нормандии, и удалась она лишь потому, что десант не встретил даже намека на сопротивление. Значительная часть из 8633 медалей была вручена людям, которые планировали эту операцию, но сами в ней не участвовали. И это не в первый раз. В 1970 году во Вьетнаме

было вручено 522 905 медалей, это в два раза больше, чем весь американский контингент в Юго-Восточной Азии²⁵.

Если все это, касающееся западных армий и их реальных возможностей, правда, то как обстоит дело со сложной паутиной ядерных вооружений, которой мы опутаны? Вполне вероятно, что большая часть систем доставки вообще не работает, равно как и большая часть оборонительных систем. Следует признать, что как бы то ни было, но защищаться от ядерного оружия гораздо сложнее, чем сбрасывать бомбы на противника. Узнать, так ли это на самом деле, у нас возможности не будет. Но предложение о «звездных войнах», если его рассматривать с этих позиций, вдруг окажется не имеющим ничего общего с ядерным оружием. Оно относится к области мечтаний кабинетного офицера: колоссальные запасы оборудования, непонятного никому, кроме экспертов, и практически неприменимого в реальной ситуации.

Самое смешное в военной истории — это тот факт, что заслуга побед в конечном итоге всегда достается придворным — мастерам по части словоблудия и умения рядиться в одежды победителя. А поскольку сами они ничего не понимают в стратегии, им не трудно убедить себя в том, что они действительно усвоили тактику победителя. Наши западные штабные генералы, вероятно, верят, что они — наследники тактики мобильности, глубоких операций, быстрых танковых рейдов и герои последней мировой войны.

Это подтверждается настойчивостью, с которой они создают все более и более сложные вертолеты. Эти машины живут по собственной логике, вне зависимости от доказанных боевых характеристик. Какое бы новое оборудование на них ни устанавливали, вертолет все равно имеет один фатальный недостаток: его можно сбить одним выстрелом из обыкновенного ружья. Вертолеты сейчас используют во всех войнах, они часто гибнут и никогда не наносят противнику ощутимого вреда. Но есть мнение, что вертолет — это современный танк. И следовательно, процент потерь не имеет значения.

Если бы Лиддел Гарт, Фуллер, Гудериан, де Голль и Дорман-Смит, не говоря уже об Уингейте, стали излагать в ны-

пешней штабной академии осовремененную версию своих взглядов, версию адаптированную к текущим обстоятельствам, их бы со смехом выставили из аудитории. А если бы они попытались повлиять на стратегическое планирование, отсл кадров быстро отправил бы их подальше, найдя для этого вакантные должности в провинциальных воинских частях.

Шарль де Голль был одной из самых удивительных жертв современной болезненной привязанности к менеджменту и технологиям. Он был одним из великих стратегов, добившихся реальной власти. Как у президента Французской Республики у него был шанс осуществить идеи, которые он впервые изложил в своей книге «Профессиональная армия» еще за тридцать лет до этого. Де Голль пришел к власти в 1958 году, когда армия восстала против гражданских властей. Этот мятеж якобы был вызван событиями в Алжире. На самом деле эти события были лишь частью большей проблемы, состоявшей в том, что французская армия не могла смириться с республиканским и демократическим правлением в стране. По правде говоря, традиционный офицерский класс — этакая странная смесь дворян и штабистов — продолжал командовать военной техникой точно так же, как он это делал, начиная с 1914 года.

Став президентом республики, де Голль хотел создать высокотехнологичную армию — современный вариант прежних танковых войск. Ей управляло бы новое поколение офицеров — технарей, которых выдвинет не дворянство и не штаб и которые не будут воспринимать армию как частный клуб. Они станут первым поколением действительно аполитичных офицеров в истории Французской Республики. То, что они отделены от политического процесса, позволит им обеспечить политическую стабильность. Так, по мысли де Голля, наверняка решится вечная беда Франции: проблема взаимоотношений гражданского общества и военных.

Этих новых офицеров насколько возможно быстро обучили и назначили на высокие должности. Начальник штаба генерал Шарль Эйере сам имел техническое образование. Он отвечал за разработку новых типов вооружений. Фактически

он был «отцом» французской атомной бомбы. Старый штаб и старый офицерский корпус сопротивлялись этому настолько активно, насколько позволяли обстоятельства. Они боялись, что им не останется места рядом с технически образованными профессионалами. Особенно активно они возражали против создания ядерных сил, которыми будет командовать лишь кучка людей. А президент получит прямой контроль над военной машиной, и нужда в центральном штабе полностью отпадет.

К 1969 году, когда де Голль отошел от власти, было ясно, что он победил. Было также ясно, что его победа оказалась не такой, как ожидалось. Новые офицеры-технократы были выходцами из среднего класса. Они обнаружили, что заключены в систему офицерского корпуса, но не наполнены традиционной мифологией дворянского офицерства. Технократией эмоциональный комфорт не предусматривается. Не научив плавать, их бросили в море, которое принадлежало не им. Они и приплыли к берегу, которым оказалась самая рутинная система взглядов и преданность вооруженным силам. Корпоративная преданность отделила их от более широких социальных и классовых обязательств.

Подъем заиклиженного на самом себе технократического, ориентированного на штабную работу офицерства, изолированного от общества в целом, ни в коей мере не является чисто французским феноменом. Это явление свойственно всему западному миру, и особое беспокойство он вызывает в Соединенных Штатах. Там новыми офицерами все чаще становятся дети из семей старшего сержантского состава. Эти молодые люди, воспитанные на спортивных площадках военных баз и в мире эмоций военной мифологии. У них нет связей в среде старшего офицерства. Они также не связаны со средой своего круга по той простой причине, что военная профессия с ее четкой системой привилегий приподняла их — рядовых, сержантов и офицеров — выше уровня, подобающего людям их происхождения.

Вне их мира все общественные программы — образовательные, социальные и по оказанию юридической помощи — рухнули во всех Соединенных Штатах. Вооруженные силы

остались единственным местом, где каждый получает свою долю в размере социалистического патернализма. Для американских бедняков и представителей низших слоев среднего класса жизнь в армейской среде гораздо лучше, чем в гражданской. Интересы офицерского корпуса, сформировавшиеся в своей атмосфере, соответствуют тому миру, который им известен.

В случае с Францией, президент де Голль еще до того, как покинул свой пост, заметил, что офицерский класс стал более лояльно относиться к левым силам. Новые офицеры не отвечали тем требованиям, которые он выдвигал в связи с новой стратегией. Они начали реформировать то, что было устроено просто и четко: структуру ядерных вооруженных сил и современных механизированных войск, превращая эти структуры в чрезвычайно сложные и вялые абстракции. Они стали усиливать давно существовавшее сопротивление штаба политической власти, решив, что таким образом смогут оказывать давление на политиков, чтобы иметь постоянный приток новых вооружений.

В частности, им понравилась танковая стратегия, которой так сопротивлялись старые генералы. Они просто влюбились в танк — чудесный образчик тяжелой и сложной техники, которую можно начинить огромным количеством оружия. Увидеть в нем статичное отражение стратегии, а не боевое оружие, было для них лишь вопросом времени. И такой путь прошли все западные армии.

Все ядерные доктрины ожидала та же судьба. «Гибкое реагирование» утратило всякую гибкость. Этот термин, заимствованный из словаря стратегии благоразумия, исказили, чтобы он стал означать «пошаговый ответ». А такой способ ответа — это в точности то, что было во время Первой мировой войны: эшелонированная оборона, для которой требуется масса бомб, снаряжения и людей в бесконечных вариантах по количеству и сочетанию.

Вот почему европейцы сразу поняли суть стратегии, впервые представленной Макнамарой в 1960 году. Они поняли, что стратег имел в виду уничтожение Европы, прежде чем американцы начнут рассматривать возможность серье-

езных ответных действий. Но истина постепенно ускользнула от штабных планировщиков, стала гипнотически зависеть от бесконечного количества блокирующих устройств, которые будут задействованы при предлагаемом «гибком реагировании». Сложная ядерная стратегия вместе со стратегическими доктринами других западных стран неизбежно превращалась в современную версию «линии Мажино». В частности, американская ракетная система МХ, с ее специально оборудованными рельсовыми путями, по которым ракеты возят согласно утвержденной схеме, стала явной пародией на систему сооружений прежней «линии Мажино». А программа СОИ, если бы ее можно было осуществить, стала бы огромным памятником той же самой статичной обороне.

Реакция военных на недавние соглашения по сокращению ядерных вооружений в Европе стала иллюстрацией такого подхода. На самом деле им совершенно ни до чего нет дела, пока они получают все больше компенсации в виде обычных вооружений. Сначала это казалось разумным: распад Варшавского договора, а затем и Советского Союза подстегнул детский энтузиазм Запада, и создалось впечатление, что все, что находится к востоку от ЕЭС, можно взять и присвоить. Но если очень внимательно вслушаться в суть требований наших военных в области обычных вооружений или в их озабоченность возможным сокращением обычных вооружений, возникает странное чувство. Похоже, им нравится идея о меньшем количестве атомных бомб и опоре на танки и артиллерию. В этом слышатся отзвуки неудовольствия старого штабиста, вызванного ростом значения ядерных вооружений, что отнимало власть у штабов и отдавало ее политикам. В Европе, которая ныне переполнена вновь образованными неустойчивыми государствами, дипломатические и военные отношения с которыми не будут стабильными еще не менее десятилетия, возвращение к танкам и пушкам позволяет сохранить надежду на управляемую из штабов армию и устаревшую стратегию типа «задави врага».

Такого рода удушающая бюрократическая структура, которая в вооружениях видит войну, подобно тому как

многие аристократы отождествляли войну с протоколом и мундиром, превратила прямолинейную и жестокую реальность в абстракцию. Постепенно была разрушена четкая идеология офицера, согласно которой он сражается для того, чтобы победить. Это, в свою очередь, завуалировало ту прямолинейность, с которой можно просить солдата riskовать своей жизнью. Войны между тем продолжались, неся смерть, поэтому стало очевидно, что что-то должно возникнуть в противовес атмосфере темной абстракции. Что-нибудь утешительное. Возник эмоциональный выплеск по имени храбрость.

Мужество или храбрость стали столпом мифологии национального государства. В более ранние времена «служба» и «рыцарство» играли важную роль. Храбрость была простой характеристикой солдата победоносной армии. Она была не более важна, чем ум, гуманность, профессионализм и иные личные качества.

Но по мере усиления бюрократии армейского штаба храбрость стала компенсацией за неучастие в сражении за победу. Она стала мерой оценки нового феномена: Героя. Каждый солдат, каждый офицер — личность, мечтающая о своей личной славе и сверяющая свою храбрость с храбростью Героя.

Храбрость всегда была качеством, которым хочет обладать каждый человек. Теперь это качество разделили на три разные категории. Первая, сравнительно редкая — это акт мужества, который заметно приблизил победу. Не романтично. Не абстрактно. Не пресловутое уничтоженное пулеметное гнездо. Значительно ближе. И не победа в рукопашной, а победа в большом сражении или войне. Вторая встречается чаще — это когда человек, которого роковое стечение обстоятельств поставило в безвыходное положение. Это — война, как данность, не связанная ни с победой, ни с поражением. Третья категория мужества стала, к огромному сожалению, общеизвестной. Это то качество, которое человек обнаруживает в себе, чтобы противодействовать ужасной судьбе, на которую его обрекло невежественное командование. Такое мужество является формой индивидуального достоинства,

которое замещает бесполезность гибели человека для его семьи и общества. К сожалению, то же самое достоинство также исполняет роль маскировочной сети для сокрытия некомпетентности командования и военной организации, которые и погубили человека.

Когда мы говорим об отваге и мужестве в национальном государстве, мы часто имеем в виду самоубийство ошибочно осужденного человека, совершенного с чувством собственного достоинства. Что касается медалей, которыми сопровождают такую потерю человеческой жизни, то это — трюки некомпетентных военных. Вместо победы и/или жизни человеку вручат медаль. Как показала операция в Гренаде, в американской армии даже бессмысленная смерть ценится так дешево, что даже за спуск воды в генеральском сортире можно легко заработать кусочек блестящего металла.

Значение церемоний по прикалыванию к мундирам звезд достигло своего циничного апогея, когда признанная указом храбрость и понесшие утрату семьи стали использовать для того, чтобы придать достоинство войнам, в которых сражаются по-дурацки. Храбрецы и их семьи попадают в круг, на всех выходах из которого стоят капканы. Солдат, принесенный в жертву, мужественно выполнял приказы своего командира и был за это награжден. Значит, битва стоила того, чтобы в ней сражаться. Мужество сделало ее такой. Главное правило войны, гласящее, что сражаются за победу, забыто.

Мужество стало доказательством добродетели и значимости знаменитости. Пик славы храброго солдата стал напоминать телевизионный конкурс поедания пирогов, когда у победителя берут интервью и представляют, что в данный момент и по данному поводу он или она является Героем. Это не намного больше, чем бесплодное мечтание представить оправдание бессмысленности руководителей всего действия.

В истории нет примеров, чтобы государство не могло или не желало защищать себя сколь угодно долго. Именно поэтому Сунь-цзы прежде всего описал саму суть военных действий. Макиавелли, с его холодным и циничным взглядом, а также своей способностью доводить добрых горожан до яро-

сти и стремлением к тому, чтобы разум стал нравственной силой, тем не менее, понял сущность этой проблемы: «Вооруженный человек и невооруженный человек — абсолютно не сопоставимые величины».

Запад никогда не был так мощно вооружен, и, тем не менее, никогда раньше не чувствовал себя таким незащищенным. Ни среди гражданского, ни среди военного руководства нет согласия, как защитить себя в опасной ситуации. За несколько последних десятилетий опросы населения всякий раз показывают, что большинство европейцев из тех, кто бывал на линии огня, чувствуют, что не знают, как будет выглядеть любая операция, призванная защитить их жизни, их семьи, их дома и их страны.

Не удивительно, что в подобной атмосфере на офицеров тоже смотрят сверху вниз. Или что офицеры сами искренне растеряны, не понимая, какая им отводится роль. Например, если капитану атомной подводной лодки придется запускать ракеты, он даже не будет знать, куда они полетят. Географические координаты записаны на электронный носитель, и считывать их может только бортовой компьютер. Когда офицеров об этом спрашивают, они чаще всего отвечают, что в момент запуска ракет они, к счастью, не знают, какова на самом деле их разрушительная сила. Конечно, лучше не знать, какой город будет разрушен в результате действия, произведенного лично тобой²⁶.

И тем не менее государство обязано себя защищать. Защита свободных людей может восприниматься только как высоконравственное действие. Лучше защищать их хорошо, чем делать это плохо. Хорошая оборона минимизирует риски смертей и разрушений.

В восемнадцатом веке Гиббер выдвинул идею о том, что необходимо упорядочить разум и организовать армию таким образом, чтобы удалить из нее посредственность и передать командование компетентным солдатам. Должно быть, это была хорошая и нравственная идея. Но прямым следствием ее реализации явилось то, что на волю выпустили Наполеона, а вместе с ним создали архетип богоподобного Героя. Трансформация разума в море бюрократизма, в котором

должны тонуть Герои, выглядит совершенно оправданно. Удушить гения — вот что стало первостепенным способом защиты свободного человека.

Но такая защита применялась только там, где жили свободные люди. Во всех других местах силы тьмы сумели вырастить дерево из переплетенных мифов разума и Героя. А когда эти силы нападают на свободных людей, мы замечаем, что защищает нас море технократов. Военные штабы, призванные сражаться от нашего имени, оказались такими же безжалостными, как Наполеон. Разница в том, что они убивают не потому, что их амбиции необузданны, а потому, что они их применяют только в связи со своей близостью к административной власти. Их жертвы — результат не агрессии, а равнодушия и неумения выполнять свою работу.

Посредственность убивает так же успешно, как гений, и поэтому мы вынуждены опять вернуться к вопросу об отношениях между моралью и защитой. В мире оружия две разновидности морали. Более узкая касается честных взаимоотношений между офицером и его солдатами. В этой части технократ проигрывает, а хороший боевой офицер может выиграть. Но Герой на вздыбленном коне в этом случае тоже преуспевает, так как пользуется преданностью своих солдат для своих целей. Более широкий вид морали касается взаимоотношений офицера и государства. Внутри рождающихся демократий девятнадцатого века амбициозный человек мог для решения личных задач исказить разумное. И, как продемонстрировали Фош и Хейг, такая слабость демократии продлилась до середины двадцатого века.

В наше время уже не может быть ссылок на неопытность. При нашем образе жизни, когда мы верим, что способны поддерживать в солдатах чувство долга, мы должны чувствовать себя достаточно комфортно. «...Просвещенный государь, — писал Сунь-цзы, — очень осторожен по отношению к войне, а хороший полководец очень остерегается ее»²⁷. Конечно, в наши дни было бы более разумно передать дело нашей обороны тем, кто сможет нас защитить, но чтобы при этом мы бы были уверены, что сможем этих людей контролировать. Лучше рисковать с честным гени-

см, чем не иметь возможности контролировать безответственность посредственного махинатора.

Но как государство сможет реально выстроить военную систему, в которой бы сочетались профессионализм и нравственность? Очевидный ответ: достичь взаимопонимания между населением и его защитниками, но население не будет верить, что такое единство существует, пока армией командует штаб. Список того, что нужно изменить, чересчур длинен. Первым пунктом стоит необходимость с корнем выкорчевать мысль о том, что современный офицер мало отличается от современного бюрократа или бизнесмена. Офицер не менеджер и не член комитета. Он работает не для того, чтобы участвовать в выработке коллективных решений.

Суть хорошей стратегии, как это было всегда, состоит в том, что она ничего не гарантирует и всегда неопределенна. Штабному офицеру нужны гарантии и определенность. Он четко нанес на карту стрелки наступления и линии обороны. Изменить такое положение дел можно, только убрав его указующий перст.

Одним из самых простых шагов в правильном направлении будет радикальное сокращение офицерского корпуса. Сейчас он так раздут, что живет по своей самодостаточной логике, которая лишь косвенно связана со стратегией и национальными интересами. Идею сокращения поддерживают такие не связанные с армией деятели, как британский военный историк Майкл Говард и, конечно, Ричард Габриэль. Малочисленный офицерский корпус скорее сконцентрируется на исполнении своих обязанностей. С чрезмерной озабоченностью штаба количеством сложного вооружения также можно справиться, если офицерский корпус будет небольшим по численности и правильно ориентированным. В формировании офицерского корпуса не должны принимать участие отделы кадров. Во всяком случае, не больше, чем бюрократы в мундирах, действующие как закулисные стратеги.

Чтобы это и многое другое провести в жизнь, нашему политическому руководству потребуется принять на себя реальную ответственность. История последних сорока лет показы-

вает, что политики позволили штабным офицерам диктовать повестку дня. Вместо того чтобы играть в бюрократические игры с деньгами и снаряжением, правительства должны взять на себя обязанность контролировать мыслителей, способных совершать действия.

Что касается настоящей структуры штаба, которая необходима любой современной армии, то у нас есть двухвековой опыт разумного руководства. Мы уже знаем, что практично, а что нет. Политики и солдаты смогут контролировать штаб, если будут предприниматься активные усилия. Мы должны постоянно напоминать себе, что точкой отсчета для профессионализма и рационального управления для наших армий является нацеленность на то, что войн должно быть меньше, они должны быть короче, менее разрушительны и решать конкретные проблемы. Пока же мы реально имеем узаконивание постоянного полувоенного противостояния, которое постоянно нарастает, становится все более разрушительным и решает все меньше вопросов.

Наша проблема в том, что мы все больше воспринимаем действительность как мир, который ищет убежище в военных иллюзиях. Так мы притворяемся, что живем в мире, тогда как планета воюет. Мы думаем, что наши армии слабы, в то время как наши оборонные бюджеты выше, чем может позволить себе государство, не находящееся в состоянии войны. Мы пестуем идеи быстрых и мобильных военных действий и в то же время готовим медленные, статичные фронтальные атаки. Мы согласились с правлением генералов-технократов и даже поощряем его, почему-то игнорируя то, что в их послужном списке длинный ряд поражений и провокаций. И наконец, прославляя наши отдельные победы над очень слабым противником, мы умудряемся не вспоминать, что история войн в основном состоит из случаев, когда несоизмеримо большие армии терпели поражения от немногочисленного противника, обладающего воображением.

Из всего этого следует сделать следующий практический вывод: наибольшую опасность для демократии представляет не то, что может появиться новый Наполеон, а наша неспособность сократить функции управленцев до того, что-

бы они занимались именно управлением. Настоящей проблемой грозит стать необходимость контролировать военных, чья работа заключается в том, чтобы поддерживать стратегию неопределенности. Человек намного счастливее, когда есть определенность, даже если спокойствие фальшивое и опасное.

Но если бы здравый смысл мог вымести из наших умов страхи, основанные на том, что прежде стабильности было еще меньше, ответственные граждане ощутили бы, что контролировать свое правительство — их естественная обязанность. Если бы удалось изгнать из наших душ наполеоновского Героя, мы бы знали нравственную цену нашей обороны и, следовательно, наших солдат. То, как способен защищаться свободный человек, зависит от его желания убить в себе Героя, чтобы не позволить другим стать им.

Глава десятая

НА СЛУЖБЕ У ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТИ

До тех пор пока существует вера в необходимость организации, найдутся люди, которые смогут разумно управлять ею. Но если во главе угла вера в то, что важнее всего ее структура, то сама организация потеряет сначала смысл своего существования, а затем и способность функционировать. Оружейный бизнес является ярчайшим примером того, что западные правительства потеряли цели и уже не могут делать того, что ожидает от них общество.

Поиски причин кризиса следует начать с нашей неспособности справиться с противоречиями между демократией и разумным управлением, противоречиями, которые уже привели к кастрации последнего, причем на уровне как законодательной, так и исполнительной власти. Но проблема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь существовала же у нас система, в которой демократическое правление сочеталось с разумным администрированием, что радикально улучшало общественные отношения на протяжении пример-

но двух веков. Однако со временем она потеряла практический смысл и забыла, что нужно делать и зачем. В результате роли поменялись: исполнительная власть теперь все больше занимается постановкой целей, а законодательная чувствует себя обязанной соответствовать. Вместо управления мы имеем методологию. Моральные качества определяются по степени эффективности и скорости исполнения.

Результат — сведение демократических функций до некоего процесса и нарастающее разочарование, если не негодование, и среди избираемых, и среди избирателей. Это разочарование все чаще эксплуатируют группы организованных интересов — то, что во времена Муссолини называлось корпоративными интересами. Суть корпоративности в том, что каждая группа имеет собственную цель, организацию и финансовые ресурсы. Такие групповые интересы отрицают демократию, которая зависит от того, какой вклад в нее вносит каждый отдельный гражданин. Все думают, что последняя мировая война уничтожила корпоративность. Но растущие в демократии пустоты дали возможность организованным интересам занимать все больше и больше места в структурах политического руководства Запада. Это делается — поразительно, но это так — от имени отдельного избирателя, разочаровавшегося в рациональном государстве. Таким образом, под прикрытием популистской риторики демократическая система быстро приспособилась обслуживать особые интересы. Это замечательный фокус, основанный на доверии: избиратели стали добровольно возвращать то, что они завоевали за два последних века, в руки отдельных групп общества, или их современному эквиваленту — тем людям, которые так долго были главными добродетелями совсем не справедливого общественного устройства.

Решать такие проблемы, как правило, трудно, поскольку их корни таятся, как это часто бывает в рациональном обществе, в абсолютизме идеологии, который определяет параметры дискуссий. Едва Макс Вебер, писавший в начале XX века, превратил бюрократию в самодостаточную ценность, у других также появилась возможность сосредоточиться на возражениях и чем-то оправдывать свою оппозицию общест-

ву равноправия. Дебаты по таким вопросам привели к тому, что в цивилизованном обществе, которое желало оставаться демократическим, стало расти количество деструктивных отклонений. Политические лидеры, например, упорно возводят преграды, отгораживающие их от системы управления.

Особенно настораживает то, что множатся ряды назначаемых советников, и они настолько влиятельны, что уже составляют преторианскую гвардию. В их обязанность входит поддерживать власть тех, кто стоит во главе кабинета, укрепляя их независимость и от тех, кого избрал народ, и от административной системы. Но как неоднократно повторялось в истории, если власть народа оказывается в руках независимых от народа советников глав правительств, неизбежны злоупотребления. Деятельность сил, поднявших бюрократию, была направлена на то, чтобы не допускать этого.

Вслед за этим последовала попытка смягчить некоторые противоречия демократически-рационального правления, раскрыв его механизмы. Не оттого ли становится все труднее использовать преимущества демократии, что увеличивается количество общественных служб, которые — как это доказывает современное право — несут за это ответственность? Не слишком ли изменились политические деятели и администраторы вследствие того, что изменения во власти сделали ее привлекательной для кандидатов совсем иного рода? Существует ли естественный альянс демократичных и бюрократических методов управления? Или только свойственное им взаимное недоверие, которое нужно сознательно и постоянно контролировать? Из задаваемых вопросов, этих и других, становится ясно, что большие государственные союзы под знаменем демократии и разума распались, и единственный способ разобраться с тем, что осталось, это обеспечить практическое разделение между идеями и методами, которые, пока они были смешаны, деформировали наше общество.

В течение двадцатого века мы добились огромного прогресса в становлении основ справедливости во многих регионах, но теперь западные страны начинают добровольный откат в обратном направлении. Страны-члены Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) несут бремя 30 миллионов безработных, как будто оно имманентно для современных сообществ. Большинство этих людей безработные хронически. Тот прогресс, который можно наблюдать в деле создания рабочих мест — в особенности в США, — часто сводится к появлению вакансий, не охваченных системой социальных гарантий, с зарплатой на уровне черты бедности, с неполной занятостью, иными словами — к возврату в дореформенный капитализм девятнадцатого века. Такая ситуация сопровождается невиданным со времен Первой мировой войны ростом уровня неграмотности и общим ухудшением системы бесплатного образования.

Приходится с огромным прискорбием констатировать, что вследствие проведения просвещенной социальной политики западноевропейский и большая часть североамериканского рабочего класса фактически исчезли. Не имеет смысла устранять тяжелые условия существования рабочего класса и абсорбировать его членов до тех пор, пока не исчезнет потребность в самом рабочем классе или радикально не изменится отношение самого общества к продуктам его труда. Оба таких решения зависели бы от реорганизации экономики. Наша интегрированная политика, даже не предприняв такой попытки, просто создала новый рабочий класс. В таких странах, как Германия, Швеция и Франция, к этому пришли, поощряя массовую иммиграцию из стран Третьего мира. Условия, на которых иммигранты въезжали, предполагали, что они останутся рабочим классом в старом смысле этого понятия, то есть рабочим классом девятнадцатого века, часто без права голоса, без гражданства, даже без доступа к механизмам социальной защиты и образованию.

В Соединенных Штатах, несмотря на то что в обществе исчезли худшие проявления расизма, среди чернокожих возникла небольшая прослойка среднего класса и даже имеется несколько весьма высокопоставленных политиков, чернокожие остаются низко квалифицированной рабочей силой. Это подтверждается всеми статистическими данными — по уровню занятости, здравоохранению, смертности,

образованности, количеству осужденных и семейному положению. Например, смертность среди чернокожих младенцев в два раза выше, чем среди белых, и этот разрыв увеличивается. К этой проблеме добавляется еще проблема испаноязычных низко квалифицированных рабочих, численность которых в 2000 году достигла тридцати миллионов, и испаноязычные станут самой большой этнической группой в Соединенных Штатах. Большая часть этих иммигрантов пополнит ряды низкооплачиваемых, низко квалифицированных рабочих в экономике черного рынка, где не работают никакие механизмы социальной защиты. Это, в свою очередь, будет оказывать огромное давление на хозяйство южных штатов, где условия труда останутся такими же, как в доружельтовские времена, или скатятся до такого состояния, а это, в свою очередь, повлечет за собой бегство промышленности из северных штатов. При дальнейшем давлении на такую конкуренцию с самым низким общим знаменателем экономика Америки постепенно интегрируется с экономикой Мексики, страны, являющейся одной из стран Третьего мира с низким уровнем жизни и самой дешевой рабочей силой.

В Великобритании такой подход привел к созданию больших групп новых богатых и таких же больших групп новых бедных. Это возвращение к делению общества на богатых и бедных при отсутствии среднего класса привело к ухудшению работы государственных служб — как технических, например общественный транспорт, так и социальных, таких как здравоохранение.

Иными словами, идет постепенный подрыв идеи общего социального согласия. Все это подогревается рабским служением рациональной идее о том, что имеются однозначные ответы на все вопросы и абсолютные решения всех проблем. Последние два десятилетия эти абсолютные решения следовали одно за другим, как цепь нестройных и разрушительных шагов. В то же время стремлению правительств обеспечить развитие экономики препятствовал рост зависимости от развития сферы услуг — сектора экономики, в котором доминируют не такие высокотехнологичные вещи, как программ-

ный продукт, а потребительские товары и обслуживание клиента-потребителя. Этот сектор экономики, разумеется, также благоденствует за счет неполного рабочего дня, низкой зарплаты, социальной незащищенности, таким образом создавая ложное представление, что и он принимает участие в решении проблемы создания новых рабочих мест. Рост экономики в сфере обслуживания также ставит западную экономику в зависимость от самой нестабильной сферы экономической деятельности, которая в случае экономического кризиса лопнет первой. С другой стороны, сфера услуг для экономики — все равно что бесконтрольное печатание денег для финансовой системы. И то, и другое — разновидности инфляции.

Эти примеры общего упадка контрастируют с тем, что происходит с механизмами государственной машины, которые еще никогда не были такими сложными, как сейчас. Эта сложность достигла такого уровня, что принципы работы государственных механизмов непонятны не только простым гражданам, но и большей части политиков. Последние вследствие интеллектуальной медлительности и свойственной им самодисциплины просто решили, что так и должно быть. В результате в среде ответственного политического руководства образовались пустоты, занимаемые истеричными сторонниками простых решений, которые на этом кормятся, возвышаются, приходят к власти при помощи дешевых трюков, клише и проповеди шовинизма — всего того, что попадает в категорию даже более низкую, чем агрессивный патриотизм в духе Дженкинса¹.

Когда президент Буш в своей инаугурационной речи воодушевлял слушателей и говорил о более доброй, мягкосердечной Америке, он заявил: «Мы знаем, что так действует: Свобода. Мы знаем, что является правильным: Свобода. Мы знаем, как гарантировать справедливость и благоденствие человека на земле: через свободные рынки, свободу слова, свободу выборов». Никто не расхохотался, когда он взывал к трем разновидностям свободы. Разумные люди из других политических партий, из средств массовой информации и университетские умы не нашли что сказать.

Каждое слово и понятие, имеющие отношение к борьбе за демократию и справедливость, используется традиционными теми, кто противостоит и демократии, и справедливости и ищет возможность устранить и то и другое. Мораль восемнадцатого века не только поставлена с ног на голову, но делается это с помощью специально подобранного словаря. Буш, таким образом, ставя на первое место свободные рынки, а не свободных людей, как бы говорит, что право спекулировать, будучи закованным в старые наручники, важнее, чем отмена самого рабства. Рейган позволял себе заявления, что Джефферсон был против больших правительств. Следовательно, сорок миллионов американцев, лишенных медицинского обслуживания, не должны быть заботой правительства. На самом деле Джефферсон был против лишних людей в правительстве, так как такое правительство ничего не решает. Политическую власть он рассматривал как колоду с ограниченным числом карт. Те, кто занимает кабинет, должны играть терпеливо и неустанно, вытаскивая старые карты и откладывая новые по мере того, как решаются старые проблемы и возникают новые². Те, кто ныне стремятся к власти и завоевывают эту власть, пользуются словарем восемнадцатого века точно так же, как телевизионные проповедники используют текст Ветхого Завета.

Ошибочно определяя содержание и структуру морали, мы создали смертоносное оружие, которое можно использовать против любого справедливого общества. Ни один честный человек при помощи современной системы не может заниматься созиданием и честно служить ей, зато она подходит для того, чтобы нечестный человек занимался деструктивной деятельностью и набивал собственные карманы. Нельзя нашу моральную озадаченность просто класть к ногам тех, кто использует сложившуюся ситуацию в своих целях. Они сами и их отношение к жизни — производные стратегии разума, стратегии, которая к настоящему времени сильно одряхла. Разумные элиты, чересчур озабоченные созданием конструкций власти, превратились в рассадник авторитаризма в его современной административной разновидности. Гражда-

не чувствуют себя оскорбленными и заброшенными. Они ищут кого-нибудь, кто бы начал от их имени бросаться камнями. Любой старый камень сгодится. Чем он тяжелее, тем легче будет сокрушить самоуверенность полузасекреченных людей и их полузасекреченные действия. «Новые правые», с их пародией на демократические ценности, превратились в грубый и разрушительный булыжник, при помощи которого будут избивать современные элиты. «Новые левые», которые в конце концов возьмут власть, очень легко станут такими же грубыми.

Но все это нельзя рассматривать, не сравнивая то, что было двести лет назад, пусть даже шестьдесят лет назад, с тем, что мы имеем сейчас. Мы собираемся наказать наши элиты и осудить методы их работы из-за того, что имеются реальные недостатки, но недостатки в каком контексте?

Возьмем, к примеру, государственное здравоохранение. В конце семнадцатого века Париж не имел канализационной системы, его улицы были туалетом для пятисот тысяч человек. Террасы королевского дворца Тюильри «благоухали» так, что туда никто не отваживался заходить, разве что затем, чтобы справить нужду.

Тогда административное управление только еще зарождалось и выполняло функцию не более чем *докладчика в Государственном совете*. Этакое управление по приему жалоб, адресованных королю. Прием вели судьи, которые выслушивали жалобы и просьбы просителей. У Ришельё, когда он начинал возводить городские стены, даже мысли не возникало, что можно осуществлять административный контроль из центра.

Через сто пятьдесят лет, к 1844 году, изменилось очень мало. Шестьсот тысяч из 912 тысяч горожан жили в трущобах³. На севере города Монфокон ассенизаторы, по ночам собиравшие свой груз во дворе каждого дома, вываливали его в болота, уже наполненные экскрементами. Были люди, которые жили на берегах этих болот, каждый день они искали в них что-нибудь, что можно продать. В рабочем районе Сен-Совер города Лилль в 1869 году умирало 95 процентов детей моложе пяти лет.

Знаменитая парижская система канализации создавалась очень долго во второй половине девятнадцатого века. Такие сроки объяснялись тем, что домовладельцы яростно сопротивлялись, отказываясь оплачивать прокладку канализационных труб в своих домах. Они и были тогдашними «новыми правыми». В 1887 году префекту Парижа господину Пубелю после ожесточенной борьбы удалось заставить домовладельцев установить в своих дворах мусорные баки. Такое вмешательство властей в право частных собственников выбрасывать мусор на улицу, которое в реальности означало право домовладельца не оставлять своим жильцам другого выхода, позволило тогда посчитать Пубеля «тайным социалистом». В 1900 году домовладельцы все еще боролись против обязанности подключиться к городской системе канализации и заниматься сбором мусора. В 1904 году в одиннадцатом округе, рабочем районе, из одиннадцати тысяч зданий к системе канализации было подключено только две тысячи. К 1910 году лишь немногим более половины городских зданий было подключено к канализации, и только в половине городов Франции вообще была канализация.

На фотографиях Марселя начала двадцатого века видны огромные кучи мусора и экскрементов посреди улиц. Обычными были вспышки холеры, косившие население. Последним городом, построившим систему канализации, был Сен-Реми в Провансе. Это случилось в 1954 году.

Постепенный подъем бюрократии, умеющей работать, положил конец всей этой грязи и болезням, и слуги народа делали это вопреки желаниям большинства представителей среднего и высшего классов. Против оздоровления выступал свободный рынок. Оздоровлению противостояли богатые. Против были цивилизованные. Большинство образованных было против. Именно поэтому понадобилось целых сто лет на то, что можно было сделать за какие-нибудь десять лет. Выражаясь современным языком, рыночная экономика сердито и настойчиво противилась чистой воде для общественного пользования, канализации, сбору мусора и улучшению общественного здравоохранения, так как ей представлялось, что вложения во все это невыгодны, да еще и ограничивают

свободу индивидуума. Таковы простые исторические истины, которые теперь забыты. Отсутствие памяти позволяет нам с пониманием относиться к модной идее, что даже городской водопровод следует приватизировать, чтобы из этого можно было извлекать выгоду по законам системы свободного рынка.

Это собственники со своим невероятно узким собственническим интересом превратили Маркса в человека, за которым нужно идти. То, что в конце девятнадцатого — начале двадцатого века в Западной Европе и Америке не произошло никаких серьезных социальных потрясений, является безоговорочной заслугой чиновников-управленцев, преданных идее постепенного улучшения. Они практически спасли собственность, права, привилегии тех, кто противился их реформам. И сделали это несмотря на то, что имели мизерные зарплаты, при сомнительной поддержке политиков и презрении — что имеет место и в наши дни — тех, кто должен был оказывать им поддержку.

Итак, если борьба, закончившаяся победой, была справедливой, то как же старые элиты смогли убедить такое множество своих сограждан, что слуг народа и работу, которую они выполняют, следует презирать? Частичное объяснение состоит в том, что в элитах, которые противостояли общественным службам, крепло убеждение, что разум — это всего-навсего метод. И следовательно, для людей, которые противятся таким вещам, как городская канализация, это только вопрос времени, которое необходимо потратить, чтобы приобрести практические знания и научиться пользоваться полезными вещами, примерно так же, как это происходит, когда нужно научиться пользоваться новым оружием. Если точнее, люди разума, как, например, китайские мандарины, всегда востребованы. А мешки с большими деньгами, которые лежат себе и лежат, — главный довод в новом споре разума — доставят корпоративно спонсируемые машины для перевозки денег туда, куда надо. Два века прошло со времени энциклопедистов, их жертвы теперь сами оплачивают публикации в СМИ, чтобы поведать свою версию правды.

Но граждане удивлены тем, что рациональный механизм способен осуществлять прямо противоположное тому, что замыслили философы восемнадцатого века. Такой переворот произошел вследствие естественного разделения между теми, кого избирают, и административными элитами. Их взаимодействие — то единодушие, то разногласия — продолжалось большую часть конца девятнадцатого и начало двадцатого века. В последней четверти двадцатого века разногласий было, конечно, больше. В лучшие времена существовал лишь хрупкий альянс, тогда противоречия, касающиеся системы ценностей и разницы по происхождению, ненадолго отодвинули в сторону.

Главной целью разумных действий всегда было создание нового человека, который радикально изменит всю систему власти. В результате такого революционного преобразования личности возникнет справедливое общество. Демократический контроль не предполагался. Моральные воззрения присутствовали только косвенно, так как многие философы восемнадцатого века были убеждены, что их рациональные структуры наконец-то освободят все нравственные силы для общественной пользы.

«Я искренне верю, — писал Джефферсон в 1814 году, когда Наполеон свирепствовал в Европе и казалось, что все идет не так, — в существование нравственного инстинкта как общей данности. Я думаю, что он — самый яркий бриллиант в оправе человеческого характера»⁴. В течение почти тридцати лет, до 1787 года, Джефферсон был американским послом в Париже. В те последние моменты перед тем, как разразился катаклизм, он оставался единственным деятельным сторонником разума, который связывал реализацию своих идей с успехом революции. Его дом всегда был полон французскими мыслителями и политиками, которые приходили к нему за советом. В этой атмосфере он и писал юному американцу: «Человеку суждено жить в обществе. Следовательно, его нравственность должна формироваться в обществе. Он наделен умением различать, что является правильным, а что нет... Нравственность, или совесть, это такая же часть человека, как руки или ноги. Она в той или иной мере дана всем лю-

дям, так же как руки и ноги: кому-то покрепче, кому-то слабее. Ее можно укрепить упражнениями»⁵.

Мы не пытаемся внушить, что разум и нравственность взаимосвязаны. Что касается появления новых политических систем, то и американская, и французская рассматривались лишь как эксперимент, а идея представительного правления не только не была принята, но даже не предполагалась. Разум должен был обеспечить развитие процесса, вследствие которого новые элиты, получившие соответствующее образование, смогут создать качественно лучшее общество. В результате возникнет справедливая разновидность авторитарного правления. Люди, обладающие властью, будут, как мыслилось, осуществлять самоконтроль. Если они не будут делать этого сами, их будет сдерживать система.

Демократия оказалась неожиданным участником такого развития событий, она и стала все разрушать. Происхождение современного разума связано с людьми, принципиально заинтересованными в использовании власти, а многие из них были королевскими или папскими советниками и искали более эффективных путей для осуществления этой власти. А представители демократии берут за образец те времена, когда свободные люди племен Северной Европы жили большими семьями. Об этом времени после падения Рима известно немного. С самого начала развитие демократии несло в себе идею союза равноправных. Самые ранние попытки достичь равенства привели к созданию гильдий в Скандинавии и Германии. Эти собрания свободных людей вначале были похожи на банкеты, на которых произносились клятвы, но они быстро превратились в общества самообороны и взаимопомощи. К восьмому веку они широко распространились по всей Англии. Образование самой первой известной гильдии относится к первой половине одиннадцатого века. Ее члены клялись друг другу в братской преданности: «Если один из нас поступает неправильно, пусть это касается всех, и пусть все несут за это ответственность». Так говорилось в хартии Кембриджской гильдии.

К десятому веку наступил следующий этап: возникли представительские ассамблеи. Сначала они долго формиро-

вались в Англии из делегатов в местные суды графств и округов. В других местах Европы происходил примерно такой же процесс. Возникли представительные кортесы в Арагоне в 1133-м и Кастилии в 1162 году.

Все эти свободные ассоциации представляли собой серьезную силу еще до появления королевских династий в Европе. Постепенно крепнущие монархии принялись прибирать к рукам всю власть, чтобы по своему усмотрению раздавать ее частицы, как будто это было их произволением. В Европе концепция свободного человека в составе свободного объединения подвергалась постоянным атакам со стороны королевской власти. Карл Великий предпринял серьезные попытки контролировать гильдии. В Англии их базовые структуры не тронули. Великая хартия вольностей 1215 года часто воспринимается как результат борьбы между королем и баронами. Действительно, и та и другая силы имели свою военную опору, но спор касался статуса «всех свободных людей», что четко сформулировано в Великой хартии вольностей. Документ очень подробно оговаривает их права.

Такие конфликты между свободными людьми и королями начались задолго до того, как гильдии стали объединениями ремесленников по профессиональному признаку. Профессиональные гильдии не отказались от принципов старых гильдий. Они также опирались на идею объединения свободных людей в свободные союзы, но дополнили ее идеей обязательств. В языческой Северной Европе союзы гильдий с самого начала были связаны клятвами или контрактами, которые переквалифицировали индивидуальные обязательства в групповые. В то время как права свободного человека постепенно расширялись, росло и количество обязательств. В этом содержалась идея заслуженности. Свободный человек должен был и оправдывать свое место в ассоциации, и заслужить его. Вместе с увеличением числа и расширением представительности ассамблей зрела и идея меритократии (от лат. *meritus* — достойный и греч. *kratos* — власть, буквально: власть наиболее одаренных — *прим. ред.*). Человек, избираемый представителем в суд графства, теоретически был лучшим из всех возможных, а не просто старейшим или имевшим самый

высокий унаследованный статус. Мастер-ремесленник в профессиональной гильдии занимал свое место, благодаря своему мастерству.

Когда началась христианизация Северной Европы, гильдии уже давно существовали. Христианство хорошо сочеталось с идеей свободного человека в свободном союзе. Ведь главной идеей, которую несли священники, была идея равенства всех людей перед Богом. Но церковь, так же как и монархии, развивалась, развивались и ее пирамидальные структуры, призванные контролировать население. Но отправной христианский тезис не менялся, а в эпоху Реформации он был прочтен заново, с акцентом на то, что все люди равны перед Богом вследствие своих моральных и общественных обязательств. Такое обновленное прочтение и стало играть главную роль в утверждении принципов демократических свобод.

Когда в начале восемнадцатого века многие французские философы обратили внимание на Англию и обнаружили там «справедливое общество», они толковали то, что увидели, как победу упорядоченной государственности. Но в том, что они приняли за упорядоченную государственность, на самом деле было больше от высокоразвитого племенного вожизма, которому, по причине островного положения Англии, не могли мешать внешние силы.

Демократия возникла в разных частях западного мира как продукт развития здравого смысла, что к развитию интеллекта вряд ли вообще имело отношение. Она была и остается органическим продуктом развития общества, связанного с человеческим чувством нравственности. Ни то ни другое не имеет структуры и не поддается анализу. Ни то ни другое не является продуктом развития разума. И только с течением времени становится видно, что врожденное чувство нравственности и практическая меритократия каким-то образом противоречат действенным рациональным структурам. Идея о свободном человеке или идея гильдий были лишь примитивной версией участия гражданина во власти через гражданское общество. Концепция разумного состояла в том, что такое участие реализуется членством в элите.

То, что идея составлять правительство из избираемых представителей выигрывала при любых поворотах развития рационального, должно было озадачить и революционеров, и королей. На самом деле новые элиты планомерно препятствовали не только расширению прав избирателей, но даже самому принципу демократического участия в выборах. Новые рациональные элиты говорили о справедливости, но право участия определяли по узким критериям, таким как привилегированное образование или имущественный ценз. Практическим следствием таких действий стало то, что американцы не имели всеобщего избирательного права даже для белых до 1860 года, то есть еще целый век после революции. Швейцария опередила их на двенадцать лет. Дания пришла к этому третьей в 1866 году, в 1898 году ей последовала Норвегия. Что касается большинства современных элит других стран, то в Великобритании, например, принятию всеобщего избирательного права противились до 1918–1919 годов, то есть до тех пор, пока пострадавшие от своих генералов рассерженные армии не вернулись с первой разумной войны и не сделали такое сопротивление невозможным.

Современный язык не предоставляет нам достаточно средств, чтобы пояснить разницу между меритократией и компетентностью. Эти два понятия все время путают, хотя в действительности они совершенно разные. При всех своих недостатках внутренние обязательства меритократии могут изменяться и зависеть от новых обстоятельств. Ей свойственна щедрость, хотя сами меритократы часто игнорируют такое свойство. Внутренние обязательства компетентности и специальных знаний, с другой стороны, элитарны. Они претендуют на высокомерие и обладание привилегией знать ответы на вопросы. Они проповедуют социальные барьеры и политическую исключительность. Было распространено мнение, что меритократия может толковаться расширенно, просто через иное именование граждан, что создало бы непрекращающееся давление на дальнейшее развитие демократии. И это были естественные, самоделаящиеся, структуралистские тенденции элитарности внутри рациональных элит, которые

противостояли такому давлению и продолжают подрывать завоевания демократии.

Франция была единственным исключением из правила в той длительной борьбе, которая, в конце концов, привела к избирательной системе по принципу один человек — один голос. Почти с самого начала, когда стала реализовываться идея республиканской власти (1792 год), одной из определяющих характеристик было всеобщее избирательное право для мужчин. В результате это право то декларировали, то отменяли при каждой новой революции и государственном перевороте. Идея, которая тайно занимала рациональные элиты и которую они могли поддерживать, оставаясь в тени, состояла в том, что достаточно просто неодобрительно высказываться о демократическом процессе, не оппонируя ему открыто, чтобы у людей складывалось мнение, что демократия ассоциируется с нестабильностью и политическим эгоизмом. Во времена Третьей и Четвертой республик такая неблагоприятная ассоциация стала постоянным фоном государственной жизни. С другой стороны, рациональная администрация, представленная диктатором, либеральным авторитарным руководством или мощной бюрократией, должна была ассоциироваться со справедливым, дееспособным и ответственным правительством. Эксперименты — два наполеоновских и один Луи Филиппа — были только «пробами пера».

Сущность конфликта между новыми элитами и демократическим процессом никогда публично не оглашалась ни в одной западной стране. С конца восемнадцатого века избранным представителем был случайный человек из мира, в котором знания и компетентность были гарантиями правды. При первом приближении кажется, что дело не в этом. Конституции одна за другой декларировали право народного волеизъявления и ответственность принимающих решения властей перед собраниями народных представителей. В некоторых странах — например, в Великобритании, а также в Италии и Германии — парламенты обладают почти абсолютной законодательной властью. В других, таких как Америка и Франция, власть поделена между избираемыми органами, судами и ассамблеями. Но ведь эти собрания по закону несут

ответственность за процесс принятия решений. Другими словами, народные представители вводятся в процесс управления как высший арбитр между исполнительной властью и компетентной администрацией, с одной стороны, и народом — с другой.

Но с самого начала было ясно, что те, ктоотягощен ответственностью принятия практических решений: исполнительные, административные элиты, суды — находят, что избранный депутат надоедлив и безответственен. Обретая полномочия, они действительно начинают считать его безответственным. Это было видно еще со времен наполеоновского движения, когда силы дееспособной, компетентной власти Героя поганой метлой вымели постепенно формирующуюся ответственность представительного собрания. Когда Наполеон отбирал у народа его демократические права, почти никто не протестовал: ни правоведы, ни инженеры, ни ученые, ни военные, ни государственные служащие. Никто не выражал несогласия в связи с его навязчивым стремлением создать новые элиты и дать им образование, что у него соседствовало с отсутствием интереса к общегражданскому образованию. Альянс между популистским авторитарным чиновничеством и дееспособным советом экспертов экономил время, которое транжирили выборные органы. Кроме разве что Шатобриана и мадам де Сталь, промолчали почти все интеллектуалы, и неудивительно: ведь это они сформулировали идею рационального государства.

И после каждого нового авторитарного государственного переворота рациональные элиты снова просачивались на поверхность, чтобы служить таким людям, как Луи Филипп и Наполеон III. Их режимы занимались собой, создавая коммерческие и промышленные инфраструктуры, перестраивая городские центры и создавая транспортные коммуникации. Надо отдать должное Луи Филиппу: его режим больше служил среднему классу и при нем образование реформировалось, становясь доступным более широким слоям общества. Но особое внимание все-таки уделялось всему остальному, и Наполеон III, перестраивая Париж руками своего префекта-архитектора барона Жоржа Османа, был самым ярким пред-

ставителем такого феномена, как новая авторитарная элита. Семнадцать лет тысячи рабочих разрушали сердце средневекового Парижа и вместо него создавали инфраструктуру величественных, широких и прямых проспектов. Тысячи архитекторов, инженеров, правительственных чиновников, корпораций, банкиров и биржевиков трудились полный рабочий день. Вместо трущоб появились солидные и красивые здания. Новая система подачи чистой воды и отвода стоков была частью нововведений, что прекратило эпидемии холеры. В процессе переустройства было снесено 27 500 домов, а выселенные из них семьи были оставлены на произвол судьбы. Для них это была не временная, а долгосрочная проблема, так как дома, построенные Османом, предназначались не для них, а для новых элит — представителей среднего класса, отождествляющих себя с режимом и получающих от него выгоды. Бедняки убралась в построенные без всякого плана и контроля трущобы на окраинах города, которые стали «красным поясом» Парижа и оплотом коммунистов на целое столетие⁶.

Важно отметить, что преимущества, полномочия и ответственные государственные структуры, которыми овладели элиты, при восстановлении демократии в 1871 году не были ни устранены, ни сокращены. И это общее правило, оно повторяется снова и снова и вот уже в течение двух веков кочует из одной страны в другую.

За беспрецедентным количеством выселений и кампаний по перестройке города стояло стремление к имперской роскоши модернизации Парижа. О жесткости политической власти можно судить по тому, что широкие бульвары и авеню, предназначенные для парадов кавалерии и артиллерийских салютов, прорубали прямо через жилища бедняков, часто напоминающие кроличьи садки, которые возникали беспорядочно, и их появление было невозможно контролировать. Эмиль Золя в своих романах описал нищету города в эпоху Второй империи чуть более ста лет назад. Вот сцена из его романа «Деньги». Действие происходит в 1867 году в одной из трущоб в северных пригородах, где ютятся такие выселенные: «С тяжелым чувством Каролина рассматривала

двор, усеянный рытвинами пустырь, который под нагромождением отбросов превратился в свалку. Сюда кидали все, не было ни помойной ямы, ни сточной канавы, сплошная куча нечистот, которая росла, отравляя воздух... Осторожно ступая, она старалась обойти валявшиеся повсюду остатки овощей и кости, оглядывая жилища, стоявшие по краям двора, какие-то берлоги, для которых трудно было придумать название, полуразрушенные одноэтажные домишки, развалившиеся лачуги с заплатами из самых разнообразных материалов. Некоторые были покрыты просто просмоленной бумагой. У многих не было дверей, а вместо них имелись только черные дыры, как в погребах, и оттуда разило зловонным дыханием нужды. Семьи по восемь и десять человек кучами жили в этих склепах, часто не имея даже кровати; мужчины, женщины, дети спали вперемежку, заражая друг друга, как гнилые фрукты, с раннего детства предавались разврату, порожденному самой чудовищной скученностью»⁷.

Но союз авторитарной власти и рациональных элит существовал не только во Франции. Наполеоновская тенденция, порожденная Наполеоном I, распространилась по всей Европе. Для свержения прогнивших режимов Италии, Германии и так далее использовались популистские лозунги. Новые элиты Триеста и Удино приветствовали изменения, подобные тем, что произошли во Франции. Когда с авторитарной властью все становилось ясно, они не отказывались от сотрудничества с ней, так как строительство, организация и обучение уже происходили. То, что большинство солдат Великой армии Наполеона — той, что погибла в снегах России, — уже не были французами, должно было восприниматься как знак того, что современная организация приобрела сугубо религиозный статус.

Этот правящий альянс рос и распространялся в течение всего девятнадцатого века. Вопиющие знаки его трудов были видны повсюду, где авторитарная исполнительная власть одерживала верх над представительной демократией. Избавившись от Бисмарка в 1890 году, германский кайзер Вильгельм II к 1897 году успешно отказался от ответственного правительства. На протяжении более двух десятилетий он

мог сосредоточиться на строительстве империи, экономики и вооруженных сил при полноценном сотрудничестве с высокоразвитой общественной и административной структурой. Муссолини, угрожая применением силы против ослабевшей демократии, пришел к власти в 1922 году. К 1928 году он упразднил политические партии в Италии. Более двух десятилетий диктатуры административные и экономические элиты поддерживали ход государственной машины, делая это с радостью, как твердили фашисты — чтобы поезда приходили вовремя. То же самое происходило и в нацистской Германии, что очень убедительно описал Альберт Шпеер, гитлеровский министр вооружений, в своих мемуарах. Интересно отметить, насколько далеко он пошел, представляя себя и, стало быть, всех других технократов жертвой системы: «Техника в той или иной степени лишает человечество ответственности перед самим собой»⁸. Иными словами, из своих действий он пытался удалить элементы нравственности. Много уже написано о коллаборационизме французской технической и чиновничьей элиты в период с 1940 по 1944 год. И действительно, если бы Великобритания была оккупирована в 1940 году, то можно предположить, что реакцией на это был бы не иначе как всплеск местного шовинизма.

Но во всех этих случаях основной мотивацией была не особая идеологическая преданность конкретному авторитарному правительству и не отсутствие храбрости. Принадлежать к национальной элите означало служить государству, а государство обволакивает своей мифологией всех: от государственных служащих, ученых и судей до президентов банков и промышленников. Только чудаки уйдут в оппозицию. Большинство руководителей французского Сопротивления задолго до 1939 года демонстрировали примеры того, что рациональный человек назвал бы «специфическим поведением».

Что касается избранного депутата, то, по мнению экспертов любой страны, он цепок, эгоистичен, темпераментен и способен пробудить в своем избирателе самые худшие чувства, лишь бы его избрали вновь. Такая позиция подразумевается с самого начала спора с рациональных позиций. Ссылка Фрэнсиса Бэкона на «порочную политику» или, несколько

позже, Адама Смита на «это вероломное и коварное животное, которое вульгарно зовется государственным деятелем или политиком» превратилась в трюизм среди администраторов и специалистов двадцатого века. А раз так, то каждый раз происходит обновление наполеоновско-экспертного альянса — их было множество за последние 150 лет — и многие эксперты, как представляется, были не слишком расстроены тем, о чем они договаривались.

Из-за этих инцидентов в странах, которым угрожали фигуры наполеоновского толка, правящие круги требовали, чтобы административной религии с ее сектами и умением эффективно работать были срочно представлены исключительно широкие полномочия. Так она продолжала укрепляться и распространилась до такой степени, что государственные структуры постепенно сократили прерогативы своих представителей и парламентов до такого уровня, как это было до наступления Века Разума — до уровня консультативных органов для сглаживания пара, но не имеющих возможности реально работать на сколько-нибудь регулярной основе. Безусловно, они собираются чаще, чем в семнадцатом веке, и формально занимают очень высокое положение, а в случае серьезных кризисов их созывают для решения важнейших вопросов. Но это всегда особый случай. Современная исполнительная власть, как до этого король, должна обращаться к парламенту, когда государственному кораблю грозит опасность. На первый взгляд кажется, что только американский конгресс не скатился до такого низкого уровня, но его полномочия всегда были скорее политическими, чем определяющими эту политику, скорее оперативными, нежели долгосрочными, они больше годятся для критики, чем для инициирования.

Не удивительно, что в таком историческом контексте все эти рациональные структуры, моральные убеждения и представительное правительство перемешались в умах людей. И произошла эта отчаянная путаница человеческого сознания не сегодня, когда рациональные структуры правят бал. Не удивительно и то, что западная демократия после постепенного роста на протяжении свыше 150 лет находится в состоянии неуклонного упадка. И не потому, что стало меньше

выборов. Или меньше политиков, или меньше разговоров о политике. Никогда еще не было столько голосований, больших политических акций и разговоров во всем развитом мире. Но прямое влияние политических действий граждан на политику и администрацию, по-видимому, стало чрезвычайно незначительным. Парламенты превратились в круглые цирковые арены, и в той степени, в какой они пытаются осуществлять власть, они все больше становятся рычагом, при помощи которого на общество воздействуют различные лоббистские группы.

Подобное не стало бы возможным, если бы люди сами не обольстились религией разума. Как только они согласились, что такие факторы, как компетентность, администрирование и эффективность, являются безусловными ценностями, они не могли не начать думать, что их собрания — ими же и организованные — это некие старомодные, болтливые и ни на что не способные сборища. Эти собрания больше не являются местом, где все добрые граждане хотели бы служить хотя бы временно. Вместо этого люди с шизофреническим рвением следят за министрами, разрываются между стремлением стать управленцами или телевизионными звездами. Как администраторы они отождествляют себя с бюрократами и пытаются доказать, что результатом демократического процесса является рациональное действие. Поэтому они и вертятся волчком и все активнее играют в легкий шоу роль политика как личности. Они учатся следить за его взглядом, рассуждают о белизне его зубов, о его спортивных пристрастиях, о его любви к жене и о способности иметь полноценных детей. Избранные для того, чтобы заниматься политикой и управлять, они необычайно живо уклоняются от попыток заниматься бюрократическим администрированием и начинают заниматься неудобной и невнятной демонстрацией «личности». С какой бы политической целью они ни пришли во власть, она исчезает по ходу их деятельности.

Такой простой пример, как устройство канализации, показывает, что трехсторонней коалиции, состоящей из чувства нравственности, демократии и рациональной структуры,

понадобилось много времени, чтобы противопоставить себя эгоизму деспотической власти. Десятилетия революций, переворотов, отчаянных забастовок, гражданского насилия и гражданских войн показали, как трудно дается общее движение вперед. С каждой новой победой новые структуры достраивают свои оборонительные линии, копят оружие для следующего этапа борьбы. До бойни 1914—1918 годов так не было: тогда еще не выхолостилась самоуверенность старых представлений, и русская революция не поразила страхом умы даже самых закоренелых ретроградов. Тогда стало видно, что политики и государственные деятели способны осуществить еще одну попытку построить некую утопию. С тех пор все стало меняться очень быстро. Настолько быстро, что никто и не заметил, как распалась трехсторонняя коалиция.

Широко распространенное мнение о том, что нравственные нормы, демократия и рациональное действие являются святой троицей, сохранялось до того момента, пока государственные чиновники не составили отдельный от политиков общественный класс, поскольку каждый раз в процессе реформ они приобретали какие-то новые навыки. Люди, очень разные по социальному происхождению и представляющие все части политического спектра, стали находить возможность участвовать в политическом процессе, в то время как бюрократическая прослойка западного мира пополнялась относительно однотипными людьми — выходцами из среднего и выше среднего классов. Это делало гражданскую службу местом спокойным, почти альтруистичным, с которого можно двигать общество вперед. Политики, с другой стороны, всей толпой явились на рынок идеологических и финансовых амбиций и стали громогласно кричать, что надо делать и как им следует убеждать население принять это, причем не слишком задумываясь над тем, как их идеи будут воплощаться в жизнь.

Но эти качества стали быстро меняться. Поскольку бюрократия перехватила власть, которая прежде была у ответственного и социально инициативного правительства, она стала привлекательной для максимально амбициозных людей. А поскольку рациональная система уже занимала свое место,

она была вынуждена привлекать все больше кандидатов, которые меньше интересовались бы политическими идеями, чем структурами, и, следовательно, могли ими управлять, играть ими и осуществлять через них существенные властные действия, которые с ними автоматически и приходят.

Эти системы в мгновение ока стали так же распространены, как церковные общины в эпоху расцвета европейского христианства. Они охватили все сферы жизни и дошли до каждого человека; такого не было со времен Римской империи. В некоторых странах в один и тот же момент дети вставали со своих мест и пели государственный гимн. В некоторых странах в каждой деревне, в большом и малом городе в один и тот же день и, наверное, в одну и ту же минуту они писали один и тот же диктант, а на уроках истории проходили абсолютно одно и то же. Налоги исчислялись по стандартной схеме. Животных забивали по национальному стандарту. Местные ограничения разрушались и, за исключением немногих особых случаев, таких как Канада и Австралия, были уничтожены окончательно.

Неграмотность отступала, социальные программы финансировались, а на рынках начинало гнить мясо. По совершенно объективным статистическим данным западный мир превращался в место, где жизнь становилась лучше. А количество программ в половодье реформ множилось, и если раньше их так долго отвергали, то теперь они переливались через границы из одной страны в другую.

Но сам по себе успех реформ постепенно вооружал бюрократов талантами по управлению своими реформами и блокированию тех, кто приходил со своими идеями и наказами. К началу шестидесятых годов темп задавали менеджеры-управленцы. Казалось, что это не опровержение идеи рационального правительства. Скорее, это реализация этой идеи. А структура теперь существовала сама по себе, в силу своих масштабов, сложности и профессионализма совершенно не связанная политическими ограничениями. В такой сложной организации не оставалось места для моральных рассуждений. Теперь, спустя два века, общим местом стало мнение, что быть рациональным — это и значит быть нравственным.

Что касается демократических процедур, то они стали представляться все менее эффективными и все менее профессиональными. Обсуждать политические вопросы публично, в популистской манере стало считаться каким-то показным, нескромным и претенциозным действием. Политика лучше и логичнее делается на профессиональном уровне. Непрофессионалы приносят с собой поверхностность, эмоции, которые отвлекают от главного, и сомнительные амбиции.

Государственные слуги — совсем недавние слуги — столкнулись с той же проблемой, с какой столкнулись иезуиты после смерти Игнатия. Они клялись на современных эквивалентах бедности и смирения. Действительно, если вы хотите богатства и славы, то идете в бизнес или политику. На самом деле теперь у них была власть, и работали они с тем, что осуществляет власть. Что касается иезуитов, то смирение было обязано исчезнуть в потоках успеха. Незадолго до этого старшим государственным служащим стали платить больше, чем политикам. А в случае с государственными корпорациями самые высокие должности должны были оплачиваться на том же уровне, что и в промышленности, что должно было гарантировать такое же «качество». Поэтому бюрократам, которых на один шаг отодвинули от центра власти, стали платить больше, чем бюрократам в самом сердце власти. Которым, в свою очередь, платили больше, чем политикам, их хозяевам. Как и в случае с иезуитами, Орден был богат, и его члены жили за его счет. Не то чтобы бюрократы получали из других фондов, но в процессе управления огромной системой жизнь высшего бюрократа могла стать вполне комфортабельной, а то и богатой. Теперь они могли путешествовать, питаться, встречаться и отдавать приказы так, как за несколько лет до этого могли только богатые люди.

В то же время в обществе укреплялось мнение, что правительственные бюрократы «не тянут». Бесконечные истории о праздности и отсутствии способностей циркулировали в обществе. То какой-то банальный прорыв, за который Пентагон заплатил тысячами жизней. Ребенок, которого социальный работник отправил к родителям, зная, что его там избивают. Родители так и забили девочку до смерти. В ходе после-

довавшего разбирательства социального работника не наказали, так как в его поддержку выступила местная власть. А пять тысяч канадцев, зарегистрированных как безработные, во время забастовки почтовых служащих не явились за своими чеками, и выяснилось, что это «мертвые души». Таких прискорбных историй множество, и трагических и помпезных. Как, например, о том, что британский казначей, а не канцлер, умудрился не удержать Великобританию в рамках «валютного коридора» Европейского валютного соглашения, когда он был впервые установлен.

Конечно, общее число неудач — это крохи по сравнению с масштабами современного государства. Но ведь каждая крошка действует как красный флажок, заставляющий людей держаться подальше от чиновников своего государства и искать более сложные решения, чтобы избежать возможных неудач.

Снова и снова кабинеты министров, которых только раззадоривали эти организационные трудности, бросались на покорение собственных министерств. Они принялись совершенствовать машину, пытаясь понять ее и заставить работать лучше, чтобы она была более чувствительной к малейшим желаниям общественности. Они обрушили на нее все свои организационные схемы, программные параметры, стандарты кадровой политики и системы отчетности. К концу их долгого рабочего дня они были и физически, и умственно переутомлены.

Нечего и говорить, что у этих министров не было ни минуты, чтобы остановиться и подумать о политике и о том, как ее проводить. Административная игра, однако, имеет свои прелести. При отсутствии предмета для размышлений очень увлекает другой уровень радости, которая и заполняет собой весь день. Министр приходит к заключению, что он руководит важной организацией. Он начинает отождествлять себя со своими исключительно компетентными служащими. Он становится так называемым хорошим министром, то есть хорошим для своего министерства. В действительности же он становится почетным заместителем министра. Причем внештатным заместителем.

Такое бюрократичивание министров стало настолько всеобщим, что во Франции слово «бюрократ» стало синонимом слова «министр», обеспечив, таким образом, целостность структуры, с точки зрения рационального подхода. Имеется только один настоящий правящий класс, политический и бюрократический, и в него попадают через ЭНА.

Во всех странах общественность, равно как многие политики, понимает «административный» критерий как право иметь суждение о своих министрах. Однако за один час, проведенный с любым современным главой кабинета, можно понять, что эта система умеет мыслить. На его столе бесчисленное множество просматриваемых материалов. Когда он все это прочитывает, все аккуратно раскладывается по папкам. Его подписи ждут бесконечные записки и письма. По каждому из них он несет персональную ответственность: за каждый насос во всей стране, или чем он там занимается. Заместители, первые заместители, советники, ассистенты бегают к нему за советом в связи с утечкой нефти на западном побережье, или с просьбой помочь с финансированием гастролей ансамбля современного танца Ист-Энда, или как не допустить, чтобы из страны выехал разыскиваемый преступник. Не только у «хорошего» министра нет ни времени, ни сил на политику, и у служащих, загруженных его поручениями, их тоже нет.

Возможно, министру не следует пытаться знать или понимать все подробности работы своих подчиненных. Возможно, ему не стоит заниматься администрированием в своем министерстве. Может быть, не надо ему работать долгими часами. Может быть, ему следует дистанцироваться от деятельности своего министерства, и тогда работу его служащих будут оценивать по результатам, которых они добиваются. Это будет трудно для некоторых государственных служащих, но умеющим работать это принесет пользу. У министра не должно быть готового ответа на все вопросы. Пострадает мир от этого? У него также должно быть время, и он должен иметь возможность собраться с мыслями и обдумывать политические вопросы и способы их решения. Иными словами, вероятно, стоит спросить: раз у политика и чиновника разные зо-

ны ответственности, то не лучше ли, если они будут заниматься своими делами и держаться друг от друга на некотором отдалении.

Вместо этого, выдвижение человека на должность министра соответствующими министерствами стало рутинной процедурой, настолько рутинной, что функционально министр утратил большую часть своей власти. С этой частью власти утратилась важная функция кабинета министров как органа, в котором проходят дискуссии, а следовательно, и парламентской, и исполнительной демократии, и власти самого кабинета. И все это произошло незаметно, политическое руководство открыто не объявляло, что структура власти каким-то образом изменена.

В ответ на такое изувечивание министерств политики разработали новые инструменты власти. Первый — это паутина межведомственных комитетов министерского уровня. Комитеты должны ускорять движение информации, ее обсуждение и достоверность. Предполагается, что это должно способствовать плодотворности политических дебатов и прохождению вопросов через барьеры министерских бюрократических структур. Второй новый инструмент власти — это многократное увеличение числа прямых советников у руководителей департаментов. Эти советники, обычно совершенно посторонние деятели, берут на себя политическую ответственность, соответствующую направлению всего кабинета министров. В структуре кабинета у них нет никаких должностных обязанностей. Они не несут юридической ответственности. Они просто советники президента, премьер-министра, скажем, по внешней политике. Все знают, что только советник имеет свободный доступ к президенту по своему вопросу. Все понимают, что через советника можно двигать вопросы, решать проблемы напрямую, минуя ответственного министра и его ведомство.

И межведомственные комитеты, и советники коренным образом изменили природу представительного правительства. И все-таки они существуют, не пройдя процедуры общественного обсуждения, и, разумеется, никаких изменений в

конституции также не вносилось. Мы притворяемся, что у нас законная власть, в то время как положение дел уже изменилось.

Межведомственные комитеты пытаются решать структурные вопросы, еще больше структурируя их. К примеру, имеется система комитетов кабинета, которая группирует министров в секции по направлениям работы. Идея состоит в том, чтобы собрать в одном месте каждый отдельный аспект политики, имеющий большое значение. При этом появляется возможность провести компетентное и полноценное обсуждение вопросов, не прибегая к созыву чересчур громоздкого собрания кабинета министров. Нет лишних межминистерских разборок. В большинстве стран имеется множество комитетов, которые занимаются такими секторами, как экономическое развитие, безопасность или социальная политика. Имеется также теоретически всемогущий внутренний комитет, имеющий название что-то типа: Приоритеты и планирование или Совет национальной безопасности. Многие такие комитеты имеют постоянный секретариат. Это дает комитетам возможность постоянно дублировать действия кабинета, просто отбирая тем или иным способом часть ответственности у правительства.

Такие комитеты задумывались для того, чтобы частично освободить министров от бюрократической волокиты и дать им возможность больше думать и действовать. Вместо этого, изъяв политику из круга интересов всего кабинета и передав ее в сферу специализированных интересов комитета, они изменили природу дебатов, и вместо политических, социальных и моральных приоритетов на первый план вышли экспертные оценки. А экспертиза — это та область, в которой заместитель министра всегда затмит самого министра.

В Великобритании приезд министра в такой комитет готовят государственные служащие, его личные помощники с толстыми министерскими инструкциями под мышкой. Его сопровождает по крайней мере один из его непосредственных помощников — тот, кто является экспертом по вопросу, который будет обсуждаться. Эксперт нужен для того, чтобы шептать министру на ухо. Результат заседания очевиден до

пошлости, его даже высмеяли в известном комическом телесериале «Да, господин министр!», где весь сюжет строится вокруг отношений министра с государственным служащим. В Канаде эксперту позволяется принимать участие в министерских дебатах. Государственные служащие одного ведомства, в любом случае, до этого уже собирались на свое заседание более низкого уровня с государственными служащими другого ведомства и отработали материалы еще до того, как министры вошли в зал заседаний комитета.

В таком контексте министерские дебаты построены так, что прежде всего обсуждаются экспертные оценки, то есть чисто министерский взгляд абсолютно игнорируется. Политика на самом деле вырабатывается таким образом, чтобы она соответствовала предпочтениям администрации. Решения, принятые на заседаниях комитета, затем представляются собранию всего кабинета с рекомендациями. На этом собрании заинтересованные и более или менее знающие вопросы министры будут в унисон доносить свою точку зрения до министров, не заинтересованных в обсуждаемом вопросе. Только непросвещенный министр, к тому же склонный к суициду, выступит против рекомендаций комитета. Все факты будут против него. Непросвещенный министр может привлечь на свою сторону принципы, нравственные критерии и здравый смысл, но все это перед лицом рациональной истины окажется подозрительным. Возможно, в будущем он привлечет на свою сторону массы оппозиции. Таким образом, решения комитета, бюрократичные по своей сути, наносят упреждающий удар по прерогативам совета министров, который имеет право принимать решения. Они и далее ослабляют министров правительства. Степень, до которой решения различных министерских комитетов предопределяются такими превентивными ударами со стороны государственных служб, иллюстрируются тем фактом, что работают десятки и десятки неминистерских межведомственных комитетов, подготавливающих решения для «принятия» их межведомственными комитетами на уровне министерств. Направление, в котором движется такая реструктуризация, можно видеть на примере Великобритании, где сам факт существования

подобных комитетов засекречен, так же как и их кадровый состав. Таким образом, первичный и важный уровень, на котором вырабатываются будущие решения правительства, полностью скрыт от глаз публики.

Отличие Соединенных Штатов состоит только в том, что кабинет министров не ответственен перед избирателями. Совет национальной безопасности впервые взял на себя роль внутреннего кабинета при президенте Кеннеди, и эта роль впервые была изменена его служащими, когда советником или главным служащим стал Генри Киссинджер. Подкомитеты Совета функционируют идентично самим комитетам кабинета министров. Опять же если советник сильный, то неофициальность его структуры, по сравнению с британской версией этого органа, позволяет оказывать еще больше административного давления на процесс, теоретически являющийся политическим.

За рамками этих параллельных структур имеется бесконечное множество комитетов на все случаи жизни. Они гарантированно направляют безответственную бюрократию в русло политической жизни. Общественные наблюдательные советы заменили системы планирования, составления программ и бюджета, не говоря уже о политическом анализе, обзорах, выборе приоритетов, безупречном финансовом планировании или лимитах на расходование наличных средств и общем раскладе выделяемых средств⁹.

Ни один из таких комитетов, или как он по-другому может именоваться, не преуспел в том, для чего, собственно, и был образован. То есть ни один из них не представил правительству свежих идей, способных подтолкнуть продуктивную работу. Они просто все больше и больше отягощают работу правительства. Как жаловался Бивербрук во время Второй мировой войны: «Комитет — враг настоящей работы».

Еще одним инструментом политических лидеров, необходимым для того, чтобы мотивировать существование находящихся на откорме правительственных структур, является институт личных советников. Такая личность занимает пространство между руководителем и структурой. Советник —

личность не выборная и соответствующей ответственности не несет. Он и не представитель народа, и не его слуга. Это некая республиканская версия королевского служащего или гражданская версия преторианской гвардии. Он плод попытки главы правительства обойти правительственные структуры.

Западная преторианская гвардия более всего заметна — это не означает, что она самая могущественная, — в Соединенных Штатах, где она находится в подчинении президента. Споров вокруг нее все больше. Иногда такие споры и скандалы связаны с тем, что люди, не имеющие соответствующих властных полномочий, предпринимают какие-то инициативы или отдают какие-то распоряжения. Часто это связано с коррупцией. Или с вторжением в сферу безопасности и обороны. Или с тем, что руководитель аппарата президента некомпетентен — как это было с Гамильтоном Джорданом при президенте Картере, или замешан в скандале — как член палаты представителей Хальдеман при президенте Никсоне или Джон Сунуну при президенте Буше. В таких случаях эти люди не обязательно лишаются власти. Они существуют только как часть имиджа президента, и в первую очередь ситуацию оценивает сам президент как политически ответственное лицо. Когда что-то подобное случается, все окружение системы включает свой защитный рефлекс.

Ныне люди полагают, что одним из главных центров власти в американской модели республиканского устройства, привлекающих их внимание, всегда был аппарат президента. Но это не так. Члены кабинета еще в шестидесятые годы полностью осуществляли власть. Всерьез перехватывать власть аппарат Белого дома начал при президенте Кеннеди. Его преследовала мысль, что в системе государственной службы действуют обструкционистские силы, которые сводят на нет результаты работы официальных заседаний, особенно заседаний комитетов. Вследствие этого он собирал членов кабинета, наименьшее возможное количество их, так как полагал, что «в этом нет нужды и отнимет лишнее время... Все проблемы, с которыми имеет дело кабинет министров, очень узко специальные»¹⁰. Кабинет в полном составе никогда не соби-

рался для обсуждения политических вопросов. Политику обсуждали в узком кругу, где верховодили его советники и он сам. Если не считать немногих министров, таких как Роберт Макнамара, которого Белый дом ценил высоко и который мог сам проводить свои заседания. Подобная система, когда не проводятся заседания правительства, означала, что вся власть находится в руках президента и его советников. Поставленные в такие условия, министры и их ведомства оказались безвластными. Внешнюю политику делал Кеннеди со своим советником по национальной безопасности господином Макджорджем Банди, гарвардским профессором. Вот они и подготовили узурпацию конституционной власти Генри Киссинджером, который через восемь лет также станет советником по национальной безопасности. Банди и аппарат Белого дома подорвали позиции государственного секретаря Дина Раска. Его просто высмеивали за спиной, особенно за то, что он любил созывать заседания¹¹. Точно так же, только еще более злобно, Киссинджер подорвал позиции государственного секретаря Уильяма Роджера.

Этим способом Кеннеди достиг, чего хотел — личной власти. Но это стало оказывать постоянный отрицательный эффект на властные полномочия самого кабинета при последующих президентах, которые не были столь сильны. Этот дисбаланс достиг крайней степени при президенте Никсоне, когда сочетание власти Белого дома и изоляция склонили правительство к заговору и преступным действиям.

Джимми Картер, будучи главой Белого дома, писал, что он перестроит систему «кабинета министров, чтобы не допустить злоупотреблений, происходивших в прошлом». Никогда больше «сотрудники аппарата Белого дома не будут командовать членами нашего кабинета или действовать с позиций верховенства»¹². Но в середине своего президентства он в течение сорока восьми часов уволил или вынудил уволиться пять из двадцати восьми членов своего кабинета министров. Главным доводом было то, что они были не в состоянии найти общий язык с его личными советниками. Жертвами тогда стали самые успешные и напористые министры, среди них Майкл Блументаль — финансы, Джозеф

Калифано — здравоохранение, образование и социальная политика, Брок Адамс — транспорт и Джеймс Шлезингер — энергетика. Глава аппарата президента Гамильтон Джордан немедленно выступил по телевидению и публично утверждал, что эти изменения не вызваны желанием сосредоточить в Белом доме больше власти. «Это вопрос профессионализма», — объяснил он. В то же время советник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский был восхищен, что выиграл битву и стал архитектором внешней политики государства¹³. Что касается президентства Рональда Рейгана, то при нем феномен преторианской гвардии получил свое логическое оформление. Старейший глава государства, теряющий умственные силы и умение сосредотачиваться, был вынужден передать многие монаршьи полномочия, которые перешли к его аппарату и, в данном случае, к его жене.

Хотя министры не избираются, а назначаются президентом, их назначают открыто, чему предшествуют слушания в конгрессе, где определяются границы их ответственности. Они, таким образом, обременяются ответственностью, их как-то оценивают избранные народом люди и тем самым рекомендуют на службу интересам страны. Личные советники президента, даже советник по вопросам безопасности, при назначении через слушания в конгрессе не проходят. Перед обществом они ответственности не несут. Они не подотчетны государству. Они — личные льстецы президента.

Конечно, американские президенты всегда имели личных советников, любителей поживиться за чужой счет и личных придворных. Конституционная роль республиканского монарха с ограниченной властью сделала такое положение дел неизбежным. Однако сменяющие друг друга президенты снова и снова сталкиваются с трудностью, как заставить правительство работать, если ситуация такова, что его члены фактически превратились в преторианскую гвардию. Предположить, что кто-то сознательно создал такие условия, значит намеренно упрощать проблему реальных условий власти, личности и управления. Реальность такова,

что уже в течение тридцати лет, со времени правления президента Кеннеди, всех президентов, с их совершенно разным уровнем интеллекта, мастерством политика, уровнем уверенности в своих силах и политическими пристрастиями, быстренько укрывают за стеной из спин личных служащих.

Одна общая черта у преторианцев была всегда. Поскольку они занимают место вне конституционного и политического поля, они не выработали правил общения друг с другом, своим лидером и с окружающим миром. Вместо правил у них есть привилегия быть приятно пахнущими анархистами. Битва за выживание в любом дворце — в данном случае в Белом доме — диктует правило, что каждый советник постоянно борется за свою личную власть или его от нее отстраняют. Трудности в отношениях между Нэнси Рейган и руководителем аппарата ее мужа, Дональдом Риганом, возможно, имели под собой какую-то основу в виде драмы, собранной из сплетен, но по сути эти трудности мало отличались от устроенных Гамильтоном Джорданом при президенте Картере или Генри Киссинджером и членом палаты представителей Хальдеманом при президенте Никсоне. Одна из общеизвестных истин как нельзя лучше подтверждает последствия растущей власти президентских советников и состоит в том, что, хотя институт советников был введен для того, чтобы оживить буксующую правительственную машину, он непременно кончит тем, что разрушит ее.

Во всем западном мире тенденция одна и та же. Например, личный советник г-жи Тэтчер по экономике, профессор Алан Уолтерс ускорил отставку канцлера казначейства (министра финансов — *прим. ред.*) Найджела Лоусона в 1989 году. Или это она сама так использовала своего государственного служащего. Бернард Ингхэм занимал две должности: главы государственных информационных служб и административную — ее личного секретаря по политическим вопросам. В 1990 году она послала советника по вопросам внешней политики Чарльза Пауэлла, государственного служащего, на небольшой частный обед, организованный для того, чтобы убедить владельца одной сочувст-

вующей им газеты, Daily Telegraph, что он должен оказывать им больше поддержки¹⁴.

Брайан Малруни умудрился перепутать то, что перепутать невозможно, — политику и администрирование. Он назначает своих политических друзей в бюро, занимающиеся политикой в рамках государственной службы, — в канцелярию Тайного совета, а государственных служащих — в свою личную политическую канцелярию. Кульминацией этого процесса стало назначение Дерека Берни, государственного служащего высокого ранга, его личным секретарем, то есть политическим руководителем его штаба. Собрание советников президента Миттерана стало резервным загоном, откуда отбираются представители новых элит. Прямо из кабинетов Елисейского дворца они направляются в руководящие кресла чиновников от политики и бюрократии, как будто по отношению к законной власти кабинета они занимают положение выше и где-то сзади. Все чаще американский президент использует своих советников таким же образом. Когда он хочет усилить свое влияние на какое-нибудь министерство, он просто назначает кого-либо из членов своей преторианской гвардии на министерскую должность. Так президент Никсон перекинул Генри Киссинджера с должности советника по национальной безопасности на должность государственного секретаря. Президент Рейган назначил Джеймса Бейкера, главу своего аппарата, министром финансов.

Такой призрак преторианской гвардии вокруг избранных президентов и премьер-министров свидетельствует о двух проблемах. Во-первых, эти лидеры не верят, что государственные структуры будут исполнять то, что необходимо, без группы толкачей, которые гарантированно поддержат исполнение решений первого лица. Во-вторых, главы правительств больше не верят в то, что есть необходимость обращаться к избранным представителям как к собеседникам первостепенной важности или как к источнику политической легитимности. Иными словами, наши лидеры возвращаются к охранной версии альянса, которая впервые появилась как союз наполеоновских рациональных элит.

Рациональные элиты с такой уверенностью и настойчивостью проталкивают идею модернизации и эффективности, что любую неудачу объясняют или недостаточной разработанностью, или недостаточной скоростью претворения в жизнь любого предложения. Их толкование того, какой должна быть власть, стало нормой. В ответ на это народные избранники отчаянно пытаются вернуть себе место в сердце общественной власти, модернизируя свою структуру. Но как может народное собрание сделать себя дееспособным?

Огромную трудность для избранного представителя представляет то, что его основным рабочим инструментом является слово. Оно необходимо для того, чтобы отстоять свою идею и решать вопросы. Но при рациональной системе неструктурированное слово — потерянное время. Более значимыми являются исполнительное действие и эффективное администрирование. Даже концепция лидерства сейчас основывается на этих умениях. Что касается роли депутатских собраний, то граждане все больше считают, что «разговоры — это сотрясение воздуха. Дебаты ничего не решают. Они только заседают да болтают».

То, что слово стало менее значимым, вызвано, прежде всего, как указал Маршалл Маклюэн, использованием электронных технологий. Так же как в реальной жизни мы не способны избавиться от системы, в тенета которой мы угодили, так и наши органы чувств освободились, чтобы охватить собой нелинейное воображение во многих смыслах этого понятия. Сейчас возможность увидеть и услышать имеет большее значение, поэтому, соответственно, уменьшается необходимость в обсуждении. Мы даже обнаруживаем, что в устной речи нам становится все труднее расставлять слова в правильном порядке, так как образы, которые мы видим, и звуки, которые мы слышим, все чаще интегральны, а не последовательны.

Например, те, кто вырос уже во времена телевидения, стремятся смотреть пять и более программ одновременно, сидя перед экраном с пультом в руках и непрерывно переключаясь с канала на канал. Зрителям известна схема просматриваемых программ, поэтому нет нужды следить за раз-

витием событий. Вместо этого они прыгают с одной программы на другую, охватывая все целиком.

Телевидение — это только одно из поработивших нас средств оперативной передачи информации. Звуки и образы повсюду: в лифтах, на автобусных остановках, в кинотеатрах и самолетах. В течение дня едва ли отыщется хоть одна секунда электронной тишины. Какое могут иметь значение организованные дебаты в цивилизации, которая устроена таким образом, что способна передавать образы на рецепторы, имплантированные в сетчатку глаза индивидуума? Удивительно, что сенаторы, депутаты, члены палат и их представители вообще всерьез воспринимают важность классических дебатов как средства группового обсуждения, параметры которого были более или менее заданы еще в городе-государстве Афины.

И все же и они, и мы ошибемся, если станем отождествлять интеллектуальную революцию, которую породило распространение электроники, с доктриной рациональных элит. Такая революция — это явление новое, и умом — а на самом деле в ходе обычных умозаключений — невозможно определить ее место в структуре. С другой стороны, рациональный подход строго связан своей зависимостью от сложных структур и нацелен на то, чтобы удерживать и направлять умы и эмоции гражданина.

Тем не менее, технология и рассуждение вместе втиснуты в современную философию и в популярную мифологию, как будто они дети из одной семьи. И это усиливает наш пессимизм относительно судеб демократии.

Граждане уже оказали безоговорочную поддержку тем, кого они избрали, но не тем, кто не избран, не исполнительной власти и администрации. В наше время депутат оторван и от своих избирателей, и от исполнительной власти. Технократы уже склонили своих министров к пониманию природы эффективности работы правительства. Министры приезжают в парламент или в комитеты конгресса, уже облаченные в покровы эффективности. Избранные представители уже с большим трудом сопротивляются тому, что точкой отсчета в оценке работы министров должна быть

результативность работы, а не их политические взгляды. Но силы экспертиз и власти настаивают, что сущность управления — правильность.

Политические дискуссии, не имеющие единообразной формы, — это самодеятельность и потеря времени, и подобные дискуссии сейчас происходят в собраниях менее важных. Иногда обычные депутаты выступали буквально перед пустым залом. Однако еще недавно при обсуждении своего проекта министр стоя выслушивал то, что ему говорят, и был готов отражать настойчивые нападки. Сегодня, в большинстве случаев, министр на слушания по своему проекту не приезжает. Еще недавно, когда лидер партии выходил на трибуну, члены других партий собирались его слушать: кто из уважения, кто из интереса. Сегодня члены других партий сознательно покидают зал, как бы заранее исключая вероятность того, что лидер-оппонент выскажет что-то, заслуживающее внимания.

Вместо обсуждения политики сейчас существует какой-нибудь «час вопросов», который стал самым важным временем заседаний. Большую часть этого времени используют для того, чтобы спрашивать министров о каких-то специфических административных неудачах. Это хорошо согласуется с недавно обретенной уверенностью, что современный депутат придает огромное значение эффективности работы министра. В результате коллизии волевых импульсов для министра может наступить момент публичной славы. Чтобы хорошо исполнить свою работу, министр должен знать каждый мостик и каждую тропинку. У него должен быть готов ответ, который объяснит, что неудача, о которой его спрашивают, не является следствием ошибок его министерства, а значит, его бюрократов.

Давление привело к тому, что и сама концепция структурности, и ее методы были приняты. Стандарты, которые применялись в отношении министров, теперь применяются и в самом собрании депутатов. Если вспомнить, на что были направлены парламентские реформы полвека назад, то мы обнаружим во всех странах почти одно и то же: реформы должны были обеспечить более быстрое прохождение боль-

шего количества законов и более гладкое отношение к деятельности правительства.

Но разве «скорость» определяет цивилизацию? Может быть, все-таки «обсуждение»? Любое животное может в своем загоне сделать четыре пробежки галопом. И только человек может заставить себя идти медленно, чтобы обдумать, правильно ли он поступает, или следует поступить иначе. Сознательное решение двигаться медленнее вовсе не вступает в противоречие со скоростью. Человек по какой-то причине может принять решение остановиться или, если потребуется, очень быстро побежать. Скорость и эффективность сами по себе не являются признаками ума или умения поступать правильно. Их невозможно оценить с моральной точки зрения. Для общества они не имеют какой-либо значимости. Самые страшные насилия двадцатого века совершались при режимах, которые сочетались браком с эффективностью и оперативностью работы. На некоторых ограниченных участках работы, связанных с оказанием услуг, эти две характеристики, конечно, могут быть полезны, но сами по себе признаками цивилизации они не являются.

Главным следствием постоянных нападков на неэффективность западных парламентов стало то, что они неохотно идут на обратную связь, если возможность таковой вообще сохранилась. Парламенты превратились в своего рода маневровые полигоны для законодательства. Такая перемена привела к тому, что общественность стала по-другому воспринимать избранных представителей. Вдруг оказалось, что они не играют полезной роли.

Следовательно, собрания депутатов постепенно изменились, и потребовалось, чтобы изменились и депутаты. Согласно традиции, депутат прибывает в собрание, чтобы отстаивать собственные интересы, такие как решение вопросов своего избирательного округа, свою точку зрения на политику государства, поддержка дружественных сил и личные амбиции. В действительности же депутат обычно озабочен одной-двумя темами, другие сосредоточатся на других вопросах. Даже политик самого низкого уровня хоть и несовершенным образом, но как-то представлял реальных людей.

А все вместе они представляли мнение всего своего собрания, которое отражало мнения избравших их людей. Поэтому народное собрание с самого начала было электронным. Оно было непростым, в чем-то иррациональным, так как на каждом отдельном заседании оно представляло собой единое целое. И только эта плотная масса национального представительства могла заставить мчащиеся во весь опор правительственные структуры остановиться или, по крайней мере, замедлить ход, чтобы уделять больше внимания нуждам общества.

Сейчас, поскольку эти собрания уже не являются местом, где думают или из которого можно взлететь на великие высоты, большинство их членов принадлежат к двум группам: с одной стороны, это те, кто занимается вопросами местной политики, а с другой — те, кто избирается, чтобы властвовать. Что касается того, чтобы пытаться действовать в интересах депутатской оппозиции, то современные элиты не видят в этом много проку. Человек, достигший высокого положения, стесняется противостоять законным властям и не хочет объявлять об этом официально и публично. В рациональном государстве власть — это все. Только проигравшие идут в оппозицию. Только маргиналы гордятся тем, что в ней участвуют.

Приход к власти породы политиков, которые стремятся к власти ради власти, еще не доказательство того, что нынешние политики эгоистичны и продажны. Это скорее доказательство того, что в умах граждан и экспертных элит процесс управления слился с процессом принятия решений. Еще в пятидесятых годах Франсуа Миттеран, самый опытный из современных политиков, сформулировал главное правило современной политики: «Что касается политика, то у него может быть только одно желание: управлять»¹⁵. Он впервые вошел в правительство в 1944 году и спустя полвека все еще оставался в нем.

Любопытно отметить, что демократический процесс изначально не задавался целью создания ответственного правительства, хотя правительства так или иначе отражали волю собрания депутатов. Важнейшей целью демократического процесса было создание палаты, представляющей общество —

что-то наподобие национального клуба, — чтобы она предлагала решения в интересах общества и контролировала правительство. В наше время в большинстве стран собрание депутатов — это лишь чуть больше, чем математическое действие, которое приводит к немедленной торжественной передаче абсолютной власти правительству. То же самое математическое действие повторяется каждые четыре года, пять лет или семь лет. Такова действительность выборной монархии.

Большинство жителей западного мира с радостью усвоили американскую мифологию, согласно которой Соединенные Штаты — это страна будущего и система будущего. Но Соединенные Штаты являются будущим чуть больше двухсот лет. Они — первый образец победившей демократии, подобно первому телевизору, первому массовому автомобилю, но первые образцы всего этого устарели. Не удивительно, что для того, чтобы защитить себя от злоупотреблений монархий восемнадцатого века — даже конституционных, — они с самого начала создали систему сдержек и противовесов. Система состоит из двух представительных собраний, сильного суда и коллегии выборщиков, которые чисто технически все еще выбирают президента.

Американская система президентства в ее лучших проявлениях могла бы стать шагом на пути к здоровому демократическому процессу. В своих худших проявлениях она была формой конституционной монархии, и ее порядки лишь второстепенными деталями отличались от королевских, которые она пыталась заменить. Как и в абсолютных монархиях, когда весьма хитроумное сплетение особых интересов — иногда законных, но чаще интересов огромной толпы разного рода придворных — постоянно кусает за пятки. Система президентства сейчас развивается по наихудшему из возможных сценариев. И все другие демократии, подавшиеся логике рационального правительства, пошли тем же путем. По закону философской спирали (закон отрицания отрицания — *прим. ред.*), когда ее конец становится началом, сейчас мы вновь столкнулись с проблемами, характерными для середины восемнадцатого века. О более развитых и мягких формах демократии мы даже не говорим. С другой стороны, амери-

канская модель, как представляется, наилучшим образом соответствует существующей ныне цивилизации поклонения власти, с ее зависимостью от решений круга придворных и высоким уровнем коррупции.

Лишение представительных собраний реальной власти привело к тому, что кардинальным образом изменился и взгляд цивилизации на себя саму. Любопытно, что человечество, которое в девятнадцатом веке столько времени посвящало исследованию внутреннего мира человека, сейчас ведет себя бессознательно. Это как если бы из тела цивилизации удалить центральную нервную систему или сердце, что сродни лоботомии.

Лишив сенат его полномочий, Август фактически инициировал распад римского общества. Впереди маячили процветание и слава, намного превосходившие все то, что знали и могли себе представить суровые, простые и грубоватые римляне. Но вся эта слава строилась на постепенном упадке гражданского общества. Лозунг поздней Империи «Хлеба и зрелищ!» стал практическим свидетельством вырождения имперского общества, притока сельского населения в Рим, что и вызвало решение императора ввозить пшеницу, а не заниматься хлопотами по ее выращиванию. Таким же путем пошел британский парламент, когда отменил хлебные законы, и такое действие, в сочетании с решениями по ввозу дешевого индийского хлопка, привело к непродолжительным волнениям в империи, за которыми последовал ее распад. Или недавнее решение американцев выводить производственные мощности за пределы страны, туда, где более дешевая рабочая сила, а внутри страны сконцентрироваться на сфере обслуживания, что подрывает основу их собственной цивилизации. Но ведь дело еще и в том, что с ухудшением работы внутренних механизмов общества римские императоры были обязаны отвлечь внимание своих граждан от того факта, что сами они уже мало что значат для своей собственной цивилизации.

Это очень просто. Общества развиваются и превращаются в системы. Системы нуждаются в управлении и, следовательно, подобно инструменту или оружию в руках хозяина,

становятся все более управляемыми. Остальное население все-таки нужно для того, чтобы выполнять определенные функции. Но граждане не нужны для участия в выработке формы общественного устройства или направления, в котором движется общество. И чем более «развитой» является цивилизация, тем более малозначимым становится сам гражданин.

Мы еще не настолько развиты для этого, но и не так уж мы от этого далеки. Наши профессиональные элиты провели последние полвека в спорах о методах управления, как будто это единственная политически значимая тема. Если бы мы заставили себя задуматься о рациональности как об одном из нескольких методов управления и как о чем-то, не имеющем отношения к демократическому процессу, наше понимание нынешней ситуации было бы другим. По правде говоря, если бы у правительства появились решения, как справиться с нашей растерянностью, то они нашлись бы в рамках демократического процесса, а не в методах управления. Важным для такого процесса представляется возвращение депутатскому собранию его активной роли и рационализация его работы.

Восстановление изначальной функции собрания депутатов — это одно из немногих действий, которое доступно гражданину. Необходимо только, чтобы в сознании людей сложилось понимание того, что процесс принятия решений, то есть проведения национальной политики, существенно отличается от административных процедур. У этих двух процессов нет ничего общего. Первый — органический и требующий размышлений, второй — линейный и структурированный. Первый стремится потратить время с пользой, чтобы добиться понимания и консенсуса. Второму нужны скорость и четкие формулировки. Один совершается людьми, другой — для людей.

Естественно, чтобы вернуть парламенту его изначальные качества, необходимо очень много делать заново. Граждане будут с большим интересом следить за его работой, и это позволит народным избранникам стать смелее. Они будут чувствовать себя более независимо в отношениях с правительством, даже при взаимоотношениях последнего с депу-

татским собранием. Это напомнит министрам, что их сделали жертвами и постоянно заставляют чувствовать свое несоответствие навязанной им религии административной компетентности. Только самые неуверенные в себе публичные деятели смогли поверить, что хозяйские инструктивные материалы, содержащие отчеты об административных ошибках и секреты, которые известны даже ребенку, по-настоящему ценная вещь и их вообще стоит хранить. Вместо этого они смогут передавать свои полномочия служащим, а сами будут заниматься актуальными политическими вопросами.

Самой трудной частью такой реформы станет избавление от присущего рациональной системе убеждения, что все общественные проблемы должны решаться гладко. Например, ядерные аварии следует считать всего лишь инцидентами. Или что искусственно навязанное общественное спокойствие предотвратит панику, а значит, ложь необходима. Или что политические проблемы должны тайным образом и в окончательном виде решаться в министерских комитетах, само существование которых часто засекречено. Почему политика должна возрождаться, как феникс из пепла, как будто это естественный и неизбежный продукт рационального процесса. Этот феникс в наши дни стал настолько привычной частью нашей жизни, что превратился в жесткую и безвкусную курицу, выращенную в условиях клеточного содержания.

Настоящее обсуждение политических вопросов не гладкий процесс. Слова — не сотрясение воздуха, беседы — не потерянное время. Дискуссия полезна. А скорость не имеет значения, если, конечно, нет войны. Класс политиков должен избавиться от страха, что не все умеют гладко говорить, страха, который внушили ему технократы. В любом случае в кабинетах государственных служащих должна появиться другая разновидность человека.

Мы, однако, движемся не в этом направлении. Собрания наших депутатов становятся бутиками, где продаются группы по отдельным интересам. В Вашингтоне сейчас зарегистрировано девять тысяч лоббистов. Их работа заключается не

в том, чтобы продавать народным представителям товары своих хозяев. Она в том, чтобы купить голос этого самого представителя в обмен на создание рабочих мест в округе этого депутата, на взносы в избирательную кампанию, на обещания доходов в случае отставки и, в самых крайних случаях, на деньги здесь и сейчас. Если бы в 1989 году Джон Тауэр стал министром обороны США, его утверждение на эту должность стало точным отражением реального положения дел. Бывший сенатор от штата Техас, где производится больше всего оружия, и председатель комитета по вооружениям; лоббист, заработавший только за один год 750 тысяч долларов в качестве комиссионных от производителей вооружений, и близкий соратник Джорджа Буша¹⁶. Если бы его назначение утвердили, то наименование его должности могло быть изменено на более подходящее: министр поставок.

Как говорил Джефферсон, нет ничего «более огорчительного и фатального для честных и питающих надежду людей, чем коррупция законодательной власти»¹⁷. И действительно, мир экспертов, кем бы они ни были — государственными служащими, бизнесменами или профессорами, — участвует в этой коррупции, которую видят все, что свидетельствует о том, как устарела демократия.

Американский конгресс настолько глубоко сросся с системой лоббирования, что даже устойчиво плохая репутация не помешала тому, что сенаторы проголосовали за Джона Тауэра, но они не могли назвать настоящую причину своего голосования — его коррумпированность. Дебаты начались на высокой ноте. Представители прессы спрашивали обоих сенаторов, может ли лоббист производителей вооружений стать министром обороны. Сенаторы тогда шумно отказались от ответа по существу, а вместо этого принялись выяснять, не слишком ли много он пьет и изменяет жене и не помешает ли это исполнению должностных обязанностей. Тесные связи экс-сенатора с корпорациями были примерно такими же, как и у других сенаторов. Просто он в этих связях зашел чуть дальше. Он привлек внимание к себе и, следовательно, ко всей ситуации. Он пожертвовал собой настолько, что другие смогли продолжать свое дело. И все же то, чем они

занимаются, большим секретом не является. Статистика ведется и публикуется. Сенатор от демократической партии Ллойд Бентсен, например, бывший кандидат в вице-президенты, получил 8,3 миллиона долларов на кампанию 1988 года от комитетов по проведению политических акций¹⁸. Эти комитеты организуют группы лоббирования.

И только на исходе века правление профессионалов и коррупцию власти, которая — как теперь осознает все большее количество людей — наступает вследствие расширенного толкования законов, стали признавать злом, с которым нужно бороться. Примерно тогда же структуры и верхние эшелоны современного рационального государства просто внесли коррективы, чтобы легализовать, формализовать и действительно структурировать все формы коррупции в государстве, и придали им нормальный процедурный характер.

В обществе коррупция была всегда. Но никогда, даже в самые худшие десятилетия восемнадцатого века, она не была легализована и так логически детализована, чтобы открыто распространиться на всю систему власти. Одной из наиболее вероятных причин такого развития событий была постепенная потеря реальной власти собраниями депутатов и переход ее к бюрократии и судебной системе. Когда эти собрания признали, что не могут должным образом служить обществу, должны были найтись другие интересы, которым они будут служить, и это стало только вопросом времени. А раз так, то вопросом времени стало и то, чтобы большие и организованные силы, действующие за рамками демократического процесса, заметили, что парламенты по своей сути бесполезны, унижены и всем недовольны. Их существование не могло более признаваться естественным.

Превращение (или возвращение) парламентов в центры лоббирования связано, скорее, со сложными, но бесплодными поисками своей новой роли, чем с продажностью отдельных людей. Теперь парламенты свое место нашли, важное место. Для этого они отказались от всех притязаний на руководящую роль в демократическом процессе и передали правление в руки рациональных структур и исполнительной власти.

Надо признать, что требование Вашингтона о регистрации лоббистов с первого взгляда выглядит попыткой ограничить влияние организованных финансовых структур на народных представителей. На самом деле это упорядочивает роль бизнеса внутри демократического процесса. А поскольку всегда есть соблазн зарабатывать больше, чем разрешено зарабатывать официально, то такое массовое регулирование криминальной деятельности просто подтолкнуло незаконную деятельность ближе к центру правительственных структур. Красноречивый пример — скандал со сбережениями и займами.

Конечно, народная молва гласит, что в Соединенных Штатах вовсю торгуют влиянием. Но люди всегда утешали себя тем, что венерические болезни заносятся чужаками. То же происходит и с политической коррупцией. Канадское правительство в своем стремлении во всем подражать могучему соседу сейчас вступило на опасную тропу упорядочения лоббизма. Британцы, с их ненавистью к формальным структурам, не сделали этого, не поставив при этом никаких вопросов принципиального характера. Из года в год количество контрактов, которые заключают советы директоров компании и их консалтинговые структуры с действующими членами британского парламента, включая бывших министров, продолжает расти. Только самая стойкая приверженность лицемерию позволяет закрывать глаза на очевидное: введение члена парламента в совет директоров или заключение с ним контракта означает покупку лоббиста в Вестминстере¹⁹. Разница между таким положением дел и старой британской системой «гнилых местечек» в том, что теперь члена парламента обычно покупают еще до выборов. Но теперь их обычно не берут, пока не узнают их рыночную цену. Во Франции единая административная элита захватила три ветви власти: бюрократическую, политическую и бизнес. И следовательно, в том, чтобы одна элита лоббировала другую, нет нужды. Они, как Святая Троица, по очереди, по своему собственному усмотрению, то представляют собой три отдельных тела, то становятся триединством.

Конечно, государственные служащие во всех странах Запада попали в зависимость от тех финансовых возможностей, которые неотъемлемы от роли, которую они занимают в обществе. Как и в случае с политиками, она начинается с маленьких приятных сюрпризов: обеды, ужины, ящик вина на Рождество, приглашение на выходные в загородный дом или на охоту в охотничий сезон. Но в целом настоящие подарки начинаются тогда, когда человек уходит в отставку, которая обычно случается как можно более рано, чтобы новоиспеченный обычный гражданин мог заняться лоббированием. К примеру, ныне старший государственный служащий в Великобритании после отставки может рассчитывать на должность директора или даже председателя совета директоров частной корпорации. Энтони Сэмптон сформулировал это так: «После ухода в отставку в пятьдесят пять он будет активно искать место директора, на котором он закончит свою карьеру или достигнет ее пика»²⁰. Ну как это может не влиять на его обязанность служить общественному благу именно в эти, последние годы его карьеры, если, занимая достаточно высокую должность, он может влиять на политику? Может ли секретарь кабинета министров или постоянный секретарь казначейства — сознательно или нет — заботиться только об общественных интересах, если он тайно уже присматривает место в частном бизнесе?

Короче говоря, государственные служащие, находясь на государственной службе, делают инвестиции в собственную занятость. Казалось бы, на самом деле их одержимость модернизацией и эффективностью неизбежно ведет их к точно такому же отношению к государственной службе, к которому непрямым образом подталкивает избранных народом депутатов уменьшение дееспособности их представительного собрания.

Но это просто признаки неразберихи внутри системы. Коррупция государственной системы естественно вытекает из лабиринтов частных промышленных интересов, буквально захлестнувших западные правительства за последние три десятилетия. Приватизация, отсутствие найма, дееспособные механизмы. Сами по себе эти и другие причины иногда кос-

венно помогают, иногда косвенно мешают. Но в общем, выведение стандартов промышленного производства в общественную сферу уже катастрофически усилило неразбериху.

Едва ли вообще стоит внедрять способы, ориентированные на получение быстрой выгоды, в областях, где едва ли подходили бы методы работы, нацеленные на получение положительных результатов в далеком будущем. Ждать от предпринимательских методов и рыночных структур, что они окажутся пригодными для решения задач, стоящих перед правительством, при том что бизнес и рынок в последние два десятилетия отчаянно борются против человека и социальных программ правительства, бессмысленно. Государственные интересы можно соединить со стремлением к выгоде, если будет мудрое политическое руководство, но менять их местами нельзя. А в наше время, похоже, именно это и делается. Поэтому общественность и не верит, что правительственные структуры работают. А политики и государственные служащие не верят друг другу.

Глава одиннадцатая

ТРИ КОРОТКИЕ ЭКСКУРСИИ В НЕРАЗУМНОЕ

I

Мы обрели мудрость и знаем, где корни бюрократической несостоятельности: у нас слишком большие правительства. Размер признан злом, ведущим к праздности, увеличению затрат и неразберихе.

В истории мы не находим подтверждений этого факта. И Римская империя, и римская церковь функционировали в таких условиях вполне успешно. Гигантские торговые компании ритмично работают со времен Ганзейского союза, начиная с четырнадцатого века. И в первую очередь не из-за прибыли, а потому, что каждый работник знает, что и где будет продаваться и покупаться. Если есть ясное представление о целях организации, то ее отделы, независимо

от их размера, найдут разумные решения при выполнении поставленных перед ними задач. Почему тогда мы неправомерно привязываем размеры министерства к степени эффективности его работы?

Может быть, объяснение кроется в том, что в отношении численности персонала современные структуры унифицированы. Простыми эти структуры не являются. Иногда они предстают непонятно сложными. Но это потому, что рациональный подход требует, чтобы все было устроено логично. Большие организации часто не вписываются в жесткие схемы. Если их насильно укладывать в ложе логики, возникнет эффект разрушения их естественных движущих сил и ненужная зависимость персонала друг от друга вместо свободы при выполнении своей работы.

Современная структура также предполагает, что все функции схожи; следовательно, все функции могут быть модернизированы. Под «модернизацией» подразумевается соответствие неким общим стандартам организации и исполнительности. Это неизбежно влечет за собой установление нормы производительности и выгодности; убежденность, что низкооплачиваемая работа целесообразна, а оплата рабочей силы удорожает стоимость продукции.

Но выполнение некоторых функций в большой мере зависит от ручного труда или от его механизации. Чтобы «модернизировать» такие структуры, необходимо сделать их непроизводительными. Некоторые функции требуют определенной интенсивности труда. Попытка модернизировать их при помощи снижения оплаты приведет к снижению производительности труда. Некоторые функции изначально не могут приносить прибыль. Они служат фундаментом для других производств, которые прибыль приносить могут. Такими непроизводительными функциями государства являются транспорт и связь, которые дают гражданину возможность находиться внутри экономической структуры и заниматься своим делом. Если государство будет добиваться, чтобы транспорт или связь стали прибыльными, оно навредит своей основной инфраструктуре, будет нанесен вред и способности гражданина действовать с полной отдачей.

Тем не менее, рыночный подход в отношении доходности был применен на американских, канадских и британских железных дорогах и в деятельности почтовых служб США и Канады. Для этого использовали целый ворох идей: конкуренция улучшит обслуживание населения средствами связи, отрасль необходимо компьютеризировать. Нашли аргументы в пользу низкой оплаты труда работников и сделали расчеты необходимых инвестиций и возможных прибылей. В результате Канада, когда-то имевшая самую сложную сеть железных дорог в мире, оказалась на грани полного краха, а оставшиеся поезда еще кое-как тарахтят по древним рельсам. Соединенные Штаты, ухватившись за те же теории, раньше всех разрушили свои государственные системы, а теперь пытаются их восстановить. Что касается Великобритании, то большинство населения вынуждено пользоваться железной дорогой, но на практике, если есть возможность избежать поездки на поезде, никто и не поедет.

Чем больше такие системы разрушаются, тем настойчивее экономисты и плановики твердят, что они и должны разрушаться. Они уверяют, что число потенциальных пассажиров сокращается, и потребность в железнодорожном транспорте уменьшается. Но фактически дело в том, что это эксперты по транспорту решили, что он устаревает. Поэтому инвестиций в новое оборудование почти нет. Чтобы покрыть убытки, они поднимают цену на билеты, непрерывно уменьшая объем услуг. Они нашли для себя пророчество, которое сами и осуществляют. В Великобритании, например, на один пассажиро-километр инвестируется в три раза меньше, чем в Германии. А за уменьшение количества пассажиров, которое в результате имеет место, берется наценка в одну треть стоимости за каждый километр пути.

С другой стороны, Германия и Франция продолжают считать, что железная дорога — одна из фундаментальных материальных ценностей страны. Они придерживаются мнения, выработанного еще в девятнадцатом веке, что эта государственная и, в конце концов, общеевропейская инфраструктура требует мощных вложений без гарантий получения прибыли. Поэтому они сохранили множество специалистов на всех

уровнях. Они придерживаются старомодных взглядов на обслуживание пассажиров, на чистоту, на максимальное возможное количество поездов, — а значит, максимальные возможности выбора, — на хорошее питание и надежность. Они потратили деньги и приняли на работу людей, чтобы обеспечить достижение своих целей. Они разработали самые лучшие технологии, чтобы пустить самые быстрые поезда в мире, способные двигаться со скоростью 260 км/час. Они уложили новые шпалы, чтобы пассажир ехал без всякой тряски. В результате пассажиров становится больше. Поезда полны людей. Во Франции стоимость недвижимости зависит от близости к станциям скоростной железной дороги. В провинциальные города, которые обслуживаются скоростной железной дорогой, стремится бизнес, таким образом способствуя децентрализации страны. Недополученная при продаже билетов прибыль покрывается за счет того, что экономятся деньги на закупку топлива для менее экономичных средств транспорта, таких как автомобили и самолеты, а также за счет продажи железнодорожных технологий другим европейским странам. Причина такого успеха состоит в том, что вся эта отрасль в целом рассматривается как жизненно необходимая обществу, а значит, достойная того, чтобы в ней применялись самые передовые технологии как в создании надлежащих условий труда, так и для технического обслуживания, а также потому, что в эту отрасль интенсивно направляются финансовые средства, а получение прибыли считается делом второстепенной важности.

Пример с почтовыми службами еще более вопиющий. Чем больше США и Канада модернизировали — или рационализировали — систему доставки почтовых отправок, тем меньше становились объемы доставляемых отправок, снижалась скорость, сокращалось количество обслуживаемых адресов. Ухудшилась регулярность доставки, возросли затраты, а значит, и стоимость для клиента. Почему? Потому что никакой системный анализ не сможет обеспечить доставку почты шесть дней в неделю. Особенно в сельские районы. Системный анализ показывает, что почту не следует до-

ставлять к дверям частного владения. Нас принуждают получать корреспонденцию через блоки почтовых ящиков, к которым каждый должен прийти лично, независимо от возраста и от погоды.

Британцы и французы ничего подобного не сделали. Они продолжают предлагать весь спектр услуг, доставляя почту в полном объеме и с наивысшей скоростью. В Париже почту разносят два раза в день, причем даже по самым труднодоступным адресам. В точно определенное время. Они превратили почтовые отделения в пункты, где предоставляются самые разнообразные услуги связи. Предлагая клиенту больше услуг лучшего качества, они привлекают людей в почтовые отделения, потому что люди хотят воспользоваться этими услугами. Клиенты идут, и почта активно функционирует.

Тем временем в Канаде для сокращения расходов на оплату труда закрывают почтовые отделения. Почтовые услуги передаются различным магазинам, которые занимаются ими как второстепенным бизнесом. Клиентам предлагаются почтовые марки и кое-что еще. Количество клиентов в самих почтовых отделениях сокращается.

Вопрос с наймом персонала особенно интересен. Письма разносит человек. Если вы сократите расходы на почту путем сокращения количества работников, вы ухудшите работу всей системы. Таким образом, будет запущен маховик сокращения объема услуг. Системный анализ этого не просчитает, так как ориентирован на то, чтобы сделать все системы государственной службы прибыльными, и не принимает в расчет того, что эта служба не является замкнутой на саму себя частной корпорацией, а частью целой общественно полезной структуры. Если прибыльность этой службы оценивать более корректно, следует учитывать то, как она влияет на жизнь и деятельность населения.

То, что служащие обходятся дорого, отрицать нельзя. Их зарплата и социальный пакет — бремя почтовой службы, то есть государства, которое является продолжением гражданина, платящего налоги. Но безработица тоже обходится недешево. То же самое государство должно платить безработному, обеспечивая его социальную защищенность. Для государства

держат человека без работы может быть так же дорого, как и предоставлять ему работу, поскольку к сумме социального пособия прибавляются затраты на служащих, которые занимаются этой социальной работой. Эксперт возразит, что следует применять искусственные расчеты, касающиеся расходов по занятости, следовательно, такие программы следует ликвидировать. В результате получаем хроническую бедность, которая — абстрагируемся на время от морального аспекта — обходится государству весьма дорого. Все, что окружает бедного человека — собственность, потребительский уровень, уровень образования, законности и правопорядка, уровень заболеваемости, — все это начинает соответствовать уровню бедности, и правительству приходится нести новые расходы. И хотя занятость требует расходов, она дает какую-то продуктивную отдачу. Безработица для экономики — абсолютный негатив. Если почтовая служба после найма лишнего работника станет работать лучше, это улучшит работу всей службы связи, что, в свою очередь, будет способствовать росту коммерческой активности. Вот вам и выгода от такого найма.

В Северной Америке почтовые отделения должны иметь больше служащих. Там следует построить больше почтовых отделений, чтобы почта стала ближе к людям, чтобы она была оснащена новыми средствами связи и могла предоставить клиенту самые современные услуги связи. Почтовое ведомство должно стремиться иметь армию почтальонов, которая доставляла бы почту в любой уголок, куда только клиент ни пожелает. Вместо этого оно пока мечтает о механизации своей службы, чтобы публика получала как можно меньше почты и за своими письмами приходила в централизованные хранилища, где корреспонденция хранится в почтовых ящиках.

В конце двадцатого века слова часто используются без смысла. Экономисты без конца твердят, что мы живем в эпоху индустрии сервиса. Но сервис — это, в конце концов, предоставление услуг. А у нас самые основные услуги, за которые государство традиционно несло ответственность, так как считало их частью мышечной системы государственного организма, теперь рассматриваются как бизнес,

нацеленный прежде всего на прибыль, которую должны приносить обслуживаемые.

Существует целый ряд государственных и полугосударственных служб, в которых введение принципов современного управления было бы совершенно ошибочным делом. Скажем, в образовании. Что дешевле: предоставить учителю работу или оставить его безработным? Просчитать нужно все, не только зарплату. Например, во сколько обходится государству обучение самого учителя. И на сколько увеличатся для экономики будущего затраты на образование одного ученика, если в одном классе двадцать учеников, или, может быть, лучше десять, а не тридцать или сорок, как сейчас. И во что обходится государству буйно расцветающая неграмотность. Все западные государства сейчас признают, что система всеобщего образования не работает. Сейчас все заняты поисками выхода из этого положения, в основном пытаюсь реформировать структуру, методику и содержание школьного образования. Но ведь образование — и качественно и количественно — это, прежде всего, результат работы учителя. А учителей требуется много: чем больше, тем лучше. Стратегия государственного образования может получиться удачной на бумаге, но без учительского сообщества она так и останется стратегией.

Аргументы такого же рода можно приводить и в отношении строительства дорог, дорожных служб, паромных сообщений, здравоохранения, защиты окружающей среды, библиотек, городского транспорта и университетского образования в области высоких технологий. Однако, судя по нынешнему отношению ко всему этому, нужно быть готовыми к тому, что по причине экономических трудностей придется затянуть пояса. Печатать деньги значит способствовать инфляции. Но вкладывать деньги в те области, которые, вследствие своей неприбыльности, не дадут отдачи в деньгах, а принесут хоть и не прямую, но существенную выгоду государству, — это реальная форма эффективной и созидательной работы.

Нынешнее понимание прибыли и убытков совершенно не учитывает того, что на самом деле является выгодным. Хуже того, не учитывается то, что различные типы организации могут успешно развиваться на основе принципиально раз-

ных подходов к управлению. Бизнесмены, которых сейчас постоянно привлекают в качестве консультантов правительства, эту разницу не принимают во внимание.

Надо отдать должное: частные корпорации часто проявляют исключительную гибкость в отношении того, что считают эффективным. Критерии крупных корпораций в отношении приобретаемого имущества, долговой политики, системы вознаграждений своим сотрудникам, программ долгосрочного планирования могут оказаться скандально неэффективными, несообразными и вообще профанацией, если их будет применять правительство. Это не означает, что корпорации работают неправильно. Это означает, что, придя на работу в правительство, они настойчиво внедряют то, что якобы является стандартами выгоды и эффективности с точки зрения корпораций, и требуют, чтобы правительство исполняло то, что они не хотели бы применить в отношении себя.

Морис Стронг, специалист по охране окружающей среды, бизнесмен и заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, например, полагает, что самыми успешными международными организациями являются транснациональные. Почему? Потому что они легко адаптируют свои нужды и стандарты к тем обстоятельствам, в которых они оказываются в каждый данный момент¹. Подобно транснациональным компаниям, правительство должно научиться считать по-новому. На самом деле они просто изобрели новые способы счета. Вероятно, правительство ими руководствоваться не должно. Что они, однако, демонстрируют, так это то, что правительство не должно быть пленником расхожих экономических клише в отношении размера, производительности и стоимости. Подобно транснационалистам, правительство должно научиться считать по-новому.

II

Поразительная неэффективность нашего правительства в управлении международной экономической корпорацией за последние двадцать лет, так же как распутывание революци-

онных международных соглашений и структур сороковых и пятидесятих годов, должна быть отнесена в разряд внутренних неудач государственных структур. Системные менеджеры сели на мель в собственной гавани, там, где у них в руках были все рычаги управления. Сбитые с толку из-за необъяснимой с их точки зрения неудачи, они вытолкнули проблему в международную сферу. Там они могли действовать с безответственностью, которая дома была невозможна. Несоответствие уровней игроков и отсутствие сильных структур и эффективных поддерживающих агентств позволило им делать все, что они хотели для достижения своих краткосрочных целей. А им требовалось разрушить международную стабильность и особенно — международную финансовую стабильность.

Соединенным Штатам, обладающим огромной силой, снова и снова удастся вытолкнуть собственные проблемы за пределы своих границ. В 1961 году для того, чтобы запустить механизм потребления оружия и тем самым покрыть свой торговый дефицит; в 1973 году для того, чтобы впервые подстегнуть рост цены на нефть, чтобы иранцы смогли оплатить свою ориентированную на Запад программу вооружений; и дальнейшие попытки остановить безудержный рост цен на нефть через использование общей инфляции — это были безумные действия представителей рационального сословия, которым не хватало длины поводка. Эти шаги были не хуже тех, что предприняли западные европейцы, когда, например, решили заменить свой рабочий класс люмпен-пролетариатом — выходцами из стран Третьего мира. Авторами этой идеи были экономисты и современные технократы: социалисты, консерваторы и либералы — и все они объясняют, насколько эта идея прекрасна. То, что лет через двадцать это приведет к кризису межэтнических отношений, в их инструкторных материалах не написано. Как не описано, к чему приведет гонка продаж вооружений странам Третьего мира, в которую они бойко включились вместе с Соединенными Штатами. Так же как и последствия проводимой европейцами политики интенсификации рыболовства в Атлантике — это то, что продолжает действовать.

Однако самым эгоистичным и деструктивным «достижением» западных экономистов было вот уже сорок лет действующее одностороннее американское решение 1973 года о разрыве послевоенного соглашения о поддержке валютных курсов как способе справляться с дефицитом валюты в международной торговле. В то время это иносказательно называли конверсией плавающих валют. Тогда, как и сейчас, находились эксперты, которые обосновывали такую необходимость огромным количеством цифровых выкладок. В реальности, однако, произошел возврат к финансовой анархии во всем западном мире.

Последовавший за этим хаос привел к необходимости ввести систему европейского монетаризма («валютные коридоры»). Импортно-экспортный баланс, дефицит, инфляционные нужды Соединенных Штатов привели к тому, что европейские валюты стали беспорядочно скакать вверх-вниз, что наносило ущерб промышленному производству, конкурентоспособности и торговле. Дикие скачки курсов валют и цен на товары, вызванные политикой Никсона, постепенно отвлекли бизнес-сообщество от желания инвестировать средства в промышленность и приохотили его к игре в рулетку — к манипуляциям с бумагами и бумажной прибылью. Началась деловая активность, сутью которой стали реорганизации, слияния, передача полномочий, и ничто из этого не способствовало развитию производства. Все это привело к тому, что реальный экономический рост стал невозможен.

Практически решение 1973 года разрушило единство промышленно развитых стран. Беспардонно разыгрывая национальные проблемы против своих союзников, Вашингтон создал три соперничающих блока. Это означало, что Япония теперь свободна и может играть свою игру. Что касается Европейского сообщества, то его члены внезапно осознали, что у них остается только один выбор: они могут преуспеть только в составе Сообщества. С психологической точки зрения, Европа образца 1992 года родилась из плавающих валют и повышения цены на нефть в 1973 году. И на каждое новое одностороннее действие или военную инициативу, которую предпринимало все более эгоистичное американское прави-

тельство в течение следующих двух десятилетий, следовала немедленная реакция европейцев, направленная на укрепление Европейского союза. Когда мы увидели, как единодушно Сообщество вступило в ГАТТ в Монреале в 1989 году и как вышло из него, протестуя против американских требований, мы поняли, как далеко зашли противоречия и какими иллюзорными на самом деле оказались близкие отношения между Тэтчер и Рейганом.

Беспорядочность межгосударственного монетаризма, в конце концов, заставила европейцев создать группу пяти (G5), которая затем превратилась в группу семи (G7). Создание комитета из семи ведущих индустриальных держав стало отчаянной попыткой минимизировать урон, нанесенный многосторонними американскими горками, и, как минимум, укрепить экономические связи между ними². Стремление выработать общеевропейскую финансовую политику — это еще одна более скромная попытка сделать то же самое. Но малый размер этих групп, противоречия между их членами и неформальная природа их деятельности указывают, что многие страны снова желают привязать себя к ним, пока углубленные в себя управленческие структуры, а каждая из стран обязана водрузить на себя таковую, так непонятно выводят баланс прибыль-убыль из любого международного соглашения. В результате мы все еще пристегнуты в кресло американских горок, которые продолжают мчаться с бешеной скоростью.

III

Трудно внятно объяснить, какая именно существенная перемена случилась в нашем обществе. Тот, кто начинает жизнь политика и, следовательно, несет ответственность за изменения в обществе, скорее всего, будет препятствовать открытым дебатам, а не способствовать им. Современный политик, отделенный существенным образом от реальных действий и движимый хорошо отточенной, но бесцельной жадной властью, все более представляет собой потребительский товар.

Среди самых ранних образцов этой продукции был Гарольд Макмиллан, урбанизированный британский премьер-министр начала шестидесятых годов. Внук мелкого арендатора, он быстро разбогател на издательском деле, женившись на дочери герцога, и воспринял манеры правящей касты. Он много поработал над собой, чтобы с помощью сдержанной иронии, напускной робости и мнимой пресыщенности производить впечатление человека более умного и намного лучше контролирующего события, чем это было на самом деле. Его преемник, лидер лейбористов Гарольд Вильсон, старался говорить и вести себя так, чтобы казаться проще, чем он был на самом деле. Он часто держал во рту незажженную трубку и одевался так, чтобы производить впечатление не вполне аккуратного человека из народа. Светский щеголь становится своим парнем: с ним удобно, надежно, он курит трубку.

Этот имидж, однако, абсолютно не сочетается с имиджем обычного человека. Сын инженера-химика, получивший воспитание в Оксфорде, он некоторое время принимал участие в разработке экономических планов Бевериджа, в которых была изложена идея схемы власти будущего государства благоденствия. В военное время он руководил отделом экономики и статистики и состоял на гражданской службе, был разработчиком лейбористского плана национализации угольной промышленности. Иными словами, он был настоящим технократом. Более того, находясь у власти, он самым строжайшим образом контролировал, что о нем пишет пресса. Это было возможно, поскольку ему всегда был готов помочь лорд Гудман, один из ведущих юристов страны.

Разумеется, политики всегда использовали бутафорию. Это часть их традиции, которая больше отражает их стремление к театральным жестам, чем желание маскироваться. Черчилль и Рузвельт являли собой последний пример надменности старого образца. Плащи, комбинезоны из плотной ткани темного цвета, несколько военных мундиров, диковинные мундштуки, сигары и шляпы. При том что один из них был несколько тучен, а другой — калека, казалось, они имели бесконечное множество лиц и тел. Их жесты и движения мгновенно доносили до зрителей то, что они как политики в

настоящий момент чувствуют: негодование, воинственность, смех, ярость. Их речь представляла собой смесь аристократизма и популизма, так как в ней прямота соседствовала с налетом эlegantности, что и придавало силу их заявлениям и доводам. Все эти особенности и демонстрировали, что оба они не были конформистами в отношении стремлений к переменам.

Подобный набор театральных приемов отличался от того, чем пользовалось племя политиков, которое вместе с Макмилланом и Вильсоном вышло на авансцену позже и довольствовалось лишь одним фиксированным образом. Эти люди искали свою «роль», в которой, или спрятавшись за которую, они могли работать на протяжении всей своей карьеры. Такой имидж был необходим для выборов. Замаскировавшись таким образом, политик мог служить любым интересам, которые считал для себя приемлемыми. Воспитанники школы Черчилля-Рузвельта использовали бутафорию, чтобы иллюстрировать свою политику и продавать ее. Современные политики используют ее, чтобы скрыть свои намерения и действия.

Далее имидж политика развивался таким образом, что появилась тенденция появляться в одном и том же костюме. Всегда и повсюду в кадре он будет запечатлен в одном и том же виде, том, в котором зрителю полагается его видеть. Вопрос только в том, насколько мудро подобран его образ. Носким ли он окажется с течением времени и карьерным ростом? Или выяснится, что он чересчур привязан к определенному месту, периоду или событию? Нужно найти образ, уместный на все случаи жизни, чтобы он был гладок, не вызывал ассоциаций и мог удачно служить в любое время и при любых обстоятельствах. Сейчас, с ростом запутанности в отношениях между политиками и обществом, большинство фигурантов пользуются двумя образами: государственный деятель и популист. Официальный и неформальный. Как жискарровский однобортный серый костюм против его же серого фланелевого пуловера с вырезом. Президентский костюм Рейгана против его ковбойского наряда. Новенький однобортный костюм Картера и его джинсы. Очень немногие политики се-

годня могут позволить себе более двух образов. Считается, что, если их больше, публика запутается.

Чтобы проиллюстрировать ситуацию, стоит сравнить современное поколение французских политиков с президентом Миттераном, пережившим два политических поколения. У Миттерана прекрасно выстроенный образ, опирающийся на грамотность, несомненную интеллигентность и окутанный неким ореолом таинственности. Его большие черные шляпы и плащи служили напоминанием о его связи с Леоном Блюмом, первым социалистическим премьер-министром, романтической фигурой первой половины века, который до своего прихода в правительство был поэтом и дуэлянтом. Миттеран участвовал в Сопротивлении, во время войны в Алжире попадал в переделки, о которых и сейчас не говорят, написал много романтических и гражданственных книг о политике. Психиатр мог бы сказать, что его шляпы и плащи также являются символами той тайны, в которую всегда окутывал себя Миттеран, чтобы его имя не трепали политики-одиночки.

Новое поколение французов не имеет ни тайн, ни грамотности. Работоспособность представлена серым костюмом, поэтому они его надевают, смешивая себя таким образом с бюрократами, которые одеваются так же. Все они придерживаются иезуитской посылки о том, что простое платье носят не потому, что хотят принизить себя, а именно в интересах анонимности. Вместо тайны — власть и секретность, спрятанная за предсказуемыми высказываниями и одеяниями специалиста. Многие из них до сих пор не смеют улыбаться на публике, так как боятся, что их начнут путать с каким-нибудь артистом или певцом и не будут воспринимать как политических деятелей.

Канада между тем в такой угол себя не загоняет, она уже дважды избрала Брайана Малруни, который упакован в пленку отстраненного высокомерия. Можно также увидеть и услышать, как он распевает популярную песенку и на людях обнимает свою жену и детей, а затем переходит на серьезный тон и стальной шепот — превращается в государственного деятеля.

Конечно, Запад ориентирован на образ Соединенных Штатов, которые выставляют множество наборов-конструкторов для сборки кандидатов в президенты, как будто главной целью является идеальная пластика. Бывший претендент на пост вице-президента Роберт Доул, бывший лидер сенатского меньшинства — умный человек, достаточно сделавший в своей жизни, чтобы показать, что он реальная человеческая личность из плоти и крови. Но у него взрывной характер, и это совсем не пошло ему на пользу. Он героически воевал, был ранен, и у него не действует одна рука. Физический недостаток сейчас воспринимается скорее как злоеший знак, а не предмет восхищения. В мире образов католических монахов и абсолютных монархов требуется хотя бы минимальный уровень физического совершенства. Католический священник должен быть физически совершенен, так как изъяны появляются не без вмешательства раздвоенных копыт. Король должен быть красив и храбр, чтобы его подданные грелись в лучах его славы. Современный политик не должен иметь изъянов, то есть быть таким, чтобы придрататься было не к чему. Поэтому он уделяет много внимания своему имиджу, чтобы не к чему было придрататься. Доул буквально состоял из недостатков, когда выдвинул себя претендентом в президенты от Республиканской партии в 1988 году. Чтобы подправить свой имидж, он нанял консультанта, Дороти Сарнофф. Когда во время избирательной кампании госпожу Сарнофф спросили, изменился ли Доул, она без всякого нажима со стороны спрашивающего ответила: «Конечно, я изменила его. Лучше, чем он, у меня не было учеников. Прекрасный, прекрасный человек. Я убрала из него все наносное». Другой советник, Джон Сиэрс, архитектор первой победы Рональда Рейгана в 1980 году, добавил, что «простая компетентность не позволит вам выиграть. Если Боб Доул сможет убедить людей, что имеет надежное видение перспективы, более надежное, чем его соперник, он будет выдвинут и победит»³.

Слово «видение», кажется, выпадает из контекста такого заявления. Но в устах Сиэrsa оно означает то же, что «имидж», в то же время намекая на государственность и ве-

личие души. Он использует слово «видение» так же, как некоторые используют слово «любимый», имея в виду умершего. Несколько слов и безобидная улыбка. «Более добрая и более мягкая Америка». Никаких предложений политических действий. Никаких указаний, как и когда. Всего лишь мягкий и безупречный ярлык, соответствующий настроению дня. Господин Доул проиграл, но интересно то, что госпожа Сарнофф и господин Сиэрс свободно, так чтобы можно было цитировать, говорят такие вещи на публике во время избирательной кампании.

Это можно обозначить термином «политика в отношении личности», и он будет обозначать прямо противоположное тому, что значат составляющие его слова. Чаше всего имеется в виду создание личности там, где ее нет, или, наоборот, контроль над ней или даже представление в ложном свете, если личность чересчур реальная. Даже в этом случае эти созданные личности могут оказаться провальными, если их выбрали неправильно или неправильно направляли их действия в реальных ситуациях.

Едва ли следует удивляться тому, что современные политики, елико возможно, избегают неподготовленных встреч с реальностью. Они пытаются ограничить свое появление на публике и перед прессой и свести его до тщательно подготовленных событий, которым надлежит стать факсимильными копиями реальности.

Распространение ничего не значащих фотографий политиков и их советников с телефонной трубкой возле уха или в шахтерской каске стало одной из промышленных отраслей политического быта. Но они лишь слепок гораздо более сложного бизнеса. Важна законченность цепи выстроенных событий, которые обретают символическое значение и должны быть отрежиссированы и записаны. Например, Джордж Буш, избранный президентом, начал свою деятельность с того, что пешком спустился в холл, чтобы встретиться со своим вице-президентом. Об этом событии объявили заранее, и оно должно было продемонстрировать, что президент полностью доверяет Дэну Куэйлу, которого уже критиковали за легковесность. На самом деле с президентом в холле ничего

не происходило, и ничего особенного в офисе господина Куэйла сказано не было. Разумеется, вице-президент встал, вышел из-за стола и пожал президенту руку. Визит был символическим. Президент удостоил вице-президента своим визитом.

Жизни полутора десятков избранных президентов и премьер-министров обставлены такими репрезентативными симуляциями. Некоторые — совершенно необычны. Появление госпожи Тэтчер на похоронах деревенских жителей, погибших в результате авиакатастрофы в Локерби, должно было продемонстрировать ее сопереживание горю простых граждан. Это происходило в то время, когда большинство жителей королевства на себе ощущали, что она и ее экономическая политика служат только богатым. Каждый западный лидер, посещающий Юго-Восточную Азию, непременно посетит лагерь беженцев на камбоджийской границе, чем отметит, что разделяет гуманитарную озабоченность, хотя камбоджийская проблема не решается уже более десяти лет, прежде всего потому, что Запад пользуется системой двойных стандартов в отношении сторон этого конфликта.

Такого рода события и сотни других, более мелких, разыгрываются каждый день. Это — как поездки монарха или, скорее, протокол, разработанный в Руританском королевстве. Только актерами в этом случае выступают не вымышленные принцы из легкого романтического романа.

Существует также целая индустрия притворных событий, которые даже символического смысла не имеют. Самый значащий пример — военные приветствия президента Рейгана. Как главнокомандующему, военнослужащие обязаны отдавать ему честь. А вот почему он, одетый в гражданский костюм, делает такой же жест, совсем непонятно. Но таким же жестом приветствовать политическое собрание и телевизионные камеры еще хуже — просто бессмысленно. Сделав так при своем последнем появлении на съезде Республиканской партии, он посмеялся над своими полномочиями главнокомандующего. В конце концов, отдавание чести — это один из немногих символических жестов, который имеет конкретное значение. Он символизирует связь между начальником и тем,

кто добровольно будет рисковать своей жизнью, если ему прикажут.

За несколько дней до инаугурации президента Буша Белый дом опубликовал точное описание церемонии прощания президента Рональда Рейгана со своей должностью и городом. После инаугурации президент Буш проводит господина Рейгана до вертолетной площадки на Капитолийском холме. Когда господин Рейган войдет в вертолет, он в последний момент повернется и отдаст честь президенту Бушу. Пресса очень подробно все описала, чтобы каждый смог все это представить. Отдание чести господином Рейганом должно было как-то смутно напоминать то, как Иоанн Креститель крестил Христа в реке Иордан, а также то, как генерал Дуглас Макартур, уволенный в 1951 году с поста командующего во время войны в Корее, заканчивая свою драматическую защитительную речь на объединенном заседании конгресса, сказал: «Старые солдаты никогда не умирают, они просто постепенно угасают». Если бы президент Буш не ответил на такое приветствие, это воспринималось бы как некий символ, который обсуждал бы весь Вашингтон. Преднамеренное оскорбление? Декларация независимости? На следующий день «Вашингтон пост» написала: «Господин Рейган на трапе вертолета отдал честь господину Бушу, стоявшему у подножия Капитолия. Господин Буш принял приветствие, также отдав честь»⁴.

Но на следующей неделе появилось множество образов и звуков, которые к реальности никакого отношения не имели. В своей прощальной речи президент Рейган настаивал на том, какое влияние оказали на мир восемь лет его правления: «Мы усвоили еще один урок: когда замышляешь великое событие, никогда не знаешь, как оно закончится. Мы хотели изменить наше государство, а вместо этого изменили весь мир. Страны всего мира повернулись в сторону свободы рынка и свободы слова [обратите внимание на порядок слов] и отказались от идеологии прошлого. Великим открытием восьмидесятых годов стало то, что — подумать только — нравственность власти может стать действенной нормой работы правительства»⁵.

Пять дней спустя министерство юстиции США опубликовало результаты внутреннего расследования, из которых следовало, что друг президента Рейгана Эдвин Мис, занимая государственную должность старшего служащего министерства юстиции, много раз нарушал федеральные этические стандарты. Он «замешан в таких случаях, которые для любого государственного служащего неприемлемы, а для высших чиновников органов юстиции в особенности»⁶.

Через несколько дней во Франции разразился такой финансовый скандал, какого в истории этой страны еще не бывало. В нем были замешаны близкие друзья президента Миттерана и носители закрытой информации относительно торговли. Первым в отставку ушел начальник отдела кадров министерства финансов. Еще через несколько дней британское правительство начало ежедневно публиковать материалы, пытаясь замаять скандал, возникший в связи с эпидемией сальмонеллеза, вызванной зараженными яйцами. Причиной стал страх, что на рынке куриных яиц произойдет коллапс. На той же неделе продолжались крупные судебные процессы над мафией в Италии. Они вызвали целую серию отставок, после чего возникли предположения, что в судебный процесс вмешиваются какие-то невидимые силы, что подтверждало уже сложившееся впечатление, что в Италии организованная преступность — более влиятельная сила, нежели бизнес и правительство. В том же месяце вынужден был уйти в отставку швейцарский министр, которому предъявили политико-хозяйственные обвинения, история с коррупцией в политике приняла крупные масштабы в Австрии, а в Афинах вновь вспыхнул скандал вокруг Коскотаса, когда выяснилось, что в коррупции был замешан личный друг греческого премьер-министра, правительство которого вскоре пало. А тем временем министры и высшие чиновники в Японии продолжали уходить со своих постов после скандала с взятками промышленников государственным служащим. Был замешан бывший премьер-министр Накасонэ, известный как самый проамерикански настроенный из японских лидеров. А через несколько недель американский сенат подтвердил, что слушания по поводу бывшего сенатора Тауэра состоятся,

таким образом выводя на первый план тот факт, что коррупция официальной власти становится легальной, в противоположность существующей нелегальной коррупции. В том же году Рейган совершил частный визит в Японию по приглашению японской корпорации. На поддержание своего великого престижа он потратил два миллиона долларов. В конце концов, уходя из Вашингтона, он имел рейтинг в 68 процентов⁷.

Единственным возможным выводом может быть тот, что американский народ верит в образы, но не верит в происходящие события, верит в представляемую ему реальность, но не верит в то, что видит своими глазами. Когда слушания по делу «Иран-контрас», казалось бы, показали, что президент не ведает, что творится вокруг него, стареющий артист произвел целый ряд действий, которые должны были символизировать, что он пребывает на своем посту. Сценарий предусматривал поход президента в Пентагон, проход по его коридорам, встречу с начальниками штабов, консультации с ними, дальнейшую пешую экскурсию и, наконец, пресс-конференцию по результатам консультаций. На каждом отрезке пути были созданы условия для фотосъемок. Образы создавались и передавались в СМИ.

Спору нет, Рейган прошел замечательную голливудскую школу производства низкопробных грез, а также телевизионную школу рекламирования продуктов. Его хорошо научили, как в публичных дебатах углублять и без того глубокую пропасть между иллюзией и реальностью. Этот талант был у него всегда. В своих мемуарах, написанных еще до того, как он стал президентом, «Где то, что от меня осталось» он повествует о своем военном прошлом, как он делал учебные фильмы для пилотов бомбардировщиков, как будто он сам был таким пилотом. Он так не пишет, но создается такое впечатление.

Профессионализм господина Рейгана позволял ему создавать образы, которые особенно коробили честных и компетентных критиков. Они живописали картины реально происходящей катастрофы, но предлагаемые властью картины воображаемых побед и убедительных образов были сильнее.

У тех, кто профессионально занимается организацией общественных дебатов: политиков, журналистов, интеллектуалов — появилась тенденция замечать, что гражданин, как выяснилось, не способен ощутить разницу между миром реальности и миром рекламы. Может быть, все дело в обществе, но это присутствует повсюду, и повсюду очень мало тех, кто способен заметить эту разницу. Это касается и отдельного гражданина, и объединений граждан.

Что касается прессы — основного источника более или менее подробной информации — то прежде ей не приходилось попадать в такую трудную ситуацию. Если говорить об образах, то корреспонденту почти невозможно представить картинку, отражающую реальное положение вещей. Общественные деятели свои фланги не оголяют.

Даже для Джорджа Буша нетрудно представить образ, который может помочь ему в его делах. Ирак дал ему возможность создать нечто якобы грандиозное и историческое. Однако вот на какой пассаж можно было наткнуться в газете, которая распространяется во всем мире, в данном случае в *London Times*: «Находясь в своем родном городе Кеннебанкпорт, штат Мэн, президент Буш в жуткий холод неожиданно совершил двухмильную прогулку. Он вместе со своей женой Барбарой и собакой Милли отправился в местную аптеку, чтобы купить лезвия для бритвы. Его пресс-секретаря заранее не предупредили, и он вынужден был бегом догонять президента, который для тепла надел меховую шапку»⁸.

Что же совершил Буш? Было ли это символической, но спонтанной демонстрацией того, что он нормальный парень и излишним самомнением не страдает. Надуманные обстоятельства описанного события не позволяют утверждать, что на самом деле оно имело место. Более того, очень трудно представить, что это имеет какое-то отношение к исполнению им своих обязанностей.

Здесь мы хотим отметить, что те, кто имеет власть, то и дело буквально бомбят СМИ такими постановочными фальшивыми картинками, которые нельзя игнорировать, так как их персонажи имеют реальную власть. Заполняя эфирное и

газетное место, они искажают, если вообще не уничтожают реальное положение дел. В такой атмосфере СМИ практически не в состоянии помочь гражданину принять участие в открытом обсуждении общественных проблем. Правящие ничего обсуждать не будут. Связь с народом, по их мнению, означает отредактированное представление правительственных решений посредством воображаемых личностей и событий, которых не было.

Глава двенадцатая

ИСКУССТВО СЕКРЕТНОСТИ

На Западе секретно все, кроме того, что специально объявлено открытым. Наша цивилизация, которая неустанно провозглашает тезис о нерушимости свободы слова, действует так, словно верит только секретам. Такая тяга к скрытности не случайно сыграла практическую роль в искажении принципов демократии при применении их на практике. Власть экспертов и Героев обнаружила, что секретность — их естественный союзник. Само слово «секретность» в двадцатом веке стало очень популярным и вошло в целый сонм излюбленных словечек, таких как «менеджмент», «планирование», «системы» и «эффективность». Но «секретность» в этом списке — единственная не новая страсть.

Сунь-цзы за 500 лет до Рождества Христова давал советы по организации военных действий. Он отмечал, что для победы в войне секретность играет большую роль, так как помогает победить быстро и без больших потерь. Китайский иероглиф, обозначающий это понятие, буквально значит: «пространство между двух объектов», то есть намеренное разделение силы врага на основе имеющихся сведений о нем¹. Сунь-цзы очень точно описал понятие секретности. Он выделил пять типов секретных агентов в соответствии с теми функциями, которые они выполняют. Например, внутренние агенты (враг, которому платят за предательство), двой-

ные агенты (вражеские шпионы, которыми платят за предательство) и одноразовые агенты (те, кого умышленно снабжают фальшивой информацией).

Главное в определении всех пяти типов то, что секретность — это инструмент, который используется особым образом, иными словами, бережливо, для достижения каких-то специфических целей. Сама по себе секретность — отнюдь не самое важное. Предмет по своей природе вещь открытая, и изначально секретного в нем ничего нет. Следовательно, тщательное и ограниченное использование неполных сведений о предмете, а также предательство может быть очень эффективным. Сунь-цзы настойчиво подчеркивал: для того чтобы добиться успеха, секретность должна использоваться ограниченно, не превращаться в самоцель. Она не является идеальным средством, которым могут пользоваться все. Она будет работать только в том случае, если ожидается оправданный результат, и пути его достижения обосновываются моралью: «Не обладая совершенным знанием, не сможешь пользоваться шпионами; не обладая гуманностью и справедливостью, не сможешь применять шпионов...» И далее: «Только просвещенные государи и мудрые полководцы умеют делать своими шпионами людей высокого ума и этим способом непременно совершают великие дела». И это не идеалистическое морализаторство. Сунь-цзы был человеком практичным и постоянно подчеркивал разницу между иллюзией успеха и реальным успехом.

Наше понимание секретности совершенно иное. Рациональная революция привила нам убеждение в том, что правдой является факт или краткое руководство к фактам. Это превратилось в способ существования, стало неотъемлемой частью западной цивилизации, которая в наше время зависит от структур и экспертиз. Многие, обладающие знаниями на уровне эксперта или какой-то другой силой, работают в этих структурах и, следовательно, могут частично контролировать элементы современной правды. Они ответственны за управление и функционирование части всей системы. Соответствовать системе — значит успешно делать свою работу. Единственное, что они могут, при всех своих властных пол-

номочиях, — это препятствовать тому, чему они должны способствовать. Препятствование чаще всего осуществляется в форме задержки исполнения, задержке в передаче информации или экспертных данных.

Следовательно, секретность — это совсем не то, что под этим подразумевает закон — особенный аспект, который касается сокрытия значимых сведений в интересах национальной безопасности. Мы подпадаем под обаяние государственной секретности. Мы воображаем, что раз что-то скрыто, значит, оно имеет огромную важность. А секреты множатся в геометрической прогрессии, а вместе с ними опасность того, что враг попытается добыть наши ценные крупницы правды, отсюда и треволнения по этому поводу. Это музыкальная комедия о секретности, поскольку государственная безопасность и агентурная разведка — самые малозначимые аспекты всей системы. Вполне можно допустить, что большинство стран обладает двумя-тремя по-настоящему значимыми или ценными секретами. Все остальное засекречивается искусственно. В основе такого укрывательства лежит реальная проблема, которая по своей природе вынуждает любого гражданина пользоваться секретностью как инструментом собственной власти.

Этот феномен присущ не только западному сообществу. На протяжении всего Средневековья общество было организовано исключительно примитивно. Существование между двумя крайностями: договорными феодальными отношениями и использованием грубой силы — не оставляло места для тайн или стратифицированных структур. И это не позволяло секретности развиваться до такой степени, что она могла бы стать важным социальным инструментом. Средневековое общество было грубым миром, в котором все основные человеческие действия были также общественными. И именно разум представил обществу идею о том, что в человеке скрытого больше, чем очевидного, как рациональная мысль всегда это и представляла. Открыл это Макиавелли. Лстец, закулисный манипулятор и кулуарный интриган отстаивал идею о том, что следует скрывать свои замыслы, если хочешь переиграть соперника.

Через шесть лет за Макиавелли последовал добрейший Эразм, один из наиболее влиятельных ученых и гуманистов северного Ренессанса. Казалось, что эти два человека движутся в противоположных направлениях. Эразм, кроме прочего, выступал за то, чтобы церковь отказалась от догматических диспутов теологов и вернулась к простым евангельским истинам. Его критический подход подрывал трюизмы средневековой схоластики и прокладывал дорогу к Просвещению. А еще он был создателем мещанской морали. Эразм прославлял общественную осмотрительность, которая должна была ограничить распущенность путем разграничения норм общественного и индивидуального поведения: «Для здоровья вредно задерживать в себе мочу, но мочиться следует втайне. Некоторые рекомендуют юным особам не пукать, сжимая мышцы заднего прохода. Вот как! Так же плохо, если вы, стараясь быть вежливыми, делаете так, что другим становится неприятно. Если есть возможность выйти из комнаты, следует выпустить газы вне ее. Если же нет, вам следует в этот момент кашлянуть, как советовали встарь: одним звуком замаскируйте другой»².

«Одним звуком замаскируйте другой». Такая практика стала торговой маркой образованного человека.

Макиавелли и Эразм не так уж далеко разошлись во взглядах на отдельного человека. В основе нового поведенческого стереотипа лежал подход, который можно назвать осмотрительностью или секретностью, не важно, идет ли речь о выпускаемых газах или о манипуляциях правительства. Эта тема секретного желания красной нитью проходит через развитие разума. Из этого и исходили эти и другие философы, не говоря уже о том, что инквизиция сумела доказать свою глубокую уверенность, что все люди что-то скрывают. Их рациональный вывод состоял в том, что правду можно узнать, если просто задавать вопросы. Задавать вопросы, конечно, следует без применения пыточных инструментов. С другой стороны, пытка гарантирует ответ. А истина рационального человека в том и состоит, что на каждый вопрос должен следовать ответ. Ответ. Разумеется, правдивый. Лойола, строго следуя по пятам Макиавелли, сосредоточился прежде всего

на том, чтобы правильно выстраивать цепь вопросов, чтобы получать подходящие правдивые ответы. Он отточил технику благоразумия — то есть предательства — находясь на службе Богу, и продолжил дело, подняв предательство на уровень тонкого искусства по части организации и аргументов.

Ришельё усвоил эти идеи и развил их, поставив на службу национальному государству. Он превратил знание в свое главное оружие. Знание, полученное раньше, чем его получают другие; знание, перехваченное так, чтобы отправитель или получатель информации об этом не знали; знание, скрытое от других, может быть, навсегда, может быть, для того, чтобы воспользоваться им в будущем; знание, использованное в нужный момент, чтобы нанести поражение другим или в чем-то убедить короля; фальшивые сведения, такие как выдуманные факты, или сфабрикованные цитаты, или клевета, или собственноручная передача хороших новостей лицам, от которых зависит решение той или иной проблемы. Все это базировалось на беспрецедентно разветвленной сети информаторов и шпионов. Его искусство покупки информаторов стало одним из важных вкладов в методы работы современного правительства. В своих крайних проявлениях искусство секретности, в сочетании с той важной ролью, которую играли придворные, заменило сам ум хитроумием, как самым важным качеством тех, кто стремится занять должность во властных структурах.

Одним из самых первых деятелей, кто избавился от этой страсти и снова обратился к здравому смыслу как инструменту государственной службы, стал британский дипломат сэр Уильям Темпл, покровитель Джонатана Свифта. Темпл указывал, что доверие, возникающее во время переговорного процесса вследствие опоры на достоверность, более полезно, чем подозрение, вызванное применением хитроумия³. Такой подход он использовал, когда в 1677 году вел переговоры о женитьбе Вильгельма Оранского на принцессе Марии; позднее они станут Марией II и Вильгельмом III. Договор был исполнен точно в соответствии с заявлениями и намерениями сторон. Во-первых, Великобритания стала важным союзником европейских государств, вставших на сторону Реформа-

ции, и таким образом укрепляла позицию умеренного англиканства. Во-вторых, это способствовало отходу от абсолютизма в пользу более умеренной и ограниченной определенными договорными обязательствами формы монархии. Многое из того, что восхищало в исключительной умеренности британской политики на протяжении последующих двух веков, восходит к этому соглашению.

Это стоит сравнить с блестящими, хитроумными переговорами, которые велись за пятьдесят лет до этого по поводу заключения браков сына и дочери Генриха IV с представителями испанского королевского дома. Ришельё (неточность автора: тридцатилетний Ришельё, еще даже не бывший кардиналом, не имел никакого отношения к этим бракам; руководить политикой Франции он начнет спустя почти десять лет, в 1624 году — *прим. ред.*) хотел добиться разумного соглашения с французскими протестантами и опасался влияния испанского католицизма на Францию. Он пытался нейтрализовать такое влияние, соединяя детей французского короля с детьми испанского. Итак, в 1615 году будущий Людовик XIII женился на Анне, дочери испанского короля, а Елизавета, сестра Людовика, вышла замуж за будущего короля Испании Филиппа IV. Внешне все выглядело так, что поощряются консервативные силы во Франции и укрепляется общеевропейский католицизм. На самом деле Ришельё верил, что таким двойным ударом превратит Мадрид из назойливого врага в союзника, которым можно манипулировать.

Как-то так случилось, что он никогда не задумывался, что и сами эти семьи, и дети от этих браков будут жить по собственной логике. В течение десятилетия все стало складываться прямо противоположно тому, что он замышлял. Вместо нейтрализации католического влияния и упорядочения протестантства он создал ситуацию, которая в конце концов привела к отмене Нантского эдикта и изгнанию протестантов. Глубокая растерянность, вызванная столь успешным использованием секретности в деле, которое окажет прямое влияние на государственность Франции, толкнуло ее на шизофренический курс, пролегающий между реформированием государства и обожествлением власти, с которого она

окончательно не сошла и по сей день. Кризис со школами раздельного обучения во время первого президентского срока Миттерана был в каком-то смысле далеким отзвуком той неразберихи, которую породил Ришельё своими испанскими бракосочетаниями. В начале восьмидесятых годов правительство пыталось укрепить позиции государственного образования и ослабить финансирование частных католических школ. Столетия революций и политических преобразований так и не смогли четко разделить государство и церковь, и в конце двадцатого века правительству вновь не удалось это сделать.

Философы восемнадцатого века подвергали секретность и хитроумие нападкам, точно так же они нападали на Макиавелли и иезуитов. Но пока они будут ставить на один уровень открытую правду и рациональность, они будут связывать себя с системой, которая по самой своей сути несет в себе секретность.

В 1787 году Джефферсон писал из Парижа Медисону: «И скажи, наконец, как лучше сохранить мир: отдать ли всю свою энергию правительству или информированию населения. Последнее является самым надежным и самым законным орудием правительства. Дать целой массе людей образование и знания. Внушить им, что сохранять мир и порядок — в их интересах, и они будут их сохранять».

Такой подход в корне отличался от подхода федералистов, которых возглавлял Александр Гамильтон, и противоречил их более рациональным и элитарным взглядам. Джефферсон неоднократно подтвердил свою приверженность открытому и прямому подходу в своей первой инаугурационной речи: «Предъявление обвинений и привлечение к суду за злоупотребления должно совершаться на скамье общественного разума». Федералисты находились у власти двенадцать лет, и их методы управления привели к серьезной коррупции и спекуляциям. Новый президент сразу же написал своему министру финансов: «Наши предшественники использовали все хитросплетения системы и обхитрили следователя так, что он скрывает все от расследования. Я надеюсь, что мы пойдем в противоположном направлении и с помощью наших чест-

ных и юридически обоснованных реформ... вернем положение вещей в нормальное состояние, к простой и внятной системе, как это организовывалось с самого начала».

Но Джефферсон не сказал, что именно рациональность и породила все эти «хитросплетения системы». Элитарная рациональность, которая давала власть тем, кто ее вводил, получала выгоды от материально обеспеченного класса. Дополнением к взглядам Александра Гамильтона стало представление, что государство можно стабилизировать, передавая федеральные финансовые учреждения богачам, чье благополучие будет зависеть, как говорил Джеймс Флекснер, от федеральной власти. Именно этим гамильтоновским духом, столь близким европейскому рациональному подходу, затем долгое время будет отмечено правительство Соединенных Штатов: интронизация героического, финансовый оппортунизм и оптимистическое видение того, что может дать хозяйствование в министерском кабинете⁴. Власть была нужна, чтобы выстроить совершенные системы управления. Одновременное поклонение героизму и власти могло быть воспринято как стремление скрыть свои махинации. Личная идеалистическая преданность некой воображаемой разновидности рационального помешала ему увидеть, что многое из сделанного им на самом деле определялось простым здравым смыслом.

С самого начала деятельности рационального правительства было ясно, что рациональная система будет иметь дело с информацией, распространение которой не пойдет ей на пользу. Но никто не мог предположить, что система, при которой люди, находящиеся у власти, избирательно распространяют информацию, постепенно превратится в систему, где допускается распространение только некоторой части информации. Эту мысль стоит повторить. В конце восемнадцатого века общество могло узнавать все, кроме того, что сознательно утаивалось. Ко второй половине двадцатого века вся информация считается имеющей особый статус, кроме той, что сознательно раскрывается.

Неужели существует столько опасных секретов? Насколько повредит английской домохозяйке или ее стране, если она

узнает фамилии и должностные обязанности членов различных комитетов правительства? Или кто из депутатов в них состоит? Должен ли гражданин знать, подвергается ли он опасности радиационного заражения? Жизнь гражданина состоит из тысяч подобных вопросов.

Дело не в том, что сегодня секретов стало больше. Просто изменилось понимание природы секретности. В самом чистом виде — это была и есть информация, которая, попади она в чужие руки, может нанести вред государству. Но такой информации совсем немного. Государству можно нанести урон, если исчерпать какие-то его ресурсы или ограничить возможности технологического обновления. Гораздо чаще у государства возникают проблемы, если местные элиты отказываются исполнять свои обязанности, то есть осуществлять компетентное руководство и защищать интересы государства в целом. Это касается ненадлежащего распоряжения ресурсами, неумения работать в условиях технологических перемен или просто потери интереса к руководству и управлению. Пользоваться удовольствиями, которые дает власть, и не принимать на себя связанную с ней ответственность — это и есть самая частая причина того, что обосновавшиеся в обществе элиты неуклонно разрушают свои государства. Но к секретам все это не имеет никакого отношения.

В некоторых случаях секретность бывает необходима. Например, информация о месте и времени военного наступления. Наверное, о численности воинского контингента в определенный момент в определенном месте. Но подобная информация не может оставаться секретной длительное время. Кроме того, по своей природе оборона не обязательно является секретом, поскольку сама информация о ней выполняет оборонительную функцию. Что касается информации о новом оружии, то она редко помогала вражеской стороне. Военная история, как известно, одаряет победами более искусного полководца, а не того, у кого больше войск и лучше снаряжение, или того, кто обладает секретным оружием.

Что касается шпионов, которые выдают секреты, то их судьба нередко драматична. Предательство — главная забота

всех цивилизаций. Кроме того что оно будоражит общественность, оно также нарушает покой отдельного человека, так как является результатом личного выбора предателя и, следовательно, сказывается и на тех, кого предают, будь то отдельный человек или все население.

Однако острота реакции на предательство не обязательно соответствует важности отдельных секретов. Это подтверждается, например, таким постыдным случаем, как предательство Юлиуса и Этель Розенбергов. Американцы и убежденные коммунисты, они выдали ядерные секреты Советам, за что были арестованы в 1950 году, затем отданы под суд, осуждены и после полемики, развернувшейся во всем мире, казнены. Если абстрагироваться от всего, что было сказано в то время об идеологии, законности, патриотизме и предательстве, остается только секрет и его цена.

Расщепление атома было открыто в 1938 году в Германии Отто Ганом, в Институте имени кайзера Вильгельма. Это открытие не стояло особняком в ряду других открытий и не было секретным. Это произошло в результате долгих научных поисков, которые уже давно велись на Западе, а через месяц после выдающегося открытия Гана оно свободно обсуждалось на пятой вашингтонской конференции по теоретической физике. Ученые были обеспокоены тем, что Германия всех опередила, и убедили правительства союзников ускорить исследования. самого знаменитого из ученых, Альберта Эйнштейна — кстати, друга Гана и бывшего директора Института имени кайзера Вильгельма — другие ученые убедили принять на себя руководство. Он согласился написать президенту Рузвельту, призывая его объединить усилия ученых. Результатом этого стал «манхэттенский проект» и создание первой атомной бомбы.

Этот успех стал возможным частично благодаря совместной работе ученых разных стран из лагеря союзников. Однако немцы не смогли воспользоваться своим первоначальным преимуществом по нескольким причинам. Нацисты решили, что ядерная физика — это часть нечистой еврейской науки. Они также потеряли часть ведущих ученых: евреев и антифашистов. Наконец, практический результат ядерных исследований на тот момент был еще неясен, а ученые не хотели да-

вать обещаний своему правительству, поскольку, в случае отсутствия нужного результата, их могли бросить в тюрьму или казнить. Поэтому спешка при создании первой бомбы была по большей части воображаемой. И секретность в этом не играла полезной роли.

Союзники сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, то есть через шесть лет после научного прорыва в этой области. Многие ученые, принимавшие участие в разработке этой бомбы, выступали против ее использования. Они говорили, что взрыв бомбы даст Советам те сведения, которых им не доставало, чтобы самим изготовить бомбу. Но если Советы были так близки к этому, то разница между сбрасыванием бомбы и простым объяснением некоторых фактов в отношении опасений, что они ее произведут, была не так уж важна. Через четыре года после Хиросимы Советский Союз испытал свою первую бомбу. Это было в 1949 году, Розенбергов арестовали через год.

Какую же разницу по срокам дало их предательство? Шесть месяцев? Год? Два года? Сейчас кажется маловероятным, что они вообще передали какие-то полезные сведения. Несомненно, что секреты, выведенные Розенбергами, не повлияли на результаты войны и не изменили расстановку сил. И все же это было одним из самых крупных предательств века. Никакие другие военные разработки не могут соперничать с атомной бомбой по важности.

Что касается гражданских секретов, то они, в общем-то, секретами не являются. Они, скорее, имеют значение для технической стороны проведения переговоров, чем для безопасности как таковой. Сэр Уильям Темпл доказал, что лучшей сделкой является та, которую имеет смысл заключать и которая производит хорошее впечатление со стороны. Секретность хороша, когда сама сделка плоха, а подобное редко можно скрыть за фактами, кроме случаев, когда происходит комплексное искажение реального положения вещей.

Сегодня секретов не больше, чем в то время, когда Сунь-цзы писал свой трактат. Сейчас все просто помешались на секретности. Непродолжительная мода на экзистенциализм в

середине двадцатого века очень точно иллюстрирует, что произошло. Философия, объявляющая, что людей следует судить по их поступкам, на Западе, вероятно, не выжила бы. Мы полагаем, что человек — это то, что он знает, и его можно судить по силе этих знаний, то есть по тому, что при их помощи контролируется. В обществе, в основание которого заложено не действие, а системы, наше место внутри этой системы определяется нашей значимостью.

Мера нашей власти определяется информацией, которая доступна нам в силу нашего положения или создается нами. Одной из действительно любопытных черт нашего общества является то, что человек может легко осуществить свою власть, владея информацией. Он в состоянии просто-напросто блокировать поток бумаг или распоряжений. Или же, приложив весьма небольшие усилия, в большей или меньшей степени изменить информацию. И мгновенно превратиться из связующего звена в препятствие и доказать, пусть даже только себе самому, смысл своего собственного существования.

Принципы Эразма и Ришельё были подняты на такую нелепую высоту, что поощрение подобного блокирования информации превратилось в некую религию воздержания. Следует заметить, что если выйти за рамки иудео-христианской цивилизации, то физическое воздержание перестает быть культурным явлением. Наиболее очевидной причиной является то, что за пределами Запада обучение туалетным премудростям приобретает все больше положительные, поощрительные, даже приятные формы, в противовес тому, что так строго контролируется и регламентируется у нас и что считается неприятной физиологической функцией⁵. В буддийском и конфуцианском ареале также отсутствует идея власти через воздержание. В этом отношении концепция секретности существует, но она другая и не является главенствующей. Даже в исламском мире, который своими корнями происходит оттуда же, что и мы, воздержание оценивается по-другому и в сознании занимает иное место.

Первой жертвой западной системы, когда все, кроме того, в отношении чего принято иное решение, становится секрет-

ным, является гражданин, который также является создателем секретов. Простая логика системы подсказывает, что одна личность может контролировать лишь очень небольшой срез каких-то совершенно специфических секретов, в то время как остальные члены сообщества скрывают все остальное. Всеобщая секретность внушила нашему обществу такую ужасную неопределенность, что подорвала уверенность гражданина в том, что он вообще может иметь свою точку зрения по любому общему вопросу. Наш гражданин постоянно жалуется, что ему не хватает знаний, чтобы составить определенное мнение. У него сложилось впечатление, что доступная ему масса информации не была бы ему доступна, имей она действительное значение. В результате сформировалось унылое и беспорядочное состояние ума, не позволяющее гражданину активно использовать завоевания демократического общества. Гражданин убежден, что самая существенная информация от него утаивается.

На самом деле по большинству вопросов у него информации более чем достаточно, и проблема в том, что мы не в состоянии оценить то безбрежное море фактов, в котором мы просто тонем. Правительство использует перегруженность фактами так же, как и несвоевременность их сообщения, чтобы продвигать только свою точку зрения. Атаки фактами со стороны могут быть нейтрализованы передергиванием самих фактов. У правительства и крупных корпораций всегда больше материала, чем у их критиков. Это одна из привилегий власти. Кроме того, у них имеется доступ к закрытой информации исследовательских институтов и к целому собранию «независимых» профессоров, которые работают по контрактам, гарантируя поставку подтверждающих исследований и заявлений. Ну и как же гражданину разобраться в этом множестве «правдивых» сообщений? Лавины из фактов — одно из великих изобретений конца двадцатого века.

Наша курьезная страсть к секретности в мире, где настоящие проблемы едва не тонут в море фактов, породила какую-то фантастику жизни, которая крутится вокруг шпионов и заговоров, как будто только запутанность ситуации и имеет ценность. Причем школа Ле Карре — это просто продолже-

ние старой озабоченности папскими заговорами, еврейскими замыслами и масонской каббалой. Когда Джозеф Конрад писал свой первый шпионский роман «Тайный агент», он дал понять, как мелка, унизительна и незначительна эта история. Дж. К. Честертон высмеял секретных агентов и террористов в своей книге «Человек, который был Четвергом». А Грэм Грин обогатил нас изображением секретных служб как мест, где работают третьесортные люди, раскрывающие третьесортные секреты.

Но общество все видит иначе. Живя организацией, в которой знание — сила, с секретом приходится обращаться как с объектом культового поклонения. Вымышленный шпион, таким образом, стал возвеличенным отражением гражданина: Джеймс Бонд для удачного дня, и Джордж Смайли — для неудачного. Великие выдуманные архетипы всегда были отражением главных забот общества. Ланселоты и Дон Кихоты воплощали мечту о личном мужестве и справедливости. Наши архетипы сражаются в лабиринтах, из которых нет выхода. Они часто проигрывают, а по-настоящему никогда не побеждают, так как природа борьбы непонятна.

Большинство людей, услышав английское слово «intelligence» (интеллект, сведения; разведка), сначала вспомнят о ЦРУ (*англ.* CIA — Central Intelligence Agency), а уже потом об Эйнштейне. И это не второстепенное проявление эволюции языка. Значение, заключенное в этом слове, было одним из главных смыслов рациональной революции. В нашем новом и лучшем мире людей больше не вознаграждают за их родословную или исключительную физическую силу. Век Разума должен был стать веком людей, которые силой своего интеллекта улучшают общество и человека. Идея рационального правительства основана именно на этом.

Поэтому и удивительно, что английское слово «intelligence» постепенно стало обозначать манипулирование секретами, не говоря уже о слове «intelligence» (шпион, информатор), то есть человек, который передает информацию. С переходом войны на современный уровень и параллельным возрастанием значения штабного офицера, культ

секретности расширил семантику этого слова. Впервые это стало ясно в годы Первой мировой войны. После нее смысл слова стал меняться так быстро, что, когда Аса Бриггс в 1989 году редактировала новую энциклопедию, этому слову она дала два равнозначных, но разных по смыслу определения. Одно из них касается позитивного сбора и использования знаний, другое — сохранения и негативного использования секретов⁶. Точно такая же эволюция произошла с французским словом «*renseignement*», значение которого сначала было связано со знанием и передачей информации, но постепенно оно стало обозначать сбор информации с целью ее сохранения.

Влияние столь быстро увеличивающегося мира секретности на наше общество стало разрушающим. Достаточно одного примера. Пентагон изнутри постоянно раздрают глубокие противоречия, но соперничают там не идеи, а отделы, стремящиеся получить больше власти. Одним из самых эффективных способов борьбы является сокрытие друг от друга информации. Это стало постоянным фактором, следствием которого стали неудачи в ходе таких предприятий, как высадка на Гренаду, или в ходе операции по освобождению заложников в Иране. Тем, кому поручается исполнение таких операций, просто не сообщают того, что им необходимо знать. Из-за этого во время самой операции происходят неудачи. Последующие разбирательства и объяснения неизменно засекречиваются, так как раскрытие фактов для общественности, теоретически, не в интересах общественности, то есть может повредить карьере вовлеченных в разбирательство лиц. Проблема задержки с получением информации настолько серьезна, что для того, чтобы система вообще могла функционировать, сегодня 3,5 миллиона американцев должны получать различные виды разрешений от служб безопасности. В 1989-м, ничем не примечательном году американское правительство засекретило 6 миллионов 800 тысяч данных⁷. В Великобритании даже хранители государственных музеев подписывают «Акт об официальных секретах». Общение с посетителями технически толкает их на его нарушение. В 1989 году Музей Виктории и Альберта вновь пересмотрел

обязанности хранителей. Многие протестовали. Музей, ссылаясь на «Акт об официальных секретах», не разрешил газетам и телевидению разглашать суть их протестов⁸.

Задержка информации стала характерной чертой большинства современных структур, она же является главным фактором, способным парализовать их работу. Логическим обоснованием деятельности рациональной системы является идея о том, что, если все очень детально организовать и подготовить, можно влиять на ход будущих событий. Человек, привыкший к зависимости от тирана, природы или неизвестности, неожиданно получает власть и при помощи организации становится активным устроителем собственной судьбы. Исходя из опыта приведенных выше примеров с профессионалами — штабными офицерами, возникло предположение, что структуру можно будет использовать для изменения обстоятельств. Но обстоятельства войны оказывались непредсказуемыми и упрямыми. Обстоятельства, касающиеся гражданского правительства, когда в них вовлекаются миллионы людей, разбросанных на громадных территориях, имеющих самые разные прочно устоявшиеся интересы, являются еще менее предсказуемыми и неизменяемыми.

Современный менеджер многого добился в своих попытках изменить обстоятельства, но и серьезных поражений потерпел не меньше. Его структуры скорее пролетают над головами цивилизаций, чем взаимодействуют с ними. В результате количество успехов выше, когда происходят радикальные изменения. Ссылаясь на революции, войны или экономические катаклизмы, структуралисты могут навязать свои новые разработки. Исчезновение королей и победа демократии подготовили почву для всеобъемлющей перестройки структуры. Катастрофы века, большинство которых и устроено рациональным подходом, также породили необходимость серьезных социальных сдвигов, которые, в свою очередь, обеспечивают работой крупные структуры.

Однако сейчас на Западе такие организации затыкают каждую дырку и отважно стремятся продвигать крупные долгосрочные программы, которые должны работать на посто-

янной основе. Когда появляется новая идея, ее или поддерживают, или отвергают именно в зависимости от ее соответствия этим структурам. А они по своей природе стремятся отказать, так как любая новая идея вызывает тревогу. И это не так, как было раньше, когда тенденция отказывать тоже существовала — из-за лени и в силу уже сложившегося круга интересов. Тогда блокирование нового было конкретным и было известно, кто именно отказывает. Теперь новые идеи отвергают потому, что они вызывают тревогу целой организации. Вот почему вновь назначенные энергичные министры, преисполненные хороших идей, быстро остывают и проникаются убеждением, что «новое» — не практично.

Сегодняшняя сложность в том, что правительство постоянно призывают заняться реальными проблемами: безработицей, загрязнением окружающей среды, инфляцией, промышленным производством, финансированием социальных служб. В то же время имеется длинный список вопросов, которые десятилетиями дожидаются решения. Всеобщее осознание серьезности ситуации достигло такого уровня, что стало притчей во языцех. И, несмотря на это, органы управления официальной наукой и государственными учреждениями и корпорациями сознательно игнорируют ситуацию или сознательно работают на дискредитацию того, что является правдой.

Гибель лесных массивов из-за «кислотных дождей», разрушение зданий в европейских городах вследствие использования этилированного бензина, дорожные аварии по вине пьяных водителей — вот лишь три простейших примера. Решения этих проблем реально существуют, они практичны и давно известны. Вместо того чтобы заниматься этим, американское правительство годами настаивает на том, что прямой связи между «кислотными дождями» и гибелью лесов нет. Соединенные Штаты отвернулись от своих штатов Новой Англии и от Канады и ориентируются на промышленные штаты Среднего Запада, которые заявляют, что установка устройств для очистки выбросов в атмосферу разорит их. Если принять во внимание тот факт, что Средний Запад голосует за республиканцев, а Новая Англия за демократов, то понят-

но, почему правительство и администрация говорят, что гибель лесов может иметь косвенные последствия и что нужно финансировать модернизацию производств. После пяти лет исследований было рекомендовано разобраться со всем этим. Когда в конце восьмидесятых годов общественное давление — его власти расценили как иррациональную панику — достигло опасного уровня, правительство предложило целую серию полумер. Их предложили не потому, что признали наличие проблемы, а как политическую подачку. Само наличие проблемы по-прежнему отрицалось.

Власти и эксперты Великобритании и Франции в течение нескольких лет отчаянно выступали против неэтилированного бензина. Они делали все, что было в их силах, чтобы опорочить защитников окружающей среды, называя их невежественными, по-детски эмоциональными и занимающимися подрывной деятельностью. Когда в конце восьмидесятых годов стало, наконец, невозможно игнорировать проблему загрязнения окружающей среды свинцом, оба правительства погрязли в спорах о том, на каком уровне необходимо дать ответ. Это продолжалось целый год. На уровне ЕЭС, многие его члены были обеспокоены тем, что, если придется перейти на неэтилированный бензин, цены на импортируемую нефть возрастут. Их экономисты заявляли, что это окажет существенное влияние на платежный баланс. В конце концов, все правительства остановились на компромиссном решении в пользу программ по снижению содержания свинца в бензине, которые будут обходиться каждой стране в тысячи раз меньше, чем расходы на компенсацию ущерба, который наносится зданиям и здоровью людей, и чем затраты на импорт нефти.

Разрушение зданий, гибель скульптур и накопление вредных веществ в организме, однако, не учитываются в годовом платежном балансе. И чтобы сохранить видимость того, что компромисс был правильным, большинство правительств стран ЕЭС было готово преследовать в судебном порядке тех, кто, как датское правительство, не хотел ждать, пока появится чистый бензин. Датчане говорили, что их города и природа гибнут. ЕЭС отвечало, что строгое природоохранное зако-

подательство Дании создает несправедливые запретительные барьеры для других членов Сообщества. Сам идея того, что «здоровые» природоохранные правила могут создавать несправедливые препятствия на пути продвижения опасных для экологии товаров, является признаком того, что менталитет западных элит такой же, как у Алисы в Стране чудес.

И пока французское правительство продолжает тратить миллионы франков на рекламирование государственной программы по снижению количества смертей на дорогах, особенно во время летнего паломничества на юг, оно по-прежнему допускает продажу всех видов алкоголя в придорожных ресторанах. Эти придорожные стоянки располагаются на государственной земле и арендованы у государства. Попасть на них можно только с автострады, и они предназначены специально для обслуживания водителей. Почти все, кто едет на юг, передвигаются по этим шоссе.

Смысл приведенных здесь примеров в том, что, каково бы ни было существо вопроса в каждом отдельном случае, современные структуры реагируют на свои ошибки тем, что этих ошибок не признают. Отрицание неудачи равносильно самой неудаче. Система могла бы доказать свою работоспособность, реагируя на конкретные проблемы, делая это открыто, быстро и позитивно, с готовностью занимаясь поиском решения проблем. Но вместо этого она автоматически принимает защитную позу, предпринимает отвлекающие маневры, чтобы уменьшить критику в свой адрес, а затем тратит деньги и время на то, чтобы доказать, что проблемы не существует. Самой последней уловкой становится согласие вступить в переговоры, но это для того, чтобы выиграть время и изобрести новые тактические ходы. Если даже это не удастся, то система отказывается от своих позиций, принимает мнение другой стороны и свою новую позицию отстаивает так, будто эту абсолютную истину она всегда исповедовала.

Такой алгоритм реакций на прямо поставленные вопросы объясняется тем, что любое действие системы априорно считается правильным. Изначальная правильность и является точкой отсчета. Признание ошибок не предусмотрено, кроме

как при помощи особой, скрупулезной процедуры. Вот почему система не способна делать выводы просто на основе всех очевидных фактов.

Таким образом, «кислотные дожди» могут не убивать деревья, но они и не вписываются в процесс упадка промышленности в штатах «ржавого пояса». Неэтилированный бензин, может быть, и наносит вред сельскому хозяйству и каменным зданиям, но не вписывается в подобный же процесс с торговыми балансами и правилами конкуренции. А придорожные рестораны функционируют независимо от программ обеспечения безопасности на дорогах. Лица, отвечающие за все это, — вполне приличные люди. Просто там, где они работают, нет места здравому смыслу. С точки зрения структуры: если есть ошибка, то неправильной является сама ошибка.

Соблазн засекречивания сейчас настолько велик, что оно стало одним из важнейших искусств, которыми стараются овладеть главные придворные. Советники президента и премьер-министра специализируются именно на этом виде коммерции. Сэр Роберт Армстронг стал известен благодаря своим тайным манипуляциям. Генри Киссинджер получал удовольствие от прослушивания телефонных разговоров своих соперников во время своих секретных переговоров с китайцами и во время секретной камбоджийской операции. Нет ничего страшного в том, что существует несколько раздувшихся от важности особ, которые сами наслаждаются играми в секретность, а другим не дают. Реальной проблемой существующей системы и является то, что она поощряет превращение общественных действий в личные и не позволяет кому-либо со стороны получить какую-либо информацию в целях защиты интересов общества.

В шестидесятых и начале семидесятых годов горные племена Юго-Восточной Азии согласились поделиться своими военными секретами ради войны с коммунистами, если они смогут использовать американские самолеты. Они хотели использовать американские транспортные самолеты для доставки опиума со своих горных плантаций на равнины опто-

вым поставщикам героина. Американские боевые офицеры идеологией не занимались. Они осуществили такую сделку, так как она решала их военные проблемы в той трудной ситуации. Некоторым офицерам более высокого уровня или офицерам специальных служб, должно быть, было об этом известно, так как никто из вновь прибывающих офицеров от этих перебросок и перемещений шока не испытал. Если сведения об этой сделке просачивались, все автоматически отрицалось. Когда в итоге все подтвердилось и был найден журнал учета, где все было тщательно задокументировано, власти ужаснулись⁹. Конечно, ужаснулись они не из-за документа. Но официального признания, что это имело место, сделано не было. Не было и попыток объяснить, как офицеры, которых послали «воевать за свободу», превратились в наркодельцов, чтобы совершать свое благородное дело. На человеческом уровне вопрос интересен, но он также отражает, со сколькими трудностями сталкиваются премудрые структуры при поддержании правильного политического курса, не говоря уже о моральной стороне дела. С точки зрения участников, именно этот секрет следовало хранить, так как он представлял собой ужасную и необъяснимую правду.

Сегодня наиболее типичная ситуация выглядит несколько иначе. Поскольку каждый карандаш стал государственным секретом, большинство людей, занимающих потенциально наиболее деликатные должности, получают очень низкую зарплату. Многие из них — простые компьютерные операторы. Возможно, они сознают, что то, с чем они имеют дело, больших потрясений не вызовет, даже несмотря на то, что помечено грифом секретно, очень секретно или как-то еще. Они также знают, как показывают события в Англии, Франции и Соединенных Штатах, что почти любые устаревшие данные имеют рыночную стоимость, которая в несколько раз превышает их зарплату.

Дело Рональда У. Пелтона в 1986 году было квинтэссенцией шпионажа, идущего рука об руку с мелкой кражей. Зарплата Пелтона составляла 24 500 долларов. Он работал техником Агентства национальной безопасности (NSA) и продал Советам банальные сведения за 35 000 долларов. Сделал это,

позвонив из своего кабинета по телефону в советское посольство. Там, где необходим высокий уровень безопасности, все звонки за пределы здания автоматически записываются. Служба охраны NSA была так перегружена работой по простому осмыслению получаемой таким путем информации, что обратила внимание на этот звонок только через несколько недель. Еще несколько недель понадобилось для того, чтобы идентифицировать голос звонившего. После этого Пелтона вытащили на свет, как предателя. «Предатель» — чересчур выпренное слово для описания человека, уровень интеллекта которого ниже среднего, озабоченного своим безнадежным финансовым положением и поддавшегося искушению заработать сколько-то долларов на продаже банальной информации¹⁰.

Понятно, что при таком положении дел шкала оценки серьезности преступлений теряет всякий смысл. В то же время генеральный прокурор Эдвин Мис ушел со своего поста без всякого наказания, поскольку — как сформулировал его собственный департамент — он был уличен в поступках, несовместимых с рангом государственного служащего, особенно если он шеф юридического ведомства Соединенных Штатов. Миса не привлекли к ответственности по чисто техническим причинам, в то время как Пелтона посадили в тюрьму из принципа. Так произошло потому, что именно так все должно происходить в обществе, в котором безопасность и секретность имеет мало общего с содержанием и где все определяется структурой.

Шпионство мелкого воришки — это лишь побочное явление описываемого нами феномена структурализма. Компьютерные лабиринты, которых становится все больше на информационном поле, содержащем как малозначимые, так и самые сложные сведения, являются частью некоторого бесшовного целого. В то время как любой человек пытается охранять свое собственное маленькое информационное пространство, сам хранитель лабиринта может проникнуть почти куда угодно. Он уже стер почти все границы между военной и гражданской информацией. Правительства могут вводить и развивать правила ограничения доступа или закрытия ин-

формации, но не смогут оторваться от электронной структуры, которая стала средством связи с внешним миром. Раскрывается все больше случаев военного и промышленного шпионажа, которые стали возможны только потому, что не удастся надежно закрыть электронные двери. Иными словами, из-за излишней озабоченности секретностью и сохранением информации мы бестолково мешаем развитию нашего общества, в то время как те, кто действительно занимается незаконным сбором информации, может делать это беспрепятственно.

Горы информации, распространение которой недопустимо, помогли производителям машин для уничтожения бумаги сколотить целые состояния. В наше время частные компании под охраной, в специально оборудованных грузовиках перевозят бумаги от одного офисного здания к другому. Люди собирают пакеты со смятыми секретными бумагами, несут их вниз по лестницам, а затем на специальный участок, где эти бумаги уничтожаются.

Личность всегда может что-то предложить. В некоторых странах на такое положение дел последовала реакция в виде борьбы за новые законы, которые гарантировали бы гражданину право на получение информации. Но такие законы, будь они приняты, просто подтвердили бы принцип, что секретным является все, кроме того, что официально секретным не признано. Гражданин будет узнавать только то, о чем он спросит. В действительности законы о праве знать только поощряют стремление придержать информацию. Они побудят экспертов действовать еще более изощренным образом, например, регистрировать информацию более подробно, чтобы при обращении за какими-то данными выдавалось как можно меньше сведений, а большая их часть так и оставалась бы закрытой. В этом смысле страны, где в законодательстве будет прописано право на получение информации, находятся в одном ряду с Великобританией, где вера в секретность не подвергается ревизии.

В 1989 году лорд Стоктон, председатель британского издательского дома «Макмиллан и сын» Гарольда Макмиллана, протестуя против одного из положений нового и более рас-

ширенного «Акта об официальных секретах», сказал, что ныне «механизм тираннии встроен в наше общество»¹¹. Он сожалел, что Великобритания ничему не научилась у Канады и Соединенных Штатов, где открытости больше. На самом деле разница скорее кажущаяся, нежели реальная. В 1983 году Канада ввела в действие «Акт о допуске к информации», из-за которого сейчас ежегодно составляется более десяти тысяч запросов о получении информации. И все же в годовом отчете за 1991 год образованное парламентом Федеральное информационное ведомство (Federal Information Commissioner) обвинило правительство в том, что оно утаивает информацию до такой степени, что это граничит с нарушениями принципов демократии, а открытость рассматривает как «чуждую культуру»¹².

У любого правительства есть бесчисленное множество способов обойти законы о доступе к информации. Самый простой из них — это квалифицировать запрашиваемую информацию как имеющую какую-то степень секретности. Сейчас все западные правительства самым рутинным порядком засекречивают все документы, относящиеся к планированию, причем не важно, о чем идет речь: о культуре или разведении рыбы. Но самый известный из недавних примеров — история с бумагами Пентагона.

В июне 1971 года в редакцию «New York Times» попало семь тысяч страниц документов и аналитических обзоров американского правительства о том, как делалась политика в отношении Вьетнама за последние четверть века. Все эти бумаги считались секретными. Многие журналисты и юристы в редакции газеты были против их публикации. Юристы настолько решительно выступали за соблюдение акта о секретности, что уволились из газеты, после чего газета напечатала девять выпусков этого материала. Президент Никсон и правительственные структуры делали все, чтобы остановить публикацию материалов. Вслед за судебным ордером последовало «самое важное дело о прессе за всю истории США», которое закончилось в Верховном суде победой *газетчиков*. Вероятно, если бы правосудие вершилось сегодня, а теперь оно гораздо более лояльно к пожеланиям властей, то «New York

Times» свой иск по подобному делу проиграла бы. В 1989 году Эрвин Грисуолд, который в качестве заместителя министра юстиции представлял материалы этого дела правительству, писал, что «не обнаружил в этих публикациях никаких следов угрозы национальной безопасности»¹³.

Законы о доступе к информации тянут не более чем на законотворческие маневры, которые открывают или закрывают дырки в заборе. Они не изменяют основных правил рационального общества, согласно которым человек только при помощи контроля над информацией может выстраивать собственную жизнь так или иначе и, только припрятав на законном основании свою часть знания, он может доказать, что с ним следует считаться. Вот такое массовое припрятывание и препятствует открытому обсуждению проблем общества и принятию соответствующих мер.

Взять, к примеру, г-жу Тэтчер. Возможно, она самый совершенный из современных государственных лидеров, но и она уже побывала во всяких ситуациях. Умело сочетая задиристость с абсолютной уверенностью в необходимости придерживаться факты, она стала асом по части секретности. Даже те, кто восхищался ею, часто чувствовали, что она пользуется методами няни-воспитательницы. Но тогда стоит ли удивляться, что няня отвечает за то, чтобы приучать к горшку, и за всеобщую секретность. Няня-воспитательница, быть может, и устаревшая общественная функция, но она самым совершенным образом приспособилась управлять современными демократиями.

Наблюдать, как г-жа Тэтчер по всему миру гоняется за раскрытыми секретами, будто сможет загнать их обратно в запечатанный сосуд, было завораживающим зрелищем. Сравнительно безобидная книга «Тот, кто ловит шпионов», написанная отставным второразрядным агентом по имени Питер Райт, вышла в свет в 1987 году. Будучи премьер-министром демократической страны, г-жа Тэтчер подверглась преследованию бульварное чтиво, гоняясь за ним из одной страны в другую, чтобы изъять и запретить то, что прочитали уже все, кто этим интересовался¹⁴. Или еще, после показа по телевидению снятых на Гибралтаре британской компанией

SAS документальных кадров о расстреле трех террористов ИРА, она настойчиво твердила, что журналисты или не знают фактов, или игнорируют их. Компания была вынуждена провести расследование. После доклада по результатам расследования, проведенного хорошо известными консерваторами, журналистов реабилитировали. Она отвергла доклад и утверждала, что телепрограмма была несправедлива¹⁵. Ее позиция заключалась в том, что только ответственное лицо, находящееся у власти, может знать достаточно, чтобы говорить правду.

Смысл этих почти комичных примеров состоит в том, что в западных странах официальные правила, касающиеся секретности, были постепенно приведены в соответствие с неразберихой в современных структурах управления. Эти правила больше не являются законным механизмом для наказания за измену. На этих правилах выросли зубы, целые ряды новых зубов с хорошо подогнанным административным прикусом, который крепко держит массивный корпус искусственно созданных секретов. Практическим результатом такого положения дел является то, что правительства теперь имеют больший, лучше чем когда-либо ранее поддерживаемый законом контроль над информацией, которая нужна обществу, чтобы понять, кто им правит.

Больше ста лет назад, 22 декабря 1894 года капитан Альфред Дрейфус, один из младших офицеров Центрального бюро французской военной разведки, был осужден за предательство и заключен в тюрьму на Чертовом острове. Записка, найденная уборщицей в мусорной корзине офиса германского военного атташе, по ошибке была признана принадлежащей Дрейфусу. Список, как называли этот клочок бумаги, содержал информацию о передвижениях войск. В показаниях против Дрейфуса имелись противоречия, однако в то время усиливался антисемитизм, и его, еврея, сделали козлом отпущения.

Армия сделала все возможное, чтобы скрыть слабость обвинения, а офицер, известный как майор Анри, сфабриковал фальшивые улики. Информация, тем не менее, продолжала

появляться, и в конце 1897 года был найден и назван настоящий преступник: им оказался майор Эстергази, граф, волонтер и известный игрок, погрязший в долгах. Эмиль Золя, в то время самый популярный из писателей и умелый поборник социальных и политических реформ, воспользовался этим случаем и развернул дискуссию. Он сконцентрировался на том, насколько чудовищным было использование Дрейфуса, как индульгенции для антисемитизма. Вот его слова: «*La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera*» («Правда грядет, и ничто ее не остановит»). Эстергази отдали под суд, но правосудие, точнее пародия на правосудие, его оправдало.

Защитники Дрейфуса разъярились еще больше. Золя намеренно написал президенту республики клеветническое письмо и опубликовал его в газете Жоржа Клемансо «*L'Aurore*» под заголовком «Я обвиняю». За этим последовал суд над Золя по обвинению в клевете, но дело Дрейфуса также вернули в суд. Писатель был приговорен к году тюрьмы и оштрафован на три тысячи франков. Однако еще до окончания судебного процесса он бежал в Лондон и там ждал скандала. То, как он использовал судебный процесс, сыграло с ним злую шутку. Он смог вернуться домой через одиннадцать месяцев после начала нового процесса по делу Дрейфуса. Так как в результате не было принято решение о его полном оправдании, президент республики помиловал Дрейфуса. Он был восстановлен в армии, его продвинули по службе, и все закончилось тем, что он продолжил свою вполне приличную, но заурядную службу.

Возможно, это было самой важной политической и юридической битвой в связи с секретностью и изменой из всех подобных случаев, имевших место в западных странах. Ее результаты привели к тому, что наконец-то была сломлена власть военных и укрепились гражданские структуры. Дебаты длились почти десять лет и раскололи нацию надвое.

Если бы сегодня капитана Дрейфуса обвинили и посадили в тюрьму в Париже, Лондоне или Вашингтоне, у его защитников не было бы шанса отменить вердикт суда. Различные официальные правила, касающиеся секретности, не позволили бы всерьез заниматься этим делом. В сегодняш-

ней Британии, оплоте справедливости, Золя по закону был бы вынужден молчать с момента, когда он впервые вмешался в это дело. Если бы он стал настаивать на своем, его самого судили бы закрытым судом, так как вопрос касался бы государственной безопасности. Вздумай он нарушить закон о диффамации, он бы обнаружил, что разорен — как вследствие судебных расходов, так и потому, что был бы вынужден выплатить несколько миллионов фунтов оклеветанным. На самом деле если обратиться к истории отдельных западных стран, то, по всей видимости, после дела Дрейфуса подобных дел не было, разве что дело о бумагах Пентагона, когда по главному пункту о необоснованной секретности общественность смогла выиграть дело, опираясь на государственные законы о безопасности.

Формулировки, которыми мы пользуемся, — это простой, но достоверный слепок общества. Это данность, с которой, сознательно или бессознательно, соглашается каждый. Она определяет направление всех разговоров, действий и законотворчества.

При старом режиме, когда власть была у церкви и монарха, истина была абсолютом. Первые представители рационального сословия поколебали этот статус-кво, оспорив этот абсолют. Они указали, что он связан с деспотизмом власти. Саму идею абсолютной истины они не оспаривали. Они сосредоточили усилия на создании рациональных методов ее исследования. В этом смысле истина на какое-то время становилась относительной. «Вы имеете право, — писал Дидро, — ожидать, что я стану искать истину, но не то, что я обязан отыскать ее»¹⁶.

Само удовольствие от процесса честных поисков сместило акцент в сторону от необходимости найти истину, что теперь, наверное, даже больше, чем когда-либо ранее в истории, зависело от здравого смысла. И хотя желание найти абсолютную истину усиливалось, но дело практически не движется. Определение истины, данное в середине восемнадцатого века, иллюстрирует положение дел со значением этого слова. Джонсон определил его как «честность, реальность, вер-

ность». Чеймбер в своей «Циклопедии, или Универсальном словаре», издании, которое вдохновляло энциклопедистов, определяет истину как «термин для обозначения противоположности фальши, применяемый к утверждениям, которые отвечают или согласуются с природой и реальностью вещей». Вот базовое французское толкование «истины» в «Словаре французского языка», составленном в девятнадцатом веке Литтрэ: «Качество, которое представляет вещь такой, как она есть». Литтрэ, так же как Джонсон и Чеймбер, старался быть рациональным.

Заметьте, как они осторожны по сравнению с совершенно новым определением, которое Ной Уэбстер дает в своем «Американском словаре английского языка» в девятнадцатом веке: «Истина, соответствие факту или реальности: точная согласованность с тем, что есть, было или будет». Или с современным оксфордским определением: «В соответствии с фактом или реальностью». Или с определением «Пти Робер»: «Знание, которое согласуется с реальностью. Такое, с которым может и должен согласиться дух». Слово «знание» здесь, конечно, обозначает знание факта. Использование слова «должен» подводит итог новой позиции¹⁷.

Истина сегодня так же абсолютна, как и в пятнадцатом веке. В таком случае самой сильной властью сейчас считается та, которая способна удержать истину. Стержнем абсолютного является «факт», который мы все должны принять как гарантию неоспоримости истины.

А коль скоро истина является фактом, не удивительно, что факты стали уподобляться кроликам, «дружественным пользователям», склонным к копуляции, быстрому размножению и стремительно скачущим туда, где для них уготована глубокая пропасть. И не удивительно, что истина становится непостоянной, как бумажные деньги в инфляционной экономике. Одна и та же истина изменяется бесконечное число раз, в зависимости от того, какие подбираются факты. Выбор этих фактов находится в руках каждого эксперта или другого лица, которое контролирует их подбор или подписывает письмо. Обнаружив, что истина находится в их руках, нам не стоит удивляться, что они крепко ее держат. Бывает, что у

школьника есть такая мечта, которую даже Мерлин и Ланселот исполнить не могли бы: вытащить меч из камня.

Теперь у каждого человека есть оружие: секрет — и он может защитить его от абсолютной истины других людей. Человек гордится обладанием секрета. Секретность подтверждает, что человек чего-то стоит.

Отказ, сдерживание, упорный отказ открыть, действовать, сотрудничать — вот ключи к пониманию, что есть рациональный человек. Истина сегодня не столько факт, сколько факт недоступный. Не говоря уже о том, что мы искренне верим, что даже большие шпионские скандалы должны быть для нас важны. Несколько секунд раздумий для нас достаточно, чтобы точно определить реальную роль, ну например, Филби, Бёрджеса и Маклина: какой урон они нанесли Великобритании? А никакого. Двадцать лет регулярных шпионских действий на высшем уровне буквально никак не отразились на государстве, которое катится в пропасть по совсем другим и очень конкретным причинам.

А значит, мы не в таком уж восторге от шпионов Ле Карре или супермена Бонда. Не так уж сильно ранят нас и настоящие шпионские скандалы. Это ничтожные и незначительные «делишки» нашего века.

С другой стороны, само отсутствие реальной важности освободило нас от романтического отношения как к настоящим, так и к вымышленным шпионам современной цивилизации. Они пришли на смену старым образцам храбрости и рыцарства. Если принять за основу, что настоящих секретов не существует, то те, которые выдавал Филби, так же важны, как любые другие, которые хранит в себе любой другой гражданин.

Следовательно, наша одержимость секретностью и заговорами является не попыткой отодвинуть шторы и впустить свет, скорее, мы ворочаемся и видим сон о том, что наши собственные возможности утаивания информации настолько велики, что им место на первых страницах газет. Мы испытали подсознательный и такой знакомый радостный трепет, когда узнали, что Роберт Кальви был найден повесившимся под Лондонским мостом. Когда сенатор Джо Маккарти простер

свой палец, мы подсознательно ощутили, что он указывает на каждого из нас. Когда Гузенко, замаскировавшись, вышел вперед и выплеснул бобы на публику, каждый представил, что это он находится под белым балахоном и вывел все на белый свет¹⁸. Полковник Норт стал популярным только отчасти из-за того, что на него напали, защищая некое видение американской мечты. Не менее важной была его готовность рисковать всем, когда он использовал самый секретный из своих методов.

В поисках истины мы не стремимся осудить тайну, мы только ищем подтверждение того, что тайна существует. Эти воображаемые секреты щекочут нас, потому что все мы носители каких-то фактов, а значит, контролируем какие-то секреты.

Глава тринадцатая

РЫЦАРИ СЕКРЕТНОСТИ

В защиту склонности технократов к секретности следует сказать, что они всегда умело призывали на помощь науку, рассматривая ее как волшебную защитницу разума. Наука была на передовых рубежах сражений против сил тьмы. Каждое открытие отмечали как завоевание новой территории на пути к вечному свету, где царит знанис. И все же создается впечатление, что этот весьма существенный прогресс в раскрытии тайн природы все более быстрыми темпами создает мир, который выходит из-под контроля общества. Новые знания и новые созидательные силы в руках человека неизбежно идут на службу новым, закрытым для постороннего доступа элитам и новым премудростям искусства насилия и разрушения.

Наука — как сказочный рыцарь, она постоянно представляет собой некую смесь Мерлина и Ланселота. Первый был частично пророком, частично магом, сыном дьявола и добродетельной девы. Он был на ты с законами природы и, сле-

довательно, мог пользоваться ими как хотел. Он тайно подготовил Артура, чтобы тот, когда наступит время, стал безупречным королем. По причине бессмертия Мерлина его можно воспринимать и как символ свободы, и как символ рабства. Ланселот же был величайшим из рыцарей Артура, образцом рыцарского служения, храбрости и верности. Но был у него и секрет, греховная любовь, адюльтер с королевой, и эта измена перечеркивала все его добродетели. Он дважды мельком видел Грааль. Но его порок был причиной тому, что в последний момент он терпел неудачу. В конечном итоге его тайная порочность стала причиной войны, разрушившей братство Круглого стола и убившей Артура. Таким образом, слуга великого добра по необъяснимым причинам разрушает его, так же как волшебник Мерлин, узнавший тайну совершенства, почему-то не смог понять, какие силы он выпускает на свободу.

Мы все поглощены великой научной революцией, которая началась еще в 1543 году, когда Коперник в своей работе «Об обращениях небесных сфер» выдвинул теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. С тех пор весь прогресс кажется нам победой над установленным порядком и официальными идеями. Следует обратить внимание, что активнее всего Копернику возражали деятели Реформации, начиная с Мартина Лютера, в то время как в Риме папа Климент VII одобрил публикацию более ранней версии «Обращений». Но когда Галилей в 1632 году издал свой «Диалог о двух главнейших системах мира», в котором разъяснил и доказал теорию Коперника, его предали суду инквизиции и заставили отречься от своих взглядов.

С тех пор стало ясно, что ученые являются подлинным воплощением добродетели. В своих аргументах они не апеллируют, как это сформулировал математик и гуманист двадцатого века Якоб Бронковский, к вопросам расовой принадлежности, политики, пола или возраста оппонента. Они не поддаются «никакой форме убеждений, кроме фактов»¹. В мире, где движителем жизни был интерес, их путеводной звездой была истина. В таком контексте идеи Фрэнсиса Бэкона, изложенные в его «Новой Атлантиде», следует рассма-

тривать как модель социального диктаторства. Его описание ночного совета, когда старшие ученые в секретной обстановке решают, что делать с новыми знаниями и какую их часть сообщить населению, стало началом дебатов, которые продолжаются и по сей день. Как и подобало придворному, Бэкон был сторонником секретности и манипуляций в интересах общества.

Но среди ученых всегда была более распространена точка зрения, что секретность не имеет отношения к их работе. Наоборот, во всем мире им свойственно постоянно и открыто обмениваться мнениями — «Республика науки», как это называл Майкл Поляный. «В свободном сотрудничестве независимых ученых мы найдем наиболее простую модель свободного общества»². Или как писал ядерный физик Роберт Оппенгеймер: «Во всем доме будет одинаково: ни запоров, ни закрытых дверей. Везде, куда бы ни пошел, только указатели и слова приветствия. Это открытый дом, открытый для всех входящих»³.

Конечно, ситуация не настолько проста. Республика науки действительно существует в высших сферах чистого исследования. Там не только секретность не играет никакой роли, там также отсутствуют какие-либо интересы общества. Добродетелью на этом уровне является постижение законов природы. Разница между работой вне чьих-либо интересов (фундаментальной наукой) и прикладной наукой в теории ясна. На практике все запутано. Многие ученые находятся по обе стороны водораздела науки. Как только пересекается граница прикладной отрасли, приходится иметь дело с целым комплектом правил. Применение результатов научных исследований касается интересов и расовых, и политических, и интересов пола и возраста, и это далеко не полный список. Приходится делать выбор, который с наукой не связан. Секретность становится инструментом того, кто обладает знанием.

Ученые озабочены и не знают, как преодолеть линию, разделяющую науку фундаментальную и прикладную. Как только они пересекают эту линию, они теряют всю власть над знанием и быстро убеждаются, что имеющие власть госу-

дарственные и частные лица беспокоят их по причинам, не имеющим отношения к науке. Добродетель, обретенная в фундаментальной науке, — это никому не интересные в чистом виде законы природы. Однако человеческая цивилизация всегда «заинтересована», и во всех случаях, когда речь идет о применении научных знаний на практике, в конце концов, приходит к обсуждению моральных вопросов. Речь идет о совсем другой добродетели, и ученый сталкивается с неразрешимой проблемой, как совместить несовместимое.

Это противоречие постепенно отошло в тень, уступив место третьей и непредсказуемой категории: добродетели в отношении прогресса как такового. Для этого то свойство абсолютной необходимости, которое присуще фундаментальной науке, произвольно перенесли на прикладную науку, лишив, таким образом, общество возможности делать выбор. Здравый смысл подсказывает нам, что рано или поздно непременно найдется применение любым фундаментальным исследованиям. И цивилизации придется решать, что делать с важными научными открытиями. Однако в стремительной и беспорядочной деятельности республики науки очень мало зависело от выбора общества. Фундаментальные исследования могут быть и открытыми, и незаинтересованными, но они касаются тем, которые непонятны общественности. Эта непонятность так или иначе присуща всем уровням научного исследования, и любое серьезное вмешательство со стороны общественности абсолютно невозможно.

Несмотря на это, до появления ядерной энергии было широко распространено мнение, что сила науки, по словам Андре Мальро, «не упадет на человека сверху»⁴. Западный мир украсил себя множеством картин и скульптур, которые восхваляют благо, приносимое наукой. Одним из наиболее ярких воплощений такого восхваления является статуя, созданная французским скульптором Луи-Эрнестом Барриасом в 1899 году, называется она «Природа, раскрывающая себя перед наукой». Скульптура установлена в большом зале музея Орсе в Париже. Это чувственное изображение женщины в натуральную величину, выполненное из мрамора, оникса, лазурита и малахита. Ее красивые плечи и грудь обнаже-

ны. Жук-скарабей у талии удерживает своими лапками спадающую ткань. Скарабей — это знание. Скульптор, конечно же, хотел увлечь нас ожиданием, что жук вот-вот отпустит ткань, которая соскользнет и обнажит перед нами самые тайные и интимные красоты; так и знание, возможно, откроет нам все тайны, если мы с ним подружимся. С помощью знания люди смогут проникнуть в тайны природы и мира.

И все-таки жук намеревается поступить по-другому. Просто удерживая ткань, жук-знание приобретает огромную силу. Наука с помощью жука сможет исследовать каждый закоулок природы, в полной мере наслаждаясь процессом, но всем остальным она даст только ту информацию, которая этим всем подходит. Немногие мужчины хотят делиться своей женщиной с другими, но они очень хотят, чтобы все знали, что их женщина прекрасна и доставляет удовольствие.

И хотя склонный к идеализации девятнадцатый век представлял, что любовь между человеком и тайнами науки страстная, сомнения относительно того, что по своей сути эта любовь пойдет на благо прогресса, появились давно. Самый популярный пример — монстр Франкенштейна. Роман Мэри Шелли о борьбе науки и гуманизма был написан в 1818 году. Франкенштейн, ученый-оптимист, создает уродливое чудовище и знакомит его с творениями Гете, Плутарха и Мильтона. Но монстр не может жить без любви и поэтому невольно становится убийцей. Драма заканчивается в Антарктике, где Франкенштейн умирает, а его монстр уходит один в снежную даль, чтобы сделать то же самое. К середине века теоретик искусства Джон Рескин высказал следующее суждение о современной науке: «Она читает лекции по ботанике, цель которых — показать, что цветков не существует». Или еще: «Есть определенный повод чувствовать гордость, после того как вы примерно шестую часть апреля связывали медные провода весь путь до Бомбея, затем передали по проводу сообщение, которое в мгновение ока дошло до адресата, вы получили ответ. — Но что за послание это было, и что за ответ? Стала Индия лучше от того, что вы ей сказали?»⁵

Конечно, можно поспорить, заявив, что Рескин сам несет ответственность за то, что так романтически переоценил си-

туацию, как это обычно позволяют себе многие писатели и иные творцы, делая отступления в постоянной борьбе за голоса общественности и отвлекаясь на свои частности и темы. Его основной тезис, состоящий в том, что прогресс сам по себе не хорош, стал точкой зрения многих творческих, но далеких от науки умов. В развитие тезиса Рескина они выдвинули утверждение, что раз он сам по себе не хорош, значит, он должен быть сам по себе плох. И таким образом, удалились на более безопасную территорию частных вопросов, на которой в двадцатом веке так разгулялись творческие идеи.

Но сам Рескин был великим революционером в теории искусства и архитектуры. Он помог цивилизации увидеть новые дороги, благодаря чему произошел новый творческий прорыв от Данте Габриэля Россетти, Уильяма Морриса и прерафаэлитов до Джорджа Эллиота, Уолта Уитмена и Марселя Пруста. Те рефлекторные прыжки, которые он совершал в своей теории, напоминают алгоритм поиска в теоретической науке. Век спустя Бронковский исследовал тот же предмет. Есть ли разница между «творческими актами сознания в искусстве и в науке»? Он утверждал, что и научные открытия, и произведения искусства являются исследованиями, то есть фактически «прорывами, имеющими сходство на внутреннем уровне»⁶. Не такого рода созидательность занимала Рескина, геолога по образованию, а эта кажущаяся в обоих случаях невозможность добраться до истины. Если между наукой и искусством произошел развод, то он не был добровольным, к нему искусство подтолкнула абсолютизация доктрины структуры и прогресса. Рескин был удивительно современен. Его теория красоты все сильнее подталкивала его к политическому радикализму. Его нападки на легкомыслие прикладной науки были связаны с его же нападками на общественные и экономические институты, которые «на деле способствуют человеческим страданиям и разрушению красоты, как природной, так и созданной человеком»⁷.

Что касается общества в целом, то к середине двадцатого века у него поубавилось прежде безоговорочной преданности идее о том, что наука хороша по своей природе. Осталась

глубокая, невысказанная потребность продолжать верить, что науке необходимо развиваться, и даже намеки на противодействие научному прогрессу достойны порицания. Логика может любое сомнение раздуть до значительных масштабов, а задавать вопросы и означает сомневаться. Сомневаться — значит бояться, а бояться — нерационально. Быть нерациональным — иметь дело с невежеством и эмоциональной нестабильностью. Вы становитесь луддитом, прежде чем вы начнете это понимать.

В результате, какого бы рода страхи мы ни испытывали, наше отношение к науке, будь то теоретической или прикладной, определяется тем, что она единственная сила, которая должна двигаться вперед. Слово *вперед* для нас теперь не имеет смысла, и многие наши трудности вызваны подобными языковыми ловушками. Цивилизация, которая мощно движется в каком угодно направлении и не осуществляет самоконтроль, находится в беспорядочном полете, как будто ее преследуют вражеские полчища. Например, за последние два десятилетия мы привыкли к тому, что существуют группы террористов, как мы выражаемся, правого толка, которые толкают нашу цивилизацию к возврату в прошлое. В то же время непостижимая, почти мистическая религия прогресса при помощи науки толкает ее вперед к неизвестному будущему.

Подавляющее большинство ученых продолжает верить в незыблемость прогресса, причем до сих пор с той же убежденностью, с которой террористы верят в правдивость своих лидеров. Действительно, их преданность идее материальных изменений вселяет в нас уверенность, что наше общество не растеряно и не бездействует. Немногих ученых, которые научились сомневаться и осмеливаются говорить об этом публично, научное сообщество, как правило, дискредитирует как людей неустойчивых.

Время от времени ученый руководитель находит правильные слова, чтобы спросить, что же берет на себя общество. Нобелевский лауреат, химик Джон Полани спокойно настаивает на том, что по отношению к науке должен применяться здравый смысл. «Прогресс науки, — убеждает он, — имеет

собственную логику, и игнорировать это — значит рисковать»⁸. Он не предлагает попытаться сдержать рост чистой науки, это с помощью ученых нужно сделать по отношению к обществу. Они на основе здравого смысла, общественных интересов и морали должны разработать механизмы выбора направлений научных прорывов.

Наиболее показательным примером очевидно неконтролируемых отношений между научным поиском и развитием были исследования, завершающая стадия которых началась в 1905 году с теории относительности Эйнштейна и закончилась в 1939 году, когда Отто Ган открыл деление атомов урана. Первым применением открытия была атомная бомба. Ученые, производившие взрыв, почувствовали, что обязаны обсудить — секретно, как тогда требовалось, — результаты своей работы. В ходе такого обсуждения появился доклад, который в июне 1945 года, за месяц до первого испытания атомной бомбы, был представлен лично Генри Стимсону, американскому министру вооружений: «В прошлом науке часто удавалось предлагать новые способы защиты против нового наступательного оружия... Но она не может обещать подобную эффективную защиту против разрушительной силы ядерной энергии. Защита может прийти только со стороны политической организации всего мира. Среди всех аргументов, требующих создания эффективной международной организации мира, самым убедительным является существование ядерного оружия. [У нас] нет надежды на то, что гонки ядерных вооружений можно избежать как путем сохранения секретности в отношении основных научных фактов от держав-соперников, так и путем скупки всех сырьевых материалов, требующихся для этой гонки вооружений. Гонка ядерных вооружений начнется не позднее, чем на следующее утро после того, как мы продемонстрируем существование ядерного оружия».

Доклад Франка был получен и отложен в сторону, его проигнорировали и политические, и управленческие структуры. Физики-ядерщики, подписавшие этот документ, были поставлены в странное положение, так как запустили процесс,

все последствия которого были совершенно ясны. Их призыв использовать здравый смысл до того, как бомбу сбросили, был похож на крик отчаяния. Так как с момента взрыва нельзя будет не формализовать появление новой профессии: ученый, который подготовлен и нанят на работу для того, чтобы дальше развивать самое мощное оружие из существовавших когда-либо. Такая профессия будет иметь структурную связь со структурами государства. А все вместе они будут держаться на плаву при помощи логики самооправдания. Только в последние дни, предшествовавшие взрыву, изобретатели все осознали и были свободны. Возникла ситуация, некогда описанная в Библии: изгнание из райского сада и вхождение зла в каждого человека.

В докладе Франка ученые пытались взять на себя ответственность и заявить о неприемлемости использования открытия, которое уже не отменить. Это оптимистическая интерпретация. Согласно более циничной версии, они декларировали, что чистая наука не несет ответственности за любые результаты практического применения ее разработок, ответственность возложена на политиков. Но ведь именно самые гениальные ученые подтолкнули политиков к идее создания бомбы и добровольно согласились участвовать в этом. Эйнштейн, Лео Сцилард, Нильс Бор, Джеймс Франк, Дж. Роберт Оппенгеймер и десятки других — все они считали себя гуманистами, а многие еще и пацифистами. Их призыв 1945 года о ядерном сдерживании политиков был искренним, но был ли он честным?

Эйнштейн писал президенту Рузвельту в 1939 году, призывая создать бомбу как можно быстрее, чтобы опередить немцев, а после того как бомбу взорвали, говорил: «Если бы я знал, что они это сделают, то пошел бы в сапожники». Если Эйнштейн действительно не понимал того, как развивается процесс, и действительно не помогал общественности понять его, о какой ответственности он говорит в письме 1939 года? Грубо говоря, если Эйнштейн и думал, что он хороший парень, это еще не означает, что он таким и был.

Подлинной проблемой является то, что в течение четырех сотен лет научной революции постоянно внушалось,

что научные изобретения и изменения полезны. Рациональны и полезны. Что касается линии, разделяющей постоянство чистой науки и возможность выбора, который, как считается, предоставляет прикладная наука, то до сих пор не было сделано ни одной попытки определить, где находятся точки их соприкосновения с выбором, которое делает общество. Как показал «проект Манхэттен», только ученые питали надежду определить, что же такое эта линия до, во время и после ее пересечения. Невозможно представить, что параметры этой линии когда-либо удастся определить с достаточной точностью. Однако «республика науки» сможет улучшить положение дел, если вспомнит и о другом своем обязательстве, которое идентично тому, о котором открыто спорят эксперты, — об обязательстве помочь гражданам понять, почему необходимо делать выбор и что вообще поставлено на карту. Придется отказаться от удобного, специального языка и от специальных диалогов со структурами власти. Иными словами, впервые в современной истории при помощи ученых развить идею, следуя которой обществу удастся в короткие сроки изменить направление прогресса.

И все же большинство ученых, в том числе и Джон Пола-ни, продолжают хранить молчание, так как полагают, что они слишком плохо осведомлены, чтобы участвовать в чем-то, что выходит за пределы их узкой специализации. В мире экспертизы и конкурирующих структур они являются мифологическими экспертами, которые действительно невежественны в том, что имеет отношение к управлению обществом, политическими и экономическими организациями. А если какой-то ученый затронет эту тему, его, скорее всего, без всяких сантиментов обрекут на мученичество.

Пример с Оппенгеймером занесен в коллективную память мирового научного сообщества, как светящийся крест, который вспыхивает всякий раз, когда кто-либо из ученых пытается конвертировать свои научные взгляды в общественную мораль. Оппенгеймер был физиком, которого выбрали для руководства «манхэттенским проектом». Ни до, ни после Хиросимы он не сомневался в том, что «высшей функ-

цией человека является знание и понимание объективного мира и его законов»⁹. Он, однако, обнаружил, что все труднее контролировать водораздел между знанием и применением его на практике. После доклада Франка он со все меньшей охотой совершенствовал бомбу. Он постепенно стал склоняться к тому, что мы называем теперь моральными ограничениями в науке, то есть к сокращению военных ядерных программ, за которые он в какой-то степени нес ответственность. В результате этих колебаний он попал в сети маккартизма, поддался антикоммунистической истерии и был удален со всех ответственных постов. Только тогда он стал всерьез ратовать за то, чтобы при применении научных знаний за пределами власти ученых и политиков учитывались принципы нравственности, и вывел дискуссию на эту тему на уровень публичных дебатов.

Наша цивилизация отвергает эксперта, который произносит речь обобщающего характера. Публичное сообщение человека о чем-то, что выходит за рамки его компетенции, или хотя бы пытающегося сделать выводы, более общие и выходящие за рамки его профессиональной компетенции, рассматривается как опасное проявление эмоций, подавляющих профессиональное знание. Это — вторжение в чужие области знаний и намек на неадекватность их структур. Слова писателя или журналиста сравнительно безвредны, потому что исходят от маргиналов. А вот специалист является полноценным членом общества и, нападая на себя, атакует других. Еще хуже, если речь идет о критике экспертных оценок своей отрасли. Он выдает секреты *братства*. Таким образом, экспертиза и структура преуспевают в прекращении обсуждения наиболее важных для общества проблем.

В научном мире секретность цветет пышным цветом. Знание и понимание — это те свойства рационального человека, которые позволяют ему действовать. Но ученый не торопится делиться своими знаниями. Он их утаивает. Это не относится к деталям. Они передаются компаниям или правительствам. Но он утаивает конфигурацию некоторых деталей своего открытия, тех, что позволили бы гражданину понять его

суть. Если он сталкивается с необходимостью отвечать на вопросы о своем открытии, он прячется за шторы специфической сложности и специализации. Конечно, можно запутаться. Но другой профессии, в которой в той же степени отсутствует обязательство переводить профессиональное понимание на человеческий язык, нет. В результате использования такого способа утаивания, ученый лишает гражданина возможности узнавать, понимать и действовать иначе, чем в неведении. В лучшем случае, благодаря крепкому здравому смыслу, человеческое неведение может достичь уровня приличного гуманизма, в худшем — оно будет эмоциональным и преисполненным страха. В любом случае, и гуманизм, и эмоциональность экспертиза в расчет не принимает.

Атомная промышленность стала микрокосмосом научного знания, причем самым охраняемым как из-за своей исключительности, так и из-за секретности. Во Франции, например, в конце пятидесятих годов административные элиты приняли решение сократить импорт нефти и обратиться к ядерной энергетике. Сегодня за ее счет покрывается примерно 70 процентов потребностей страны в энергии. Скоро эта цифра достигнет 80 процентов, так как к действующим сорока атомным электростанциям прибавится еще двадцать, и на проектную мощность выйдут реакторы на быстрых нейтронах. За период между введением в строй первых атомных электростанций и 1986 годом во Франции не было ни одной ядерной аварии. Руководители этого ведомства могли хвастаться дома и за рубежом, заявляя о безопасности применяемых технологий. Как и другие страны, Франция поставляла свои реакторы на экспорт. В других странах, которые строят атомные электростанции: Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Японии и Советском Союзе — аварии иногда случались, но большинство из них не выходило за рамки технических сбоев. В общем, казалось, что эта отрасль энергетики безопасна и дает много необходимой энергии тем, у кого недостаточно нефти и угля. Десятилетиями эта отрасль имела незапятнанную репутацию. Она была образцом технологии будущего: чистой, бесшумной, невидимой — в противоположность грязным, шумным и бесцеремонным способам

производства энергии в девятнадцатом веке. Ощущение чистоты было таким, что научный миф о повороте морали человечества к лучшему стал чрезвычайно стремительно крепнуть. Общественное благо при этом стало синонимом прикладных знаний. Молодые ученые во всем мире мечтали работать в ядерной отрасли и приобщаться к производству благ, как когда-то молодые люди мечтали следовать за святым Франциском. Они не мечтали обрести удачу за чужой счет. Они не становились спекулянтами недвижимостью, валютой или акциями. Они выбирали общественное служение, которое, разумеется, было не настолько жертвенным, как прежде вступление в орден францисканцев, но все же не сулило ни привилегий, ни выгод.

Нигде, а особенно во Франции, к ядерной энергетике претензий не было. Национальный консенсус, еще более крепкий, чем когда-либо, опирался на надежный опыт, порожденный, разумеется, необходимостью, так как страна попадала во все большую зависимость от ядерной энергетики. Это прежде ученые-ядерщики работали на мечту. Теперь они защищали государственную систему.

Затем наступил 1986 год и случилась авария в Чернобыле. Утечка была настолько серьезной, что ее сразу же обнаружили за пределами Советского Союза, когда сработала аварийная система в Швеции, причем так, как будто авария случилась рядом. Радиационную тревогу объявили по всей Европе. В следующие несколько недель стало ясно, что произошло массовое заражение продуктов питания на всем континенте. В большинстве стран были уничтожены молоко и сыр. В Италии уничтожали овощи, а детей не выпускали из домов. Зараженные животные были забиты и сожжены.

Любопытно отметить, что только на одну Францию, казалось, ветры не принесли радиоактивных туч. Жизнь продолжалась. Молоко, сыр, овощи и мясо ели. Граждане ежедневно просматривали в газетах карты распространения радиации и поражались той картезианской элегантности, с которой ветра, несущие радиационное загрязнение на север и на юг, так аккуратно обходят довольно большую территорию в центре, совпадающую с очертаниями Франции.

Как оказалось, в этом не было никакой глупости или политических манипуляций. Просто французские ядерщики настолько привыкли защищать своих граждан от переживаний, связанных с знаниями, которые могут быть неправильно поняты, что распространили свою защиту на русских.

Такой защитный импульс можно назвать конспирацией ради предотвращения паники. Рациональный человек больше всего боится, что гражданин вернется к своим древним инстинктам и будет действовать слишком поспешно. Разум против страстей. Разум против страха. Разум против паники. Прежде всего, современный человек должен оставаться спокойным.

Следует подчеркнуть, что в тех странах, где об угрозе, ожидаемой в связи с чернобыльской аварией, говорилось более открыто, гражданам предоставили право паниковать, кто сколько хочет. Они внимательно выслушивали все предупреждения и советы. Они не ели того, что, как им сообщалось, представляло опасность. Они не сожалели о загубленных урожаях. Они не выпускали детей гулять. Никто в ужасе по улицам не бегал. У них хватило здравого смысла паниковать с достоинством.

И во Францию постепенно стали просачиваться сведения, что с общественностью обращаются как с детьми. Граждане несколько рассердились. Сначала через границу не пропустили французскую баранину, признав ее зараженной. Французские эксперты обвинили иностранцев в невежестве. Затем французские овощи вернули аж из Японии. Мировая пресса начала обращать внимание на отказ Парижа признать, что произошло нечто серьезное. Постепенно уверенность французского гражданина в ядерной безопасности была поколеблена. Через несколько недель угроза обвинений в предательстве, которое уже не удастся отрицать, заставила экспертов приоткрыться.

И вдруг на ядерных реакторах, которые тридцать лет были безопасными, начались аварии: полдюжины в течение следующих двенадцати месяцев. Затем появились данные об авариях, которые случались раньше. 4 апреля 1984 года в Бюги, в районе интенсивного сельскохозяйственного производ-

ства и высокой плотности населения между швейцарской границей и Лионом, произошло то, что официальный не опубликованный доклад охарактеризовал следующим образом: «С аварией такого масштаба на реакторах, работающих на тяжелой воде, еще не приходилось сталкиваться... Еще одна неудача... следовательно, привела бы к полному отключению электроэнергии с непредсказуемыми последствиями... Отказ клапанов при закрытии привел бы к дополнительному негативному развитию аварийной ситуации, к такому положению дел, с которым трудно справиться»¹⁰.

Специалист, ответственный за составление этого доклада, без сомнения, понимал, что утечка подобных сведений и публикация доклада будет приравняться предательству. Он, вероятно, сказал бы, что если это будет читать неподготовленный, сторонний наблюдатель, то доклад может создать неполную правдивую картинку, рассчитанную на сенсацию. Что касается самой правды, то это такая сложная штука, которую стороннему человеку не понять.

Любой нормальный человек, услышав такое объяснение, непременно заметит, что ученый негодует, несмотря на то что само объяснение является вполне разумным. Негодование ученого, тем более ядерщика, было бы вызвано тем, что его принимают за Мерлина/Ланселота — всемогущего слугу будущего. Несоизмеримо обычные люди повсюду обвиняют его в том, что он подвергает их жизни опасности.

Любимый ребенок реагирует на вопросы о его поступках, как будто спрашивают о его мотивах, то есть критикуют его моральный облик. Он реагирует при помощи того оружия, которое больше всего презирает. Его реакция — страх и ненависть к тому, кто задал вопрос. Он отвечает резко. Он прячется. Фактически, продолжая твердить свое, он делает то же самое, что делает непросвещенная общественность, когда с ней обращаются пренебрежительно: впадает в панику. А если общество пичкать чем-то несуразным, оно запаникует сильно, забыв здравый смысл и достоинство. Из-за этого обществу трудно спокойно и уравновешенно решать проблемы, которые возникают вследствие его же собственных трудов.

В 1987 году на побережье Шотландии, неподалеку от атомной электростанции Дунреай, постоянно регистрировались высокие уровни радиации. Это подтверждалось также данными независимых экспертов. Ответственные ученые не отрицали того, что такие результаты были. Электростанцию, однако, планировали расширять. Изучали данные и проводили слушания. И те же самые ответственные ученые отказывались учитывать загрязнение побережья в расчетах стандартов безопасности. Налицо явное противоречие¹¹. Получалось, что им представляли как бы не факты, а предательскую информацию, которая необъяснимым образом растворилась во мраке.

Многочисленные случаи утечки радиации на атомной электростанции Пикеринг в пригороде Торонто, в округе которой живет пять миллионов человек, неизменно выдаются за чисто технические проблемы. Документы независимого доклада, опубликованные в Канаде после Чернобыля, порождают сомнения относительно местных стандартов ядерной безопасности. Канадское правительство отреагировало на доклад и предупредило государственную корпорацию по ядерной энергетике о необходимости пересмотра стандартов. Вместо этого корпорация подробнейшим образом объяснила, что такой пересмотр не нужен, так как независимый доклад был составлен на основе необоснованных страхов. Отказ принять в расчет сомнения был категоричным.

Ученые, работающие на самом ядерном объекте, обычно докладывают об авариях своему начальству. Начальство — составная часть внутренних экспертных структур. Например, известно, что в 1986 году на 99 американских атомных электростанциях произошло 2836 аварий. В 1987 году на существовавших тогда 105 ядерных установках произошло 2940 аварий¹². Похоже, что информационную блокаду начинают в тот момент, когда возникает угроза, что технические знания вырвутся из-под абсолютного контроля экспертной системы.

В течение двадцати восьми лет об авариях на ядерных реакторах огромной атомной электростанции Саванна Ривер в Дьюпонте, штат Южная Каролина, сообщалось в региональное представительство Atomic Energy Commission (AEC), ко-

миссии по атомной энергии (КАЭ). В 1985 году был представлен меморандум, написанный ученым в качестве отчета своему начальству, в котором обобщались данные о тридцати «исключительно серьезных авариях на реакторах». Ни по одной из них не было предпринято каких-либо мер. Ни об одной из них не сообщали в центральные офисы КАЭ или в министерство энергетики. Информация была секретной. Те, кого это касалось, делали вид, что ничего не случилось. И это люди, которых не отнесешь к категории преступных элементов. Вероятно, это вполне добропорядочные граждане. Любящие родители, которые платят налоги и водят своих детишек в спортивную или музыкальную школу. Когда информация, наконец, всплыла, министерство энергетики присвоило ей самый высокий уровень секретности — уровень секретности «манхэттенского проекта» 1942 года, когда безопасность была важнее всего¹³. Но этим трудно объяснить решение не сообщать об авариях министерству энергетики. Министерство энергетики едва ли можно считать иностранным агентством. Причина такого навязчивого стремления утаить информацию, скорее всего, в ужасной неразберихе в экспертных оценках, самооценке и морали.

Обращаясь с общественностью как с детьми, подверженными паникёрству, ученый может преуспеть, и люди на самом деле запаникуют. Свидетельство этому — предисловие к сборнику рассказов плачущего и истязающего себя британского новеллиста Мартина Амиса «Монстры Эйнштейна»: Ядерное оружие «вызывает у меня рвоту и боли в желудке». Если случится атомная война, «я буду вынужден (и это последнее, что я захочу) пройти целую милю обратно домой — через пламя, мимо того, что пощадит ветер, дувший со скоростью тысяча миль в час, мимо уродливых атомов, мимо трупов. Затем — если Богу будет угодно оставить мне силы и, конечно, если они еще будут живы, — я должен найти свою жену и детей, и я должен убить их»¹⁴. Истерия Амиса — то, что нужно ученому и властям. Эксперт чувствует, что он не зря не отдает свои знания, хотя Амис дошел до такого сумасшествия только потому, что после сорока лет отказов обсуждать эту проблему в спокойной, открытой манере ученые не

оставили непосвященному другого способа привести свои аргументы.

Любопытно, что такие нападки только укрепляют мнение ученого о том, что ядерное оружие — это необходимое зло, продиктованное насущными потребностями нецивилизованного человека, а атомная энергия — добро, необходимое для благополучия человечества. А ведь риск катастроф, исходящий от мирных ядерных реакторов, куда выше, нежели риск от бомб. Оружие, в конце концов, находится в режиме ожидания. Кто-то должен принять решение, прежде чем его применяют. Нас защищает здравый смысл и простой гуманизм. Реакторы, между тем, то и дело взрываются. Они производят энергию. Между человеком и выходом этой силы из-под контроля стоит только надежность работы техники, внутри которой происходят эти взрывы, а также компетентность тех, кто управляет этими электростанциями. Одно мы знаем точно: не бывает безотказного оборудования и людей, которые не ошибаются. Пассажирские реактивные лайнеры падают. Скоростные экспрессы сходят с рельсов. Дамбы прорывает. Мосты рушатся. И только в одном 1987 году в Соединенных Штатах всего на 105 атомных электростанциях случилось 2940 аварий.

В конце восьмидесятых годов произошел важный прорыв в отношении к тревоге, которую вызывает ядерная энергетика. Великобритания, к примеру, фактически отказалась от строительства новых атомных электростанций. Но то, как это произошло, показывает, что никаких изменений в отношении того, чтобы общественность могла обсуждать научные секреты, не последовало. Перед принятием правительственного решения не проводилось каких-либо дебатов, даже среди ученых-ядерщиков. Было просто объявлено, что запланированная правительством приватизация энергетики не коснется атомного сектора. При внимательном рассмотрении выясняются две причины. Во-первых, несмотря на обещания, повторяемые в течение десятилетий, электроэнергия, полученная на атомных электростанциях, все еще дороже, чем при других способах производства. Во-вторых, частный сектор не хочет вкладывать деньги в такую рискованную

область производства. Особое беспокойство вызывает то, что существуют риски и расходы, связанные с демонтажем отработавших свой срок мощностей.

Ранее не было и намека на то, что следует учитывать такие риски или такие расходы. Вместо этого председатель Управления по атомной энергии (Atomic Energy Authority) повторил стандартные доводы: «Мы должны продемонстрировать, что ядерная энергия не только безопасна, но и экономична. Нет сомнения, общественность озабочена сообщениями прессы относительно рисков при финансировании ядерной энергетики»¹⁵.

Иными словами, ни ученые-атомщики, ни правительство и бизнес-элита тревог не высказали. Вместо этого они утверждали, что проблема в ядерной индустрии гнездится в озабоченности людей — то есть в невежестве. Можно предположить, что меры, принятые в Великобритании, — только временная пауза. Научное сообщество до сих пор убеждено, что процесс должен продолжиться. Следовательно, оно продолжит проталкивать внедрение новых, усовершенствованных систем до тех пор, пока британское правительство вдруг не объявит о принятии одной из новых усовершенствованных программ. Такое решение появится как бы ниоткуда, но программа будет представлена в готовом виде. И кажется, только один аргумент еще неизбежно будет оказывать влияние: в большинстве западных стран на месте не стоят. Франция и Канада углубляли работу. Соединенные Штаты снова начнут этим заниматься, как только случится еще один энергетический кризис. И кажется, только Швеция приняла определенное решение о деатомизации энергетики. Весной 1991 года исполнилось пять лет катастрофе в Чернобыле, и отрасль начала объединять усилия в международном масштабе, чтобы продавать общественности новые стандарты безопасности¹⁶.

В этих дебатах есть интересные вопросы, они просты, но эксперты их избегают. Почему общество должно подвергать себя непредсказуемым рискам? Какое право имеют ученые навязывать планы своих исследований всему населению?

Почему ученые боятся тщательно проверять каждый шаг? Почему они полагают, что обязаны столь бездумно рваться в будущее?

Ученый-ядерщик, по моральным соображениям утаивающий свои секреты от общественности, чтобы она не могла их должным образом обсудить, и ученый из других отраслей знаний, делающий то же самое, мало отличаются друг от друга. Возьмем, к примеру, тот факт, что каждый год фиксируется два миллиона случаев отравления людей пестицидами. Из них сорок тысяч случаев со смертельным исходом. Пестицидами заражены водоемы во всем мире. В 1987 году основные производители риса в Италии были вынуждены поставлять семьям своих фермеров воду цистернами. Рис, как известно, растет на затопленных полях. Фермеры сами отравили свои водоемы. Как это повлияло на рис, это другой вопрос, который сами фермеры обсуждать не захотят. На юге Европы распространилась эпидемия микроскопического красного паучка, который нападает на рисовые поля. Паучки — побочное следствие химических способов борьбы с мучнистой росой. Целый ряд исследований показал, что в сельскохозяйственных регионах с интенсивным использованием химических реагентов среди фермеров среднего возраста резко увеличилось количество заболеваний со смертельным исходом, и что это связано с интенсивным использованием химикатов. Резкий рост числа случаев заболевания болезнью Паркинсона университет Гельфа связывает с наличием в химических удобрениях определенных элементов. Произошел также резкий скачок невосприимчивости человека к антибиотикам. Например, в 1960 году только в 13 процентах случаев стафилококковая инфекция не излечивалась пенициллином. В 1988 году эта цифра составила 91 процент. Частично это объясняется слишком частым использованием этого лекарства, что также привело к распространению таких болезней, как менингит и гонорея. Многочисленные исследования позволили сделать вывод, что частично это связано со скормливанием антибиотиков коровам, овцам, свиньям и курам, что делается для того, чтобы защитить их от болезней и стимулировать более быстрый рост. Пятьдесят пять процентов

производимых в Америке антибиотиков потребляется в фермерских хозяйствах. Возник феномен, получивший название «прыгающие гены», он состоит в том, что бактерии научились вырабатывать защитные механизмы быстрее, чем ученым удастся вырабатывать новые методы лечения. В этой связи в Европе запрещено скармливать животным гормональные препараты. Это была политическая победа над экспертами по гормонам, когда специалисты на местах отрицали наличие побочных эффектов, как это до сих пор делают их коллеги в США. Серьезное внимание на наличие в сырых яйцах сальмонелл впервые обратили в Соединенных Штатах. За девять лет с 1979 по 1988 год количество зафиксированных случаев возросло в шесть раз. Доктор Дуглас Арчер, директор отдела микробиологии Административного центра по изучению продуктов и лекарств за безопасность продуктов питания и пищевых полуфабрикатов (Microbiology Division of the Food and Drug Administration's Center for Food Safety and Applied Nutrition), в декабре 1988 года подтвердил, что причиной их наличия является применение современных методов кормления кур клеточного содержания. Через месяц министр британского кабинета министров Эдвина Карри публично выступила по этой проблеме, за что ее вынудили уйти в отставку¹⁷.

Приведенные примеры говорят сами за себя. Отказ большинства организаций признавать наличие проблемы, когда она действительно существует, позволяет им делать что угодно, сославшись на корпоративные интересы. Нет ничего более простого, чем клеймить человеческую жадность. Однако большинством корпораций управляют не владельцы, а менеджеры, многие из которых являются учеными или инженерами. Большинство из них — технократы. У них громадные возможности по проведению научных экспертиз в университетах, клиниках и институтах. И подавляющее большинство этих уважаемых ученых или отрицают наличие проблем, или просто замалчивают их. Похоже, они никогда не выскажут своего неодобрения отдельным достижениям прогресса, чтобы ни на шаг не свернуть в сторону от этого прогресса.

Таким образом, отравление пестицидами списывают на то, что фермеры используют их неправильно. Между загрязнением водоемов и сельским хозяйством отсутствует прямая связь. Когда в январе 1989 года обнаружилось, что уровень пестицидов в воде на четырех водоочистных станциях Великобритании выше допустимого по стандартам Общего рынка, реакция властей и правительства была по-детски наивной. Они объявили, что стандарты ЕЭС слишком строги. Они заявили, что это плохая новость для потребителя, которому придется платить больше, если следовать строгим правилам. Не было даже намека на озабоченность в связи с тем, что здоровью, возможно, наносится вред. Распространение красного паучка свалили на неправильное использование химикатов против мучнистой росы. И паучки теперь рассматриваются в плане технической аварии, которую будут исправлять путем создания новых химических средств. Отрицается взаимосвязь между химическими удобрениями и увеличением числа заболеваний или с загрязнением водоемов. Тем не менее, неочищенную воду из Канадских озер пить нельзя. Правительство предупреждает, что выловленную в этих водах рыбу нельзя есть в больших количествах. Устрицы и мидии из незараженных водоемов, которые находятся за пределами Европы и Северной Америки, вдруг оказываются ядовитыми. Проблемы такого рода редко бывают местными. Яд распространяется водными потоками. Никто всерьез не ставит вопрос о миллионах тонн сельскохозяйственных отходов, которые и являются одной из причин того, что произошла такая трагическая перемена с водой. Отрицается, что антибиотики выживают в результате пищевого круговорота. То, что их следы время от времени обнаруживаются, считается случайным. Вместо того чтобы пересмотреть отношение к использованию антибиотиков, научное сообщество мчится вперед, отыскивая средства борьбы с бедствиями, которые произошли вследствие применения ранее разработанных средств. Создатели гормонов для животных в Северной Америке не только отрицают наличие любых рисков при их применении, но и утверждают, что европейские запреты — это такие хитрые протекционистские уловки правительств про-

тив конкуренции со стороны иностранных производителей продуктов. Они напуганы тем, что европейской реакцией воспользуются противники гормонов в самих Соединенных Штатах. Европейские производители гормонов заняли про-американскую позицию, создав группу лоббистов под названием Европейские предприятия за здоровье животных (European Enterprises for Animal Health). Само название – великолепный пример диктаторского словаря, который доводит суть понятия до абсурда. Они нашли такое название для организации, которая занимается откормом скота на мясо, накачивая его химикатами, чтобы заручиться поддержкой Организации за предотвращения жестокости по отношению к животным (SPCA).

Ежегодное сравнение стоимости продуктов, выращенных с применением органических удобрений, со стоимостью тех, что выращены с применением химических, показывает, что в США первые значительно дешевле. Цена продуктов одна и та же, но фермер, ориентирующийся на химию, много платит за дорогие химикаты. Однако, невзирая на эти факты, научное сообщество, объединенное в корпоративную систему, клеветает на то, что они называют ненаучным подходом. Не вполне ясно, почему чем-то, что получается лучше, не имеет отрицательных побочных эффектов и стоит дешевле, нужно пренебрегать только из-за приверженности тому, что считается современным. Наше стремление к высокой производительности нивелирует тот факт, что предлагаемые методы не лучше существующих. В 1989 году был сделан замечательный прорыв. Американская академия наук объявила результаты длительных исследований, из которых следует, что производство продуктов на базе органических удобрений по продуктивности не уступает производству на базе химических удобрений, а может быть, и превосходит его. Теперь Академия предлагает изменить проводимую правительством политику поощрения «современного» сельскохозяйственного производства. Такое революционное заявление научное сообщество приветствовало молчанием. Эта новость не покатила через границы, вызывая бурные дискуссии в регионе выращивания риса в Северной Италии, или в регионах интенсивно-

го садоводства юга Франции, или в Англии, которая гордится тем, что у нее самое современное промышленное сельскохозяйственное производство в Европе.

Это снова к вопросу о том, что научное сообщество мало интересует, почему люди должны подвергаться риску, не понимая этого или не соглашаясь на это. Ученые не задают таких вопросов и не отвечают на них. Могут тридцать пять наименований химикатов, используемых сегодня при выращивании и хранении яблок, подвергать риску здоровье людей или не могут? Зачем так навязывают использование всех этих инсектицидов, искусственных удобрений, фунгицидов и консервантов? Почему не нашли время открыто обсудить, правильно ли это направление и хочет ли гражданин в нем следовать? Парламентской системой предусмотрено, чтобы правительство подтверждало свои действия через их публичное обсуждение. Научное сообщество в течение этого века изменило жизнь нашего общества больше, чем любой парламент, и не думает, что оно обязано что-то подтверждать.

Что касается скандала начала 1989 года о наличии сальмонелл в британских куриных яйцах, то само его обсуждение носило сатирический характер. Во-первых, ни ученые, ни политики, ни журналисты не отметили того факта, что проблема касается всех европейских стран, где используются передовые промышленные методы выращивания кур. Во-вторых, этот кризис сразу же опустился на уровень национализма: британские яйца могут быть только хорошими. На следующий день каждая курица размахивала британским флагом, а госпожа Тэтчер горой стояла за несушек. В-третьих, министра, которая осмелилась говорить правду, научное сообщество подвергло обструкции, с тем чтобы у общественности осталось впечатление, что она истеричка. Что она устроила панику. В-четвертых, избавившись от нее, ответственные лица приняли половинчатые меры (лишь бы не допустить паники!), чем полностью подтвердили правоту министра.

Похоже, что в течение последних нескольких лет отношение к науке все-таки изменяется. Неожиданный взлет движения «зеленых» и их политическое влияние заставляют политиков, бюрократов, бизнесменов и даже ученых более тща-

тельно разрабатывать планы своей практической деятельности. Однако победы защитников окружающей среды заметны почти исключительно на политическом поле. Это свидетельствует о том, что мускулы демократов достаточно гибки. Но между демонстрацией мускулов и переменами в обществе — огромная дистанция. Чтобы изменить общество, нужно одержать победу над всей системой, изменить или разрушить именно ее.

В настоящее время ни научное сообщество, ни бюрократы, ни менеджеры бизнес-сообщества не делают и намеков, что готовы к серьезному ответу на новые политические вызовы. Правда, ответ, предполагающий молчаливое согласие, был получен. Теперь в речи политиков и директоров корпораций наряду с основными темами включается абзац, где говорится об охране окружающей среды. Не имеющие своего собственного словаря, политические партии, ориентированные на экологию, как, например, «зеленые», уже начали терпеть неудачи вследствие сложностей современной политики. И некоторые реальные изменения, которые пришлось сделать, сосредоточены на узких направлениях, где нельзя не считаться с особенностями этой политики.

Британское правительство призывает к экологической ответственности и в то же время пытается оставить качество воды в городском водопроводе на самом низком уровне, допустимом по закону. Американское правительство выражает озабоченность по поводу уменьшения количества лесов в Бразилии, а в собственной стране объемы выбросов двуокиси углерода растут с каждым годом, причем быстрее, чем где-либо в мире. Канадское правительство бьет во все колокола по поводу опасности «кислотных дождей» и в то же время закрывает глаза на то, что столько же вреда наносится вырубкой собственных лесов. И ни одна из существующих структур не вступает в дискуссии с теми, кто призывает к мудрости тех, кто слепо следует за прикладной наукой в будущее. Если вас кто-то и выслушает внимательно, в лучшем случае ответом будет мрачное молчание.

Проблема уже не в том, что кто-то за «зеленых», а кто-то против них, и не в защите окружающей среды от капиталис-

тов. Настоящая проблема в стремлении не распространять правдивую информацию и во власти, которая считает себя гораздо выше этих общественных движений. Подход «зеленых» касается только одного среза научных проблем, важно-го, но только среза. Экологические риски — это результат существования проблемы, но не сама проблема.

Если бы структура научной администрации смогла каким-то образом одолеть «зеленых», это тоже стало бы секретом, об этом бы не сообщали, а сама структура чувствовала бы себя еще увереннее, чем раньше. От очевидных истин относительно ядерной энергии как носительницы общественного блага мы перешли бы к очевидной истине о том, что, в общем-то, ничего не развивается.

Психологическим следствием рационального подхода стало то, что в сознании людей смешались слова «современный» и «хороший». На деле они соотносятся между собой так же мало, как понятия «назад к природе» и «хороший». Общество знает, что абсолют недостижим, но не предлагает инструментов для проверки здравого смысла или отказа от него.

Комичность уровня, до которого опускается здравый смысл, очевидна на примере мифологии вокруг французского вина. Романтический имидж старого доброго виноградаря, шишковатыми пальцами срывавшего ягоды с лозы, усиливает удовольствие от употребления этих вин. Наряду с имиджем простого виноградаря, имеются и другие, связанные со славными страницами прошлого: Генрих IV пил только «Нюи Сен-Жорж»; любимым вином Наполеона был «Шамбертэн». Однако и профессионалы, и простые люди сходятся во мнении, что вино, изготовленное без применения современных методов, пить невозможно. Если вы скажете французу, что это и есть натуральное «органическое» вино, он страшно удивится. Но ведь именно такое вино пили и Генрих IV, и Наполеон, ведь это было до двух революций конца девятнадцатого века: нашествие филлоксеры уничтожает виноградники; вводится научно обоснованное добавление сахара в виноградное сусло, полученное из незрелого винограда, известное как «шаптализация». Производитель органического продукта выщелачивает виноград-

ный сок дольше вместе с кожей и косточками; в результате вино дольше находится в деревянных бочках, а затем дольше хранится в бутылках. Его стойкость, крепость и вкус формируются сами по себе.

В современное вино все чаще добавляют серу, химические стабилизаторы, фунгициды, свекольный сахар и спирт. Именно эти элементы, а не виноградный спирт, являются причиной алкогольного похмелья. Современное вино «Нью Сен-Жорж» совсем не такое на вкус, как во времена Генриха IV. Оно крепче, быстрее зреет и быстрее умирает. Как и ядерные реакторы, современное вино — один из дутых секретов нашего общества.

Глава четырнадцатая

О ГОСУДАРЯХ И ГЕРОЯХ

На Западе шутят, что все наши лидеры — результат счастливого или несчастного случая. Мы же не прочь пожаловаться на тех, кого сами приводим к власти. Еще более странно, что, сталкиваясь лицом к лицу с общественными потребностями, проблемами или кризисами, мы склонны ожидать, что в ситуацию мгновенно вмешается лидер и разберется в ней.

На самом деле наш лидер редко становится таковым в результате случайного стечения обстоятельств или внештатной ситуации. Он скорее является естественным продуктом длительной деятельности структур и постепенной эволюции цивилизации. Выбор граждан настолько ограничен этими факторами, что они обнаруживают, что вынуждены сражаться в войнах под руководством реформаторов общества, как это было в Великобритании, Франции и США большую часть Первой мировой войны. Через шестьдесят лет, во время экономического коллапса 1973 года, Соединенные Штаты обнаружили, что находятся в руках простого политика, лишённого здравого смысла в финансовых вопросах. Францию и Великобританию тогда возглавляли технократы, правившие, прежде всего, административными методами. Только в од-

ной Германии в нужном месте и в нужное время оказался компетентный экономист, и то по причинам, не связанным с самим кризисом.

Все эти случаи упущенных возможностей часто трактуются в свете современного трюизма о том, что демократия — это громоздкий и неэффективный способ управления. Более честно и точно звучал бы аргумент о том, что демократию все больше калечит принятая рациональная методология воспитания и отбора лидеров. Такие лидеры впоследствии не вписываются в демократический процесс и практически подрывают его, работая против его насущных потребностей. Из наших рассуждений вырисовывается два типа лидеров: рациональный государь и Герой.

Государь остается верен своему происхождению. Он в полной мере порождение Макиавелли, затем Лойолы, Бэкона, Декарта и Ришельё. Современные лидеры не претендуют на то, что они происходят от таких предков. Тем не менее, рациональный государь Макиавелли размножился, занял посты на административных должностях и работал так эффективно, что его власть распространилась на политику. Затем политики и сами стали подражать своим служащим, чтобы завуалировать противоречие между демократичностью и рациональностью управления. В результате постоянно саботировались гражданские демократические рефлексy, а развитие идеи демократического лидерства то блокировалось, то искажалось.

Общее разочарование, возникшее как следствие этих подковых сражений, в конце концов привело к появлению нового типа лидера — Героя. Он представляет собой простое смешение демократического и рационального, он одновременно и популярен, и эффективен. Он стал популярен благодаря тому, что сочетал в себе свойственную королям величавость с поклонением Богу, желая склонить общественное мнение о себе до низкопоклонства. Он стал эффективен, так как его власть дала ему возможность руководить и при этом не обращать внимания на социальные ограничители.

К сожалению, такое решение было предательством и по отношению к общественному мнению, и по отношению к общественному управлению. Все Герои быстро превращают-

ся во врагов общественного интереса. Стержнем их власти был талант эффективного использования насилия против граждан, когда это было необходимо. Даже когда Герой использовал свою власть в благих целях, он просто готовил почву для другого Героя, которому затем легче было творить зло. Возникает вопрос, который ставит нас в тупик: как цивилизация, возникшая при разрушении абсолютной власти королей и церкви, на лозунгах свободы и равенства, могла отдать себя на поклонение такому культу.

Еще более странно то, что стало ясно еще со времен Наполеона: только редкая личность может стать настоящим Героем, способным на сверхчеловеческие победы и слабости, которые подрывают власть и самоуважение гражданина. Это означает, что постоянный подъем героических настроений ведет к появлению руководителя третьего типа: квазигероического лидера. Такой человек может достичь власти путем насилия, имитируя настоящего Героя или используя устоявшиеся методы демократического общества. Но, используя образ Героя и обещания героической дееспособности, он деформирует сам демократический процесс.

Наше общество обнаружило, что время от времени им управляет настоящий Герой, который иногда появляется в стае фальшивых героев, большинство которых умудряется использовать избирательную систему. Также приходит целый ряд неизбранных рациональных государей, которые вместе с Героями и представляют собой когорту, председательствующих в законодательных собраниях. И всех без исключения представителей трех названных здесь категорий весьма трудно контролировать, так как их власть — плод полного отказа от демократических взаимоотношений.

Государи

13 октября 1761 года тридцатилетний французский кальвинист Марк Антуан Калас повесился в доме своего отца на улице де Филатьер в Тулузе¹. Чтобы защитить репутацию сына, Жан Калас, крупный торговец текстилем, попытался скрыть самоубийство. Напряженные отношения между като-

лическим большинством города и протестантским меньшинством вызвали лавину слухов о том, что Жан Калас задушил своего сына, когда узнал, что тот собирается перейти в католичество. Торговца, конечно, арестовали, после чего последовал долгий судебный процесс. Сначала он был осужден городским магистратом, затем парламентом (судом — *прим. ред.*) Тулузы. 10 марта 1762 года его казнили, сначала переломав ему кости на колесе: при этом жертву раздевали догола, привязывали ноги и руки, растянув их в стороны, к плоскости большого тележного колеса, которое лежит на земле. Один или два палача металлическими прутьями разбивали все суставы и кости. Когда все конечности становились гибкими, их продевали через спицы колеса. И наконец, колесо поднимали и устанавливали вертикально, оставляя жертву умирать в муках. Умирая, Калас утверждал, что он невиновен. Такой приговор означал, что его семья теряет гражданские и имущественные права.

Через двенадцать лет вдова Каласа явилась к Вольтеру и умоляла его помочь. Тогда самому популярному драматургу Европы было шестьдесят восемь лет, и он уже был самым известным человеком своего времени, его сравнивали с назойливой мухой, так как он беспокоил целый континент, требуя политических и общественных реформ. Во Франции над ним постоянно висела угроза заключения в тюрьму. Незадолго перед этим он покинул службу у короля Пруссии Фридриха Великого и поселился в Ферне, в замке, благоразумно построенном на французско-швейцарской границе. Отсюда он клеймил каждого, кто попадал в поле его зрения.

Получив прошение мадам Калас, Вольтер сначала решил, что ее муж был виновен. Испытывая ужас перед религиозными организациями, он обо всех них думал только самое худшее. Однако, вникнув в суть дела, он понял, что совершена величайшая несправедливость. Он написал всем известным ему людям в Париже: министрам, придворным, парламентариям — прося их вмешаться. Никто интереса не проявил.

Этот случай стал поворотной точкой в жизни Вольтера. Наверное, самой важной. У него никогда не было своей философской концепции. Но он страстно желал реформ, и его

длительная деятельность в большой мере состояла из попыток найти средства заставить правительство действовать. Он был и придворным, королевским советником, и драматургом, и историком. За три года до этого он уже занимался делом о нарушенных правах личности, речь шла о шести братьях, чье наследство украли иезуиты. Теперь он лично занялся делом Каласа и разослал во все стороны уйму писем.

Можно сказать, что Вольтер изобрел само понятие общественного мнения, продемонстрировав, как можно заставить его служить доброму делу. Вместо того чтобы вещать с высокой трибуны, как это обычно делали философы восемнадцатого века, он спустился на уровень реальности человеческой жизни. В итоге он изобрел способ превращать отдельные душераздирающие примеры в великие сражения, в результате которых будут установлены новые стандарты, и, таким образом, заставить правительство проводить реформы.

Самым важным стало то, что он сосредоточил свои усилия на законности, на реформе законодательства и справедливом применении законов. Конечно, Вольтер был не первым литератором, требовавшим общественных реформ через реформирование законодательства. В первой половине века Джонатан Свифт в Дублине предпринимал бесчисленные попытки такого рода. Вольтер, который был большим почитателем Свифта, более чем за тридцать лет до этого провел три месяца в его доме во время своей английской ссылки. То, что позднее он отдал такую дань политическим сатирам, памфлетам и поэзии, в огромной мере является заслугой Свифта. И Генри Филдинг начал свою атаку на законы в 1730 году, написав трилогию для театра. В 1749 году, уже будучи юристом и мировым судьей, он опубликовал роман «История Томаса Джонса, найденныша», в котором среди прочего было показано, что назрела необходимость реформы законодательства. В течение почти всей своей жизни Вольтер опирался на английскую модель и английских мыслителей, как на политический пример, которому нужно следовать.

Однако дело Каласа было чем-то новым. В течение года Вольтер заставил говорить о нем всю Европу. Трагедия Жана Каласа начала принимать мифологические размеры. Вольтер

продолжал атаки. Потребовалось два года, чтобы дело возвратили в суд. И 9 марта 1765 года, через три с половиной года после казни, сорок судей апелляционного суда ратуши города Тулуза единогласно оправдали Каласа. Все граждане Европы увидели и почувствовали, что справедливость восторжествовала. Был создан прецедент, и начались великие юридические сражения, которые в двадцатом веке будут происходить в связи с делом Дрейфуса и Уотергейтом. Что касается Вольтера, то он перестал быть назойливой политической мухой. Он сделался защитником Каласа и, следовательно, защитником справедливости. Его подхватил поток других дел, которым он посвятил последние двадцать лет своей жизни.

Отныне, согласно новым нормам, закон должен был опираться на сознание гражданина, как на самый надежный инструмент для контроля над властью имущими и достижения политический и социальной справедливости. Всего за несколько лет до этого идеи Монтескье, старшего по возрасту писателя с наклонностью к юриспруденции, совершенно естественно адресовались элитному сословию. Теперь же даже сложные и высокоинтеллектуальные сентенции энциклопедистов получили общественное звучание, хотя сами они еще не до конца осознавали это. Их аргументы в пользу сильной монархии, ограниченной незыблемыми законами, вдруг стали вызывать удивление у читателей: зачем монарху быть сильным, если законодательство будет незыблемым. Этот рефрен имеет свою длинную историю в Англии, но там его звучание было расширено, когда король Георг III отказался следовать действующему законодательству, чем спровоцировал американских джентльменов, включая мелкопоместных дворян и городских торговцев, на революционные действия.

Во время этих и других дебатов стало ясно, что новый рациональный человек — это, во-первых и прежде всего, законодотворец. Он должен обеспечить торжество справедливости, которая в целом понималась как действие власти для обеспечения права². Важность законодотворчества была подтверждена опытом Наполеона, который продемонстрировал, что выше Героя, даже находящегося у власти и подчиняющегося закону, только его воинская слава. Пока Наполеон завоевывал

Европу и нарушал самые основные права гражданина, он также под аккомпанемент звучных фанфар вносил свой вклад в создание кодекса новых революционных законов. Для его героического эпоса главным было то, что ему доверили написать если не весь, то большую часть Кодекса Наполеона. Описывают и изображают на картинах, как он целые ночи напролет диктует новые нормы справедливости. На самом деле большая часть Кодекса была готова еще до того, как он пришел к власти. Тогда комитет из крупнейших юридических умов создал его основу. Наполеон сделал несколько черновых поправок и, если ему верить, ввел в действие весь Кодекс целиком. Какой бы ни была историческая правда, установилось мнение, что Герои могут получить больше деспотической власти, чем абсолютные монархи, и они получают ее от имени граждан. Эта идея и до сих пор жива.

В новом общественном крестовом походе за законотворчество подразумевались поиски формы и стиля. Правила законотворчества подразумевали, что закон должен быть сформулирован ясно. Если ясности не будет, не будет и единообразного понимания закона гражданами, а без такого понимания не будет ощущения, что право гражданина соблюдается.

Понадобилось два века, чтобы такая ясность постепенно исчезла, а само законодательство разрослось до того, что стало скорее силой самой по себе, чем продолжением процесса репрезентативного принятия решений. Раздувающаяся масса законодательства, вырабатываемого нашими собраниями, — это скорее административные решения, нежели формулирование политических решений. Большинство законов относится к техническим аспектам развития системы. А огромное количество законов делает почти невозможной работу власти. За очень небольшими исключениями, ни избранным представителям, ни гражданам не понятен принцип построения юридической системы.

За последние сто лет наш тонкий свод законов стал в два раза толще, затем в три раза, затем в четыре. Юристы занялись деталями, становились все более требовательными, а раз так, потребовалось новое законодательство. Тем временем произошло нечто особенное. Наши языки постепенно

утратили способность формулировать абсолютные концепции. То, что предлагала юстиция в семнадцатом и восемнадцатом веке, было изложено совершенно ясно. Последующую неспособность законодателей отражать в законах предложения юристов поначалу объясняли невнятным политическими решениями. К концу 1950-х годов такой довод стал сходиться на нет. Каждый новый закон, независимо от того, насколько хорошо он был подготовлен, не мог соответствовать одновременно и конкретному делу, и правоприменению. Новые законы требовались или для того, чтобы заткнуть необъяснимым образом появлявшиеся дыры, или для того, чтобы расширить действие закона на те сферы, которые почему-то ранее не были им охвачены. И каждый новый закон не уменьшал, а увеличивал количество таких дыр.

С ростом сложности ковровых узоров юридических систем Запада эти дыры разрослись до таких масштабов, что они начинают уже напоминать сеть безумного рыбака, такую, что сквозь нее может проскочить любая рыба — и большая, и маленькая. И все зависит от ума, удачи и количества денег. Уголовное законодательство, к примеру, доказало, что оно не совсем плохо работает, когда разбираются дела людей, совершивших преступление случайно; довольно надежно, когда имеет дело с воришками, которых осуждают на короткие сроки; и совершенно не приспособлено работать с преступниками-профессионалами. Законы о налогообложении у нас таковы, что многие крупные корпорации платят налогов меньше, чем любой работник, стоящий у сборочного конвейера. Ведь корпорации могут воспользоваться сотнями оговорок, относящихся к убыткам от налогов, к специальным инвестициям, к снижению стоимости и просто укрыться от них, в то время как у работника налоги просто списываются при начислении ему вознаграждения.

Профессия юриста начала расти вширь и вглубь, как для того, чтобы покрывать огрехи законодательства, так и для того, чтобы использовать их. Сегодня в США 350 тысяч юристов, только в одном Вашингтоне их 25 тысяч, и все они работают в правительственных учреждениях. Во Франции по закону обязанность приведения доказательств и роль судебно-

го следствия частично возложена на юристов. Магистраты, нотариусы и Государственный совет — бюрократическая структура, которая рассматривает споры между общественностью и администрацией, — отвечает за большую часть судебных действий. Несмотря на это, количество юристов за последние двадцать пять лет почти удвоилось: с 10 до 20 тысяч. Такой рост количества юристов наблюдается в большинстве других стран Запада. Распухающие тома государственных законов и постановлений — это только небольшая часть их работы. Одинаково важны и административные нормы, являющиеся новыми сферами многонационального законодательства. Например, законодательство Европейского сообщества по своей значимости сейчас равно внутреннему законодательству каждого из государств его членов.

Таким образом, в разрастающемся лабиринте технических уловок началась игра в кошки-мышки между противостоящими армиями юристов, которые сражаются по уголовным делам, спорам о корпоративной собственности, по политике налогообложения, нормам экологической безопасности и тысячам других дел как частного, так и общественного характера. Оппонентом по делу юрист становится тогда, когда представляет одну из сторон. Оттуда же навыки его работы. И методы своей работы он черпает из того же источника. Стороны, однако, не равны. Те, кто пишет законы, вероятно, не могут по закону угнаться за теми, кто эти законы нарушает, так как законодатель должен играть по правилам, которые он сам установил. Что касается массы юристов, которые работают против общественных интересов — и по уголовным, и по корпоративным, и по гражданским делам, — то их ограничивает только техническая сторона дела, что и является фактором, который постоянно толкает законодателей вперед.

Критическая масса законов и замысловатые игры, которые их окружают, постепенно начали уводить реальную власть из рук народных представителей в руки тех, кто толкует существо законов. И при выработке политики интерпретация закона постепенно стала так же важна, как само принятие закона, если не еще важнее. Что бы ни говорилось в конституциях европейских государств, сегодняшняя

реальность такова, что судьи и суды являются более важными законодателями, чем избранные народом представители.

Такое положение дел является третьей причиной, почему снижается роль представительных собраний. Точно так же, как одна часть представительной власти перешла к власти исполнительной и к администрации, так и другая часть перешла туда, где толкуют закон и исполняют его. Как только статус законодателей снизился, сам закон превратился в некую бесшовную структуру. Как и административная власть, он стал подменять и политику, и тот орган, на основе которого можно делать тайную политику.

Уверенность большинства мыслителей восемнадцатого века в незыблемости законодательства определялась двумя факторами: желанием покончить с невыносимым деспотизмом абсолютной монархии и верой в возможность общественного договора. Они полагали, что основой такого договора непременно станут определенные стандарты, принятые в обществе, и он будет защищать их. «Два трактата о государственном правлении» Джона Локка были опубликованы в 1690 году, ровно за сорок лет до изгнания Вольтера в Англию. Большинству людей казалось, что своей идеей договорных отношений Локк вычистил основы авторитаризма, которые еще присутствовали в абсолютистской теории Гоббса. Подход Локка был более гибким. А должным образом контролируемый авторитаризм не тревожил тех, кто насаждал рациональность. Рациональный договорной подход к законности, как им казалось, является гарантией справедливости.

И все же кое-кому эти мечты о почти абсолютной справедливости, которую будет осуществлять раскованный разум, казались опасно далекими от реалий жизни человеческого общества. Руссо, например, отреагировал тем, что попытался заново связать новые юридические концепции с их истоками, то есть с гуманизмом. «Я разумею нравы, обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального...»³ В пятидесятых годах двадцатого века эту идею также

излагал Лернд Хэнд, величайший американский судья своего времени, самоотверженный защитник социальной справедливости. Утопая в потоках судебных постановлений, он писал: «Я часто задаю себе вопрос, не слишком ли мы уповаем на нашу конституцию, на наши законы и на наши суды. Поверьте мне, это ложные надежды. Свобода находится в сердце мужчин и женщин; когда она умирает, ни конституция, ни закон, ни суд спасти ее не могут»⁴. Точно такое же определение, уравнивающее своды законов и мораль, выдвинул в момент рождения Америки Эдмунд Бёрк, взяв слово в палате общин. Он высказался против политики собственной страны и ее государственных интересов, указав на справедливость этого революционного поступка: «Я имею право делать что-то не потому, что мне так скажет адвокат, а потому, что гуманизм, разум и справедливость говорят мне, что именно так мне следует поступать»⁵.

Бёрк отнесся к американской революции точно так же, как Вольтер отнесся к делу Каласа. Он искал справедливость в этом конкретном случае, веря, что любая победа над частными проявлениями зла в конце концов приведет к полной победе над ним. Но по мере разрастания паутины законодательства, разбирательство любого конкретного дела из прецедента, который дает основу дальнейших решений, превратилось в формальность по вынесению решения. В наше время такого рода коллизии, которые у всех на слуху, особенно если они удачно завершаются, часто приводят к еще большей несправедливости. Уотергейт, видимо, стал успешным испытанием на честность для американских президентов и их окружения. Он показал, как можно еще более бесчестно использовать президентскую власть, чтобы это не затронуло самого президента и его популярность.

Общей реакцией на юридические сложности и ограниченную доступность их для понимания, облегчающую юридические манипуляции, стала потребность в особых законах, то есть законах, которые не могут быть изменены, например «Билль о правах». Там, где такие законы уже существовали, например в США, вначале возникло стремление укреплять их. Возникло отчасти потому, что обескураженные и разоча-

ровавшиеся политические классы стали отказываться от своих прав. Если «Билль о правах» уничтожит несправедливость, то она просто-напросто больше не появится, а раз так, то почему не передать некоторую часть своих пусть теоретических полномочий документу, который обеспечивает их права? Практический эффект американского «Билля о правах» опирается именно на такой аргумент, который теперь успешно развивается в Канаде и постоянно крепнет в Англии. Например, лорд Скарман, один из девяти лордов комиссии по законности (Law Commission), семь лет добивался принятия британского «Билля о правах»: «Если наступили времена, сверх всякой меры наполненные страхом и предрассудками, обычный закон отходит на второй план, он не может сопротивляться воле парламента, какой бы испуганной и запутавшейся в предрассудках она ни была»⁶.

Но насколько удачным оказался американский «Билль о правах» по сравнению с любой другой разработкой подобного рода? Несмотря на свою мощь и богатство, США, как никакая другая страна, страдают от разительного экономического и человеческого неравенства и высокого уровня уголовного насилия. Сорок миллионов американцев не имеют доступа к здравоохранению. Власти закрывают глаза на трущобы расовых меньшинств. В Лос-Анджелесе 70 тысяч молодых людей входят в уличные банды, которые каждый год убивают 380 своих членов, и это продолжается уже десять лет⁷. По сравнению с любой западной страной, в США в руках небольшой части населения находится самый высокий процент национального богатства. Там происходит 25 тысяч убийств в год, и эта цифра ежегодно увеличивается, ставя все новые рекорды. К этому следует добавить полтора миллиона преступлений с применением насилия и 12 миллионов 300 тысяч преступлений против собственности в год.

Чтобы содействовать поддержанию общественного порядка, из всех западных стран только Соединенные Штаты позволили себе ввести институт групп бдительности (vigilante group). Эти ангелы-хранители (Guardian Angels) сначала взяли под свою опеку нью-йоркское метро, а сейчас контролируют все большее количество жилых кварталов.

Раз официальные власти допускают их существование, а общество приветствует это, значит, правовая система не работает ни на уровне полицейского, стоящего на своем посту, ни на уровне правосудия, отправляемого Верховным судом.

Именно «Билль о правах», в трактовке Верховного суда по делу Дреда Скотта в 1857 году, узаконил рабство. Тот же «Билль о правах» был использован, когда результаты Гражданской войны были оспорены тем, что Суд признал рабство в форме сегрегации законным в решении по делу «Плесси против Фергюсона» в 1896 году. Правда, тот же «Билль о правах» способствовал и отмене рабства де-факто решением Суда по делу «Браун против городского школьного совета» в 1954 году, что, правда, произошло после долгих судебных дебатов. В 1905 году Суд одобрил эксплуатацию рабочих, женщин, детей и иммигрантов, вынеся решение по делу «Лохнер против Нью-Йорка». Он продолжал признавать неравноправие женщин по таким делам, как «Брадуэл против Иллинойса» или «Хоут против Флориды». В деле «Коремацу против США» он одобрил лишение американских граждан японского происхождения их конституционных прав после Пёрл-Харбора.

Это не к тому, что законодательные органы не могут работать плохо. По вопросу о правах (этнических) японцев в 1941 году парламенты Великобритании и Канады несут точно такую же вину, как и Верховный суд США, виновный в расизме вкупе с беспринципностью в имущественных вопросах, то есть в нарушении прав, интернировании и экспроприации собственности. Дело в том, что на самом деле «Билль о правах» никому не дает дополнительной защиты, на это не способна и вся мудрость судебного корпуса.

Еще более важно то, что политические вопросы, имеющие отношение, прежде всего, к морали и гуманизму, к самой природе гражданина, решают назначаемые судьи. Избранные представители, таким образом, не несут никакой ответственности за решения, которые столь важны для морального и физического благосостояния их избирателей. Еще хуже то, что не несут этой ответственности и граждане.

Наше доверие к судам, если взглянуть трезво, на практике означает доверие к судьям. Это доверие основано на оптимизме. «В отличие от большинства других, кто выносит решения, касающиеся общества, как выясняется, именно судьи предлагают и озвучивают ясные и определенные ответы. Справедливость, как ее определяет закон, подобна монете: если ее подбросить, она не встанет на ребро. Выпадет орел или решка, и станет ясно, кто выиграл, а кто проиграл. Судья объясняет свои доводы, объявляет о принятом решении и удаляется на свои холодные и далекие высоты»⁸. Лорд Маккласки, старший судья Шотландии, дал такое описание в 1986 году. Судья Лернд Ханд так объясняет авторитет судьи: «Авторитет и неприкосновенность зависит от принятой им на себя ответственности говорить от имени многих, поэтому он должен подать свой авторитет, облеченный в одежды величавости уходящего в тень прошлого»⁹. В начале восемнадцатого века Монтескье был старшим судьей (вице-президентом парламента — *прим. ред.*) в Бордо. Он описывает эту ситуацию с присущей ему ясностью: «Когда я приезжаю в какую-либо страну, я не смотрю, хороши ли в ней законы, я смотрю, исполняются ли они, ведь законы везде хороши»¹⁰. А вот что заявляет по этому поводу лорд Маккласки: «Сердце судьи слышит обе стороны. Он пропускает материалы дела через свой хорошо градуированный ум, соизмеряет закон и установленные факты и выносит решение, которое определяет права и материальную ответственность сторон процесса»¹¹.

Все это делается так, что судья кажется нам человеком, которого мы знаем. Мифологическая фигура. Бескорыстный слуга власти и справедливости. Человек, которому безразлично лоббирование и мнение большинства. Человек, который принимает решения, опираясь на добрую волю.

Разумеется, это государь. Государь Макиавелли, но также и идеальный государь, как его представляет любой человек. Он — царь Соломон и *добрый король* Генрих IV, да просто царь или король. Он над всеми, давно потерянный деспот философов разума. Он — Фридрих Великий, Екатерина II и королева Швеции Кристина — в той форме, кото-

рую им надеялись придать Декарт, Гримм, Вольтер и Дидро. Он — государь разума.

Коль скоро это так, то судья является именно тем, кем потомки разума — технократы всех мастей — всегда и хотели его видеть. И что, возможно, еще более важно, он именно тот тип индивидуума, который они выработали, чтобы вся цивилизация чувствовала: это именно ей и было нужно. И в этом смысле они правы. Если нам суждено иметь цивилизацию, состоящую из таких сложных и бесконечных систем, которые невозможно контролировать любыми нормальными средствами, то тогда нам необходим тиран, благожелательный и справедливый, который, когда система выйдет из подчинения, просто скажет: «Так не пойдет. Прекратить».

Но по какой причине нам следует жертвовать демократическими правами, если юридическая система и ее контрольные механизмы не работают? Это подтверждается убедительными примерами. Судьям очень трудно выносить справедливые и понятные решения. У гражданина изымается право осуществлять свою защиту. Похоже, система не способна быстро выносить судебные решения, чтобы поспевать за требованиями времени. Но хуже всего то, что закон и его служители способны карать только за те преступления, которые едва ли имеют большое значение. Самые серьезные преступления вообще не разбираются.

Во-первых, существует проблема, способны ли судьи выносить справедливые и понятные решения. Гражданина, возможно, приободряет тот факт, что в западных судах за последние тридцать лет прошло множество великолепных процессов. Но тридцать лет — это не так много. И даже в эпоху новой юстиции они бывали на волосок от гибели. В период между 1974 и 1984 годами 20 процентов решений американского Верховного суда принимались в соотношении пять голосов против четырех. В 1987 году судья Льюис Пауэлл ушел в отставку. В сорока одном случае, которые разбирались в последний период его деятельности, дела решались соотношением голосов 5 к 4, своим голосом он тридцать три раза решал, быть или не быть большинству. Он был ключевой

фигурой и в решениях по отклонению дел или принятию их к рассмотрению, хотя и не каждый раз его голос становился решающим. Его преемник был менее решительным. В результате, в начале 1989 года суд начал поворачиваться в сторону одобрительных решений, таких как по делу «Уорд Коув Пакинг против Антонио». Большинство этих решений Верховного суда также было принято при соотношении голосов 5 к 4¹². Как считает недавно ушедший в отставку судья Тергуд Маршалл, юридическое толкование Суда на сегодняшний день прошло полный цикл и вернулось к ситуации, которая имела место накануне рассмотрения дела «Браун против городского школьного совета», которое положило начало процессу десеграциации.

В 1991 году политический облик Суда изменился самым кардинальным образом. Тергуд Маршалл был настолько разочарован одним из решений правого крыла суда, что подал в отставку. Тогда рассматривалось ранее отклоненное судом дело о допустимости привлечения косвенных улик в судебных разбирательствах по убийствам, решение было принято шестью голосами против трех¹³. Нет сомнения, судья Маршалл, которому тогда было восемьдесят два года, был особенно расстроен тем, что отныне на два десятилетия вперед была определена примерная схема принятия решений. Он описал эту ситуацию, излагая свое особое мнение: «На самом деле вопрос в том, продемонстрировало ли сегодняшнее большинство новый, исключительный прецедент, утверждая, будто история требует, чтобы Верховный суд пересматривал решения своих предшественников. По моему мнению, большинство Суда не сделало ничего подобного. А самым убедительным доводом в мнении большинства было решительное уверение, что оно даже не должно пытаться делать это.

Отказываясь от взятых на себя исторических обязательств в пользу концепции о том, что «юрисдикция есть источник беспристрастных и разумных решений»... большинство объявляет, что оно вольно освободиться и отбросить любой принцип свободы, провозглашенной Конституцией, который [оно ранее] признало и одобрило». Излагая свое особое

мнение, судья Джон Поль Стивенс писал, что «сегодняшнее большинство, очевидно, исходило из того, что у него есть сильный политический аргумент, который судьи [другой инстанции] не учли должным образом во время обсуждения».

Оба судьи, таким образом, звали к разуму. Дискуссию, на которой обсуждалось решительное несогласие Тергуда Маршалла с вынесенным решением, Маршалл начал с обвинения в том, что «власть, а не разум, является новой валютой, определяющей решения этого Суда». С одной стороны, это абсолютно точно. Но если взять более продолжительный исторический период, именно разумная убежденность в том, что правосудие должно отправляться судебными органами, а не демократичной политикой, впервые открыла двери исполнительной власти, чтобы отстранить правосудие, используя систему назначения юристов исключительно по идеологическим соображениям. «Биллем о правах» можно манипулировать весьма продолжительное время, поскольку судьи назначаются пожизненно. Поэтому он снимает с демократического процесса ответственность за отдельные политические изменения. И старший судья Ренквист, будучи в составе большинства в том же 1991 году, радостно сообщал, что приверженность прецедентам, установленным предыдущими решениями Суда, «конечно, предпочтительна», но только не в тех случаях, когда предыдущее решение воспринимается как не работающее или «плохо обоснованное».

По этим аргументам можно судить о подходе правосудия к реальности. Президент Рейган, его министр юстиции и генеральный прокурор Эдвин Миз, избежавший судебных преследований при помощи технических уловок, и другие его сторонники всегда представляли себе политическое возвращение правых как событие, которое будет происходить в три этапа. Первый — создание приемлемой философской концепции; затем победа на президентских выборах; и наконец, «откат по всем фронтам от либеральных завоеваний второй половины века»¹⁴. Такой откат можно осуществить только при помощи Верховного суда, именно поэтому самыми важными решениями двух президентских сроков Рейгана были назначения судей. Всего восемь лет понадобилось, чтобы

сдвинуть равновесие в Верховном суде в пользу правых. После назначения президентом Бушем новых судей большинство стало преобладающим. Судья обычно находится на своей должности не менее десяти—пятнадцати лет, то есть от двух с половиной до четырех президентских сроков, и в течение этого времени не несет ответственности ни перед кем, кроме как перед своим собственным толкованием законности.

Судья, таким образом, является мощным фактором, определяющим политику. Это относится не только к Соединенным Штатам. В Канаде, которая недавно обрела собственный «Билль о правах», недавно ушедший в отставку старший судья Верховного суда Брайан Диксон указывал, что он и его коллеги теперь являются «главными арбитрами» по многим основным вопросам социальной политики, по которым в обществе существуют разногласия. Диксон добавил: «Эта власть, за которую не борются»¹⁵. Так оно и есть, ведь уже двое судей были вынуждены подать в отставку, так как не смогли вынести напряжения, связанного с ответственностью их должности.

И все-таки власть судей серьезно ограничена. Они не могут сами выбирать дела. Они должны ждать, пока то или иное дело поступит к ним на рассмотрение. И они сами, и государство в целом могут дожидаться десять, а то и двадцать лет, пока конкретное дело из любой сферы, где возникла проблема, доберется до Верховного суда. Это опасно пассивный путь для формирования политики. Гражданам, вероятно, кажется, что судьи неохотно принимают на себя ответственность. В свою очередь, судьи открыты для суда со стороны общества, но сами лишь частично чувствуют свою ответственность перед ним. Они знают, что современный период своего существования наше общество начало не с понимания того, что судья станет Государем. Они чувствуют, что система использует их с неохотой, как римские императоры использовали преторианскую гвардию.

Роль гражданина в гражданском судопроизводстве сводится к его обязанности быть присяжным. На Западе полагают, что эта система — важнейшее свидетельство справедливости правосудия. Жюри присяжных, однако, участвует в судопроизводстве

производстве только в судах первой инстанции. Судопроизводство в апелляционной инстанции является исключительной прерогативой судей. А власть судов растет, и, таким образом, роль жюри присяжных продолжает снижаться, особенно в странах с общим правом. Управленцы нашей юридической системы уже работают над тем, чтобы ограничить роль общества в отправлении правосудия. Они, похоже, проникаются чувством, что законодательство становится все более сложным, чтобы его могли понимать люди без специального юридического образования. Следовательно, для многих судебных инстанций отпадает необходимость в присяжных заседателях, особенно в Великобритании. А полномочия жюри присяжных заседателей там, где они все еще используются, все больше ограничивается. Даже принцип единодушного вердикта отменен, где только возможно.

Вынесение решения только при единодушном согласии тех, кто занимает такое же положение, — наверное, одна из последних областей, где гуманизм важнее логики. Присяжный заседатель приносит в суд свой здравый смысл, суть которого вытекает из формулировки: *разумное сомнение*. Такое сомнение предоставляет гражданину намного больше защиты, чем любой «Билль о правах», а теперь оно ускользает при полном попустительстве общества.

Когда в 1972 году Верховный суд США отменил фундаментальный принцип о единодушном принятии решений в федеральных судах, разбирая дело «Ападак против Орегона», судья Тергуд Маршалл писал, не соглашаясь с ним: «Сегодня Суд вырезал сердце из двух самых важных и неотделимых друг от друга статей «Билля о правах», предназначенных для защиты обвиняемых по уголовным делам: право представить дело на рассмотрение жюри присяжных и право доказательства, которое выше разумного сомнения... Скелет этих пунктов защиты остается, но Суд лишил их жизни и значения... Суд утверждает, что когда жюри голосует, давая девять голосов «за» и три «против», то нет сомнения в том, что три выражают недоверие вердикту девятерых. [Но] мы знаем, что произошло: прокурор пытался убедить этих присяжных, защитников виновного, но не смог этого сделать. В таких обстоя-

тельствах, насилию подвергается и язык, и логика, и можно сказать, что правительство доказало вину обвиняемого, не приняв во внимание разумное сомнение»¹⁶. И в других случаях наши элиты не доверяют судебному правосудию. Эксперты, оказывающие влияние на реформирование законодательства — как в рамках бюрократии, сообщества правоведов, судов или влиятельных юридических компаний, — публично в этом никогда не признаются. Вместо этого они представляют систему неповоротливой и устаревшей. Рациональный аргумент, как всегда, в том, что они выступают за эффективность.

Возможно, эти аргументы можно было принять, если бы существовала уверенность, что в результате станет больше правосудия и оно будет шире применяться. Даже по части чисто организационных деталей реформа проблем не решила. Судебный процесс по срокам все дальше и дальше отдалается от события, в связи с которым он, собственно, и необходим. Между предъявлением обвинения и вынесением окончательного приговора может пройти год, и два, и три, и даже четыре года. Если обвинение серьезное, то человек, против которого оно выдвинуто, содержится под стражей. Затягивание сроков, которое сейчас весьма распространено, посылает гражданам сигнал: если они хотят защитить себя, то нельзя полагаться на систему правосудия, так как передача дела в суд — это событие, которое не защищает, а разрушает вашу жизнь.

Те, кто несет ответственность за реформу законодательства, отрицают это. Они говорят, что именно это и является доказательством необходимости радикальных реформ. Но ведь те изменения, которые введены уже достаточно давно, тоже способствовали ухудшению ситуации. Несомненно, необходимость серьезных реформ назрела. Но нет никаких оснований полагать, что «эффективность», которой стремятся достичь официальные комитеты по реформе законодательства в каждой западной стране, действительно окажется способной решить наши правовые проблемы. Реформа, похоже, будет половинчатой. Еще более фундаментальной проблемой является то, что законодательные акты не могут учесть той

изобретательности, с которой совершаются основные виды преступлений, так как наша законодательная система рассчитана на преступления, поддающиеся точной формулировке. Даже для умного человека такая точность — как барьер на полосе препятствий. Причем очень ярко освещенный. И вы легко его обойдете.

Однако время от времени и умные допускают ошибки. Они становятся слишком умными или слишком уверенными в себе. Их подхватывает ветер продажной политики или перегретой экономики. И тогда они попадают. С точки зрения общества, их поимка всякий раз является серьезной победой законности над коррупцией и криминализированностью элит. На самом деле это едва ли не случайные события.

Например, недавние «атаки» на торговлю информацией «только для служебного пользования», к которой оказались причастны такие лица, как Майкл Милкен в США и Эрнест Сондерс, бывший председатель скандально известной британской компании Guinness, просто напомнили бизнесменам, как торгуют по-умному. Это продолжение того феномена, когда, например, новые налоговые правила немедленно вызывают взрыв активности бухгалтеров, ломающий головы до тех пор, пока не будет найден выход из положения.

Министерство юстиции США недавно закончило расследование, которое продолжалось в течение трех лет. Искали свидетельства того, что корпорация General Dynamics обманывала правительство при строительстве атомных подводных лодок. Удалось найти свидетельства, что компания, возможно, фальсифицировала данные относительно сроков поставок и перерасхода средств, но конкретных виновников не нашли. Поскольку военно-морское ведомство молча соглашалось с тем, что делает General Dynamics, то и его руководителей следовало бы включить в список обвиняемых. Министерство юстиции не хотело выдвигать обвинения против военно-морского ведомства. Это был второй случай, когда министерство юстиции рассматривало обвинения против General Dynamics. В 1986 году, пока шло разбирательство, компания получила шесть миллиардов долларов по контрактам для оборонного ведомства¹⁷.

Вероятность того, что главный подрядчик, при молчаливом согласии военно-морского ведомства, преднамеренно и на огромные суммы обманул министерство обороны, является событием государственного масштаба и ставит под вопрос саму возможность соблюдения общественной справедливости. Но такого рода события или, скорее, отсутствие событий считается нормальным, и никаких публичных дебатов не вызывает. Дело General Dynamics даже не попало на страницы авторитетных газет, его не освещали знаменитые журналисты, пишущие на важнейшие государственные темы. Такое безразличие общества объясняется только одним: граждане уже не верят, что юридическая система может работать. А то, с чем приходится изредка сталкиваться гражданам, редко привлекает внимание политиков и прессы.

В тех редких случаях, когда преступник из элитного социального предстает перед судом, обстоятельства всегда предполагают, что в деле кроется какая-то серьезная ошибка и обвиняемый, хотя и виноват, не должен был оказаться там, где оказался. В 1986 году в парижском отеле «Плаза-Атене» богатый американский бизнесмен произвел пять выстрелов в вице-президента франко-арабской торговой палаты и серьезно ранил его. Ссора произошла из-за трех миллионов долларов комиссионных, которые следовало получить американцу Тадж Джамиль-паше за контракт на строительство «под ключ» завода в Германии. Джамиля освободили под залог в 800 тысяч франков (160 тысяч долларов). Через три года он приехал во Францию. Судья обращался с ним с огромным уважением, много говорил о работе, которую тот исполняет, находясь в самом сердце большого бизнеса, а затем освободил его, присудив штраф в размере 42 тысяч франков (8 тысяч долларов). Он может приезжать во Францию когда пожелает. Перед этим в том же суде слушалось дело по обвинению молодого марокканца в попытке захвата отеля с игрушечным пистолетом. Он просил об освобождении под залог. Это была его первая встреча с правосудием, и его уже продержали в тюрьме девять месяцев. Просьба была отклонена, и его увезли обратно в тюрьму.

Эта ситуация не очень отличается от той, что была в Лондоне в 1988 году, когда известный банкир из Сити Роджер Силиг прибыл в суд и не признал двенадцати пунктов обвинения, которые выдвинул против него столичный отдел полиции по борьбе с мошенничеством (Metropolitan Police Fraud Squad) в связи с делом Guinness. Он был освобожден под залог в 500 тысяч фунтов, который внесли два успешных бизнесмена: сэр Теренс Конран и Поль Хамлин. Настроение бизнес-сообщества было таково: что бы там ни было, это был хороший бизнес. А значит, обвинения несправедливы. Перед Силигом суд рассматривал дело человека, обвиненного в том, что он съел пиццу, не собираясь за нее заплатить. Обвиняемому тут же присудили штраф в 50 фунтов или семь дней тюрьмы. Если у него не было 3,95 фунта, маловероятно, что он найдет 50. А Силиг сделал необычный шаг. Он принялся себя защищать. К началу 1992 года, примерно через четыре года, процесс его утомил. Судья распустил присяжных, так как был очень озабочен умственным и эмоциональным переутомлением Силига, и снял с него обвинения, не сделав никаких официальных заявлений по этому делу¹⁸.

Конечно, можно оспорить то, что бедные всегда оказываются в тюрьме, а богатых освобождают. В случае с Джамилем судебный корреспондент газеты *Le Monde* очень коротко процитировал Лафонтена: «Зависит от того, властен ты или жалок...»¹⁹ И короли, и законные суды время от времени традиционно настигают кого-то из элитного сословия, если тот слишком зарывается. Людовик XIV таким образом примерно наказал Фуке, своего суперинтенданта финансов. Сегодняшние суды наказали Бески, Сондерса и еще несколько человек. Вопрос даже не стоит о том, чтобы наказать всех, кто преступил закон. Суды не могут справиться с потоком мелких преступлений и убийств. А что им делать с половиной руководителей бизнеса в восемнадцати развитых странах?

Мы не полагаем, что социальное неравенство в западном сообществе так же велико, как было в семнадцатом веке. Или правосудие так же жестоко. Тогда обвинительные приговоры выносились чаще и были более строги, чем сейчас, но в тех случаях, когда аристократы и буржуа все-таки попадали под

суд, правосудие в отношении них действовало столь же жестко, как и в отношении крестьян. Вопрос в том, обеспечили ли институты разума равное для всех правосудие. Принимая во внимание снижение количества государственных измен, религиозных конфликтов и политических разногласий, наверное, можно оспорить факт, что число осужденных членов элит по сравнению с числом осужденных из бедных классов сейчас ниже, чем при абсолютных монархах.

Более того, за последние полвека произошли глубокие изменения в природе наиболее распространенных преступлений. Общеизвестно, что итальянская мафия играет основную роль в итальянском банковском деле и бизнесе, а также в самой большой политической партии Италии — христианско-демократической. Офшорными прибежищами банковских капиталов, такими как Бермуды, острова Теркс и Кайкос, Багамы и Гонконг, пользуются как большинство транснациональных корпораций, уменьшающих свои налоговые отчисления, так и организованная преступность, отмывающая грязные деньги. Большинство международных банков имеет в этих зонах филиалы. Это общеизвестный факт. Также общеизвестно, что американские банки насквозь пронизаны организованной преступностью, так же как целые отрасли индустрии, особенно индустрия развлечений — Голливуд, в частности сеть кинопроката. Это является одним из объяснений, почему на производство американских фильмов тратятся такие заоблачные суммы. Обвинения в адрес Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Международного банка по кредитам и торговле (МБКТ) в 1991 году следует рассматривать как исключительный случай, вызванный бесконтрольными действиями банка за гранью дозволенного. Возникло подозрение в том, что были скрыты убытки в размере пятнадцати миллиардов долларов, а тесные связи с секретными службами неизбежно время от времени привлекают к себе внимание. В своем презрении к законам государства МБКТ, однако, не исключение. Просто его беспечность дала редкую возможность расследовать, в общем-то, обычную банковскую деятельность. Торговля наркотиками

когда-то была семейным бизнесом некоторых сицилийцев, сейчас она приняла гигантские межнациональные масштабы. Наряду с итальянскими преступными сообществами, в ней участвуют китайские и латиноамериканские. Наркотики сегодня числятся среди товаров, на которых зарабатываются самые крупные в мире капиталы.

Все это остается за рамками нашего правосудия. Власти лишь унижают себя тем, что перехватывают то здесь, то там несколько килограммов наркотиков. Иногда они вылавливают «крупную партию товара», которая обычно составляет несколько сот килограммов. Можно сказать, почти ничего. Изымается не более 10 процентов предполагаемого оборота. Когда арестовывается важная криминальная фигура, то правительство с большим трудом добивается для нее приговора или длительного заключения. Для американского вторжения в Панаму потребовалось 25 тысяч человек. В результате погибло четыре тысячи человек и стране причинен экономический ущерб в сотни миллионов долларов. И все это во имя справедливости, чтобы на корню уничтожить кокаиновую сеть, созданную генералом Норьегой. Норьегу свергли, было поставлено дружеское правительство, а торговля наркотиками осталась нетронутой. Что касается Норьеге, то он сам и его юристы несколько следующих лет провели, бегая кругами вокруг американского законодательства, или скорее сквозь него. Конечным результатом стал приговор, но процедура его обжалования будет тянуться еще несколько лет.

Оставим в стороне наркотики. Наши власти не смогли понять, как движутся деньги и заключаются соглашения. Наши законники ищут огрехи в составлении контракта и в порядке обмена товара на деньги. Организованная преступность действует без контрактов. Без бумаг. Без границ. Транснациональные корпорации используют контракты, но они могут находиться под какой угодно юрисдикцией, включая офшорные зоны. Нашим судам абсолютно безразлично, имеют ли такие контракты отношение к организованной преступности. Их также не волнует урегулирование отношений между транснациональными корпорациями.

Но дело в том, что существует некая моральная связь между наркокартелями и транснациональными корпорациями, а наши законы бессмысленны, когда их нужно применить в отношении международных сделок, будь то криминальных или корпоративных. Когда 5 июля 1991 года разразился скандал вокруг операций МБКТ, один из клиентов, имя которого числилось в списках наркобаронов, диктаторов, террористов и контрабандистов оружия, оказался из ЦРУ. Почти немедленно Ричард Керр, заместитель директора ЦРУ, подтвердил, что его Управление переводило значительные суммы денег через МБКТ, что банк «был замешан в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, работа с деньгами наркобаронов и террористов», но ЦРУ не использовало банк «каким-либо противозаконным образом»²⁰. Возникает два вопроса. Что ЦРУ имеет в виду под словом «противозаконный»? Если еще точнее, поскольку и само высказывание было точным, что действующие элиты Запада, в разрез с теорией права, понимают под словосочетанием «законная деятельность»? Керр сделал свое заявление, выступая перед учащимися колледжей по гражданскому праву.

Трудности, которые прозевала наша юридическая система, вызвали к жизни новые споры о природе закона. Следует отметить, что большинство экспертов, как либеральных, так и правых, снова прибегли к аргументу, что основой законности является договор; договор личности и общества, а по более банальным вещам — бесчисленные договоры, в результате чего, собственно, общество и может функционировать. Многие из них, как, например, американец Джон Ролс, спорят, что если исходить из здравого смысла, то принципы справедливости вовсе не очевидны²¹. Он, следовательно, хочет иметь согласованный общественный договор. Это имело бы смысл, если бы существовала малейшая надежда на то, что подобные договоры (разного уровня) в принципе возможны. Если ее нет, тогда вместо здравого понимания законности и социальных стандартов мы получим море бессмысленных технических уловок, придуманных для того, чтобы наживались эксперты.

Здравый смысл подсказывает, что в некоторых сферах нельзя форсировать изменения. Яснее всего дело обстоит с разводами и убийствами. Но как только мы отдаляемся от очевидного, то обнаруживаем, что, хотя мы и озабочены абсолютной справедливостью еще с восемнадцатого века, вся система в целом все еще зиждется на уверенности, что закон будет работать, потому что он, в той или иной мере, выражает волю граждан, а граждане верят в него. Но ведь роль гражданина как законодателя и юриста отмерла, поэтому он больше не занимается этим напрямую.

Когда современная юридическая мысль говорит о законе как о договоре, кому-то, наверное, хочется возразить, что власть денег — как законных, так и незаконных — воспринимает договор как шутку, что справедливо как для договоров личности с обществом, так и для договоров, имея в виду своды законов. Это пьесы, которые ставят обученные профессионалы, в данном случае юристы. Эти люди должным или не должным образом используют здравый смысл и делают так, что в результате правительства во всем мире ведут себя как дети. Кроме этого, в основе правосудия должна лежать вера гражданина в законы, которым он повинует, и в то, что по этим законам живут и власти. Действующие положения законов существуют не потому, что люди без них будут вести себя как уголовники. Они нужны, чтобы установить некие стандарты поведения в обществе, прежде всего, для того, чтобы справляться с тем незначительным меньшинством, которому всегда свойственно безответственное поведение. В любом общественном договоре подразумевается, что элиты являются защитниками этого общественного договора. Сама мысль о том, что цивилизация может функционировать, если ее элиты будут нарушать договор, бессмысленна. А именно это мы сейчас и имеем.

Во многих отношениях наш закон стал настолько сложным, что утратил действенность и превратился в придворный этикет конца восемнадцатого века. Каждый с неохотой проходит через его коридоры. Те, кто обладает хоть какой-нибудь властью, стремятся прочь и делают что-то совсем другое. А судьи заседают, выверяя формальности, как рацио-

нальные Государи, у которых нет ни патерналистской власти абсолютного монарха, ни популистского авторитета народного избранника, чтобы гарантировать соблюдение общественного договора.

Герои

Неожиданное появление Героя в конце восемнадцатого века стало шоком для всей цивилизации и изменило ее. Кажется, что Бонапарт материализовался из ниоткуда. Ни философы, ни те, кто находился у власти, не знали, что с ним делать. Они не понимали, каким образом рациональная революция могла его породить. Они увидели и того, что им восхищаются и даже поклоняются ему, именно как родному сыну разума: освободитель народов, даровавший законы; реформатор государства; покровитель наук; скромный правитель, всегда в простом мундире; он не предъявляет династических притязаний на исключительность и не пытается учредить меритократию. В будущем обществе, как они его представляли, ни одно из этих качеств, естественно, не может привести к военному перевороту, к диктаторству, замешанному на насилии, к подавлению свободы слова, а следовательно, свободы писать и мыслить, свободы выхолащивания и, в конце концов, разрушения ответственного правительства, созданию культа личности, военным авантюрам и обеспечению возможностей для коррупции тех, кто находится у власти. Каким-то образом Наполеон без всяких усилий вписался в оба этих списка.

Может быть, и неудивительно, что нового Героя не поняли. На самом деле западное общество до сих пор не поняло, как в его сознание вписался Герой как явление. Мы просто смирились с тем, что наши экспертные элиты предпочитают иметь дело с судьями и судами, а не с политиками и парламентами. Народные представители были обескуражены тем, что не способны исполнять великие задачи по нахождению абсолютных ответов на вызовы времени и идти в ногу с эффективностью и модернизацией. Постепенно они освободили себя от многого, за что должны нести ответствен-

ность — а именно за народовластие — и передали эту ответственность различным административным элитам, в частности, судьям. Такая потеря демократической власти породила стремление политиков укреплять свои позиции, концентрируясь на собственной привлекательности. Так сказать, через свою личность они пытаются проводить то, что представляет собой «политика личности». Такого рода термины несут какой-то неясный оттенок насмешки. Они уверяют. Они намекают, что ничего, кроме небольшого количества личностного эго политика, в них нет. Они дезориентируют, они фальшивы. Намек на личностное — это приятный способ описать метод Наполеона, то, как он управлял обществом, как он потом властвовал; теперь этот метод развился и стал основным социальным инструментом новых героических диктаторов.

Ну и что же тогда пытаются создать современные политики в демократических обществах с помощью этого метода? Не личности. Они пытаются превратиться в независимые от общества объекты, которым не требуются несущие стены или кабели, такие как партии, политика, общественные ожидания или представительская ответственность. Они хотят трансформировать себя в этакий независимый монолит, к которому общество будет приходить, чтобы испытать восхищение. Восхищение не чем-то особенным, например политикой или поступками. Просто восхищение — уютное, неопределенное восхищение, которое могут вызывать личные качества, например стойкость, нежность, заботливость, или узнаваемость, или умение внушать благоговение. Политик пытается создать чувство благополучия или зависимости от граждан.

Короче говоря, они желают стать Героями. Не настоящими Героями, которые стремительно рвутся к вершине в традициях первого чудовища разума — Наполеона. Их устроит имитация геройства, когда достаточно, чтобы поклонялись их облику. Современные политики, по сравнению с Наполеоном, это то же самое, что Людовик XVI по сравнению с Людовиком XIV. Облик Куэйла или Малруни, разодетых для исполнения великой роли, добавляет комичности в жизнь

общества. «А еще, — как говорил Нафта, персонаж «Волшебной горы» Томаса Манна, — скучный вовсе не означает безобидный»²².

Такие сознательно выстроенные личности пользуются успехом среди населения, скорее всего, благодаря своей замечательной самодисциплине, которая им необходима, чтобы переключаться на режим героичности. Последние несколько десятилетий самодисциплина, с точки зрения граждан Запада, не является большой добродетелью. В пятидесятых и шестидесятых годах в общественном мнении она воспринималась как то, что предпочитают правые, и такая искаженная оценка до сих пор присутствует в ходе политических дебатов. Но нет менее дисциплинированных людей, чем «новые правые», с их романтической мифологизацией свободы, равенства и индивидуализма, которая им необходима, чтобы напустить туман на практические результаты таких политических действий, как легализация нечестных спекуляций через отмену государственного контроля над финансами. «Новые правые» дисциплинированы даже меньше, чем либеральные средние классы, которые переформулировали для себя понятие свободы, теперь понимая ее как право не принимать участия в делах, касающихся защиты общественного блага или содействия ему. Во всем западном мире они постепенно отошли от общественной жизни, утверждая, что участие в политике вредит их личной жизни. Теперь они посвящают свою жизнь карьере, отдыху, спорту, упражнениям, пестованию собственного мнения — всему, что можно назвать одержимостью собственным благополучием. И для «новых правых», и для либералов среднего класса индивидуализм стал означать снисходительность к самому себе.

Такой детский подход к роли гражданина позволил им замечательным образом поставить логику с ног на голову. Теперь тот, кто служит обществу: офицер полиции, военнослужащий, сборщик налогов, служащий органов здравоохранения — все те, кого содержит общество, становятся врагами гражданина. Трансформация произошла частично вследствие того, что каждый отдельный гражданин почувствовал, что он потерял контроль над общественными механизмами.

Но что такое самодисциплина в общественной жизни, если не работа на то, чтобы твои взгляды каким-то образом воплощались в жизнь? На Западе существует тенденция уклоняться от уплаты налогов всеми возможными законными способами, но платить все-таки приходится, и делается это с неохотой. Услуги, которые предоставляет государство, принимаются как должное, и все ими недовольны, а необходимость отдать государству долг воспринимается как потеря времени и денег. Именно таким образом наши элиты дошли до детской безответственности, которую технократическое общество воспринимает как подлинную гражданственность в демократической стране.

Стоит ли в таком случае удивляться, что мечта о Герое до сих пор жива в воображении западного мира? Герой — воплощение самодисциплины. Как страдающий Христос, он дисциплинирован во имя людей. А пока он страдает, чтобы защищать их, граждане могут продолжать вести себя как дети. Герой взял на себя мифическую власть и ответственность за действия рациональных структур, отпустив в полет все наши личные романтические фантазии.

Рациональная идея о том, что общество можно усовершенствовать, дает ему право применять насилие. Наказывающий, карающий Герой впервые явился во время Великой французской революции в облике якобинцев во главе с Робеспьером и Сен-Жюстом. Скоропалительный брак, который тогда заключили между собой мстящие друг другу власти, естественно ассоциируется с ветхозаветным Богом и новыми, в высшей степени рациональными ожиданиями каждого гражданина. Этот брачный союз еще тогда должен был послужить сигналом опасности, которая таится в лидерстве Героя. Вместо этого принялись физически устранять «нечистых» граждан. К подобному экстремизму когда-то прибегали для защиты религиозных доктрин. В двадцатом веке мы видели лидерство Героев и правого, и левого толка, всеми способами оправдывающих убийство: от борьбы за чистоту расы до экономических и социальных доктрин. Только Герои обладают достаточной силой, чтобы строить добродетельное общество при помощи кровопролития.

Герой всегда — по-отечески или язвительно — приводит доводы о том, что общественная сцена хронически пуста, желая тем самым доказать, что спасти положение может только незаурядный лидер. Это стандартное обоснование для совершения государственного переворота «в интересах народа». Возможно, самым ранним примером рационального переворота был разгон Кромвелем «охвостья» Долгого парламента в 1653 году с помощью солдат и популистского лозунга: «Вы слишком долго здесь сидели, чтобы делать то доброе дело, которое вы делаете. Покиньте нас, говорю я, и позвольте нам закончить с вами. Богом прошу, идите». Он, добродетельный лидер, претендовал на то, что говорит от имени людей лучше, чем народные избранники. Его действия привели к политической, экономической и социальной революции. Однако, поскольку они были продиктованы исключительно пуританским духом и вследствие того, что британская монархия с большинством ее слабостей, основанных на предрассудках, была постепенно восстановлена, историческая картина этих событий перепутана. Когда собрание избранных представителей 18 брюмера назначило Бонапарта военным руководителем, ему пришлось сформулировать идею благодетельных обязательств Героя по осуществлению переворота в интересах народа против представителей народа. «Что вы сделали с Францией, которую я оставил вам в полном расцвете ее гения? Я оставил вам мир, а когда вернулся, то обнаружил войну! Я оставил вам победы, а вернувшись, обнаружил поражение! Я оставил вам итальянские миллионы, а вернувшись, обнаружил грабительские законы и народ, живущий в нищете! Что вы сделали с сотней тысяч французов, которых я знал, спутников моей славы? Они мертвы! Это не может продолжаться»²³.

Современный фальшивый Герой не стремится поднять армию на собрание представителей, но он приводит все традиционные доводы Героя: некомпетентность собрания, хроническое отсутствие сильных личностей на политической сцене государства, острая потребность в незаурядном и благодетельном лидере. Иногда он говорит о честности, иногда о личной добродетели, иногда о преданности идее народного

процветания. За последние двадцать лет прижилась тенденция приводить аргументы о пользе личного обогащения во имя общественного блага.

Политики знают, что, как только они попадут на подмостки государственной сцены и утвердятся на ней, им удастся внушить, что они заняли ее по праву — по праву личности. Но это им наверняка не удастся, и, таким образом, мифология Героя о незаполненной пустоте находит подтверждение, что делает присутствие на сцене Героя еще более значимым. Это загадка двадцатого века, такая же, как средневековое представление о триединстве Святой Троицы или представление о природе пресуществления в период Реформации. Как всегда, умелое создание необъяснимого парадокса и привязка его к реалиям государства позволяет тем, кто удерживают власть в своих руках, оправдать почти любое из своих действий.

Само то, что современный фальшивый Герой приводит те же аргументы, которыми пользовались еще Кромвель и Бонапарт, означает, что общественные силы, которые впервые создали это явление, живы и сегодня. Точно так же, как один Герой выдвинул следующего, и такое перманентное выдвижение Героя за Героем подготовило путь для фальшивых Героев, так и разочарование, спровоцированное этими несерьезными имитациями, может в свою очередь спровоцировать появление уже настоящего Героя.

Популярная мифология телевидения, кино, видео, романов, комиксов и рекламы сейчас активно эксплуатирует образы въезжающих в город безымянных странников, или мальчишек, которые вопреки всему становятся чемпионами, или мудрых пришельцев из других цивилизаций, или солдат, которые в одиночку побеждают целые армии. Рональд Рейган всякий раз попадал в яблочко, многократно повторяя слова, которые он произносил, играя роль в фильме о тренере футбольной команды университета Нотр-Дам Кнута Рокни и его лучшем игроке, герое газонов Джордже Гриппе, находящемся при смерти. С последними словами он обращается к своим друзьям по команде и говорит, что они должны выйти и победить. «Победите ради Джиппера!» Эта фраза во-

брала в себя самую суть томления, которым мы одержимы, или веры в то, что, выражаясь словами Леона Блуа, «мы всегда ожидаем, что ОН придет». Оттого, что слова до оскорбительности фальшивы, само явление выглядит еще хуже. Откровенно нелепое почему-то становится приятным.

Частично наша проблема в том, что нужно постоянно напоминать об опасности, которой всегда подвергается Герой — как настоящий, так и фальшивый. Дело в том, что героика отделяется от самого Героя. Произошло редкое явление, когда значение слова полностью изменилось. Жертва — да, но нет гарантий, что она пойдет кому-нибудь на пользу. Примеры из военной истории показывают, что героизм редко приносит победу. Выживание героя при совершении подвига — это внештатная ситуация, так как сущность героического поступка состоит в том, что риск не имеет границ. Иными словами, героический поступок совершенно иррационален.

С другой стороны, рациональный Герой — одиночка, он — земное божество, золотой телец. Будь он хоть генералом, хоть игроком в теннис, хоть политиком. Он — колосс, чья тень не дает ясно рассмотреть всех тех, кто находится в этой тени. Он — воплощение мечтаний тех, кто толпится у его ног. Воплощение того, к чему они стремятся, но не заслужили и поэтому не смогут достичь.

Итак, Герой — великий разрушитель индивидуализма. В нашу эпоху, когда мы заявляем, что верны идее индивидуального, мы мечтательно наблюдаем и восхищаемся собраниями Героев во всех сферах и делаем это так, как до нас не делала ни одна цивилизация. Сеттембрини из «Волшебной горы», возможно, является самым великим воплощением человека разума. Он считает себя индивидуалистом. Но на вопрошающий голос обычного человека он отвечает, что «быть таковым, значит признавать разницу между моралью и благословением», чего Сеттембрини, конечно, не делает²⁴. Именно неспособность людей разума признать эту разницу стала причиной появления последователей рационализма, в то время как сам процесс создания новой морали индивидуализма также неотвратимо создает новое воплощение «благословенного», которого, как они думали, они

только что добились. Как следствие, они соединили мифологические силы рыцаря, монарха и божества и создали новое земное божество.

Вот уже два века мы прожили с рациональным Героем. Он родился полностью сформировавшимся в лице Наполеона, вынырнув из неразберихи, что царила в Европе в конце восемнадцатого века. В конце концов, в 1815 году Наполеона свергли, и через шесть лет он умер в ссылке. Через два десятилетия после его первого погребения на острове Святой Елены вокруг него сформировалась официальная мифология. Немецкий философ Гегель уже написал о «всемирно-исторических личностях», которые разрушают шаблоны и изменяют историю. Но законченную концепцию современного спасителя создал Скот Томас Карлейль, который в 1841 году, в год триумфального возвращения тела Наполеона в Париж, опубликовал свою книгу «Герои, почитание героев и героическое в истории». Он подошел к этому вопросу с точки зрения раба, действительно с почитанием. А такими выражениями, как «сильный и справедливый человек», он успешно внедрил новое изобретение о качествах рационального диктатора в старую мифологическую структуру героического лидерства. Вдруг оказалось, что в истории уже были представлены подобию Наполеона, которые были прямыми наследниками древнего героического охотника, воина и мученика, сыгравшие свою, часто существенную, роль в более ранних и более простых обществах. Из книги следовало, что новый рациональный Герой является необходимым типом лидера.

Поколения историков туманно описывали подробности, в чем именно состоит героика роли современных лидеров, но саму мысль о том, что современные Герои являются частью единообразной эволюции в истории, они оставили на месте. В результате в течение последних ста пятидесяти лет каждый революционер, генерал и заговорщик из пивнушки получил возможность претендовать на свое происхождение от Юлия Цезаря и различных вождей варварских племен — как настоящих, так и вымышленных, таких как Верцингеториг, Сигурд

(герой скандинавских сказаний о Нифлунгах, прообраз Зигфрида из Нибелунгов — *прим. ред.*) или Зигфрид — до славных рыцарей, Жанны д'Арк и бойцов индейского пограничья.

Через семь лет после злосчастного вклада Карлейля появился первый ложный Герой. Это был племянник Наполеона. Нескладный, физически слабый и не слишком умный заговорщик, склонный паниковать в сложных ситуациях, он не имел ни таланта, ни опыта на полях сражений. Вместо этого он завернулся в ауру дяди-императора и изображал отчаянного и романтического лидера во время выборов 1848 года. Его основным вкладом в создание облика Героя было то, что он умел гениально общаться с общественностью. Действуя таким образом, он подменил практические навыки своего дядюшки иллюзией таких навыков. Можно сказать, что он изобрел образ Героя как артиста. В 1851 году, используя свои президентские полномочия, он совершил государственный переворот и через год стал императором, опять-таки для того, чтобы быть как его дядя.

Затем на полях сражений в Италии Наполеон III прикинулся безумцем, резко отвернувшись от своих итальянских союзников, и упал в обморок при виде крови. В 1870 году его изрядно потрепала прусская армия, и он отбыл в ссылку в Англию. Но тот способ, которым он вначале захватил власть, восемнадцать лет показного великолепия, подавления практической демократии в сочетании с громадным количеством программ административных реформ и общественных работ стали моделью для следующих фальшивых Героев.

Наполеон III потерпел поражение от гениального прусского канцлера Бисмарка и сравнительно молодого прусского Генерального штаба. Через восемнадцать лет эти слуги обнаружили, что служат новому императору Вильгельму II, напыщенному, самоуверенному человеку ограниченного ума. Он театрально жестикулировал и кричаще одевался. Ему не повезло в том, что его власть была сильно ограничена разумно жизнестойкой демократической структурой и солидными общественными институтами. Он мечтал избавиться от всего этого и вернуть себе абсолютную власть, которая была у его предка Фридриха Великого. Однако Вильгельм не был

похож на Фридриха, человека сурового, замкнутого, почти монашеского поведения, одаренного военным гением и огромными интеллектуальными амбициями. Моделью для настоящей роли Вильгельма был современный ему Герой, такой, каким он представлялся Наполеону и которому подражал Наполеон III.

Он решал политические проблемы в своем стиле, осуществляя то, что вылилось в государственный переворот. В 1890 году он уволил Бисмарка, вместо него учредил канцлерскую должность как зависимую лично от него, а затем постепенно расширил границы своей личной власти. Затем на протяжении двадцати восьми лет он правил как хотел. Как ни странно, своими действиями он потворствовал Максу Веберу, ведущему германскому мыслителю его времени, который отвергал методы правления кайзера, но много писал о революционной роли, которую играют в истории харизматические Герои. Только трагическая реальность Первой мировой войны разрушила иллюзии правления Вильгельма.

Тем временем на Западе то тут, то там появлялись более мелкие типы фальшивых Героев. Опереточные вояки, как генерал Буланже. Мистические генералы, как Китченер, чья аура скрывала ограниченность талантов. Медлительный и варварски жестокий генерал Улисс Грант сумел подобрать императорскую мантию и сделал это, с точки зрения окружающих, достаточно убедительно, чтобы выиграть президентские выборы. Одинаково недалекие штабные офицеры, такие как Фош и Хейг, позже скрыли свои бюрократические методы за картинными позами и жестами и, таким образом, перетаскивали фальшивого Героя в царство абсолютных внутренних противоречий.

И только в двадцатых—тридцатых годах двадцатого века, через 115 лет после Наполеона, всего два фальшивых Героя смогли по-настоящему сыграть роль настоящего Героя. Один из этих двух, Гитлер был совершенно потрясающим явлением. А опыт из его существования наша цивилизация извлекла совсем не такой, как принято думать. Нам кажется, будто мы думаем, что Гитлер — чудовище и что такие люди не должны приходить к власти. На самом деле очевидно, что это был

очень успешный человек. Небольшого роста, некрасивый, незаконнорожденный, выходец из низов, неудавшийся живописец стал настолько знаменит, что со времен Наполеона Бонапарта такого не выдвали. И все же Гитлер пришел к власти не потому, что победил врагов Германии. Он даже не был искусным заговорщиком. Вместо этого он, подобно Наполеону III, сочетал в себе таланты гения обработки общественного мнения с мастерством по части секретности и полицейской власти, которые постепенно развивались со времен Макиавелли, Бэкона, Лойолы и Ришельё. Гитлер освоил эту науку подковерных манипуляций и поднял ее на новые профессиональные высоты, умело маскируя ее убогость пиаровской ширмой славы и чистоты Герою.

Этот парнишка, несмотря ни на что, стал чемпионом. Он — воплощение самых смелых фантазий. Это — если закрыть глаза на подробности его карьеры, его расизм, склонность к насилию, психическую неуравновешенность — модель, которая и сегодня используется имиджмейкерами и приверженцами рациональной цивилизации. Например, если сравнивать стиль публичного поведения современных политических лидеров со стилем демократических руководителей перед Второй мировой войной, то общего очень мало. Прежние политики старались казаться несколько небрежными. Было принято собираться за длинными столами и проводить долгие вечерние политические собрания. Это положительно воздействовало на средние и низшие классы общества, так как создавало более демократичный образ. Даже набирающие силу социалисты одобрительно восприняли такие веяния и сосредотачивали внимание на тех чертах, которые не соответствовали образу лидера. Лучшими признаками этого стиля были медлительность и мрачность. В худшем случае мы видели прокуренные комнаты, коррупцию и беготню по поручениям босса.

Стиль современного лидера только начинает приобретать какую-то осмысленность, если его сравнивать со стилем Гитлера. Мы привыкли видеть небольшой скромный подиум, с которого, с подсветкой, создающей драматический эффект, в одиночестве вещает лидер, а вокруг темнота и внимающие ему толпы людей. Современные политические собрания и

митинги ведут свое начало из Нюрнберга. Зрелищные и веселые официальные праздники, когда реет масса знамен, звучит музыка и на экраны проецируется образ лидера, стали для нас нормой. В повседневной жизни эта личность обычно предстает как отстраненная и торжественная фигура или в ипостаси человека из народа, который занимается тем, что ради популярности встречается с народом.

Между этими двумя образами лежит образ современного политика-демократа. Только современные лидеры стараются не допускать, чтобы их встречи или переговоры с лицами, занимающими низкое общественное положение, показывали слишком долго. Они все чаще вообще избегают подобных встреч, даже если их не будут освещать СМИ. На такие встречи лидер посылает своего представителя, оставляя за собой важные и официальные встречи. Сорок лет назад во время публичных митингов лидеры стремились среди других выступающих, ожидающих своей очереди, быть на виду. Теперь они держатся вне поля зрения и походкой Героя входят в зал для выступления в последний и самый эффектный момент. В другой своей роли, роли избранных представителей народа их буквально выстреливают, как из волшебной пушки, прямо на места народных гуляний, на рыбные фабрики или пикники с барбекю, то есть туда, где можно пожимать руки избирателям.

В обоих вариантах построения имиджа лидеру всенепременно придается определенная сексуальность. Способы разнообразны. Например, известная до появления рационализма религиозная и монархическая идея, ставившая знак равенства между властью и потенцией, чем так эффективно пользовался Наполеон. Есть также и другой способ, которым в совершенстве владел Гитлер: сдержанностью и стремлением к моральной чистоте можно продемонстрировать личную жертвенность во имя служения народу.

Большинство современных политиков пользуются некоторыми или всеми этими методами в ходе политических кампаний, а также для управления. Я бы не сказал, что это мелочи. И процесс выборов, и последующие действия правительства по связям с населением являются главными для демократической системы.

Как же тогда быть с современными Героями, которые искренне пытаются служить общественному благу? Может быть, следует признать, что на самом деле эти Герои не современны, а принадлежат к дорациональной традиции. Это не означает, что их действия тоже следует оценивать с точки зрения дорациональных традиций. Они обнаружат, что находятся в постоянном конфликте с ожиданиями, которые они порождают в обществе. Например, даже фанатично честный человек не в состоянии противостоять потребностям, которые обожествило наше общество.

Гарибальди был, вероятно, самым знаменитым человеком середины девятнадцатого века. Блестящий партизан, боец, защитник дела справедливости во всем мире, человек, который сделал объединенную Италию реальностью и с военной, и с эмоциональной точки зрения, выступал за реформы, которые стали реально возможными только недавно, он постоянно находился в центре событий. Он всегда чувствовал, что не должен участвовать в публичных мероприятиях, и находил от них убежище в недоступных для других местах, чтобы избежать чествования себя за свои героические действия²⁵.

Сын рыбака из Ниццы, он начал с того, что служил разным властям Средиземноморья. Высшей точкой этого периода стало его участие в республиканском мятеже против короля Пьемонта. Гарибальди было двадцать семь лет. Он бежал в Южную Америку, где в течение двадцати лет сражался сначала в качестве бойца, затем командира в восстаниях против аргентинских и бразильских диктаторов. К 1848 году он вернулся в Италию и начал серьезную борьбу за ее объединение. Он не был ни националистом, ни патриотом, в нынешнем понимании этих терминов. Он не верил в абсолютную добродетель национального государства или национально-расовых групп. Их он воспринимал только как промежуточные этапы на пути к достижению социальной справедливости. Под справедливостью Гарибальди понимал права рабочих, национально-расовое равенство, религиозную свободу, эмансипацию женщин и отмену смертной казни.

Хотя Гарибальди все время сражался на стороне короля Пьемонта (к тому времени — Сардинского королевства —

прим. ред.) Виктора Эммануила и его премьер-министра графа Камилло Кавура, он без промедления набрасывался на них, когда они сворачивали в сторону с тропы справедливости. Прежде всего, он был голосом народа, который звучал, чтобы защищать интересы народа. С другой стороны, каждый раз, когда его военный гений давал ему в руки власть, Гарибальди тут же передавал эту власть законным властям. Самым знаменитым его подвигом был тот, когда он в 1860 году с отрядом в тысячу добровольцев, одетых в красные рубашки, молниеносно захватил большое королевство, которое занимало территорию от Неаполя до Сицилии, и сверг династию Бурбонов. Как только он стал диктатором Королевства обеих Сицилий, он тотчас передал всю эту территорию во власть Пьемонту, чтобы ускорить создание объединенной Италии. Затем он удалился от общественных боев в свой простой дом на отдаленном острове Капрера, что между Корсикой и Сардинией, откуда он в течение двадцати двух лет периодически возвращался, чтобы вновь сражаться за проведение реформ.

Гарибальди, что бы ни говорили о его эксцентричности и невероятно высоких стандартах, которыми он руководствовался в общественных делах, никогда не использовал свои военные успехи и народное восхищение, чтобы извлечь личную выгоду и получить власть. Иногда утверждают, что его переигрывали продажные политики. Но это всего лишь точка зрения, отражающая, прежде всего, способ мышления, принятый нашей цивилизацией. Мы ожидаем, что Герой, каким бы благородным ни было его дело, — непременно захватит власть, более того: мы требуем, чтобы он жаждал власти. Но реальность состояла в том, что, хотя Гарибальди яростно выступал против манипуляций политиков, сам он отказывался играть в их игры и уходил, оставляя им поле для маневров. Его отказ не был притворством ради укрепления своих позиций в будущем. Учитывая серьезные проблемы нашего времени, ореол его славного образа растет, возвышая его как Героя до уровня божества.

Потому-то в Италии в каждом городе, где он бывал, сохраняют сотни тысяч экспонатов, связанных с жизнью этого великого человека. Например, в городском музее Кремоны под

стеклом, как частицы креста Господня, хранятся несколько предметов, перевязанных красной лентой. Среди них щепка от двери домика на острове Капрера, маленький осколок гранита и высушенные цветы с его могилы. В другой стеклянной витрине лежит предмет, напоминающий высушенный мизинец святого мученика. Это окурок сигары, которую Герой выкурил в Кремоне. Исполненная красивым почерком надпись под этим экспонатом гласит: «*Avanzo d'un sigaro che G. Garibaldi fumara sul Torrazzo il 5 aprile del 1862, raccolto e donato al Museo da Giovanni Bergamaschi*» (Окурок сигары, которую Дж. Гарибальди курил на террасе 5 апреля 1862 года, подобранный и переданный в музей Джованни Бергамаски).

Такие экспонаты есть по всей Италии. Их хранят как обещание, что Герой вернется на землю. Таким образом, хотя Гарибальди не уступал соблазнам рационального общества, его пример не мог не заронить надежду, что следующий Герой, который грядет, будет самым лучшим из людей. Лидером, который осуществит мечты людей, но также заставит их работать. Иными словами, это будет тот, кто исполнит мифологическую роль карлейлевского «сильного и справедливого человека».

Такой Герой через сорок лет появился в лице Муссолини, который был полной противоположностью Гарибальди. Ожидания рационального сообщества состоят в том, что Герой получит власть. Рано или поздно он явится с собственной программой и сделает это справедливо.

Суть проблемы в том, что мы думаем о человеке, который является «самым лучшим». Эта концепция не позволяет нам осознать, что может дать нам наша цивилизация. Попытки сделать что-либо лучше или расширить наше знание в различных отраслях науки или где-либо еще часто трактуются как стремление к совершенству. Это практический, а в действительности гуманистический, подход к тому, что есть цивилизация. С другой стороны, стремление к лучшему — дело абстрактное и произвольное, оно берет начало в обществах воинственных и поклоняющихся идолу. Человек, который является лучшим в какой-либо сфере, на самом деле является Героем дня.

Общество, которое ошибочно принимает поклонение лучшему за поиски совершенства, не сможет остановиться на прецеденте и процедуре, которые были установлены законным порядком. Его уносит ветром героических эмоций. А раз так, то действия, неприемлемые в демократическом обществе — например, фальшиво-героические поступки или манипуляции с учреждениями, даже и с собраниями депутатов, — становятся просто проблемами переходного периода, когда лидер успешно примеряет одеяния Героя. В таких обстоятельствах это представляется совсем небольшой ценой. И поэтому Герой грядущий и фальшивый Герой, мораль и общественное согласие демократического общества увядают.

В официальной догматике Запада нет ничего такого, что определяло бы, каким должен быть Герой, по каким признакам можно узнать ложного Героя или Государя, особенно законного Государя — а это важные факторы нашей цивилизации. Законы, конституции, открытые и свободные выборы, ответственные собрания и правительства — все это существует для того, чтобы определить правила, которыми мы руководствуемся и по которым руководят нами.

Контроль над лидером со стороны гражданина, однако, не зависит от законов и конституции. Это лишь теоретическое выражение отношений между гражданином и властью. В реальности рациональные структуры навязывают бюрократические или эмоциональные отношения.

Граждане неизбежно обнаружат, что по отношению к Государю они находятся на более низком ярусе пирамиды. Структура и особые знания гарантируют Государю более высокое положение. Герой — как настоящий, так и фальшивый, как добрый, так и злой — правит потому, что вследствие некоего эмоционального трюка его не избрали составным элементом общества, а благословили как мистического лидера. Благословение может иметь форму выборов, но тогда согласимся, что Наполеон продемонстрировал, что Герой, которого выбирают в героическом контексте, с самого начала будет отрицать здравый смысл демократии.

Нет ничего нового и необычного в том, что цивилизация для сохранения самоуверенности чтит и поддерживает ложное представление о самой себе. Рим поддерживал миф о гражданине республики, которого защищает всемогущий сенат, еще долгое время, когда уже не мог ограничивать власть императоров. Многие европейские страны продолжают считать, что они продукт расового и культурного единения, в то время как на самом деле они представляют собой осколки покоренных племен и уничтоженного культурного наследия (этнических) меньшинств. Соединенные Штаты полагают, что они — пророк эгалитаризма, хотя среди западных стран они как раз наименее эгалитарны. Все это имеет мало значения, пока государство функционирует в рамках разумного.

Однако серьезная опасность очень близка, если цивилизация неспособна распознать природу тех, кто ей правит, и где корни такого положения дел. Это порождает неоправданные ожидания и глубокое непонимание механизмов появления и исполнения требований власти. В результате возникает тенденция к шараханью от маниакального управляемого оптимизма к растерянности, разочарованию и пессимизму; от подхалимства перед теми, кто правит, до презрения к ним. В отсутствие общего для всех понимания того, каким должно быть ясное, справедливое и успешное исполнение властных обязанностей, будет снова и снова возникать навязчивое и гипнотическое желание призвать к власти что-то мистическое. Когда граждане теряют уважение к себе, не знают, куда они идут, и ведут себя как дети, их ждут Государи и Герои.

Глава пятнадцатая

ГЕРОЙ И ПОЛИТИКА БЕССМЕРТИЯ

Пасхальным утром некий человек стал предметом зависти всего человеческого рода. И вызывал зависть не сам факт его Воскресения, а то, что этот человек заранее знал о том, что он воскреснет. Это — основополагающий миф западной цивилизации, в том числе и в современную постхристианскую

эру, когда люди перестали верить в Воскресение, но на уровне подсознания продолжают испытывать зависть к Христу. В конце концов, время — существенное условие человеческого существования, а осознание того, что в один прекрасный день оно прекратит свое течение, вселяет в человека самые сильные страхи. Индивидуума больше всего пугает не сама смерть, а прекращение существования. Мы думаем, что принятие смерти на Голгофе, хотя и было страшно само по себе, облегчалось осознанием того, что это не навсегда, а всего лишь на три дня.

Для кого-то смерть остается неприемлемой из-за ее неопределенности. Если бы можно было устранить эту неопределенность, говорил один из офицеров в «Войне и мире», его солдаты шли бы на бой без страха. Даже если бы человек знал, что после смерти его ничего не ожидает, то страх не был бы таким сильным. И это несмотря на то, что наша неуверенность после этого превратилась бы в признание справедливости слов Мартина Лютера, который характеризовал людской род не иначе как «скопище экскрементов, проходящих через прямую кишку мира».

Существует распространенный пример того, как люди реагируют на проблемы бессмысленности и неуверенности. Они создают чрезвычайно усложненные системы, чтобы смягчить удар смерти, моделируя физическую и социальную вечность на земле. Борьба против смерти, по словам Камю, означает претензию на то, что жизнь имеет значение. К сожалению, в этом также проявляется опасение, что жизнь не имеет значения.

Людей, стремящихся стать лидерами в обществе, выдает повышенное стремление преодолеть эту неуверенность. В отличие от нормальных граждан, которые продолжают эту борьбу в кругу своих семей или знакомых, общественные деятели выносят проблему смерти на всеобщее обсуждение. В то время как наше орудие для поиска бессмертия состоит из наших семей, верований и работы, для общественных лидеров таким инструментом являемся мы сами. То, что человек хочет продолжить свою жизнь, характеризует его самого, а также и то направление, в котором он вел общество.

Доводы о том, что религии и сами общества не более чем успокоительные средства для охваченных беспокойством смертных, слишком примитивны. С другой стороны, обещание христианством, исламом и даже буддизмом своего рода жизни после смерти должно было успокоить народные массы и, таким образом, облегчить управление ими. Если восстание или революция — реакция загнанного в угол животного, то вера в любой вид загробной жизни устраняет подобную потребность.

На Западе, конечно, Бог давно уже умер. Осталась лишь религия как общая вера, которая в лучшем случае представляет собой моральный кодекс, а в худшем — общественный этикет. Настоящая вера дает верующему чувство естественного состояния и не требует постановки дополнительных вопросов. Это одна из причин, по которым нам так трудно иметь дело с исламским миром. Мусульмане не хотят обсуждать основные понятия веры. Они не интересуются рациональным анализом. Они верят так, как когда-то верили и мы. Мало того что мы находим это непостижимым и вызывающим чувство беспокойства, это вызывает у нас неверие в свои силы, потому что их уверенность — отражение нашего собственного прошлого.

Мы и наши лидеры вынуждены жить в обществе, которое не имеет никаких спасительных способов, чтобы избавиться от беспокойства при помощи веры. Это может быть одним из объяснений детской истерии в течение нескольких десятилетий, выразившейся в дискуссиях по поводу экономических теорий управления, национализации, приватизации и свободного рынка. Смерть Бога должна была освободить человечество от навязчивых абсолютных идей, чтобы мы могли заняться рациональным анализом. Вместо этого новые структуры просто взяли старые абсолютные идеи, посвященные проблемам человеческой души, и применили их к нашей экономической жизни. Например, понятие свободного рынка может быть хорошей, плохой или ущербной идеей, но в любом случае это — только грубая экономическая теория. Теперь это понятие постоянно становится условием, или приравнивается, или даже становится предпочтительным по

сравнению с человеческой свободой. Но свобода человека — моральное обоснование человеческого существования как в практическом, так и в гуманистическом смысле. То, что это понятие сравнивается с экономической теорией, говорит об определенной логической путанице, произвольной подмене понятий.

В действительности мы подменили верования системами, и это создало новый вид успокоительного средства, которое предлагает вечность на земле. Система западного рационального общества предлагает человеку определенное место в качестве эксперта в самореализующейся и, вероятно, вечной структуре. Нехватка ясности, нехватка ясных целей и заключений, легкость, с которой структура опутывает нас своей паутиной, — все это напоминает абсолютное умиротворение нирваны. Многие жалуются, что они чувствуют себя пойманными в сети лабиринта современной цивилизации, но эти жалобы доносятся из кокона эмоционального комфорта и стабильности.

Лидер — один из стабилизирующих элементов общества. Он — тот, кто, вне зависимости от типа цивилизации, должен преодолевать свою личную неуверенность, через взаимодействие с людьми, которыми он руководит. Если и есть какое-либо различие между управлением нашим обществом и другим, так оно только в аморфности нашего общества. Эта аморфность может породить иллюзию вечности, но, в отличие от более ранних обществ, рациональные структуры делают почти невозможным обеспечение общества вектором развития на длительную историческую перспективу. Если рассматривать западное общество в целом, то оно глубоко нездорово. Его руководители чувствуют, что в нем нет внутреннего стержня. Они хотят нащупать его, реорганизовать общество, чтобы оно отвечало нуждам его членов. Они хотят руководить и в процессе руководства осознают, что необходимо внести в общество напряженность.

Лидер несет на себе весь беспорядок общества, когда он пытается подняться выше общества в поисках четкого направления, в котором следует двигаться. Там, на воображаемой горе, он стоит гордо, как перст, и борется с ветром сво-

боды. Он наблюдает за нами, полуживыми, бесцельно копошащимися внизу, в этом завораживающем лабиринте. Он видит, что у людей еще есть некое подобие надежды, но оно теряется в нашей земной вечности. Но как лидеру обрести надежду, если в ответ на свои усилия он не получает импульса от общества?

Лидеры всегда страдали от этих мук. Например, Адриан, пытаясь вдохнуть жизнь в угасавшую Римскую империю, или папа римский Павел III, сбитый с толку интересами церкви в период Реформации. Современный лидер, живущий на исходе Века Разума, сталкивается с той же проблемой. В былые времена общества никогда не отличались такой сложностью. Наш современный лидер, естественно, чувствует, что он вскарабкался достаточно высоко, настолько высоко, чтобы охватить всю картину. Но парламенты, администрации и суды не дают современному лидеру подняться еще выше.

Его неизбежно охватывает страх слабости, он боится, что, если общество откажется отвечать на его сигналы, его жизнь потеряет смысл. И чем сильнее этот страх, тем больше он принимает себя за композитора, пристально глядящего на нас с высоты, словно мы отдельные ноты, которые нужно расставить в определенном порядке. Если он обладает большим талантом — будь то военным или сценическим, — он может на короткий момент создать то, что и он сам, и народ примут за музыку, — своего рода мистический звук, который, кажется, исходит из глубин вечности. Чем глубже он проникает в анимистические корни общества, тем легче ему будет убедить граждан, что эта музыка достигнет будущего, столь же далекого, насколько далеко она уходит в прошлое. И тогда возникает сплав между народными массами и лидером. Этот сплав сродни озарению в дзен-буддизме: мгновенное и вечное. Впоследствии человек вспомнит, что это походило на часть вечности. А что до конкретного наполеона, который сочиняет мелодию, то он — за невозможностью использовать слово «бог» и необходимостью выражаться современным языком — Герой.

Но человек, отдавая себя историческому моменту и Герою, отрекается от себя. Опыт удовлетворения через экстаз.

неизбежно приводит цивилизации к морю несправедливости и крови. Поэтому более достойно не стремиться к достижению героических высот и не получать от этого удовлетворения, а проявлять разумную сдержанность, заботу и внимание.

Философы семнадцатого и восемнадцатого столетий думали, что задача разума и заключается именно в сдержанности. Но пока они сдерживали удовлетворение эго одной рукой, другой они готовили взрыв эгоцентризма в виде мифологического Героя — этого божества разума.

Средневековые предлагали лидеру и его подданным совсем другое представление о вечности, возможно, из-за эпидемий, военных конфликтов и армий наемников, свирепствовавших в Европе наряду с «черной смертью». «Никакой другой [век] не наложил такого сильного отпечатка на мысли о смерти, — писал Эрик Эрикссон. — Звон колокола *temento mori* проходил постоянным рефреном через всю жизнь»¹. Тема смерти стояла перед глазами и непрерывно звучала в ушах людей Средневековья.

Умереть значило перейти из засилья греха и искушений этого мира в руки Бога. Способы, гарантирующие спасение души, были ясно и подробнейшим образом изложены, включая процедуры отпущения грехов в случае отступления от нормы. Были также разработаны методы, позволявшие человеку восстановить кредит доверия, и они тоже были изложены в форме, доступной для самых простых умов. Это можно сравнить с страховым полисом, который гарантирует попадание в рай. Распространение индульгенций, в конечном счете, подорвало доверие к этой системе даже у самых наивных людей. Но на более ранних этапах люди, несомненно, верили.

Эти средневековые отношения резко контрастируют с современными. У нас меньше эпидемий, но больше войн, и они более кровопролитны. Современный подход состоит в замалчивании смерти. Она — еще одна из наших новых тайн. Отсутствует всеобщее убеждение, что смерть неизбежна. Вместо этого мы переносим поиски вечности в материальную плоскость. Мы посвящаем всю нашу жизнь учебе, рабо-

те, сбережениям, экономии, двигаясь по направлению к чему-то неопределенному. Процесс движения дает нам ощущение, что мы каким-то образом останемся здесь навсегда.

Поскольку наш век — век технологий, большинство людей, помимо неустанных забот о материальном благополучии, уповают на победу над болезнями. В перспективе подразумевается осуществление идеи бессмертия. Если можно добавить к жизни пять лет, то почему не десять? А если десять, то почему не..? Культура старения изменилась по своей сути, и ее словарь полон обещаний новой молодости. В обиход вошли фразы типа «золотой век», чтобы скрыть реалии физического угасания. Шарль де Голль, как всегда невпопад, сказал, что старость — это кораблекрушение. Конечно, человек должен попытаться выжить и использовать шанс на выживание, но это — искажение неизбежного процесса, который всегда нов и уникален. На наш взгляд, мы не только не должны готовить наше сознание к этому концу, а должны создать новый набор иллюзий, чтобы избежать неприятных мыслей о смерти.

Власть современного Героя основана на умалчивании неотвратимости смерти. Наша жизнь состоит наполовину из лжи, наполовину из элементарной манипуляции нашими эмоциями, которая стала бы предметом насмешек и разоблачений в другой, менее испорченной цивилизации.

Когда президент Рейган в 1982 году заявил: «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран и не собираемся делать этого в будущем», люди не стали смущенно улыбаться и говорить: «Да мы только в Центральной и Южной Америке сделали это 48 раз!» Вместо этого они сказали себе: «Да, мы — хорошие люди и борцы за свободу». Вскоре после этого произошло вторжение американцев на Гренаду. Когда президент-социалист Миттеран, стремясь ослабить правых, изменил избирательную систему Франции на пропорционально-представительскую, это позволило неофашистской партии пройти в Национальное собрание. Тогда он утверждал, будто это делается для укрепления демократии, и этот шаг почти не вызвал возмущения в обществе. В результате, после двух лет социальных беспорядков, его переизбрали с

большим перевесом. Когда Брайан Малруни заявил, что президент Рейган — его близкий и хороший друг и поэтому всегда прислушивается к его мнению, люди не катались со смеху, восклицая: «Брайан, он и имени-то твоего не помнит!»

Что происходит в умах этих лидеров и граждан? Ясно, что существует какой-то сговор. Ни одна из сторон не лжет, потому что отсутствует предмет обмана. Тогда, выходит, самообман? Но действия, приведенные в этих эпизодах, не содержат признаков самообмана. Они слишком открыты и бесхитростны.

Может быть, проблема — в особенностях памяти? Разумеется, память западного человека качественно изменилась. Теперь существует два вида памяти. Один из них связан со структурами. Всем структурам присущи самореализуемость и самосохраняемость. Поэтому воспоминания, которые в них возникают, являются внутренними, логичными и не зависят от внешнего мира. Другой вид памяти эклектичен: это одно-разовые воспоминания. Люди. Места. События. Это — память мира, описываемого Маклюэном, в котором отсутствует структура осуждения и нет порядка. Память взлетает и ныряет, как чайка над обширной городской свалкой.

В линейной памяти отсутствует, так сказать, исторический подход. Мы можем помнить о каком-то событии двухдневной давности, но можем не помнить, как прошли эти два дня. Все слова ни истинны, ни ложны без этой линейной системы памяти. Они — просто слова, хорошо или плохо сказанные людьми, которые нам либо нравятся, либо нет. Без линейной, упорядоченной памяти цивилизация невозможна. Вес слов, их ценность и даже чувства, выражаемые ими, теряются.

Лидер на горе, страдающей от собственной неуверенности, видит все это. Он чувствует, что слова не имеют веса. Он отмечает потерю памяти. Это приводит к тому, что граждане утрачивают способности иметь четкие суждения. Процесс хорошего управления становится еще более трудным, чем когда-либо. С другой стороны, среди беспорядка и в темноте намного легче сочинять танцевальную музыку. Танцы — для эго Героя.

Но граждане не беззащитны. У них в полном объеме сохраняется здравый смысл. Они могут просто отказаться воспринимать худшие формы лидерства. Они могут не оправдать надежд лидера, сведя его восприятие до уровня пародии. Но в подобной атмосфере смятения общество либо вовсе не будет танцевать, либо станет плясать под дудку лидера, имеющего все признаки злого гения.

В детстве Адольф Гитлер хотел стать архитектором. Впоследствии он создал небольшой музей своих юношеских архитектурных проектов, находившийся при нем всегда, вплоть до осажденного бункера, в котором он покончил жизнь самоубийством. Фюрер распространил идею великого значения архитектуры по всему Рейху.

Но поначалу в его политических амбициях отмечался деструктивный элемент, смысл которого был непонятен. Люди пытались анализировать его особенности, как будто имели дело с нормальным человеком, имеющим определенные недостатки: он был антисемитом; он не был демократом; он то впадал в бешенство, то был само очарование. Это был самый настоящий выход на историческую сцену Героя, совершенного и одновременно фальшивого, поэтому-то люди не догадывались взглянуть на него, как на воображаемое существо. Форма, в которую он был воплощен как уникальный, искаженный образ немецкого народа, созданный для эксплуатации их отчаяния, не вписывалась в параметры укоренившегося политического мышления.

В сороковые годы деструктивная составляющая его «эго» развивалась, подавляя созидательную, «архитектурную». Альберт Шпеер, который отвечал за немецкую военную промышленность, двадцать лет спустя пытался восстановить свою репутацию, утверждая, что ему удавалось сдерживать деструктивные качества Гитлера до последних дней войны: «Он сознательно хотел позволить людям погибнуть вместе с ним. У него уже не было никаких моральных ограничителей: человек, для которого конец собственной жизни означал конец всего»². Анализ Шпеера почти безупречен. Однако не грядущее поражение в войне изменило самооценку Гитлера

на апокалиптическую. Окончательное решение (еврейского вопроса — *прим. ред.*) было принято в январе 1942 года, задолго до коренного перелома в ходе войны. И уничтожение славян в странах к востоку от Германии с целью освобождения пространства для тевтонов уже шло полным ходом. Именно успехи позволили Гитлеру реализовать свое могущество, или, как он это понимал, свои права. А когда удача повернулась к нему спиной, это понимание еще более усугубилось.

Поддерживать энергию положительного Героя — утомительное занятие. Творческую фантазию тут ограничивают время и необходимые усилия, потому что Герой постоянно зависит от других. Это не так уж отличается от богоугодного акта рождения и воспитания детей, медленного процесса, сочетающего девять месяцев естественного развития и двадцать лет обучения. Процесса строго регламентированного, дающего больше удовлетворения женщине, чем мужчине, который лишь в течение нескольких секунд вносит немного жидкости и даже не может быть уверенным, что именно его капли зачали ребенка. В течение десятка лет Гитлер твердил о важности архитектуры и детально изучал амбициозные проекты. Его полномочия в сферах планирования и финансирования были неограниченными, и, кроме того, его главным экономическим советником был тоже архитектор — Шпеер. И все же до конца был доведен только один из его грандиозных архитектурных проектов: новое здание Рейхстага, которое почти не использовалось по назначению.

Разрушение — другая возможность Бога, во многом равная творчеству. Прежде всего, это легче и быстрее. Между созданием жизни и ее уничтожением Герой неизменно выбирает последнее. Это, как ничто иное, приносит немедленное удовлетворение.

Гитлер видел в себе воплощение всей немецкой цивилизации — не только правительства, но и расы, культуры, истории и мифологии. Поэтому, когда он прекратит существование, должно перестать существовать и все остальное. После его ухода не будет вечности. Эриксон писал о Гитлере, что тот испытывал «страх, вызывавший почти жалость...что он мог бы быть ничем. Он должен был бросить вызов такой возмож-

ности, будучи преднамеренно и полностью анонимным (его поведение в молодости); и только из этого им самим избранного небытия он мог стать всем. Быть всем или ничем, таков девиз подобных личностей»³.

В этом контексте нет места понятию нравственности. Герой все берет на себя и устраняет всякую потребность в определениях вины или нерушимости прав личности со стороны общества. Жан Жене, философ и писатель-экзистенциалист, «осужденный за убийство», довел эту идею до маниакального завершения. В «Дневнике вора» он писал: «Действие должно быть доведено до своего логического завершения. Вне зависимости от начала, конец должен быть красивым. Именно потому, что действие не было закончено, оно является мерзким»⁴.

Из этого следует, что поступок — единственно возможное выражение личности. Нет ничего вне личности. И чем ярче поступок, тем больше его красота. Поэтому самый красивый акт — это убийство. Это — действительно величайший поступок. Убив Бога, человек должен заменить его. И для человека проще доказать, что он — Бог, чем отнять жизнь у другого человека. «Если и есть Бог, — восклицал Ницше, — то как человек может вынести это и не стать Богом?» И если нет, то та же самая посылка о божестве еще более необходима. В теории Герой может выбрать между созиданием и разрушением. На практике разрушение — единственно осуществимый выбор.

В пьесе Жене «Балкон» мужчины приезжают в бордель, где они могут выступать в той роли, которую они всегда мечтали сыграть. Это — окончательное утверждение рациональной структуры и низведение человека на уровень функции. Клиенты борделя: Судья, Генерал и Епископ — твердят, что «зеркала прославляют» и «отражают до бесконечности». Они счастливы быть отражением чьей-то вечности. Главный герой пьесы — Шеф полиции. Он заправляет всем, но никто не знает об этом. Он — рациональный руководитель, он активно действует за кулисами, его инструменты — тайна и манипуляция. Никто не приезжал в бордель, чтобы сыграть его. Его единственное желание — стать ис-

точником отражения для других людей. Он живет для этого дня. И когда этот день наступает, он заявляет: «Не стотысячно повторяющимся зеркальным отражением — я буду Уникумом, в котором сто тысяч захотят объединиться», «Мой образ вырывается из меня и начинает преследовать людей». В ожидании этого дня он сооружает для себя фантастическую гробницу внутри горы из красного мрамора, в которой выдолблены комнаты и ниши, а в центре — маленькая бриллиантовая будка. Он похоронит себя там для вечности, в то время как отражающийся мир будет вращаться вокруг него⁵.

Приблизительно тысячу семьсот лет назад, когда ослабла вера в римские божества, и до победы христианства, резко увеличилось число богов и духов, которые заполняли пустоту. В девятнадцатом столетии, когда христианство отчаянно пыталось оправиться от реальной смерти Бога, столь же резко возросло количество святых, достойных поклонения. В наши дни с той же целью размножился Герой. И наши бесконечные проявления индивидуализма при ближайшем рассмотрении являются не более чем проявлениями крайней обескураженности индивидуума, пытающегося найти свое отражение в образах для подражания. Мы создаем для себя бессознательную иерархию Героев из политических деятелей, военачальников, террористов, капиталистов, чемпионов и звезд, которые господствуют над нашим воображением и надеждами, причем гораздо сильнее, чем мы это себе представляем.

Даже причудливая идея Жене о гробе, отражающемся бесконечное множество раз, уже была осуществлена там, где Герой жил достаточно долго, чтобы появились его отражения. Генералиссимус Франко проложил шахту к точному центру недоступной горы. Внутри горы была выдолблена гранитная пещера длиной семьдесят метров, высотой с кафедральный собор. В течение десяти лет тысячи заключенных претворяли в жизнь его мечту. Гору венчает стальной крест высотой пятьсот футов. Франко лежит на дне шахты, в центре горы. Сопратники генералиссимуса по гражданской войне — его первые отражения — лежат вокруг него.

Гробница Наполеона в Доме инвалидов сооружена по тому же принципу. Простые люди стоят в Соборе Дома инвалидов под самым красивым куполом Франции на белоснежном полу, там нет ни украшений, ни сидений. Вокруг них — часовни над могилами как наполеоновских, так и других маршалов Франции. Прямо под куполом выбит мраморный колодец в обрамлении дюжины огромных статуй Победы. В центре под массивным, изогнутым надгробием из красного порфира покоится тело истинного Героя. Как египетские фараоны, оставшиеся навсегда, он заключен в несколько гробов: первый — металлический, над ним — из красного дерева, над этим — из двухслойного свинца, еще выше — из черного дерева и, наконец, из дуба. И все они обрамлены мраморным надгробием. Он лежит, как будто в центре космического вихря, устремленного в небеса.

Это не многим отличается от усыпальниц трех великих людей двадцатого столетия. Не так уж важно, самим ли теоретически умершим вождям революций принадлежала идея выставить свое тело на всеобщее обозрение. В любом случае, для организации бальзамирования и сооружения мавзолея этих Героев требовалось распоряжение их преемников — то есть их непосредственных отражений.

Носила ли их внешность божественные черты? Вряд ли кого-то могут заморозить жидковатая борода и желчно-восковой цвет лица Ленина. Тучность Мао — серьезное препятствие на пути к предполагаемому бессмертию. Когда посетитель входит в пекинский мавзолей, то после первой мысли о таксидермистах, которые трудились над телом вождя, возникает неловкая пауза, и только после этого следует почти-тельный жест, которым приветствуют Будду. Ведь Мао лежит в центре грандиозного мавзолея, точной копии буддистского храма. Он лежит там, где может сидеть или лежать только Будда. Что касается Хо Ши Мина, то его аскетизм должен стать примером для всех Героев, питающих надежду на вечную консервацию. В тот миг, когда люди толпами входят в ханойский мавзолей, который также создан по макету храма, они замирают, преисполненные благоговейного страха. Его

кожа сильно смахивает на засохшую сырокопченую ветчину на ребрышках, и это выглядит так, будто он умер, подвешенный в копильне. Кажется, что он дремлет. Его величественный мавзолей — самое внушительное здание в обветшавшем городе.

Четвертый коммунистический лидер, выставленный на обозрение, вызывает, наверное, самые сильные эмоции у современных Героев. Георгий Димитров, быть может, поджигал, а быть может, и не поджигал Рейхстаг в 1933 году. Его судили за это, и, хотя он был оправдан, поджог послужил Гитлеру предлогом, чтобы закрыть мнимый мир демократии и вступить в вечный вакуум своего эго. Димитров пережил тюрьму во время Второй мировой войны и в конце 1940-х годов стал отражением Сталина в Болгарии. Он сделал в Болгарии то же, что Гитлер в Германии, — ликвидировал демократию. В 1949 году он умер.

Сталин предложил болгарам своего официального балъзамировщика, того самого, который делал мумию Ленина. Таксидермист Збарский был первым из новых жрецов, уполномоченных раздавать бессмертие. Его работа над Лениным была историческим актом. Обработав тело Димитрова в Софии, он закрепил новый принцип современности.

Появление этого принципа восходит к концу девятнадцатого столетия, когда хорошо сохранившиеся тела многих ранних католических святых привлекли внимание ответственных за производство мифов в Ватикане. Вскоре тела других давно погребенных или даже забытых святых стали появляться то тут, то там в христианском мире. Как будто для того, чтобы опровергнуть ползущие слухи о смерти Бога, они были выставлены на обозрение в церквях. Вид этих прекрасно сохранившихся полубогов, как будто готовых к физическому воскресению в Судный день, должен был помочь людям вернуться к христианской идее о бессмертии. Церковь на этом не остановилась. Она предвидела, что двадцатый век, век высоких технологий будет богат как конкретными доказательствами этой идеи, так и заготовкой и выставлением на обозрение недавно скончавшихся святых.

Нет большого различия между святым Винсентом де По-лем, помещенным под стеклом у алтаря его церкви на Рю-де-Серв в Париже, и Лениным, Мао, Хо или Димитровым. Все пятеро, должно быть, знали, что их как Героев ожидает выставление на всеобщее обозрение. Но вероятно, святая Клара, соратница и сторонница святого Франциска Ассизского, пришла бы в ужас, узнав, что спустя шестьсот лет после ее кончины в скромной простоте и абсолютном принятии идеи смерти ее останки выкопают из земли и выставят напоказ в крипте церкви ее имени. В грубом камне крипты выложены мраморные ступени, чтобы публика могла с приятностью спуститься к двойной решетке, за которой покоится святая. Монахиня с густой вуалью на лице неустанно твердит посетителям: «*E il corpo vero di Santa Chiara*» («Это подлинное тело святой Клары»). Клара, вероятно, ответила бы: «Вот именно!» — и заставила бы их снова похоронить себя. Она была бы вдвойне испугана, если бы обнаружила, что твердящая зазывные слова монахиня чувствует, что сама она существует отчасти только благодаря тому, что тело святой Клары лежит в крипте. Монахиня огорчилась бы, если бы кто-то объяснил ей, что она уподобляется коммунистам.

Что касается четырех забальзамированных революционных Героев, спектакль с их участием мог бы смутить их на интеллектуальном уровне. Но мы можем быть почти уверенными, что это дало бы им большое удовлетворение на уровне подсознания; по крайней мере, такое же большое, которое испытали бы Наполеон и Франко, если бы явились на поклонение к своим идолам, а увидели свои собственные тела, выставленные в подобиях христианских алтарей. Все эти люди действовали в героический век, и они — среди немногих счастливых, которые стали официально бессмертными. Стать Героем означало дать согласие, если не желать, чтобы люди хотели вашего бессмертия. Конечно, если люди решали, что они больше не хотят этого, то вас могли внезапно заново умертвить и отправить под землю на время или навсегда. Ленин теперь входит в эту сомнительную фазу. По всем историческим стандартам земного обожествления, граждане, которые проходят перед такими алтарями, могут видеть, что их

великий человек — бог. Послание, которое власти намеревались передать, выставляя этих людей на обозрение, совершенно ясно.

Кроме того, публика может думать или не думать, что стать Героем означает получить надежную гарантию бессмертия. В результате для миллионов людей, которые взирают на Первого и Единственного Героя — будь то на экране или заключенного в мрамор, — лезвие смерти теоретически кажется не таким острым, если они, эти люди, хотят стать Его отражением.

Демократический процесс зачастую не предполагает мягкости. Участие граждан в демократическом управлении — это дело, едва ли имеющее отношение к великолепию и Героизму. Но наши сложные рациональные системы часто привлекают людей в качестве экспертов. Ощущения, которые они при этом испытывают, противоречат самой идее представительной демократии. Политическая инициатива в этом случае переходит к лидерам, а они, в свою очередь, побуждают вечно пассивных людей мечтать. Героические лидеры всегда поощряют людей мечтать, как будто способность мечтать является положительным политическим признаком. По правде говоря, это скорее приводит к высвобождению наших страхов, которые только потом переходят в безграничные царства фантазии.

И все же, когда мы взираем на наших лидеров, они не напоминают Героев, типа Гитлера. Они и не наполеоны, марширующие по Европе. Этот — всего лишь крепкий парень, один из тех, кого можно часто встретить в Германии. Другой уже забыт или переезжает обратно в Италию. Безликий технократ в Лондоне. Поющий менеджер филиала завода в Оттаве. И кто-то неясный в Вашингтоне. Они — мелкие, незначительные людишки.

Но методы, которыми они пользуются, и их высокомерие — героические. Без сомнения, они — мнимые Герои, но они манипулируют инструментами власти, пародируя величие. Чаще всего нет никаких зримых признаков этой особенности. Лишь изредка, например во время войны 1991 года с Ираком, они все мгновенно превращаются в агрессивных, карикатурно жестких, сильных военных лидеров.

Отклонить это как нечто безобидное — значит не понять самого главного. Наши рациональные структуры не несут нас медленно, но верно к уравновешенному, открытому и честно-му лидерству. Вместо этого они затаскивают нас все глубже и глубже в мир, где претензия на лидерство может превратиться в пародию, но предлагаемая пародия — Героическая.

Глава шестнадцатая

ЗАХВАТ КАПИТАЛИЗМА В ЗАЛОЖНИКИ

*Когда я беру слово, оно означает то,
что я хочу, не больше и не меньше.*

Шалтай-Болтай

Нигде роль Льюиса Кэрролла в качестве архитектора лингвистики двадцатого столетия не проявляется столь отчетливо, как в мире крупного капитала. Существительными, глаголами и прилагательными бросаются с большим энтузиазмом, гневом и искренностью, оставляя мифологические следы, настолько очевидные, что ни один из них не нуждается в объяснении. Капитализм, свободное предпринимательство, риск, частная собственность — все эти и многие другие выражения, когда-либо услышанные или прочитанные, вызывают эффект мгновенного понимания: либо одобрения, либо неодобрения.

Благодаря этой ясности мы можем вести бесконечные общественные дебаты о том, какое общество нам нужно. Должны ли мы высвободить творческие/эгоистические силы свободного предпринимательства? Или мы должны защитить/помогать/освободить гражданина от вызовов/угрозы риска?

Эти вопросы были в дальнейшем упрощены при помощи жонглирования выражениями «свободный мир» и «свободное предпринимательство». Сначала Рональд Рейган, а затем

Джордж Буш говорили о свободных рынках и свободных людях, именно в таком порядке. Хотя некоторые из западных лидеров более осторожны в формулировках, немногие из них, даже социалисты, осмелились бы открыто выступить против этих принципов.

Такие кружева из бессмысленных слов иногда рожают иллюзию реальных дебатов. И эта иллюзия настолько убедительна, что мы редко смотрим на то, кто же выступает в роли яростного защитника капитализма. Любопытно, что очень немногие из них сами являются капиталистами. Среди его апологетов можно встретить руководителей корпораций и банков, финансовых спекулянтов и поставщиков услуг. Еще более любопытно, что, согласно опросам, их пугает сама возможность личной ответственности и личного риска, которая является основополагающей идеей капитализма. По сути дела, они выступают в роли пророков и защитников экономической системы, которую сами же отвергают.

На Западе было проделано следующее: соединили воедино три разнородных элемента: демократию, разум и капитализм. Но это разнородные понятия. Бизнесмены, которые сегодня так настойчиво говорят о защите капитализма, в действительности являются продуктом поражения капитализма посредством здравого смысла. Этот продукт не является одномерным. Спекулянты, например, признак такого поражения. Поставщики услуг кажутся достаточно безобидными. Их основная задача — заполнять пустоту в нашей экономике. Опасность заключается в том, что мы верим, что эти структуры являются новым решением, а не явным подтверждением нашей проблемы. Что касается менеджеров, рядящихся в одежды капиталистов, то их роль не столь ужасающа. В конце концов, вместе с их приходом к руководству мы действительно достигли своего рода универсального социального компромисса, каким бы шатким и недолговечным он ни был.

Однако пропасть между иллюзиями и действительностью капитализма столь велика, что практики, да и гражданские власти с большим трудом принимают разумные экономические решения. Их проблема начинается с уравнения «демократия = капитализм». Соединение демократии и капитализ-

ма в единое понятие — замечательная марксистская шутка. Так сказать, в духе папы Карлы Маркса. Но ни история, ни философия не связывают воедино свободные рынки и свободных людей. Лишь изредка они пересекаются друг с другом. Фактически, свободное предпринимательство в чистом виде более успешно, когда оно действует под патронажем авторитарных государственных структур. Гарантированная политическая стабильность сокращает возможные потери, связанные с финансовыми рисками. Авторитарные правительства и большие деньги зачастую сливаются друг с другом, не порождая конфликта интересов. Они могут ускорить дела и уменьшить риски. Демократия, с другой стороны, подчинена непрерывным политическим и социальным компромиссам. При демократии появляется тенденция обуздать активность любого рода — связанную с бизнесом или нет — для того, чтобы защитить максимально большее число людей.

Так, капитализм достиг наибольшей славы в благоприятных условиях ранней викторианской Англии, до принятия закона о всеобщем избирательном праве для мужчин и законов, регламентирующих использование детского труда, соблюдение правил техники безопасности и законов о праве на забастовку и о трудовых соглашениях. Он расцветал при Луи Филиппе, короле буржуазии, который даже одевался как президент компании; а также при императоре Наполеоне III, отменившем всеобщее мужское избирательное право, которое непродолжительное время существовало при Второй республике. Он преуспевал при кайзере Вильгельме II, который выступил против либеральных реформ своего отца и Бисмарка. При последнем российском царе свободное предпринимательство достигло наибольшего размаха за всю мировую историю. И в Соединенных Штатах капитализм развивался наиболее успешно и быстро перед принятием закона о всеобщем избирательном праве для белых мужчин в 1860 году, а также в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий, когда значительная часть населения не имела права голоса из-за притока иммигрантов. Даже после того, как они становились полноценными гражданами, вновь прибывшие оставались политически послушными в течение длительного вре-

мени, пока их этнические сообщества не интегрировались в общий политический поток.

Худшие времена для американских капиталистов пришлось на период с начала 1930-х и до конца 1970-х годов — период наибольшей гражданской активности. Несмотря на длительный экономический кризис, деловые круги были более счастливы в течение предыдущих двух десятилетий, чем в любое другое время с момента краха 1929 года. Это совпадает с падением активности избирателей до максимально низкого уровня после провозглашения всеобщего избирательного права для мужчин. Причем эта тенденция не ограничивается Западом. Самые динамичные новые центры капитализма, которые возникли в последние несколько десятилетий: Сингапур, Тайвань, Таиланд и Корея. Во главе этих стран стоят и управляют ими сложные авторитарные системы.

Широко распространенная путаница в определении демократических свобод и свобод, характерных для капитализма, подтверждает тот факт, что деловые лидеры в наши дни больше не понимают свою собственную идеологию. Но тем не менее, идея единства этих свобод существовала в общественном сознании в течение нескольких столетий. Капитализм привлекает использование капитала, а не только свою собственность. Вы не можете владеть абстракцией. Только обладание чем-то делает капитал реально существующим. Например, собственность. Или фабрика. Золото в течение долгого времени казалось взаимозаменяемым с капиталом. В действительности оно служило мерилom капитала, поскольку имело малый объем и его легко транспортировать.

Однако владение чем-то благодаря перемещению капитала недостаточно, чтобы его обладатель стал капиталистом. В конце концов, право собственности на землю, здания или золото существовало задолго до капитализма. Те, кто увеличивает свой капитал, торгуя этими предметами потребления, просто спекулируют на их рыночной цене. Извлечение прибыли из увеличения цены товаров не есть акт капиталистического производства.

Капитализм — это собственность и использование конкретных, но динамичных элементов в обществе, которые

обычно называют средствами производства. Капиталист — это тот, кто увеличивает капитал, производя материальные и иные ценности. Это требует периодического реинвестирования части заработанного капитала на поддержание, модернизацию и расширение производства. Поэтому капитализм — это владение абстракцией, которую называют капиталом, это владение конкретизировано посредством собственности на средства производства, и через реальное производство оно создает новый капитал.

Однако капитализм, как его понимают в наши дни, стремится вращаться вокруг идеи, которую называют стимулом к получению прибыли, хотя прибыль не является ни причиной капитализма, ни сердцевиной капиталистической деятельности. Прибыль — полезный результат процесса, и ничего больше. Что касается собственности на средства производства, то она была заменена управлением ими. Управлять же означает руководить, то есть осуществлять бюрократическую функцию. Кроме того, существует тенденция использовать капитал непосредственно для увеличения капитала. Но это — уже спекуляция, а не производство. В развитых странах производство значительной части товаров ныне считается нерентабельным и даже ниже достоинства современных менеджеров, поэтому заводы с «грязным» производством или использованием интенсивного труда переводятся в страны Третьего мира. Наконец, в современное понятие капитализма включено понятие производства «услуг» как его новой, утонченной формы. Но продажа услуг не относится к чисто капиталистической сфере. И большинство видов деятельности, создаваемых в сфере услуг — за исключением сектора высоких технологий, — потомки торговли и услуг «до восемнадцатого столетия».

Сфера услуг не может даже претендовать на то, чтобы быть причисленной к творческому или передовому разделу капитализма — то есть к такому, который преобразует абстрактный капитал в производство. Вместо этого она существует за счет результатов деятельности капитализма. Мягко говоря, она — третичный сектор, что служит еще одним определением экономического паразитизма. Консультанты, спе-

циалисты по связям с общественностью, финансовые консультанты — от банкиров до брокеров — аудиторы и все прочие эксперты — это наемники, это — новые версии придворных, которые вертелись во дворцах вокруг королей и знати. Мастер королевского фейерверка. Консьерж (официальный зажигатель свечей). Хозяйка спальни. Ростовщик двора. В этой сфере вращаются все те, кто спекулирует на товарах. Риелторы и владельцы крупных торговых компаний — самые яркие примеры. Агент по операциям с недвижимостью существовал задолго до капитализма и будет существовать и после него. Он обычно связан с финансовыми учреждениями, которые управляют капиталами, или имеет дело со структурами, типа нотариатов, или государственными службами. Дональд Трамп и Робер Кампо существовали и в Средневековье, и в девятнадцатом столетии, но не считались капиталистами. Вне зависимости от размера их состояний, они не капиталисты и сегодня.

13 августа 1987 года нью-йоркская фондовая биржа отметила пятилетие непрерывного роста. Индекс Доу—Джонса повысился на 245 процентов с 1982 года. На лондонской фондовой бирже отмечался рост на 300 процентов. На фондовой бирже Торонто — на 200 процентов. На парижской фондовой бирже — на 300 процентов. А на токийской бирже — аж на 1800 процентов! В тот же период реальный экономический рост в нефинансовых, то есть капиталистических областях был минимальным. Безработица, и без того высокая, продолжала расти и в Европе достигла рекордных уровней, немного меньше она была в Канаде и Америке. В США эти показатели были ниже, благодаря снижению стандартов занятости и распространению неполной занятости, хотя лиц, занятых неполный рабочий день, статистика учитывала как работающих. К примеру, в 1930-х годах трудовая биография женщин-прачек не считалась успешной. В наши дни с развитием индустрии услуг эта же деятельность оценивается по-другому. В тот же период кризис задолженности большинства западных банков довел их до технического банкротства. В 1987 году обанкротилось 208 американских банков (самый высокий показатель с 1933 года). Десять процентов осталь-

ных банков (тысяча пятьсот из пятнадцати тысяч) были включены в корпоративный федеральный страховой список проблемных финансовых учреждений (Federal Deposit Insurance Corporation's list). Целая сеть небольших финансовых учреждений кредитования, или ссудных, была фактически несостоятельна. Ежегодно растет число компаний-банкротов, и каждый год становится рекордным.

Производство вооружений — единственный сектор, в котором отмечается серьезный постоянный рост; но это та отрасль промышленности, в которой не создаются средства производства. Государственные долги продолжают расти; валюты то укрепляются, то обесцениваются. Торговля реальными товарами переживала серьезные трудности, а переговоры в ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле) были прекращены, и большинство стран применяли меры предосторожности. Но в то же время показатели на фондовых биржах продолжали рекордный рост.

Основная задача фондовой биржи состоит в том, чтобы обеспечить регулируемый рынок, на котором владельцы средств производства могут продать их новым владельцам, размещая акции на рынке, или расширить свою производственную базу, получая дополнительные финансовые ресурсы посредством выпуска новых акций. Рост стоимости акций на рынке должен служить индикатором роста стоимости средств производства, благодаря увеличению объемов продаж акций и новым инвестициям. Но ничего из этого не имело места с 1982 по 1987 год. И все же огромные объемы капитала выставлялись на рынок. Откуда появлялись и куда уходили эти деньги? Они, казалось, появлялись и исчезали в своеобразном огромном, печатающем бумагу лабиринте, в котором менеджеры и спекулянты гнались друг за другом по бесконечному кругу, не имея никакой иной цели, кроме контроля над рычагами управления и максимального увеличения искусственно созданной прибыли. Этому процессу полностью соответствовало то, что американский министр финансов, немецкий министр экономики, канадский и французский министры финансов того периода до своих назначений были биржевыми маклерами или возглавляли ком-

мерческие банки. А также то, что признанной «звездой» того времени, олицетворяющей в глазах большинства безответственный американский корпоративный стиль управления 1980-х годов, был Росс Джонсон, близкий друг канадского премьер-министра¹.

Современный капитализм может найти оправдание этой общей ситуации, только признав, что смыслом всего процесса является максимализация прибыли. Но если максимальная прибыль оправдывает существование капиталистической экономики, тогда сфера услуг и финансовые спекуляции — это новые отрасли производства. Но если дело обстоит так, тогда капитализм, считавшийся одним из главных нововведений западного мира, должен быть разжалован до простых спекуляций в духе «Мыльного пузыря Южных морей». Когда 19 октября 1987 года наступил «черный понедельник» (биржевой крах), ничего ужасного с западным миром не случилось. И это лишний раз продемонстрировало, что современный капитализм так далеко отошел от производства и так плотно сосредоточился на бумажных прибылях, что почти ничего общего не имеет с реальной экономикой.

Озадаченный явно неразрешимой природой разных экономических проблем, некий гражданин обращается к капиталисту за разъяснением. Вместо объяснений капиталист обязательно упрекнет его в том, что он не проявляет инициативу и недостаточно старательно трудится. В этом нравовании в качестве иллюстрации приводится личный пример высокой нравственности и ответственности, которая почему-то включает в себя риск, конкурентоспособность, рыночные силы и индивидуализм. Наконец он отсылает гражданина к правительству, которое, как выясняется, ответственно за инфляцию, безработицу, крах фондовой биржи и ограничение прав человека. Гражданин поворачивается, чтобы идти, куда послали, но вдруг замечает что-то странное во внешности капиталиста. Он внезапно понимает, что капиталист не похож на собственника, лидера, человека, берущего на себя риск. Он по-прежнему демонстрирует твердость, но в его глазах нет огня. Он слишком уверен в себе, чтобы быть действи-

тельно ответственным. И его одежда слишком похожа на униформу, а не на костюм индивидуалиста. В нем нет ни капли творческого потенциала, ни следа того портрета, который он живописал, ни того, что он сам создавал предприятие. Его слова — не больше чем разглагольствование о свободном предпринимательстве и получении прибыли. И тут гражданин понимает: это не владелец средств производства. Это — наемный служащий, вырядившийся капиталистом.

Он — председатель, президент, генеральный директор, главный исполнительный директор. Он может называться как угодно, но он не хозяин своего места. Его наняли, чтобы он выполнял эту работу. У него есть контракт, гарантирующий его занятость при определенных условиях, автомобили, путешествия в первом классе, пенсионные выплаты, отпуска, членство в клубах. Он имеет диплом МБА или инженера, в его активе две тысячи акций, предоставленных компанией. Но эти акции даже не являются его собственностью. Они — только законный юридический способ уйти от большого подоходного налога. Он продаст эти акции при отставке и уволится, получив деньги наличными. И если бы он по какой-то причине был уволен, то его контракт содержит условие о весьма приличных выплатах в конкретном случае.

Но если бы наш гражданин настаивал на встрече с реальным владельцем-капиталистом, то он был бы поднят на смех собеседником, который принялся бы убеждать его, что настоящие владельцы компании — это биржевые спекулянты. Более того, их не менее 173 тысяч. «А каким образом такой измененный капитализм может контролировать и давать указания менеджерам?» — спросил бы наш любопытный гражданин. На что он услышал бы длинное разъяснение той роли, которую играют совет директоров и ежегодные собрания акционеров. Гражданин сразу понял бы, что годовое собрание — это пустая вещь. Из-за невозможности собрать вместе 173 тысячи акционеров, управление осуществляют те, у кого большинство голосов. Что касается совета директоров, игра здесь более тонкая.

Большинство директоров косвенно назначается менеджерами, и они соглашаются на эту должность не потому, что хо-

тят управлять компанией, но потому, что заседать в совете директоров престижно. Это дает им полезные связи, дополнительный вес в обществе и дополнительные доходы. Принятие компанией верных решений не является их главной заботой. Их задача — уберечь руководство от крупных ошибок. Но самое главное, они ищут возможности для себя, при этом не внутри компании, но более тонких. Контракты на обслуживание, например, которые можно было бы заключить с другими компаниями, с которыми он имеет связи.

И даже если бы они действительно желали упорно трудиться во благо своей компании, то как бы они могли делать это? Дирекция сопровождает каждое решение, представленное на совет директоров, томами информационных материалов. Они напоминают информационные материалы, которые готовятся к заседаниям кабинета министров. По конкретным вопросам их подготовкой занимаются десятки, а возможно, и сотни экспертов. Что остается директору? Независимо от предложения, которое он может выдвинуть, у администрации на все существует заранее подготовленный ответ. Четыре или пять менеджеров являются членами правления. Если национальные собрания (парламенты) той властью, которая предоставлена им в соответствии с всеобщим избирательным правом, неспособны контролировать правительства, несмотря на прожектор общественного мнения, а кабинеты министров не могут заставить правительственные структуры четко функционировать, то как могут несколько директоров, к тому же не работающих в штате и не имеющих организованной поддержки акционеров, за несколько часов собрания повлиять на работу правления компании?

Кроме того, правления компаний прилагают большие усилия, чтобы превратить директоров в своих заложников. Им платят весьма приличные деньги. Вознаграждения директору компании в Соединенных Штатах ранее колебались в пределах от тридцати до пятидесяти тысяч долларов в год. И чем больше денег будет заплачено директору, тем больше менеджер может заплатить себе. Существуют также различные виды льгот. Корпоративные вечеринки. Частичное обеспечение супругов. Подарки время от времени. Доступ к услу-

гам компании, независимо от их типа. Банковские учреждения почти всегда дают возможность использовать швейцарские или другие офшорные счета. Предложение является законным, но использование директором этого предложения почти всегда незаконно. Таким образом, директор, который принимает такое предложение, лишается возможности выступить против решения правления. Он становится членом клуба. Своим человеком. И руководство банка имеет достаточно информации о его личных делах, чтобы повлиять на него в случае необходимости.

Предположение о том, что члены правлений осуществляют эффективную власть над корпорациями, — одна из главных ошибок современного капитализма. Совет директоров никогда не предназначался для того, чтобы стать центром управления, представляющим 173 тысячи акционеров. Он создавался как объединение всех или большинства владельцев. И именно в этом качестве он становится органом реальной власти. Раньше один или два директора-владельца реально управляли компанией. Такая ситуация все еще существует, но она встречается только в небольших корпорациях.

Частное предпринимательство повсеместно на Западе находится во власти служащих, которые целиком и полностью — продукт подготовки бизнес-школ или аналогичных им учебных заведений. Подобно всем будущим бюрократам, их не учат ни находчивости, ни изобретательности, ни творческим подходам в поисках инвестиций, ни разработке новых товаров, ни завоеванию новых рынков. Они специализируются на разработке систем, внутри которых им предстоит работать, и в создании напряженных программ, которые разработаны на основе метода ситуативного обучения. Они всегда стремятся изменить обстоятельства и подогнать их под определенный шаблон.

Человек, который выделяется, не соглашается или идет на риск, представляет опасность для таких систем и обязательно устраняется. Высшее руководство больших западных компаний и транснациональных корпораций почти всегда выбирается из числа посредственностей — в соответствии с внутренней логикой системы. Конечно, есть и исключения. Но

они существуют везде. Андре Мальро полвека тому назад описал ранние стадии этого явления в «Условиях человеческого существования». Жисор, шанхайский менеджер французской компании, так объясняет свое положение: «Сила современного капитализма — в организации, а не во власти»².

Эти менеджеры не обладают собственной властью. Они действуют в коридорах компаний так же, как когда-то евнухи в лабиринте переулков Запретного города. Их интересы сосредоточены на карьерном росте, а для этого необходимы прямые доказательства успеха. Поэтому их стиль управления основан на быстрой отдаче. Такому подходу в наибольшей мере соответствует синдром ежеквартальных отчетов. Должны быть постоянные и быстрые свидетельства успеха, который будет стимулировать рост на фондовой бирже и приносить весомый доход членам совета директоров. Долгосрочное планирование, долгосрочные инвестиции в основные фонды с целью улучшения качества продукции или разработка новых изделий волнует менеджеров меньше всего.

Есть менеджеры, которые хотят оставаться в компании, когда дела в ней идут хорошо и нет нужды совершать рискованные шаги. Есть менеджеры, которые бегают из одной компании в другую, карабкаясь по карьерной лестнице. Им нужны немедленные результаты. Ни один из этих типов менеджеров не интересуется интенсификацией производственной базы. Они не заинтересованы ни в производстве товаров, ни в их продаже. Вещи конкретны. А менеджеры, по своей природе, придерживаются того, что можно назвать интеллектуальным подходом. Его основной признак — здравый смысл. Они могут понять и объяснить, не прикасаясь к конкретной вещи. Касаться означает опуститься на ступеньку ниже. Создается впечатление, что они боятся действительности капиталистического производства, боятся угодить в темные, сатанинские жернова, которые выжмут из них иллюзию благополучия, навсегда сделав их заложниками средств производства. Без сомнения, они ощущают, что реалии фабричного производства не подвластны абстрактной манипуляции.

Много было говорено о негибкости западной промышленности, когда она столкнулась в конкуренции с промышленностью Японии, Кореи или других новых капиталистических наций. Примерно так же, как штабные офицеры Первой мировой войны возлагали ответственность за поражения на старые армейские кадры, так и технократы — символ будущего — возлагают ответственность за провалы западного бизнеса на прежнее поколение промышленников. Но старые владельцы-управляющие ушли с исторической сцены Запада уже несколько десятилетий тому назад. Если и сохранились, то только единицы. Поэтому именно технократы, обладатели дипломов МБА, характерной чертой которых является отсутствие гибкости, ответственны за то, что Запад уступил в промышленном соревновании с другими цивилизациями. И именно они считают успех других промышленных наций доказательством того, что западный капитализм должен умереть и родиться заново в чистом, урбанизированном, непроемчивом виде.

Урок, который они извлекли, ясен: если менее развитые цивилизации взвзывают на себя производство, то более передовой Запад может сконцентрироваться на интеллектуальной работе. Благодаря быстрому росту количества бизнес-школ, этот корыстный подход быстро нашел свое философское и логическое обоснование. Розабет Мосс Кантер из Гарвардской школы бизнеса выступает в роли ведущего апологета «постпредпринимательской компании», как будто это и было планируемым долгожданным результатом делового развития. Она считает, что компании в идеале должны сочетать «лучшие качества творческого, предпринимательского подхода с дисциплиной, целенаправленностью и командной работой активной инновационной корпорации». Она пишет о неизбежном «упадке иерархии и бюрократии в управлении»³.

Критический анализ крупных традиционных американских корпораций в работах Кантер во многом точен. Но в случае принятия ее рецептов, успех в постиндустриальном соревновании со странами Третьего мира приведет к социальной несправедливости. Это, как представляется, не смущает интеллектуальных мыслителей-теоретиков управления

или менеджеров вообще. В своей захватывающей роли капиталистов они бесконечно говорят об основополагающей ценности конкуренции. Конкурентоспособность, по их понятиям, эквивалентна нравственности. Они рассматривают конкуренцию как универсальную ценность, имеющую единственное определение. Они, видимо, не осознают, что соревнование — понятие относительное. Конечно, нация, которая использует социальные стандарты девятнадцатого столетия в качестве основы для собственного промышленного производства, будет производить более дешевые товары по сравнению с той, которая применяет стандарты современного среднего класса. Но даже откат социальной политики, проводимый «новыми правыми» в Соединенных Штатах и Великобритании, не снизит стоимости производства до уровней Третьего мира.

Например, корейская промышленность нанесла существенный урон таким отраслям тяжелой промышленности, как производство стали. В 1979 году в американской сталелитейной промышленности было занято 435 тысяч человек. Десять лет спустя в ней работало уже 169 тысяч⁴. Почему корейская сталь настолько дешевле? До недавних протестов корейских рабочих в Корее была самая продолжительная рабочая неделя в мире: пятьдесят семь часов. При этом корейцы получали в десять раз меньше, чем западные рабочие. Так как прожиточный минимум в Корее весьма высок, рабочие живут в условиях трущоб. Профсоюзы были фактически распущены, а забастовки запрещены. Условия труда напоминали девятнадцатое столетие в Англии. В 1986 году 1660 рабочих погибли на производстве; 141 809 получили травмы⁵.

Учитывая склонность современного менеджера к международным «стандартам» компетенции, результатом минимальных улучшений социальных условий в Корее, вызванных постоянными и мощными уличными демонстрациями, стало зафиксированное снижение привлекательности Кореи как капиталистического производителя. Человек, который внимает современной риторике о свободных рынках и свободных людях, придет к выводу о прогрессе в сфере социальной справедливости и демократии. В отношении западной

цивилизации этот вывод справедлив. Менеджер, однако, оставляет риторику в стороне, когда речь идет о специфике. С его точки зрения, Корея теперь менее конкурентоспособна.

Для компаний, которые желают активно действовать на североамериканском рынке, теперь намного более привлекательно совместное производство в южных штатах США и северных штатах Мексики. Социальные стандарты на американском юге никогда не были высоки, но сейчас промышленные инвесторы в поисках дешевого, незастрахованного и социально незащищенного труда пытаются еще больше понизить их. В нескольких часах езды дальше на юге, поперек границы, находится обширный район, называемый зоной маквиладоры (предприятие в пограничной зоне, на котором для производства готовых изделий используются детали, импортированные в Мексику без пошлины — *прим. ред.*). В южных штатах зарплата составляет половину от зарплаты на севере США, в Канаде и Европе. В зоне маквиладоры законы о детском труде и о технике безопасности соответствуют уровню середины девятнадцатого века. А заработная плата составляет одну десятую от зарплаты в развитых странах. Опасные химические и взрывчатые вещества производятся там без затрат на охрану труда или защиту окружающей среды. Товары, изготовленные между штатом Теннесси и Мексикой, теперь более конкурентоспособны по сравнению с аналогичными товарами, изготовленными в Азии.

Задача такого совместного производства — уменьшение конкурентного давления на север Соединенных Штатов и Канаду, связанных ныне с югом в соответствии с континентальным договором об экономической интеграции; а также увеличение давления на другие страны, желающие конкурировать на этих рынках своими товарами. Эксперимент маквиладоры был настолько успешен, что корпорации принудили американское и мексиканское правительства к полномасштабному экономическому договору. Мексиканцы надеются, что это приведет к притоку капитала, созданию новых рабочих мест и росту экономики. Но инвесторов интересует, прежде всего, дешевая, незастрахованная рабочая сила и отсутствие стандартов промышленного производства.

Почему опытнейшие современные технократы так настойчиво стремятся дестабилизировать структуры в своих странах, содействуя развитию социальных систем, которые их предки около ста лет тому назад отвергли как преступные? И почему они или мы доверяем производству значительной части жизненно необходимых нам товаров странам с неустойчивыми режимами, в которых еще и не начинались экономические и политические изменения, которые сопутствуют промышленным революциям? Очевидно, им и в голову не приходит задуматься, к каким последствиям приведет подобная стратегия в их собственном обществе. Скорее всего, в ответ на это менеджеры в правительстве и в корпорациях сошлются на свои диаграммы и скажут, что других вариантов нет.

В их поддержку выступит и огромная армия профессоров бизнес-школ и экономистов, которые тратят большую часть своего времени на работу по заказам корпораций. Эти люди дают интеллектуальное обоснование экономическому мазохизму. В основе их исследований всегда лежит рынок. Любое комплексное рассмотрение общества, социальных проблем, этики, демократии и самого капитализма всегда вынесено за скобки. Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса и автор нескольких книг о конкуренции, пользуется большим влиянием в правительствах ряда стран. Он и ему подобные дали «научные» определения теоретическому «рынку» и свойственной ему теоретической «конкуренции», которая необходима для любого, желающего выжить в этих условиях. В этих определениях обосновывается необходимость отмены любого, даже минимального социального контракта⁶.

Сложность финансовых формул и математических моделей, которые он использует, предполагает, что в науке об управлении бизнесом существует огромный прогресс. В действительности, то, что рекомендуют Портер и многие другие, это возвращение к экономике времен дикарей. Под налетом их высокопрофессионального подхода скрывается глубокий пессимизм в отношении к цивилизации, неспособной определить направление своего развития. Из этого следует, что

мы должны пассивно подчиниться рыночным силам и тратить все наши способности на отражение этих зверских «естественных» сил, а не на подчинение их или управление ими, даже если результат такой пассивности — разрушение нашего общества.

Любопытно, но аргументы, используемые этими экономистами и «мудрецами» из бизнес-школ, не только затемняют основные экономические понятия, но они также чужды корпоративной жизни с бесконечными совещаниями, нацеленными больше на сбор информации, которая используется против тех, кто знает меньше. Руководитель львиную долю времени тратит на привлечение на свою сторону покровителей, привлечение кого-то в свою систему, построение крепостей из дополнительных структур и разработку планов, которые будут осуществляться через структуру. Комичность корпоративной жизни непроизводительной корпорации не раз высмеивалась в литературе и печати.

Менеджер готов рисковать преимуществами всего западного общества, потому что он оторван от реальности. Он не является владельцем. Он не несет реальной ответственности. Он не любит конкретики капитализма. Его мир — абстракция. В отрыве от действительности он понятия не имеет, как далеко можно зайти. Общественное сознание девятнадцатого столетия могло служить тормозом для возможных действий капиталистического монстра. Чем больше он действовал против сложившихся интересов своего общества, тем больше страдала репутация. По мере роста своих амбиций в обществе, он был вынужден, подобно Эндрю Карнеги, сдерживать себя, и пытался восстановить свою репутацию, совершая добрые дела. А менеджер имеет дело с теориями капитализма, а не с капитализмом. (По абстрактным стандартам мексиканцы более конкурентоспособны, чем немцы.) Он представляет эту «правду» как неизбежность. Фригидность, а точнее, асексуальность заключается в том, что он утверждает, что судьба — раб теории, так же как и он сам.

Очень многим он напоминает нувориша восемнадцатого столетия, пытающегося выдавать себя за аристократа. Ма-

нерностью, нарядами и снобизмом он превосходит любого герцога. Менеджер — *благородный буржуа* капитализма.

Это заметно даже в самых надежных корпорациях. Корпорация Boeing, например, является не только крупнейшей, но, вероятно, и лучшей самолетостроительной компанией. Компания пользовалась заслуженным успехом, продав самолетов на 30 миллиардов долларов в 1988 году и имея портфель заказов еще на тысячу самолетов. Чтобы удовлетворить этот спрос, компания пошла на привлечение дополнительной рабочей силы в таких объемах, что вскоре трудовой стаж приблизительно сорока процентов рабочих составлял менее двух лет. Чтобы конвейер работал быстрее, на всех оказывалось огромное давление. Результатом стало резкое снижение качества. Перепутанные провода в системах предупреждения, перепутанные провода в системах огнетушения. Тридцать случаев неправильной сборки. Окружающие двигатель температурные датчики, установленные в обратном порядке. Разваливающийся крыльевой закрылок в первый день полета самолета. Авария «Боинга-737» из-за усталости металла во время полета. Развал части «Боинга-747» в полете. Авиационное агентство США начало проверку порядка сборки самолетов компании⁷.

Почему наемные руководители Boeing не понимали, что темп производства был слишком высок? Разумный руководитель пришел бы к выводу, что компания, ограничивая объем выпуска самолетов невысокого качества, только повысит свою репутацию. Почему они считают, что скорость при сборке и объем выпуска важнее всего? Почему они думают, что так легко добиться точности выполнения работ? Руководствуясь абстрактной логикой и стремлением к максимальной прибыли, они не способны проявлять осторожность, работая в одной из самых лучших высокотехнологичных корпораций в мире. Ни система, ни менеджеры не обладают осторожностью, присущей здравому смыслу.

Одним из самых оригинальных изобретений современных корпораций было разделение валюты на два вида — мнимые деньги и реальные деньги. Мнимые деньги принадлежат

корпорации, но используются служащими, прямо или косвенно, для их личной жизни. Реальные деньги люди по мере надобности достают из своих карманов. Некоторые имеют только реальные деньги. Фабричные рабочие, например. Или лица, имеющие собственное дело. Или литераторы и живописцы, а также люди, имеющие нерегулярные доходы.

На Западе, начиная с определенного уровня, служащие как в промышленности, так с недавних пор и на государственной службе живут в значительной мере на мнимые деньги. Они едят, путешествуют, говорят по телефону, ездят в автомобиле, не задумываясь о реальной стоимости всего этого, потому что эта стоимость зависит только от занимаемого ими места. Трудно представить приличный городской ресторан, который не получает по крайней мере половину своего дохода в мнимых деньгах. В обеденное время эти цифры близки к 100 процентам. Городские гостиницы стояли бы пустыми без менеджеров корпораций. Рынок качественных автомобилей давно бы зачах без спроса на служебные машины. Спортивные клубы оказались бы несостоятельными без членства в них сотрудников компаний. Специальная категория более дорогого авиапутешествия — бизнес-класс — была создана для менеджеров среднего звена. Если на борту самолета есть реальные капиталисты — то есть и те, которые на свой бизнес тратят собственные деньги. Они, скорее всего, занимают дорогие места.

У акционеров, которые, в конце концов, и являются владельцами корпораций, нет никакой возможности подсчитать расходы корпораций, исчисляемые в этих мнимых деньгах. Официальные «льготы» менеджера или оплата их счетов — только малая часть общей суммы. Остальная часть включена в самооправдывающий метод управления корпоративной структурой. Мнимые деньги не увеличивают вдвое затраты на персонал. По сравнению с реальным уровнем зарплаты, фактическая цифра расходов на персонал, благодаря использованию мнимых денег, будет в три или четыре раза выше. Для акционера, в плане определения финансовых затрат, промышленный менеджер остается вне контроля. Чем больше он наживает за счет своей компании, тем больше он

ощущает себя капиталистом и действительно становится им. Чем выше он продвигается по корпоративной лестнице, тем больше он тратит мнимых денег, в размерах, которые никак не увязаны с интересами компании или с потребностями бизнеса, которым он занимается. Размер и интерьеры некоторых офисов, например, являются только деталями размера и архитектуры корпоративных зданий. С чем связано, например, решение облицевать новую штаб-квартиру компании мрамором: с потребностями корпорации или с эго генерального менеджера? Сама форма офисных небоскребов теперь изменяется, чтобы подчеркнуть ложный пафос руководителя. Капиталист обычно имеет угловой офис. Поэтому в наши дни все больше офисных зданий возводятся с зигзагообразными фасадами, что значительно увеличивает их стоимость. Как выразился один из ведущих нью-йоркских архитекторов: «Чем больше в здании угловых офисов вы можете построить, тем выше становится рыночная стоимость здания»⁸.

Когда вы читаете эти строки, в этот самый момент десятки тысяч служащих летят в реактивных самолетах корпораций. Это происходит потому, что считается, что эти частные самолеты помогают им развивать и расширять бизнес. Вероятнее всего, это не так. В большом бизнесе очень редко бывает, что доли секунд решают все. Наоборот, заключение крупных сделок не терпит суеты. Чаще всего крупные проекты продвигаются медленно и сложно. Кроме того, не существует никаких реальных требований производства, заставляющих руководителя лететь на реактивном самолете. Коммерческая система полностью соответствует корпоративному расписанию. В Северной Америке существует примерно от 20 тысяч до 60 тысяч самолетов бизнес-класса. Маленький реактивный самолет стоит от трех до двадцати миллионов долларов. В эту сумму не включаются затраты на пилотов, страхование, аренду взлетной полосы и стоимость топлива.

Создается впечатление, что эти люди полагают, будто скоростью перемещений, встречами с большим числом людей и организацией большего количества заседаний им удастся подменить реальный процесс промышленного производства.

Можно предположить, что их судорожные передвижения являются попыткой имитации экономического роста.

«Наше отношение к росту является сутью существующей дилеммы индустриального общества, — писал бизнесмен и защитник окружающей среды Морис Стронг. — Это болезнь, которая распространилась по всему телу современных технологических обществ»⁹. Наша зацикленность на прибыли заставила нас вернуться к идее, что быстрый рост является особенностью капитализма. Несомненно, что успехи в развитии технологий способствовали быстрому росту. С 1900 года мировой валовой продукт вырос в двадцать один раз, использование ископаемого топлива почти в тридцать раз, а промышленное производство в пятьдесят раз¹⁰. Следствием этого стал резкий рост уровня жизни и демографический взрыв — от 1,6 миллиарда человек до 5 миллиардов в течение восьмидесяти лет. Увеличение производства товаров на Западе еще в большей степени усугубило последствия этого роста. Мы продаем наши товары всему миру в обмен на дешевые природные ресурсы. Совокупность этих обстоятельств и стала предпосылкой исключительного роста прибыли. И поскольку подобный результат наблюдался и в предыдущую эпоху, то наше современное деловое сообщество, лишенное линейной памяти, начало рассматривать быстрый рост и огромную прибыль как основные характеристики успешного бизнеса, в то время как в действительности это — всего лишь кратковременная аномалия.

Население в развивающихся странах продолжает расти, и это делает их еще более бедными. В росте населения на Западе отмечается пауза на нулевом уровне. В нашей производственной сфере также должна наступить определенная пауза. В противном случае, если капитализм воспринимать как машину, которая должна производить гигантскую, постоянно возрастающую прибыль, в будущем неизбежна катастрофа. Нам следует вернуться к стандартным ожиданиям и проще относиться к более скромным результатам.

Богатство реального капиталиста — владельца-менеджера — было результатом обладания собственностью и реинвестиций в нее. Капиталист посвятил себя производству. Он не стремился

к неперенному ежегодному росту прибыли. Учитывая низкий уровень инфляции, он был весьма счастлив, если получал прибыль в 5–7 процентов. То, к чему он действительно стремился, так это к устойчивым рынкам сбыта товаров. Невозможно вернуться к тому, что было раньше, но важно представить стремление к основательности реального среднестатистического капиталиста, чтобы правильно оценить лихорадочные и бесцельные потуги современного менеджера и спекулянта.

Современные менеджеры внушили себе, что прибыль является важнейшей чертой капитализма и что они являются новыми капиталистами. А отсюда до смешения понятий «корпоративная прибыль» и «доходы менеджеров» всего один шаг. За прошлое десятилетие топ-менеджеры постепенно переняли манеры капиталистов и начали открыто выплачивать себе такие вознаграждения, как будто они владельцы компаний. Таким образом, одновременно с падением реальных доходов в западных странах и усилением борьбы за увеличение заработной платы трудящихся в связи с возможным ростом инфляции, топ-менеджеры удвоили и утроили размеры своих зарплат. В Великобритании только в 1988 году рост доходов топ-менеджеров составил 31,5 процента. И это не считая поправок на рост инфляции, которая в среднем тогда была на уровне 4,7 процента¹¹. В 1990 году в Великобритании старая и солидная «Prudential Corporation» потеряла 300 миллионов фунтов стерлингов в одном рискованном предприятии и была вынуждена впервые за полвека сократить выплату дивидендов по вкладам пенсионеров на 8 процентов. В то же время зарплата руководителя корпорации выросла на 43 процента: 3000 фунтов стерлингов в неделю. Потери не менее солидной «Norwich Union» составили 148 миллионов фунтов стерлингов за тот же год. Но они компенсировались 23-процентным увеличением заработной платы руководителя компании. Президент компании «Rolls-Royce» лорд Томбс повысил себе зарплату на 51 процент, в то время как 34 тысячи рабочих находились под угрозой увольнения в случае неподписания ими новых соглашений, в которых предусматривалось замораживание их заработной платы¹². Стало распространенным явлением, когда компании на Западе платят своим

руководителям более миллиона долларов в год. Сумма реального дохода, включающего различные льготы, схемы с акциями и прочие комбинации, будет в несколько раз больше. Иными словами, менеджер так глубоко вжился в роль капиталиста, что стал путать свою личную прибыль с прибылью компании и больше заботится о своем процветании, чем о процветании акционеров.

При виде реальных собственников больше всего выходят из себя те, кто управляет и не является собственником. Для менеджера владелец компании всегда является напоминанием о его незаконных претензиях; напоминанием, что менеджер присвоил себе должность владельца, а затем совершенно исказил круг обязанностей с учетом своих личных потребностей, чтобы иметь больше комфорта.

Логика времени имела отношение к тому, что случилось с нашими экономическими системами, но новые элиты, промышленная и правительственная, также сыграли большую роль. Они создали и условия на рынке, и законодательство, которые препятствуют частной собственности и мелкому бизнесу, способствуя росту больших акционерных компаний. Тем, кто создает компании, бывает трудно превратить их в крупные компании, не поддаваясь на выгодные предложения покупки от крупных корпораций.

Не удивительно, что с управлением и владением частных крупных компаний возникли структурные затруднения. Владение ими стало немодным. Финансовые учреждения, корпорации и чиновники свысока смотрят на сотни тысяч собственников мелких предприятий, в которых владельцы трудятся, чтобы зарабатывать реальные деньги. Мир крупного капитала предпочитает принцип анонимности. Руководитель компании фактически не притрагивается к деньгам. Он занимается своей профессией. В этом качестве владелец оказывается изолированным — на него смотрят как на чудака, корпоративные структуры которого недостаточно сложны. Его желание лично управлять своими средствами производства вызывает сомнение в стабильности его эго. Важный современный капиталист не выделяется. Он смешивается со

структурой. Он не индивидуалист. Эта тенденция завораживает, и владельцы мечтают стать настолько богатыми и успешными, чтобы продать свои компании корпорации и стать, наконец, управляющими, то есть служащими.

Виноградари Бургундии по всем параметрам живут в условиях, близких к идеальным. В их работе находят применение почти все области человеческих знаний. Они должны быть очень квалифицированными фермерами, одаренными химиками, талантливыми менеджерами, представителями по связям с общественностью и опытными продавцами. Они работают как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Они связаны с местными традициями и с международной торговлей. Единицы из них имеют виноградники, превышающие по площади 30 гектаров. Но тем не менее, они — миллионеры, более состоятельные, чем большинство президентов корпораций. Отдельные годы благоприятны для виноградарства, другие — нет. Но запасы созревающего в подвалах вина обеспечивают им финансовую стабильность. Это один из самых приятных, разнообразных и доходных видов мелкого бизнеса в мире. И все же — и с каждым новым поколением все чаще — дети, получив виноградники по наследству, сдают их в долгосрочную аренду и уезжают, чтобы стать служащими в корпорациях, преподавателями или государственными служащими. Быть наемным работником, даже с более низким потенциальным доходом, престижно. На тех, кто работает на себя, смотрят сверху вниз.

В этом заключаются две важнейшие характерные черты современного капиталиста. Во-первых, он хочет быть частью. Он много говорит о своем индивидуализме, но ничто не пугает его больше, чем независимое действие. Он — исключительный конформист. Во-вторых, он избегает ответственности подобно европейским аристократам, однажды сбежавшим из своих поместий в королевские дворцы, как будто управлять чем-то было ниже их достоинства.

Это бегство от ответственности — бегство и от воображения. В основе практического соревнования лежит воображение, то есть стремление создать лучшие или новые продукты.

Решение торговать новыми товарами связано со многими рисками. Один из основных аргументов в пользу капитализма: покупателю предлагается выбор из самого широкого ассортимента товаров.

Никто не отрицает, что наша экономическая система действительно производит максимальное количество товаров. Но она не заинтересована в удовлетворении всех запросов населения. Главная задача менеджмента состоит в том, чтобы минимизировать как риски, так и долгосрочные инвестиции. В основе этого лежит пылкая вера в экономию за счет роста производства. Если бы корпорации на самом деле заботились об удовлетворении разнообразных вкусов населения, то им пришлось бы создавать множество мелких производственных линий. Вместо этого они производят продукты в упаковках с примитивным дизайном, которые полностью соответствуют усредненному вкусу усредненного покупателя, наводя таким образом рынок огромным количеством почти идентичных товаров, спрос на которые уже давно изучен.

Как ни странно, битва на рынке не ведет к увеличению возможностей выбора для покупателя. Вместо этого она вращается вокруг невидимой организационной стратегии и видимой упаковки и рекламы. Эту битву за количество без разнообразия можно видеть в любой области: от высоких технологий до производства массовых изделий; от видеомагнитофонов, компьютеров и автомобилей до простой торговли носками.

При посещении любого магазина спорттоваров в Европе, Северной Америке или Австралии создается впечатление, что в продаже имеется множество самых различных носков. Различие в цене указывает на различное качество. Упаковка и ярлыки подскажут, что эти носки — для тенниса, в то время как те — для бега трусцой. Цвет и форма упаковки скажут нам, что их содержимое потрясающее. А изображения на них будут внушать покупателю, что у него уже имеются или скоро появятся огромные мускулы. Ярлыки напомнят об известной во всем мире рекламе, подсказывая, что эти носки носит самый быстрый бегун или самый богатый чемпион.

Но внутри упаковки будет находиться одна из двух основных моделей. Те, что короче, предназначены для тенниса, бега трусцой и так далее. Другие, длинные носки предназначены для горнолыжников или лыжников на равнине и для других зимних видов спорта. Вязка всех коротких носков будет практически одинаковой. Содержание искусственных нитей будет равно или 100, или 30 процентам. Состав длинных носков точно такой же, но они более плотной вязки. Короткие носки будут, скорее всего, белого цвета, возможно, с полосками сверху. У длинных носков будет большая цветовая гамма, возможно, для контраста со снегом во время спортивных состязаний. И лишь в редких, как музеи, магазинах за скромным фасадом можно убедиться в том, что разнообразие и качество еще существуют. Там вы найдете их, без намека на фирменную упаковку, множество спортивных носков с явными различиями — разных по вязке, материалу, цвету, длине. Удивительно, но вы увидите, что цены в таком магазине на более качественные и разнообразные изделия ниже, чем в магазинах, где продаются товары массового производства. Экономия за счет роста производства зачастую улетучивается, пока товар доходит до прилавка магазина. Не потому ли, что в цену изделия входят затраты на упаковку и поддержку корпоративной структуры, с ее менеджерами, которые фактически не занимаются реальным производством носков? Или это феномен соревнования в сфере искусственно ограниченного спроса на продукцию массового производства и массового распределения — сфере, которую называют олигополией?

Носки — простой пример того, как рынок предлагает все большие и большие количества все более и более одинаковых товаров. Производители в области электроники следуют точно по такому же пути, не испытывая ни малейшего смущения, скорее всего, потому, что их продукция — изобретение современной эпохи. В случае с электроникой различается только упаковка изделия, но она играет роль приманки для покупателя. Таким образом, современный капитализм извратил суть реального соревнования. Стремление создавать различные продукты, конкурирующие между собой благода-

ря различным качествам, было подменено стремлением внушить потребителям, что существуют различия среди фактически идентичных продуктов, при помощи конкуренции между различными видами упаковок.

Естественно, что при таком симбиозе товаров усредненного качества, единых структур и «выдающихся» топ-менеджеров наибольший урон терпят небольшие компании. Но кроме этого, против них активно действует менеджмент больших корпораций. Отсутствие интереса к долгосрочным инвестициям, нежелание рисковать, расширяя ассортимент продукции, подталкивают менеджера к поиску иных организационных способов увеличения прибыли.

Самое простое решение состоит в приобретении других производственных мощностей. Поглощение и приобретение других компаний имитирует рост, уничтожая творческий потенциал других. И так как большие «зонтичные» структуры всегда гасят творческий потенциал поглощенной компании, вместо того чтобы стимулировать его рост, то возникает непрерывная потребность во все новых и новых приобретениях. Как в случае с Дракулой — крови никогда не бывает слишком много.

Современная мифология «свободного рынка» внушает нам, что случаются и неудачи. Капитализм жесток. Слабые погибают. Сильные выживают. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену, а небольшие предприятия уже не выгодны. Мы стали свидетелями полезного, с точки зрения наших капиталистов-менеджеров, мероприятия: прополки нашего заросшего сада, то есть модернизации западной экономики. К сожалению, эта гипербола не имеет никакого отношения к происходящему.

Большие корпорации в действительности стали разнообразностью депозитных банков. В беспокойные времена они играют роль инструментов для измерения ценностей, подобно тому как ранее этим инструментом было золото. Они обладают собственностью, производственными мощностями, квалифицированным персоналом и устоявшимися рынками. Эта основательность привлекает не только акци-

омеров, но и правительства. Это та поддержка, которую они получают вне зависимости от эффективности и прибыли.

Начиная с 1973 года отмечались лишь единичные случаи банкротств больших структур из общего количества десятков тысяч банкротств разных корпораций. Банкротились небольшие компании, не боявшиеся высокого уровня риска. У этих компаний не было защитного подкожного жирового слоя, поэтому десять лет высоких процентных ставок и разорили их. А выжили те из них, которым банки давали некоторые послабления.

Высокие процентные ставки способствуют временному и незначительному замедлению инфляции, но они же до такой степени изменили ландшафт капитализма, что после этого нормальное экономическое выздоровление стало невозможным. Во-первых, цифры инфляции совершенно не соответствуют реальному положению дел. Нашей системе слежения доступен только узкий сегмент видимых цен. Различные индексы потребительских цен и другие инструменты измерения не охватывают того, что происходит в действительности. Во многом реальная инфляция сейчас гораздо выше той, которая отмечалась, например, в семидесятые годы. Поэтому то равновесие, которое является результатом применения политики монетаризма, искусственное, и с началом роста возрастает также и измеряемая инфляция. И сразу же вновь растут процентные ставки, сокращая рост, а вместе с ним и занятость. Использование высоких процентных ставок для подавления инфляции, получившей узкое определение, напоминает процедуру кровопускания, чтобы сбить жар у пациента. На время температура больного снижается. Но причина болезни — не температура. У пациента серьезная инфекция, которая и является причиной пота и жара. Не понимая этого, врач может продолжать отворять кровь до тех пор, пока больной не умрет.

В результате нашей антиинфляционной политики последних двух десятилетий небольшие, не очень богатые, но агрессивные компании потерпели банкротство, а процветали огромные, неповоротливые, со слабым руководством, но богатые корпорации. Банки предоставляли им кредиты на бла-

гоприятных условиях. Да и сами они печатали деньги, выпускающие новые акции. Правительства относятся к ним как к квазиобщественным организациям. Конечно, трудно обвинять политиков, чья перспектива закрытия больших корпораций приводит в ужас. Серьезный рост числа безработных — признак банкротства экономической политики. Кроме того, когда менеджеры лоббируют правительства, они становятся силой, поддерживающей правящую партию. Они говорят на том же самом языке, что и правительственные чиновники, на которых они хотят повлиять.

Подобные операции координируют и совместно проводят менеджеры компаний и государственные служащие. В результате творческое начало капиталистов хиреет, и развивается их талант к финансовым спекуляциям. Меры, принимаемые властями для финансового оздоровления, вынуждают «толстых» сбросить «жирок» и превратить его в наличность. Когда эти меры отменяются, корпорации снова «нагуливают жир», заглатывая мелких и слабых. В США только в 1984 году было израсходовано почти 300 миллиардов долларов кредитных средств на поглощение, приобретение и выкуп компаний. В Великобритании до кризиса 1973 года на покупку компаний ежегодно расходовалось до 150 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время на эти цели расходуется более 15 миллиардов фунтов в год. Неизбежный процесс перехода права собственности за счет выкупа, на первый взгляд, не вносит изменений в положение компании, но на самом деле — это специфический инструмент спекуляции. Например, в 1988 году объем сделок в области слияний-поглощений во всем мире составил 5634 сделки и вырос до 375,9 миллиарда долларов. После этого наступил крах спекулятивного рынка. Но по данным за 1989 год значительного уменьшения числа сделок не произошло, имели место 5222 сделки на сумму 374 миллиарда долларов¹³.

По мнению обывателей, это результат деятельности спекулянтов типа Т. Буна Пикенса. Но это не так. Спекулянты — это только отражения менеджеров. В первую очередь рост числа спекулятивных сделок стимулируется самим руководством крупных корпораций. Они уподобляются слепым сви-

ням, которые бродят по ферме и набивают брюхо чем попало. Люди думают, что преданные менеджеры пытаются бороться с жадными спекулянтами. Конечно, в отдельных случаях так оно и есть. Но чаще всего они выступают против спекулянтов из опасения потерять свои должности. Однако менеджеры уже перестали выступать с требованиями об ужесточении контроля над спекулянтами именно потому, что они выступают единым фронтом.

Существует и другая проблема: сами менеджеры выкупают акции предприятий. Могут спросить, что в этом плохого? В конце концов, они становятся реальными капиталистами, владельцами средств производства, владельцами-управляющими. На самом деле этого не происходит. Эти акции включаются в статью задолженности предприятия, которая превышает собственный капитал компании порой в пять, а то и в десять раз. Таким образом, менеджеры компаний вместо того, чтобы отвечать за собственность акционеров, подменяют ее неким подобием собственности, основанной на долгах, которая и привела в свое время к Великой депрессии (мировой экономический кризис 1929—1933 годов — *прим. ред.*). В этом мире менеджеры одной крупной компании начинают управлять менеджерами другой, чаще всего меньшей компании. Если исходить из абстрактной теории, то это игра по правилам. Но фактически они наносят ущерб той корпорации, собственниками которой и являются, обременяя ее долгами, и таким образом финансируют ее поглощение. Чем более привлекательна компания, тем больше у нее шансов быть поглощенной. За десятилетие многие компании поглощались два, а то и три раза. И каждый раз затраты на приобретение предприятия заносились на счет продаваемого предприятия.

Совокупная задолженность американских корпораций сейчас составляет 2,2 триллиона долларов. Она почти удвоилась за пять лет. Выплата процентов по ней составляет 32 процента от общего оборота денежных средств американских корпораций. В эту цифру не входит 1,1 триллиона долларов непогашенной задолженности перед сектором частных финансов, то есть суммы средств, полученные финансовыми

институтами, главным образом, через облигации корпораций и краткосрочные корпоративные обязательства, используемые для нужд корпораций. В эту сумму не входят также 1,17 триллиона долларов непогашенной задолженности некорпоративных секторов, большая часть которой приходится на сферу обслуживания. Иными словами, более 32 процентов общего объема денежных средств американских корпораций приходится на выплаты процентов по долгам.

И тем не менее, руководители бизнес-сообщества постоянно критикуют правительство за большой объем государственного долга, на обслуживание которого ежегодно приходится тратить около 15 процентов налоговых поступлений. В Великобритании корпоративный сектор тратит около 11,5 процента своего дохода на обслуживание долга. А правительство тратит на эти же цели 10 процентов своих поступлений.

Незначительная часть этих корпоративных расходов идет на реальное развитие производственных мощностей корпораций. Фактически — это печатание и оборот бумаги, которой дают название денег. В том же 1984 году, когда в Соединенных Штатах потратили 140 миллиардов долларов на слияние, приобретение и скупку компаний при помощи заемных средств, из корпораций фактически исчезли акции на сумму 78 миллиардов долларов¹⁴.

Причины, которые побуждают крупные корпорации поглощать мелкие компании, ничего общего с капитализмом не имеют. Департаменты по связям с общественностью сочиняют панегирики, типа того, что был произнесен после приобретения корпорации «Kraft» компанией «Philip Morris» за 13,5 миллиарда долларов: «Мы уверены, что объединение «Philip Morris» и «Kraft» позволит создать американскую компанию по производству продуктов питания, которая сможет более эффективно конкурировать на мировом пищевом рынке»¹⁵. В действительности же эти финансовые сделки на огромные суммы никоим образом не связаны с использованием и развитием средств производства. Они связаны со структурами управления корпораций, в которых применение «все более абстрактных» финансовых методов позволяет со-

здавать иллюзию роста. Проблема не только в том, что существуют определенные правительства, служащие интересам определенных деловых структур. Это логическое завершение методов управления, которые развивались в течение ста лет. Как и в других областях, нечестным людям использовать совершенно рациональную систему намного легче, нежели честным. В данном конкретном случае, потакая безудержному росту финансовой манипуляции, власти впервые с 1933 года освободили мощные силы бессовестной спекуляции.

Подтверждением того, что эта лихорадочная деятельность является иллюзией, может служить изучение реальной статистики экономик западных стран. Объемы экономик стран Запада сокращались с 1960-х годов, и в течение последних десяти лет, когда происходило разгосударствление, они продолжали сокращаться. Реальное производство, например, тракторов является результатом совокупной деятельности людей, которые имеют опыт в области производства и продаж. Трактора продаются людям, которые конкретно используют их. Основные способы капиталистической деятельности конкретны. Методы финансового планирования и управления, в лучшем случае, второстепенные помощники в этом деле. Остальное, как говорится, пустые разговоры, кружева, украшения.

Часть таких пустых разговоров — утверждения о том, что слияния компаний способствуют диверсификации корпораций, что, в свою очередь, обеспечивает стабильность в трудные времена. Кроме того, это способствует и расширению круга возможностей конкретной организации. На самом деле, эти возможности не используются. Вместо этого менеджеры вынуждены разрабатывать еще большие структуры, управление которыми, несмотря на их разнообразие, однотипно. Все должно быть подогнано друг к другу, и на бумаге так оно и происходит. В результате руководящие менеджеры знают все меньше и меньше о том, что фактически делает компания, в то время как обладающие конкретным опытом и конкретной квалификацией втиснуты в корпоративные рамки и выполняют работу, не имеющую никакого отношения к производству. Те, кто не знают, пытаются рло-

ширить свою власть и полномочия, в то время как те, кто обладают знаниями, живут в страхе сокращения смет или потери рабочего места.

Руководящие менеджеры и их советники-теоретики из бизнес-школ в конце концов обнаружили, что эти методы не работают. Их реакция была тройственной. Во-первых, закрыть неконкурентоспособные производства. В качестве варианта предлагался перевод целых отраслей производства в страны Третьего мира. Во-вторых, перевести сами корпорации в страны Третьего мира, чтобы использовать в своих интересах избыток местной рабочей силы и низкий уровень социальных стандартов, то есть вернуться в эпоху ранних индустриальных обществ, фактически подорвать социальный консенсус на Западе. В-третьих, полностью изменить вектор развития последних двадцати лет, раздробить корпорации на полуавтономные компании или выборочно распродавать сектора. Эти полуавтономные структуры дают менеджерам все инструменты независимости, кроме самых главных. Что касается распродажи секторов компаний, то этим все возвращается на круги своя, то есть к меньшим по размеру, специализированным, независимым компаниям. Но этот процесс обременялся двойным долгом, каждая часть которого равнялась стоимости компаний. Первая состояла из долгов компании, которые возникли во время первого поглощения. Второй долг состоял из сумм выплат тем же самым владельцам, которые хотели выйти из компании сейчас.

Наконец, есть четвертое решение, которое заключается в попытке перенести волшебные методы производства с Востока на Запад. Восток в данном случае означает Японию, и надо сказать, что японский метод, по крайней мере, конструктивен. Он также имеет налет экзотического очарования, которое всегда привлекает взрослых, когда они высказывают желание учиться. Разумеется, в 1960-х и в начале 1970-х годов нынешние японофилы, предлагающие восточный выбор, объясняли своим студентам или писали в журналах, что Япония не прошла через период индустриальной революции, вместо этого имело место насильственное внедрение индустриальных методов производства в средневековую патерна-

листскую социальную систему. Но это было невозможно с социальной точки зрения. Поэтому неизбежна революция, в результате которой вся структура разрушится.

Сегодня западные экономисты и бизнес-философы называют этот симбиоз передовых промышленных предприятий со средневековыми отношениями японским чудом. По их понятиям, этот религиозный термин весьма уместен. Это совпадает с их собственной трансформацией и ролью на пути к застою. Они — сторонники кардинальных решений и поэтому много говорят о взаимодействии, участии рабочих в управлении и преданности компании. Почему западный «белый» или «синий воротничок» должен озаботиться преданностью, участием и взаимодействием, не ясно, в то время как от предприятий, на которых они работают, менеджеры при помощи спекулянтов избавляются с безразличием, напоминая торговлю рабами. И если они будут проявлять преданность, и их взаимодействие на самом деле приведет к успеху на рынке, то их предприятие, вероятно, очень скоро окажется перегруженным долгами, чтобы руководство смогло профинансировать очередной управленческий проект. Существует много способов производства и продажи идентичных предметов. На Западе дискуссия об участии работников в управлении капиталистическим предприятием началась в 1799 году, когда Роберт Оуэн, успешный директор фабрики, приобрел в Нью-Ланарке, в Шотландии текстильную фабрику и организовал образцовое сообщество, основанное на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Его работа способствовала становлению кооперативного движения, которое стало развиваться в различных направлениях, например, в Германии при Бисмарке, а потом намного позже во Франции при де Голле. Согласно шведскому историку Хакану Бергтрёну, идеи Оуэна, через манчестерскую школу фритредерства, способствовали развитию шведской модели социал-демократии. Отсюда следует, что Западу нет особой нужды перенимать опыт Японии, которая нашла свой вариант развития, соединив специфические элементы Средневековья с новейшими достижениями постиндустриальной эпохи.

Наши мыслители не могут понять, что проблемы Запада заключаются не в методах производства. Конечно, на фабриках и заводах они видны более рельефно. В производственной сфере их труднее замаскировать. Но сама проблема в значительной степени заключается в структуре управления и в самом управлении. Если они желают обратиться к Востоку, они должны заметить, что японские компании не имеют больших организационных структур. В японской системе управления большинство западных менеджеров осталось бы без работы по той простой причине, что они не соответствуют уровню исследования, разработки и производства товаров.

Коренное преобразование методов и структуры управления не рассматривается современным западным менеджментом среди вариантов решения данной проблемы. Тем не менее, несоответствие средств производства уровню абстрактных систем действительно представляет собой серьезную проблему. Одно из решений, по мнению менеджмента, заключается в том, что, поскольку экономика движется к более высокому уровню развития техники и образования, то и системам управления также следует переходить от производства к столь заманчивой сфере услуг. Итак, будущее цивилизованного человечества — за индустрией сервиса.

Прежде чем принять эту столь привлекательную идею, стоит заглянуть в современный словарь английского языка, например Оксфордский: «Сервис: от лат. *servitium* (рабство). Состояние, положение или занятие слуги». Вслед за словом «сервис» приводятся следующие однокоренные в английском языке слова: услужливый, пригодный к эксплуатации, подчиненный, рабский, рабство, каторжный, зависимый.

Философ-теоретик менеджмента ответил бы: да, именно так. В будущем цивилизованный человек станет приобретать менее сложные товары, например сталь, в слаборазвитых странах, а у себя в стране будет развивать только сферу услуг. Но профессор перепутал определения. В основе индустрии сервиса лежит не обслуживание населения, а реальная индустрия, производство, а оно предполагает зависимость от то-

го, кто производит товары. То есть по мере роста производства товаров в «менее» цивилизованных странах будет возрастать и их политическое влияние.

Что же это за зависимость? Ответ прост — индустрия сервиса, или сфера услуг, пользуется спросом только до тех пор, пока реальная промышленность продолжает поставлять основные товары по приемлемой цене на рынок, где население может позволить себе их приобретение. Эти три критерия должны быть удовлетворены, прежде чем люди могут позволить себе тратить деньги на сферу услуг, в зависимости от наличия денег у них в кармане. Беспорядки, имевшие место в Корее, показывают, насколько деликатной может быть такая зависимость. Они также напоминают нам, что такие отношения предполагают наше согласие и финансовую поддержку социальной системы в этой стране. Даже Акио Морита, основатель корпорации Sony, то есть человек, который во всем превзошел западных менеджеров, не согласен с идеей о том, что сфера услуг является велением времени для развитых экономических систем. Он полагает, что экономический рост требует сохранения процветающей промышленной основы, которая может производить реальную добавленную стоимость¹⁶.

Закрыв словарь и открыв любую историю цивилизаций, любопытный читатель мог бы изучить характеристики обществ, находящихся в упадке. Общества или, скорее, элиты обществ в период между их ростом и упадком всегда обнаруживают, что продолжение конкретной деятельности, которая и привела их к благополучию, ниже их достоинства. И поэтому они начинают организовывать свою жизнь образом, диаметрально противоположным тому, который создал их цивилизацию и тем самым подтверждал необходимость ее существования. Однако они сохраняют неизменными изначально возвысившие их риторику и мифологию, в надежде, что эти талисманы защитят их.

Отдавая предпочтение индустрии сервиса, мы отходим от основных понятий общества среднего класса, преданного трудовой этике и исповедующего порой неправильную, а иногда и лицемерную, но всегда реальную веру в возмож-

ность достижения равенства людей. Как если бы мы не слышали о Карле Марксе, давайте попробуем рассмотреть суть его анализа. В то время как базис общества уже загнивает, его надстройка продолжает процветать, живя за счет распада. Но когда базис полностью разрушится, окончательное крушение блестящей надстройки под собственным весом — только вопрос времени.

Бизнесмены и экономисты утверждают, что крайне важно обратиться к сфере услуг, потому что она станет областью нового роста. Если бы продолжалось развитие традиционных отраслей промышленности, то благодаря модернизации будет сокращаться количество рабочих и возникнет постоянный кризис занятости. В этом есть доля правды. Но тогда и портрет нашего общества, столкнувшегося с необходимостью срочного выбора, неверен. В этом случае и описание преимуществ развития индустрии сервиса как способа решения проблем занятости — не более чем результат применения абстрактной логики.

Самые привлекательные области сферы услуг — области высоких технологий — являются наименее трудоемким сектором экономики. Семьдесят процентов затрат на производство полупроводникового микрочипа — это затраты на знания, то есть на исследования, внедрение и тестирование. Двенадцать процентов приходится на оплату труда. В отношении отпускаемых по рецепту лекарств, 15 процентов — на оплату труда и 50 процентов — знания. К тому же эти технологии используют все меньше и меньше сырья. От двадцати пяти до пятидесяти килограммов оптико-волоконного кабеля могут передавать столько же телефонных сообщений, как одна тонна медного провода. И на производство этих пятидесяти килограммов оптико-волоконного кабеля требуется только 5 процентов энергии, необходимой для производства одной тонны медного провода¹⁷. И это — устойчивая тенденция. Она предполагает, что мы приближаемся к концу ужасающего роста промышленной деятельности, последствия которого только начинают сказываться на земле. Дело в том, что серьезные сферы услуг не смогут способствовать большому росту постоянной занятости.

сти. Более того, области высоких технологий вообще нельзя относить к сфере услуг.

Но тем не менее, высокотехнологичные отрасли промышленности упоминаются всякий раз, когда начинают восхвалять сферу услуг. Предполагается, что компьютеры, программное обеспечение и передовые средства связи являются типичными для нашего будущего, которое будет базироваться на индустрии сервиса. В действительности они относятся к производственной сфере и необходимы для научно-исследовательской, проектной, внедренческой, производственной и коммерческой деятельности. Как подчеркивает Акио Морита, эти элементы невозможно выделить и сохранить в развитом мире, а производство переместить в Третий мир.

Но почему же тогда японские корпорации пошли по тому же пути, что и западные, строя заводы в таких странах, как Мексика и Таиланд? Ответ заключается в том, что их заграничное производство не является результатом решения разделить производство на отдельные сектора. Япония сознательно сохраняет в целостности собственную промышленность. Заводы за пределами Японии, прежде всего, — выражение успеха их экспансии на международной арене. Они могут привлечь выгоду из более низких затрат на производство за границей, но, если с занятостью внутри страны возникнут проблемы, скорее всего, заграничное производство будет свернуто. Дело в том, что японцы не разделяют нашего ревизионистского идеализированного представления о сфере услуг.

Изначально подразумевалось, что сфера услуг включает в себя все области, не производящие товары, то есть те, в которых не используются средства производства. Таким образом, в эту категорию входили обучение, средства транспорта и связь. Многие специальности этой сферы теперь называют профессиями сферы общественного обслуживания, но если их представители обучают или помогают людям, то, хотя бы косвенно, они вносят существенный вклад в производство. В любом случае, это те основные области общественных и коммунальных работ, которые не предполагается расширять. Наоборот, правительства повсеместно пытаются их сократить.

Есть также такие виды деятельности, которые не относятся к промышленности, и из-за нашего стремления к прибыли их вообще пытаются устранить из экономики. Речь идет о благотворительности и культуре.

Как сказал Морис Стронг, «большинство пока еще не удовлетворенных реальных потребностей, имеют нематериальную природу»¹⁸. Почему люди полагают, что эти услуги должны осуществляться на безвозмездной и добровольной основе, не ясно. Разве обеспечение продуктами одиноких стариков менее важно, чем производство мячей для гольфа? Каждый ответит, что нет. Но почему тогда первое рассматривается как добровольная деятельность, а второе — как важная отрасль промышленности? Ответ заключается в том, что наши управленческие элиты усвоили воззрение Эндрю Карнеги, что «наличие существенных различий между людьми необходимо как конкуренции, так и капитализму».

Важнейшие области сферы услуг, в которых создаются новые рабочие места, это области, которые создают и удовлетворяют искусственные потребности. Взрывное развитие индустрии потребления описывалось как неизбежный результат успешного, богатого и комфортного общества, которое может удовлетворить все необходимые запросы. Следующим шагом стало создание вещей и предоставление услуг, которые не являются необходимыми. Эти услуги и предметы потребления, не имеющие практической пользы, стали свободно развиваться, множиться, расти и громоздиться, создавая структуры, оправдывающие их существование. Они могли ухватиться за мельчайшие детали одежды, волос, кожи, звука, образа, интерьера, спорта, пищи, транспорта и превратить это в причудливый набор элементов, стиля, сложности и, главное, мнимой необходимости.

Это явление было бы объяснимым, если бы у западной цивилизации, особенно современной, кроме потакания своим прихотям, не было иной цели. Достаточно бросить взгляд на нашу историю, чтобы убедиться, что это не так. Оценивая современную ситуацию, мы видим, что одновременно с колоссальным ростом экономики во имя сиюминутных прихотей возрастает число людей, живущих в условиях вопиющей нищеты.

И в этом заключается реальный парадокс современного капитализма. Он довел до совершенства производство услуг, в которых люди не нуждаются и зачастую не хотят иметь. До высочайшего уровня доведено искусство внушения людям, что им необходим тот или иной товар или услуга и что они хотят это приобрести. Но капиталистическое производство с трудом предоставляет людям товары или услуги, которые им действительно нужны. Более того, капитализм тратит огромное количество времени и усилий на то, чтобы убедить людей, что потребность в этих услугах надуманна, несущественна и они могут оказаться вредными. Никогда ранее наш организаторский талант не был настолько развит, никогда наша страсть к накоплению вещей и получению комфорта не была столь близка к удовлетворению. Но никогда ранее события не были столь трудно контролируемы. Иными словами, рациональной экономической структуре становится очень трудно дать людям то, в чем они действительно нуждаются, так как реальный человек нуждается в том, что не совпадает с установленными шаблонами. Давать людям то, что им нужно, — неэффективно, потому что это — иррационально. С другой стороны, эффективно предоставлять им именно то, в чем они не нуждаются, потому что искусственные торговые структуры могут внедрять рациональные покупательские шаблоны.

Создается впечатление, что наше общество постепенно превращается в свою противоположность. На такой высокой стадии развития элиты сконцентрировали в своих руках силу, которая позволяет им изменять вектор развития общества. Они способны делать одно, а говорить совсем о другом. Завлекая всех в своей приверженности к капитализму, конкуренции и заслуженному успеху, они стремятся к хорошо оплаченной карьере служащего, не слишком обремененного обязанностями. Текстура мифологии правящей элиты настолько плотна, что за этим интеллектуальным и эмоциональным камуфляжем трудно разглядеть реальную жизнь.

Критику элиты не воспринимают. Они немедленно отвечают, что критик встал на сторону врага: он — левый, иност-

ранный конкурент, коммунист или сторонник другой враждебной идеологии. Но разве элиты, со всей их компетентностью и властью, верят в то, что общество может быть разрушено кем-то другим, кроме тех, кто им руководит? Фермеры, фабричные рабочие, обычные государственные служащие нижнего или даже среднего звена просто не имеют сил, чтобы разрушить или даже изменить ход развития общества. Именно элиты в прошлом определяли историю цивилизаций и изменяли ее тем, что в определенный момент прекращали выполнять свои обязательства и начинали потворствовать своим слабостям. Римские фермеры-солдаты-граждане начали импортировать пшеницу и нанимать варваров, чтобы те сражались вместо них. Европейские аристократы оставили свою землю и полки, направились в королевские дворцы, превратились в хорошо одетые вешалки и стали манипуляторами. И ныне наш современный собственник-производитель оставляет свою собственность и фабрику и становится такой же «вешалкой» и стяжателем городского комфорта и удовольствий.

Современный менеджер — исключительно городское явление. Города, которые он предпочитает, — это Нью-Йорк, Лондон, Париж, Торонто, Франкфурт, Милан. Там он находит конкретное ежедневное доказательство своей собственной ценности, просто созерцая себя в интерьере городской корпоративной структуры. Его руки и ногти чисты. Он встречается только с людьми, подобными себе. Промышленный рабочий — отдаленный образ, столь же грязный, как крестьянин в памяти благородного землевладельца во дворце Людовика XV.

Менеджеру незачем знаться с такими людьми или бывать там, где они обитают. Зачастую он и сам — выходец из таких мест, и это только усиливает его нежелание возвращаться туда. Его ботинки от Гуччи — доказательство, что он родом не из Эссена или Байе-Комо. К тому же он — в первых рядах сторонников рекламирования ненужных услуг, производимых его классом. Он покупает одежду, автомобили, косметику, отпуск, спортивное снаряжение, собственность, бассейны, членство в теннисном клубе. Даже вооружения создают-

ся индустриальными менеджерами для нужд правительственных менеджеров.

Само собой разумеется, никто из этих людей не хочет жить в Питтсбурге, Гамильтоне, Лидсе, Лилле или еще где-нибудь, кроме нескольких больших райских городов. Такой отсев «неприятных» частей нации стал источником огромных социально-экономических сдвигов. Единственное перемещение в противоположном направлении возникло из-за потребности класса менеджеров в обслуживании в конце недели, а также во время летних и зимних отпусков. Таким образом, многие части стран Запада на короткие промежутки времени, например с вечера пятницы до вечера воскресенья или с июля по август, превращаются в зоны чистого потребления. Остальную часть года в них не происходит никакой деятельности.

Одна из самых больших проблем капитализма заключается в том, что в крупных городских центрах становится все меньше заводов. Но на расстоянии управлять ими трудно. А класс менеджеров не хочет жить там, где расположены заводы. Конечно, некоторые менеджеры согласятся жить в этих местах, среди них могут быть даже хорошие специалисты. Но таких желающих будет капля, по сравнению с морем менеджеров в крупных городах. И если менеджеры не будут жить в этих местах, то в них будет сокращаться производственная деятельность. Вследствие своего конформизма наши деловые элиты поедут только туда, где найдут уровень жизни, соответствующий их запросам.

Англия пострадала от этой миграции в один-единственный город больше, чем любая другая страна. Прямые и отдаленные потомки людей, которые фактически сделали Англию промышленной державой — средний класс Мидленда, — втиснуты в центр Лондона, пытаясь стать служащими коммерческих банков, руководителями рекламных агентств и менеджерами главных офисов компаний.

Города Мидленда пострадали от многого, но в основе проблем занятости, рынка и инфраструктуры лежит простой факт: те, кто мог себе позволить уехать в Лондон, уже уехали. Там они изо всех сил пытаются стать джентльменами, то есть

соответствовать понятию, которое, подобно многим в этом столетии, подразумевает одно, а означает другое. В данном случае оно включает образование, безупречное произношение, умение одеваться и ухоженные ногти, что, в свою очередь, подразумевает определенный социальный статус. В действительности это означает принадлежность к новому управленческому классу, руководящему индустрией услуг, которую относят к сфере производства, хотя на практике она не является таковой.

После пятнадцати лет всеобщего экономического кризиса и депрессии бизнес-класс Запада численно вырос и стал богаче, чем когда-либо. Уровень жизни населения в целом понижался, в отличие от уровня жизни менеджеров. В США, например, происходит сокращение численности среднего класса, но именно тех слоев традиционного среднего класса, которые не сумели трансформироваться в новый класс, то есть в класс менеджеров. Если посмотреть на судьбу собственников и менеджеров частных предприятий в социальном демократическом государстве за последние сто лет, то станет ясно, что она не была легкой. Строго говоря, иначе и быть не могло.

И все же стоит проанализировать развитие социального и трудового законодательства, стандартов финансового рынка, эмиссионного законодательства и политику налогообложения за последние сто лет. Есть ли хотя бы один пример положительной реакции руководителей бизнеса в какой-нибудь из стран Запада на создание более справедливых стандартов? И когда к власти приходили так называемые правительства защитников интересов бизнеса и начинали законодательно понижать стандарты корпоративного поведения, есть ли хоть один пример, чтобы бизнес-элита высказалась в том смысле, что эти стандарты стали слишком низкими? Есть ли хотя бы один пример того, что в ответ на критику со стороны общества руководители бизнес-сообщества признали справедливость этой критики? Или признания того, что обязательства по рекультивации лесов не выполняются? Или согласия с утверждением, что отчисления на социальное страхование

слишком низки? Или признания высоких уровней загрязнения окружающей среды? Или признания хотя бы одного факта ущемления прав трудящихся?

Все это можно было бы интерпретировать как пример нормального компромисса в свободном обществе. Но общества не могут процветать в условиях партизанской войны. Основная идея, содержащаяся в понятии «общество», особенно «демократическое общество» или «свободное общество», состоит в том, что его члены находятся в общем согласии и готовы сотрудничать. Деловое сообщество, и в особенности бизнес-класс, сегодня, как представляется, полагает, что находится в привилегированном положении и может отказаться от сотрудничества по собственному усмотрению.

Рабочее движение часто становится на такие же позиции. Но профсоюзы — результат деятельности делового сообщества. Они — точное отражение корпоративного менталитета. Если они эгоистичны, то этот эгоизм пропорционален эгоизму предпринимателя. Профсоюз может только реагировать на ситуации, которые возникают. Если кто-то, например Артур Скарджилл, руководитель профсоюза британских шахтеров, провоцирует беспорядок, становится ясно, что его задача — не урегулирование определенных проблем, а совсем другое, что он вышел из-под контроля и стал опасным. Верно и то, что он — отражение давних неудовлетворительных отношений с владельцами шахт и управляющими. То, что он появился, когда эта проблема, возможно, уже была решена, говорит о том, что история движется медленно и что отражение может появиться после того, как зеркало уже разбито. Все очень просто, профсоюзные руководители переняли от менеджеров позицию отказа от сотрудничества с обществом.

В утверждении, что капитализм всегда остается врагом справедливости, присутствует элемент опасного самодовольства. Действительно ли верно, что деловые классы всегда выступали против реформ и социального сотрудничества? Ясно, что это не так, поскольку партии реформаторов на Западе всегда финансировались и порой возглавлялись представителями правящих классов. Не только британская Либеральная партия в период ее расцвета, но и Лейбористская

партия поддерживалась представителями деловых элит Мидленда. Это справедливо и для Демократической партии в США, партии радикалов во Франции и Либеральной партии в Канаде.

Сегодня мало представителей деловых кругов состоят в реформистских партиях. И с каждым годом все меньше и меньше. Эти люди проявляют социальное неприятие, которого можно было бы ожидать от средневекового барона-грабителя. Их неприятие справедливых социальных стандартов отвратительно. Их можно встретить лишь в день посещения ими частной школы, в которой учится их ребенок, или при выезде из своего дома в сопровождении двух или трех машин охраны.

Эти люди будут говорить об удушении инициативы и свободного предпринимательства. Независимо от того, что у власти в данный момент будет находиться правительство, лояльное к крупному бизнесу, вам будут вещать, что правительство проводит левую политику. Эти люди, кажется, не понимают, что в действительности являются высокооплачиваемыми чиновниками, находящимися на службе бизнес-бюрократии. Вместо этого они воображают себя в роли великого капиталиста Эндрю Карнеги и играют эту роль так, как смог бы сыграть ее только сам Карнеги. После окончания пьесы они садятся в «мерседес» и едут в угловой офис своей компании, расположенный на верхних этажах небоскреба.

Зададимся вопросом, что заставляет их поступать подобным образом? Скорее всего, наш герой и сам не знает. Ему дали каркас мифологии капитализма, но не объяснили, что с ним делать. Вместо того чтобы признаться себе в ограниченности своей власти, он рядится в одежды богатого капиталиста. Реальный владелец реальных средств производства сегодня, вероятнее всего, гораздо более заинтересован в социальной согласии, потому что без него он может многое потерять.

Отказ технократа быть ответственным партнером в выстраивании общественной этики полностью соответствует его характеру, удовлетворяет его амбиции. Он любит диктовать условия и устанавливать правила прежде, чем соглашается

играть. В обществе это невозможно. Отношения слишком усложнены. Поэтому он выбирает привычный защитный способ действия и использует свой изощренный ум, чтобы идти к своей цели, не брезгуя ничем, лавируя между традициями и законом. Существует устоявшееся клише, согласно которому ницшеанский герой — мятежник против системы. Но в данном случае можно убедиться, что связи Герой—технократ не менее крепки, чем у сиамских близнецов. «Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке», — писал Ницше¹⁹. Герой демонстрирует свой аморальный индивидуализм, устанавливая и навязывая другим свой нравственный кодекс. Руководитель корпорации, будучи всего лишь служащим, демонстрирует тот же аморальный индивидуализм, считая способность манипулировать системами величайшей добродетелью.

Когда было раскрыто мошенничество на сумму в 215 миллионов фунтов стерлингов в английской корпорации ISC Technologies, председатель материнской компании сэр Дерек Алан-Джонс заявил, что суть дела была искажена, так как 105 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы были переведены на счета офшорных компаний: «Сделки с панамскими и либерийскими компаниями, а также с компаниями на Каймановых островах — обычное дело в бизнесе»²⁰. Иными словами, компания считала законным, что правительству и населению можно не платить налоги с доходов корпорации, используя офшорные компании. В то же время некоторые менеджеры нашли другие способы выкачивания денег из компании. Различие состояло лишь в том, что обман корпорации был законным с юридической точки зрения. В наши дни этот вид юридически законного обмана стал весьма распространенным способом ведения бизнеса. А незаконный вид обмана был редким, единичным случаем.

Именно эту сообразительность развило в себе новое поколение владельцев и менеджеров, особенно из бурно растущей и насквозь искусственной индустрии сервиса, и приняло ее как норму деловых отношений. Они смогли использовать эту сообразительность как средство для обогащения. Есть очень небольшое различие между соблюдением буквы

закона и уклонением от закона в целом. Когда подобной деятельностью занимается умный человек, никакого различия нет вообще.

Левые, с их ритуальной оппозицией капитализму, конечно, возражали против такой деятельности. К сожалению, битва, которую они ведут, имеет вообще мало общего с реальными событиями. В 1978 году на конгрессе Социнтерна была принята резолюция, которая начиналась следующими словами: «Международный Социнтерн полностью осознает повышение важности многонациональных корпораций в рамках мирового экономического порядка, равно как и срочную необходимость контроля за действиями этих организаций. ...Такой контроль может быть эффективным только в том случае, если ускорится развитие информационных служб транснациональных корпораций»²¹. Но вся информация была и есть доступна. Чего-чего, а ее имеется в избытке. В своем желании видеть в многонациональных корпорациях зловредных монстров, они не заметили их важнейшей сущности — этот монстр не имеет определенного направления или желаний. Он движется только в силу потребностей своей организации и ограниченных амбиций его менеджеров. Транснациональная корпорация похожа на сороконожку, которая пересекает границу с непринужденностью структурированной капли.

Поэтому служащего транснациональной корпорации можно считать совершенным гражданином мира. Прилагательное «вненациональный» было бы, вероятно, более подходящим. Некоторые экономисты уже описывают его как предвестника будущего мира, в котором все искусственные барьеры в передвижении людей и торговле будут сняты, а вместе с ними будет устранен и узкий, деструктивный эгоизм национального государства. Кто, если не международный менеджер, сможет справиться с этой задачей? Ведь у него нет при этом особых интересов, есть только бизнес.

Идея, конечно, имеет свою привлекательную сторону. Однако гибкость руководителя транснациональной корпорации вытекает не из широты его взглядов, а из безразличия. Он во всем соглашается с местными политиками, если они

соглашаются с ним. Но если они больше не соответствуют его целям, он, не задумываясь, свергает их. Благодаря своей мощи корпорации стремятся занять важное место в локальной экономике, скупая или уничтожая более слабых национальных или региональных конкурентов. В случае необходимости, для давления на местные власти руководитель транснациональной корпорации может привлечь друзей своей компании: поддерживающие ее другие транснациональные корпорации, банки, международные кредитные организации и даже правительства, особенно свое собственное. Поводом для вмешательства может послужить любая проблема: ставка налогообложения, борьба с загрязнением, уровень занятости, политика в области реинвестиций, обязательства в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Руководство дочернего предприятия транснациональной корпорации может даже проводить политику, враждебную правительству данной страны. И если правительство будет проявлять твердость, менеджер и высшее руководство корпорации могут просто перевести этот филиал в страну с более благоприятными для них условиями. Более того, одна корпорация может создать в любой стране такую социально-экономическую напряженность, что другие транснациональные корпорации свернут свою деятельность. Они создадут там экономический вакуум, что ускорит падение неуступчивого правительства.

Менеджер и организация, к которой он принадлежит, — абсолютно незаинтересованные игроки. В их руках идея общественного блага увядает на корню. В конце концов, социальное партнерство в любом обществе строится на основе готовности его участника согласиться с тем, что он не получит всего, чего он хочет. Желание освободить человека от ограниченных интересов национализма, без сомнения, хорошая вещь, но свобода — это и соглашение о разделении обязанностей. Национальное государство — только одна из многих попыток человека решить эту проблему. Теперь организации, типа ЕЭС, пытаются расширить определение, устанавливая общие стандарты для групп наций. Транснациональные корпорации, с их наднациональным менеджментом, пытаются

избежать какой бы то ни было ответственности, обладая властью определять свое отношение к любому сообществу, ориентируясь на интересы корпорации.

И все же транснациональные корпорации не столь нейтральны, как это пытаются представить. Даже сороконожка имеет определенную программу в жизни. Самая сложная система должна удовлетворять свои потребности. И ядро такой системы находится в ее головном офисе. Решения о направлении потоков инвестиций и капитала принимаются руководством корпораций исходя из их собственных интересов. Если главный офис находится в Нью-Йорке, большинство членов правления, равно как и большинство старших менеджеров, будут американцами. Они могут продавать и покупать по всему миру, но работают они на Восточной Семьдесят шестой улице. Их беспокоят, прежде всего, те проблемы, с которыми они сталкиваются. Их главные политические мысли о стране, в которой находится корпорация.

Это не помешает им использовать политику страны, в которой находится филиал их корпорации, против своей собственной страны. Типичный пример — использование ими дешевого труда в странах Третьего мира, которое ведет к снижению западных стандартов.

Конечно, никто не отдаст власть дочернему предприятию. Оно — пассивный элемент в международной структуре. Местные элиты нанимают в старой колониальной манере, чтобы гарантировать сотрудничество. Местные власти не могут не видеть себя в качестве пассивных получателей инвестиций и рабочих мест. По дискуссиям об экономике нетрудно определить, находишься ли ты в центре транснациональных структур или на их периферии. Чем дальше от центра, тем быстрее в ходе дискуссии начинает звучать словосочетание «рабочие места». Рабочие места — пассивный элемент промышленной деятельности. Их получают как результат процесса, который начинается в другом месте с таких вещей, как капиталовложение, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, планирование производства и рынка.

В транснациональных корпорациях, а в последнее время и в небольших корпорациях недопустима идея о том, что ка-

питализм — это предприятие, основанное на сотрудничестве и получении взаимной выгоды в рамках одного или нескольких обществ. Именно такое сотрудничество позволило Японии достичь успеха. Все японские специфические особенности, которым мы теперь пытаемся подражать, являются просто результатом такого сотрудничества. Именно поэтому наши усилия их копирования больше похожи на пародию, чем на реорганизацию. Руководители, использующие концепции Фридмана о рыночных силах или идеи бизнес-школ о бизнесе как структуре, не смогут применять в производстве японские, корейские или даже шведские методы сотрудничества. Рыночный подход и подход, основанный на сотрудничестве, являются взаимоисключающими.

Несколько лет назад во многих газетах на всю полосу появилась реклама компании Gulf Oil: «Прибыль — это не слово из семи букв. Прибыль — это не доходы, добытые нечестным путем. Прибыль — не грабеж потребителя. Прибыль — это то, с чем работает компания. Это — деньги, которые мы используем, чтобы найти или создать энергию».

После кризиса 1973 года западные правительства отчаянно пытались найти способ преодолеть экономическую катастрофу, возникшую в результате зависимости от нефтяных поставок стран ОПЕК. Они, наконец, решили оставить корпоративную часть прибыли в руках западных транснациональных компаний, занимающихся транспортировкой энергии. Тогда эти корпорации должны были повторно инвестировать прибыль в страны, не являющиеся членами ОПЕК, для поиска или разработки гарантированных поставок энергии на Запад. В качестве поощрения их как лояльных членов сообщества им была гарантирована значительная часть прибыли от этих инвестиций.

Для корпораций этот шаг означал кредит доверия со стороны населения и правительств. Было бы совершенно справедливо изымать эту излишнюю сверхприбыль путем дополнительного налогообложения. Более того, докризисные события показали, что общество не должно доверять нефтяным компаниям.

Например, всего лишь за несколько месяцев до начала кризиса канадские нефтяные компании (в значительной степени принадлежащие американцам) сообщили правительству, что разведанных запасов нефти хватит на ближайшие сто лет. Они объявили об этом, рассчитывая получить разрешение на экспорт нефти на более выгодный американский рынок, где крупные запасы нефти были фактически законсервированы. Когда кризис разразился, выяснилось, что в Канаде нефть практически истощилась, и страна оказалась в зависимости как от зарубежных поставок, так и от приоритетов иностранных нефтяных компаний. Менеджеры просто лгали, вводя людей в заблуждение своей ложной статистикой. И речь шла не о выборе между интересами акционеров нефтяных компаний и граждан в стране, где велась добыча нефти, а о получении дополнительной прибыли за счет значительного ухудшения благосостояния граждан.

Второй пример связан непосредственно с США. В 1972 году компании согласились, что цена приблизительно в 4,5 доллара за баррель будет достаточной для покрытия затрат на разведку и производство нефти для внутреннего рынка²². То есть в эту сумму входили все издержки и прибыль. Несколько месяцев спустя, когда разразился кризис и ОПЕК подняла цену не для того, чтобы покрыть новые затраты, но с целью увеличения прибыли, американские компании неожиданно заявили, что они неправильно оценили затраты на разведку в Соединенных Штатах, поэтому баррель должен стоить не 4,5 доллара, а 10 долларов. Через некоторое время цены были повышены до 15, а затем и до 20 долларов за баррель. И каждый раз приводились убедительные, технически обоснованные аргументы, никоим образом не связанные с низкими предыдущими ценами.

Некоторые предполагали, что компании компенсировали недополученную прибыль за риски последних лет. Но большинство транснациональных корпораций в течение пятидесяти лет получали колоссальную прибыль. Они функционировали скорее как нефтяные банки, скупая нефтепромыслы «диких» нефтеразведчиков, которые часто рисковали и оставались без прибыли. В период с 1968 по 1972 год семь глав-

ных американских нефтяных компаний имели накопленную чистую прибыль в размере 44 миллиардов долларов. В то же время они заплатили меньше 2 миллиардов долларов федеральных налогов, то есть фактически меньше 5 процентов прибыли. Когда разразился кризис, они были богаче большинства других корпораций.

Однако западные правительства решили доверить этим компаниям новую гигантскую прибыль. За первый год кризиса их доход увеличился на 71 процент, а чистая прибыль составила 6,7 миллиарда долларов. На налоги было отчислено 642 миллиона долларов. Техасо, например, получила 1,3 миллиарда долларов чистой прибыли, а Еххон — 2,4 миллиарда долларов²³. С этого момента западная экономика стала катиться в пропасть.

Компании немедленно начали реинвестировать свою прибыль. Но не в нефтедобычу. Mobile купила сеть универсамов Montgomery Ward за 8,5 миллиарда долларов, одновременно публикуя рекламу размером в газетную полосу: «Почему вы с подозрением относитесь к большим корпорациям?» Sun Oil приобрела сеть продовольственных магазинов Stop-N-Go. Shell скупала заводы по производству пластмассы, Еххон — меднорудные компании, попутно давая такую рекламу: «Вы не должны бояться нас. Одна из проблем либералов в том, что они не любят нас просто из снобизма».

Деньги, поступавшие в карманы корпораций, нанесли вред Западу, но одновременно корпорации были в состоянии купить компании по низким ценам. Страховые компании. Медицинские компании. Gulf Oil пыталась купить Ringling Brothers & Bailey Circus. Другие корпорации стали заниматься производством картона, обработкой древесины, розничной торговлей. К началу 1980-х они скупили 25 процентов компаний цветной металлургии и химической промышленности (медь, свинец, цинк, серебро, золото).

Нефтяные корпорации также приобрели большинство крупных американских угольных компаний. И первой инициативой в управлении этими компаниями стало сокращение производства с целью повышения цены на уголь. В то же время страна испытывала острый дефицит энергоснабжения.

К концу 1970-х годов они приобрели четырнадцать из двадцати крупных угольных месторождений, два из трех главных предприятий по обогащению урана и три из четырех крупных месторождений урана²⁴.

Atlantic Richfield действовала по другой схеме. Она скупала месторождения угля, который можно добывать открытым способом, по всему Среднему Западу, пока не стала крупнейшим игроком. И затем, даже не приступив к освоению этих ресурсов, принялась лоббировать в Вашингтоне планы по переориентации американской энергетики с нефти на уголь. Она аргументировала это тем, что внутренних запасов угля было достаточно для обеспечения долгосрочной стабильности. Она также утверждала, что рыночная цена этого угля должна соответствовать мировым ценам на нефть, предложенным ОПЕК. Но специалистам было известно, что себестоимость открытой добычи угля практически не превышала стоимости добычи морского песка на пляже. Поэтому ожидаемая прибыль была очень высока, особенно в связи с нефтяным кризисом. Но вместо того чтобы развернуть это производство, Atlantic Richfield стала лоббировать Вашингтон. У компании просто не было необходимой инфраструктуры: угольных месторождений, торговой сети и ТЭЦ, работающих на угле, хотя на словах представители компании заявляли, что уже образовали синдикат с угледобывающими компаниями со всей необходимой инфраструктурой. И такая инфраструктура была создана, но на деньги налогоплательщика, а не за счет прибыли нефтяной корпорации.

Что касается дополнительной прибыли, которую нефтяная промышленность получала благодаря повышению цены на нефть, то некоторая часть ее, действительно, реинвестировалась в развитие энергетики, но в масштабах, недостаточных для того, чтобы избавить Запад от зависимости от импорта нефти. И таким образом, правительства и граждане плавно перешли к следующему нефтяному кризису, который был более глубоким, чем предыдущий.

Эти юридически законные, но неблагоприятные действия нефтяных компаний можно включить в список крупнейших деяний современного капитализма. Их хитроумные уловки

приводили в восхищение других представителей бизнес-сообщества, им завидовали и брали с них пример биржевые маклеры и банкиры-ростовщики. На первый взгляд казалось, что такое отношение вступает в прямое противоречие с принципами здравого смысла. Не случайно в первом издании «Энциклопедии» статью «Этика богатства» Дидро начал словами: «Способы обогащения, хотя и разрешенные законом, могут быть преступно безнравственными»²⁵.

Из всех многопрофильных энергетических компаний, участвовавших в этих событиях, лишь одна или две принадлежали или контролировались конкретным лицом или группой лиц. Масса анонимных акционеров никогда не стала бы требовать от руководства компаний действий, наносящих ущерб обществу или государству. Как большинство инвесторов фондовой биржи, они пассивно наблюдали, как растут или сокращаются их доходы. Доходы росли, и это их радовало. Последствий этого роста они не анализировали. Прямая ответственность за то, что можно назвать самым безответственным экономическим действием двадцатого века, целиком и полностью ложится на класс менеджеров, которых можно назвать плодами методологии или детьми Разума.

Глава семнадцатая

УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ

Слово «инфляция» в прошлом означало «вздутие». Семнадцатый век расширил значение этого слова, добавив к понятию вздутия и выделения газов в медицинском значении также понятия напыщенности и помпезности. И лишь в 1860-х годах слово «инфляция» стало использоваться в качестве экономического термина.

Нередко социальные революции дают словам новый смысл. Но в данном случае этого не было. Деньги можно сравнить с газом, который то появляется, то исчезает, то губит цветы, то помогает их цветению, то благоухает, то смердит. Ретроспективно, сравнение финансового термина, оз-

начающего неконтролируемый рост денежной массы, с вульгарным произвольным следствием метеоризма было абсолютно верным. Еще тех пор стало невозможно считать инфляцию чем-то положительным и связывать ее с ростом экономики.

Тем не менее, последние тридцать лет это пытаются делать бизнесмены, банкиры и экономисты. Подобно тому как для наших структур и элит манипулирование корпорациями важнее заботы о реальном производстве, так для них же финансовое манипулирование важнее создания нового капитала. В результате этого в наших экономиках пышным цветом расцветают новые типы инфляции, неподдающиеся контролю со стороны специальных органов. Экономисты бесконечно обсуждают фиксируемый уровень инфляции, который на проверку охватывает лишь очень малый сектор нашей экономики. Они не замечают того, что происходит в действительности. По внешним признакам, у нас нет инфляции. Наоборот, за бесконечными разглагольствованиями об усложнении структуры общества, постиндустриальной экономике, постпредпринимательских корпорациях и индустрии обслуживания, мы создаем офшорные фонды и компании, неконтролируемую офшорную валюту, типа евродоллара, курс которой растет, подчиняясь своей собственной логике. Внутри наших границ находятся в обращении денежные потоки, явно не контролируемые государствами. Мы допускаем крайне рискованные операции по выкупу компаний с использованием кредита. При поглощении используется эмиссия дополнительных денежных средств для выкупа активов поглощаемых компаний. Мы создаем мнимый капитал, когда предоставляем мнимые услуги, особенно при торговле вооружением. Мы допускаем неконтролируемое печатание денег, когда при оплате товаров и услуг пользуемся кредитными картами. Мы разрешаем банкам списывать безнадежные долги при помощи дополнительного выпуска акций, позволяя, таким образом, использовать биржу, курсы обмена валют не для увеличения капитала за счет сокращения долговых обязательств, а для покрытия сокращения объема капитала за счет нового долга.

Список монетаристских инструментов бесконечен. Большинство экономистов на этот счет возразят, что эти инструменты могут способствовать или не способствовать росту инфляции, но, несомненно, сами они к инфляции не относятся. Они полагают, что для понимания процессов, происходящих в экономике, достаточно ознакомиться с индексом потребительских цен, индексом ВВП или какими-то другими индексами.

Но если этого достаточно, то почему у нас не может происходить экономический рост без неизбежного инфляционного давления? Ответ заключается в том, что реального роста не происходит. И почему происходит рост благосостояния одних слоев общества и неизбежное обнищание других? Дело в том, что в наши дни увеличение богатства зависит от финансовых манипуляций незначительной части населения, а не от производственных усилий всего общества. И почему нам постоянно говорят, что издержками экономического процветания является ухудшение коммунального обслуживания и падение общего уровня жизни? Потому, что финансовое манипулирование дает прибыль, но не способствует реальному экономическому процветанию общества. Эти абстрактные методы настолько распространены и усовершенствованы, что, как это имело место в 1980-х годах, они могут создать обманчивое впечатление роста всеобщего благосостояния в период экономического и социального упадка. Ощущается все большая растерянность в среде наших элит в связи с их неспособностью обеспечить реальное процветание. Но сами они являются продуктом рациональной системы, а не ее создателями. Они живут в состоянии постоянного ожидания, что их методы будут работать. Они настолько оторваны от действительности, что считают, будто эта система может обеспечить экономический рост, хотя до сих пор она обеспечивала только рост инфляции.

Джим Слейтер, английский банкир и по совместительству отец современной инфляции, двадцать лет назад, незадолго до своего банкротства, вызвавшего также крах ряда корпораций и банков, заявил: «Мы делаем деньги, а не вещи». По-

добно другим финансистам, таким как сэр Арнольд Вейнсток и лорд Стоукс, он утверждал, что является локомотивом модернизации и экономической эффективности, причем их претензия на эту роль была поддержана всем британским экономическим сообществом¹.

Слейтер получил диплом корпоративного аудитора, но настоящим его талантом были биржевые спекуляции. В 1964 году он основал фирму «Slater, Walker Securities» и стал заниматься скупкой компаний, оцененных ниже их рыночной стоимости. Затем он продавал их целиком или по частям, но уже по более высокой цене. Вскоре он и его последователи разрушили сотни технических и производственных корпораций, потому что их легко было купить за наличные деньги. Тогда наличные еще были в обращении. Фактически эти дельцы, используя механизмы инфляционной спекуляции, занимались разрушением британской экономики ради личной выгоды и удовольствия, используя механизмы инфляционной финансовой спекуляции. Слейтер утверждал, что он высвобождает производительные элементы, которые не могли развиваться в компаниях-конгломератах. Но анализ перестройки промышленности того периода показывает, что компании, освобожденные таким образом, не оказывались в более выгодном положении. Фирма Slater, Walker стала знаменитой благодаря инвестированию личных доходов ее основателей в одну или две принадлежащие им компании, что повышало цену их акций. Джим Слейтер, молодой, стройный и привлекательный, вскоре стал считаться «самым большим финансовым волшебником, которого когда-либо знал Сити»². В 1969 году он начал распродавать свои активы для разъединения корпорации. Он объявил, что наличные деньги являются «оптимальным видом инвестиций», и переключился на области, больше связанные с наличными деньгами: спекуляцию с недвижимостью, финансовое управление и инвестиции в Гонконге. Вскоре, следуя этому примеру, многие банки стали больше заниматься операциями с наличностью и спекуляциями с недвижимостью, в результате чего 27,5 процента от поступлений наличных денег уходило на выплату по процентам. И все же эта огромная цифра была на

5 процентов ниже по сравнению с 32 процентами, которые в настоящее время выплачивают по своим долгам американские корпорации.

Однако это был неслыханно высокий уровень, и, когда в 1973 году разразился кризис, в британской экономике, с ее традиционно низкими показателями инфляции, ситуация оказалась тяжелее, чем в других странах. Джим Слейтер, несмотря на свои таланты фокусника, не смог сохранить в целостности свою империю. Она развалилась, и к 1975 году у Слейтера от нее остались лишь жалкие крохи. Против него возбудили ряд судебных дел, которые следовало бы начать гораздо раньше, на заре его финансовой деятельности. К концу 1975 года он был полностью дискредитирован и изгнан из своей собственной компании, остатки которой приобрел другой рыночный спекулянт, Джимми Голдсмит.

Британскому и другим западным правительствам понадобилось некоторое время для осознания того, что в тот период их страны находились на краю экономической пропасти. Их реакция на этот кризис напоминала реакцию больного маниакально-депрессивным психозом. Так, они стали вести войну с инфляцией, используя классические антиинфляционные методы: они повышали процентные ставки, что приводило к сокращению инвестиций в производство, ухудшению социального обеспечения и росту безработицы. Но привычные антикризисные меры не срабатывали, хотя их применяли не один раз и применяют по сей день. Несмотря на применение драконовских мер, мы никогда не сможем избавиться от инфляции и перейти к здоровому, неинфляционному росту.

В абсолютном противоречии с этим депрессивным антиинфляционным крестовым походом, мы одновременно продолжали способствовать финансовому безумию. Сознательно или бессознательно, стали сниматься ограничения и барьеры в финансовом секторе, что приводило к высвобождению глубинных сил, питающих инфляцию. Разумеется, никому не было позволено воздействовать на механизм прямого традиционного правительственного контроля над инфляцией, то есть на эмиссию денег. Она, наряду с заработной платой и

ростом цен, находится под общественным контролем и постоянно сдерживается. Социальная справедливость, экономический рост, угроза ядерной войны и другие проблемы отступили на задний план, в то время как Запад ежемесячно, еженедельно, а иногда и ежедневно, изучал по диаграммам колебания инфляции. Изменение в одну десятую долю процента вверх или вниз могло вызвать всеобщее замешательство. Общественная жизнь, казалось, целиком свелась к статистике. Отношение к инфляции стало критерием избирательских пристрастий на выборах.

Вместе с тем, все другие области, в которых инфляционные процессы могли усиливаться, были открыты для финансовых спекуляций. Финансовый сектор, благодаря тому что он практически ничем и никем не регулировался, стал центром общей экономической активности. Люди сконцентрировали свою изобретательность на создании новых, не поддающихся измерению абстракций: абстракций, основанных на абстракциях — формах и объемах кредитов под финансовые сделки, сопоставимых по уровню с 1929 годом.

К середине 1980-х годов, еще перед большим взрывом на Лондонской бирже, общий объем ежегодных сделок на финансовом рынке Лондона составлял 75 триллионов долларов. Это более чем в двадцать пять раз превышает общий объем мировой торговли, которая в 1988 году исчислялась суммой в 2,84 триллиона долларов. Спекуляции на разнице курсов иностранных валют в главных мировых центрах исчислялись 35 триллионами долларов в год, что в двенадцать раз превышает общий объем мировой торговли. Эти сделки не представляют собой никакой конкретной деятельности. Они — умножение объема бумаги, которое не оказывает никакого благотворного воздействия на экономику. Таким образом, лондонский Сити может процветать и благоденствовать одновременно с общим экономическим кризисом в остальной Великобритании. О том, до какой степени правительство пристрастилось к легким удовольствиям таких спекуляций, можно судить по упорному сопротивлению Британии включению фунта в европейскую «валютную змею» и Европейскую валютную систему, которые были попытками обеспе-

чить валютную стабильность в большой, но реально управляемой географической зоне³. Формальная аргументация британских властей против такого участия заключалась в том, что «змея» могла бы ограничить способность правительства проводить политику, стимулирующую конкуренцию внутри страны и за рубежом. Одной из невысказанных причин было то, что участие в «змее» могло бы, в конечном счете, ограничить возможности Сити спекулировать на разнице курсов. Постепенное согласие Лондона присоединиться к «змее» обозначилось тогда, когда в Сити убедились, что ограничений на валютные спекуляции не последует.

В этом контексте традиционное определение банковских рисков мало что дает. В 1873 году Уолтер Бейджот писал о банковских резервах: «Посторонний человек никогда не поверит, даже если увидит своими глазами, что под те незначительные объемы денег, которые постоянно находятся в банке, под эту незначительную наличность ежедневно выдают огромные суммы кредитов»⁴. Если сравнивать ситуацию столетней давности с современным положением, то «незначительные объемы банковских резервов» по Бейджоту в наши дни будут выглядеть огромными. Например, в середине 1980-х годов уставной капитал банка *Lehman Brothers* составлял 270 миллионов долларов, а ежедневные финансовые риски банка превышали 10 миллиардов долларов.

Сейчас многие люди занимаются спекуляциями облигациями и ценными бумагами с плавающей процентной ставкой через компьютерную сеть. Традиционно их называют банкирами, но в действительности это обычные технари, с уровнем подготовки мелкого клерка, занимающиеся работой, аналогичной деятельности букмекера на ипподроме. У них нет ни другого опыта, кроме опыта работы с компьютером, ни понимания сути процессов, происходящих в экономике, которые выражаются в цифрах на их мониторах. Хуже всего то, что они не несут никакой ответственности и не понимают, к каким последствиям для общества в целом могут привести колоссальные объемы их сделок. Уже в 1984 году через всего два американских банка: *New York Merchant Bank* и *First Boston Corporation* — такие «банкиры» заключили сделки

на 4,1 триллиона долларов. Эта сумма превышает годовой размер американского ВВП.

Самое точное определение, которое можно дать всему этому, будет следующим: прекращение влияния государства на экономику, или разгосударствление. Соединенные Штаты, а за ними и весь Запад, подняли этот флаг во имя духа инициативы. Нет сомнения, что за пятьдесят лет строительство здания административных структур, ставящих перед собой цель устранить несправедливость, нестабильность и убытки, характерные для свободного рынка в девятнадцатом — начале двадцатого века, в некоторых областях зашло слишком далеко. Но реакция на это чрезмерное регулирование не имела никакого отношения к актуальной проблеме. В результате произошел возврат к антиобщественной свободе: свободе действовать безответственно, во имя прибыли спекулировать не только акциями, но и самими деньгами.

Проблема заключается не только в отдельных краткосрочных мерах, таких как валютный своп, бросовые облигации, финансовый фьючерс и опции по отношению к биржевому индексу (с предоплатой в размере шести процентов), выкуп за счет кредита, акции, не котирующиеся на бирже, реальная стоимость которых неизвестна, что облегчает проведение дополнительных спекуляций при их покупке и продаже. В наши дни эти способы спекуляций распространены очень широко. В экономике, столь далекой от реальности, люди не прекратят ими заниматься, даже если всем будет известна их сомнительная ценность. Например, бросовые облигации никуда не исчезли после известного кризиса, связанного с их использованием в конце 1980-х годов. И теперь они, по оценкам агентством Moody, составляют больше четверти всех корпоративных бумаг. И при этом эти опасные инструменты применяются не только в США. Согласно японскому законодательству, допускается выкуп за счет кредита под 5 процентов. Британский корпоративный долг вырос с 10 миллиардов фунтов стерлингов перед кризисом 1973 года до 53 миллиардов в 1988 году. Можно было предположить, что он вырос в инфляционные 1970-е годы. При этом официальная инфляция не стимулирует, но и не препятствует росту

корпоративного долга. В 1980-х годах положение только ухудшилось. Тон стали задавать мелкие инвестиционные компании, которые при более строгом законодательстве считались бы маргинальными, если не незаконными. Но с развитием процесса разгосударствления эти компании стали считаться банками. И большие депозитные банки, видя огромные бумажные доходы, полученные этими маленькими фирмами-спекулянтами, тоже включились в подобную игру. Вероятно, именно такое общество Кейнс назвал обществом казино⁵.

И именно такая деятельность стала теперь определяющей в нашей экономической системе. Но по мере сокращения влияния государства на экономику, в США уменьшался и рост самой экономики: 4,2 процента в 1960-е годы, 3,1 процента во время кризисных 1970-х и 2,1 процента в формально благополучных 1980-х. В Канаде, несмотря на широко развитую систему социальной защиты, число людей, живущих в бедности, выросло в период разгосударствления экономики с 14,7 процента в 1981 году до 17,3 процента в 1985 году и продолжает расти в наши дни⁶.

На Уолл-стрит 24 апреля 1987 года в зале для торгов американской фондовой биржи неожиданно появилась рок-группа для того, чтобы вдохновить брокеров своей музыкой. И товарный знак ресторана Hard Rock появился на крупнейшей мировой торговой площадке. Кроме того, это выступление символизировало триумф психологии индустрии обслуживания и показало значение обмана на нерегулируемом рынке. Оно также стало примером идиотической радости, которая всегда охватывает общество в периоды экономической анархии.

В такие моменты интересно наблюдать, что самовнушение и самоуверенность охватывают сначала биржевых трейдеров, затем бизнесменов, а потом и все население и правительство. Все начинают считать происходящее реальностью. Как по мановению волшебной палочки, банальные спекуляции превращаются в инвестиции, а инвестиции безопасны. Но самое невероятное — это неожиданное озарение, что деньги — это реальность, хотя каждый абсолютно точно зна-

ет, что они — всего лишь условное понятие, даже не абстракция, потому что мы никогда не сможем договориться, абстракцией чего являются деньги.

Лучшее, что мы можем сделать, это выработать разумные контрмеры. Они действенны, если ими пользуются в течение длительного времени и если существует объективное соотношение между реальным трудом/ресурсами/товарами и количеством денег, находящихся в обращении. В рамках этих соотношений разумное кейнсианство и разумный монетаризм не очень далеки друг от друга. Но людям трудно оставаться разумными в рамках абстракций. Вместо этого они настолько привыкают к произвольному определению абстракции денег, что они решают, будто это является и реальным и абсолютным.

Наши трудности проистекают из того, что разум отдает предпочтение абстракции, а не реальности. Результат этого весьма революционен. Мы включили спекуляцию в рациональную систему. И все же если и существуют уроки истории, то из них можно сделать следующий вывод: инфляция и кризис преследуют экономику, базирующуюся на спекуляции, особенно на спекуляции за счет заемных средств.

Современный монетаризм, несмотря на то что он уделяет самое пристальное внимание объему денежной массы и классической инфляции, породил самые высокие уровни долговых обязательств в современной истории, в сочетании с обременительными или нереальными выплатами по процентам. Что более странно, в то время как апологеты монетаризма обращают внимание на государственный долг, они безразличны к беспрецедентным корпоративным и личным долговым обязательствам. Фактически корпорации опутаны процентными обязательствами больше, чем государства. Основной подпиткой инфляции являются выплаты по процентам, вне зависимости от того, выплачивает их государство или компании, но в руках правительств имеются другие механизмы для стимулирования экономической активности, такие как законодательство и контроль. В то время как британское правительство недальновидно расплачивается по долгам, население впервые в истории тратит больше, чем получает.

За последние шесть лет его долговые обязательства удвоились. В отсутствии реального роста корпорации и люди могут надеяться расплатиться по этим долгам только в случае безостановочной инфляции. Или объявить себя банкротами. Количество банкротств — как корпоративных, так и отдельных граждан — повсеместно на Западе растет год от года, и каждый год становится рекордным. Так, в 1990-е годы оно выросло в три раза по сравнению с началом семидесятых.

Груз долгов стран Третьего мира — составляющая этого же процесса. В этих странах трудно встретить финансовые обязательства, которые не напоминали бы инфляционную спираль, построенную на выплатах процентов с процентов. Об истории появления этих долгов уместно напомнить. Соединенные Штаты подталкивали нефтедобывающие страны — преимущественно Иран — к ненужным закупкам, в основном вооружений. Иран требовал от ОПЕК увеличения цены на нефть, чтобы оплатить свои все возрастающие расходы. Запад тогда начал печатать больше денег, чтобы заплатить за нефть. Нефтедобывающие страны направляли деньги назад на Запад, чтобы заплатить за товары, услуги и оружие, а также для хранения денег в безопасном месте. Западные банки были должны эти деньги производителям, преимущественно Ирану и арабским странам. А поскольку эти деньги помещались на депозит, то банки должны были выплачивать и проценты. Западная экономика вступила в полосу застоя вследствие роста цен на нефть и обесценивания бумажных денег. Банки сочли удобным часть возрастающих огромных запасов денежной массы отдать в долг странам Третьего мира. В теории считалось, что приток денег ускорит развитие этих стран, а также создаст новые рынки сбыта для залежалых товаров западного производства. Но это не помогло развивающимся странам, так как их экономики были парализованы тем же самым ростом цен на нефть и сокращением покупательной способности населения. Тогда банки стали предоставлять им еще больше ссуд, считая, что первоначальных кредитов было выделено недостаточно. Чем больше Запад предоставлял кредитов, тем меньше Третий мир мог по ним расплачиваться. Как выяснилось позднее, многие из этих

стран не могут даже выплачивать проценты, не говоря уже об основной сумме кредитов. Эти страны превратились в банкротов, со всеми вытекающими последствиями: нарушением в них социальной стабильности и мира.

Ясно, что деньги эти потеряны. Однако наши правительства и банки потратили десять лет, выкручивая руки должникам, навязывая им строгие экономические меры, такие, с которыми не смогли бы справиться и экономики западных стран. И тем не менее, это не ускорило выплату долгов, а наоборот, увеличило нищету и страдания. Но после всего этого банки решили еще раз предоставить кредиты ряду этих стран. Объемы невыплаченных долгов росли, как снежный ком. Тогда западные страны стали списывать несколько сотен миллионов долларов одним странам, сокращать размер долга другим, реструктурировать третьим, осознав, наконец, что это долги представляют собой то, чем они фактически были с самого начала — безнадежные долги. Одна международная конференция следовала за другой ради поддержания иллюзии, что кредиты однажды будут погашены. Когда Джеймс Брейди, американский министр финансов, предложил комплексный план по урегулированию ситуации, у одной из сторон он вызвал вздох облегчения и — взрыв негодования большей части банковского сообщества. Но план Брейди не решал даже и четверти всех проблем. В печати эта проблема освещалась таким образом, чтобы люди поверили, что она уже решена. Фактически долг Третьего мира не уменьшался и продолжает расти в наши дни.

Боязнь рациональных структур признать реальность, открыто заявить о проблеме так велика, что даже шаги в правильном направлении для решения этой проблемы маскируют и выдают за что-то другое. Граждане наших стран были бы несказанно удивлены той информацией о долге стран Третьего мира, которую можно почерпнуть из высказываний официальных экономических представителей правительств. Осознав ту информацию, которая им выдается, они бы пришли к единственно возможному выводу: наши структуры и/или наши элиты охвачены истерией фантазирования или маниакальным бредом. Но эта потребность представлять

действительность иной, чем она есть на самом деле, то есть маниакально лгать — всего лишь аспект рационального убеждения, что человек может и должен изменить обстоятельства, чтобы они соответствовали его собственным планам. Чем более абстрактны наши экономические системы, тем легче внушить, что воображаемыми финансовыми ситуациями можно управлять бесконечно долго. Однако в истории нет примеров, доказывающих, что это так.

В шестом веке до нашей эры граждане Афин медленно вступали в полосу кризиса. Город был во власти евпатридов, аристократов по рождению, которые контролировали власть, владели большей частью земель и, пользуясь своей властью, закабалили бедных земледельцев, ссужая им в неурожайные годы. Евпатриды действовали как банкиры. Когда крестьяне стали не способны обслуживать свои долги, их превратили в государственных крепостных, оставив на их бывшей земле. Некоторые из них были проданы в рабство. Раб или крепостной уже не мог быть гражданином Афин. Но ситуация с долгами вышла из-под контроля.

Когда афиняне столкнулись с разделением общества на бедных и богатых, с экономической нестабильностью и угрозой революции, они в отчаянии призвали Солона и предоставили ему все полномочия. Двадцатью годами ранее он уже был архонтом, членом высшей правительственной коллегии, избираемым на год. Он был также крупным поэтом Афин. Он использовал поэтические приемы для выражения своих политических взглядов, а они были неизменны: умеренность и реформы. Он был противником как революции, так и тирании. Из этой умеренности вытекают его дальнейшие шаги. Столкнувшись с растущим неравенством и неспособностью народа погасить долги, он писал: «Общественное зло входит в дом каждого человека, ворота его внутреннего двора не могут защитить его, оно перепрыгивает через высокую стену; и даже если он спрячется в углу спальни, оно достигнет его и там».

Атмосфера, в которой он пришел к власти, не очень сильно отличалась от нынешней. Такое же маниакально-депрес-

сивное настроение царит в обществе. Драконовская финансовая и правовая политика правителей-угнетателей была изначально основана на кодексе законов Драконта. Произвол богатых основывался на законах, которые стали называть драконовскими.

Придя к власти, Солон своим первым законом упразднил долги, по которым земли изымались у крестьян, и освободил из рабства всех граждан. То есть он законодательно утвердил дефолт. Афиняне назвали это «страхиванием бремени», но на практике это означало просто уничтожение долговых обязательств. По его собственным словам, он «снял долговые камни, установленные повсюду, и освободил поля, прежде порабощенные».

Освободив как отдельных людей, так и нацию от долговых цепей, он восстановил общественное равновесие. А затем занялся разработкой кодекса справедливых законов (вместо драконовских) и заложил основы демократической конституции. В Афинах вскоре стало расти благосостояние общества, а вместе с ним распространялись демократические идеи. Стали процветать философия, театр, скульптура и архитектура. Сейчас очевидно, что все это легло в основу римской и всей западной цивилизации. Велика заслуга гения Солона и Афин в мировой истории, порой мы это создаем, а чаще всего нет, гения, который освободил людей от бремени долгов.

Генрих IV был, вероятно, величайшим из королей Франции. Его путь к трону оказался длинным и сложным: через гражданскую войну, бушевавшую по всей стране. Когда он, наконец, пришел к власти в 1600 году, страна лежала в руинах, а размер государственного долга превышал 348 миллионов ливров — колоссальная сумма по тем временам. Главой правительства был Сюлли, который до сих пор считается одним из лучших государственных служащих. Сначала он отказался от выплат процентов по этому долгу. Потом стал вести переговоры об изменении всех долговых обязательств: сроков и условий выплат. В результате всех этих действий государственный долг обесценился. А через десять лет он и Генрих восстановили Францию.

В 1789 году Джефферсон писал из Парижа Джеймсу Медисону о принципе долга, применяя здравый смысл к действительности. Францию восемнадцатого века можно заменить на современные Бразилию или Перу: «Предположим, что Людовик XIV и Людовик XV взяли у Голландии от имени французской нации кредитов на сумму в десять тысяч миллиардов. Сумма процентов по этому долгу составляет пятьсот миллиардов, что равняется доходу, получаемому от сдачи в аренду, или чистому доходу территории Франции. Должно ли существующее поколение французов удалиться со своей территории, на которой природа произвела их, и уступить ее голландским кредиторам? Нет, они имеют точно такие же права на землю, на которой они появились, как и предыдущие поколения. Они получили эти права не от них, а от природы. Таким образом, они и их земля, по своей природе, свободны от долгов их предшественников»⁷.

В США в течение девятнадцатого столетия по ссудам, выдаваемым частными консорциумами для финансирования крупных инвестиционных программ, постоянно объявлялись дефолты. История американских железных дорог — это история неплатежей. Если говорить более точно, история американского капитализма состоит из одних дефолтов. Особенно впечатляющими были паники 1837, 1857, 1873, 1892—1893 и 1907 годов. Ни одно из этих нарушений ранее принятых обязательств не происходило цивилизованно, как во времена Солона или Сюлли. Наоборот, это вызывало панику, которая порождала массовые банкротства, которые в свою очередь ликвидировали массовые долги. Вследствие стихийности, с которой проходил отказ от долговых обязательств, возникал кратковременный экономический кризис, потом экономика очищалась и развивалась с новой силой. Во время паники 1892—1893 годов потерпели банкротство четыре тысячи банков и четырнадцать тысяч коммерческих предприятий. Иными словами, неуплата долгов была основой строительства Соединенных Штатов. Различие между Генрихом IV и банкротствами американских железнодорожных компаний состоит лишь в способе, а не в содержании. Великие депрессии прошлых ста пятидесяти лет можно считать

формой отказа среднего класса от выплаты долгов. Экономические кризисы, обесценивая бумаги, освобождают граждан от долговых обязательств. Метод был и остается неудобным и болезненным, особенно для бедных, но он разрушает бумажные цепи и создает через боль, беспорядки и крах новое равновесие.

Одним из самых удивительных нововведений конца двадцатого столетия было не только доведение до совершенства методов спекуляции, но и зачисление процесса выплаты долгов в нравственную категорию, со смутно религиозным оттенком. Это, вероятно, результат попыток представить Бога как официального сторонника капитализма и демократии. Такие выводы делаются на основе анализа работы немецкого мыслителя Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», созданной им в начале двадцатого века. Вебер писал, что Реформация положила начало становлению капитализма. Таким образом, капитализм можно считать продуктом Реформации. В результате возник буржуазный предприниматель, «который не преступал границ формальной корректности, считался нравственно безупречным, а то, как подобный предприниматель распоряжался своим богатством, не вызывало порицания; он мог и даже обязан был соблюдать свои деловые интересы». Но Вебер также указывал, что, по мере становления капитализма, происходил отказ от христианских ценностей и весь процесс превращался в «стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания». Капитализм на высшей стадии развития приобрел «характер безудержной страсти, подчас близкой к спортивной». К тому же он намеренно вывел за скобки своей протестантской теории происхождения капитализма «ростовщиков, военных поставщиков, откупщиков должностей и налогов, крупных торговых предпринимателей и финансовых магнатов»⁸.

Правда заключается в том, что взимание процентов за предоставляемый кредит (лихва) полностью противоречит христианской доктрине. И в данном случае речь не идет о справедливых или несправедливых процентных ставках. Ссужать деньги ради получения прибыли было и остается ос-

новным корыстным грехом (сребролюбием). Повинен в грехе ростовщичества кредитор, предоставляющий ссуду. Заемщик испытывает сиюминутную потребность в деньгах, и кредитор пользуется его слабостью. Эта тема вновь и вновь возникает в истории для оправдания не только неплатежей, но часто и лишения кредитора имущества, а иногда и жизни.

Христианство не одиноко в определении ростовщичества как греха. Согласно буддистской традиции, ростовщик отнюдь не приближается к нирване. Кредиторы-мусульмане, по крайней мере в теории, подвергались смертельной опасности. И даже в Торе четко указывается, что иудеи не должны ссужать под проценты своим единоверцам⁹.

Европейский антисемитизм часто объяснялся тем, что предоставление денег под проценты оценивалось как безнравственное действие. Но могущество еврейских банкиров в значительной степени было «накликанной бедой» для католических государств. В некоторых случаях евреям запрещалось любое другое занятие. Заимствуя у людей, не защищенных официальной этнической или религиозной организацией, христианам было легче всего объявить об отказе платить по долгам. Небольшие религиозные волнения облегчали эту задачу. Или периодические погромы. Или просто, как в случае с королями, отказ платить, в результате чего еврейский кредитор лишался законной защиты. Организовывая европейское общество так, что христиане могли брать в долг у евреев, христиане тем самым избегали нарушения католического закона. И евреи, предоставляя христианам средства под проценты, не нарушали своих собственных религиозных предписаний. Иными словами, для обеих сторон избежать божественного возмездия было делом техники.

Конечно, ко всему этому присоединялся дремучий антисемитизм, и это нельзя игнорировать. Однако список католических и протестантских кредиторов, которым не вернули долг, посадили в темницу, сослали или повесили, столь велик, что синдром отказа платить по долгам необходимо рассматривать без религиозного и этнического предубеждения. То, что финансисты никогда не имели статуса, заслуживающего уважения в западном обществе, ни в христианский, ни

в капиталистический периоды, — общепризнанный факт. Банкиры никогда не считались достойными гражданами, в отличие от бюргеров, торговцев и капиталистов. Считалось, что они не вносят вклада в социальную ткань. Всегда считалось, что проценты по кредиту — это деньги, получаемые ни за что, и таким образом, аморальные и ответственные за инфляцию в самом широком смысле этого слова. Банкиры всегда жили на грани закона. Время от времени судьба возносила некоторых банкиров наверх, и они купались в лучах славы и власти. Но со временем нужда в них отпадала, и их снова бросали на дно.

Жак Кёр, например, начинал как откупщик в Бурже в центральной Франции в начале пятнадцатого столетия. Благодаря спекуляциям он увеличил свое состояние, а потом стал служить у короля Карла VII. Постепенно он совместил свою финансовую империю, простиравшуюся по всей Европе, с официальными функциями: министра финансов, королевского советника и дипломатического посредника. Он финансировал завоевание Карлом Нормандии в 1450—1451 годах. В конечном итоге, король и аристократия стали его должниками. Он был обвинен в убийстве Агнес Сорель, фаворитки короля, и заключен в тюрьму, но впоследствии оправдан. После этого ему удалось бежать в Рим.

В 1716 году шотландскому теоретику в области денежно-кредитной системы разрешили проверить во Франции свою систему борьбы с инфляцией на практике. Государственный долг был очень велик, и инфляционный метод Джона Лоу обещал решить эту проблему. К 1718 году он руководил королевским казначейством и финансовыми рынками, благодаря системе международных финансовых спекуляций, основанной на кажущемся развитии колонии Луизиана. Безумие достигло апогея в начале 1720 года, затем пирамида лопнула, а Лоу был вынужден бежать. Он умер в нищете в Венеции.

С тех пор почти ничего не изменилось. В 1893 году Эмиль Золя написал свой роман «Деньги», в котором он проиллюстрировал методы работы финансовых рынков и атмосферу

всеобщего морального осуждения со стороны общества по отношению к банкирам. Главный герой романа — банкир-учредитель мсье Саккар, специализирующийся на спекуляциях акциями якобы быстро развивающихся компаний, в данном случае ближневосточных. Благодаря легкости, с которой он делает деньги, он становится звездой финансового мира. В его уста Золя вкладывает следующие слова: «Стоит ли отдавать тридцать лет жизни, чтобы заработать какой-то жалкий миллион, когда его можно положить в карман за один час, посредством простой биржевой операции. (...) Самое худшее в этой горячке то, что перестаешь ценить законную прибыль, а в конце концов даже теряешь точное представление о деньгах»¹⁰. Саккар неизбежно терпит крушение, но вскоре он начинает все снова.

Люди, подобные банкиру, описанному Золя, были зачастую очень богатыми, но с ними мало кто желал общаться, о них мало знали. Они были спекулянтами, маргиналами, ничего не производившими, но они всегда находились в движении. Наши современные банкиры-инвесторы — те, кого мы почитаем столпами общества и оплотами капитализма, являясь преемниками мсье Саккара.

Появление банкира и спекулянта в первых строках списка уважасмых граждан совершенно обосновано. Когда элегантный, убедительно говорящий вице-президент депозитного банка появляется перед публикой, такая общественная реклама ростовщиков положительно действует на людей, так как перед ними выступает не сам банкир, а наемный работник, эксперт, технократ. Убаюкивающие слова заставляют слушателя забыть об исторических и современных причинах такого обращения.

Людам проще обратить внимание на тех банкиров, которых именуют маргиналами. При упоминании имени, например, Т. Буна Пикенса люди могут сказать: «Да это ведь спекулянт!» Но этого спекулянта поддерживают руководители крупнейших нью-йоркских банков — именно те элегантные банкиры, внушающие всеобщее доверие и уважение. И тем не менее, Пикенс — более сомнительная фигура, чем господин Саккар из романа Золя. Респектабельных банкиров сму-

щает его грубость, и они недовольны, когда их методы сравнивают с его финансовыми махинациями. Но суть в том, что они, стараясь сохранять свой элегантный вид, переняли его методы ведения дел.

Та респектабельность, которая появилась у банкиров, стала дополнительным аргументом, что уплата по долгам является моральным обязательством. И все же необходимо помнить, что всякий раз, когда общество не имело возможности оплачивать просроченные долги и объявлялся дефолт, после этого, как в случае с Афинами или США, наступало оздоровление экономики, и общество успешно развивало свой творческий потенциал.

Кризис задолженности стран Третьего мира — яркий пример экономического здравого смысла, вступившего в конфликт со структурированной моралью. С начала 1980-х годов такие разные люди, как бывший премьер-министр Новой Зеландии, консерватор Роберт Малдун и британский экономист-социалист лорд Ливер, призывали к списанию этих долгов¹¹. Они заявляли, что гораздо лучше это сделать быстро и убрать бумажные путы долговых обязательств, чем продолжать разработку сложных схем реструктуризации долга. По их мнению, эти схемы имеют одни только недостатки и ни одного достоинства. Синдром разработки новых бумаг просто иссушает энергию — как должника, так и кредитора — и создает иллюзию решения проблемы.

Без сомнения, так бы и произошло, если бы наши крупнейшие банки не пытались скрыть свою изначальную ошибку, когда они выдавали в кредит не только средства, полученные в результате роста цен на нефть, но и сбережения мелких и средних вкладчиков. Кроме того, повсеместный рост неплатежей по кредитам породил тихие опасения, что списание долгов странам Третьего мира может поколебать дух морального обязательства платить по долгам у других должников. Бумажные обязательства стран Третьего мира, в конце концов, только часть долгов западной цивилизации, экономика которой в большой степени (больше, чем когда бы то ни было в прошлом) зависит от манипуляций с долговыми

обязательствами, чем от промышленного производства. Помимо долгов африканских и азиатских государств, накапливаются долги стран Восточной Европы, не говоря уже о задолженности правительств самих западных стран, корпоративных и частных долгах, которые в той или иной степени связаны с бумажными обязательствами.

На самом деле, сумма, которая разрушает страны Третьего мира, по западным стандартам не слишком велика. Совокупный долг стран Третьего мира составляет 1,2 триллиона долларов — менее трети годового государственного бюджета США. Стоит повторить, что на финансовом рынке Лондона ежегодно совершается сделок на сумму 75 триллионов долларов. Если сегодня долговые обязательства были бы аннулированы без всякого соглашения между сторонами, то для банков этот год стал бы тяжелым, но они бы от этого не обанкротились. Более того, фактически некоторые из банков уже списали часть долгов.

Отказу от выплаты долга — по взаимной договоренности или в одностороннем порядке — препятствует этическое понятие, которое общественные и частные структуры привнесли в акт выплаты долгов. Тоуни в своей работе «Религия и становление капитализма» отмечал, что средневековый человек зачастую вел себя дурно, но, несмотря на это, он считал своей обязанностью помогать беднякам и знал, что накопление богатства может повредить его душе. С распространением этики труда в период Реформации эти воззрения изменились: бедность стала синонимом лени, а богатство стало считаться справедливой наградой за упорный труд¹². Следствием этого стало беспрецедентно плохое отношение незначительной части общества, в руках которой находилось богатство, к обездоленному большинству. После эпохи социальных потрясений в западном обществе стала медленно восстанавливаться этика социальной ответственности, но уже на базе национальных государств. Казалось, что здравый смысл общества усвоил все лучшее в системе отношений в уходящем в прошлое средневековом социуме и затем стал приспосабливать это к новым, быстро развивающимся рациональным структурам.

Наше современное отношение к задолженности подтверждает, что мы перешли на новую ступень. Теперь социальная этика подчиняется эффективному функционированию системы. На этой стадии социальный контракт подчинен финансовому контракту. Этика настолько исказилась, что она стала использоваться в качестве мерила эффективности функционирования систем и для негативной нравственной оценки должников. В результате мы разучились пользоваться весами здравого смысла в оценке бедности и страданий, которые возникают из-за долгов, с одной стороны, и сравнительно слабыми негативными последствиями неплатежей на финансовую систему – с другой.

Каждый раз, когда Мексика неофициально признавалась банкротом из-за неспособности выплачивать проценты по долгам, мы считали себя обязанными предложить ей новые огромные кредиты. Эти кредиты не предназначались для модернизации мексиканской экономики. Они были просто бумагами, облегчавшими выплату процентов по кредитам, взятым у нас ранее. Польза для Мексики от этих кредитов была нулевой; для наших банков в долгосрочном плане она имела отрицательное значение, потому что новые кредиты выдавались с еще меньшей гарантией погашения; для всего нашего общества эта отрицательная величина возрастала еще больше, так как в дальнейшем загоняла нас в лабиринт искусственно созданных финансовых затруднений. И когда новое гражданское правительство Венесуэлы пришло к власти в 1989 году в атмосфере всеобщего энтузиазма, Запад первым делом заставил новое правительство принять программу финансового оздоровления с целью стимулирования погашения кредитной задолженности. Когда эта программа вызвала беспорядки и гибель людей, реакция была двойственной. Сначала американский министр финансов Брейди предложил четырехступенчатый план реструктурирования долга. Результатом этого медленного процесса должно было стать не решение проблем, а продление агонии. Венесуэльцы разработали свою стабилизационную программу. Она включала в себя передачу части национального богатства в обмен на аннулирование бумажных долговых обязательств. Програм-

ма имела много общего с «неестественным» сценарием Томаса Джефферсона, в котором неплатежеспособные французы должны были покинуть свою страну и передать ее голландским кредиторам.

Подобные кризисы повторяются в странах Третьего мира повсеместно. Поскольку идея осуществления фактического дефолта лишь постепенно проникает в страшно медлительные мозги финансистов и экономистов, на свет появляется любопытное мнение. Они считают, что страны Третьего мира должны прекратить обвинять западных банкиров в своих проблемах. Реальная проблема — отсутствие капитализма в этих странах. Реальные виновники — как левые, так и правые правительства этих стран, неправильно управляющие народным хозяйством.

Конечно, в этих утверждениях есть доля правды. В странах Третьего мира есть условия для разумного капиталистического развития. Но намного более важным является осуществление сельскохозяйственных программ, которые стимулировали бы переселение крестьян из городских трущоб в сельскую местность. В любом случае, разумный капитализм — это совсем не то, что имеет в виду большинство финансистов и экономистов. Они думают в первую очередь о высвобождении скрытых рыночных сил. То, что им требуется, — это индустриальная революция, составной частью которой, как и на Западе, должен стать уродливый, неуправляемый первоначальный период с низкими зарплатами, отсутствием гарантий занятости, защиты окружающей среды и техники безопасности, что неизбежно приведет к уничтожению старого социального мира и новым страданиям. Об этом не говорится прямо, но это подразумевается.

Однако нет никакой зависимости между развитием капитализма и неоплаченными долгами. Изначально долги были навязаны в попытке ускорения промышленного развития стран Третьего мира при помощи кредитов. Первопроходцами в этом были Мировой банк и Роберт Макнамара, за ними восторженно последовали финансовое и экономическое сообщество. Но эта попытка потерпела неудачу, и долги стали препятствием на пути дальнейшего экономического разви-

тия, в особенности капиталистического. Задолженность стала символом победы рациональных бумажных иллюзий над реальной деятельностью. Проблема заключается не в отказе правительств развивать капиталистические силы. Проблема в невозможности вдохнуть жизнь в эти страны до тех пор, пока они остаются должниками.

Путая длительное, ровное функционирование систем с моральными ценностями, наше общество утрачивает способность оценивать и судить, имеет ли каждая структура практическую ценность. Практический результат нашего гипнотического состояния заключается в том, что ростовщики определяют экономическую и социальную повестку дня. Долг стран Третьего мира — только часть проблемы. То, как мы относимся к инфляции и финансам вообще, — следствие того же заблуждения. Даже проблему задолженности правительства можно оценивать и решать по-другому, если беспристрастно исследовать природу долга. Если долг рассматривать как абстрактный финансовый механизм, то бумажную инфляцию, погашение процентов и возврат долга можно решать в практической плоскости.

Гипнотическое воздействие бесконтрольной бумажной экономики больше всего заметно в сфере корпоративных приобретений. В начале 1980-х годов новый тип приобретателя вместо прежнего образа сомнительного дельца создал образ предпринимателя, пользующегося всеобщим уважением. Этих людей можно считать вторым поколением Джима Слейтера. Но если внимательно изучить деятельность Т. Буна Пикенса, Айвена Бески, Пола Билзериана или Генри Крэвиса, то станет ясно, что, хотя они и обладают более высокими техническими навыками по сравнению с первыми корпоративными рейдерами, их намерения и социальные стандарты фактически куда более примитивны. Кажется, что они деградируют и все больше походят на героев книг Золя. Их эквиваленты существуют повсюду на Западе; все они объединены верой в то, что капитализм — это бумажная сделка. Их можно было бы назвать новыми инфляционистами. Современное западное общество решило признать спекуляцию выс-

шим этапом современного капитализма. И то, что наши герои уже не вызывают осуждения в обществе, является подтверждением этого. Например, уже в 1983 году эпопея Пикенса, в попытке овладеть активами Gulf Oil, была поддержана крупнейшей банковской холдинговой компанией Америки City Group Corporation¹³.

То, каким образом была предпринята попытка поглощения, можно считать классическим примером современной экономики. С одной стороны, была Gulf Oil, пятая по величине американская нефтяная компания, считающаяся в деловом сообществе образцом позитивного управления. Однако прибыль на инвестированный капитал за предшествовавшие пять лет была самой низкой среди четырнадцати крупнейших американских нефтяных компаний, а рост прибыли был самым медленным. И когда дело дошло до разработки новых американских месторождений, это сыграло отрицательную роль. Летаргия вялых, безынициативных, боящихся риска менеджеров довела компанию до больших финансовых проблем. Вместо серьезных изменений, руководство компании занялось перестановкой кадров.

Учитывая, что компания имела очень много акционеров, а проблем становилось все больше, то, исходя из теории свободного предпринимательства, можно было ожидать, что выступят ответственные акционеры, которые и найдут новую команду руководителей компании. Вместо этого на сцене появился Пикенс, выкупивший 13,2 процента акций компании, используя различные виды кредитов. Он не был альтернативой плохому руководству. Он действовал как таран. Его привлекло то, что в результате плохого управления стоимость акций понизилась до 40 долларов за акцию, в то время как исходя из стоимости активов она должна была составлять 114 долларов. Пикенс не делал секрета из своих планов: в случае получения контрольного пакета он собирался распродать запасы нефти и газа — единственные реальные активы компании — за наличные деньги. Иными словами, он намеревался разорить компанию.

Конечно, это намерение было оформлено в технократической формулировке, чтобы люди ничего не заподозрили.

Нефтяные запасы должны были перейти в «доверительное управление» с выплатой получаемой арендной платы непосредственно акционерам. Мелкий акционер, таким образом, получал бы прибыль от своих вложений. С логикой, которая смутила бы даже Игнатия Лойолу, говорилось, что отказ от последующего инвестирования капитала будет в дальнейшем способствовать росту инвестиций.

Действительность радикально отличалась от этих фантастических объяснений. Пикенс создал ситуацию, в которой он не мог проиграть. Либо он добился бы своего избрания в совет директоров и принудил компанию к распродаже ее активов, благодаря чему он получил бы реальные деньги. Или, понизив цену акции и заставив рынок ожидать скорой распродажи компании, он мог предложить своим друзьям менеджерам выкупить свой пакет акций в 13,2 процента приблизительно за ту же сумму. Иными словами, он или разрушил бы компанию, или обанкротил ее, навязав новые долги. В обоих случаях полученные им деньги были бы исключительно инфляционными.

После этого было сражение между группой медлительных технократов, пытающихся спасти свои рабочие места, и рейдером, не заинтересованным ни в развитии производства, ни в самой компании. Его оружием были наличные деньги и манипулирование системой свободного предпринимательства. Менеджеры выступали в доспехах корпоративных и юридических структур и законодательства. Сражение шло с переменным успехом.

Когда Пикенс уже собирался праздновать победу, менеджеры Gulf Oil нашли техническую зацепку, которая могла спасти их положение. Если бы большинство акционеров проголосовало за перевод компании в штат Делавэр, то, согласно тамошним законам, Пикенса можно было не допустить в совет директоров. Борьба перешла в другую плоскость: в борьбу за доверенности акционеров на право голосования. У менеджеров всегда есть преимущество в манипуляции голосами акционеров, и им удалось наскрести незначительное большинство голосов. Компания переехала в Делавэр, но только на бумаге. Фактически она оставалась на прежнем месте.

В этой борьбе между некомпетентностью наемных руководителей и безответственной жадностью рейдера не было и намека на то, что акционеры, финансовые власти, крупные финансовые учреждения или даже правительство понимали, что система свободного предпринимательства идет под откос. Казалось, все считали, что события развиваются нормально. Фактически Пикенса поддержала почти половина акционеров компании и многие самые представительные финансовые учреждения. Пикенс старался урвать лакомый кусок и убежать, но такую технику многие аналитики и общественные финансовые эксперты — от «Wall Street Journal» до «Financial Times» — квалифицировали как попытку дружественного поглощения, а не операцию по развалу компании.

Всего лишь за несколько лет до этих событий те же самые аналитики считали Пикенса шарлатаном. Что за это время изменилось? Незадолго до «наезда» на Gulf Oil, он аналогичным способом пытался урвать кусок нефтяной компании Cities Service с активами в 4 миллиарда долларов, тогда это вызвало острую критику, и попытка захвата провалилась. Однако цель операции была достигнута — он и его покровители получили большую прибыль. Поскольку господствующее определение современного капитализма сосредотачивается на слове «прибыль», она-то и превратила его в уважаемую персону.

Пикенс — только одна из сотен старомодных акул, которые приветствуются большинством активной части американского финансового рынка. Пол Билзериан, например, прежде чем его арестовали, имел около 40 миллионов долларов и осуществил приблизительно дюжину захватов обычных компаний, ранее и не подозревавших о такой угрозе. Владельцы Hammermill Paper или Cluett Peabody and Company тихо сидели за своими конторскими столами или спокойно торговали, когда с дикими воплями на них набросился маньяк, угрожающе размахивая огромным мечом. Само собой разумеется, они или попадали бы в обморок от страха, или отдали деньги налетчику. Билзериан даже не пытался, подобно Пикенсу, сочинять оправдания, что он, мол, поддерживает

мелкого акционера. «Если я напишу о себе статью, — говорил Билзериян, — я не уверен, что она будет приятной»¹⁴.

Много шума наделало поглощение компании Beatrice, крупнейшего производителя потребительских товаров. Эта громоздкая корпорация выросла благодаря уловкам менеджеров, которые симулировали рост активов через поглощения и диверсификацию. В 1987 году они, в свою очередь, подверглись атаке рейдеров Кольберга, Крэвиса и Робертса. Крэвис использовал маленький пакет акций в 40 миллионов долларов для манипуляции с покупкой Beatrice за 6,2 миллиарда долларов¹⁵. После этого они разделили компанию и распродали ее по частям приблизительно за 3 миллиарда долларов. Весь процесс — от вложения 40 миллионов долларов до получения 3 миллиардов долларов прибыли за распроданную компанию — занял шестнадцать месяцев. Не было потрачено ни пенни на производство. Крэвис утверждал, что он оказал экономике услугу, отобрав у администраторов производственные мощности и передав их непосредственным производителям. Конечно, в этом есть элемент правды; той правды, которую создает неконтролируемая логика. Одна группа технократов-менеджеров создала чудовищный конгломерат, стимулируя инфляцию. Появилась другая группа технократов-специалистов по поглощению и занялась разделом компании, что также подтолкнуло инфляционные процессы. В результате предприятия раздробленной и проданной по частям Крэвисом компании имеют непредусмотренные долги в размере 6 миллиардов долларов.

Эти долги относятся и к американской экономике в целом. Их не списывают, и они не идут на новые инвестиции в производство. Аргументация Крэвиса — софистика, предназначенная для маскировки бросовых облигаций и спекуляций. Помимо прибыли от купли-продажи, были также выплачены гонорары в размере 10 миллионов долларов Drexel Burnham Lambert за финансирование бросовых облигаций; 45 миллионов долларов Кольбергу, Крэвису и Робертсу за ведение дела; 33 миллиона долларов трем банкам — Kidder Peabody, Lazard и Salomon — за консультации. Ни одна из этих выплат не связана с производственной деятельностью.

Если бы наша система разрешала судебное преследование на основе духа закона или духа капитализма в демократическом обществе, то Генри Крэвис был бы преступником. Вместо этого его деяниями восхищаются. Это может только поощрить других и внушить производителям реальных товаров чувство, что они тратят время впустую.

Многие возлагают вину за эту ситуацию на людей типа Дональда Ригана. На тех, кто способствовал превращению общественного интереса американцев в мир грез брокера, в бесконечные комиссионные вознаграждения. При такой постановке вопроса речь может идти только об отдельно взятой стране при отдельно взятом правительстве. Только в этом случае можно говорить о рейганомике и неконтролируемых и безответственных 1980-х. В действительности эти проблемы касаются не только Соединенных Штатов. Западные экономические системы шли одна за другой по той же самой дорожке. Ни одна из высокообразованных элит — делового управления, правительственного руководства управления или экономистов вообще — не выразила протеста. По сути дела, все те эксперты находили грабительским сделкам социально приемлемое обоснование в рациональной структуре и словаре.

Без сомнения, результат не оправдал ожиданий. Возможно, именно поэтому власти, наряду с широкой публикой, совсем по-детски утешились открытием, что некоторые из этих сделок действительно были незаконными. Всеобщее волнение вызвали откровения Бески, за которыми последовали разоблачения Майкла Милкена. В Великобритании были фарисейские высказывания в связи с делом Guinness. Президент Франции по телевидению размышлял о природе денег и пустился в теоретический самоанализ в связи с инсайдерской деятельностью своего друга мсье Пела.

Всем вдруг показалось, что с приходом нового десятилетия ситуация меняется и наступает новая, более ответственная эра. Но на чем основывалось это ощущение, помимо принятия желаемого за действительное и нескольких разоблаченных случаев крупного мошенничества? Фактически не

проводилось никакой реформы законодательства и инструкций, касающихся финансовых сделок. Большинство из сделок, которые на рынке считаются формально законными, являются экономически безответственными. Бросовые облигации, объем которых агентство Moody's оценивает в 25 процентов от всех корпоративных облигаций, были одним из наиболее используемых экономических инструментов 1990-х годов. Когда один из самых интересных и выгодных сегментов международного финансового рынка сосредоточен на скупке долгов стран Третьего мира, становится понятно, что банки не заинтересованы в инвестициях в новое производство. Крэвис и ему подобные ответственны за не лучшее впечатление о восьмидесятых годах, а теперь они предлагают новые варианты возобновления операций поглощений с привлечением заемных средств.

С каждым годом растет количество банкротств среди американских банков, и все больше их число искусственно поддерживается на плаву федеральной системой чрезвычайного банковского страхования. Все чаще возникают скандалы среди финансовых структур. В 1991 году разразился скандал в связи с неплатежеспособностью биржевых брокеров в Милане. Были выявлены правонарушения, повлекшие судебные разбирательства и увольнения сотрудников в Salomon Brothers, крупнейшем американском инвестиционном банке. «Чистый» финансист Уоррен Баффетт, к которому в связи с этим обратились за помощью, заявил, что в финансовой системе Америки остались неизменными все соблазны и все правила игры. А людям, которые «пытаются вести дела неправильно... удастся избежать неприятностей». Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (British Serious Fraud Office) провело международное расследование большой компании Брента Уолкера по организации досуга. Помимо всего прочего, было выявлено загадочное исчезновение одного миллиарда фунтов стерлингов со счетов компании. В результате возник финансовый кризис, в течение полутора лет затронувший 18 крупных корпораций. Ряд шведских инвестиционных компаний во главе с Gamelstaden, потерпели крах в 1991 году. Было проведено

правительственное расследование, которое выявило проблемы в кредитном законодательстве.

Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, ранее работавший прокурором, возбудил множество дел о мошенничестве в конце восьмидесятых годов. Он полагает, что финансовое сообщество обладает «способностью самостоятельно исправлять свои ошибки»¹⁶. Это подразумевает, что дельцы, против которых возбуждено судебное преследование, отклонились от общих стандартов. Но это не так. Как раз они-то от этих стандартов и не отклоняются, они находятся в общем потоке. Худшее, что о них можно сказать, это то, что они возглавляют этот поток. В британском Комитете лорда Роскилла в докладе о последствиях мошенничества говорится: «Общество больше не верит в то, что юридическая система Англии и Уэльса способна быстро и эффективно призвать к ответу лиц, совершивших крупные мошенничества... Общество право»¹⁷.

В Нью-Йорке количество нарушений в области внутренней торговли после отмены госконтроля выросло в несколько раз. Даже перед аферами Бески SEC в связи с нарушениями провела семьдесят семь правоприменительных акций в период с 1982 по 1985 год. Это — столько же, сколько их было с 1934 по 1981 год. Вряд ли люди стали менее честными. И дело не только в том, что отмена госконтроля вернула нас в атмосферу до 1929 года. Но это — результат, а не причина. Как говорил Роберт Лекачман, бывший профессор экономики университета штата Нью-Йорк, «рынок не более нечестный, чем когда-либо, но все еще менее честный, чем Монте-Карло, потому что там вы, по крайней мере, знаете, сколько берет себе игорный дом»¹⁸. Изучая список лиц, замешанных в скандале Бески, Кэрол Эшер обнаружила, что все они — выходцы из семей среднего класса, имеют дипломы магистров бизнес-администрации или юристов лучших американских университетов. Все они имели приличные зарплаты и перспективы карьерного роста. Коллеги характеризовали их как «мотивированных», «ярких», «добросовестных», «решительных», «настойчивых», «активных», «предприимчивых» и «исключительно трудолюбивых»¹⁹.

Иными словами, они не относятся к числу людей, склонных к противоправным действиям. Они были частью общей экономической атмосферы, в которой определение «ловкий» не имело никакого отношения к социальным стандартам, потому что общество канонизировало структуру и манипулирование ею. Они ничем не отличались от большинства людей на Уолл-стрит, Сити или на фондовой бирже. Возможно, они шли на шаг впереди общепринятых стандартов.

Потом возникло общее беспокойство падением деловой этики. В бизнес-школах срочно организовали курсы лекций по этике поведения²⁰. Но когда экономическая система оторвана от реальности, этика вряд ли поможет, так как произошло сильное обесценивание понятия честности. Эта напыщенная этика стала отражением нашей финансовой инфляции. Нравственное решение, принятое современными деловыми структурами, имеет такое же отношение к реальности, как крупная операция с недвижимостью — к игре в «Монополию».

За пределами национальных и международных манипуляций с деньгами и этикой существует параллельный мир, абсолютно свободный от регулирования, поскольку он не подчинен каким-либо правилам или стандартам. Его можно назвать сумеречной зоной финансов: офшорные, безналоговые, нерегулируемые зоны не поддаются воображению, это зоны абсолютной инфляции. И все же «понятия», по которым существуют эти зоны, взяты из реальных экономических систем.

Мир офшорного капитала, например, вводит нас прямоком в мир финансовых авантюр мсье Саккара, торговавшего на парижской фондовой бирже акциями несуществующей Ближневосточной компании, или в финансовый крах в Англии, известный под названием «Мыльный пузырь Южных морей». Компания Южных морей была основана в 1711 году для работорговли в испанских колониях в Америке. В 1720 году, несмотря на незначительный объем капитала, компания предложила выкупить британский государственный долг. Парламент одобрил предложение, и акции компании взлете-

ли со 128 до 1000 пунктов, а затем обрушились. Огромное число людей были разорены, а при расследовании были выявлены случаи массовой коррупции. Это произошло в один год с крахом аферы Джона Лоу в Париже.

Почему-то наличие физического расстояния или границ и морей между инвестором и инвестициями всегда давало инвестору искреннюю веру в правильность его оценок. Сознавание того, что он не может знать реальную ситуацию, внушало ему оптимизм. Еще в середине девятнадцатого века австралийские и канадские акции предприятий горнорудной промышленности приводили изнеженные классы Европы, типа английского дворянства и парижской медицинской профессуры, в состояние легкой эротической дрожи. При наличии некоторого свободного времени и свободных денег, эти люди усиленно ищут на географических картах те места в дальних странах, где бьют фонтаны нефти, золотые самородки лежат на поверхности земли, а акции стремятся ввысь. До своего эффектного банкротства компания Dome Petroleum мифическими месторождениями нефти в Арктике возбуждала умы многих людей в Европе²¹.

В очередной раз претворение фантазий в действительность обрело свое абстрактное очарование в конце двадцатого столетия. Офшорные фонды, рынок евродоллара — достаточно двух упоминаний ранес неизвестных вселенных. Ни в атласе, ни в планетарии вы не найдете страны или вселенной, где происходят эти сделки. Они существуют исключительно в человеческом воображении.

Фонд Квантум, управляемый Джорджем Соросом, является хорошим примером такой воображаемой вселенной. О своих методах управления Сорос даже написал книгу под названием «Алхимия Финансов». Не существует более инфляционной идеи, чем превращение обычного неблагородного металла в золото. Вероятно, этим-то и занимается господин Сорос в своем фонде, активы которого оцениваются в миллиарды долларов. Фонд расположен в карибском налоговом раю на острове Кюрасао, что позволяет Соросу избегать выполнения требований о публикации финансовой отчетности, обязательных во всех западных странах. Он — один из самых ус-

пешных офшорных менеджеров, занимающихся денежными спекуляциями. Он совершает свои сделки в тайне, прыгая, как блоха, из одной страны в другую, от акций к валюте, от валюты к сырью. Один год золото можно делать в Финляндии, другой — получить его из бананов, на третий — из немецких марок, затем — из стран Восточной Европы, находящихся в тяжелом положении. Ключ его успеха в скорости, с которой он передвигается, и в особом доверии клиента к его умению и знаниям. Им приходится верить, потому что проверить правильность его действий они не могут. Но является ли это верой в его способности выбирать инвестиции, финансировать их через сложную, неизвестную систему кредитования и получать прибыль непонятным способом? Или это вера в мечту, которая и является сущностью инфляционного богатства?

Акции и сырье всегда были прекрасными источниками офшорных махинаций, но ничто так не захватывает, как валютные спекуляции. В течение прошедших пятнадцати лет плавающих курсов валют все наши частные финансовые организации, а также денежные «предприниматели», типа Сороса, отдавали все свои силы и энергию жонглированию цифрами. Разница курсов валют позволяет спекулянтам денежного рынка сталкивать экономику одной страны с другой, используя колебания курсов, одновременно играя то на понижении, то на повышении этих курсов и получая прибыль как с той, так и с другой стороны. Сорос с гордостью вспоминает, как он в 1985 году «не жалел времени», играя на понижение курса доллара. За тот год его фонд получил прибыль в 122 процента.

Министры финансов, которые обязаны посвящать свое время и энергию созданию твердой финансовой основы государственного бюджета и его роста, вместо этого вынуждены тратить большую часть своей жизни на разгадывание трюков и уловок таких «соросов». В этой борьбе их почти невозможно одолеть, так как абстрактный подход спекулянтов не имеет никакого отношения к капитализму, росту или инвестициям. Фактически это не имеет непосредственного отношения ни к одному из экономических факторов. Валютная спекуляция — примерно то же самое, что опасная детская

игра, в которую играет взрослый человек с целью получения прибыли. Правительству одного государства практически невозможно с ней справиться. Поэтому продолжается игра в абстрактные цифры, нарушающая производство, стабильность, экономику. В семнадцатом веке Сороса непременно бы повесили. Сегодня «International Herald Tribune» печатает его биографию и хвалебные статьи о нем²².

В настоящее время в мире существует множество видов инфляции, но отсутствуют инструменты для их измерения. Мы еще далеки от общего согласия в том, что же именно является инфляцией. Вместо этого мы упрямо придерживаемся классического метода измерения инфляции, основанного лишь на нескольких частных признаках. Но почему измерение инфляции должно основываться на нескольких пунктах, которые, как признают экономисты, недостаточны в таком сложном мире? Если мы внимательно проанализируем сферу услуг, частью которых являются финансовые услуги, то мы должны пересмотреть всю природу инфляции и, соответственно, подход к ней.

Например, кредитная карточка — индивидуальный способ печатания валюты — позволяет избежать любого контроля со стороны центрального эмиссионного банка. Во второй половине восьмидесятых годов количество кредитных карточек в Германии выросло в пять раз и достигло приблизительно пяти миллионов. С 1976 по 1988 год количество карт Visa и MasterCard в Великобритании выросло с 6,4 миллиона до 24,5 миллиона штук. В течение двенадцати месяцев 1987–1988 годов платежи по британским кредитным картам выросли на 26 процентов и составили приблизительно 8 миллиардов фунтов. Во Франции к концу 1988 года насчитывалось 17,7 миллиона карт. За 1988 год платежи по картам буквально удвоились и достигли 458 миллиардов франков. Результатом этого стал резкий рост задолженности граждан в странах Запада. В течение 1980-х годов объем платежей с применением кредитных карт в Канаде вырос в семь раз. Только в 1988 году задолженность по платежам по кредитным картам выросла с 10 до 12 миллиардов долларов²³.

Даже в тех областях, в которых инфляция теоретически поддается измерению, цифры недостоверны и занижены, так как механизмы измерения инфляции разработаны без учета запросов реальной экономики. Рост цен на недвижимость отражает лишь рост спроса на новое строительство или аренду, и то не везде. Таким образом, в западных странах от 2 до 5 процентов от инфляции исключаются из суммарных показателей роста инфляции. Достаточно упомянуть, что стоимость жилья в большинстве городов за последние десять лет выросла в три раза²⁴.

Люди практически не едят большую часть продуктов питания, входящих в список товаров, учитываемых при расчете индекса потребительских цен. Цены на эти основные продукты растут намного медленнее, чем на большинство продуктов питания, частично потому, что они — основные продукты и не относятся к продуктам с постоянно растущей ценой. Необходимо учитывать и то, что индекс потребительских цен рассчитывается на основании именно тех продуктов, которые включены в правительственные программы, что также сдерживает рост цен на них. К ним относятся, например, масло, зерно и яйца. Кроме того, такие инструменты, как дефлятор ВВП (или индекс стоимости жизни), учитывают цены только на товары, произведенные внутри страны, но не учитывают изменения цен на импортируемые товары. Даже незаконная торговля наркотиками должна учитываться при расчете роста инфляции. Доход от торговли наркотиками оценивается приблизительно в 300 миллиардов долларов в год. Этого достаточно, чтобы, по словам заместителя министра финансов Японии, «подорвать доверие к мировой финансовой системе»²⁵. Что тогда говорить о не менее искусственном рынке вооружений, в три раза превышающем рынок наркотиков, однако имеющем преимущество перед последним в том, что он секретен и узаконен? Его никак не учитывают в ежемесячных или ежегодных расчетах инфляции.

А как относиться к конкретной проблеме процентных ставок? Мы подспудно чувствуем, что их уровни теперь выше необходимых, но терпимы по сравнению с уровнем процентных ставок в конце 1970-х годов. Но по сравнению с уровня-

ми процентных ставок, принятых в более ранних, процветающих экономических системах, они очень высоки. С 300-х годов до н. э. до 100-х годов после Рождества Христова у греков они составляли от 6 до 9 процентов. В Риме между 500 годом до н. э. и 100 годом н. э. они колебались в пределах от 6 до 8 процентов. По мере упадка Римской империи процентные ставки росли до 12 процентов и выше после 300-х годов нашей эры. В восемнадцатом веке в Англии они составляли приблизительно 6 процентов; во Франции — от 2 до 6 процентов. В девятнадцатом веке, в эпоху бурного роста, английские ставки равнялись 4–5 процентам; французские — 3–6 процентам; немецкие — 4 процентам; а американские — 6–8 процентам. И в течение почти всего двадцатого века, вплоть до 1973 года, процентные ставки составляли приблизительно 3–6 процентов²⁶.

В течение последних двадцати лет они иногда были ниже 10 процентов, но чаще всего — выше. В целом современные процентные ставки для привилегированных заемщиков в два раза превышают среднеисторическую величину. Но разрешение печатать частные деньги, благодаря введению кредитных карт, породило параллельные процентные ставки, которые составляют от 15 до 22 процентов. Кредиты странам Третьего мира и бросовые облигации почти всегда обслуживаются по таким ставкам. Здравый смысл подсказывает нам, что проценты по кредитам не имеют ничего общего с реальным производством или ростом. Это — добавленная непроемчивая стоимость, то есть в чистом виде инфляционная. Большинство наших экономистов продолжают утверждать, что высокие процентные ставки убивают инфляцию, когда в действительности все совершенно наоборот.

Ни одна из наших официальных методик экономических расчетов не учитывает изменения цен в сфере услуг. Современная экономическая религия молится на всемерное развитие индустрии обслуживания. С другой стороны, те, кто занимается измерением уровня инфляции, очевидно, полагают, что этот сектор экономики совершенно несуществен. Цены в гостиницах, ресторанах, модных бутиках, цены на качественную и дорогую еду ежегодно растут более чем на 10 про-

центов. Но с учетом того, что в современных семьях работают оба супруга, затраты на обслуживание, начиная от приготовления еды и кончая стиркой белья, которые вовсе не учитываются при анализе роста инфляции, для всех людей весьма значительны. Расходы на обслуживание растут в среднем в пределах 10 процентов в год.

Фантастический рост художественного рынка, в котором участвуют практически все, от крайне консервативных пенсионных фондов до матерых спекулянтов, является всего лишь уменьшенной копией рынка бросовых облигаций, и его можно назвать рынком роскошных иллюзий. Любой нормальный человек испытывает чувство смущения, когда слышит о том, что на аукционах покупают красные туфельки Джуди Гарланд из фильма «Волшебник из Оз» за 165 тысяч долларов, бутылки фактически мертвого вина, произведенного в девятнадцатом веке, за десятки тысяч фунтов или картины Ван Гога и Пикассо за десятки миллионов долларов. Но они — часть удивительно большой области, в которой предметы, не имеющие никакой ценности или ценность которых никоим образом не соотносится с заплаченными суммами, влияют на экономику. Западная цивилизация в отдельные периоды превращается в один огромный мыльный пузырь, подобный «мыльному пузырю Южных морей». И когда он лопается, мы на некоторое время успокаиваемся. Теперь мы имеем тысячи пузырей одновременно, и инфляционный цикл настолько силен, что, когда лопается один, бумажные деньги немедленно надуют новый.

Однако инфляционные спекуляции в финансовом секторе затмевают все другие. Какая разница между банкнотой Веймарской республики, бросовой облигацией и привилегированной акцией депозитного банка, выпущенной с целью покрытия невозвратного долга? Никакой, кроме внешнего вида. Все три — чистая инфляция. Каждый раз, когда ситуация выходит из-под контроля, бизнес требует от правительств принятия срочных мер. Это является одним из признаков того, как далеко зашли дела. Готовность правительств осуществлять вмешательство, несмотря на воображаемую преданность рыночным силам, — свидетельство того, что

власти осознают опасность ситуации. Ирония с отменой госконтроля состоит в том, что чем больше свободы дается бизнесу, тем более он становится зависимым от властей, выступающих в роли спасителя в последней инстанции.

Финансовые рынки никогда не были способны к самоограничению, кроме как в результате катастрофы. Одно из наших экономических достижений заключалось в недопущении подобных взрывоопасных ситуаций. Отмена госконтроля в финансовой сфере снова стала катализатором их возникновения. Хорошо обученная домашняя собака, за которой постоянно присматривают, может заботиться о себе в течение определенного времени и в определенных обстоятельствах. Тогда как невоспитанная собака гораздо самостоятельнее, но может неожиданно облизать или укусить ребенка, убежать из дома, нагадить на персидские ковры, схватить кусок со стола и попасть под машину. Мы постоянно выпускаем все более невоспитанных собак в центр современных больших городов. Поэтому регулирующие органы вынуждены находиться в состоянии готовности, чтобы избежать катастроф, в то время как эти животные свободно бегают через дороги и по дворам.

Стоит ли удивляться, что инфляция держит нас за горло уже больше двадцати лет? Даже официальные данные, неточные и обманчиво низкие, не учитывающие множества инфляционных показателей, а основанные на ценах на зерно и зарплате, признают это. Совершенно справедливо, что Великобритания, страна, которая наиболее успешно сократила свой государственный долг, больше десяти лет использовавшая комбинацию четкой классической антиинфляционной политики с полной отменой госконтроля, сегодня является страной, в наименьшей степени способной бороться с ростом цен. Способность правительств в целом управлять денежной массой, что и является способом контроля инфляции, явно недостаточна. Эмиссия денег сейчас зависит как от государственного монетного двора, так и от неофициальных «печатников» денег. Когда правительства осуществляют дополнительную эмиссию денежных знаков, они тем самым способствуют инфляционной активности частного бизнеса.

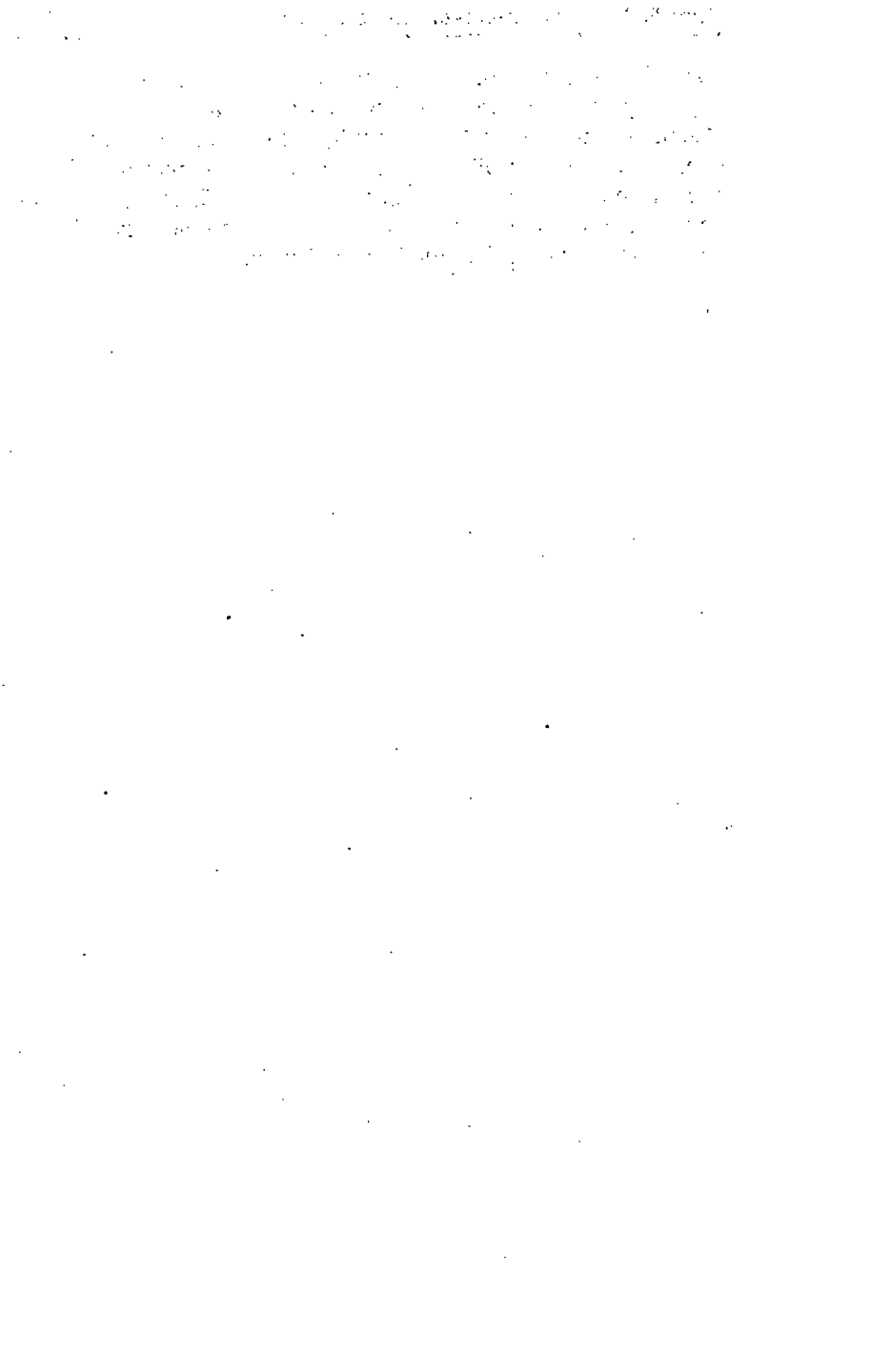
Если в попытке «задушить» инфляцию они перестают дополнительно печатать банкноты, то они уже не в состоянии платить по своим счетам.

Нынешняя ситуация, в которой правительства выступают в роли спасителя в последней инстанции, отказавшись от многих своих промежуточных полномочий руководства, фактически способствует росту безответственности. И пока правительственное вмешательство в последний момент предотвращает всеобщие бедствия, поддерживается иллюзия того, что система здорова. Если бы Запад серьезно относился к инфляции, он бы давно принял строгие меры по пресечению бесчисленных новых форм спекуляции и установил процентные ставки не выше 5 процентов. Вследствие этого прекратились бы многочисленные финансовые спекуляции в развитых странах и появился бы стимул к инвестициям в реальное производство, что способствовало бы реальному росту экономики.

Солон, закладывая основы западной цивилизации, указал на опасные зоны: «Общественное зло входит в дом каждого человека». В мире эгоизма и самообмана он сохранил разумный взгляд и справедливую оценку, взвешивая долги на весах справедливости. Одну из главных своих целей он видел в том, чтобы объяснить каждому человеку, что он должен выдавить из себя спекулянта. Беспристрастный, осторожный противник революционных мер, рассматривавший любое индивидуальное действие как часть целого, он, возможно, был первым совершенным разумным человеком, предшественником Паскаля Паоли и Томаса Джефферсона. И чтобы показать опасность идеализации народом его собственных рациональных талантов, он, закончив свою реформаторскую деятельность, на десять лет покинул Афины. Таким образом он избежал преклонения перед собой как перед Героем и искушения удерживать власть во имя славы.

Его простые предписания полезны, когда люди рассуждают о правительственном долге, корпоративном долге, фьючерсе, бросовых облигациях, финансовых рынках, офшорных фондах, спекуляциях средствами производства, процентных ставках, воображаемых услугах и в целом о

трансформации западной денежно-кредитной системы в структуру, которая создает прибыль, а не реальное богатство. Все это — абстракции абстракций, которые вырастают непосредственно из самой большой абстракции — из денег. В ясном и цельном составном представлении Солона, общественное зло расположилось в доме каждого человека. И оно успокаивает нас инфляцией самообмана.



Часть III

ВЫЖИВАНИЕ НА ЗЕМЛЕ ФАНТАЗИИ

Человек в мире разума

*Пассивность свойственна одомашненным животным.
Угрожая насилем, ее, хотя и не в полной мере,
можно навязать людям. Она может быть полностью
привита всеобъемлющей системе, которая
определяет существование.*

*«Уважайте свое происхождение, — писал Данте. —
Вы были созданы не для того, чтобы жить,
подобно скотам, а для того, чтобы придерживаться
добродетели и знания».*

*Знание — это не информация и опыт, не учебное пособие. Это —
исследование человека как цельного существа
в поисках сомнения; неограниченное желание понимать.*

*Одомашненное животное неспособно приветствовать
сомнение, не говоря уже о его принятии. Следовательно,
то, чем обладает человек: язык, воображение,
память, характер — качества, сулящие достоинство
и знания, превращаются в бремя, становятся
ужасающей тюрьмой.*

Глава восемнадцатая

ОБРАЗЫ БЕССМЕРТИЯ, ИЛИ ПОБЕДА ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Существуют различия между западным телезрителем конца двадцатого столетия и обитателем пещеры Ласко, департамент Дордонь, в эпоху палеолита. Первый сидит в полутемной комнате и держит в руке пульт дистанционного управления. Другой рассматривал наскальные рисунки и держал в руках примитивный факел. Эти и другие различия связаны скорее с социальной организацией, чем с чувствами, с которыми они рассматривают изображения. Кроме того, зрители в Ласко имели, по сравнению с нами, более ясное, более осознанное и более всеобъемлющее понимание того, на что они взирали. Это не означает, что изображения быков, лошадей, оленей, буйволов и людей, сделанные семнадцать тысяч лет назад, просты или примитивны. На самом деле они — произведения искусных мастеров.

Мы не знаем точно, что видели или ожидали увидеть в этих изображениях пещерные люди. Наши предположения в значительной степени основаны на сравнении их с изолированными цивилизациями, которые до недавнего времени вели практически подобный образ жизни, зависящий от охоты, собраний и изготовления каменных орудий. Что мы действительно знаем, так это то, что рукотворные изображения были связаны с тремя взаимосвязанными явлениями: осознанным или неосознанным страхом, который, в свою очередь, уравновешивался некоторой комбинацией магии и ритуала. Это характерно не только для Запада. И это столь же справедливо сегодня, как и в эпоху палеолита. Список страхов, охватывающих цивилизации, бесконечен. Боязнь неизвестного мира за пределами пещеры, поселения за пределами страны или мира. Боязнь не выжить из-за голода или врагов. Боязнь не смерти, а прекращения существования, то есть страх того, что за жизнью последует пустота.

Пещерные люди, наверное, задумывали свои изображения животных как некие магические ловушки, которые смогут им поймать добычу; а тысячи лет спустя христиане на-

делили Иисуса Христа или Деву Марию способностью совершать чудеса. Молящемуся человеку казалось, а зачастую кажется и сегодня, что если он правильно обратится к этим скульптурным или живописным изображениям, то сможет победить болезнь, бедность или смерть. Ритуал общения с этими изображениями был важнейшей частью христианских чудес, так же важна была и магия для охотников каменного века, которые готовились к выходу на охоту.

Со временем изменилось соотношение между страхом, волшебством и ритуалом. Ни один из наших страхов не был преодолен с тех пор, как люди перешли к оседлой, а затем и городской цивилизации. Но сомнения и опасения в отношении неопределенности — внешней пустоты — нарастали и занимали все больше места. И если магия постепенно отступила в наше подсознание, что не означало ее исчезновения, то важность ритуала возрастала. В этой цивилизации, в которой Бог уже умер, отсутствует четкое сознание того, что присущие ей социальная неуверенность, тоска или страх столь ярко выражены вследствие утраты христианского обещания вечной жизни. И мы не признаем, что обширная сеть структур нашего общества и полностью предсказуемые изображения на теле- и киноэкранах — это преемники религиозного ритуала.

Мы обескуражены быстрым и революционным изменением наших официальных взглядов на то, с какой целью создаются изображения. До наступления Века Разума, совпавшего по времени с эпохой Возрождения, эти образы играли социальную, политическую и, прежде всего, метафизическую или религиозную роль. С пятнадцатого века, с развитием новой техники, позволившей создавать совершенные изображения, идея искусства стала постепенно отделяться от религиозно-магической. К восемнадцатому столетию развод, так или иначе, состоялся, хотя продолжались регулярные попытки воссоединения. В начале девятнадцатого столетия музеи создавались с единственной целью: ради получения эстетического наслаждения. Идея о том, что у искусства есть внутренняя причина для существования, утвердилась настолько прочно, что почти никто не подвергает ее сомнению.

И все же маловероятно, что изображение, которое играло важную религиозную или магическую роль в течение более пятнадцати тысяч лет, могло за несколько веков лишиться своего важнейшего качества и превратиться в простой объект искусства. Это тот пункт, где западный опыт расходится с опытом других цивилизаций. В течение прошедших двух тысяч лет христианство объявило себя сторонником и борцом за монотеистическую, антиязыческую догму. Тех, кто анализирует христианство, не являясь при этом христианином, всегда удивляет агрессивность этих претензий, потому что реалии нашего вероисповедания всегда противоречили им.

Например, монотеистическая аргументация полностью сводилась на нет разделением Бога на Троицу. Идея о трех в одном или одном в трех оказалась столь сложна, что сами христиане ведут постоянную борьбу относительно ее смысла. Деве Марии, как и все возрастающему количеству святых, был преднамеренно придан статус божества. По мнению всех, кроме самих христиан, они воссоздали политеистическую религию.

Определение того, кто является язычником, стало еще более запутанным. Оно переносится на всех, кто не поклоняется «истинному Богу». И все же мусульмане, которые поклоняются тому же самому Богу, что и христиане, используют те же самые тексты и придерживаются большинства тех же самых моральных принципов, кодексов, считаются язычниками, как и представители множества христианских сект, внесших незначительные изменения в официальную доктрину.

Наконец, ни одна из когда-либо существовавших на Земле цивилизаций не была настолько идолопоклоннической, как христианская. Потребность создавать и поклоняться изображениям, созданным по нашему образу и подобию, характерна для всей истории Запада. Это фактически неизменное деление на главных и второстепенных божеств сохранилось, претерпев лишь незначительные изменения, от древних греков и римлян до наших дней. Несмотря на иудейские корни христианства, церковь сумела так успешно обойти запрет Ветхого Завета на поклонение изображениям, что только изображения в других религиях считаются идолами. Спу-

стя шестьсот лет после Христа ислам в значительной мере был порожден безудержным христианским идолопоклонством. В ответ на это церковь обозначила мусульман как неверных, то есть не верующих.

Некоторые религиозные и социальные системы избежали зависимости от образа или даже его использования. С точки зрения Запада, ярчайший пример — иудаизм. Но в не меньшей степени это справедливо и для ислама, равно как для синтоизма, конфуцианства и — в течение длительного периода — для буддизма. В девятнадцатом веке западные колонизаторы в Африке и Азии постоянно сталкивались с этносами, которые избегали создавать человеческие изображения и с подозрением относились к ним. Возникло даже расхожее представление о дикаре как о человеке, который боится фотографироваться, потому что он думает, что фотограф захватит его душу. Реакция обитателя Ласко, без сомнения, была бы точно такой же.

На самом деле такое отношение не лишено здравого смысла. Рассматриваемый дикарь — анимист, он не поклоняется идолам, но полагает, что все — и одушевленное, и неодушевленное — является живым. Таким образом, он считает себя неотъемлемой частью всей Вселенной. Он вряд ли будет напуган мыслью, что смерть является черной дырой, ведущей в пустоту. Смерть просто возвращает его Вселенной.

Западный человек всегда стремился представить богов посредством изображения, не как дьяволов, животных или абстракцию, но как людей. Работа живописца всегда вызывалась основной метафизической и социальной потребностью. Боги живут вечно, и мы созданы по их подобию. Эти повторяемые и узнаваемые имитации смертных не просто отражают наши мечты о бессмертии. Изображение — в идолопоклонстве, как и в анимизме — является магической западней. На Западе работа живописца и скульптора заключалась в создании идеальной ловушки для человеческого бессмертия. Живописцы и скульпторы в течение тысяч лет оттачивали свою технику. К началу XVI века Рафаэль, Микеланджело и Леонардо добились решающего прорыва в технике точной передачи действительности. Но за этим не последовало ка-

ких-либо метафизических изменений, не произошло и усиление значения магической составляющей.

Век Разума стал длительным периодом упадка образа как источника всеобщих ожиданий; упадка, ускоренного изобретением фотографии и кино, телевидения и видео. В то время как таяли ожидания, росло замешательство. Сначала замешательство цивилизации без верований. Затем замешательство относительно того, какое значение следует придавать удивительно совершенным новым изображениям. По мере роста технических возможностей смущение перерастало в недоверие.

Результатом стала глубокая пропасть между образом и обществом. Мастера-художники отгородились от общества. Их место заняли две группы имиджмейкеров в качестве социальных партнеров: современный эквивалент официальных художников, получающих одобрение от музейных экспертов; и новых апологетов обрядности, которые производят электронные имитации действительности. Благодаря телевидению и кино изображения стали более реальными, чем сама действительность; кроме того, в обществе, которое впервые за почти две тысячи лет стало неверующим, образы оказались отделенными от веры.

В конце Века Разума фальшивость образа признана всеми, но это непостижимым образом сочетается с безоглядным, истовым поклонением образу. Поскольку электронные изображения постепенно превращались в удобный, высоко структурированный и консервативный формализм, оценить эти поистине поразительные изменения при помощи наших рациональных методов не представляется возможным. Цивилизация структуры избегает сомнений. И это вполне естественно: рациональный человек понизил качество современных образов до уровня примитивных языческих ритуалов.

Почти все цивилизации предполагали наличие взаимосвязи между бессмертием и изображением, но в большинстве случаев эта взаимосвязь сводилась к гипнотическому воздействию поклонения собственному отражению. Христиане

воспользовались силой божественного образа, переняв ее из более ранних религий — греческих и римских культов — и интегрировали эту языческую силу в свою религию¹. Вряд ли стоит винить в этом ранних отцов церкви. Они были набожными людьми, но не умудренными в социальных и культурных вопросах, почти все они были выходцами из низших или средних слоев общества. Неожиданно, после того как вдохновленный идеями христианства Константин Великий захватил власть над Римом в 312 году, они вдруг оказались в гуще событий. Цивилизацию, которой они собирались управлять, возглавила древняя, культурная и утонченная римская аристократия. Через несколько лет эти простые священники взяли на себя ответственность за решение всех богословских проблем, возникавших у граждан величайшей империи. Их искренность и простота, которые и привлекли в первую очередь Константина, впоследствии, когда они оказались у власти, стали помехой.

Каким образом они овладели воображением таких огромных людских масс, привыкших к причудливой комбинации рациональной греческой философии и различных форм идолопоклонства? По логике, оба этих элемента следовало бы включить в христианство. Такое решение стало официальной политикой, когда папой римским в 366 году стал Дамасий I. Вместо того чтобы продолжать усилия по безуспешному обращению римских язычников в истинных христиан, он приступил к созданию римской церкви. Он привил правящим классам города, имевшим афинские философские корни, более сложные христианские представления.

Но лишь спустя пятьдесят лет эти представления укоренились и стали господствующими в душах и умах христиан благодаря трудам святого Августина, епископа североафриканского города Гиппон. Рассматривая отношение христианского искусства к идолопоклонству, он сформулировал очень точное различие между ними: «Бога своего... не того, который есть душа всего, а того, который создал всякую душу»². Сложные дефиниции нередко используют для ответа на простые вопросы о нравственности, и на практике все это способствовало оправданию фактического идолопоклонства.

Этот подход окончательно утвердился и больше не подвергался сомнению, когда в 590 году папский престол занял Григорий Великий, который упростил, популяризировал и унифицировал церковные положения. Он не стал отменять сложное рациональное идолопоклонство предшествовавших двух столетий, но расширил и упростил его, включив понятия волшебства и чудес.

Наибольшего расцвета увлечение чудесами и мистикой достигло в середине седьмого столетия, когда христиане Востока, бежавшие от экспансии мусульманства и преследования идолопоклонства, обосновались в Риме и возглавили церковь. Между 678 и 741 годом одиннадцать из тринадцати пап были греками или сирийцами, беженцами с Востока. С ними получило распространение почитание чудесных изображений и реликвий. Святые мощи и части Святого Креста возами привозили в Рим. Незадолго до этого интерьеры всех церквей стали украшать образами, и церкви превращались в духовные центры прихожан. Если и оставались какие-то сомнения в отношении правильности западного подхода, то они исчезли в период иконоборчества в Византийской империи с 726 по 843 год. Попытки Константинополя бороться с чрезмерным количеством икон в церкви постоянно пресекались папой римским и церковью³.

Такое положение сохранялось в течение тысячи лет — до ослабления позиций христианства под давлением усиливающегося рационализма. С ослаблением позиций церкви образ освободился от ее объятий, но не от божественности. Мы убили Бога и на его место поставили самих себя. Унаследовав при этом полную, божественную власть христианского образа.

Искусство было важнейшим элементом языческого наследия. Человек должен сначала создать изображение, а затем поверить в его могущество. Для сравнения, точка зрения дикаря-анимиста, полагающего, что во всем есть жизнь и он является ее составной частью, выглядит достаточно разумной интеллектуальной позицией. Он — неотъемлемая часть конкретной нирваны на земле. Будда добавил к этому одну

уловку, состоящую в идее неконкретной нирваны. Человеку, говорил он, будет трудно покинуть землю, но если это ему удастся, то это и станет вечным спасением.

Стоит, кстати, упомянуть поразительную способность греческой культуры сеять в любой цивилизации неосознанное, но глубокое беспокойство, вытекающее из законов нравственности, а затем обещать его устранение при условии поклонения идолам. Буддисты в течение многих столетий обходились без статуй Будды. И только Александр Великий, совершивший поход в Индию, подтолкнул буддистов на сомнительный путь создания изображений Будды, которым буддисты не поклоняются, хотя и теоретически уважают, примерно так же, как уважают статуи Девы Марии.

Что касается Мухаммеда, то он в Коране дал ясное описание Рая:

Тем же, которые страшатся величия Господа своего,
уготовано два сада, — с ветвями [раскидистыми].

В них бьют два источника.

В них — два вида каждого плода.

Они возлежат на ложах, застланных парчой,

А над ними плоды на ветвях, склоняющихся низко.

Будут там девы с потупленными очами,

Которых прежде не касался ни человек, ни джинн.

Какую же из милостей вашего Господа вы не признаете?⁴

(Перевод Османова)

Не удивительно, что такой ясности сопутствовал полный запрет на изображения. Бог передал через Пророка детальную картину рая. Людям просто не было необходимости тратить время на его описание.

Довольно странно, но Христос притчами обращался примерно к таким же простым жителям пустыни приблизительно за семь столетий до Мухаммеда. Но у него нет ни малейшего намека на описание рая. Он много говорил о том, кто его достигнет и что нужно для этого делать, но ни одного слова у него не говорится о самом месте. Преданный христианин, искавший намеки, вместо них находил следующее: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-

ное». Или: «Кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Или: «Трудно богатому войти в Царство Небесное»⁵.

Если Мухаммед давал детальное описание Небес, а Христос не описывал их вообще, то надо полагать, что оба делали это намеренно. И все же мы говорим об одном и том же Боге, тех же самых пророках и тех же самых Небесах. Любое объяснение такого расхождения было бы грубым предположением. Если рассмотреть слова Христа о рае, то он мало чем отличается от буддистской нирваны. Но успех христианства в Европе не был связан с этим обещанием. Наоборот, сама неопределенность Небес по Христу предоставляла Западу возможность оставаться преданным язычеству, соединив мистику с конкретикой.

Именно через образ раскрывалось и будет раскрываться западное воображение. Подлежало изменению очень немногое из дохристианского прошлого. Даже притчи Христа аккуратно ложились на основы греческой мифологии и философии. Абстрактная простота христианства обеспечила ему быструю ассимиляцию с образным безумием Европы времен Рима. Неопределенность Небес Христа была, пожалуй, единственным новым, революционным вкладом в идею бессмертия. Но именно римская Европа преобразовала ту идею в конкретный образ. И это была Европа — Европа греков, римлян и варваров, которая применила волшебство к бессмертной мечте. Удивительные статуи, картины и предметы искусства были даром языческой Европы скудной религии Христа. А от истекающих кровью статуй Христа и чудотворных изображений Девы Марии оставался всего один шаг до секулярного изображения как бессознательного гаранта человеческого бессмертия.

Сила языческого изображения — будь то христианского или постхристианского — имеет мало общего с верой, но обладает многими чертами мифов и архетипов западного человека. Горожанин и атеист в пятом поколении, ныне он — заложник таких же ожиданий, как некогда и средневековый крестьянин. Изменилось то, что с Ренессансом, Реформацией и расцветом Разума человек, наконец, узнал, как делать

не просто изображения, но совершенные изображения, которые, по его представлениям, станут источником великой силы. Ощущая свое бессилие перед лицом прогресса, человек стал жертвой смущения и еще больших страхов.

Задолго до этого христианская церковь приступила к превращению слов Христа о рае в реальную, конкретную доктрину. Церковь нанимала художников для создания официального рая. Эти мастера были посвящены в сложный протокол, который точно указывал, где именно каждый будет сидеть или стоять навечно. Они формализовали идею, что христиане будут возлежать на облаках. Церковь точно указала, каким образом разложившиеся тела будут полностью восстановлены в Судный день. И опять-таки, она уполномочила тысячи живописцев проиллюстрировать это.

По мере постепенного исчезновения старой римской аристократии образ стал играть еще более важную роль как по магическим, так и по практическим причинам. Почти все, включая представителей зарождающегося неоднородного правящего класса, были неграмотными. А так как духовенство не могло, в отличие от мусульман, во время службы читать отрывки из священных текстов с описаниями жизни в раю, оно могло показать людям вечность, изображенную на церковных стенах.

Когда в позднем Средневековье церковь начала использовать определение Небес в качестве корпоративного инструмента для получения прибыли, продавая индульгенции, это поколебало веру людей в вечность. Впоследствии, оказавшись под огнем критики за продажность, церковь стала отказываться от прежнего отношения к конкретному описанию Небес. Люди, в свою очередь, стали меньше верить. В начале Реформации возникло движение за создание новой христианской церкви. Но жители Запада стали возвращаться к прежнему использованию образа, более соответствующего языческим понятиям, которое предшествовало принятию Римом идей Христа. Сегодня мы окружены миллионами прекрасных, живых изображений. Задача, которую они выполняют, почти идентична той роли, которую играли древние идолы: быть отражением человека, которое могло бы

оказать ему помощь. От христианского периода мы сохранили ощущение, что живописец и творец образа обладают властью передавать чувство вечности.

Технический прогресс на пути к абсолютно совершенной передаче изображения совершался медленно и трудно, в течение нескольких тысяч лет, одновременно в разных местах. Наиболее мощно он проявился в Северной Италии с тринадцатого по шестнадцатый век. В Сиене, например, каждый этап этого творческого взрыва оставил свои следы на древних городских стенах как ключ к разгадке вековой тайны.

До начала 1500-х годов живописцы были захвачены идеей совершенствования техники. Они бились над проблемами перспективы, творили в неосознанном ожидании того, что если удастся создать совершенное изображение, то может произойти нечто волшебное. И вплоть до того периода, когда рациональным человеком овладела идея технического прогресса, человек находился в безнадежном состоянии выбора между прогрессом и нравственным усовершенствованием.

Это не означает, что потребность в прогрессе всегда ощущалась как аналог поиска чаши Святого Грааля. Скорее, по существу, это понималось как административный процесс — прогресс на контролируемой территории. Например, монархи совершали объезд своих владений. Это могло приносить пользу или вред или быть совсем бесполезным, в зависимости от конкретного короля и от того, что он хотел в то время. Противоречие между ожидаемыми плодами прогресса и тем, что мы в реальности получаем, не менее значительно, чем то, которое смущало средневековых дворян и крестьян во время проезда короля и его свиты. Впрочем, наше смущение не больше того, которое испытывал средневековый живописец. Всякий раз, отчаянно пытаясь найти технические усовершенствования, в его собственных работах существовало доказательство того, что его самые сильные картины не обязательно самые прекрасные, а следовательно, самые передовые.

Дуччо ди Буонинсенья, например, способствовал прогрессу и был обескуражен беспорядком, пришедшим вместе с прогрессом. Между 1308 и 1318 годами он работал над ог-

ромным алтарным образом «Маэста» в кафедральном соборе Сиены. «Маэста» состояла из бесчисленного множества маленьких сцен, разбитых на отдельные панно. Дуччо завершал работу над одним из них, прежде чем перейти к следующему. Во время работы он сделал ряд технических открытий, неизвестных другим живописцам. В процессе работы над очередной сценой он обнаруживал, что в ранее завершенных фрагментах были допущены серьезные ошибки. Но во время работы над ними это не было ошибками. Последующий прогресс и усовершенствование его техники позволили ему увидеть несовершенства в работах, казавшихся ему превосходными.

Двери, например, были размещены неправильно, так, что фигуры не могли пройти через них. На некотором расстоянии находятся новые панели. На сей раз фигуры в комнате были написаны так, что они свободно проникали через вход.

В городе Сиена живописцы группировались вокруг студий различных мастеров, у которых они учились, а затем совершенствовались самостоятельно. Они постепенно овладевали секретами мастерства. Конечный этап развития можно увидеть в библиотеке Пикколомини. Там в 1505 году Пинтуриккьо стал создавать иллюстрации блестящей карьеры римского папы Пия II из рода Пикколомини.

Пинтуриккьо усвоил технические открытия своих предшественников и довел их до такой степени совершенства, что на его росписях, благодаря гармоничности цветового и графического решения, огромное число образов предстает единым целым. Ясно, что художник создал удивительное прекрасное изображение.

На девятой фреске, слева внизу, Пинтуриккьо изобразил себя, а рядом — своего ученика Рафаэля, который через несколько лет овладел новейшими секретами создания совершенного образа. Рафаэль достиг того, что плоское, нарисованное изображение, воспринималось зрителем как движущееся.

Могут возразить, что не он, а Микеланджело или Леонардо раскрыли последние секреты в живописи. Может быть, это и так. В те годы творили и думали многие художники, и,

скорее всего, важнейшие открытия стали плодом коллективных усилий. Проблема перспективы и создания совершенного образа была решена в период с 1405 по 1515 год, после тысячекратных усилий и трудов многих и многих мастеров.

Но тем не менее, Рафаэля выделяют из троицы гениев. Он был чистым художником, а не эгоцентристом, как Микеланджело, который знаменит своей жизнью, а не только творениями, и не ученым, стратегом, изобретателем машин и вооружений, как да Винчи. Рафаэль более других походил на то, чем художник должен стать в Век Разума: невидимым технократом образов. Ретроспективно кажется, что он был протцом «художников» — то есть тех, кто рисует, чтобы создать красоту. Но Рафаэль не просто создавал совершенные образы. Его величайшим творением были фрески в Станца делла Сеньятура, залы в папских апартаментах Юлия II, в которых была отражена идея оправдания могущества Церкви через философию неоплатонизма. Юлия окружали мыслители, которые оправдывали эту измену христианской догме, поскольку она не была явной и могла быть принята в контексте гуманистического взрыва Ренессанса. Но именно Рафаэлю удалось снять это противоречие, создав объединяющие образы на двух фресках: «Диспут» и «Афинская школа». Революционность этих работ не в изображенных персонажах, а в том, что тысячи лет поиска совершенного образа завершились несомненным союзом между традиционным языческим идолопоклонством и христианским бессмертием. Подобной кульминацией Рафаэль завершил языческо-греко-римско-христианскую интеграцию и замкнул круг, начатый папой Дамасием I в четвертом веке.

В любом случае, за двадцать лет интенсивной работы эти три художника сумели создать чудо: совершенный образ. Нарисованное стало реальным. Образ стал живым настолько, насколько это возможно при помощи живописи. Взаимоотношение между зрителем и тем, на кого он смотрел, наконец, достигло совершенства. Зритель шел к обрамленному образу в поисках своей вечной тюрьмы. Он шел, как жаждущая дева, шедшая к графу Дракуле, ожидая, что образ выпьет его кровь, даровав жизнь вечную.

Это было неполным ожиданием, по сравнению с обещанием церковью вечного рая. Кусок раскрашенной стены был, в конце концов, несовершенным видом вечности, столь же несовершенным, как сон в гробу днем и бодрствование ночью. Образ, подобно Дракуле, был также финальным отражением, неспособным передать жизнь, так же как и зеркало, которое было неспособно отражать графа.

Зритель приближался к совершенному образу, охваченный огромным предвкушением. Он находил техническое чудо. Он находил гения. Он находил эмоции и красоту, которая соблазняла его так, как никто раньше. Но он не находил того, зачем пришел. Это живое изображение не давало ему ожидаемого. Конечно, как большинство метафизических ожиданий, оно принадлежало к сфере невыраженных желаний. Не было плана, чертежа предмета желания, но работа над совершенствованием образа была одним из величайших разочарований в западной истории.

В течение двадцати лет после открытий Рафаэля художники восхищались триумфом гения⁶. Но постепенно видимый успех стал исчезать, и одновременно стали проявляться черты поражения. Перспектива стала искажаться, становиться менее ясной. Зритель только наблюдал, как мощь и плотская радость в работах Тициана постепенно наполняется трагизмом. Когда для прогресса уже не осталось места, образ стал ускользать, изменяться, прятаться, кружить на месте, как животное, посаженное на цепь, пытаясь преодолеть тлен действительности.

Человек в здравом уме смотрит на картины, не думая подобным образом. Он видит красоту, испытывает потрясение или находит на картине нечто знакомое. Наваждения человека не зависят от практической выгоды, доказательств или общественных дискуссий. Неосуществимое привлекает. Но эти наваждения почти всегда производили вторичный эффект. Они производят организации, верования, предметы и тип поведения. Общество — результат практических потребностей: военных, экономических, социальных. Но в конечном итоге, оно в равной степени результат неотступных наваждений.

Поэтому в то время, когда мы рассматриваем образ в поисках Дракулы, мы находим отражения нашей действительности, правил поведения в обществе, традиций, таких как отношение к властям, господствующие верования и чувство патриотизма. Либо мы можем найти образы, отражающие наши ожидания справедливости или материального комфорта, либо картина может усилить наши предубеждения. Художник изображает то, что общество надеется увидеть. Если он внушает неприятие или беспокойство, то он отражает то, что чувствует в общественном организме.

С расцветом романтизма в конце восемнадцатого века человеческое эго стало быстро расти, пока не заполнило собой всю общественную жизнь. Люди вдруг поняли, что Рафаэль слишком скромен, чтобы претендовать на роль отца совершенного образа. Поэтому в описании технических прорывов они стали придерживаться линии, намеченной Вазари в его «Жизнеописаниях...». Иными словами, все достижения стали приписывать Микеланджело, безответственному типу, асоциальному индивидуалисту, подлинной карикатуре на художника двадцатого века. Если бы мы смогли создать ответственное открытое общество, то, несомненно, Леонардо перестал бы казаться нам могучим, полным тайн гигантом, и наше поклонение преклонилося бы на него.

Хотя Микеланджело представлял собой тот тип, который стал очень распространенным среди художников наших дней, тем не менее, он был сыном своего времени. Живописец был мастером и членом гильдии. В Брюгге примитивные фламандские художники пятнадцатого века принадлежали к той же гильдии, что и шорники, стекольщики и зеркальщики. В Сиене их тщательно датированные подписи сопровождались комментариями, как у Тадео Бартоли: «*Feait fieri agelella*» («Сделано с гордостью»). Эта подпись не отражала их эго, как у современных живописцев. Наоборот, они подписывались, как члены гильдии, чем подтверждали свою роль мастеров, несущих долю ответственности за свой вклад в сообщество. Изображение, в конце концов, имело общественную функцию. Оно было доступно для каждого члена об-

щества. Человеку не нужно было иметь деньги, звание или быть грамотным, чтобы видеть живопись или фреску.

По мере того как живописцы приближались к прекрасному образу, все больше людей стали изъявлять желание иметь собственное изображение. Заказчики религиозных картин стали просить, чтобы и их изобразили, где-нибудь в углу, часто в небольших медальонах. Постепенно они набрались храбрости и стали настаивать, чтобы их помещали в центр картины. Потом они почему-то стали главенствовать — как в скульптуре, так и в живописи. В соборе Святого Стефана в Вене столбы украшены статуями святых в натуральную величину, а наряду с ними и жертвователей. Стали все более чаще изображать на картинах благотворителей, стоящих на коленях перед Христом, в одном ряду с апостолами или местными святыми. А незадолго до этого изображались лишь Христос, Дева Мария или святые. Или городской совет. Или король.

В картинах Апокалипсиса, то есть Судного дня, местные бюргеры или властители изображались по правую руку от Христа, в то время как все прочие — по левую. Это делалось не для того, чтобы поразить крепостных своими необычными связями. И это не служило публичным доказательством святости этих людей. Смысл заключался в том, что Христос бессмертен, а они находились рядом с ним. Изображение было подобно негативу жизни, ждущему, чтобы его проявили после смерти.

Все чаще и чаще художник облачал Спасителя, его семью и святых в одежду, которая была в моде в данное время в данной местности. И это делалось не по злему умыслу или невежеству. Были широко известны статуи, мозаики и барельефы с точным изображением одежды библейских времен. И это не было попыткой популяризировать или модернизировать христианство. Религия была совершенно доступной. Ее понятия могли в той или иной степени искажаться, но основные идеи, такие как страдание на земле, воскрешение и вечная жизнь, были понятны всем.

Если архангел Гавриил в «Благовещении» Бенедетто Бонфиле из Сиены похож на зажиточного денди: его волосы за-

виты по последней моде — то это не случайно. Художник пытался показать, что современный ему образ может быть так же вечен, как и ангел. Три волхва на картине Пьетро Перуджино «Дары волхвов» напоминают принцев из «Весны» Боттичелли. Причина та же самая. И в Модене есть примеры необычных трансформаций обычных граждан в библейских святых. Эта большая группа фигур в натуральную величину из терракоты работы Гвидо Маззони, окрашенных Бьянки Феррари в 1509 году, которая находится в церкви Сан-Джованни. Персонажи снимают Христа с креста. Каждый из них выглядит так, будто он только что зашел в храм с улицы средневековой Модены, чтобы помочь снять тело.

Такое смешение бытовых подробностей с библейским обещанием бессмертия не ограничивается стилем одежд и причесок. В кафедральном соборе в Орвьето фра Анджелико и Синьорелли изобразили в «Апокалипсисе» фигуры, будто выступающие на показе мод. Но более важны мертвые, воскресшие в Судный день и вылезающие из-под земли. Это — скелеты, обретающие плоть по мере высвобождения и болтающие друг с другом. Поразительно выглядит прямо-таки любовное внимание живописцев к деталям тел. Воскресающие мертвецы — обычные люди. Само собой разумеется, никакой духовности в этой живописи нет. Это — точное воспроизведение того, как будет проходить их воскресение. Жители Орвьето могли прийти в кафедральный собор и посчитать мускулы, измерить груди, проверить цвет глаз. Это изображение их самих, возрожденных в мельчайших деталях для вечности. Еще более настойчиво эта идея звучит в базилике Санта-Мария деи Анжели в Ассизи, где маэстро де Оссерванса в начале 1400-х годов написал «Мученичество святого Варфоломея». Слева и справа от бедного святого страдальца, нагого и окровавленного, стоят горожане Ассизи в отороченных мехом шляпах с длинными широкими кистями, изящно ниспадающими на плечи. Для пятнадцатого столетия эти люди чрезвычайно хорошо одеты. Но на пытках в таких одеяниях присутствовать неуместно. Эффект потрясающий: все это выглядит как гротескное изображение пышной свадьбы, будто священный образ значения уже не имеет, он лишь по-

вод. А важно то, что вполне узнаваемые горожане изображены вместе со святым, бессмертным.

Все эти поиски более удачного места на стене утратили смысл, после того как Рафаэль создал совершенный образ, и никакого волшебства не произошло. Реакцией художников на это стало обращение к утрированию. Даже лучащийся радостью Тициан тщился всего лишь втолкнуть реализм Рафаэля в жизнь при помощи преувеличений. Больше облаков, больше людей, больше событий. Он пытался взять небеса штурмом.

Когда все попытки потерпели провал, многие живописцы перешли от грандиозного к интимному, в том числе к эротизму. У Лукаса Кранаха Старшего в картине «Венера и Амур» показан более откровенный вариант, с дамой, не имеющей ничего общего ни с мифологией, ни с богиней: она стоит обнаженная, но в элегантной шляпе. Ее взгляд, жеманный и притворно стыдливый, обращен ко всем зрителям-мужчинам с откровенно сексуальным призывом. Такой подход, присущий скорее «Плейбою», был настолько популярен в середине шестнадцатого века, что Кранох сделал несколько подобных картин. В «Аллегории» Бронзино отброшены все остатки целомудрия. Это одно из самых эротичных произведений живописи. Мягкая белизна кожи женщины почти ошущима. Рука худосочного, недоразвитого юноши, Купидона, скользит по ее груди, их губы слились в поцелуе. Она — олицетворение женской наготы, ее тело обращено к зрителю, бедра готовы раздвинуться, фигура одновременно выражает безмятежность и полна энергии. Трудно понять, почему британские власти периодически изымают порнографические фильмы, когда не менее явная порнография висит в Национальной галерее.

От тела живописцы обратились к изображению общества, но в нечеткой, рассеянной манере. Они стали переписывать уже знакомые сюжеты, но на этот раз уже со знанием законов перспективы. В своих полетах фантазии они, как, например, Фрагонар, изображали жизнь во всем великолепии, в невероятно романтических тонах, с бескрайними просторами, красивыми цветами, цветущими женщинами и счастливыми

парами. Или прибегали к новым трюкам, подобно де Латуру, концентрируясь на игре света и тени, пытаясь оживить изображение, как в мультипликации.

Англичане обратились к натурализму, который, казалось, убирал все барьеры между предметом и портретом. Гейнсборо изобразил супругов Эндрюс под деревом на фоне их полей. Они, как и в жизни, сидели там, самоуверенные, скучные и напыщенные. Почти живые. Кажется, они что-то бормочут, возможно, о своем дальнем родстве с герцогом или об удачной охоте. Другие живописцы стали заниматься неоправданной пропагандой. В конце восемнадцатого века они принялись всячески рекламировать революционеров и генералов, сопровождая свои работы призывами к поклонению Герою.

У Наполеона, величайшего из Героев, был личный живописец — Давид, его большой поклонник. Кроме него, на этом поприще подвизались и другие живописцы: Гро, Реньо и два ученика Давида: Энгр и Жерар. Их часто называли романтиками из-за стиля, соединившего низменные чувства с идолопоклонством. Их благосклонные отношения с властью предержащими создавали иллюзию, что живописцы все еще, как и в былые времена, оставались членами общества, а Давид, например, был современной версией старого горожанина, члена гильдии, средневекового мастера. Но это не так. Он был слугой власти, а не его составной частью. Свое отношение к Наполеону он выразил очень ясно: «В прошлом в честь такого человека воздвигали бы алтари»⁷. Его картины были этими алтарями. Несмотря на свои революционные взгляды, Давид не создавал бытие по своим правилам. Вместо этого он превратился в поклонника. Такое превращение художника в слугу усилило позиции сторонников изящного искусства, ограничивших «искусство» узким техническим процессом. Оно, в свою очередь, ограничилось узким выбором классических сюжетов. Взамен живописец мог получить ложную респектабельность: не как мастер-ремесленник, но как тонкий создатель красоты, которая нуждалась в защите от реального мира.

Есть много объяснений постепенного отделения мастера от художника и сопутствующей этому потери живописцем

сго роли члена общества. И все же трудно не заметить, что первые признаки такого разделения шли вслед за совершенствованием образа. В эпоху Ренессанса живописец продолжал думать о себе как о мастере, даже как о ремесленнике. Но общество почувствовало, что его потенциальные мистические силы, которые зависели от его мастерства, начали испаряться в тот момент, когда Рафаэль преодолел технический барьер. Живописец пострадал от невысказанного социального отторжения, которое стало причиной его постепенного перехода к артистизму.

По мнению историка искусства Р.Дж. Коллингвуда, начало разделения между изобразительным искусством и ремеслами произошло в восемнадцатом столетии⁸. Иначе говоря, к восемнадцатому столетию в обществе зародились сомнения относительно полезности искусства.

Ремесленник, превращающийся в художника, реагировал на вынужденную маргинализацию так же, как это делают социальные изгои. Он стал усиленно подчеркивать свое достоинство. Поскольку в нем не нуждались, он стал великим. С понижением социального статуса, он превратился в нонконформиста и безответственного индивидуалиста. Он стал капризной «богемой». Именно тогда он переключился с Рафаэля на Микеланджело, асоциального типа в современном понимании. Но эти новые «художники» постепенно переходили к такому определению красоты, которая с точки зрения общества была неуместной. Они больше не считали нужным отражать общество, и поэтому автоматически не могли критиковать или предлагать значимые альтернативы. Поскольку искусство ушло из общества, оно, таким образом, стало формой простого отказа или анархии.

И поскольку образ человека утратил свое прежнее назначение, равно как и магическую силу, художники стали уделять ему меньше внимания. Делакруа был одним из первых. В 1832 году он в прямом и переносном смысле убежал от диктатуры «изящных искусств» и отправился в Северную Африку. Оттуда он возвратился, привезя с собой работы в духе импрессионизма, на многих из них были изображены порывистые, стремительные кони в момент битвы. В 1849 году

он начал работу над двумя огромными фресками в церкви Сен-Сюльпис в Париже. В большинстве из живописных полотен девятнадцатого века, созданных позднее, просматриваются черты, навеянные его работой, на которой изображена борьба Иакова с архангелом Гавриилом. Такой свет мог бы быть написан кистью Моне. Шляпу на земле мог бы написать Ван Гог. Движение импрессионистов быстро превратилось в паническое бегство, и к началу двадцатого века образ уступил место абстракции. Сорок лет спустя образ появился вновь, в усовершенствованной форме мы видим его в работах представителей новых школ: реалистов, гиперреалистов, натурреалистов, магических реалистов. В двадцатом веке живописцы словно затеяли своеобразное соревнование с фото- и кинохудожниками, пытаясь создать изображение, которое будет еще более «живым», более похожим, чем на фотографии и в кино. Эффект был поразительным, но волшебство исчезло.

Бегство от сходства повлекло за собой ряд удивительных событий. В 1839 году появилась первая фотография. Делакруа был в полном расцвете творческих сил. Постав Моро еще не начал творить. Мане было семь лет. Сезанн в 1839 году только появился на свет, Моне — годом позже. В 1845 году на смену дагерротипу пришла фотопленка. Через три года родился Гоген; Ван Гог — через восемь, а Тулуз-Лотрек — только в 1864 году.

Все они пришли в мир, наполненный новыми прекрасными образами. В техническом отношении почти любой фотограф лучше Рафаэля или Леонардо. И сделать фотоснимок под силу практически любому идиоту. Но все эти революционные изобретения не сделали изображение живым. Наоборот, казалось, что образ стремится ускользнуть от объектива фотографа. Отказавшись от стремления передать внешнее сходство, живописцы обратились к абстракции или к сюрреализму и перешли от иронии к гротеску. Казалось, они сделали это в отчаянии от того, что напрасно понадеялись на совершенство техники, поверив, что она поможет раскрыть секрет оживления образа. И все же всегда были живописцы,

чие мастерство уступало их незаурядной мистической силе. Несмотря на романтический ореол творческого процесса, эти немногие мистики двадцатого века были так же далеки от представления о современном художнике, как и от представления о средневековом мастере-живописце.

Даже самые прекрасные мастера зачастую имели способности одаренного анимиста, что ослабляло, а иногда даже и вовсе уничтожало их мастерство. Дуччо упорно трудился над устранением своих ошибок, но многие из них сохранились. Мы можем видеть эти ошибки, но мы видим также, что его картины — шедевры, более сильные и гораздо более живые, чем тысячи картин других очень хороших живописцев, которые избежали серьезных ошибок просто потому, что они работали несколькими годами после него.

Это вполне очевидно. Но если оттачивание образа не влияло существенным образом на качество или выразительную силу картины, то общие и врожденные ценности структуры и мастерства подвергались сомнению даже в начале семнадцатого и восемнадцатого столетий, когда прогресс и разум превратились в абсолютные, непререкаемые истины.

Что касается живописи, то не вполне ясно, может ли иметь успех произведение, не доведенное до совершенства. Если бы речь шла только об этом, то было бы достаточно отметить превосходство работ Дуччо, Карпаччо и Пинтуриккьо над технически более совершенными холстами Веронезе, Фрагонара и Рубенса. И дело не в том, что гениальность, в современном понимании, более важна по сравнению с мастерством. На самом деле гениальность, заключенная в мистической выразительности живописи, является опровержением гениальности в современном западном понимании.

Этот феномен вовсе не так уж редок. Элементы мистицизма можно обнаружить даже в самых блестящих образцах мастерства и гениальности. Является ли ошибкой неправильно написанный дверной проем в алтарном образе «Маэста» работы Дуччо? Он решил эту проблему в изображении последующих сцен. Получив новые знания и улучшив технику письма, он мог бы вернуться и исправить перспективу дверного проема, но не сделал этого. Сознательно ли он решил, что та-

ким неправильным изображением достигается нечто другое, что он не мог доказать технически?

Рассмотрим, например, ангелов, изображенных им на «Маэсте». Они кажутся знакомыми. Вневременными. Они удивительно старомодны по сравнению с остальными изображениями, и все же они столь же удивительно современны. От них исходит огонь, который, словно реактивный двигатель, устремляет их тела вперед. Это можно истолковать как примитивную, буквальную интерпретацию способа перемещения ангелов в пространстве. Но это отнюдь не примитивно. Кажется, что они из другой живописи, если не из другого мира. Они же встречаются в работах других живописцев в той же странной манере. Возможно, поэтому изображение точно такой же мистической ангельской энергии в том же самом городе через сто лет уже не вызывало удивления на картинах Сомы ди Пьетро.

На фресках Пинтуриккьо, посвященных жизни папы Пия II, есть одна сцена, в которой все кардиналы выстроены в линию перед папой. Они увенчаны головными уборами, издали напоминающими скопление снежных сов, которые вот-вот взлетят прямо на зрителя. Изображенные под необычным углом, они словно танцуют на головах мужчин, и кажется, что они в три раза больше этих мужчин. Технически они несовершенны, но сущность кардиналов отражена именно в этих шляпах.

До Рафаэля мистические черты обычно присутствовали в работе ведущих живописцев не явно. Если они появлялись, то в религиозном контексте либо по настоянию знати, городских властей или гильдии. Мистика часто использовалась, когда существовало несоответствие между гением и недостаточно отточенной техникой письма. У Рафаэля подобного несоответствия не было. В продолжение последующих четырех столетий живописцы отдалялись от общества, и мистика постепенно стала отдельным, но менее значительным элементом их творчества. Тот факт, что они были иррациональны и, в прямом смысле этого слова, антиобщественны, а следовательно, и опасны, только подчеркивал эту незначительность. Тем не менее, публика продолжала интересо-

ваться их картинами и скульптурами, и общество находило реакцию на них тревожащей.

В мистицизме видели последнее убежище суеверия. Рациональный человек убеждался в этом, видя, как относительно несовершенные образы продолжают оказывать иррациональное влияние на людей. Часто это было не более чем суеверие, основанное, например, на каких-то чудесах, возможно случившихся в прошлом. Но во многих местах можно найти изображения, при одном взгляде на которые любой непредвзятый человек скажет, что в них чувствуется большая иррациональная сила.

Распятие, с которого Иисус взывал к святому Франциску: «Пойди восстанови мой Дом, который рушится», является прекрасным примером этого феномена. Это — не самый красивый образ. Неизвестный мастер написал его приблизительно в 1000 году нашей эры, и распятие висело в маленькой сельской церкви Св. Дамиана. Когда Франциск увидел его, церковь была в упадке и почти разрушилась. Он неправильно понял Спасителя и думал, что ему следует восстановить небольшое каменное здание церкви, а не всю католическую Церковь.

Этот образ по-прежнему силен. Конечно, мешает религиозный цирк, который теперь окружает Ассизи. Никто ныне не смотрит на распятие так, как это делал Франциск: один, в заброшенной сельской церкви, можно сказать, один во всем мире. Однако и сегодня можно ощутить силу, исходящую от этого изображения.

Изменение в изображении мистических элементов после великих достижений художников Ренессанса можно заметить уже на картинах Германа Грюневальда. (Речь идет о Матисе Нитхардте, которого ошибочно называют Грюневальдом — прим. ред.) Он использовал технические достижения только там, где считал нужным. Его «Воскресение», написанное в 1515 году для Изенгеймского алтаря, по стилю очень похоже на работы живописцев прошлого, как, например, Уччелло, но одновременно и на художника восемнадцатого века Уильяма Блейка, и на нашего современника Дали. Христос возвышается среди цветных брызг, напоминающих

невероятный электрический взрыв. Солдаты, стерегущие его тело, отлетают от воскресшего Иисуса, как бы отброшенные силой взрыва. Столетие спустя Эль Греко полностью посвятил себя искажению действительности, например в «Снятии пятой печати». Сочетания цвета самые невероятные. Тела воскрешенных людей плывут неестественным образом. Картина — не образ, а эмоция.

Чисто мистическое направление в живописи получало все большее распространение по мере расцвета Века Разума. На самом деле Генрих Фюсли и Уильям Блейк работали именно в эту эпоху. В 1782 году, за год до выхода в свет первой книги Блейка «Поэтические наброски», картина Фюсли «Ночной кошмар» стала настоящей европейской сенсацией. Он изобразил женщину в платье, лежащую в обмороке в невероятной эротической позе на краю кровати. На ее груди сидит маленький призрачный монстр. Сквозь темные занавески на них бешеными глазами смотрит лошадь (англ. *nightmare*: кошмар, страшный сон, ведьма; букв.: ночная кобыла). Обращение Фюсли к нерациональному имело огромное воздействие. Станные, ни на что не похожие фигуры Уильяма Блейка передают то же самое, не поддающееся контролю чувство. Его ангелы, например, кажутся неуклюжими, примитивными, неестественными с точки зрения живописной техники. Они кажутся нереальными. Но очень похожи на ангелов Дуччо и Сомы ди Пьетро, хотя они написаны после пяти столетий совершенствования техники живописи. И тем не менее, они почти живые. Хотя и невозможно дать точное определение гениальности, Блейк близок к ней. Он практически овладел образом.

Гойя был тогда на пике своей карьеры. Члены испанского королевского семейства, оплачивавшие многие его работы, не понимали, пробуждению каких сил они способствуют. Картину Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», на которой изображена расправа французских оккупантов над испанцами, наверняка приветствовали националисты, включая испанскую аристократию. Но расстреливали не просто испанских крестьян. В них присутствует что-то дикое и неземное. Они, кажется, кричат на своих палачей. Это —

вечный крик протеста, как и крик гражданской войны в Испании почти полтора столетия спустя, как крик в любом крестьянском восстании, в любое время в любой стране. Это скорее мистический образ состояния, в котором находится человек, а не отражение реального события.

Сравните это грубое чувство обезумевших людей с прекрасными, лакированными картинами Давида, написанными в тот же период; здесь — работа ума и холодной руки. Они волнуют, но по-иному. Они — превосходно отточенные политические инструменты, которые вызывают у зрителя совершенно конкретные эмоции. А Гойя писал взрывы. Одного взгляда было достаточно, чтобы ощутить взрыв внутри себя. Возможно, это и есть образ вечного — бесформенного и бесконечного — взрыва.

За Фюсли, Блейком и Гойей следовали и другие художники, такие как Гюстав Моро, который начал творить раньше импрессионистов, но пережил многих из них. Неестественная сценичность мистики в сочетании с невероятно агрессивными красками, которые можно встретить только у Грюневальда в его «Эдипе и сфинксе» или в «Прометее». Сюжеты классические, но чувства, несомненно, варварские. Мистицизм снова выступал на передний план, частично потому, что другие живописные образы теряли актуальность, уступая место фотографии, а затем и кино, которое появилось в 1896 году. Но мистицизм снова набирал силу от предчувствия конца — то есть смерти, особенно с наступлением двадцатого века.

Группа живописцев в Вене на рубеже двадцатого века шла в авангарде этих мрачных пророчеств. Эгон Шиле каждым мазком кисти оживлял смерть, как некогда Грюневальд своим распятием. Его «Портрет Генриха Бенеша с сыном», написанный в 1913 году, предрекал резню, которая начнется через год и будет длиться в течение пяти лет. Мощная рука самоуверенного отца покоится на плече сына, похожего на теленка, которого ведут на заклание. Отец думает, что он видит, а на самом деле слеп. Сын видит, но симулирует слепоту. Все это передано в абсурдном виде через традиционный семейный портрет.

С началом Первой мировой войны многих охватил еще более глубокий пессимизм. Все черты Блейка возродились в Магрите, с его сознательно неловким, почти дилетантским стилем. Магрит как бы говорил зрителю: «Взгляните, что вы сделали! Вы дураки! Что вы сделаете на этот раз?»

Никогда ранее изображение не претерпевало таких изменений, как в последние тридцать лет девятнадцатого столетия и первые сорок лет двадцатого. Люди предвкушали, что эти изменения обязательно принесут с собой оптимизм новизны и сильных волнений. Дух новшеств веял повсюду. Ограничения были устранены. Образ обретал новые формы, и картины, созданные в то время, до сих пор поражают своей новизной.

Но буйство форм было скорее разрушительным, чем созидательным. Кубисты, сюрреалисты, экспрессионисты: неистовство загадочных линий, раскрашенные куски грубых плит или стальных листов, кусков камня — что это, как не танец смерти? Блестящие, ошеломляющие объекты, вызывающие у человека чувство дискомфорта в его собственной цивилизации. Но танец — чьей смерти, смерти чего? Для начала — смерти образа. Но что важнее — смерти определенных ожиданий от образа. С точки зрения истории искусства, каждое из этих направлений заслуживает самого пристального внимания. С точки зрения отношения цивилизации к искусству в целом, новые направления имели единственную цель: показать, что образ более не является опорой общества, как это было в Средние века, или носителем конструктивной критики, как это было в романтический период становления эго; не является он даже прислужником властей. Новый образ не отражал и не критиковал рациональный структурированный мир, который создавался в то время. Наоборот, он хаотично, без конкретного плана дробился, как будто ему не осталось места в этом новом мире. Впервые в истории образ отвергал общество.

Неудивительно, что художники добились больших успехов. Кубизм появился в 1907 году, спустя двенадцать лет после изобретения кино, когда кинематограф уже стал набирать силу. Сюрреализм был официально основан в 1924 году,

три года спустя после первого полнометражного фильма Чарли Чаплина «Малыш», который революционно преобразил движущийся образ. Дали присоединился к сюрреалистам в 1929 году в Париже, а Пикассо начал писать своих искаженных обнаженных в 1930 году, оба вскоре после первого появления Микки-Мауса в 1928 году. Тогда же вышел в свет первый в мире звуковой мультфильм «Пароход Вилли», где главным героем был мышонок по имени Микки, ставший самым знаменитым героем мультфильмов в мире. Он — всего лишь образ — стал самой знаменитой личностью в мире. Точка. Согласно опросам общественного мнения, он остается ею и в наши дни. «Герника» была написана в 1937 году, когда в Лондоне проводилась великая выставка сюрреалистов, почти одновременно с появлением первого телевизионного изображения, тоже в Лондоне. Уже прошло шесть лет после выхода первого звукового фильма, пять лет — после появления на экране утенка Дональда Дака, и шедевра Чаплина «Огни большого города», и выхода в свет первой в мире книжки комиксов. Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» появился в 1937 году, а первая в США телепередача вышла в эфир в Нью-Йорке в 1939 году.

Развиваясь быстрее, чем самые выдающиеся художники двадцатого века, образ постоянно обгонял их. Помехой художников в этой гонке была их специализация и уход от общества. Разделение на жанры и художественные направления породило историков искусства. По мере того как художники отчаянно пытались поспеть за новой технологией, их стали курировать стаи арт-критиков, дилеров, техократов-искусствоведов, историков искусства, которые плодились с такой ужасающей быстротой, что в наши дни они превратились в особый биологический вид.

Предыдущие поколения знатоков и историков искусства часто были одержимыми людьми, стремящимися потрогать, прочувствовать, полюбоваться предметом, пытавшимися установить мистическую связь с образом. Современные специалисты, не обладающие такими качествами, обучены и имеют дипломы, соответствующие специфическим критериям современного образования, более всего боятся потенциал-

ной силы, исходящей от образа. Они относятся к предмету искусства без всякой любви или одержимости. Они на нем зарабатывают. Им больше всего нравится анализ, но не самого шедевра, а десятка его фотографий, сделанных в идеальных условиях в специальных помещениях. Потом, будь их воля, они бы с большим удовольствием уничтожили оригинал картины, а массам показывали фотокопии, сопровождая их объяснениями, сделанными на основе проведенного ими научного анализа. Невозможно быть экспертом в области гениального или в сфере мистического. Поэтому гении и мистика их пугают.

А поскольку эти эксперты находятся под контролем крупнейших художественных галерей, то им было совсем нетрудно навязать западные определения того, что такое искусство. Новые поколения художников, не находя того отклика, который чувствовали их предшественники, благодаря неотделенности от общества, сейчас выслушивают суждения экспертов. В результате такой перемены многие художники стали работать напрямую для музеев, то есть для технократов от искусства.

Теперь это — самый распространенный способ работы художников. На первый взгляд складывается впечатление, что художники избавились от эгоцентризма, чтобы вернуться в мир общедоступных выставок и образов, значимых для народа, почти как средневековые мастера, члены гильдий. Но сходство только кажущееся. Карпаччо, например, расписывал стены общественных зданий на основании договора с официальными властями. Это были общественные, политические и религиозные власти. Но они не были художественными властями. Его иллюстрации отвечали религиозным и эмоциональным запросам общества, а не его собственным или запросам экспертов в области изображения. Стоит отметить, что включенность мастера в общество и соединение его образов с тем, о чем мечтало общество, позволило художнику обрести личную свободу и высвободить свой гений и мистическую силу. После Рафаэля художники все больше оказывались в положении аутсайдеров, но еще черпали силы в откликах, которые возникали, когда художник критиковал общество.

В течение второй половины двадцатого века художники постепенно теряли контакт с этим источником энергии, так как их связи с обществом постепенно сводились до невнятных звуков, исторгаемых не вполне адекватными экспертами от искусства. Этот процесс стал современной реставрацией диктатуры Изящных Искусств.

Видимо, лишь художники, обладающие мистической силой, способны в период упадка нашего общества работать продуктивно. Они и в этом упадке умудряются черпать силы. На них, кажется, не влияют стандарты и модные поветрия, диктуемые художественными экспертами. Сегодняшний беспорядок их не беспокоит. Их не приводит в замешательство утрата нами точки опоры, они ищут способы передачи этого состояния. Секрет, обретенный ими, заключается в использовании диких, необузданных сил, вырвавшихся ныне наружу. У этих художников подход анимиста.

Едва ли удивительно, что работы Блейка и его высказывания сегодня более популярны, чем когда-либо. Не удивительно и то, что англичанин Фрэнсис Бэкон является одним из самых популярных современных живописцев. Он сказал, что восхищается работами египтян, «которые пытались победить смерть». Он отрицает, что пытается сделать то же самое, потому что он не верит в загробный мир. Но не в этом дело. Так много переместилось в этом столетии от неосознанного к осознанному. Смерть и мечты о вечности почти полностью исчезли в глубинах подсознания. «Я — реалист, — сказал Бэкон. — Я пытаюсь заманить реальность в ловушку»⁹.

Никому не удалось запереть в ловушке насилие и самоуничтожение так прочно, как он. Эти обезображенные, деформированные тела на его холстах так же вечно живы, как воскресшие мертвецы в «Воскресении» Фра Анджелико. Можно сказать, что их очертания, непропорциональные рты, глаза и головы, раскиданные как кусочки мозаики, выражают то, какими люди ощущают и видят самих себя в действительности. В нашем столь детерминированном обществе, где произошла подмена общественного и морального единства безжизненной структурой и техническим

прогрессом, эти искаженные магические образы смерти являются одним из немногих доступных напоминаний о реальности.

Большинство живописцев в двадцатом веке стали испытывать все больший пессимизм в отношении того, обладает ли их искусство силой. Если в начале шестнадцатого столетия художники были разочарованы тем, что воздействие совершенного образа оказалось незначительным, то с появлением фотографии их разочарование только усилилось. Фотографы продолжали улучшать качество изображения, и публике это нравилось.

Появление движущейся, а затем цветной и звуковой картинки только укрепило их предположение, что силу образа следует искать именно в этом направлении. С 1948 года в Соединенных Штатах началась эра массового телевидения. В 1951 году начался показ «Я люблю Люси». Первый широкоэкранный фильм «Тога» появился в 1953 году. В основу этой картины не случайно положена история, в которой говорится о бессмертии Христа. Уолт Дисней в 1954 году организовал регулярный показ мультфильмов. Уже несколько лет работают кинозалы с стереозвуком. Благодаря новейшим компьютерным разработкам, изображения людей и предметов могут выглядеть не только реальными, но и принимать любую форму, таять, делиться и делать много того, что невозможно в действительности.

В ближайшее время наверняка появятся фильмы на основе голографии. Изображения на экране будут так же объемны, как на театральной сцене. В 1981 году режиссер Джон Уотерс снял «ароматический» фильм под названием «Полиэстер». Зрителям в кинозале раздавали карточки с цифрами. Время от времени на экране появлялась та или иная цифра, зрители могли потерять табличку с показанной цифрой, и кинозал наполнялся соответствующим запахом, начиная от запаха грязных кроссовок до аромата роз. Последний технически воспроизводимый и ранее не используемый способ воздействия на обоняние будет вызывать те или иные эмоции зрителя. Хаксли в 1932 году, вскоре после появления

звукового кино, в «Прекрасном новом мире» описал, как можно использовать тщательно подобранные отравляющие спреи. Результатом становилось «Суперпоющий, Синтетико-Речевой, Цветной Стереоскопический Ощущальный Фильм с Синхронным Органо-Запаховым Сопровождением»¹⁰. И нет особых причин считать, что мы на этом остановимся.

Похоже, мы приближаемся к завершению процесса, в ходе которого грубые линии, сначала нацарапанные, затем нарисованные на стене пещеры, должны принести свои плоды. Конечный результат уже известен. Мы поймали совершенный образ, и он уже мертв. Хуже того, он не совсем мертв. Мы создали образы, превосходящие действительность. Изображения уже не живые, но они более реальные, чем живые и воплощенные в плоть и кровь. Мы с легкостью создаем сверхреалистические мультипликации, которые доступны всем. И эти высококачественные имитации очень правдоподобны. Даже автор телефильма или музыкального клипа может создать форму, более совершенную, чем творения гениального Рафаэля.

С другой стороны, сама природа электронного изображения накладывает на этих создателей серьезные ограничения. Маршалл Маклюэн говорил о телевидении, что это скорее процесс, а не законченное изделие¹¹. Спустя десятилетия далеко не все понимают, насколько верно было это утверждение. И публика, и критики все больше и больше говорят о том, насколько ужасна видеопродукция, и убеждены в том, что виноваты корпорации, финансовые интересы или конкретные люди.

Но телевидение более эффективное средство контроля над людьми, чем им кажется. Оно не особенно эффективно в прямом контроле над зрителем. Слишком очевидна его манипулятивная или пропагандистская роль. С другой стороны, электронная система — машины — действительно осуществляют мощный контроль над теми, кто нанят, чтобы заставить работать эту технику. Производственные потребности телеканала или телесети не ограничены количественно и очень ограничены в возможностях и разнообразии. Те, кто

профессионально занимается телевидением, неизбежно меняют свой взгляд на жизнь ради удовлетворения этого специфического, но неутолимого голода.

По ту сторону объектива существует полнота реального мира: беспорядочного, неожиданного, заполненного бесконечными пластами ожиданий, понимания и непонимания. Его размеры и неуправляемость всегда побуждали зрителя сосредотачиваться на интерпретации созданного образа. До изобретения фотографии стоп-кадр живописца запечатлевал реальность — и вечности, и универсальности. Даже натюрморт с грушей выражает нечто необычное через специфику конкретного предмета. В мелькающих кадрах на телеэкране зритель тоже ищет вечную универсальность.

Но главная задача телевидения заключается не в удовлетворении потребности зрителя увидеть запечатленные моменты. Системе необходимо заполнить эфирное время. Огромное количество материала и скорость, с которой он должен быть обработан, лишает автора возможности заняться поиском достоверного отображения. Система вознаграждает производительность, а не творческий потенциал. Она не запрещает творчества и не чинит ему препятствий. Но в отсутствии спроса оно сводится до минимума.

Несколько десятков лет назад, когда телевидение делало первые шаги, его сотрудники были преисполнены оптимизма, отчасти даже идеализма. Кинорежиссер Норман Джуисон говорил об особом творческом таланте тех, кто начал работать на телевидении. В течение 1950-х годов эти люди работали с энтузиазмом, они старались творчески и оригинально отражать действительность. Театры экспериментировали и ставили спектакли, которые при помощи телевидения могли дойти одновременно до миллионов зрителей. Комедийные телесериалы (ситкомы) вызывали необычные ощущения, для домашнего экрана обновлялись старые театральные и радиопостановки. Репортеры, работающие для выпусков новостей, такие как Эдвард Р. Марроу, казалось, нашли новые способы подачи актуальных событий, и складывалось впечатление, что они полностью отказались от прежних пропагандистских методов.

Считается, что по мере расширения системы будет возрастать и прибыль. Для производства того, что ныне потребляют телезрители, приглашались специалисты по составлению программ. И рекламодатели осознали, что они в силах нивелировать любую политическую крайность. Оба этих фактора очень реальны. Но сценарии, требующие редких мерзавцев, редко и осуществляются. Да и существовала ли горстка людей, способных бороться с таким явлением, как телевидение, с целью кастрировать его? Если да, то почему подобный упадок проявляется по всему миру, даже в странах, где не существовало никакой конкуренции между частными каналами? Британское телевидение, как общественное, так и частное, выглядит неплохо, по сравнению с американским болотом. Но все это относительно.

Возможности техники, позволяющей молниеносно обрабатывать материал, а затем бросить его в ненасытную бесконечную пустоту, могут только способствовать выхолащиванию творческого начала. Талантливых авторов программ удручает то, что их работы исчезают, словно в песке. Их продукция не попадает в книжные магазины или библиотеки, не вывешивается в картинных галереях, музеях или на стенах домов, их не показывают в кинотеатрах. Они транслируются на невидимую аудиторию, которая может их и не увидеть, в зависимости от того, на какую кнопку пульта нажмет в данный момент телезритель. Опросы постоянно показывают, что на одного зрителя, непрерывно смотрящего одну программу, приходится два или три человека, которые смотрят ее же урывками.

О поколении телезрителей, к которому относят большинство населения Запада моложе сорока лет, часто говорят, что они никогда не оставались в одиночестве. Эта идея типична для цивилизации, которая ни во что не ставит память. До середины девятнадцатого века люди практически не знали уединения. Вся жизнь протекала в кругу семьи. Даже прислуга порой считалась членом семьи. К примеру, у бедняков секс был относительно публичным занятием, так как семьи редко имели больше одной или двух комнат. В некоторых обществах было принято выделять парам специальное время для со-

ития. Ткачи из Валабrego, в нескольких милях от Авиньона, жили целыми группами в больших общих комнатах. По субботам пары по очереди на полчаса оставались в комнате наедине. Так продолжалось вплоть до 1940-х годов. В сельских местностях Европы и более бедных областях Северной Америки уединение стало возможным лишь после Второй мировой войны.

Сказать, что поколение телезрителей никогда не оставалось в одиночестве просто потому, что рядом всегда находился включенный телевизор, значит относиться к изображению как к действительности, утверждать, что оно живое. Вернее было бы сказать, что раньше люди никогда не были столь одиноки или молчаливы. Впервые за всю историю человечества люди не собираются семьями или большими группами, чтобы вместе попеть, или музицировать, или играть какие-нибудь игры. Из-за телевидения люди утратили потребность в самостоятельных развлечениях.

Но ведь в этом заинтересовано телевидение как структура, а не телеаудитория, которая искусственно ускоряла перенос акцента телевизионной продукции от содержания на процесс. По мере развития системы, работники телевидения отлично поняли запросы зрителя и механизмы своих действий и научились избегать соблазнов реальности. Это в равной степени верно для новостей, для драмы и для ситкомов.

Реальное событие не всегда становится телевизионным событием. Для этого оно, прежде всего, должно быть зрелищным, и нужно, чтобы поблизости оказался человек с камерой. Сюжеты вроде диспутов профсоюзных лидеров будут заведомо менее привлекательны, чем происшествия, оставляющие зримые следы, например крушение самолета или разлив нефтяного пятна. По этой же причине телевидение вынуждено отдавать предпочтение политическим персонам, а не политическим вопросам. Историю с пьяным или уличенным в супружеской неверности политическим деятелем можно преподнести как драматическое событие. Политический деятель, который выступает за увеличение расходов на вооружение или за контроль над ними, на экране будет выглядеть скучно. Высказывания судьи Кларенса Томаса во

время слушаний почти не представляли интереса для зрителей, поскольку касались юридических вопросов. Но споры вокруг его сексуальных предпочтений собрали солидную телеаудиторию. Рост популярности CNN канонизирует телевизионную программу о действительности как о конкретном, ограниченном в действии, зрелищном событии. Войны выгодны для телевидения, поскольку они обеспечивают доступное и длительное действие. Ближний Восток, например, идеальная декорация для телевизионной войны. Камеры могут постоянно находиться на месте событий, а заснятые сюжеты с взорванными автомобилями, нарушениями общественного порядка и артобстрелами гарантируют спрос.

Этот «вечный двигатель» будет работать вхолостую, если поток изображений иллюстрирует ситуации, которые зрителю уже известны. Вот чем, в частности, объясняется, почему телевизионщики сосредотачивают внимание на двух или трех войнах, когда по всему миру постоянно идет около сорока. О других войнах никто и не знает, потому что они менее доступны для телевизионщиков. Или потому, что военные действия развиваются там менее предсказуемо и регулярно. Или, скорее всего, потому, что события не развиваются в рамках легко объяснимого с точки зрения Запада, наивного сценария войны левых против правых или черных против белых. Или потому, что постоянная потребность в информационных выпусках новостей вынудит телевизионные структуры давать одни и те же картинки с однотипными объяснениями причин других сорока семи вооруженных конфликтов.

Маклюэн отмечал, что мы «балансируем между двумя эпохами: распада племенного строя и возврата к нему»¹². Одна из главных возможностей возврата к племенному строю — телевидение, движущаяся картинка. Телевидение доказало, что оно является одним из самых провинциальных средств связи. Насущная потребность в возникновении живого изображения подразумевает и необходимость того, чтобы это изображение говорило на языке, понятном любому зрителю.

Американский президент, говорящий по-английски, фактически отсутствует в французских или немецких телепрограммах, так же как и французский президент и немецкий

канцлер, говорящие на своих языках, не появляются на американских телеэкранах. Зрители чаще всего видят, что главы иностранных государств входят в самолеты или выходят из них. Они стали участниками незначительных постановочных сюжетов, потому что телевидению требуется движение. Голос диктора за кадром пояснит зрителю, почему в данный момент на экране присутствуют эти безобидные, несурзные существа.

Весь мир готов в неограниченном количестве поглощать третьесортные, дублированные американские ситкомы. Но они никак не способствуют укреплению взаимопонимания между народами. Программы, подобные «Династии», просто подтвердили примитивные представления иностранных телезрителей о Соединенных Штатах. «Даллас» способствовал международному пониманию американцев в той же степени, как кинофильмы с участием Джеки Чана помогли лучше понять китайцев или ленты с Морисом Шевалье — французов.

Что касается общественно-политических программ, которые часто сравнивают с газетой, или журналом, или даже с радиожурналистикой, мало кто догадался охарактеризовать их верно: эти программы — потомки раскрашенного изображения. Телевизионные репортажи — это единственный жанр, имеющий отношение к классической журналистике, благодаря интересному для всех предмету освещения. Растерянность усугубляется огромными усилиями небольшой группы людей, которые работают на общественном телевидении и пытаются совместить изображение с информацией и трактовкой событий. Для этого они часто используют замедленный кадр и задают неожиданные вопросы представителям системы, которая привыкла отвечать на ожидаемые вопросы. Считается, что это качественное телевидение, и там, где оно есть, оно оказывает воздействие на аудиторию. Но стоит лишь людям, занятым на телевидении, ослабить контроль над системой, как она начинает рваться вперед, забыв о журналистском опыте. Профессионалы не выдерживают этого.

Журналистика имеет дело с диким, недисциплинированным миром. Телевизионщики отыскивают благополучные образы, вселяющие в людей оптимизм и уверенность. Чем

больше негатива в общественно-политической программе, тем сильнее давление на ее авторов. Часто это объясняют давлением рекламодателей на частных каналах либо требованием финансирования — на общественных. Но тогда почему печатная журналистика процветает, если появляются грубые и тревожащие новости? В конце концов, газетами и телевизионными сетями владеют одни и те же люди. Рекламу и тут и там размещают одни и те же рекламные агентства.

Ответ заключается в том, что телевидение и кино не имеют никакого отношения к истории языка, но целиком и полностью относятся к миру образов и к тому, что мы теперь называем историей искусства. Вечерние новости по телевидению относятся к иной области знаний, нежели ежедневная газета, или политическая история, или политическая философия. Диктор — будь то местная говорящая голова, сообщающая о трех пожарах в городке, или Уолтер Кронкайт, Ричард Димбли, Кристина Очрент или Дэн Ратэр — находится, скорее, в том же ряду, что и святой Франциск, творящий чудеса на полотне кисти Джотто, и Бонапарт, с триумфом переходящий через Альпы, на картине работы Давида. В изображении всегда доминировала и доминирует техника исполнения, за исключением тех случаев, когда образ превозносится, благодаря гению творца. С телевидением это невозможно. Там продукция — результат деятельности группы, в которой сами создатели являются меньшинством.

Когда зритель садится перед телевизором, чтобы смотреть новости или телесериал, он видит изображения, идущие непосредственно от Джотто, Дуччо и Рафаэля, со всеми ожиданиями и обещаниями, уносящими его назад к наскальным рисункам. Поэтому и Индиана Джонс, и Дж. Р. из «Далласа» — одни из немногих телевизионных фигур, узнаваемых во всем мире: они оба должны нести свою долю ответственности за то, что изображение, доведенное до совершенства, не обеспечило бессмертия.

Впервые в истории возникло чувство, что образы фальшивы, что изображение — социальный враг и не является полезным продолжением человека и общества, в котором он

живет. Изображение, созданное с целью отразить бессмертие, когда-то было частью общества. Теперь мы ощущаем, что поток живых образов создан не с целью отображения, а скорее как инструмент для манипулирования, закрепляющий ложное представление о нас самих. Конечно, мы всегда страдали из-за ложного представления о себе, и виноваты в этом всегда были создатели образа. Но после усовершенствования технического мастерства в эпоху Ренессанса магическая роль образа стала утрачивать силу и он все чаще использовался в целях пропаганды.

Ощущение, что образы, которые мы видим, фальшивы, возникает частично вследствие наших несбывшихся надежд, когда мы сталкиваемся с миллионами безупречно выполненных оживших изображений, заполонивших все вокруг нас. Мы превратились в общество; обескураженное наличествующими в нем противоречиями. С одной стороны, мы больше не считаем религию важнейшим элементом нашего общества, каковым она была для нас на протяжении почти двух тысяч лет развития человечества. С другой стороны, мы сохранили моральный кодекс общества, продиктованный той самой иудео-христианской верой. Мы пытаемся соотнести этот кодекс со светской и рациональной истиной. И все же структуры, созданные разумом, рассматривают этот самый моральный кодекс обособленно. Новые, привлекательные образы телевидения и видео имеют собственную логику и являются важнейшей частью структуры, которая бросила вызов моральному кодексу.

Западное общество впервые после ослабления влияния официальной религии в Римской империи осталось практически без веры. Наша ситуация беспрецедентна. За две тысячи лет не было ни одного примера выживания цивилизации в отсутствие веры в течение хотя бы пятидесяти лет. Не было таких примеров ни в истории, ни в мифологии. Даже в наших анимистских архетипах мы не найдем утешительных примеров, потому что западный человек прежде никогда не был в таком разладе с самим собой как с неотъемлемой частью материального мира. Абстрактные структуры, доминирующие в западной цивилизации, отвергают все, что имеет намек как на материальность, так и на божественность.

В результате мы тут же оказались в плену огромного количества различных воззрений, заменивших нам веру. В моду стали входить самые невероятные социальные и экономические воззрения, все они возникали и исчезали с удивительной быстротой. Мы полностью посвятили себя экономическому росту любой ценой. И безудержному потреблению. Мы превозносим абстрактные идеи: капитализм или социализм, рыночная экономика или национализация. Вещи столь же материальные, как источник ядерной энергии, стали наделяться почти божественными свойствами. Мы впали в наркотическое безумие и сексуальную анархию. Произошло обожествление личных амбиций.

Мы знаем, двадцатый век стал веком насилия, причем в масштабах, которых не знает история человечества. Мы пытаемся объяснить это созданием нового оружия массового уничтожения. Но оружие — предмет неодушевленный. А люди зачастую проявляли беспримерное самообладание, даже имея оружие и уверенность в победе. В двадцатом веке мы предпочли не контролировать себя. Бессмысленное насилие — почти всегда признак высвобождения глубинного страха, и не существует более сильного страха, чем страх неминуемой смерти. С утратой веры и исчезновением магической силы изображения, страх смерти вырвался на свободу и человек принялся творить то, чего не было на протяжении двух тысячелетий.

Признаки этого страха видны повсюду. Невиданное ранее поклонение прошлому охватило элиты всех развитых стран. Но это не связано с памятью. Теперь никто не вспоминает прошлое, чтобы сравнить его с настоящим и найти ориентиры для будущего. Наша любовь к прошлому не отражается на наших действиях в настоящем.

Так, значительную часть свободного от работы времени, что считается признаком экономического развития Запада, люди тратят на посещение руин, ознакомление с картинами и архитектурой прошлого. И это в век, который теоретически ориентирован на новое. Все меньше людей склонны заполнять свой дом и быт новыми изделиями, за исключением чисто утилитарных вещей: кухни, ванной комнаты, автомо-

биля и электроники для развлечений. На Западе многие хотят жить в старых домах, обставленных антикварной мебелью, иметь старинные картины и старинное серебро. То, что окружает современные семьи среднего и зажиточного уровня, — это подделки под девятнадцатый и восемнадцатый века. Сто или двести лет назад люди стремились покупать новейшие вещи и посещать новые места. Если они и отправлялись в места, где сохранилось много старинного, то не для того, чтобы прикоснуться к прошлому, а в поисках вдохновения для создания нового. Джефферсона поразили пропорции римского Квадратного храма в Ниме и вдохновили его на строительство здания университета в Виргинии. Во время той же поездки он занимался изучением сельскохозяйственной методологии и научными исследованиями. Современный посетитель Квадратного храма будет восхищаться его мифологическим прошлым и сходством со старинным провансальским рынком.

Теперь почти никто не отправляется в путешествие, чтобы заглянуть в будущее. Даже самая обычная туристическая поездка будет посвящена бесконечному исследованию прошлого. Церкви и дворцы Европы никогда ранее не были заполнены таким количеством людей — не верующих и аристократов, а простых людей, экскурсантов, которые проходят через огромные залы, робко надеясь обнаружить следы утраченных надежд.

Считается, что эти бесконечные экскурсии — явный признак процветания общества. Но почему тогда миллионы людей с такой настойчивостью передвигаются из одного конца земного шара в другой, будто они находятся в Диснейленде, хотя вместо игрушечных поездов для экскурсии им предоставили реактивные самолеты? Что именно мы хотим увидеть в дворцах, церквях и руинах? Уж конечно, не действительность, будь то историческую или современную. Большинство из нас перемещается в этих фантастических помещениях, зная либо очень мало, либо не зная вовсе ничего об обществах, которые обитали в них, равно как и о современных потомках этих обществ. Автобусы беспрерывно перевозят миллионы солидных взрослых людей, будто у них завязаны глаза, от Версаля

к Эйфелевой башне и к Лувру, по самому современному городу, в котором действует одна из самых удачных в мире систем коммуникаций и самая мощная административная элита. Мы охвачены замешательством и тоской, которые стали главными приметами двадцатого столетия. Это было бы удивительно для рядового жителя любого города Европы в пятнадцатом веке.

Помимо всего прочего, мы пытаемся найти в реликтах прошлого доказательство уверенности. Разумеется, мы находим в великих памятниках и в оптимистичных образах прошлого следы той уверенности, которая была нами утрачена в ходе прогресса.

В то же время мы не можем понять, преувеличиваем или недооцениваем мы свой страх перед современными образами. Несомненно одно: они вышли из-под контроля, они для нас скорее враги, нежели друзья, поскольку они опошляют наши верования и обожествляют банальность, возвышая публичных деятелей, для которых имидж важнее содержания. Но здравый смысл научил нас не обращать на имидж слишком много внимания. Вместо того чтобы воспринимать картинку на телеэкране всерьез, мы переводим ее содержимое в иконографическую форму. Люди научились высмеивать ситуационные комедии, детективные сериалы и семейные саги, которые телевизионщики причисляют к разделу драматического искусства, а также воспринимать выпуски новостей, аналитические и политические передачи как способ промывки мозгов. Но это неверный и ошибочный путь.

Самый правильный и разумный подход — это воспринимать систему телевидения в целом как религиозный ритуал. В отличие от придворного этикета или некоторых видов драмы религиозный ритуал предназначен для удовлетворения чаяний всех и каждого. Подобно любому сериалу, религии, по своей сути, явления внеклассовые. Как и телевидение, религиозные обряды стараются избегать неожиданностей, в особенности творческих. Наоборот, они любят повторять известные формулы. Люди тянутся к телевидению, как и к религии, в уверенности, что они найдут там то, что им уже

хорошо знакомо. Уверенность основана на стабильности, а стабильность обеспечивается многократными повторами.

Как художественные телефильмы и спектакли, так и общественно-политические программы содержат, главным образом, стилизованную общественную мифологию, где присутствуют некие обязательные герои, которые должны говорить определенные фразы и в определенном порядке совершать определенные поступки. Телезритель, хотя бы одну минуту посмотрев телесериал, должен понять весь сюжет, включая и его финал. Увидев несколько кадров любого телефильма, опытный телезритель сможет безошибочно рассказать, что будет происходить в ближайших сценах. Не существует вещи более формальной, стилизованной и догматичной, чем второсортный телесериал или телерепортаж о голоде в одной из африканских стран. Несомненно, в католической мессе или классической китайской опере больше импровизации и непредсказуемости.

На телевидении неподвижные, стандартные выражения лиц необходимы во время и после передач о стандартных, ритуальных событиях. Существуют отработанные способы телесъемки тех или иных событий. На заре телевидения отличия состояли в размерах студий и качестве оборудования. Ныне же все несколько проще: по крайней мере, обычный сериал снимают, как минимум, тремя камерами. Работа камеры, в свою очередь, диктует, когда и где герои могут двигаться в каждой сцене. Здесь, как и на огромной церковной росписи Воскресения, Судного дня или Рая каждому отведены определенная роль и место. Официально одобренные телевидением жесты и звуки так глубоко проникли в наше общество, что даже когда на экране появляется неопит или совсем неопытный представитель публики, то он неизбежно будет говорить и действовать по шаблону.

Телевидение стало важнейшим религиозным учреждением современного мира. Притчи Христа зачастую используются в игровых телесериалах для обоснования тех или иных моральных правил. Для продолжения ритуала каждый полу-часовой или часовой фрагмент должен сопровождаться соответствующим наставлением. Общественно-политические

передачи не являются исключением. Каждый журналистский репортаж должен быть построен по принципу притчи, и в случае, если сюжет закончен, должен быть сделан определенный нравственный вывод, а если он не закончен, то зрителю надо оставить право для такого выбора. Необходимость морализации демонстрирует, насколько общественно-политическое телевидение отличается от печатной журналистики и насколько тесно оно связано с образностью.

Зритель порой догадывается, что действительность сильно отличается от того, что показывают по телевизору. Сидя перед «ящиком», телезритель сознает, что реальный мир не укладывается в рамки предписанной морали, как и настоящее уличное ограбление отличается от того, которое показывают в полицейском сериале. И это им воспринимается так же, как верующими христианами, которые однажды осознали, что, выйдя из храма, где они только что причастились тела Христова, они увидят грязные улицы с нечистотами и хулиганами.

Такое умение понимать вряд ли является полезным. Когда общество находится в конце эволюции, люди часто путают реальность с ритуалом. Результат может быть катастрофическим. Один из самых известных случаев связан с высказыванием Марии Антуанетты: «Пусть едят бриоши!» — тонкой остротой, сорвавшейся с ее губ. Она не имела в виду пирожные. Это было бы грубой шуткой. В ответ на требования людей, собравшихся на заднем дворе Версаля о хлебе, она порекомендовала им кушать хлеб самого высокого качества: белый, воздушный, испеченный на масле и яйцах. Большинство из просителей даже не знали, что такое бриоши. Но Мария Антуанетта обращалась не к народу. Отвернувшись от окон, а следовательно, и от реальности, она произнесла эту саркастическую насмешку для восхищенных ее остроумием придворных, участвовавших в дворцовом ритуале. Нетрудно представить себе, как эти слова повторяли — вначале с оттенком восхищения те, кто имел счастье их услышать, затем вполголоса слуги, покинувшие зал, множество раз повторяли их на бесконечных версальских коридорах и лестницах, затем — с оттенком недовольства — в других ко-

ридорах, и, наконец, их неожиданно повторили на заднем дворе народу, который услышал их в замешательстве и не поверил, что их королева может настолько их презирать. Потом их повторяли с гневом и возмущением, окончательно уяснив смысл слов. Мария Антуанетта и ее свита полностью утратили понимание того, что происходит в действительности. У них отсутствовало ощущение того, где кончается дворцовый ритуал.

И в наши дни встречаются политики, которые оценивают телевизионный ритуал, так сказать, по номиналу, с его слезами, любовью, ненавистью, с одними и теми же примитивными эмоциями, в сочетании с подвергнутой лоботомии христианской моралью. Они принимают эти стилизованные эмоции за реальную действительность. Одним из первых это продемонстрировал президент Линдон Джонсон, который по простодушию показал во время неформальной встречи с журналистами свой шрам от операции на желчном пузыре. Через несколько часов это изображение было показано широкой аудитории. Что в этом особенного? И все же в системе, где все действия расписываются заранее, это вызвало настоящий шок. То есть Линдон Джонсон сделал нечто такое, что вызвало удивление. А удивление порождает неуверенность и беспокойство, но от главы государства ожидают других сигналов. С тех пор другие политические деятели плакали перед камерами или проявляли другие эмоции. По телевидению мы каждую минуту видим, как люди плачут, говорят о сугубо личном. Но не на самом деле, а только ритуально, не по-настоящему. В 1972 году в ходе первичных президентских выборов в США сенатор Эдмунд Маски, возглавлявший предвыборную гонку, расплакался перед телекамерами и тем самым обрек себя на поражение. Когда премьер-министр Австралии Боб Хоук начал кричать с телеэкрана, это стало концом его карьеры. Если настоящий общественный деятель кричит по телевизору, это влияет на публику так же, как если бы священник стал во время причастия доставать из чаши куски настоящего тела, а не просфоры.

Как и любой ритуал, телевидение находится за пределами линейного участия. Когда Маклюэн начинал писать о теле-

видении, он думал, что телезритель должен быть активным участником процесса. Теперь мы знаем, что это не так. Роль зрителя ограничивается знакомством с ритуалом. Зритель даже не должен все время находиться у телевизора или внимательно смотреть передачи.

Телевизионное поколение сейчас смотрит две, три, четыре или больше программ сразу. Это не потому, что программы пустые. Дело в том, что зритель уже знает содержание передачи и более или менее безразличен к нему. И привлекает зрителя именно участие в вечном ритуале этих программ. Если предыдущие поколения телезрителей, смотря какую-то передачу, могли лишь время от времени переключаться на другую программу, то теперь мы можем участвовать в двух, трех, десяти, тридцати, сорока ритуалах одновременно, просто переключая пульт дистанционного управления. Приблизительно одного часа такого переключения достаточно, чтобы убедиться, что мы имеем дело не с сорока ритуалами. Это сорок вариантов одного и того же видеоряда. Это не запрограммированные формулы, но ритуальное повторение. Опытный переключатель каналов может достичь своего рода электронной нирваны, в которой все структуры исчезают и только полностью знакомая пустота охватывает его.

Даже повторные показы усиливают поддержку этой системы. Причащение — болсе волнующий момент в литургии, чем предшествующие ей молитвы. Точно так же зрители жаждут увидеть Люсиль Болл из старого телесериала «Я люблю Люси», чтобы повторить предписанную телевизионную процедуру в энный раз. Один из повторных показов по американскому телевидению этого сериала на Рождество в 1989 году опередил все другие программы по популярности и занял шестое место в национальном рейтинге Нильсена.

Разумеется, некоторые программы ставят перед собой другую цель. И среди работников телевидения встречаются личности, не только прекрасно разбирающиеся в специфике электронных СМИ, но и использующие свой талант и делающие нестандартные передачи. В большинстве стран подобным передачам отдается нескольких часов в сетке вещания. Но именно они оказывают на зрителя наибольшее

воздействие не только потому, что они более качественные, но и потому, что они восхищают зрителя редким нонконформизмом.

Телевидение относится к той же категории, что и самые современные, очень сложные системы. Оно требует интенсивного труда, который хорошо оплачивается. Чтобы удовлетворить потребности ненасытного эфирного времени, оно привлекает в свои структуры людей творческих, одаренных. Эти люди могли бы внести вклад в точное отображение адекватного состояния человека. Вместо этого их принуждают вытанцовывать в воображаемом дворцовом ритуале. Их положение напоминает положение европейской аристократии восемнадцатого века, покинувшей свои владения, отказавшейся от своих обязанностей — от военной и гражданской службы, то есть от всего того, где они были так нужны, — и втянутой в блестящую орбиту королевских дворов, жизнь в которых превратилась в один непрерывный ритуал. В результате, хотя они уже не могли осложнить жизнь монарху, они также стали не способны вносить вклад в благосостояние общества.

Ритуал всегда несет в себе прямоту и непосредственность. Просфора — тело Сына Божия. Присутствие человека в королевской спальне в определенный час делает его важным. Цвет сюртука человека или форма его обуви делает его джентльменом или дворянином. Ритуал создает ощущение преувеличенной действительности, благодаря отвлечению от конкретных элементов. Телевизионный ритуал в этом направлении продвинулся далеко вперед. Его изображения — не отвлечение от действительности. Они сами по себе более реальны, чем заурядная действительность. Телевизионные изображения смерти более убедительны, чем реальная смерть. В некотором смысле, если смерть показана по телевидению, она гораздо правдоподобнее, так как телевидению удалось зафиксировать вечный образ.

До какой степени электронное умирание изменило наше представление о смерти, можно судить по всеобщему разочарованию, которое вызывает показ реальной смерти по телевизору. В 1970-е годы съемочная группа СВС снимала в хос-

писе в Виннипеге с разрешения больного его медленную кончину. Огромная аудитория прильнула к телевизорам, с нетерпением ожидая агонии. Но больной скончался почти незаметно, и телекамерам не удалось зафиксировать никаких изменений. Разочарованной аудитории просто сказали, что больной уже мертв. Но в тот же вечер по тем же каналам, не говоря уже про кинотеатры, показывали в десять раз более натуральные смерти. Для каждой из тех смертей имелось хорошее освещение; камеры располагались на нужном месте, чтобы передать все нюансы; были замечательно отлажены звук и цвет. Процесс перехода от жизни к смерти показывался исключительно четко. Это были убедительные смерти, не то что та, которая описана выше. Некоторые из них даже зафиксировали потрясающий эффект катарсиса. В 1988 году на французском телевидении за неделю показывали в среднем 670 убийств, пятнадцать изнасилований и двадцать семь сцен пыток¹³. В большинстве стран цифры будут примерно такими же.

Большое количество сцен насилия всегда действовало на человека. Некогда живописные полотна — с их расчлененными обезглавленными телами со следами мучений — были еще более откровенными. Трудно представить их взрывной эффект на мир, в котором еще не существовало ни фотографии, ни кино. В местах массовых скоплений людей: церквях, ратушах, площадях и дворцах — всегда было множество картин и скульптур с изображением насилия. В былые времена люди воспринимали такие общественные места совсем по-иному. Различие между этими изображениями и теми, которые мы видим по телевизору или на киноэкране, заключается не в том, что картины и скульптуры делал гении, а изображение на экране превосходно по качеству. У последних — совершенство на грани банальности. И они правдоподобны. Даже в самом скучном игровом телефильме могут показать и показывают красивые убийства.

Общества всегда строились на основе сдержанности и общепринятых правил поведения. Электронное изображение, кажется, проскальзывает через ячейки сети сдержанности и организованных действий просто потому, что оно появляется

неожиданно и в очень неожиданной манере. Общество могло заставить среду ограничивать себя. Возможно, больше всего смущает людей то, что день за днем, постоянно, почти в каждой программе, изображение безудержного насилия разрушает основную мифологию о нравственности Запада. То, что показывают с экрана, полностью отрицает ранее устоявшиеся принципы.

Это замешательство было заметно уже в реакции американской публики на показ вьетнамской войны. Часто говорят, что публика утратила положительный настрой по отношению к войне из-за того, что насилие показывали в программах новостей, в особенности из-за показа гибнущих американских солдат и вьетнамских детей. В действительности зрители видели совсем немного случаев гибели и совсем мало сцен откровенного насилия. Гораздо большее отвращение зрителей вызывало то, что эта война разрушала их ритуал и мифологию. Джи-ай должны быть патриотами-победителями, сражающимися на стороне сил добра. Националистическая адаптация притч Христа очень соответствует этой стилизованной роли.

Но любому телезрителю было ясно, что эти молодые люди, у которых брали интервью на поле боя, не были победителями. Было видно их замешательство, что они отнюдь не гордятся своими подвигами и не уверены в справедливости войны, что их смущает американская мифология по отношению к этому конфликту. Было видно, что они отнюдь не похожи на героев.

Зрители, в том числе политические деятели, обвиняли в этом журналистов, которые на самом деле были всего лишь передаточным звеном. За сердитыми обвинениями в необъективности и отсутствии патриотизма крылось сильное смущение: у людей складывалось впечатление, что ритуальные изображения специально внедряют в их сознание, чтобы тревожными сценами посеять чувство неуверенности. На это, возможно, следовало бы ответить, что война, в отличие от ритуальной драмы, дело сложное. В драматических пьесах мораль героев четко очерчена. Если вы герой пьесы, то вы либо положительный, либо отрицательный герой. Если вы

зритель, то вы автоматически поддерживаете положительных героев. И зритель всегда надеется, что отрицательный герой признает свои ошибки или раскается перед смертью. Участие телевизионного зрителя является одновременно напряженным и пассивным; напряженным именно потому, что ритуал имеет дело с основными допущениями, благодаря которым зритель может остаться пассивным. Он зависим от стабильно успешного функционирования системы. Зритель не может ничего изменить. И поскольку документальные кадры из Вьетнама нарушали установленную иконографию, мифологию и ритуалы, публика воспользовалась своим правом. Она взяла в руки пульт дистанционного управления и выключила войну.

Когда с реальной войной было покончено, телевидение и кино стали свободны и возвратились к ритуальным изображениям. В мгновение ока они стали манипулировать вьетнамским конфликтом, чтобы превратить американских солдат в героев. Вьетнамцы, которых в течение десяти лет войны изображали маленькими жертвами агрессии, не могли внезапно превратиться в злодеев. Вместо этого работники экрана вторглись в официальную мифологию и стали изображать отдельных американских офицеров, сержантов или капралов злодеями. Таким образом, американские джиги непосредственно от имени американского народа боролись на стороне сил добра. Однако маленькая группа неамериканских американцев предала правое дело. Все это вписывалось в иконографию, которую можно проследить от Бенедикта Арнольда через «коммунистических агентов» 1950-х годов. Фильм Оливера Стоуна «Взвод» — прекрасный пример такого подхода. Он даже показал двух сержантов: положительного и отрицательного — в подтверждение того, что американские сержанты изначально хорошие; а исключение с «плохим» сержантом только подтверждает это правило. Это — ветхозаветный подход, идущий от мифа о падшем ангеле как исключении из правила. Подобный подход к тому же ловко освобождает всех остальных от ответственности. «Взвод» был частью того же процесса, что и серия фильмов о Рэмбо. Однако упрощенный подход «Рэмбо», по

крайней мере, несет в себе открытость явной лжи. Версия Стоуна — утонченное искажение, имеющее целью восстановление притч электронной морали.

Военная кампания в Ираке в 1991 году показала, насколько хорошо власти усвоили урок. Они не только ограничили доступ журналистов, прежде всего телевизионных, к реальной войне. Они стали тщательно подбирать соответствующие картинки для выпусков теленовостей. Таким образом, они стали создавать дизайн войны. С точки зрения электронного века, такой визуальный менеджмент учел ошибки войны во Вьетнаме. Но с точки зрения доступа публики к независимой информации, война в Ираке имела историческое значение. Например, в 1991 году граждане имели гораздо меньше доступа к информации о том, что происходит на полях сражений, по сравнению с битвами Гражданской войны в Америке, Крымской войны или Англо-бурской войны. Как в случае с Вьетнамом, информация о ходе тех войн сильно влияла на политические события дома. Страх перед репортажем в режиме реального времени, разрешение электронного глаза и изощренность современных методов управления — все это побудило власти отойти от несовершенного, но тем не менее официально утвержденного демократического права.

Электронные СМИ, как самые современные структуры, прекрасно владеют всеми возможностями вырезания и склейки, то есть монтажа, предназначенного для усовершенствования действительности, с тем чтобы придать ей абстрактную форму. Не удивительно, что наши общества охватывает все большее беспокойство. Люди чувствуют себя приклеенными к изображениям и понимают, что тонут в них. По мере развития технологии усиливается пассивная роль человека, равно как и его страхи.

Кажется, что эти образы: смерти, более убедительной, чем смерть, насилия, более ужасающего, чем насилие, женщин, более красивых, чем женщины, мужчин, более сильных, чем мужчины, — богоподобны и невыносимы. Оживая на экране, они устанавливают монополию на правдоподобное преувеличение и, таким образом, заполняют почти все простран-

ство нормального человеческого воображения графически-ми мультипликациями, оставив немного свободного места для чего-то еще. Внутренний страх, от которого мы теперь страдаем, сходен со страхом пещерного человека; мы чувствуем, что изображение отделяется от стены и захватывает все наше воображение.

Кажется, будто ритуал очистили от его окончательной формы. В прошлом ритуал на Западе был ограничен не только шероховатостями статичного изображения, но и присутствием Бога. Официальная доктрина с одобрения святого Августина подразумевала за изображениями присутствие самого Бога в качестве источника творческой силы. Но на практике паства видела в них идолопоклонническую силу, заполняя храмы бесчисленными изображениями и статуями и наделяя их частью божественной силы. Бога можно было найти в центре каждого образа. Жертвы, мучения, даже красота и любовь имели значение только в этом божественном контексте. Теперь смерть Бога в сочетании с совершенствованием изображения привела нас к ожиданию особого рода. Мы сами стали изображением. Мы — одновременно и зрители, и объекты рассмотрения. И нет присутствия никакого другого, даже божественного существа. Современное изображение теперь само обрело божественную силу. Оно убивает по желанию. Убивает легко. Убивает красиво. Оно освобождает от моральных принципов. Судит бесконечно. Электронное изображение — это человек, равный Богу, и используемый ритуал ведет нас не к таинственной Святой Троице, но назад, к нам самим, какими мы были в глубокой древности. В отсутствии ясного понимания, что теперь мы сами являемся единственным источником божественной силы, эти изображения неизбежно внушат нам сверхъестественные чувства и страх, которые существовали в обществах идолопоклонников. Это, в свою очередь, облегчает использование электронного изображения в качестве пропагандистского оружия тем, кто хотя бы частично его контролирует.

Совершенствование электронного изображения стало ключевым шагом человека западной цивилизации на пути к чистому идолопоклонству. Процесс, который начался

с папы Дамасия I, перенесшего рациональные и языческие основы Рима в христианскую церковь, и продолжился, когда Рафаэль создал идеальные, но статичные изображения афинских философов по заказу папы римского, теперь подошел к концу. Пожирающий человека животный страх и является выражением этого конца. Это похоже на то, как будто мы и наше изображение, движемся по нескончаемому кругу и бесцельно, но в страхе глядим друг на друга.

Первые признаки агрессивной реакции человека на пленение его зрительного воображения проявились с появлением и внезапным ростом популярности комиксов. Спустя сорок пять лет после изобретения фотографической пластины, через тридцать девять лет после появления первого диафильма и через пять лет после изобретения фотогравюры этот неуклюжий, наивный, бесхитростный и неточный по форме образ появился в Англии. Британская «Элли Слупс» 1884 года стала предтечей первого американского газетного комикса «Желтый малыш», напечатанного в 1896 году. Это породило термин «желтая пресса». Успех «Желтого малыша» привел к быстрому росту популярности жанра: «Крейзи Кэт» в 1913 году, «Сиротка Энни» в 1924-м, «Тинтин» и «Тарзан» в 1929-м, а затем — сотни и сотни других.

Разумно было предположить, что по мере развития кино эти сырые нарисованные истории будут пользоваться все меньшим и меньшим спросом. А с появлением звукового кино в 1927 году комиксы должны были исчезнуть окончательно. Вместо этого год спустя появился мультипликационный Микки-Маус. Успех этого фильма вообще необъясним. Почему всем нравилось смотреть на нереально выглядящую мышь, когда существовали изображения реально снятых людей? И все же Микки стал более популярным, чем любая кинозвезда. В 1935 году появилась первая полноформатная книжка комиксов, что придало ускорение росту популярности этих примитивных картинок.

В то время как электронные изображения реальных людей достигли уровня совершенства, мультипликация все более и более становилась пусковым механизмом для визуаль-

ного воображения, или, скорее, для реализации человеческой потребности в преувеличении. То, что Микки-Маус по сей день самая известная персона в мире, просто подтверждает истину, что Дисней для изображения более важен, чем Пикассо или любой другой современный живописец. Они все должны были бороться против оков совершенного прекрасного изображения. Дисней фактически выпустил изображение из тюрьмы.

Возвращение статуса Уильяма Блейка как большого авторитета дало разъяснение происходящему. Блейк объединил мистическое с нарративным, используя фигуры, немногим отличающиеся от фигур современных мультипликационных героев. В то же время он первым показал, что бессмертный образ изображения находится в глубинах нашего воображения, а не в действительности.

Вторая революция мультипликации произошла в Европе вскоре после Второй мировой войны. Возможно, безумие, охватившее континент на шесть лет, выпускало накопившиеся эмоции. В любом случае, бельгийцы, французы и испанцы стали выпускать книги в твердом переплете, получившие название «книжки комиксов». Счастливчик Люк, великий ковбой, стал новым Микки-Маусом. Астерикс, воин древней Галлии, превратился в знакомое фрейдистское пристанище французского характера. Маршалл Маклюэн в письме историку Гарольду Иннису, датированном 1951 годом, писал, что «книжка комиксов воспринимается как выродившаяся литературная форма вместо возрождающейся иллюстрированной и драматической формы»¹⁴. Комиксы быстро вырвались из зачаточного состояния и стали невероятно популярны.

Вскоре, в 1960-х годах, зародилась третья волна. Безудержный полет воображения породил рисованные романы, заполненные насилием, сексом, фантастикой и скоростью. Казалось, что неосуществленная иррациональная мечта вырвалась на эти страницы, словно в ответ на прекрасные, предсказуемые изображения телевидения и фильмов. Например, РэнКсерокс, человек-робот, который одним ударом выбивает глаз и отрывает руки. Он же занимается любовью в течение многих часов подряд¹⁵. Но в этом герое есть ирония,

и эти книжки содержат внушающий леденящий страх представление о том, чем мы становимся. Художник и режиссер Энки Билал создал многих героев комиксов. В 1986 году он издал мультипликационный роман под названием «La Femme Piège» («Женщина-западня») ¹⁶. Эта женщина-западня живет в будущем мире, отталкивающем, находящемся в состоянии упадка. По мнению Билала, такая жизнь наступит всего через десять лет. Лондон и Берлин — огромные морги, в которых воюют причудливые революционные армии. У главной героини синие волосы и синие губы, она убивает мужчин. Мужчины с птичьими головами похожи на персонажей из египетской мифологии. Время указывается точно, но оно в постоянном движении назад и вперед. Комикс передает всеобщий и глубокий страх, несопоставимый даже с самыми яркими фильмами ужасов. Начиная с 1970–80-х годов на страницах ежемесячников, таких как «Metal», «Hurlant», «Pilote», «Heavy Metal», «Nara Kiri», «Charlie Hebdo», и недавно появившегося американского журнала «Raw», издаваемого Артом Шпигельманом, стали культивироваться страх, бьющий через край, и подавляемое воображение наряду с открытой критикой современного положения, которое телевидение искренне уважает.

В 1986 году шестнадцать тысяч французских подростков опросили на предмет их грамотности. Их также спрашивали о читательских предпочтениях ¹⁷. Допускалось несколько ответов. Первые девять были следующими:

1. Комиксы	53 процента
2. Приключенческие или исторические романы	40 процентов
3. Полицейские или шпионские романы	38 процентов
4. Научная фантастика	30 процентов
5. Журналы или сборники для подростков (с комиксами)	26 процентов
6. Сказки и легенды	19 процентов
7. Любовные романы	18 процентов
8. Репортажи, приключения, путешествия	18 процентов
9. Классические романы	18 процентов

Еще интереснее было бы спросить о зрительских предпочтениях, если бы в опросный лист попали комиксы, живопись, телевидение, видео и кино. Ежегодно в Ангулеме проходят фестивали любителей комиксов, на них собирается около двухсот тысяч человек. И два телесериала, имитирующие мифологию книжек комиксов: «Звездный поход» и «Доктор Ху» — пользуются не меньшей популярностью, они собирают ежегодно целую армию поклонников. Трудно представить современного художника или группу художников, творчество которых привлекало бы такие огромные толпы поклонников. Такого ажиотажа, как на этих ярмарках-фестивалях, не наблюдается даже на профессиональном Каннском кинофестивале, не говоря уже о телевидении.

В Северной Америке для газет была установлена ежедневная квота для публикаций комиксов. Они ограничены одной полосой для комиксов для детей и передовой полосой для взрослых. Но постепенно рисованные мультфильмы социального, политического и просто развлекательного характера стали печататься и на других страницах. Жюль Фейффер и Гарри Трюдо, помимо всего прочего, стали печатать ежегодники комиксов в твердом переплете. Целые секции книжных магазинов теперь заполнены этими объемистыми томами.

Вскоре стали издавать книги в твердом переплете с полнометражными мультфильмами. Первым был фильм «Маус» Арта Шпигельмана¹⁸. Используя простые, почти топорные черно-белые рисунки, Шпигельман сумел найти новый способ заново затронуть заживающие раны общественной чувствительности в отношении холокоста. Евреи в его книге изображаются как мыши, немцы — как коты. В то же время появились первые переводы книжек комиксов на иностранные языки. Одна из главных тем игровых комиксов — упадок западного общества и состояние животного страха, охватившего все общество. Каждый рисунок, кажется, стремится опровергнуть ложный гиперреализм и бодряческую морализацию телевидения и кино.

В русле этой эволюции ряд живописцев обратился к мультипликации. Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, например, стали играть этими изображениями, но только в рамках

контекста и словаря официального искусства. Арт-критики были в шоке. Они пришли к выводу, что эти живописцы были революционерами. Но Уорхол и Лихтенштейн больше походили на придворных живописцев, которые стремились обратить на себя внимание, демонстративно разгуливая по дворцу без париков. Они обращались к дворцу, его структурам и придворным.

Этим они коренным образом отличаются от мультипликаторов, которые, во всяком случае, гораздо более напоминают ремесленников-живописцев, предшествовавших Рафаэлю. Они имеют дело с действительностью и обращаются к обществу в целом. В то время как уорхолы и лихтенштейны участвуют в сложных, забавных, шокирующих, отвратительных имитациях действительности, мультипликаторы на самом деле ищут новые способы отображения действительности.

Официальные художники действительно развлекают дворцовых критиков, экспертов и социальных подражателей. В некотором смысле они более консервативны и покровительственны, чем официальные художники конца девятнадцатого столетия. Возьмем, например, Лихтенштейна, которого осенило нарисовать преувеличенные версии комиксов, когда в 1960 году один из сыновей показал ему книжку комиксов о Микки-Маусе и сказал: «Спорим, ты не сможешь нарисовать так же хорошо, как здесь». Он нарисовал картину больше обычного размера, изобразив на ней утенка Дональда Дака. В 1962 году он произвел сенсацию в художественном мире своим показом картин по мотивам мультипликаций в галерее Кастелли в Нью-Йорке. В ноябре 1963 года Лихтенштейн заявил: «Моя работа отличается от комиксов, но я не назвал бы это трансформацией... Я больше работаю над формой, тогда как комикс не сформирован в том смысле, в котором я использую это слово; комикс имеет очертания, но никто не пытался его унифицировать»¹⁹. Эти слова могут казаться претенциозными в устах ведущего мастера поп-арта, но Лихтенштейн большую часть своей жизни был профессором искусства в университете. С другой стороны, копирование комиксов сделало его богатым и известным. Такое изме-

нение должно подтвердить и другую его мысль, что Лихтенштейн был художником, в то время как мультипликаторы ими не были.

Трудно найти более убедительный пример, насколько далеко отстоят друг от друга функции мастера и искусства на Западе. Поднимая на щит второстепенную идею об особой миссии искусства, сам художник утрачивает не только технические навыки своего ремесла, столь важные для живописцев прошлых веков, но и реальную взаимосвязь между образом живописца и публикой. Лихтенштейн обворовал поистине народные образы — комиксы, издеваясь над ними и забавляя своих коллег-искусствоведов. Как большинство людей, оказавшихся в абстрактной действительности ритуала, они предполагали, что мультипликация является только забавным инструментом, при помощи которого они могут манипулировать своими талантами. На самом деле нет большого различия между остротой Марии Антуанетты о хлебе и бриошах и консервированном супе на картинах Уорхола. И то и другое — проявления неглупого артистизма, но не интеллектуальной значимости.

То, что пропустили художники со всеми своими учебными заведениями, где преподают анализ и мастерство, со своими музеями и суждениями опытных экспертов, сумели ухватить простые мультипликаторы — инструменты воображения, которые они с успехом применяли, не смогло использовать телевидение. Мультипликатор все еще пытался почти в одиночку решить старую головоломку образа, общества и бессмертия. То, что рациональному профессиональному уму представлялось бегством от действительности, на самом деле было попыткой выйти за пределы мнимой действительности, которая заключила в темницу наше воображение. В то время как Лихтенштейн бессмысленно эксплуатировал образы, созданные другими, они, другие, шли дальше, находя и создавая новые изображения. Пока Уорхол отчаянно стремился шокировать всех идеями, заимствованными у других, мультипликатор Честер Браун создавал комиксы, в которых президент США изображался в виде говорящего пениса на теле мелкого анемичного преступника²⁰. Без

сомнения, некоторые из постуорхоловских профессионалов в конечном счете создадут «живописную версию» этого изображения.

В «Протоколе», романе французского писателя Ле Клезио, герой говорит: «Я оказался в комиксе по своей воле»²¹. Через некоторое время рациональное общество запирает его и говорит, что он сумасшедший. В значительной степени зрелищная сторона гуманистической традиции теперь находится в руках карикатуриста, равно как и поиски бессмертного образа. Искусствоведы с их подопечными художниками все в большей степени становятся союзниками телевизионных посиделок, как и действительности, запертой в клетке. Это неудивительно для общества, которое, казалось бы, находится в упадке, но обожает свою структуру настолько, что ничего поделать с этим не может, а воображение должно рассматриваться как враг, а не как друг людей.

Очередной этап этой борьбы всерьез начался в 1991 году с появления фильма «Терминатор-2». С помощью компьютерной графики были созданы рисованные карикатурные персонажи, которые кажутся реально снятыми людьми. Это стало кульминацией десятилетия чрезвычайно смелых экспериментов: реальные дети с созданными на компьютере ртами, наложенными так, чтобы они говорили; реальные головы объединялись с созданными на компьютере телами, как в фильме «Трон». Тем не менее, с появлением «Терминатора-2» на экране стало возможно разрезать пополам голову реального человека, как, например, Арнольда Шварценеггера, а затем снова ее соединить. Иными словами, ритуальные образы электронного мира теперь могут симитировать ту свободу визуального воображения, которая скрывалась за мультипликацией. Получается, будто целую волшебную область изображения заняла официальная школа ритуала. Искусственные изображения вращаются, как обычно, вокруг сил страха, магии и ритуала. Радикальное изменение в балансе между последними двумя обязательно ведет к росту первого. Чем более сложными становятся контролируемые образы, тем более вероятно то, что люди будут искать убежище в увеличении уровня страха.

Это — так, будто последнее известное убежище зрительно-го воображения и фантазии оказалось захваченным силами структуры.

Глава девятнадцатая

ЖИЗНЬ В КЛЕТКЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Несомненно, мы живем в раю личностей. Свидетельства этого находятся повсюду в достаточном количестве. Единобразие классности и функциональности уже не актуально. Клевета и опасения тоже: любой мужчина или женщина могут поболтать на любую тему, не рискуя угодить в тюрьму. Мы можем одеваться как хотим; носить короткую или длинную прическу; иметь сколько угодно семейных, сексуальных и спортивных интересов, которые доступны всем, независимо от социального уровня. Только несколько бастионов выделяются на общем фоне популистского потока своеобразным сочетанием классности и стоимости. Мы имеем доступ к информации любого сорта и направлений и можем путешествовать по всему миру почти бесплатно, просто для того, чтобы самим увидеть то, что раньше нам было знакомо лишь по нарративным общедоступным источникам, которые обычно содержали чьи-то индивидуальные впечатления.

И все же, что это такое — реальный индивидуализм в современном светском государстве? Если это — удовлетворение собственного «я», значит, наступил золотой век. Если речь идет об обязательствах личности перед обществом, тогда мы являемся свидетелями кончины личности и эпохи беспрецедентного конформизма. Специализация и профессионализм способствовали серьезным изменениям структуры общества в Век Разума. Но они не создали связей, необходимых для общественного сотрудничества. Наоборот, они позволили создать надежные ячейки, в которые удалось заманить личность.

Многое в современном индивидуализме сводится к поверхностным, второстепенным и сугубо личным вопросам. К примеру, наш зубной врач склоняется над нами. Он загорел после поездки на какой-то южный остров, зубы сияют белизной, две верхние пуговицы рубашки расстегнуты, на шее видна золотая цепь, волосы завиты в прекрасные кудри, вторая или третья жена дожидается его дома, и они собираются провести вечер в модном ресторане. От него исходит аромат изысканного вина, тенниса и сквоша. Несомненно, у него «крутой» импортный автомобиль. Или по нему видно, что он живет в престижном пригороде и является владельцем загородной недвижимости. Но если приглядеться, это, может быть, тот самый кузнец, который несколько столетий тому назад в свободное время вырывал зубы? Или же унылый, одетый во все черное, печальный, причиняющий боль человек, который был высмеян в рисунках Домье? Либо посмешище, о котором шутил Оскар Уайльд? Или Бернард Шоу? «Рыцарь бивней и золота... специалист по извлечению корней»¹. Отнюдь. Это — современный человек: индивидуалист, жаждущий душевного покоя и счастья.

Доминирующей мифологией Запада, из каких бы намерений и целей она ни исходила, остается американская мечта. «Жизнь, свобода и стремление к счастью». Жизнь и свобода уже обеспечены, а личность из среднего класса сегодня сосредоточена на стремлении к счастью. Теперь мы можем развестись или вообще не вступать в брак, но жить как муж и жена, нарушая религиозное и гражданское право. Не обращая внимания на лицемерные общественные приличия, мы можем рассматривать застывшие сплетенные обнаженные тела на рекламных страницах популярных журналов или в движении — на различных этапах совокупления в кассовых фильмах. На верхних полках магазинов мы можем взять и купить полный набор сексуальных картинок на любой вкус. Кстати, в любом городе мы можем войти через дверь и, заплатив небольшую сумму, увидеть реальный процесс совокупления женщин, или мужчин, или тех и других вместе.

Менее пятидесяти лет тому назад какая-нибудь актриса считалась «не вполне достойной» вступить в брак с сыночком

из семьи среднего класса. Его семья отеклась бы от него, попытайся он только это сделать. В сознании большинства она немногим отличалась от проститутки. Одета на сцене или в фильме, после выступления она, мол, тут же с легкостью скинет одежду. Теперь родители из среднего класса млеют от радости, если их дочь принята в театральную школу. Ничего, если она вскоре появится на экране в обнаженном виде или в сексуальных сценах, главное, чтобы это было в серьезном кино.

Менее полувека тому назад армейский офицер тоже отказал бы бухгалтеру в праве стать его зятем. Теперь же он с радостью примет его в семью. Умение уклониться от налогообложения под законным предлогом стало одним из неоспоримых достоинств.

Эта почти безграничная свобода выбора является результатом победы разума над случайными общественными ценностями. Теперь личности дозволено выйти из своей сконструированной обществом клетки. По крайней мере, таков современный миф. Что, однако, остается не ясным, так это то, какое отношение имеет это освобождение к достижению абсолютного индивидуализма. Уроки истории сравнительно очевидны. Развивающиеся общества просты, незатейливы и не слишком склонны к компромиссам. А обществам, находящимся в упадке, присущи широта кругозора, потворство своим слабостям и вычурность. Римляне республиканской эпохи и эпохи ранней империи были крестьянами с отчетливо выраженными обязанностями и вели простой образ жизни. Первые поселенцы в Америке были добропорядочными семьями, без причуд, за исключением их воображения и готовности работать. Руководство подобных обществ обычно соответствует этим непритязательным характеристикам. Джордж Вашингтон является наиболее знаменитым примером в истории современности. В свое время его даже представляли как нового Цинцинната, римского лидера республиканской эпохи, который служил самоотверженно, а затем отказался от власти, чтобы вернуться в свое имение. Но задолго до Вашингтона были такие люди, как Генрих IV — первый из великих королей Нового времени, который в начале

1600-х годов решительно отменил протокол, украшения и пышность. Это он распространил и на личную гигиену. Именно Генрих писал своей возлюбленной: «Не мойся. Я возвращаюсь». Эти молодые, здоровые общества были порой наполнены ханжеством, которое часто связывают с религиозной и моральной косностью. А мифология об их простоте и доброте никогда не учитывает политических реалий того времени. Римляне и американцы, например, проводили активную завоевательную политику и создали экономику, основанную на рабском труде. Тем не менее, такие люди преуспевают, а с успехом приходит успокоенность, которая в свою очередь располагает к еще большей роскоши и потаканию своим желаниям. Следует ли их в этом винить? И если это признак вырождения, то общества и существуют для того, чтобы появляться и исчезать. Можно только надеяться, что с ними вежливо обойдется новое племя, которое заполнит пустоту, неизбежно возникающую с утратой прежних амбиций.

Не стоит тратить время на доказательство того, что у нас на Западе есть все эти признаки вялого вырождения, и, следовательно, мы первые кандидаты на замену. Тем не менее, мы не до конца уяснили: то, что мы теперь считаем индивидуализмом, является всего лишь выражением эгоистичного потворства своим желаниям. В конце концов, наша идея личности стала следствием нескольких столетий борьбы между властными силами Церкви и государства, с одной стороны, и сторонниками разума — с другой. Продукт — гражданин конца двадцатого столетия — мало похож на выродившегося римского патриция или европейского аристократа восемнадцатого столетия. Несомненно одно: описанный зубной врач с его маленькими слабостями — не эквивалент искателя удовольствия времен Нерона. Увлечение современного гражданина блаженствами поверхностного индивидуализма не имеет большого значения. Погоня за удовольствиями, как правило, имеет показной характер.

О реальном развитии личности в нашем обществе можно судить по тому, как гражданин действует, вступая в контакт со структурами власти. Например, нежелание отдельного человека идти на компромисс можно лучше всего оценить, ког-

да неконформизм угрожает его жизни или жизни его семьи, друзей или других граждан. К счастью, у нас не так много возможностей для проведения подобных тестов. С другой стороны, каждый день мы проходим тесты, которые имеют отношение к таким вещам, как личные доходы, карьера и внутренняя политика. Цивилизация, которую считают созданной на основе участия в ней каждого отдельного гражданина, сохранится или развалится, в зависимости от нашей конкретной реакции на эти вопросы.

Томас Манн в «Волшебной горе» точно указал на две стороны в этом споре. Для того чтобы быть индивидуалистом, «надо все же представлять себе различие между нравственностью и благодатью...»² Личность — это тот, кто согласен понимать, что такое мораль, и тот, кто контролирует свое поведение. Человек, который полагается на блаженство, — это тот, кто доверяется Богу и его представителям, которые определяют, что есть мораль, и укрепляют нравственность. Он — один из детей Божьих, которому и в голову не придет претендовать на личную ответственность. Личность более всего напоминает ребенка, который вырос и оставил родительский дом. Можно выразиться сильнее: человек умертвил Бога, дабы заместить его. Или же человек, умертвив Бога, был обязан заполнить возникшую пустоту. В любом случае, он принял на себя полномочия вынесения морального суждения, ранее принадлежавшие лишь божествам.

Но ни одна из индивидуальных свобод, так восхваляемых зубным врачом, не имеет отношения к гражданину, принимающему на себя роль Бога в принятии решений; то есть эта роль прежде принадлежала персональным представителям Бога на земле — церкви и монархам, помазанникам Божьим. Силы, которые вовлечены в это, — практические и реальные. Единственный вопрос: кто они. Ведь именно эти силы будут определять образ жизни, который остальные или примут с радостью, или будут вынуждены терпеть. Высший акт индивидуализма в рациональном обществе должен состоять в том, чтобы каждый гражданин с согласия других граждан мог принять эту власть, чтобы использовать ее для общего блага.

Изошренная форма отмены индивидуализма — это когда гражданин отправляется покупать автомобиль BMW, в то время как кто-то другой осуществляет вместо него или нее право принятия решений. Столь любезные сердцу дантиста права и привилегии, по всей видимости, указывают на состояние полного блаженства, которое принято ассоциировать с более ранними обществами, управлявшимися при помощи механизмов божественности.

Насколько мы заблуждаемся в нашем понимании индивидуализма, легче всего понять, взглянув на Запад со стороны. Буддистов многое на Западе приводит в ужас, но более всего их ужасает наша заикленность на нас самих как на бесконечно интересном объекте. По их меркам, в мире нет более нездорового существа, чем человек, страдающий от комплексов вины, заикленный на себе, постоянно пытающийся кого-то обратить в свою веру и навязать свои взгляды другим. Это мужчина или женщина белой расы, продающие Бога, или демократию, или либерализм, или капитализм, и делающие все это с чувством собственного превосходства, маскируемого под показной скромностью. Для буддиста ясно, что эта личность не понимает ни себя, ни своего места в мире. Она испытывает неловкость от своей роли; *mal dans sa peau*; она лицемерна и распространяет свое отчаяние на весь мир.

Что касается современного освобожденного западного человека, который думает, что он расслаблен, дружелюбен, открыт, пребывает в гармонии с самим собой и желает быть в гармонии с другими, то он вызывает еще большее отвращение. Он страдает от того же чувства мнимого превосходства, что и его раздираемый виной предшественник, но ко всем уже имеющимся комплексам он добавляет еще один: притворство, поскольку он не признается, что испытывает их. То, что западный человек не понимает или не осознает этого, сторонний наблюдатель сразу же увидит. Западный человек всенепременно вмешивается в чужие дела, что говорит о его недостаточной цивилизованности. Одной из наиболее неприемлемых черт его характера является вечное стремление громогласно заявлять свое мнение: о себе самом, о своих бра-

ках, разводах, детях, чувствах, переживаниях и любовных связях. Европейца утешает мысль, что все вышесказанное относится только к американцам, но, увы, и они не без греха. Разница — только в степени. Все мужчины и женщины иудеохристианской традиции очень любят исповедоваться, даже когда их не просят. Буддист, во-первых, понимает, что является частью целого, и следовательно, как часть, представляет ограниченный интерес. Во-вторых, решая личную проблему, он делает это приватно, не афишируя. Подлинная личность у буддистов — это человек, который не показывает, какие бури происходят в его душе. Это его личные проблемы, то, с чем он борется сам.

В чем же тогда заключается западный индивидуализм? В девятнадцатом веке существовало понятие, что индивидуалист — это тот, кто действует в одиночку. Он вынужден был поступать, таким образом, не преступая рамок и ограниченный хорошо организованного общества. Даже наименее закомплексованный из мыслителей, Джон Стюарт Милль, определил, что «все, что причиняет прямой вред индивидууму или обществу... все это должно быть изъято из сферы индивидуальной свободы...»³

Но если ограничения западной цивилизации девятнадцатого века слишком докучали ему, он мог просто отправиться на границу Северной и Южной Америки или в Австралию (Океанию). Там он мог почти полностью отпустить вожжи своей индивидуальной свободы, видя чисто экзистенциальный образ жизни. Если такой своеобразный вид свободы оказывался слишком экстремальным, все равно оставались обширные пространства, куда человек мог отправиться, не обрывая связи с собственным обществом, но в значительной мере освобождаясь от его ограничений. Те же, кто желал максимальной свободы, могли поехать в самые дальние уголки империй, например, как представители Компании Гудзонова залива или окружных комиссаров на юге Судана, где невозможно встретить западного человека в радиусе тысячи миль. Рембо променял Париж и поэзию на удаленную факторию в Абиссинии, где он торговал рабами и оружием. Личная свобода убила его, как и многих других. В его случае причиной

стала болезнь, которая была более распространенной опасностью для таких людей, чем насилие. Те, кто желал избавиться от слишком большого количества ограничений и одновременно не стремился к чрезмерной индивидуальности, мог пойти служить в пограничный полк в Раджпутане на севере Индии или в Алжире. Там они избежали бы контроля со стороны британского и французского общества, но сдерживались бы полковой структурой.

Даже не покидая Запада, человек с индивидуалистическими наклонностями мог найти место в пределах грубых структур, выходящих за рамки общества среднего класса девятнадцатого столетия. В трущобах, больницах или на фабриках мужчины с неблагополучным прошлым могли бороться против зла или добра, как если бы они находились на войне. К началу 1920-х годов ушли в прошлое худшие из этих грубых заплаток, а сфера деятельности личности была серьезно ограничена. В стабильном обществе среднего класса сдержанность была в цене. Покажется забавным, но это означало, что, даже проявляя малейшую неводержанность, человек мог оказаться обременительным для других и, таким образом, прослыть индивидуалистом.

Это — одно из объяснений того, как проявляется индивидуализм творческой личности — форма экзистенциализма, которая не обязательно означала необходимость покидать страну, хотя это часто предполагало перемещение на периферию общества. Прототипами были Байрон и Шелли, которые убегали от семейных неурядиц на край Европы, попутно призывая к политической революции. Лермонтов был примером другого типа: он был сослан на Кавказ и сражался в пограничных войнах, выступал против центральной власти, которую ненавидел, и неоднократно дрался на дуэлях. Виктор Гюго был более поздним и более значимым примером, когда в знак протеста покинул Францию и отказался возвращаться, пока Луи Бонапарт оставался на троне. Эти действия требовали определенной отваги, определенных убеждений и, в какой-то мере, личной внутренней решимости. Во многих случаях они приближались к индивидуализму героев Дикого Запада.

Но сегодняшний индивидуализм нельзя всерьез сравнивать со всей этой экзистенциальной деятельностью. Есть ли какая-то связь между героем Дикого Запада и тщеславным современным зубным врачом? Между солдатом Иностранного легиона Франции и гоняющим по улицам водителем «порше»? Между ответственным гражданином западной демократии и тем, кто исправно нюхает кокаин? Всех этих людей до сих пор связывала определенная форма демонстративного неповиновения. Но только этим сходство и ограничивается. Эти явления относятся к разным мирам.

Идея «личности» стара. Но в начале девятнадцатого столетия, когда начал формироваться «индивидуализм», он был новым выражением большой надежды. Поскольку обычные люди все еще сохраняли в памяти положительные стороны Средневековья: гильдии с их сочетанием мастерства и социальной ответственности — получалось так, будто новоиспеченные индивидуалисты принимали на себя старые обязанности гражданина. Память ответственного, профессионального члена гильдии хранила в себе еще более давние отголоски: память гражданина греческого города-государства. Гражданин Афин — идеализированная личность — оставался полумифическим образцом гражданина на протяжении всей истории Запада.

Фактически эта непрерывность была иллюзорной. Она была разрушена, когда власть гильдий, бюргеров и их городов была сметена религиозными войнами, и на смену ей пришло возвышение королей с их абсолютистской государственной властью. Сохранилась лишь идея профессионализма. Королевства Европы были полны официально признанными профессионалами. Тем не менее, их роль была узаконена не благодаря их компетентности, а по воле иррациональной силовой структуры: пирамиды с Богом и королем наверху.

Вот почему идея профессионализма в том виде, в каком она появилась в армиях набирающего силу разума, была так тесно связана с идеей о том, что мужчины имели право жить так, как они хотят, нимало не заботясь, есть ли на то разрешение свыше. Это равно касалось армейских офицеров и госу-

дарственных служащих, торговцев и промышленников. Вклад, который они внесли в общество благодаря своему профессионализму, был подтверждением того, что они обладают разумом. А обладать разумом означало быть ответственной личностью.

Таким образом, во время промышленной революции, сопровождавшейся всплеском изобретений и ростом среднего класса, становление профессионала было тесно связано с убежденностью западного человека в том, что он — ответственная личность. Степень его ответственности соответствовала уровню его компетентности. Другими словами, уровень индивидуализма напрямую зависел от скорости повышения профессионализма, или квалификации. Совершенствуясь в своем деле, каждый человек верил, что он усиливает контроль над своим существованием. Он строил свою собственную империю ответственности. Это было и мерой того, чего он стоил, и итогом его вклада в общество в целом.

Можно было предположить, что этот новый профессионализм приведет к созданию экспертных органов, объединенных в некую популистскую систему отбора по способностям. Первое крупномасштабное, хотя и сильно искаженное, выражение этой идеи появилось в 1920-х годах, оно было связано с ростом корпоративизма, который затем обернулся фашизмом. Это следовало истолковывать как подтверждение того, что историческая преемственность от Афин и гильдий была не чем иным, как мифом. События 1920—1930-х годов не были разрозненными. Корпоративизм снова появился в 1960-х годах в таких формах, как движение британских профсоюзов, Американская деловая группа, известная под названием «Круглый стол», и ее канадский аналог «Деловой совет по национальным вопросам». Последние два могут записать на свой счет формирование большинства современных экономических и социальных планов своих стран. Объединение граждан в группы по интересам становится корпоративным, иначе выражаясь — опасным, только когда группа по интересам теряет свою специфическую направленность и ставит себя выше демократической системы. В случае с британскими профсоюзами и североамериканскими советами уже само их

вмешательство в общественные дела нацелено на подрыв демократического участия отдельных граждан.

Эти три примера — отдельные проявления укореняющейся тенденции. Они также показывают один из тех путей развития, который по мере возрастающего профессионализма в результате приводит к изоляции личности. Профессионал действительно убеждался, что он может построить свою собственную империю, однако примечательно, что чем лучшим специалистом он становился, тем более сжималась его империя. Как только это происходило, личность оказывалась в чрезвычайно противоречивом положении. С одной стороны, в силу того, что он был буквально всемогущим хранителем информации, экспертных знаний и ответственности в небольшой сфере, его сотрудничество имело значение для тех, кто, хотя и в пределах их общей дисциплины, сами были экспертами в других узких сферах. Очевидно, что сотрудничество внутри всей группы и с обществом в целом было также весьма существенным для всего населения. С другой стороны, по мере расширения этих небольших сфер абсолютной ответственности, каждая личность еще более прочно обособливалась в ограничивающей ее клетке специальных знаний. Она неизбежно все более утрачивала силу в обществе в целом. Философы семнадцатого и восемнадцатого столетий полагали, что они закладывают основание для цивилизации, при которой наступит ренессанс личности. Результат был прямо противоположным.

Согласно нашей мифологии, общество подобно дереву, на котором растут и созревают плоды профессионального индивидуализма. Но более точным будет сравнение с коридорами лабиринта, где мы видим бесконечный ряд запертых дверей, каждая из которых ведет в небольшую клетку.

Здесь нет ничего удивительного. Хотя наша проблема уходит корнями в глубь четырех столетий, лишь к середине девятнадцатого века появилась и обрела свое современное содержание соответствующая терминология, которая описывает ситуацию. К примеру, «to specialize» (специализироваться) было старым глаголом, который по традиции использовался в том значении, в котором мы теперь его используем, когда

нужно что-то «to highlight» (выделить). Только в 1855 году закрепилось современное значение глагола: «сузить» или «усилить». Частично это изменилось, когда слово «specialization» (специализация) ввел в употребление в 1843 году Джон Стюарт Милль, а слово «specialist» (специалист) — в 1856 году Герберт Спенсер⁴.

После того как профессиональная этика формально вошла в язык, все вскоре поняли, что знание и опыт в том виде, в каком они применяются в рациональных обществах, подрывают индивидуальность, а не усиливают ее. Сами по себе стали появляться новые слова, которыми можно было выразить протест. Наиболее важное из них «individualisme» (индивидуализм) появилось сначала во французском, а затем в английском языке. По сути, это означало отказ от лексики, которой был окружен и заморожен профессионал. Индивидуализм был создан по принципу эгоцентрического чувства или поведения. Иными словами, росло убеждение, что единственный способ развивать индивидуальные качества — отвергнуть общество.

Слова Шарля Бонне, который первым дал определение современной личности и в 1760 году придумал термин «individualité» (индивидуальность), показывают, в какой степени с самого начала целью индивидуализма в рациональном обществе были неприятие общества и потакание своим слабостям: «Я — существо, которое чувствует и является разумным; желание комфортно чувствовать себя или существовать в удобных условиях, а также стремление любить самого себя является естественным для всех чувствующих и разумных существ»⁵.

Иными словами, если участие в общественной жизни подразумевает ослабление индивидуальности, то индивидуализму не остается ничего другого, кроме как основываться на отрешенности от ответственности. Столкнувшись с мощью цивилизации, привязанной к структуре, подлинная личность исчезает. Она отвергает рациональную мечту о мире, в котором каждый человек — специалист и, следовательно, является лишь частью человека. Чего личность не терпит, так это вовсе не того, чтобы ее превратили в клетку общественного

тела. Скорее всего, она не приемлет того, что каждая клетка не много знает о целом и, следовательно, может лишь слабо влиять на свои деяния. Судья Лернд Хенд, в то время дипломник Гарвардского университета, так говорил об этом современном недомогании, обращаясь к своим однокурсникам во время торжественной церемонии в 1893 году: «Цивилизация подразумевает специализацию, а специализация — это отказ от общих ценностей и создание фальшивых, то есть филистерство. Дикарь никогда не попадет в эти условия: все его ценности реальны, он обеспечивает свои собственные потребности и обнаруживает, что многое зависит от него самого, а не от сомнительных оценок других. Мы должны быть специалистами на практике; разделение труда предписывает нам знать что-то по одному предмету и немного по другим; так филистерство затыкает нам горло, хотим мы этого или нет»⁶.

Хенд провел всю свою жизнь в судейском кресле и всегда стремился к тому, чтобы его понимание морали и здравого смысла отражалось в выносимых им решениях. Он хотел донести свою собственную специализацию до всего мира. За это его уважали и считали величайшим судьей в Америке. И все же он не стал членом Верховного суда. Можно поспорить о том, что, несмотря на самые лучшие в мире устремления со стороны тех, кто занимает так называемые ответственные посты, системе всякий раз удастся обойти наградами тех, кто преуспевает в общении между ячейками, не уважая устоявшуюся структуру. В то время как судья Хенд и еще несколько других выдающихся людей призывали гражданина пренебрегать ограничениями, которые навязывает общество, не стоит ожидать, что каждый гражданин реально сохранит такой уровень индивидуализма. Все это верно и в отношении тех высоких общественных стандартов, которые установил Джефферсон. В идеальных условиях человек мог бы стремиться их достичь. Но претендовать на то, что всем нам это удастся, было бы чистым лицемерием.

Более понятная и привычная реакция — это защитная реакция гражданина-эксперта. Он пытается превратить свою тюремную клетку в крепость, возводя и укрепляя сте-

ны. Этот утепленный и укрепленный ящик может быть камерой, но может быть и связующим звеном с более крупными структурами, и поэтому он может быть полезен. Человек сам контролирует и регулирует функционирование своего ящика-ячейки. Сила человека как личности заключается в его способности сохранить свое понимание взаимодействия. Иными словами, «информация» является валютой общества, построенного на системах. Как только человек выдает свою информацию, он тратит свой капитал. Следовательно, он выдает ее с осторожностью. Он продает свою информацию, получая в обмен информацию от других. Когда ему угрожают, он отказывается от сотрудничества, например преувеличивая трудности либо выдумывая их; замедляя прохождение информации или же выдавая дезинформацию. Единственная реальная сила экспертных знаний — в их сохранении. Чем более самоуверенна личность, тем менее вероятно, что ей понадобится выбрать изолированный и хорошо защищенный ящик. Даже в этом случае, по словам Маршалла Маклюэна: «Специалист как таковой полон неуверенности. Он для того и специализируется, чтобы обрести хоть малую толику уверенности»⁷.

Одним из наиболее успешных достижений специалиста является то, что он может легко защитить свою территорию разработкой специализированного языка, непонятного неспециалистам. Настоящий терминологический бум за последние пятьдесят лет заставил западные языки пошатнуться. Распространено заблуждение, что большинство терминов имеет англоязычное происхождение. Это позволило многим приписывать разрушение обычных связей в обществах имперскому превосходству английского языка или, наоборот, невозможностью совершенствования таких языков, как немецкий, французский или испанский.

Но взрыв в лексике, произошедший благодаря специалистам, затронул в равной степени все западные языки. Одни лишь общественные науки заполонили французский, немецкий, итальянский и, конечно, английский языки бесчисленными диалектами. Вырванные специалистами из рук обще-

ства, тема за темой и профессия за профессией стали осознавать свою высокую роль.

Пример философии поистине комичен. Сократ, Декарт, Бэкон, Локк и Вольтер не писали на каком-то особом языке. Они писали на классических греческом, французском и английском языках, писали для обычного читателя своего времени. Их язык — ясный, красноречивый, а порой трогательный и забавный. Современный философ не пишет на классическом языке наших дней. Он не доступен публике. Что более странно, даже современный толкователь ранней философии пишет недоступным языком. Это означает, что почти каждый, у кого есть приличное, хотя и не университетское образование, может взять книги Бэкона или Декарта, Вольтера или Локка и читать их в свое удовольствие. Но даже выпускник университета сталкивается с большими трудностями, чтобы понять тех же мыслителей в изложении ведущих современных интеллектуалов, таких как Стюарт Гемпшир. Так с какой стати человек станет пробираться сквозь новодельный туман, которым зачем-то обволокли четкий и ясный оригинал? Ответить можно так: современные университеты используют эти толкования как путь специалиста к подлиннику. К умершим философам относятся так, будто они были дилетантами и без помощи и разъяснений экспертов их понять нельзя.

Новая специализированная терминология предприняла серьезную атаку на язык как средство взаимопонимания. Несомненно, сегодня все труднее преодолевать преграды между ячейками экспертов. К примеру, политологам и социологам все труднее понимать друг друга, даже когда они обсуждают один и тот же вопрос. Сомнительно, что политология и социология существуют сами по себе. Вдвойне сомнительно, что каждая из этих наук обладает реальным предметом исследований. Тем не менее, они заняли традиционные области, которые волнуют общество, и стали отгораживать эти области друг от друга и, разумеется, от публики. Стена между этими двумя мнимыми науками и экономическими науками становится все толще. Архитектор и историк искусства. Диалект каждого из них настолько обособлен и системы аргумента-

ции столь различны, что кажется, будто это — совершенно разные области, где говорят на разных языках. А если сравнивать язык этих двух экспертов с языком экономистов, то станет ясно: понимания между ними добиться невозможно. И тем не менее, собор Святого Петра был построен художниками.

Специалисты в одной области, например, немецкий антрополог и его коллега из Франции, гораздо лучше готовы к общению друг с другом, чем с менеджером, который говорит на родном языке любого из них. Поначалу можно предположить, что складывается некий замечательный международный язык. Вовсе нет. Эти новые диалекты не являются удачным дополнением к любому из наших языков. Они — риторика, используемая с целью усложнить понимание. Если когда-нибудь международная интеграция подтолкнет к кооперации специалистов, они сделают свой профессиональный язык еще более непонятным.

Специалист доказывает, что это не так. Он утверждает, что его расширенный язык соответствует расширенному пониманию в его области. Но это понимание распространяется только на его коллег в данной узкой сфере. Десять географов, которые думают, что Земля плоская, скорее всего, будут единомышленны в своем заблуждении. Если у них имеется какой-то особый диалект для общения, непосвященные просто не смогут опровергнуть их мнение. И только моряку под силу их переубедить. Меньше всего они хотят встретиться с тем, кто, будучи свободным от пут специальных знаний, совершил кругосветное путешествие.

Цель языка — общение. У него нет другой причины для существования. Великая цивилизация — та, что обладает богатой структурой, широтой и свободой в общении. Когда язык начинает мешать общению, это означает, что цивилизация близка к вырождению.

Такие препятствия для общения создают именно те, кому следовало бы посвятить себя его укреплению, т. е. университетские преподаватели. Они превратили университеты в храмы специальных знаний, потворствующие претензиям людей на исключительность. Морис Стронг не без основания

утверждает, что «лучшие возможности для междисциплинарных, линейных исследований, а также исследований на стыке областей знания существуют за пределами университетов». Американский историк Уильям Полк полагает, что университеты теперь нужно называть «мультиверситетами», поскольку подготовка в них является основой для разделения общества, а не поиском путей для его объединения⁸. Они — хранители западных интеллектуальных традиций — теперь изо всех сил препятствуют объединенному мышлению. Поскольку профессора обучают молодежь и оценивают текущие события, будь то в политике, искусстве или финансах, они превратились в официальных охранников ящиков, в которых живут образованные люди.

Из-за этой одержимости экспертизой обсуждение общественных дел на разумном уровне стало почти невозможным. Если инженер-мостостроитель не хочет, чтобы в его работу вмешивались посторонние, и инженер-атомщик чувствует то же самое, то вряд ли кто-то из них будет подвергать сомнению деятельность другого. Они точно знают, как вопросы любого неспециалиста будут рассматриваться специалистом: точно так же, как это стали бы делать они сами.

Когда они сталкиваются с вопросом извне, обычная практика — не давать ответа, а вместо этого отбить охоту и даже отпугнуть задающего вопрос, намекая, что он плохо информирован, неточен, поверхностен и, разумеется, слишком возбужден. Если спрашивающий находится на какой-то ступени иерархической лестницы, специалист, возможно, сочтет нужным ответить более осторожно. Например, он может выдать минимальную дозу информации, используя при этом почти непонятную лексику, и прибавить извинения за сложности понимания, намекая тем самым, что спрашивающий ничего, кроме этого, понять не сможет. А если дать ответ необходимо, но не обязательно проявить уважение, к примеру, если вопросы задает журналист или политический деятель, тогда специалист может выпустить струю непонятных данных, гася дискуссию, но делая вид, что он готов к сотрудничеству. И даже если кому-нибудь удастся разобраться в нагромождении непонятных сведений, то он будет вынужден

вступить в полемику с экспертом, и публика, которой он предполагает передать информацию, быстро потеряет к нему интерес. Иными словами, загоня назойливого чужака в его клетку, специалист сделает его бессильным.

Неуважение к гражданину, которое демонстрирует вся эта самозащита, построенная на исключительности, затушевывает тот факт, что и специалист является гражданином. Специалист присвоил себе право рассматривать свою область знаний как эксклюзивную территорию. Именно это, по их мнению, и делает их личностями.

Более того, они знают, что только верхушка среднего класса разрознена и изолирована по клеткам специализации. Основная же масса граждан — нет. Они также знают, что массы, хотя уже и не являются люмпен-пролетариатом или даже старомодным рабочим классом, тем не менее заняты работой и семьей. Эти десятки миллионов людей сохраняют традиционную веру в добрые намерения их рациональной элиты. Частично это проистекает из-за того, что у большинства людей нет времени на серьезные опросы своих специалистов. Даже если время на это найдется, они не владеют ни малопонятным словарем, ни пониманием замысловатых структур, необходимых для того, чтобы сделать это успешно. И даже если они станут упорствовать, риторические ответы экспертов — владельцев знаний — могут быть восприняты только как подтверждение их правоты.

Специалисты используют это доверие с открытым цинизмом напуганных мужчин. Отчасти их пугает то, что они сами утратили индивидуальность, когда их поработили структуры рационального общества. Население в своей массе, хотя и не было лишено свободы непосредственно этими структурами, полностью зависит от того, как управляется общество. Сравнительно небольшая доля населения достаточно богата, чтобы держаться в стороне и от тех, у кого меньше власти, и от менее образованных. Но и они зависимы — в той степени, до которой им что-то нужно от общества. Но это — то большинство среднего класса, которое прочно застряло внутри верхнего среднего, среднего среднего и нижнего среднего уровня.

Они — действующая элита, которая все равно должна зарабатывать себе на жизнь. Они — великое творение Века Разума, и даже если они не составляют большинство, то доминируют в западном обществе. Они являются заложниками своих собственных специальных знаний и в результате оказываются в еще более двусмысленном положении, когда речь идет о том, что им необходимо играть роль отдельных граждан.

На работе человек обязан выполнять свои функции, и это не позволяет ему высказывать свою точку зрения на область своей профессиональной деятельности. Кроме того, он не высказывается о сфере профессиональной деятельности других людей. В конце концов, цель структуры — спокойная работа, а не критика общества. Желание специалиста избежать критики из-за пределов своей клетки, в свою очередь, удерживает его от критики других. Покидая свой офис/работу в конце дня, он становится теоретически свободным. На самом деле, если бы он позволил себе независимые публичные высказывания о своей профессиональной сфере в свободное время, возникли бы серьезные проблемы с системой, которая дала ему работу. Такие высказывания были бы расценены как форма измены. Во многих случаях в договоре найма специально оговаривается, что сотрудник не вправе без предварительного согласия руководства внедряться в область своей профессиональной деятельности во вне рабочее время. У его работодателя есть исключительное право на использование его знаний. Собственно говоря, принятый на работу специалист не имеет никаких прав, кроме права на смену работодателя. Не следует считать это особо важным правом, особенно учитывая то, что любая попытка высказаться в качестве независимого эксперта создаст ему репутацию «трудного человека», что на практике лишит его возможности получить работу в другом месте.

Вот что мы имеем в итоге: образованный, в меру процветающий, неплохо устроенный средний класс, который отлично контролируется или сам себя контролирует, когда речь заходит об основных гражданских обязанностях представителя этого класса. Явное исключение из этого — право участвовать в тайном голосовании. С другой стороны, ломка

традиционных ограничений общества, включая наиболее интегрированные религиозные и общественные убеждения, позволяет всем представителям этого огромного среднего класса использовать свободное время по своему усмотрению при условии, что этим не создаются помехи функционированию системы. Они также совершенно вольны тратить свои деньги по своему усмотрению, опять-таки, если этим они не бросают вызов структуре.

Для среднего класса было крайне важно избавиться от чувства страшного разочарования в своей тихой, управляемой реальной жизни, жизни в клетке. Свободное время и деньги они использовали, чтобы дать выход своим чувствам, пользуясь мнимыми свободами в качестве компенсации за то, что фактически пребывали в смиренной рубашке. Это то, что мы теперь называем индивидуализмом, купаясь в воображаемой самодостаточности.

Но для нынешнего среднего класса позор куда страшнее, чем разочарование. Людям необходимо забыть, что реальные силы личности были кастрированы их собственными профессиональными знаниями. Эту амнезию можно выработать, если только внушить себе, что поверхностные проявления индивидуализма тоже что-то значат.

При прежних деспотических режимах демонстративный неконформизм рассматривался как угроза интересам режима. За такое преступление могли и казнить. В демократических странах двадцатого века таких страшных преступлений не много. Наоборот, демонстративный неконформизм считается проявлением безответственности и непрофессионализма, а ответственный гражданин никогда не захочет, чтобы его обвинили в подобных грехах. Ведь тем самым он поставит под угрозу безопасность существования внутри своей клетки. Но мужчины, а теперь и женщины среднего класса являются продуктами образовательной и общественной системы, которая подсказывает им, что для успешной жизни им необходимо проникнуть в клетку профессионализма, оккупировать в ней как можно больше места и занимать его как можно дольше. Вполне логично, что немногие пойдут на риск утраты того, что уже обречено.

Эта боязнь совершить безответственный поступок намертво подавила в образованных гражданах желание участвовать в общественных дебатах.

В то же время поверхностный, скрытый нонконформизм никак не влияет на наши рациональные структуры. Вопросы о моральной стороне поступков и о физическом облике человека становятся все менее существенными; их считают либо формой оправданного самовыражения, либо, наоборот, подходящим поводом для организации публичного обсуждения. В любом случае это — безобидные отдушины. С победой такого мелкого нонконформизма гражданин-профессионал превращается в послушного шизофреника, прилежного и управляемого в пределах его клетки; но как только он покидает ее, то становится раскованным и, по возможности, оригинальным, порой любящим поспорить, порой — повеселиться, но всегда в поисках счастья. По крайней мере, так это выглядит в теории.

Слово «счастье» очень часто звучало в ранних спорах о разуме. Возможно, самая важная апелляция к нему вошла в Декларацию независимости США. Мы знаем, что имел в виду автор, когда писал: «Они [все мужчины] наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Эти идеи Джефферсон упорно пропагандировал в течение последующих сорока пяти лет.

И в этом он не был одинок. Трудно назвать слово, которое распространялось бы от философа к философу с большей скоростью. По мере медленного умирания Бога, распятого на структурном кресте рационального государства, появлялось *счастье*, чтобы стать одним из новых божеств цивилизации, которая обращалась в конфессию неосознанного светского политеизма.

Однако сегодняшнее значение слова «счастье» не имеет ничего общего с тем, что имел в виду Джефферсон или другие рациональные лидеры. Их счастье заключалось, прежде всего, в повседневном создании основных материальных удобств, хотя и не в современном приземленном смысле. Для

них создание «материального комфорта» означало практическое устройство хорошо организованного, процветающего общества. Джефферсон писал для людей, продолжавших борьбу с еще не покоренным континентом, для людей, прекрасно помнивших нужду и религиозные притеснения, которым их подвергали в Европе. В его Декларации подразумевалось, что, добиваясь стабильного и организованного благоденствия, они создавали бы и рациональную удовлетворенность. Счастье было тем же, что благо, польза — *public weal* (общественное благо), и *le bien public* (общественная польза).

В источниках, которыми пользовался он и другие, писавшие о счастье, все было вполне ясно. К примеру, Монтескьё, «Персидские письма», 1721 год: «Каждому дано делать добро другому; а содействовать счастью целого общества значит уподобиться богам». За четверть века до американской революции Вольтер в своей поэме о землетрясении в Лиссабоне в 1755 году, одном из поворотных пунктов в западных воззрениях, писал: «И в этом хаосе стремитесь вы создать, / Все беды, сочетав, в единстве, благодать»⁹. В то время как люди умирали десятками тысяч, он, скорее всего, имел в виду не будущее, заполненное напудренными париками и пышными балами, а горячее водоснабжение и площадки для игры в сквош. «Соль» мысли Вольтера вовсе не в утверждении неотъемлемого права всех и каждого на ношение джинсов.

Джефферсон продолжал заниматься этим вопросом еще почти полвека после написания Декларации независимости. В 1823 году он писал Кораю, одному из великих исследователей Древней Греции и поборнику освобождения тогдашней Греции: «Равные права человека и счастье каждой личности теперь признаются единственными законными целями правительства».

Слово «счастье» можно заменить словосочетанием «благоденствие для всех», подразумевающим материальное благосостояние, свободу от деспотического контроля и право на такие вещи, как образование. Далее он пишет, что «единственным инструментом», которым равные права и счастье могут быть «обеспечены, [является] правительство, состоящее из людей, действующих не по личному усмотре-

нию, а в качестве представителей, избранных самим народом»¹⁰. Счастье было материальной и моральной потребностью, а не бесконечным викторианским Рождеством в компании мудрого психолога-аналитика. В 1825 году Ной Уэбстер опубликовал свой первый словарь американского языка. Его определение счастья начиналось так: «приятные ощущения, испытываемые от наслаждения добром». Ясно, что здесь речь идет не о мягких, облегающих наколенниках для изнеженного садовника, которые называются «Счастье»¹¹.

И все же компания «Happiness», выпускающая упомянутые наколенники, ближе к сегодняшнему значению этого слова «счастье», чем к дефинициям, которые давали Джефферсон или Вольтер. Посмотрите на аргументацию Чарльза Муррея, влиятельного американского экономиста из «новых правых». В контексте дискуссии о «поисках счастья и хорошего правительства», он использует стремление к счастью как аргумент, чтобы принизить роль правительства: «До настоящего времени [успехом в социальной политике] считался рост уровня жизни людей выше уровня бедности или усиление равенства. То, что нам действительно нужно [сейчас], так это подход, который позволит добиться счастья для людей»¹². Это понятие настолько изменилось по сравнению с тем, что имели в виду Монтескьё и Джефферсон, что теперь оно имеет прямо противоположное значение. Понимание счастья, по Муррею, сходно с пониманием счастья стареющей куртизанкой в конце восемнадцатого века. Теперь счастье больше относится к личности, нежели к стране или обществу, в котором человек живет. Фактически поиски счастья стали бегством из государства, состоящего из людей, подобно тому как индивидуальность покинула власть и позволила структурам современного общества подобрать ее, в то время как индивидуум отходит в сторону, чтобы потакать удовольствиям личности. Первейшее желание современной индивидуальности — создать впечатление выбора и смелости. Таким образом, мужчины и женщины искренне надеются на самовыражение через такие поверхностные понятия, как образ жизни и самодостаточность. Это потворство своим желаниям оплодотворено мифами, пустословием и даже одеждой,

которые восходят к великим романтическим мятежникам последних двух веков.

Почти все варианты ранних мятежников: Гёте, Байрон, Констан де Ребек, Лермонтов — до сих пор в ходу. Мистики — от Блейка до Ницше — никогда не были столь востребованы. Их в большей или меньшей степени далекие потомки предлагали или предлагают гораздо больший выбор: от Рембо, Лоуренса Аравийского, Д'Аннунцио, Евы Перон, Гарбо и Хемингуэя до Бориса Виана, Джеймса Дина, Че Гевары, Жерара Филипа и Мэрилин Монро. Каждый из них способствует разнообразию наших индивидуальных пристрастий к различным стилям. Большинство из них умерли молодыми и тем самым сохранили свою физическую красоту. Кроме того, они были в каком-то смысле мучениками, позиционировавшими себя как бескомпромиссных индивидуумов. Некоторые жили дольше и погибли от алкоголизма, наркотиков или в результате суицида.

От этих романтических жертв — Героев индивидуализма — веет духом мятежа. Но если приглядеться к современному образу жизни, который базируется на мифологии мятежа, то в их последователях сразу же обнаружится стопроцентный конформизм.

Рассмотрим такой пустяк, как реклама часов марки Rado. На этой рекламе изображен высокий элегантный человек в темном костюме, который заговорщически, с призывом смотрит на читателя¹³. Вокруг него — гипсовые манекены в человеческий рост. Они похожи на призраков. Это сопровождается текстом: «Вы не вмещаетесь в форму. А как насчет ваших часов? Вы не попали бы туда, где находитесь, следуя за толпой. Мы тоже». Вы рассматриваете фото. Реальный человек выглядит не слишком интересно. Он так похож на гипсовые манекены, как будто они с него же и отлиты. Вот на фото часы крупным планом. Выглядят прекрасно; как любой старый добрый хронометр. Вам будет нелегко отыскать их в куче других часов. Дело не в том, что в рекламе содержится ложь. Просто слова прямо противоречат изображению. И это противоречие не утаивают. Для рекламы это очевидно и существенно.

Это не ошибка и не исключение. И даже не трюк. Это просто отражение индивидуализма как мечты, в отличие от конформизма как реальности. Мы переняли привычку маленьких мальчиков, лежа в постели, воображать, что они пираты, и превратили это в формальную часть взрослого общества.

Современный интеллектual стремится игнорировать рекламу и поп-культуру — как очевидную циничную манипуляцию или просто как пустяк по сравнению с такими важными вещами, как рыночная экономика, марксизм или демократия. Но в нашем обществе вы не можете обходиться без того, что люди носят, едят, на что они тратят свое время или миллиарды долларов. Рекламе стала маловата одежда маргинальной торговли всякими мелочами, и она переделась в более прочную, богатую униформу для общения.

В течение десятилетий введется тотальная война между двумя напитками почти одинакового вкуса: «кока-колой» и «пепси-колой». Сотни миллионов ушло на финансирование этой войны. Гораздо важнее, чтобы люди тратили миллиарды на эти товары. Оба напитка сулят нам одно и то же: молодость, свободу, физические подвиги, прекрасное времяпрепровождение в кругу девушек или, по желанию, мальчиков. Во многих регионах Третьего мира их также наделяют свойствами, абсолютно необходимыми для окончательной победы политических свобод над диктатурой. Кока, например, стала небольшим талисманом, который обещает свободу, деньги и расцвет индивидуализма на Западе.

Ясно, что мы говорим не о самих напитках. Мы имеем в виду, что люди хотят думать о самих себе. В конце концов, вряд ли вы можете претендовать на свободу духа и экзистенциальный индивидуализм на том основании, что вы употребляете тот же самый напиток, что и три миллиарда людей. Это — конформизм, а не нонконформизм.

То же можно сказать о миллионах поедаемых ежедневно во всем мире гамбургеров от «Макдоналдс». Ясно, что эта современная сказка об успехе не имеет ничего общего с продажей наилучшего гамбургера. Одного взгляда на невзрачные серые булочки достаточно, чтобы исключить такую возмож-

ность. Стоит лишь раз попробовать подобную «еду», как станет ясно, что начинка почти не отличается от мягкой безвкусной, залитой липким кетчупом булочки. И все это очень щедро подслащено. Это — не хороший гамбургер. Поэтому «Макдоналдс» никогда не считался самым вкусным из гамбургеров. Подход корпорации состоит в том, чтобы лишить людей возможности выбора. Сам Мак Макдоналд разъяснил, что он лишает людей свободы выбора: «Если вы предоставите людям выбор — наступит хаос»¹⁴.

И тем не менее, на каком-то уровне, сознательно или неосознанно, люди были убеждены, что, посещая «Макдоналдс» и съедая «бигмак», они демонстрируют своего рода индивидуализм — тот индивидуализм, который отрицает социальные условности среднего класса. Им не нужно снимать верхнюю одежду и есть приличную, не говоря уже о хорошей, пищу. Можно есть не с тарелки и не протирать стол, не мыть посуду, не иметь дело с каким-то напыщенным официантом, не обязательно поддерживать беседу и сидеть прямо и неподвижно. Даже присаживаться за стол не обязательно. Есть в «Макдоналдсе» и пить коку — это же акты нонконформизма, и десятки миллионов людей каждый день делают именно это.

Воплощение идеи нонконформистского индивидуализма через абсолютное и массовое единообразие — джинсы. История хлопчатобумажных брюк удивительна. Первоначально их носили только как практичную рабочую одежду, но ковбой — последние из мифических индивидуалистов Запада — приспособили их под свою рабочую униформу. Грубая ткань и темно-синий цвет точно соответствуют традиционной повсеместной одежде рабочего класса, так что джинсы в каком-то смысле выступают в качестве фрондерского ответа индивидуалиста на классовый подход социализма или коммунизма. Как только их стали носить несколько современных героев-мучеников, таких, к примеру, как Джеймс Дин, из рабочей одежды они легко трансформировались в униформу мятежной молодежи среднего класса.

Джинсы стали символом нонконформизма. Носить их значило не носить костюмы, галстуки и платья; не работать в учреждениях и не служить в армии. Носить джинсы означало

бунтовать. И когда в начале 1970-х этот бунт выдохся, джинсы сохранились как революционный символ. Осажденные представители элиты признали, что, скользя в эти магические брюки, они тоже могли бы выглядеть нонконформистами. Внезапно все: премьер-министры, секретари кабинета и министры, президенты компаний и звезды оперы — стали ходить в джинсах. Джимми Картер стал первым американским президентом, который присоединился к моде, используя джинсы как символ своей личности. Консерватора, жесткого технократа и дважды премьер-министра Франции Жака Ширака сфотографировали для журнала «Paris-Match» прогуливающимся в джинсах за пределами своего дворца. Получалось так, будто у него всего лишь два комплекта одежды: серый будничный костюм и будничные джинсы.

Тот факт, что к тому времени больше людей носили джинсы, чем костюмы, по всей видимости, не влиял на мифологию, связанную с тем или другим. Богатые люди, с их чувством иронии или отсутствием таковой, стали носить «джинсу» с норкой. Или в «дениме» садиться за руль своего Rolls Royce. Казалось менее элитарным, если владелец автомобиля за сто тысяч долларов управлял им в рабочих брюках за двадцатку.

В какой-то момент эти безвредные брюки перестали быть великим символом нонконформизма и стали величайшим доступным символом безликого конформизма. Костюм и галстук никогда не были униформой. Они только выполняли определенную экономическую и социальную функцию. И сами костюмы различались от класса к классу и от страны к стране. Но синие джинсы становились символом абсолютной схожести, независимо от класса и страны. Кроме того, они стали раем для рекламщика, который мог апеллировать к любой мечте о нонконформизме, любой мечте вообще, и тем не менее продавать те же самые старые товары.

Например, реклама итальянских джинсов «Forenza»: «Совсем никудышные, тем и хороши». На фото представлена красивая скромная девушка, одетая в поношенные выцветшие бесформенные джинсы. Прототип этого образа — уже не ковбой, а босяк или мусорщик, который так одевался еще до того,

как была введена муниципальная униформа. Крупный французский банк *Banque Nationale de Paris* предлагает открывать специальные счета для детей — «джинсовые счета». Что может быть более удобным, чем счет в сбербанке? Поразительно искажая последние тридцать лет жизни общества, они рекламируют этот счет с помощью фотографии юноши, одетого выше талии как должностное лицо, а ниже талии — в джинсы. Рекламная кампания джинсов «*Calvin Klein*» нацелена на гомосексуалистов. Джинсы «*Esprit*» рекламируются отдельными фотографиями двух молодых женщин. Одна — соблазнительная толстушка. Другая — в бергмановском стиле, невозмутимая. Под толстушкой текст: «Кара Шанше, Беркли, Калифорния, 23 года, изучает английскую литературу, работает официанткой на полставки, активистка антирасистского движения, пробует заниматься виндсерфингом, подруга далай-ламы». А под фотографией более изящной девушки: «Ариэль О’Доннел, Сан-Франциско, 21 год, официантка/барменша, не дипломированный консультант по СПИДу, велосипедистка, учится на реставратора, англофилка, неофеминистка». Эти два описания вбирают в себя эклектическое собрание модных, гуманитарных и оригинальных занятий, чтобы создать впечатление индивидуализма. Есть также джинсы «*Buffalo*» для садомазохистов. Поскольку на рекламе «*Buffalo*» изображены те, кого называют решительными женщинами, то покупатель может отождествлять себя либо с девушкой, приходящей в восторг от наказания, либо с подразумеваемым истязателем — специалистом по узлам, предположительно мужчиной, предположительно также носящим джинсы. Что касается настоящих джинсов «*Levi’s*», то в них мужчина или женщина может почувствовать себя просто индивидуалистом без интеллектуальных или психиатрических ярлыков.

Даже глупейшие явления становятся значимыми, когда они приобретают такие экономические и общественные масштабы. Продавцы модной одежды серьезно задумывались над противоречием в соответствии или несоответствии своих товаров. Джинсы «*Esprit*» дали этой проблеме новую грандиозную трактовку индивидуализма. Их реклама включала следующее философское утверждение: «Поскольку деним и

джинсовая одежда сегодня уравнивают всех членов общества, вам не обязательно носить что-то из шелка и атласа, чтобы быть элегантным. Забавно, но элегантность стала теперь антимодной и антироскошной. А эта, новая элегантность стала способом упразднения различий между классами. Благодаря вашему стилю и вашим способностям она позволит вам то, чего вы раньше не могли себе позволить. Теперь необязательно быть богатым, чтобы выглядеть элегантно».

Никогда прежде столь четко не формулировалась современная идея нонконформизма, выраженная через агрессивный конформизм. Можно только сожалеть, что за такую софистику не было выдано солидного вознаграждения.

Эта сознательная подмена понятий, разумеется, не ограничивается джинсами. Даже милосердие стало модой. Стандартная фраза: «милосердие по вашему выбору» — все больше и больше превращается в милосердие на определенный срок. Трагические случаи теперь часто происходят во многих странах разных континентов, привлекая всеобщее внимание на несколько недель или месяцев.

Когда тяжелое положение беженцев с Кубы и Гаити волновало умы и чувства людей Запада, они не могли думать ни о чем другом. Та проблема не была решена. И при этом поток беженцев не прекращался. Но такое эмоциональное напряжение не может надолго концентрироваться на какой-то одной трагедии. Мода и стиль всегда в движении. Остановиться значит предоставить выбор. А выбор, как предупреждал Мак Макдоналд, порождает хаос. Поэтому мы движемся дальше и закрываем глаза на «людей лодок», чтобы переключить внимание и сопереживать трагедию голодающих эфиопов. Они все еще голодают, но мы уже переадресовали свое сердечное сочувствие жертвам СПИДа, поскольку наше внимание привлекли огромные гонорары звезд на благотворительных концертах. Эта акция была внезапно прервана всеобщим сочувствием бедственному положению курдов, страдавших в течение целого столетия, о чем мы раньше почему-то не вспоминали, и продолжающих страдать и в наши дни. Наше конформистское великодушие уже переключилось на что-то другое.

Туризм, возможно, стал самым популярным средством, позволяющим индивидууму ощутить, что он вышел за пределы нормы, но при этом продолжает двигаться в общем для всех направлении. Международная круговерть самолетов, гостиниц, руин, народных танцев, экзотической кухни и национальной одежды создала поистине вселенский Диснейленд искусственной экзотики. На Гавайях на склоне черной вулканической горы, словно бы взятой из лунного пейзажа, за 360 миллионов долларов был построен отель Hyatt Regency Waikoloa. В этой роскошной гостинице 1241 номер, гостей доставляют морем. Хотя капитан делает вид, что управляет судном, на самом деле оно катится на колесах по дну лагуны. Постояльцы могут поохотиться на кабанов или фазанов, участвовать в автогонках, пообедать в старом дворце, на вертолете слетать в жерло вулкана или устроить пикник на природе. Можно также поплавать (по предварительной записи) с дельфинами в бассейне гостиницы либо предпринять еще что-нибудь, что подскажет ваша фантазия¹⁵.

Владельцы гостиницы правильно просчитали широко распространенную и острую потребность людей любой ценой испытать экстремальное приключение, при условии, что оно хорошо организовано и вся ответственность ложится на организатора. Человеку кажется, будто он попал в страну сказок, но на самом деле это помесь Диснейленда с борделем из «Балкона» Жана Жене. Это — логичное продолжение клубного отдыха, курорта с минеральными водами и туризма по путевкам. Это также прекрасная метафора современного индивидуализма.

Одна из немногих радикальных вещей, которую представители современного среднего класса, независимо от социальной структуры, будь то мужчины или женщины, могут себе позволить, это — изменить свое тело. Недавнее исследование показывает, что 54 процента американских мужчин и 75 процентов женщин озабочены своей внешностью¹⁶. Точнее говоря, они, по сути дела, готовы радикально изменить свою внешность, что подтверждается различными исследованиями и опросами. Например:

<i>Хотели бы изменить</i>	<i>Мужчины (%)</i>	<i>Женщины (%)</i>
Вес	56	78
Волосы	36	35
Рост	34	28
Убрать признаки старения	27	48
Нос	19	21
Зубы	36	37
Ноги	—	34
Грудь	—	32
Ступни	—	18

При наличии денег и времени легко изменить семь из девяти названных позиций. Многие уже это сделали. Здесь мы имеем дело не просто с истерией и потворством своим прихотям представителями среднего класса. Изменять свое тело, особенно изменять индивидуальные особенности, укорачивая носы, пересаживая волосы на лысеющие черепа или отсасывая целлюлит, означает совершение в высшей степени индивидуалистского акта. И не так уж важно, что подобные процедуры не удовлетворят человека и не изменят отношения к нему окружающих. Та степень, с которой человек концентрируется на себе, в надежде обрести дополнительную силу, наводит на некоторые размышления.

Акт изменения индивидуальных черт нашего тела (в отличие от их маскировки) относится к тому же виду действий, что и самоубийство. Существует целое направление в философии, которое рассматривает самоубийство в качестве высшего акта индивидуализма. Выбрать нос пуговкой вместо гордого орлиного профиля, конечно, не такое экстремальное действие, но оно находится в том же самом русле. Одновременно это — побочный результат технических достижений разума. Тот же доктор, который, опираясь на столетний опыт медицины, восстановит обожженное лицо или зашьет заячью губу, будет, вероятно, вознагражден большей суммой денег, если примется удовлетворять бесчисленные мечты по изменению тела.

Человек, как крыса, может приспособиться к любым условиям и всегда реагирует на изменения. Впервые в истории человечества мы способны изменить свое тело. Также — впервые в истории — секс отделен от его функции, благодаря несметному количеству противозачаточных средств. Благодаря этому совокупление стало для человека еще одной безопасной областью проявления независимости от структуры. Взрыв венерических заболеваний, а также СПИДа является отдельной проблемой. В конце концов, сексуальные эксперименты никоим образом не влияют на административные системы, кроме дополнительных финансовых затрат. Можно даже решиться на самый крайний эксперимент и изменить пол, но и это не окажет неблагоприятного влияния на карьеру человека. Во всеобщем сексуальном взрыве интересно не то, что общество разрешает слишком много, но что очень много человеческих ожиданий и так много человеческой энергии должно быть направлено в эту сферу в поисках удовлетворения, которого человек не получает в общественной сфере.

И при всей нашей сосредоточенности на романтизме и эротике, вовсе не факт, что ныне количество оргазмов на душу населения стало больше, чем триста или шестьсот лет назад. Следует учесть, что раньше люди женились в возрасте до двадцати лет и раньше начинали половую жизнь, именно тогда, когда у человека максимальное стремление к сексу. Кроме того, рациональное общество развило у людей эмоционально-физическое состояние, называемое стрессом, превратившееся в важнейшую характеристику людей, занимающих то, что называют ответственным положением. То есть тех людей, которые занимают ниши в структурах. Можно спорить, являются ли причиной стресса работа или мнимая ответственность, но, несомненно, ему способствует, во-первых, потеря контроля над своими действиями, которая появляется, когда человек становится частью структуры. Во-вторых, ему способствуют усилия при создании и поддержании атмосферы секретности вокруг себя. И в-третьих, его стимулируют мысли о том, какие шаги будут предпринимать скрытые люди в смежных отсеках. Исследования показыва-

ют, что стресс — одна из главных причин импотенции. Учитывая массовость современного среднего класса и его активность в структурах, справедливо предположить, что о сексе больше говорят, чем получают реальных оргазмов.

Но некоторые вещи неоспоримы. Количество сексуальных партнеров выросло по сравнению с девятнадцатым и началом двадцатого века, чего нельзя сказать о семнадцатом и восемнадцатом веках. Секс в обществе, конечно, стал упоминаться чаще. Кроме того, люди чаще стали мечтать — мечтать о великолепной эрекции, о совокуплениях, о совершенствовании сексуального мастерства, страсти, обладании и, разумеется, о вечной идиллии. Эти мечты заняли столько места в воображении, в беседах и в изображениях, что невозможно даже и подсчитать его в процентах.

Но на практике приходится иметь дело с реальными сексуальными органами. И хотя можно предположить, что большее число женщин теперь получает большее удовлетворение от полового акта, по сравнению с тем, что ранее считалось нормой, со смертью Бога половые органы вовсе не изменились. Не изменились они ни со времен Реформации, ни со времен падения Римской империи. Но воображение, однажды сосредоточившееся в том направлении, мечтает о бесконечных возможностях. Прежде наше воображение в значительной мере было занято вопросами религиозного и социального характера. Ныне эти вопросы не занимают наше воображение, оно почти полностью сконцентрировано на получении наслаждения для самого себя. Это не означает, что прежде не было романтических мечтаний, равно как и фантазий сексуального удовлетворения или даже порнографии. Они присутствовали всегда. Но не в таких количествах.

Когда в восемнадцатом столетии начались раскопки города Помпеи, и публика познакомилась с безнравственными росписями, был дан толчок порнографии. самого слова не существовало до середины девятнадцатого столетия¹⁷. На английском языке выражение «порнографический автор» появилось в 1850 году, «порнография» — в 1864 году и «порнографический» — в 1880 году, то есть одновременно со словами «специализация» и «специалист», «индивидуализм» и

«индивидуалист». Еще в пятнадцатом столетии появился итальянский сатирик по имени Пьетро Аретино, который писал на грани порнографии. Клеланд издал его произведения, которые были признаны более эротичными, чем откровенная «Фанни Хилл», написанная в 1748 году. Ретиф де Ла Бретонн блуждал по злачным местам Парижа восемнадцатого века, после чего написал откровенные романы. В том же веке были написаны мемуары Казановы, которые появились на рынке в 1826 году, спустя почти три десятилетия после его смерти. Все четыре автора были пионерами в этой области. Настоящей порнографии не существовало до начала девятнадцатого столетия.

Неожиданно половой акт захватил людское воображение, включая размеры, звуки, эффекты, количество, влажность и важность. Наступил расцвет эротической литературы. «Похотливый турок» (1828), «Роза Филдинг, или Жертва похоти» (1876), «Любовные опыты хирурга» (1881) и опубликованные в конце столетия удивительные мемуары в одиннадцати томах «Тайная жизнь»¹⁸. Поток подобной литературы ширился, пока, наконец, в двадцатом столетии не были приняты юридические ограничения. Сексуальный акт был признан обществом сугубо частным делом, и было подчеркнуто разделение интересов личности и государственных структур. Это было преподнесено как торжество прав личности. Но это также было оценено как признание обществом того факта, что власть не может регулировать поведение индивидуума.

В Средневековье человек постоянно мечтал о превращении неблагородных металлов в золото, а героев картин в бессмертные образы. Но энергия, которую он потратил на воображение оргазма в течение последних ста лет, намного превосходит эти мечты. Если бы Маркс жил сегодня, он бы, вероятно, заявил, что воображаемый секс — опиум народа.

Сейчас повсюду вокруг нас — имитация мягкого и жесткого порно: непристойная реклама, серьезные фильмы и романы с обязательными чувственными сценами, книги с практическими рекомендациями для улучшения секса, или большей любви, или более длинной любви и сексуального удовлетворения, книги по подбору правильного партнера пу-

тем оценки физических типов или по цветовым диаграммам, или по астрологическому прогнозу. Популярная мифология нового, осторожного века эпидемии СПИДа утверждает, что все это уже в прошлом. Но самый поверхностный обзор фильмов, журналов и книг показывает, что по мере роста страха перед реальным сексом ширится использование непристойных изображений.

В основе бесконечных мечтаний и обсуждений физиологического акта лежит незатейливая мысль о том, что опытность в сексуальной сфере ведет к житейской искушенности и, таким образом, способствует самоутверждению. Это — забавное предположение, но не более того. В большинстве стран Третьего мира подростки — девочки и мальчики — являются большими профессионалами в области секса. Но их опыт в этой области на Западе выставляется как доказательство недостатка независимости. Более того, везде, за исключением среднего класса Запада, заикленность на вопросах секса не считается признаком самоутверждения, скорее наоборот. История свидетельствует, что, помимо всего прочего, секс — это область манипуляции, принуждения и контроля. Представитель среднего класса Запада может утверждать, что сексуальная революция покончила с этим, но мысли о том, что достижения в области секса являются важнейшим показателем самоутверждения личности, относятся больше к романтической комедии, чем к реальному миру. Возможно, самое странное в этих взглядах — идея о том, что сексуальный опыт или большие познания в этой области приносят искушенность. Секс включает в себя многое: потребность, желания, эмоции, снятие напряжения, но все это не имеет отношения к житейской мирской изощренности, воспитанию характера или даже экзистенциальной активности.

Секс как таковой является самым серьезным препятствием для тех, кто хочет освободиться и действовать как личность. Не случайно большинство экзистенциальных героев-мучеников, в которых рациональное общество видело воплощение своей индивидуалистической мечты, были либо асексуальны, либо их сексуальная жизнь была полна катастроф. На первый взгляд, это плохо согласуется с нашими идеями

по поводу сексуальной озабоченности. Но в таком случае мы не можем говорить об успешном утверждении ответственного индивидуализма в реальном мире. Мы создаем приватные мечты, которые компенсируют разрушение личности и кастрацию ее роли в жизни общества.

Маршалл Маклюэн был убежден, что одно из объяснений роста насилия в нашем обществе заключается в потере самоидентификации, которая внезапно обрушилась на западного человека: «[Такое] ограбление его личного «я» стало источником страшного гнева». Ограбление, о котором он писал, не имело ничего общего с борьбой частного предприятия против правительства, или борьбой отдельного индивидуума против правительства, или отдельной личности против частного предприятия. Скорее всего, оно — результат общего структурного явления, которое затрагивает каждую из этих областей.

Но что является причиной гнева, который описывает Маклюэн: потеря личной или гражданской идентичности? Как представляется, он имел в виду второе: «Существует два вида насилия в одной и той же ситуации: первое, проистекающее от недооценки важности каждого человека; и второе, которое происходит от стремления восстановить личную значимость насильственными действиями»¹⁹. В первом случае речь идет об утрате гражданской идентичности, то есть об утрате реальных личных прав. Второй относится к категории навязчивых сексуальных мечтаний и физической удовлетворенности. Насилие — это попытка сделать публичное заявление частными средствами. Это всегда было признаком разочарования из-за бессилия общества.

На Западе повсеместно отмечается устойчивый рост количества преступлений против личности: сексуального насилия в отношении детей, изнасилований, избиений жен и так далее. И дело вовсе не в том, что улучшена полицейская отчетность.

Недавний опрос студентов американских университетов показал, что 51 процент опрошенных изнасиловали бы женщину, если бы после этого они смогли избежать неприятностей²⁰. Этому есть несколько возможных объяснений. Одно из

них состоит в том, что у этих представителей среднего класса, двадцатилетних мужчин, уже сломана индивидуальность, и она формируется заново, чтобы успешнее втиснуться в структуру. Им постоянно твердят, что они получили шанс стать свободными и привилегированными. Они существуют в окружении изображений и слов, которые укрепляют их веру в себя, в то, что у них замечательные тела, что они способны соблазнять. В душе-то они сознают, что они вовсе не супермены и уж совсем не Казановы. Вдобавок ко всему, они знают, что ожидания женщины должны быть удовлетворены. По правде говоря, они даже не верят в свои возможности. Неудивительно, что изнасилование представляется им простым выражением личной, не притесненной индивидуальности. Банально, но это — способ отомстить за то, что сотворила с насильником система.

Положению женщины также не позавидуешь. Возможно, впервые за всю историю у нее появилось общее восприятие себя самостоятельной человеческой личностью, а не приложением к мужчине. Эта уверенность в себе возбуждает женщину и побуждает стремиться к успеху. В результате она тится попасть в систему. Она не имеет ясного представления о том, что система сделает с ней. Она сфокусирована на своем прошлом и на том, что мужчины делали с женщинами, а не на мужской структуре и на том, что структура делает с мужчинами. Энтузиазм побуждает ее больше работать и, как правило, выполнять работу лучше, чем средний мужчина. В результате талантливая женщина становится эффективным защитником системы, которая так кастрировала мужчину и поэтому косвенно ответственна за сопротивление мужчины возрастанию роли женщины.

В то же время более молодая женщина воспринимает молодого мужчину, скорее, как союзника. Как и на него, на нее воздействует бесконечная риторика о новом договоре между полами. И появляются конкретные доказательства справедливости подобной риторики. Но в реальности происходит дуэль между травмированным, заморенным голодом, одичавшим самцом, ветераном рациональной войны, и неопытной, идеалистичной, наивной самкой-добровольцем.

Насилие — часть той же проблемы, что и пластическая подтяжка кожи лица и суицид. Насилие направлено против кого-то другого, но, совершая его, человек рискует собой. А риск собой — последний крик души человека. В этом смысле он не очень отличается от западного политического террориста. Они оба разрушают и, рискуя собой, тоже готовы погибнуть.

Первая волна нигилистов, анархистов и революционеров появилась во второй половине девятнадцатого столетия. С 1900 по 1914 год, к моменту, когда были застрелены эрцгерцог Франц-Фердинанд и его жена, на Западе по политическим мотивам было убито множество людей: четыре короля, одна королева, наследный принц, российский великий князь, три президента и шесть премьер-министров.

Пресса тех дней была заполнена сообщениями о террористах. Все только их и обсуждали. Чаще всего речь шла о молодых, образованных выходцах из среднего класса, считавших своим долгом убить и почти неизбежно поплатиться за это своей жизнью. Когда эрцгерцог Фердинанд ехал по набережной в Сараево, команда из шести убийц поджидала его в толпе, рассредоточившись на расстоянии 350 метров друг от друга. Почти все они были студентами, не достигшими совершеннолетия. У всех были бомбы, револьверы и, что немаловажно, цианид, чтобы сразу после теракта покончить с собой. У двоих из них не выдержали нервы еще до приближения кортежа. Третий бросил бомбу, которая ранила двенадцать человек, но не эрцгерцога. В наступившем хаосе трое последних террористов убежали. И только после этого взрыва, по прихоти судьбы или по глупости, автомобиль эрцгерцога отклонился от официального маршрута, по которому стало невозможно двигаться, в переулок. Гаврило Принцип, один из трех сбежавших убийц, сидел мрачный в кафе со своей девушкой, когда лимузин остановился прямо перед кафе. Убийца вскочил из-за стола, выбежал на улицу и, по свидетельству очевидцев, трясущимися руками выхватил револьвер, зажмурил глаза и стал палить в сторону Фердинанда и его жены. Два выстрела оказались смертельными. После этого он проглотил циа-

нид, но яд не подействовал, и Гаврило потерял сознание. Его схватили, судили, приговорили к повешению, но, так как он был несовершеннолетним, заменили казнь тюремным заключением. Он умер от чахотки и гангрены в австрийской тюрьме в 1917 году.

Принцип был из простой семьи, не слишком умен, невысокого роста, subtilen и некрасив. Он, казалось, подобрал в себя все комплексы националистической неполноценности. Террористическая группа, к которой он принадлежал, целиком состояла из дилетантов. Они считали своего рода приключением перевозку в чемодане оружия и бомб через всю страну в поезде. Позднее под кроватью в номере, где останавливались террористы, один из таких чемоданов обнаружила горничная. Их некомпетентность могла сравниться, пожалуй, только с некомпетентностью тогдашнего высшего военного руководства. Наконец, Фердинанд из-за своей гордости и представления о себе как о выдающемся реформаторе отказался от надежной охраны.

Наиболее интересен среди этих шести террористов самый молодой, Вазо Чубрилович. Он был вторым в череде убийц на набережной, но у него в последний момент, после того как первый из террористов не смог бросить бомбу, не выдержали нервы. Чубрилович от волнения также не выстрелил и не бросил свою бомбу, хотя занимал очень удобную позицию. Потом его опознали, схватили, судили, но, по малолетству, он был не казнен, а заключен в тюрьму. После войны его освободили. Он стал революционным лидером, соратником Тито и историком. Он пережил партизанскую борьбу в ходе Второй мировой войны, а позднее стал одним из министров Тито. В конце 1980-х он все еще был жив — последний из шести человек, которые, в некотором смысле, подтолкнули к концу старый мир и цивилизацию.

В 1987 году я беседовал с ним в Белграде и спросил, что он думает о беспрецедентном насилии, которое спровоцировало убийство Фердинанда. Этот крошечный сморщенный девяностолетний человек, почти прозрачный в тяжелом, темном министерском костюме, проигнорировал мой вопрос: «Я — историк. В истории нет сослагательного наклонения, а толь-

ко то, что произошло. Или то, что не произошло. Убийство — отражение тогдашней ситуации. Мир был невозможен»²¹.

Он продолжал, описывая политику как процесс, осуществляемый тремя типами людей: редкими великими лидерами; идеалистами, которые терпят неудачу; и главным образом, авантюристами, или узко мотивированными людьми. Чубрилович и его пять молодых друзей на набережной относились к категории идеалистов-неудачников. В Тито он видел редкого великого лидера. Но удовлетворение, которое он испытывал после создания Югославии, казалось, в значительной мере испарилось с приходом к власти политиков третьего типа: технократов и оппортунистов. Для него такие люди были причиной неизбежных осложнений жизни в обществе. То есть, как террорист, превратившийся в политического деятеля и министра, он считал эти десятки тысяч успешных администраторов следствием создания единой страны. Но он уже чувствовал, что ткань единой Югославии расползается, потому что те, кто стоял у власти, не имели никакой программы, у них была лишь структура. И все же, слушая его продуманные размышления о семидесяти прошедших годах и истории вообще, я почувствовал, что он так и не оправился после того, как на набережной в Сараево, будучи молодым террористом, не смог ни убить эрцгерцога, ни покончить с собой и, таким образом, не смог овладеть великим моментом своего собственного индивидуализма.

Разумеется, террорист — самое непостижимое явление для человека двадцатого века. Вне зависимости от его принадлежности к той или иной организации, в решающий момент он должен принимать решения и действовать только самостоятельно. Западные политики стремятся привлечь наше внимание к террористам, которые поднимают голову в странах Третьего мира. Но для нас гораздо больший интерес представляют террористы — выходцы из западного среднего класса, которые, уйдя в террор, полностью оборвали связи с остатками христианских воззрений. Точнее, они оборвали связи с разумом и со структурой, которую он создал. Их в высшей степени иррациональный акт нацелен не на изменение мира, но на освобождение их самих от него.

До Первой мировой войны среди террористов шли дебаты, как следует поступить, если на линии огня окажутся невинные люди или если вместе с намеченной жертвой в карету или автомобиль неожиданно сядут жена и ребенок. Должен ли террорист стрелять и бросать бомбу в цель, не думая о таких мелочах во имя правосудия? Или они должны пожалеть невинного и, таким образом, неизбежно пожалеть и виноватого? Сам факт такой постановки вопроса говорит о том, что их больше волновали не последствия теракта сами по себе, а скорее то, каким образом это покушение отразится на их моральном статусе. Их не волновало то, что они сами должны умереть. Гораздо важнее для них было правильно определить свое настоящее лицо, прежде чем они начнут размышлять об убийстве и о том, что они также будут убиты.

Андре Мальро в «Условиях человеческого существования» изобразил террориста как квинтэссенцию человека, который ищет независимости от человечества. В полной темноте молодой террорист крадется в спальню своей жертвы, которая спит на спине под противомоскитной сеткой. Террорист вонзает нож через сетку глубоко в грудь человека, пронзает его насквозь. Человек просыпается в панике и агонии. Он пытается бороться или бьется в конвульсиях, а террорист всем своим весом давит на нож. Во время этой борьбы террорист чувствует, что дух жертвы поднимается из раны в его собственные руки и тело. Он походит на Дракулу, который вместе с кровью пьет силу души своей жертвы. Соображения борьбы за социальную справедливость, которые привели его в спальню, исчезли. Это — в высшей степени эгоцентричный акт.

Освальды, баадеры-майнхоффы и террористические группировки прошлых десятилетий очень напоминают этого молодого террориста. Во всяком случае, их результативность как социальных или политических революционеров ниже, чем у их предшественников. Макс Фреро, главный исполнитель убийств в *Action Directs*, лучшее тому доказательство. К 1986 году все остальные члены его революционной группы были схвачены. Фреро остался один. Он прятался в Париже, Лионе и других французских городах. В изоляции он только повысил свою способность убивать и взрывать.

Одинокий убийца почти невидим в структурированном обществе. Поэтому Фреро и мог продолжать убивать. Но каждый акт выглядел менее обоснованным, чем предыдущий. Успешный теракт одиночки — свидетельство мастерства террориста. Но действия Фреро говорят о том, что он действовал по наитию. Почему он убивал именно тех, а не других людей? Каковы были его цели? Его действия были неубедительны, даже если ими он хотел добиться дестабилизации общества. Складывается впечатление, что это были действия одинокого человека, отчаянно желавшего выразить свою индивидуальность с помощью акта заключительного самопожертвования. И его атаки менее всего выражали дух его борьбы, они становились актом безрассудной смелости и риска. Если и оставались сомнения, какие побуждения им двигали — политические или личные, — то находка его личного дневника, в котором он записывал места, имена, даты и давал подробное описание операций, полностью доказывала, что им двигали отнюдь не политические мотивы. Он чуть было не погиб как герой. Но, к счастью, его схватили и водворили назад в структуру, применив к нему юридические и административные меры. Это для него стало более суровым наказанием, чем какой-либо другой приговор.

Как утверждал старик Мальро, на протяжении его жизни террористы сильно изменились: «[Они] довольно последовательные, тогда как террористы, которых знал я, были скорее близки к русским нигилистам, то есть, были, по сути, метафизиками»²². Но изменились ли они, или просто, оставаясь нигилистами, приспособились к обществу, в котором они действуют? Революционеры конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий, как и современные, стремились разрушить структуру и разум. Но в девятнадцатом столетии полный отказ «индивидуалистов» от сотрудничества происходил скорее на уровне интуиции, а не был тщательно продуманным. Они могли только догадываться о силах структуры и разума и о том, какое воздействие на общество смогут оказать эти силы.

Сегодня ситуация, с их точки зрения, ясна: если человек желает разрушить структуру и разум, то следует действовать, опираясь на логику и науку. Но если тебе не повезло, и после

теракта ты остался в живых, то ты, как Гаврило Принцип, не более чем идеалист, потерпевший неудачу. Не важно, закуют ли тебя в кандалы в австрийской тюрьме, где ты будешь гнить до конца дней, или поместят в образцовую современную тюрьму для перевоспитания. В обоих случаях ты перестанешь существовать как человек, перестанешь существовать более полно, чем если бы ты никогда не пытался бороться во имя доказательства своего существования.

Возьмем, например, убийц Пьера Лаппорта, члена кабинета министров провинции Квебек, в 1970 году. Пока они держали его в плену, никто не видел их лиц, они были больше, чем люди. Они были потенциальными богами, держащими в своих руках нити жизни и смерти. После того как они убили свою жертву, проявив свою власть и совершив чистейший экзистенциальный акт, их поймали, и они предстали перед судом. Ситуация изменилась коренным образом. Ретроспективно удушение пожилого толстого мужчины не может являться героическим актом, особенно когда террористы молоды и сильны. Теперь, десятилетия спустя, они кажутся сборищем жалких клоунов, выживших в кровавом, но бессмысленном акте.

С точки зрения террориста, единственным смыслом божественного акта террора является его воздействие на исполнителя, то есть на самого террориста. Это воздействие — проявление высочайшего индивидуализма — возможно лишь в том случае, если террорист совершит самоубийство. Это будет кульминацией акта. Если его жертва умирает, а он остается в живых, то он ничем не отличается от задержанного и осужденного виновника автокатастрофы, который скрылся с места аварии.

Немногие стремятся проявить собственный индивидуализм при помощи актов насилия. Большинство предпочитает утвердить себя как индивидуальность менее рискованными способами. Существует теория, согласно которой чем большим личным богатством обладает человек, тем больше у него возможностей поступать так, как он хочет. Он становится личностью, покупая свободу. Однако система обычно тре-

бует долгое время жертвовать личной свободой, строя карьеру, прежде чем наступает материальная независимость. Требуются разнообразные ежедневные, ежегодные ограничения, фактически обычно они затягиваются не менее чем на тридцать лет. Сама идея индивидуализма как производной богатства основана на заведомо проигрышной ситуации. Именно поэтому представитель среднего класса Запада облачает погоню за материальными благами и удовольствиями в мифологическую мантию индивидуализма. За годы и годы жертв он или она получают жалкие крохи вознаграждений. Это еще одно объяснение той важности, которую придают отставке или уходу на пенсию. Это не просто показатель того, что мы намерены жить дольше. Тюрьма системы вынуждает нас думать, что вознаграждение свободой еще впереди, там, за горизонтом.

Тем не менее, после того как мы перестали жертвовать нашими жизнями, немногие из нас сохраняют убеждение в том, что деньги принесут свободу или обещание более свободного будущего. Каждый опрос общественного мнения показывает, что уровень личного беспокойства и напряжения устойчиво возрастает. Мы ищем облегчение при помощи разных иррациональных приспособлений. Отмечается незначительный рост интереса к традиционным религиям. Люди массово обращаются к психоаналитикам, гуру, фундаменталистским церквям, дзен-буддизму, упражнениям по очистке души, йоге и социальным наркотикам — как разрешенным, так и запрещенным, — которых становится все больше.

Несомненно, что путь освобождения из темницы разума, предлагаемый дзен-буддизмом, гораздо привлекательнее альтернатив типа самореализации (комбинация большого количества денег с одновременным ростом «духовности»), биоэнергетики, цветотерапии, при которой устанавливается контакт с вашей душой, массажа с целью снятия эмоциональной травмы, отразившейся на здоровье, или Иенгар-йоги²³. Но все эти меры, включая дзен, не предлагают ни практических реформ, ни революционных изменений общества, в котором мы живем. Вместо этого они предлагают тот или иной запасной выход на некоторое время. В конце концов,

независимо от того, что происходит, шестьдесят миллионов французов или англичан не собираются становиться дзен-буддистами или обращаться к аналитику в поисках правды. Вместо этого сломанная личность периодически принимает транквилизаторы, чтобы уйти от реалий системы, заключившей ее в тюрьму.

В полном противоречии со всем этим, гражданин предполагает, что его политические лидеры не принимают никаких транквилизаторов. Объяснение такого пуританизма можно найти в наших иудейско-христианских корнях. Если мы должны терпеть глубокие и невидимые испытания жизни, то должен быть жертвенный агнец, который будет страдать у всех на виду. Или, возможно, это — наша месть системе. Политические лидеры теоретически отвечают за нее. И если мы не можем наказать абстрактные структуры, почему бы не наказать тех, кто, по всей видимости, управляет ими? Или, возможно, мы пытаемся придать некоторую важность той мелочи, которую мы называем индивидуализмом, отказывая в этом тем, кого мы выбираем. Или, возможно, это — проявление нашего явного лицемерия: отказать нашим лидерам в том образе жизни, который мы сами ведем. Тем самым мы избегаем того, чтобы наше замешательство получило зеркальное отражение в образе общества.

В любом случае, эти лидеры быстро узнают, что в обмен на самостоятельность в принятии решений по манипулированию системой они должны полностью соответствовать навязанному общественным мнением суровому образу пуританина. Из окна своего президентского или министерского офиса они видят людей, которые могут высказывать им все, что угодно. Люди могут разводиться так часто, как позволяют обстоятельства и финансы, спать с любым количеством партнеров противоположного или одного с ними пола, в зависимости от фантазии и желания, употреблять наркотики, одеваться, как душе угодно, коллекционировать редкие вина и посещать роскошные рестораны и так далее. Эти действия могут быть бессмысленными и поверхност-

ными, но в них истинное счастье в современном понимании. А общественному деятелю это счастье недоступно и категорически запрещено.

Ожидается, что он или она должны состоять в браке, быть гетеросексуальными, верными супругами, скромными в одежде и речи, не допускать излишеств в еде и питье, противниками наркотиков, управлять автомобилем неопределенной марки. Их не должны видеть тратящими деньги на экзотическую еду. Публика, которая черпает вдохновение в бесконечных мечтаниях о роскоши, рада узнать, что их руководитель после трудового дня направляется из офиса напрямик домой и занимается любимым делом: приготовлением на кухне омлета из двух яиц для всей семьи. Само собой разумеется, такой образцовый руководитель должен обладать качествами в соответствии с бесконечным списком правил поведения для бойскаутов, начиная от помощи старушкам при переходе улицы и кончая мытьем рук перед едой.

В обществе, структуры которого аморальны, а граждане теоретически свободны от каких-либо ограничений, политический лидер стал складом или, скорее, хранилищем старых ценностей среднего класса. Конечно, никто в действительности не соответствует ни одному из этих условий. Любой, кто поступает так, не может претендовать на роль лидера. Будущий лидер должен обладать характером лицемера и скрывать свой истинный характер. Талант лицемера становится важнейшей чертой любого выборного лица, а стремление быть обманутым — особенностью гражданина. Это также предполагает, что только люди с сильно деформированным характером будут в состоянии подняться высоко по иерархической лестнице. Система не может не вознаграждать тех, основным талантом которых является лицедейство, и не может не наказывать людей с прямым характером.

Президент Рейган в 1987 году дважды не смог назначить судью Верховного суда. При обсуждении кандидатуры второго кандидата — профессора Дугласа Гинзбурга из юридической школы Гарварда — прозвучало обвинение, что в далеком прошлом он сделал несколько затяжек марихуаны. Это просто означало, что он ничем не отличался от большинства сво-

их сверстников. Но на основании требований к должности, на которую он назначался, этот банальный и частный случай стал выглядеть ужасным пороком. Профессор Гинзбург был вынужден оправдываться, причем делал это совершенно подетски: «Чтобы быть точным, я пробовал марихуану, когда был студентом колледжа в 60-х, и потом несколько раз в 70-х годах. Это — единственный наркотик, который я пробовал. *Это была ошибка, и я сожалею об этом*»²⁴.

Профессор имел в виду, что курение марихуаны было ошибкой в контексте получения этой должности. Если бы население искренне полагало, что Дуглас Гинзбург сожалеет о своих нескольких затяжках, то оно должно было бы искренне сожалеть и о своей собственной распушенности в прошлом и настоящем. Конечно, оно так не думало. В ходе дебатов о назначении Гинзбурга не было даже намека на всеобщее сожаление со стороны граждан. Точно такое же лицемерие было проявлено в отношении подружек Вилли Брандта, сквернословия Линдона Джонсона, беременности подружки Сесилия Паркинсона и пристрастия Роя Дженкинса к «Бордо».

Было время, когда у черни не было иного выбора, как только греться в отраженных лучах мифической свободы и легкой жизни своих королей и знати. Теперь те, кто заменил королей, вынуждены греться в тени теоретически неконформистской жизни значительной части населения. Во всяком случае, в теории. Действительность — в другом.

Мы живем в век величайшего конформизма. В истории западной цивилизации трудно найти аналогичный период всеобъемлющего конформизма. Граждане настолько изолированы в ячейках своего опыта, что полностью лишены возможности участия в открытых общественных дебатах. Мы скрываем эту правду, искажая понятие индивидуализма, считая его приятной привязанностью к стилю и личным эмоциям. Мы представляем себя такими, какими, возможно, видели в романтическом сне, до предела измученными экзистенциальными изгоями. Поскольку изменить что-либо мы практически не в силах, нам ничего не остается, как перенести этот образ изгоя в реальную жизнь. Кино, телевидение

и пресса помогли нам придать этому образу конкретную форму. Мы знаем этот тип людей. Мы прекрасно знаем светловолосых мужчин, ведущих бедуинов в атаку на турок; актрис, которые спят с президентами и кончают жизнь самоубийством; поэтов, которые мчатся в Эфиопию и занимаются работорговлей; красоток, которые выходят замуж за диктаторов и ведут разговоры в пользу бедных. Мы видели их тысячу раз на экране. Мы знаем, во что они одеваются. Мы точно знаем, какая мускулистая у них грудь, какой глубины их влагалище. Мы знаем тембр их голоса.

К сожалению, они не имеют никакого сходства с реальными изгоями, с теми, с кого они были срисованы. Реальные прототипы зачастую были сутулыми, без выдающихся мускулов, порой у них были даже солидные животики, как у Бонапарта; некоторые реальные героини без косметики и мехов выглядели болезненно. И уж точно, они не носили джинсы. Но в любом случае, мы не горим желанием встретить реального изгоя, который, как и мы, хочет спрятаться от собственного конформизма. Мы хотим мечтать о нем, как мечтаем о самих себе. Но они существуют, так что это невозможно.

Наш человеческий рай зависит от тщательно оберегаемых иллюзий. Пока реальная власть остается у рациональных структур нашего общества, только мечтания позволяют гражданину оставаться в здравом рассудке. Даже если бы у людей появилось реальное желание уплыть далеко, как это сделал Рембо, то они не смогли бы его осуществить. У Эфиопии сейчас хватает трудностей с собственными гражданами, а работорговля запрещена уже много десятилетий тому назад.

Глава двадцатая

ЗВЕЗДЫ

Первая звезда современности — Мария Антуанетта. Она никогда не была настоящей королевой Франции. Всего лишь играла роль. Она играла королеву. Она никогда не считала, что занимает должность, подразумевающую ответственность

или обязанности, хотя и занимала ее по праву. Подобная безответственность кажется сегодня естественной, и мы ошибочно полагаем, что наши короли и королевы должны вести блестящий образ жизни. Людовик XIV, несомненно, играл роль. Елизавета I, возможно, лучше всех играла роль звезды. Людовик XIV, по натуре человек простой, изображал великолепие, чтобы укрепить свою власть и ослабить позиции знати. Елизавета играла роль роскошной, обвешанной с головы до ног драгоценными камнями девственницы, чтобы защитить себя от власти мужчин и самой напрямую осуществлять власть.

Но Мария Антуанетта внесла элемент новизны. Даже революционный. Намеки на это были в ее миниатюрной игрушечной «деревне», спрятанной в садах Версаля. Сам дворец являлся декорацией и реквизитом, но ее «Деревня» больше походила на опытный образец поместья голливудской кинозвезды или частного зоопарка Майкла Джексона. Прекрасная небольшая молочная ферма. Несколько отменных коров лучшей породы. Прислуга под рукой и самый большой дворец в мире на расстоянии в несколько сотен ярдов. «Деревня» была настоящим Диснейлендом: местом, где самая великая королева в мире и ее придворные наряжались пастушками и крестьянами, изображая романтическую идиллию простоты.

Рождение звезды современности произошло поздно вечером 20 июня 1791 года, когда Мария Антуанетта, Людовик XVI, их сын и дочь, гувернантка и две служанки сбежали из дворца Тюильри в центре Парижа. Учредительное собрание считало необходимым — для их собственной безопасности и в интересах нации — держать их в огромной золоченой тюрьме, как павлинов в клетке. Затем были бегство, которое позднее назвали Вареннским (Варенн — местечко около немецкой границы), и драматический финал.

Королева руководила всем действием и, разумеется, играла в нем роль звезды. Продюсером был шведский граф Аксель де Ферзен, страстный поклонник Марии Антуанетты и, возможно, ее любовник. Он предложил, чтобы бежал только король, переодетый в женское одеяние. В подобном маскараде

Людовик усмотрел неуважение к собственной персоне, и королева отклонила этот сценарий, поскольку в нем не было роли для самой Марии Антуанетты. Согласно второму плану, королю предстояло бежать одному в экипаже, а затем из эмиграции возглавить восстание знати. Королева отвергла и этот план. Ее сценарий подразумевал нечто гораздо более грандиозное: спасение всей семьи одновременно.

Королевское семейство вместе с гувернанткой могло уместиться только в большой экипаж (*берлину*), который королева до отказа набила багажом, поэтому он мог двигаться со скоростью менее десяти километров в час. На некотором расстоянии ехал кабриолет с несколькими служанками.

Были расписаны все роли: роль российской баронессы Корф должна была играть гувернантка, королевских детей — ее сын и дочь; роль их гувернантки — королева; а королю досталась роль камердинера баронессы. Мария Антуанетта перерыла весь дворцовый гардероб, чтобы нарядиться горничной. Она не особенно маскировалась. Она изображала горничную так же, как изображала доярку в «деревне» или как Гарбо позднее играла королеву, а Дитрих — шлюху. Никто не должен по ошибке принять их за тех, кого они изображали. Все они были звездами. Людовик даже и не пытался играть роль камердинера. Он нацепил розовый парик и рассматривал все это как фарс. Его властная супруга с ним соглашалась.

Побег начался точно по расписанию благодаря Ферзену, который организовал тайный вывоз всех из дворца в отдельных маленьких каретах и лично вывез королеву в предместье Парижа, где все взгроиздились в *берлину*. Там Ферзен покинул их, и Мария Антуанетта взяла бразды правления в свои руки. Экипаж полз с черепашей скоростью. Они выбились из расписания и поэтому ехали без сопровождения отрядов кавалерии, которые должны были обеспечивать их безопасность в городах. Королева и король любовались пейзажем, выглядывая из окон. Вскоре их узнали. Они любезно приветствовали прохожих на улицах городков. Их побег превратился в театрализованный королевский выезд; тем временем наступила ночь. Около полуночи, когда они приехали в местеч-

ко под названием Сент-Менеульд, тамошний муниципальный совет, который возглавляли радикалы, собрался на чрезвычайное заседание и решил на хорошей лошади послать почтальона, господина Друэ, в ближайший город. Там Друэ обогнал королевский экипаж, разбудил нескольких горожан и с их помощью перегородил мост по дороге в Варенн, вынудив, таким образом, королевское семейство выйти из *берлины*. Граница и свобода были всего в нескольких километрах.

Их быстро окружили простые горожане — толпы возбужденных зевак и враждебно настроенных людей. Мэр города, местный торговец, пробрался сквозь толпу и пригласил их в свой дом. Он был страшно взволнован присутствием всего королевского семейства в своем маленьком доме. Он не знал, что делать, то ли пасть ниц, то ли арестовать их. И поэтому не делал ничего. Но обстановка накалялась. Почтальон разбудил всех радикально настроенных жителей городка и расположил их вокруг *берлины* и на баррикаде, блокирующей мост. Один из отрядов кавалерии вступил в местечко и пробился к дому мэра. Командир отряда сообщил королевской семье, что если они выедут немедленно, то есть надежда успеть проскочить за границу. Было ясно, что если они останутся, то могут лишиться жизни. Поскольку король был куда слабее своей решительной супруги, решение зависело от нее.

В этот совершенно очевидный, судьбоносный момент Мария Антуанетта не сумела различить реальность и фантазию. Вместо того чтобы отважиться на реальное действие, которое могло спасти жизнь ее семьи, она предпочла положиться на придуманный образ избранного Богом монарха, против которого никто не посмеет выступить. Она проигнорировала действительность и продолжала играть выбранную роль. А снаружи радикалы братались с кавалерией короля. Через час солдаты перешли на сторону ее врагов. Все было потеряно. Фарс королевы окончен.

Чтобы оценить, насколько революционен был подход королевы к власти, достаточно вернуться немногим более чем на полтора столетия назад, в середину 1600-х годов, когда представления о волевой женщине были еще менее привыч-

ны. Мария Медичи, вдова Генриха IV и королева Франции, была не умнее Марии Антуанетты. Хуже того, она была чрезмерно эмоциональна и очень толста. Ее дважды заключали в тюрьму. Дважды она совершала побег, но не облачалась в маскарадный костюм и не выставляла себя напоказ всей Франции. Наоборот, она одевалась в скромное удобное платье, в котором могла глубокой ночью спуститься по веревочной лестнице со стены замка, пробираться пешком через леса, грязь и опасные реки. Различие между двумя королевами заключалось в том, что, хотя Мария Медичи осознавала свое привилегированное положение, она понимала, что оно зависело от ее способности выполнять возложенные на нее обязанности. Даже королевы и короли, не намеревавшиеся вершить добрые дела, понимали, что на своем посту они выполняют работу, то есть совершают вполне реальную деятельность.

Мария Антуанетта, без сомнения, является представителем нашей, современной эпохи. Она первой разграничила власть и славу. Прежде власть была практически неотделима от известности. Всякий, кто обладал властью, будь то король или герцог, папа римский или епископ, автоматически получал известность. Это можно считать свойством общества, в котором неимущие всегда завидуют тем, кто что-то имеет. Но в этом проявлялась и присущая всем потребность воображать себя более высоким, более сильным, более богатым, лучшим любовником или более важным, чем на самом деле. Дело даже не в зависти, просто человеку свойственно мечтать. А мечтают, как правило, о том же, о чем кто-то уже мечтал и уже претворил в жизнь или убеждает себя и других, что претворил.

Конечно, короли никогда не были столь мудры, сильны, красивы или сексуальны, как это им приписывалось, но тайна, окружавшая монарха, позволяла людям добавлять желаемые штрихи к портрету владыки. И если эти иллюзии разрушались жестокостью, неумелым руководством или тупостью властителя, то в воображении народа они становились злыми гениями. А если король был абсолютно безлик, то массы всегда могли переключиться на королевский двор.

Жизнь при королевских дворах Европы была отвратительной во всем. Здесь царили лицемерие и амбиции. Сен-Симон и Казанова в своих дневниках и мемуарах отразили дворцовые быт и нравы. Свифт пускал свои сатирические стрелы в придворных королевы Анны. Мольер высмеивал жизнь двора. Под сенью монархов процветали и делали карьеру люди с талантами лизоблюдов. При королевских дворах было полно мифических персонажей: храбрых рыцарей, красивых и чистых девственниц-принцесс, мудрых советников, поэтов, художников. Здесь обитали самые прекрасные повара, самые прекрасные наездники, разумеется, актрисы, интриганы, прелаты, карьеристы и реформаторы. Добрые герои и злые гении на любой вкус. Даже самый банальный оргазм наделялся определенной важностью, благодаря титулу и репутации, но главное: эта важность возрастала по мере увеличения законной власти. Дворцовые бюллетени — «People», «Paris-Match», «Der Spiegel» тех дней — посвящали население в подробности дворцовой жизни.

Во второй половине восемнадцатого века Томас Джефферсон, американский посол в Париже, смог взглянуть на Марию Антуанетту с той ясностью, которая была невозможна за несколько лет до этого, когда иллюзии о придворной жизни все еще затуманивали глаза всем и каждому: «Некоторое изящество воображения, но никакого здравого смысла, чувство гордости, презрение к сдержанности, возмущение любым препятствием на пути к осуществлению своих прихотей, страсть к погоне за удовольствиями, достаточная последовательность в осуществлении своих желаний, или гибель в случае явной невозможности достичь их»¹. Перед нами точное описание какой-нибудь голливудской звезды, например Фэй Данауэй. «Ее раздражали сплетни про то, что она невыносима, поэтому она стала придерживаться созданного ей образа великой звезды»². Или Мадонны, поочередно то щеголяющей в шелках, то выставяющей перед камерой обнаженный лобок. Или величайшей звезды двадцатого века, Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской, которая сумела овладеть последним из значительных королей на Западе и превратить его в нечто, напоминающее Людовика XVI в ро-

зовом парике набекрень, в непрерывной гонке по странам и континентам, будто в громыхающей колыхающей — битком набитой багажом *берлине* — для него не осталось места. Пример леди Симпсон подтверждает, что известность в двадцатом столетии хирургическим путем отсечена от ответственности.

Новшества Марии Антуанетты и демонстрацию госпожой Симпсон положения великой звезды разделяют полтора века неразберихи и развала системы королевских дворов. Новое рациональное общество отказалось от славы как от общественной и человеческой слабости, не имеющей важности. Но отказаться означает высвободить, и слава немедленно обрела внутренний импульс. Очень скоро было искажено то, что сначала выглядело как разумное отделение обязанностей от поклонения. Известность, по определению, относится к общественной сфере. Поэтому она встает между гражданином и теми, у кого имеются обязанности перед обществом.

По ходу дела известность, или слава, раскололась на три большие категории. Появилась известность Героя, которая сначала казалась естественным преемником старой королевской славы, потому что она помогала новой породе диктаторов, революционеров, военачальников и политических деятелей. В действительности эта наполеоновская слава была результатом искривленного индивидуализма, и она весьма естественно трансформировалась в славу разнообразных современных Героев: от Гитлера и звезд тенниса до террористов и олимпийских чемпионов. Вторая категория включала вульгарную известность, которая окружала людей полусвета: актеров, игроков и прочих придворных маргиналов старых режимов. Она безуспешно пыталась расширить свое влияние на современных знаменитостей, включая, опять-таки, звезд спорта, а также артистов, богачей, известных криминальных личностей, финансовых спекулянтов — фактически на любого, кто может на мгновение привлечь внимание общества.

Наконец, последний, самый узкий сегмент славы выпал на долю философов, поэтов и — совсем недавно — на писателей, то есть глашатаев разума, которые с успехом уничтожали власть Бога и церкви, а также абсолютных монархов и их аристократии. Новая порода военачальников, диктаторов,

революционеров и политических деятелей извлекла выгоду из этого разрушения, но они сами они к нему не причастны.

Фактическая казнь королей и проведенные реформы органов власти были второстепенными событиями, по сравнению с подрывом веры населения в легитимность власти и прав церкви и монархии. Глашатаи разума в продолжение семнадцатого и восемнадцатого столетий положили все свои силы и талант на борьбу с этими структурами. И что самое важное, они выдумывали альтернативы им. С начала восемнадцатого и до середины девятнадцатого века они были заняты изобретением фраз, аргументации, самих слов, необходимых для описания альтернативного общества.

Не удивительно, что самым известным человеком своего времени был Вольтер. Ни один король, королева или министр, не говоря уже о военачальнике или актере, не пользовались такой известностью, как этот маленький беззубый человечек с острым языком. И за исключением только Наполеона, самыми известными личностями в девятнадцатом веке были такие люди, как Байрон, Гёте, Толстой, Гюго и Бальзак.

Наполеон, настоящий Герой, господствовал в умах и волновал воображение Запада в течение двадцати лет. Он покорил двух самых знаменитых поэтов своего времени: заочно — Байрона и лично — Гёте во время их единственной беседы 2 октября 1808 года. Император только что разгромил Пруссию и, говоря на языке мира романтических символов, завоевал меч Фридриха Великого. Теперь, в апофеозе своей славы, он вызвал государей Европы в Эрфурт, чтобы засвидетельствовать, что он договорился и с русским царем. Во время этих встреч он и пригласил Гёте на завтрак. Наполеон сидел и кушал. Поэт вместе с Талейраном и несколькими генералами стоял. Позднее Гёте отказался обсуждать, что было сказано за этим завтраком, как бы показывая, что будет ниже достоинства двух собеседников пересказывать содержание их беседы.

В атмосфере усиливающегося немецкого национализма молчание Гёте было воспринято как освящение Героического меча романтическим пером. Два великих человека провели частную беседу. Сам факт сразу же стал обрастать множеством мифов. В любом случае, можно было рассчитывать,

что Талейран сохранит для истории полезные фразы. Например, император прервал обсуждение военных и политических вопросов с членами правительства, чтобы несколько раз повторить, что он семь раз перечитал роман Гёте «Страдания молодого Вертера». Затем он представил автору свой подробный анализ книги.

Эта встреча, казалось, подтверждала важность слова в этом мире, в котором инопланетянин мог бы предположить безраздельную власть меча. На самом деле это было предупреждением, что использование писателем своей славы, чтобы иметь влияние на власть, ни к чему не приведет. Новые военные и политические Герои сами были готовы взвалить на себя заботу об обеспечении граждан мечтой. Начиная с наполеоновской эры, структуры нового общества начали постепенно сооружать забор вокруг писателей. Власть перешла к экспертам, а они испытывали к глашатаям разума двойственные чувства. Именно благодаря писателям, простые управляющие (менеджеры) стали обладателями власти. С другой стороны, они не могли забыть, что письменное слово разрушило власть их предшественников.

Крепнущие системы стеной встали между славой писателей и их правом пользоваться плодами своей славы в реальном мире. К концу девятнадцатого столетия изменилось отношение к писательской славе, к ним стали относиться как к знаменитостям, а не как к властителям дум. Писателей стали отодвигать на позиции узких специалистов, называть их маргиналами, неисправимыми неуравновешенными изгоями, критикующими общество, в жизни которого они не принимают участия. И если самой знаменитой личностью восемнадцатого столетия был Вольтер, то в двадцатом веке это место занял Микки-Маус. Даже в Шаошане, родной деревне Мао Цзэдуна, в сувенирных киосках соседствуют значки с изображением Мао и Микки-Мауса.

Известность, слава и звездность стали хлебом насущным двадцатого века. С одной стороны, мы видим в них подобие развлечения, с другой — считаем их ключом к успеху и преклоняемся перед ними. Это явление выросло до невероятных размеров и, совершив полный круг, достигло отправной точ-

ки, той, когда слава играла важнейшую роль в эпоху абсолютных монархий. Различие лишь в том, что слава в те времена была официальной категорией. В наши дни она ничем не ограничена и используется как для защиты системы, так и для ее разрушения. Возможно, самое удивительное заключается в том, что в наших тщетных поисках рационального выхода из рационального тупика мы обнаружили, что звезды ныне являются одним из немногих товаров, пользующихся спросом. Это само по себе является симптомом системного кризиса.

Никогда прежде власть и популярность не находились на таком отдалении друг от друга. Подразумевается, что такое разделение — показатель здоровья демократии. Не подлежит сомнению, что те, у кого в руках политическая и экономическая власть, не должны претендовать на большее. У них могут быть деньги, знания и обязанности, но они не должны иметь ни одного из запрещенных законом прежних атрибутов власти и поклонения. Так или иначе, современные властители, как правило, ограниченные скучные люди, не заслуживающие быть в центре наших мечтаний и внимания.

В начале 1950-х годов Ч. Райт Миллс начал писать о новом классе, который полностью состоял из известных людей: «Но что такое знаменитость? Это человек с таким именем, которое достаточно только произнести — и все становится ясно»³. Эти люди, казалось, имели известность без власти. И разумеется, без ответственности. Миллс правильно определил явление, но он не указал на ту роль, которую этот класс будет вскоре играть. Единственное, что он отметил, так это то, что известность знаменитых людей служила для того, чтобы замаскировать новую анонимность тех, у кого в руках находилась реальная власть.

Действительно ли этот класс был создан народными массами из-за отсутствия королевского двора или от скуки? Может быть, народные массы, разочарованные и уставшие от непонимания их властными структурами, которые вышли из-под теоретически усиливавшегося, беспрецедентного в истории контроля, искали развлечения? Или властные

структуры поощряли рост класса знаменитостей, используя их подобно тому, как фокусник ловко отвлекает внимание публики блеском шелковых носовых платков, в то время как белый голубь реальной власти вырывается на волю?

Какими бы ни были причины, очевидно, что наши рациональные, секуляризованные общества сочли нужным создавать не только Героев, на фоне которых мы осознаем собственное несовершенство, но и знаменитостей и звезд, да еще в таком огромном количестве, что они затмили все то, во что мы верили и чему поклонялись. На первый взгляд кажется невероятным, что мнимые подвиги звезд могут стать источником мифологии нашей цивилизации. То, что звезд всерьез используют в качестве ориентиров для общества, можно называть дурной пародией. А то, что они становятся более популярными, чем современные руководители, автоматически отражается на значимости тех, кто претендует на выборную должность. Уже с тех пор, когда император Нерон совместил актерство, спорт и политическую власть в одну пагубную формулу, побеждая на Олимпийских играх в гонках на колесницах и в музыкальных состязаниях, мнимую, дутую важность стали путать с общественным интересом.

В результате этой путаницы наша цивилизация утратила ощущение, что мы движемся в правильном направлении. Из-за нашей преданности к рациональным структурам и веры, что они по определению указывают правильное направление, мы оказались не готовыми воспринимать современных звезд, как в свое время — Героев. В попытках увидеть хоть малейший смысл в популярности звезд и их деятельности, мы стали придавать огромное значение различным соревнованиям и конкурсам. Мы наделяем незначительные вещи мифической ценностью. Мы начали измерять популярность отдельных личностей так, как будто эти измерения отражают полезность этих людей и имеют отношение к демократическим процессам. Самое странное, мы стали составлять сложные рейтинги популярности для каждого жанра, существующего в мире звезд, в полном соответствии со старинным убеждением, что если у группы есть внутренние стандарты, то она реально существует. И наконец, мы стали наделять их

абсолютно виртуальный мир множеством реальных характеристик, убеждая самих себя в реальности его существования. Все это, наряду с механизмом раскручивания популярности, обеспечивает звездам реальную власть.

Лернд Хэнд одним из первых указал на рост культа соревнований и конкурсов на Западе. В 1922 году он предупреждал студентов колледжа Вруг Мавг: «В соревнованиях содержится губительная сурьма замедленного действия. Здесь люди перекрашиваются в цвета других, ловят отражение в источниках, не излучающих света; они — хамелеоны, таинственным образом обретающие окраску, контактируя с бесцветным окружением. Если общество организовано на популярности в качестве универсального стимула, его ждет неизбежное поражение»⁴.

Но мы каким-то образом внушили себе, что быть лучшим — значит быть кем-то. Самым быстрым бегуном. Величайшим изобретателем. Чемпионом по дальности плевка. Чемпионом в поглощении пива за полчаса. Лучшим шахматистом. Фигуристом, делающим самое большое количество вращений в прыжке. Лучшим учеником в школе. В университете. Чемпионом по игре в поддавки. Термин «превосходство» применяется там, где мы якобы ищем содержание, тогда как, прежде всего, мы ищем измеримый результат, строя систему классификации или пирамиду, увенчанную лучшим в своей области королем.

О стремительном развитии этого явления говорил Ч. Райт Миллс, через тридцать лет после Хэнда: «В Америке «система звезд» доведена до того, что человек, умеющий точнее и искуснее, чем другие, забрасывать маленький белый шарик в ряд ямок, вырытых в земле, получает тем самым возможность попасть на прием к президенту Соединенных Штатов»⁵. Теоретически, соревнование подстегивает человека, выявляя в нем все лучшее, на что он способен. Считается, что соревнование и сопутствующая ему популярность являются величайшими достижениями рациональной меритократии. Соревнование подразумевает участие и самосовершенствование.

В действительности все почти наоборот. В мире, где все подчинено измерениям с целью определения лучшего, большинство из нас не участвует в соревновании. Будучи существами, обладающими чувством собственного достоинства, мы сторонимся соревнований, чтобы не стать побежденными. Общество не только не побуждает людей вступать в соревнование, но наоборот, оно фактически подсказывает им скрывать свои таланты, внушая им, что они бесталанны. Прямым следствием нашей зацикленности на соревнованиях стали жалобы на то, что наше общество превратилось в общество зрителей.

В любительском спорте появились симптомы соревновательной атмосферы профессионального спорта. Атлеты испытывают невероятные нагрузки и ведут ненормальный образ жизни, требующий огромных жертв, начиная от гладко выбритых тел и кончая употреблением стероидов. Спортивная жизнь пропитана национализмом самого низкого пошиба, граничащим с шовинизмом. Бегун Брюс Кидд во время расследования был вынужден подтвердить, что он с Беном Джонсоном тайно принимал стероидные препараты. Различные любительские спортивные организации, финансируемые правительством, немедленно заявили, что их необходимо перевести в профессионалы, где требования в отношении стероидов не так строги, и они смогут продолжить свой звездный спортивный путь. Результат известен — эксплуатация корпорациями их популярности. Но это явление имеет больше отношения к ура-патриотизму, чем к деньгам. Но все же коммунистические страны — лидеры в этом процессе.

Мы являемся свидетелями превращения абсолютно невинных, банальных физических развлечений в то, что приводит в трепет правительства, народы и международные телекоммуникационные системы. Ясно, что их волнует не спортивное мастерство, не массовость или захватывающий интерес, на сколько миллиметров выше подняли планку для прыгунов в высоту. Эти миллиметры будут забыты почти всеми еще до окончания соревнований. Лишь отдельные зрители с трудом запоминают цифры, когда объявляют результаты соревнования. Их привлекает скорее то, что в процессе сорев-

нования на их глазах рождаются звезды, пробуждая в зрителях замшелые, ископаемые национальные чувства. Эти звезды не становятся образцами для молодого поколения (ведь только единицы смогут когда-нибудь прыгнуть так высоко), но символом его грез. Они становятся современной версией рыцарей Круглого стола.

Что за путаница царит в головах и зрителей, и спортсменов, хорошо видно на примере того, как эти спортивные звезды постепенно перенимают манеры поведения военных и политиков. Вспомним, например, Томми Смита и Джона Карлоса, двух чернокожих американцев, победителей на Олимпийских играх 1968 года. Когда исполнялся гимн США и раздались аплодисменты зрителей, они внезапно подняли на подиуме сжатые кулаки в черных перчатках — традиционное приветствие радикального американского движения «Власть черных». Их отстранили от участия в Играх, но после этого на стадионах стали обычным явлением воинственные и политические жесты. Любая возбужденная теннисная звезда вскоре стала выбрасывать вверх руки со сжатыми кулаками и издавать дикие победные животные крики всякий раз, когда ей или ему удавалось успешно отбить мяч. Вспомним и Сильвестра Сталлоне, сыгравшего роль боксера Рокки Бальбоа в 1976 году и повторявшего тот же жест для большего коммерческого успеха, хотя к тому времени он уже стал символом движения против апартеида.

Поднятая рука со сжатым кулаком всегда была символом ожесточенного боя. Этот жест означает уверенность в своей победе и неминуемом поражении противника. Сразу в памяти возникают две параллели: приветствие поднятой открытой рукой римских легионеров, которое потом было перенято фашистами и нацистами; и также римских гладиаторов, обращающихся к императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя».

Первый намек на то, как это приветствие будет меняться в Век Разума, появился в Сикстинской капелле Микеланджело. Мы видим, что у Бога, созидającego звезды и планеты, поднята рука с указательным пальцем в жесте, олицетворяющем невероятную силу и власть. Перст, рука, лицо Бога — все

излучает энергию и своего рода гнев, как будто с кончика его ногтя вот-вот вырвется молния. На двух нижних фресках Бог создает человека. И вновь его рука будто излучает энергию. Он касается пальцем Адама, который настолько пассивен и вял, что вынужден облокотиться на колено. На другой фреске изображен Христос на Страшном суде. Спаситель, изображенный на фоне атлетов, поднял руку над святыми и толпами людей, но не в спокойном жесте, символизирующем мудрость Соломона, а с угрожающей силой, так, будто он одним жестом руки может послать всех в ад. Персонифицированная энергия и гнев — это именно то, что делает эти изображения современными. Святая Троица больше не поднимает руку как абстрактный символ власти. Это — Бог, или богочеловек — современная личность. И хотя благодаря реализму художника Бог внушает ужас, он не выглядит мощным. Если Богу для создания человека понадобилась лишь физическая энергия, то человек мог бы получить ее, проведя несколько дней в спортзале или обратившись за поддержкой к армии или к идеологическим структурам, а может быть, и к опытным пиарщикам, чтобы они исключили неудобные вопросы.

Человек, поднимающий руку с чувством превосходства, вошел в народную мифологию в 1785 году вместе с полотном Давида «Клятва Горациев». Он изобразил трех мускулистых римских юношей с руками, поднятыми в жесте, который позднее станет нацистским приветствием. Через четыре года грянула французская революция, и законодатели восстали против своего короля. Давид немедленно увековечил их в «Клятве в зале для игры в мяч» и вновь изобразил республиканский жест юношей Горациев. С этого монументального незаконченного полотна делали множество копий, и это способствовало распространению мнения, что людям для выражения чувства свободы свойственно сбиваться в кучи и вздевать руки именно в таком радостном жесте. Но это не были жесты личности. Равно как не индивидуализм прославлялся в бесчисленных портретах Наполеона работы Давида. Императору, вероятно, приходилось часами стоять перед художником, позирова с вздернутой в воздух одной рукой и засунутой за борт сюртука другой.

Появление обычного гражданина в виде личности с поднятым кулаком, символизирующим сопротивление, произошло в 1814 году, когда Гойя написал расстрел простых испанских националистов наполеоновскими войсками в Мадриде в картине «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Это не только чрезвычайно современная живопись. Это — важнейшее утверждение взгляда современного человека на самого себя. И это полотно произвело такой же возбуждающий эффект на воображение западного человека, что и «Герника» Пикассо на сто лет позднее. Справа Гойя написал расстрельную команду с нацеленными винтовками за секунду до нажатия курка. Слева — окровавленные тела расстрелянных. В центре, под дулами винтовок, группа мужчин за мгновение до смерти. Четыре фигуры выписаны подробно. Главная фигура с поднятыми руками жестом выражает одновременно вызов и принятие неизбежной смерти. Это — наполовину классический религиозный мученик, наполовину современный революционер. Более революционно выглядят трое других осужденных, стоящих плечом к плечу. Перед ними священник, склонивший голову и молитвенно сложивший руки. Сзади и чуть выше стоит мужчина, он смотрит прямо на дула винтовок. Его левая рука со сжатым кулаком поднята вперед в напряженном жесте, выражающем страх и гнев. Позади него стоит третий, с поднятой правой рукой, сжатой в кулак, — жест, выражающий открытый вызов. Это — рождение изображения человека, подобного Богу⁶.

С того момента человек стал все чаще и чаще принимать на публике победную позу, как правило, задолго до реального триумфа. Такая поза порой становилась орудием в борьбе против произвола властей. Делакруа революция 1830 года вдохновила на картину «Свобода, ведущая народ»⁷. Там на баррикаде народ ведет Героическая женщина с флагом в одной руке и винтовкой в другой. В 1836 году в барельефе Рюда «Марсельеза» на Триумфальной арке точно такой же символ силы человека стал более жестоким, чем Бог у Микеланджело. Ее рот, открытый в крике, и напряженные руки, вытянутые одна вперед, а другая вверх, — все это преисполнено насилия. Естественно, что Ленина часто изображали в подоб-

ных позах, хотя без такой экспрессии, менее свирепым, с более интеллигентным лицом и в костюме представителя среднего класса. А затем фашисты и нацисты официально приняли жест, подвергающий сомнению четыре века иконографии человека.

Только в 1937 году Пикассо в «Гернике» ясно изобразил это сомнение. Там на правой стороне картины, изображающей страшное насилие, стоит женщина с поднятыми руками, повторяя жест центральной фигуры в картине Гойи. Она кричит. Она выражает гнев и вызов, но также страх и замешательство. Великий живописец не мог не заметить, что богочеловек поступал не совсем так, как внушали нам его образы триумфаторов. В реальном мире дикие Герои маршировали с вытянутой вперед рукой. И звезды уже начали свое восхождение с одновременной кооптацией имиджа свободного человека.

Любопытно, но большинство людей сделало вид, что удивлено поднятыми кулаками двух черных олимпийских чемпионов 1968 года. И все же удивление оттого, что спортсмен должен поднять руку во имя чего-то, длилось не более одного дня. Вскоре каждый делал это от имени самого себя: победителя, Героя, звезды. Затем стали раздаваться боевые выкрики. Все вдруг стали использовать военную и националистическую лексику. Соревнование стало метафорой насилия и войны.

В Уимблдоне в 1987 году можно было увидеть Джимми Коннора с поднятой вверх рукой, держащей теннисную ракетку, как винтовку или флаг, а другая рука со сжатым кулаком была напряженно вытянута вперед. Он дико кричал. Восхищенные газетные заголовки отражали единодушное мнение: «Коннорс с боевым кличем борется за победу»⁸. Положение его рук и фигуры точно копировало «Марсельезу» Рюда.

Противостояние звезд тенниса теперь всюду анонсируется как «сражение до конца» или «битва титанов». Даже самые спокойные виды спорта перенимают военную символику. В конце американского турнира по гольфу по версии PGA в 1989 году победители: Кёртис Стрейнж и Лора Дэвис —

сфотографированы с поднятыми сжатыми кулаками. «Это — не для слабаков», — заявил Стрейнж журналистам, комментируя свой успех⁹.

Но самым интересным из спортивных состязаний является теннис, прежде всего потому, что он подразумевает «сражение» двух людей, а кроме того, его обожает средний класс. Оруэлловское пророчество в «1984» о том, что люмпенизированный пролетариат перенесет свою политическую неудовлетворенность на футбольное поле, уже сбылось. Но трибуны теннисных турниров в Флэшинг Миддоу, Уимблдоне и на открытом чемпионате Франции заполнены президентами компаний, политическими деятелями, богачами и знаменитостями. Те, кто не присутствует, приклеены к телевизорам. У них иногда возникает легкое неодобрение в связи с «плохим поведением игрока». Но в целом, эта аудитория любит поднятые кулаки, дикие боевые выкрики и подпрыгивания. Именно ради этого они сюда и приезжают. Ролан Барт однажды написал о мифологической роли, которую играют для масс бойцы рестлинга. Теннис стал рестлингом для средних классов. Не имеет значения, что, в отличие от борьбы, там не выделяется чемпион мира.

«При правильном подходе, — писал Олдос Хаксли, — [спорт] может привить выносливость и смелость, привычку играть честно и уважать правила, научить координировать усилия и ставить интересы команды выше личных интересов. При неправильном подходе он может развить личное и групповое тщеславие, неуемную жажду победы и ненависть к конкурентам, нетерпимость и презрение к людям»¹⁰. Другими словами, стерта грань между физическим упражнением и войной.

В 1974 году адвокату из Торонто Уильяму Макмёртри поручили провести правительственное расследование причин ужесточения силовых приемов в канадском хоккее. Он заслушал Кларенса Кэмпбелла, тогдашнего президента Национальной хоккейной лиги, которая руководит и любительскими лигами и, конечно, оказывает огромное влияние на молодежь, так как хоккей — национальный вид спорта. Когда президента попросили определить цели НХЛ, он был очень чес-

тен; но он принадлежал к старшему поколению, не обученному технике манипулирования информацией. «Это — бизнес, направленный на такую организацию спорта, которая приведет или будет способствовать увеличению кассовых сборов... Шоу-бизнес, мы занимаемся развлекательным бизнесом, и это нельзя игнорировать. Мы должны поставить спектакль, который привлечет людей»¹¹.

Голливуд наводнил мир потоком фильмов о спорте, отображающих дух нашего времени. В них особое значение придается нетренированным, неярким, нетитулованным Героям, которые преодолевают все барьеры, чтобы стать чемпионами. В момент триумфа все они непременно поднимают сжатый кулак. Музыкальный фон по стилю напоминает музыку, которую Бетховен посвятил Наполеону (3-я Героическая симфония — *прим. ред.*). Самые удивительные из этих Героев — те, которых играл Сильвестр Сталлоне. Он по очереди играет спортивных и военных неудачников. С точки зрения драматургии между ними нет никакого различия. Выбирая виды спорта, в которых присутствует тесный физический контакт, типа бокса, Сталлоне путает спорт с войной. Вряд ли Джимми Коннорс или другие звезды спорта сознательно копировали Гойю или Рюда. И если какой-то имидж и заключен в этих ролях, то он, скорее всего, передан Сильвестром Сталлоне в роли Рокки Бальбоа, с триумфом поднимающего вверх руки. Движения Рокки такие же, как и у Бога — Героя Высокого Возрождения в трактовке Микеланджело. Сталлоне пояснил, что он изучал картины Ренессанса, чтобы передать эти движения. Иными словами, то, что начиналось как поднятая рука Бога, затем королей, после этого было украдено человеком как символ его свободы и индивидуализма, потом было перенято появившимися Героями, а позднее было украдено снова, на сей раз — звездами, которые используют это как символ их богоподобной роли.

Что общего между Сильвестром Сталлоне, Олимпийским движением, различными видами спорта и отчаянными попытками второразрядника попасть в элиту мирового спорта? Соревнование. Важно, что мы соревнуемся, не важно, для чего мы это делаем. Новые чемпионы станут нашими звездами и дадут нам иллюзию, что они ведут нас куда-то вперед.

Это позволяет классу технократов, особенно в бизнесе, возводить процесс соревнования до уровня религии индивидуализма и одновременно избегать более сложных вопросов, таких как долгосрочные обязательства перед обществом и социальная ответственность. Любой человек, имеющий диплом магистра делового администрирования, уже может считать себя участником или даже чемпионом Олимпийских игр, а то и кинозвездой в фильме собственного производства. Например, Lannick Group, кадровое агентство по найму руководящего персонала, печатает такое блестящее рекламное объявление:

«СОРЕВНОВАНИЕ

Иногда соревнование бывает жестоким. Иногда бывает трудно выстоять. А иногда оно требует немного большего, чем талант прыгнуть дальше других»¹².

На иллюстрации к этому объявлению стайка бизнесменов в костюмах и с дипломатами прыгает, подобно косяку лосося, вверх против бурного потока. Специалисты по персоналу из Lannick явно никогда не ловили лосося, иначе они бы знали, что эта рыба отчаянно пробивается вверх по реке в силу не зависящих от нее генетических законов. Делает она это, чтобы отложить икру. После чего массово гибнет.

До некоторой степени мы вынуждены верить, что звезды что-то представляют собой, потому что рациональные структуры, обладая невероятной властью, не творят мифов. Поэтому знаменитости вынуждены обеспечивать нас неким сиянием, скрашивающим наши серые будни.

Подобная пища для воображения должна включать в себя роскошь, силу и успех, но также и провалы, и страдания, иными словами — все, что характерно для королевского правления дорациональной эпохи. О короле все было известно широкой публике. Его любовницы, его сексуальная потенция или проблемы с ней, привязанности, вкусы, любимые блюда, распорядок дня — все обсуждалось и смаковалось. Король воплощал власть, но также и страдание: неиз-

бежное сочетание в христианском обществе, которое сохранилось и в постхристианскую эпоху.

Таким образом, в основе репутации звезды лежит трагическая слабость. Когда в 1988 году в обширной биографии Джона Леннона были раскрыты подробности его жизни, Запад испытал явное удовлетворение. Его одиночество, проблемы с наркотиками и импотенцией подробно и детально обсуждались в поисках правды¹³. Он вошел в историю как самый знаменитый из Beatles, частично благодаря своему таланту, но большей частью благодаря тому, что он постоянно спасался бегством и прятался от внимания публики. Естественно, это рассматривалось в контексте его убийства. В конце своей карьеры он разными способами примерял на себя роль Христа, в том числе и стихами, в которых говорилось о том, что «они» собираются «распять» его.

Большие трагедии и страдания являются частью жизни идеальной звезды, но высочайший уровень, тем не менее, зарезервирован для мучеников. Монро, Дин и Леннон, несомненно, принадлежат к этой группе, благодаря финальному аккорду в их жизни. Французская поп-звезда Далида покончила с собой в 1987 году, после нескольких неудачных попыток самоубийства. До этого она похоронила трех мужей, которые также покончили с собой, главным образом, из-за нее. Ее смерть стала важнейшим новостным событием, и все ведущие политики Франции присутствовали на ее похоронах. Так что и простым гражданам пришлось отнестись к этому событию серьезно. Ранее она говорила: «Я служу второсортному искусству, но и эта служба подразумевает, что надо отдавать ей себя до конца». Как президент-социалист, так и премьер-министр консерватор сочли за честь сфотографироваться на ее похоронах. После смерти газеты часто цитировали слова друга Далиды: «Глубокой ночью она доверительно сказала мне, что очарована пустотой небытия»¹⁴.

Но мифология далеко не всех звезд выводится из традиции христианских мучеников. Модельер-дизайнер Ральф Лорен выстроил свою торговую империю на утверждении, что он продает определенный класс и лидерство. Его главный магазин в Нью-Йорке был оформлен в стиле особняка

богача. Входная дверь магазина была украшена фальшивым семейным гербом. Но предлагаемая одежда не шокировала и не отличалась изысканностью. Она сулила респектабельность, свойственную верхам среднего класса. Стены магазина были украшены фотографиями площадок для игры в поло, сценами охоты и солидных вечеринок.

Этот просчитанный маркетинговый ход стал интересен, когда не только покупатель и продавец стали относиться к нему как к реальности. Например, в 1987 году журнал «Esquire» поместил фото Лорена на обложке. Ведущей темой журнала было современное лидерство. Для лучшей продажи журнала точно такое же фото было размещено на всю полосу в качестве рекламы в «New York Times». На фото Лорен был облачен в джинсовый костюм с приталенной курткой. Одна нога поднята, будто опирается на невидимый обломок скалы или стул. Большой палец руки засунут в карман. На его голове покоится американская армейская фуражка с золотым галуном. Его глаза смотрят прямо на вас сквозь дымчатые очки, а на лице — невозмутимая улыбка командира. По стилистике изображения — это наполовину Дуглас Маккартур, наполовину пилот ВМС. Заголовок гласит: «Ральф Лорен о лидерстве». Под ним воспроизведено послание от руки: «Лидер имеет взгляд и убеждение, что мечту можно осуществить. Он вселяет силу и энергию в других, чтобы достичь ее». Ниже журнал напечатал свое собственное сообщение: «Лидерство привлекает лидеров. Лидеры — это различие между успехом и посредственностью. Где находитесь вы? Там, где встречаются стиль и реальность. В «Esquire»¹⁵.

Здоровой реакцией на это была бы понимающая улыбка и мысль, что Лорен делает хорошую рекламу. Но в подсознании у каждого возникнут ассоциации с второсортным актером в роли президента США. Вопрос не в том, что звезды могут прийти к власти, а в том, что существует разрыв между реальной властью и тем, как ее преподносят. Если бы Лорен был одним из тех, в кого он вырядился, то его слова были бы правдой, вне зависимости от нашего мнения об этих фразах. Но он не лидер. И у него, насколько нам известно, нет ни собственных взглядов, ни убеждений. И уж конечно, он не

внушает силу и энергию. Что он умеет, так это успешно продавать одежду, используя фальшивое чувство снобизма. «Таким образом, все свелось к тому, — писал Йозеф Рот, — что мир начал восхищаться и преклоняться перед портным!»¹⁶

Такое мифотворчество не ограничивается дизайнерами и модельерами. Возьмем, к примеру, самую популярную в США ведущую ток-шоу, Опру Уинфри. В 1989 году в титульной статье журнала «New York Times Magazine» эта молодая женщина, которую ежедневно смотрит от одиннадцати до шестнадцати миллионов человек, заявила следующее: «Величие каждого соотносимо с тем, для чего Вселенная поместила его здесь. Я всегда знала, что родилась для величия... Я — не Бог. Я повторяю слова Ширли Маклейн: «Вы не можете все время повторять людям, что вы Бог». Очень трудно смириться с этой мыслью»¹⁷.

Журналистка, написавшая этот очерк, выражает свой скептицизм в отношении сказанного, но общественные настроения вселяют не больше скептицизма, чем могли вызвать французские противники Наполеона. Самоуверенность и ветры времени надувают паруса Уинфри.

Она и Лорен слишком незначительны по сравнению с мучениками-знаменитостями, которые ничего не требовали и не предлагали, а были просто самими собой. Элвис Пресли обрел силу бессмертия, сопоставимую разве что с мумиями, подобными Ленину. Дом Пресли — имитация довоенного поместья с колоннами, хрустальными люстрами и позолоченными зеркалами — имеет все атрибуты места христианского поклонения¹⁸. Полмиллиона человек ежегодно посещает поместье Элвиса Грэйсленд. Это больше, чем посещают Маунт Вернон, имение Вашингтона, или Монтичелло, имение Джефферсона. Как плащ святого Франциска или шляпы Наполеона, обмундирование парашютиста Элвиса и другие его одеяния размещены на манекенах в натуральную величину, которые двигаются по эскалатору как иллюстрация его трагического движения к тучности и отчаянию. Есть здесь и его свадебный костюм, символизирующий тот рубеж, когда каждая девушка-обожательница потеряла его, а с другой стороны, ставший на-

чалом его крестного пути. Его пятифутовый свадебный пирог высится памятником крушения романтических мечтаний нескольких миллионов. Позади дома, в саду медитаций — его могила, которой можно поклониться. Предание его тела земле, в отличие от тех, из которых сделали чучела и разместили в мавзолеях, только укрепило его миф. Появляется все больше двойников Элвиса, утверждающих, что он восстал из мертвых.

Не многие из звезд могут возвыситься до религиозного уровня реинкарнации мифологии. Большинство из них, в том числе Лорен и Уинфри, вынуждены на словах формулировать, в чем состоит их миссия, уподобляясь, таким образом, писателям, философам и политикам. В 1987 году певец Дэвид Боуи, например, предложил в своем интервью такую нравственную и философскую установку:

«Вопрос: В течение 1970-х вы бравировали своей бисексуальностью. Сегодня вы живете с вашим сыном Зоуи в Швейцарии, около Лозанны. Похоже, вы отказываетесь от своей экстравагантной жизни.

Боуи: Я очень изменился после отъезда из Соединенных Штатов в 1976 году. Я отошел от своей старой жизни. Там я жил жизнью типичного декадента. Я возвратился в Европу и решил стать отцом. Живя с сыном, я вырос. Я созрел.

Вопрос: Вы когда-то заявили: «Я хочу пройти по жизни, как Супермен».

Боуи: Боже мой! Я, должно быть, был мертвецки пьян. Я, должно быть, прочитал слишком много Ницше.

Вопрос: Каков самый большой риск, которому вы когда-либо подвергались?

Боуи: Я принимал наркотики. Это — риск, который я не рекомендовал бы никому»¹⁹.

Большинство из тех, кто реально держит в руках власть, никогда не читали Ницше и понятия не имеют, что следует говорить о наркотиках. Но это просто подчеркивает, как разделились власть и известность. И большинство звезд также не читали Ницше. Их мифологический посыл не имеет цели, он соткан из капризов, личных пристрастий и материальных возможностей. Рок-звезда Джордж Майкл то поет: «Я хочу

секса с тобой», то сочиняет песню «Вера». Возможно, через некоторое время он споет обо всех важных социальных и моральных проблемах, начиная с гражданских прав и кончая реинкарнацией.

Цивилизации все труднее вынести и сохранить любое нравственное осуждение в течение длительного времени, и это стало одним из практических результатов популярной мифологии, в которой господствуют звезды. Сейчас возможны только краткосрочные нравственные порывы. Они появляются неожиданно, привлекают наше внимание и затем также внезапно исчезают. В результате нравственных приговоров становится не меньше, но больше. Они преследуют определенную цель, не всегда явную, но у них нет глубоких корней, и они быстро смываются волной сочувствия или возмущения. На практике это приводит к тому, что у людей вырабатывается представление об относительности любых моральных суждений и принципиальных вопросов. Например, в одном номере журнала можно опубликовать любую подборку материалов о разных реальных людях и звездах, будто слава сделала их совместимыми. Номер журнала «Paris Match» от 3 июня 1988 года не является исключением²⁰. В начале номера помещен материал о беседе папы римского с известной писательницей Марией Антуанеттой Маккиоччи, которая только что порвала с коммунизмом и вернулась в лоно церкви. Она пишет: «Я встречалась с Мао, де Голлем, Хо Ши Мином, и однажды в Куме, святыне Ирана, меня принял ужасный Хомейни. Но больше всех меня взволновала эта встреча (с папой)».

Сразу же вслед за этим материалом помещено интервью с восходящей в то время секс-звездочкой Беатрис Дейл. На фотографиях она полураздета или обнажена. На одной из них Беатрис изображена в углу комнаты, рот широко открыт, глаза прикрыты, на лице гримаса оргазма, поза — как будто она готова принять очередного клиента. В интервью она, в частности, говорит: «Не стыдно ли мне? Никогда!» Или: «Мне всегда предлагают роли сексуального животного, но я — воплощенная Дева Мария». Следующий материал — интервью с Джорджем Майклом:

«Вопрос: Трудно быть секс-символом?

Майкл: В этом деле есть свои взлеты и падения».

За этим следует материал о том, как отмечала в кругу семьи получение степени юриста дочь Жаклин Кеннеди. Мельком упоминается мифологическая вдова. Вслед за Жаклин идет Жан Мари Ле Пен, лидер правых радикалов во Франции. В тот период он боролся за влияние в Марселе. Как всегда, его популярность зависела от таланта разжигать чувство неприязни к иммигрантам из Третьего мира. Но его широкая обаятельная улыбка неотличима от улыбок миссис Кеннеди, Джорджа Майкла, Беатрис Дейл, да и папы римского, материалом о визите которого в Южную Америку заканчивается этот номер.

Слава, а не популярность является главным показателем масштаба звезды. Славой обладают все — рок-звезды, священники, расисты и святые. Если положение звезды невозможно измерить нематериальными средствами соревнования, то его можно оценить по степени эмоционального воздействия звезды на публику. В этом смысле слава стала решающим этапом соревнования. Она не похожа на выборы с определением победителя, так как они предполагают последующую ответственность. Звезда должна поддерживать славу на должном уровне, но за этим не следует никаких обязательств.

Удивительно то, как забывают или игнорируют людей, которые обладают реальной властью, вне зависимости от их моральных качеств. В разгар первой волны голода в Эфиопии национальный фонд опросил во Франции молодых людей в возрасте до восемнадцати лет о том, кто, по их мнению, оказал наибольшую помощь голодающим в странах Третьего мира²¹. В списке из двенадцати имен было семь звезд. И более 65 процентов опрошенных назвали звезд. Четыре из пяти наиболее часто упоминаемых имен принадлежали певцам или комикам. Набрав 27 процентов, первое место занял певец Даниель Балавуан, к тому времени уже разбившийся в аварии на мотоцикле. Третье место занял комик Колюш: за него проголосовало 11 процентов опрошенных. Он, кстати,

тоже погиб в мотоциклетной аварии. За ним шли певцы Франс Галь и Боб Гельдоф. Среди имен звезд было указано одно имя, которое принадлежало не звезде. Мать Тереза набрала 15 процентов. Она, играющая роль средневековой святой, является звездой в старом смысле этого слова — случайный пережиток прошедших эпох. Балавуан и Колюш, и в самом деле принесли много пользы, но их гибель сделала из них в некотором роде мучеников, и только поэтому за них отдали больше всего голосов. Они стали мучениками. Мучениками чего? Славы? Молодости? Не совсем ясно.

В то же время лишь 3 процента отметило усилия Красного Креста. Совокупная сумма денег, собранная всеми звездами вместе, включая мать Терезу и Боба Гельдофа, не составляет и одного процента от суммы, собранной Красным Крестом. У этой организации имеются свои недостатки, но низкий уровень признания публики — следствие умышленной скромности. Красный Крест не относится к знаменитостям. Хорошо, что хоть кто-то его отметил. Западные правительства и их министры, которые оказали самую большую помощь, даже не были упомянуты.

Такое искаженное понятие славы влияет на гонорары звезды. Сорок лет назад пирамида тех, кто зарабатывал больше всех, была такой же, как и сто лет тому назад. На ее вершине были крупные землевладельцы и бизнесмены — капиталисты, банкиры, коммерсанты, торговцы недвижимостью. Теперь большинство из существующих капиталистов и огромное количество менеджеров корпораций уступают звездам. Журнал «Forbes» поместил список из сорока самых высокооплачиваемых деятелей сферы развлечений. Их годовой доход колеблется от двух до восьмидесяти миллионов долларов. Первая десятка зарабатывает более двадцати миллионов долларов в год. Из сорока человек восемнадцать певцов, девять артистов и лишь шесть работают на телевидении. (Телевидение ритуально, а это не лучшие условия для создания отдельных знаменитостей. Трое из шести названных — ведущие ток-шоу.) В списке присутствует только один писатель и один режиссер, есть два мультипликатора, три боксера; а двое из девяти названных актеров — Сильвестр Сталлоне и Арнольд

Шварценеггер — сделали деньги, играя роли боксеров или демонстрируя свои мускулы. Это — следствие того, что люди путают звездность, спортивное соревнование и миф о рыцаре-крестоносце или дуэлянте.

Зарботки почти всех наемных руководителей корпораций в США не позволяют им попасть даже в конец упомянутого списка. Большинство из президентов компаний получают от 1 до 2 миллионов долларов в год. Опра Уинфри зарабатывает 80 миллионов долларов. Мадонна — 63 миллиона. За исключением президента корпорации «Chrysler» Ли Якокки, также знаменитости, никто из руководителей не получает более 10 миллионов долларов в год, не говоря уже о 20 или 50 миллионах. Хотя стоит отметить, что ведущие топ-менеджеры дополнительно к заработку получают и пакеты акций своих компаний. Один из мультипликаторов в списке — Чарльз Шульц, автор фильма «Снупи, вернись домой!». Его личный годовой доход превышает 30 миллионов долларов. Доход от его личных корпоративных продаж только в одной Японии составил приблизительно 350 миллионов долларов.

Когда в 1987 году французенек просили выбрать трех известных женщин, которых на улице провожают восхищенными взглядами, пятьдесят из шестидесяти одной названной были звездами. Четыре — политическими деятелями. Принцесса Уэльская, которую тоже причислили к знаменитостям, была единственной представительницей королевских семей. Более того, она и политические деятели оказались в самом конце списка. Зато все звезды были на самом верху. Актрису Катрин Денёв упоминали почти в три раза чаще, чем политического деятеля Симону Вей, которая в то время была самой известной среди французских общественных деятелей женского пола. В продолжение прошлого десятилетия Денёв была более убедительна в роли «образца для подражания, включая принцесс», чем любой известный общественный деятель. Мать Тереза в список не попала.

Самозарождение внутренних классовых различий, включая протокол и этикет, всегда было признаком того, что недавно образовавшаяся группа становится частью организо-

ванного общества. Беспорядочная, но быстро растущая группа звезд в западном мире получила свое социальное обособление и структуру в 1937 году, когда американка Уоллис Симпсон, дважды разведенная дочь владельца крупной сети пансионатов, вышла замуж за Эдуарда VIII, короля-императора Англии, Шотландии, Уэльса, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии и т. д. Разразившийся беспрецедентный скандал, который угрожал стабильности правительства, вынудил его отречься от престола и способствовал созданию тысяч книг, фильмов, романов и пьес. Не потому, что госпожа Симпсон связала Америку и Европу. И не потому, что ее простая семья породнилась с самой знатной семьей в мире. И даже не потому, что в популярной мифологии эта пара стала символом победы романтизма над рангами, социальным положением и обязанностями. Прежде всего, победа г-жи Симпсон на сердечном фронте неожиданно продемонстрировала, что для абсолютной славы королю не хватало лишь связи с реальным миром. Как только с этим было покончено, он стал автономной звездой. Он стал самым известным в мире человеком, просто потому, что существовал сам по себе.

Путешествия этой необычной пары — с континента на континент, с одной вечеринки на другую — стали своего рода королевской процессией короля и королевы Царства Славы. Везде, где они появлялись, они легитимировали актеров, певцов, нуворишей, просто приветствуя их и участвуя в танцах и обедах вместе с ними, то есть фактически живя их жизнями. Нувориши, таким образом, добивались общественного признания впервые в истории не через структуры традиционного общества, а при помощи нового класса звезд. Это принесло новый приток денег и одновременно послужило сигналом, что дряхлеющие королевские семейства в глазах общества и скучного современного правящего класса технократов утратили блеск. Если современный эквивалент французского откупщика налога на соль уже не может мечтать о титуле герцога, полученном с почестями во дворце, то он будет мечтать о том, чтобы стать звездой, которую будут развлекать за обедом герцог и герцогиня Виндзор-

ские. Длительное воздействие семьи Виндзоров на класс звезд и на общественную мифологию в целом сравнимо с влиянием Людовика XIV и королевы Виктории на их аристократию и общество. В 1987 году драгоценности герцогини были проданы на аукционе Sotheby's через много лет после смерти ее мужа и более чем через десять лет после того, как она окончательно состарилась и одряхла. Предложения поступили от всех ведущих знаменитостей наших дней, включая Жаклин Онассис, одну из двух самых известных женщин, не считая самой герцогини. Звезды хотели купить немного легитимности, которую содержали эти жемчуг и алмазы²². Оцененные в 7 миллионов, они ушли за 50 миллионов долларов.

Элизабет Тейлор предлагала по телефону 623 миллиона долларов за бриллиантовый аграф для перьев, принадлежавший принцу Уэльскому. Едва купив его, она явилась с ним на ежегодный бал Малькольма Форбса, чтобы ее увидели все. Модельер Кельвин Кляйн заплатил за три предмета 1,3 миллиона долларов. Он сказал прессе, что собирается сразу же подарить их жене: «Лучший подарок, какой только можно себе представить». Джоан Коллинз, по слухам, купила сапфировую брошку за 374 миллиона долларов. Жадный до славы адвокат по бракоразводным делам Марвин Митчелсон заплатил 605 миллионов долларов за ожерелье из аметиста и бирюзы. Он объявил об этом в прессе и посвятил эту покупку памяти своей матери. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений относительно того, за что люди платили деньги — за драгоценности или за сувениры-свидетельства легитимности, стоячий воротничок с жемчугом и алмазами, который был объявлен имитацией, а поэтому не был ценной вещью, был продан всего за 51 тысячу долларов.

Что касается публики, которая некогда следила за жизнью двора по дворцовым бюллетеням, а ныне воочию наблюдает жизнь звезд, то она могла принять участие в аукционе, благодаря известной фирме Франклина Минта, специализирующейся на продаже товаров по почте, которая смогла купить браслет. Его рекламное объявление с фотографией госпожи Симпсон, чем-то напоминающей кош-

ку, и с наложенным изображением купленного браслета заняло целую страницу. Вот начало рекламы копии этого браслета:

«ГЕРЦОГИНЯ. ДРАГОЦЕННОСТИ.

Для женщины, которая знает, чего она хочет, и получает это. Сделайте ваш выбор. Браслет «Пантера» стал знаменит, благодаря женщине, о которой говорили больше всего. Уоллис Симпсон, женщина, которая похитила сердце короля Англии и отказалась вернуть его.

Недавно в Женеве, в Швейцарии, этот браслет был выставлен на аукционе столетия. Общая выручка составила более пятидесяти миллионов долларов. Среди претендентов на приобретение легендарных драгоценностей герцогини Виндзорской были богатые и знаменитые люди. От Элизабет Тейлор до Жаклин Онассис».

Цена этой части славы герцогини составляла 195 долларов плюс взимаемый государством налог с продаж. Принимая во внимание инфляцию, это было, вероятно, равно цене небольшого обломка Креста в девятнадцатом веке.

Новые богачи стремятся стать звездами, а не аристократами, и ведут себя более нелепо, чем герои Мольера и Шекспира. Запад теперь заполнен журналами, единственная цель которых — потакать новым богачам. Самый глянцевоый и самый циничный журнал «Town & Country» удовлетворяет амбиции богатеньких тем, что приглашает их на страницы журнала в качестве героев. Это, в свою очередь, привлекает рекламодателей. Эти, в общем-то, рядовые люди позируют, сидя верхом на лошади в охотничьем костюме или в длинном платье на фоне копий картин Моне, не только для того, чтобы показать, как они богаты. «Town & Country» создает им имидж настоящих звезд, для которых фотография и репортаж в журнале — обычное явление.

Статус звезды так привлекателен, что даже представители самых известных богатых семей и старой аристократии или дворянства не в силах устоять перед этим соблазном. Джанни Аньелли, правитель империи Fiat, и его друзья часто дают пространные интервью, в которых подробно обсуждается его личная жизнь: измены, мечты и проблемы с сыном²³.

В среде знаменитостей допустимо даже насилие. Толпы людей аплодировали у стен суда, в котором Уильям Кеннеди Смит, Майкл Милкен и Клаус фон Бюлов пытались доказать, что есть стильное преступление и есть немодное преступление. Фешенебельное убийство против немодного убийства.

Самый интересный исполнитель реального насилия — тореадор. Он не участвует в соревновании, но добивается поклонения толпы, не становясь звездой. Он борется не с другим человеком, а с животным. И цель этой борьбы не в том, что один победит, а другой проиграет. Бой быков — не спорт и не театр. Это — общественная церемония, которую смогли бы понять ацтеки, евреи Ветхого Завета или любой христианин, который признается себе в том, что его религия основана на ритуальном прославлении человеческого жертвоприношения.

Тореадор — противоположность индивидуума, не говоря уже о звезде. Люди интересуются звездами, потому что на определенном уровне они хотели бы ими быть. Люди не идут на корриду с мечтой исполнить роль тореадора. Величие тореадора возрастает пропорционально тому, насколько он рискует своей жизнью в процессе борьбы с быком. Величина риска определяется той степенью, с которой он предлагает себя в жертву от имени толпы. Чем выше риск, тем прекраснее ритуал, в котором он участвует. И выжив, что бывает часто, но не всегда, тореадор, однако, приносит кровавую жертву людям. Почти в каждой цивилизации бык поднимается из глубоких пещер человеческого подсознания как символ физической, сексуальной силы. Таким образом, если не происходит гибели человека, толпа становится реальным участником жертвоприношения нашей жизненной силе. Это — религиозная церемония, находящаяся в своей эволюции точно на полпути между изначальным приношением человека на алтарь и недавним компромиссом, предлагающим хлеб и вино.

На фестивале «Феерия» в Ниме в 1987 году Пако Охеда получил в награду ухо быка за особенно блестящий, но опасный способ победы над быком. Охеда — один из великих тореадоров нашего времени — исключительно эмоционален: он может неожиданным действием взорвать толпу. Случайный

наблюдатель может подумать, что толпа реагировала на него так, как реагируют на звезду. Когда он закончил выступление в Ниме и стал совершать круг почета с ухом в поднятой руке, на него обрушился ливень из цветов, и среди них кто-то бросил крошечный венок из фиалок. Охеда передал кому-то ухо, элегантно взял в руки скромный синий венок и закончил круг почета. Зрители стоя аплодировали ему. Мы свыклись с тем, что спортсмены при каждом удобном случае потрясают поднятыми кулаками, демонстрируя готовность преодолеть реальную опасность. Охеда действительно рисковал жизнью, но было видно, что он не преувеличивал свою победу, и сразу же ушел в тень. Это отступление, эта скромность еще сильнее взволновали зрителей. Стоит отметить, что, несмотря на свою популярность и известность, большинство тореадоров не принадлежат к сливкам общества.

А вот заурядные торговцы насилием часто становятся настоящими знаменитостями. Продавцы оружия, которые раньше старались держаться в тени, за исключением, разве что, Бэзила Захарофф, теперь принадлежат к миру звезд. Они приносят с собой ореол секретности, государственных тайн и коррупции на самых высоких уровнях. Аднан Хашоги, саудовский дилер, встречается то с одной знаменитостью, то с другой, раздавая интервью на своей яхте, самолете или на одной из своих вилл. Его дочь Набила позирует для модных журналов, стоя на крыле его реактивного самолета. Он позирует для репортеров в личном кегельбане, любит начать беседу с описания своей новой яхты: «Если султан Брунея купит «Набилу-I», я начну строить «Набилу-II». На ней будет глубоководный аппарат, рассчитанный на шесть человек, и специальная камера для съемок морского дна. В каждой каюте будет специальный экран...» — чтобы наблюдать грядущие войны и экономические контракты, в которые могут войти поставки танков и строительство школ. «Если умеренные придут к власти в Иране, и начнутся переговоры о мире с Ираком, то обе нации будут восстанавливать разрушенное. Это — рынок в 170 миллиардов долларов. Если я получу десятую часть этого рынка, то это будут 17 миллиардов!»²⁴

Пример Хашоги показывает, что звездные общества устраивают нравственные критерии не только со страниц глянцевого журналов. Даже в реальном мире сгодится любая знаменитость. Теперь на фешенебельных приемах в Лондоне или Нью-Йорке гвоздем программы зачастую становятся не только те, на кого заведено уголовное дело, или освобожденные под залог, но и закоренелые преступники. Ни теннисист, ни принцесса или кинозвезда, ни даже боксер не могут по популярности соперничать с человеком, совершившим убийство необычным образом, или мошенником. Например, Сидни Биддл Бэрроуз, более известная как мадам Мейфлауэр. Она выросла в приличной семье, в Нью-Йорке открыла бордель, позднее была арестована и осуждена. Теперь она живет за счет своей сомнительной славы. Микеле Синдона, бывший глава Banco Ambrosiana, умерший при таинственных обстоятельствах в тюрьме, стал звездой итальянского общества после банкротства своего банка и возбуждения уголовного дела. К ним относится и Личо Джелли, руководитель влиятельной масонской ложи П-2, бежавший из швейцарского суда; братья Крэй, банда профессиональных воров и убийц, бывшие некогда в большой моде в Лондоне. В 1989 году на выставке Королевской академии монументального искусства, посвященной столетию фотографии, в разделе под названием «Стильные фигуры» было помещен портрет актера Майкла Кейна. Рядом с ним висело фото трех братьев Крэй. Обе фотографии сделал известный модный фотограф Дэвид Бейли. Братья были в белых рубашках с галстуками, из кармашков выглядывали платки. Их можно было принять за рок-группу, если бы не их откровенно угрожающий вид, который сумел ухватить объектив фотографа. Рональд Биггз, участник «великого ограбления поезда», стал популярным героем сразу же после совершения этого необычного преступления. Клаус фон Бюлов, вначале арестованный по подозрению в убийстве своей очень богатой жены, а позднее выпущенный под залог, стал повсюду желанным гостем, после того как стало известно, что уже написан ордер на его арест.

Рейналдо Эррера, редактор журнала «Vanity Fair», сказал, что он хотел бы устроить необычный званый обед. Он меч-

тал, чтобы среди гостей были фон Бюлов, Джин Хэррис, которая еще находилась в тюрьме, и Айвен Боески. «Это добавило бы пикантность обеда, потому что она осуждена за убийство, а его обвиняли в том, что он ограбил почти весь мир. Но на большинстве обедов у людей нет рядом этих великих личностей»²⁵. Интерес общества к Аднану Хашоги значительно вырос, после того как он был арестован в Швейцарии и экстрадирован в США. Его освободили под залог в 10 миллионов долларов, но он был вынужден носить на руке неснимаемый электронный браслет и находился под подпиской о невыезде в районе Нью-Йорка. Пока он сидел в швейцарской тюрьме, его дочь в Париже была приглашена на бал, который давал барон Хуберт фон Панц. Среди гостей были брат президента Миттерана, модельер Энрико Ковери, отец и мачеха принцессы Уэльской, вдова Генри Форда, герцог и герцогиня да Ларошфуко, князь и княгиня фон Турн унд Таксис.

Легко представить, какой возбуждающий холодок удовольствия испытала бы скучающая публика от встречи за обеденным столом с прилично одетым, изысканно говорящим убийцей или грабителем, но какое удовольствие могли они испытать от встречи с жалким мошенником и проходимцем Айвеном Боески? Ответ прост: звезды несут на себе королевскую славу, но они не обременены их ответственностью. Поэтому они не любят власть. А кто может быть более привлекательным, чем тот, кто сумел одурачить государственные структуры? Кажется, что посыл Жана Жене был верным: величайшее благо — это ничем не стесненное, совершенное деяние, никак не соотносящееся с интересами общества. А величайшим деянием будет ограбление, или убийство кого-то, или, если это сделать не удастся, кража общественного богатства и общественных институтов.

Знаменитостей нашего времени отличает величайший эгоизм. В печати сохранилось описание одного из «эпических» событий недавних времен. В июне 1986 года княгиня Глория фон Турн унд Таксис дала званый прием в своем имении в Баварии в честь шестидесятилетия со дня рождения своего супруга, одного из самых богатых аристократов в ми-

ре. Он, кстати, скончался вскоре после торжества. Было приглашено 250 гостей. Глория, которой нравилась роль звезды, в качестве темы вечера выбрала XVIII век.

В гости приехали знаменитости со всего света. Аднан Хашоги прибыл в одеянии восточного принца, его жена была одета в стиле мадам Помпадур, их сопровождала пара голых по пояс слуг-нубийцев. Малкольм Форбс прилетел на собственном самолете, названном «Орудие капиталиста». На Форбсе был шотландский килт. Альфред Таубман, промышленный магнат и владелец Sotheby's, превративший продажу драгоценностей Уоллис Симпсон в свой личный финансовый триумф, был облачен в костюм французского короля и возглавлял группу излучавших самодовольство аристократов. Энрико Ковери, бывший ранее дизайнером сумок и бижутерии и ставший женским модельером, был в наряде дона Джованни. Корреспондент «Vanity Fair», по собственному признанию, хотел вырядиться Вольтером, но передумал, считая это претенциозным. Княгиня Глория успокоила его: «Но в восемнадцатом веке все было претенциозным»²⁶.

Естественно, княгиня выбрала наряд Марии Антуанетты. Она была в великолепном платье, на голове — розовый парик высотой в два фута, увенчанный жемчужной короной, которую носила сама Мария Антуанетта. Но почему одна из богатейших сиятельных особ наших дней в качестве образца для подражания из всех королев выбрала именно ту, вызвавшую ненависть у подданных, неприязнь у аристократии и исключительно из-за собственной глупости лишившуюся короны? Княгиня Глория дала подсказку: последняя королева Франции на самом деле была современной звездой.

В известном смысле, мы совершили полный круг. Звезды кажутся более реальными, чем те люди, в руках которых находится реальная власть. Те, у кого она есть, вынуждены все больше и больше имитировать звезд. Быть реальным уже недостаточно. Нужно выглядеть как реальный.

Первые признаки такой путаницы появились в 1956 году, когда киноактриса вышла замуж за наполовину обанкротившегося, но настоящего князя, правившего страной. Тогда

Монако считалось менее реальным местом, чем даже сейчас. Это княжество не имело политической независимости и прав, за исключением одного: право приглашать к себе всех тех, кто стремился уклониться от налогов. Грейс Келли быстро показала, что она могла бы превратить княжество своего мужа в приносящее доход предприятие, если бы удалось соединить три аспекта расцветающего на Западе звездного общества: азартные игры, уклонение от налогов и светскую жизнь, которая в этом случае означала бы, что, знакомясь со знаменитостью, человек сам становился звездой. Светская жизнь была ее личным вкладом, и она ей способствовала, привлекая своих друзей — преимущественно певцов и актеров — в постоянно обновляемую звездную галактику. Тридцать лет спустя обе ее дочери стали прекрасным воплощением знаменитости во втором поколении. Они сочетают в себе отблеск пустого титула, азартной игры, актерства и привлечения иностранных денег. Все эти четыре вещи сами по себе являются отражениями реальности. А дочери, таким образом, стали отражением отражения. Стефания, вторая дочь, иногда пробует себя в роли дизайнера купальников и поет в стиле диско. В 1987 году в радиоинтервью она сделала паузу, размышляя над своими обязанностями, затем произнесла: «В моей роли княжны и рок-звезды...» — как будто это было одно и то же.

Первый акт господства звезд начался с Виндзоров в 1937 году. Второй открылся свадьбой Грейс, королевы кино, ставшей княгиней в 1956 году. Тысяча пятьсот журналистов освещали событие. Подвенечное платье Грейс с тысячами жемчужин, пришитых к фате, было созданием самого известного дизайнера киностудий MGM. Брак привлек больше международного внимания, чем коронация Елизаветы II тремя годами ранее. (Сознательное или бессознательное стремление британской королевской семьи стать звездами двадцатого столетия, возможно, зародилось после свадьбы в Монако.) На свадьбу сама Грейс и гости со стороны невесты приплыли через Атлантику на корабле. Когда корабль входил в гавань Монако, на берегу ее ждал сказочный принц и его двор. Грейс в это время стояла на носу лайнера. В этот миг с гидро-

плана Аристотеля Онассиса, который в то время управлял местной экономикой, на нее упали тысячи красных и белых гвоздик²⁷.

В продолжение следующих двух десятков лет Грейс и Ренье привлекали к себе больше международного внимания, чем королевские семьи любой настоящей страны. Это внимание не имело отношения ни к власти, ни к титулу, ни к родovitости. Они были идеальными звездами, соединившими в себе мифологию старых дворов и современных киностудий.

Что касается Аристотеля Онассиса, то он больше, чем кто-либо другой, иллюстрировал желание самих новых богачей стать звездами, ухватившись за фалды тех, кто уже стал звездой. Он не стал размениваться на такие мелочи, как покупка респектабельности, титула или должности при дворе. Он нуждался всего лишь в примитивной славе. Он получил ее, сделав своей любовницей Марию Каллас, самую известную оперную примадонну тех дней, а также взяв под контроль экономику игрушечного княжества Ренье. Став знаменитостью, Онассис бросил за ненадобностью и любовницу, и карликовое княжество. Он двинулся дальше, чтобы жениться на вдове самого известного мученика второй половины двадцатого века.

Члены семьи Кеннеди сыграли главные роли в третьем акте запутанной пьесы о посвящении в звезды. Молодому президенту показалось, что можно вернуться к системе восемнадцатого столетия, когда в королевских дворах были объединены власть и блеск. Но его мученическая смерть возродила в воображении образ Камелота. Когда Онассис женился на госпоже Кеннеди, вывод был очевиден: известность, а не власть создает современные мифы.

Спустя двадцать пять лет после того, как Кеннеди был убит в Далласе, его племянница, ведущая ток-шоу на CBS, вышла замуж за Арнольда Шварценеггера. Бывший мистер Вселенная и кинозвезда второго уровня, он — один из самых богатых и самых известных американцев современности. Подружкой невесты была дочь Кинга Артура (табачный магнат — *прим. ред.*). Шафером был чемпион-тяжеловес. Среди гостей, помимо семейства Кеннеди, были: ведущий NBS Том

Брокау, звезда тенниса Артур Эш, певец Энди Уильямс, телеведущая Барбара Уолтерс и Энди Уорхол. Это намного ближе к составу современной королевской свадьбы, чем *dépassé*, организованное вокруг принца Чарльза и леди Дианы. Совершенно естественно, год спустя президент Буш возродил в памяти образ Конана-варвара и Терминатора в Белом доме, чтобы назначить его председателем Президентского совета по физической культуре. Экранный убийца так прокомментировал свое назначение: «Президент Буш очень озабочен не только тем, чтобы эта нация была более доброй и более благой, но также, чтобы она была физически здоровой нацией»²⁸. Что неудивительно, ведь Шварценеггер строил свое тело, используя стероиды.

Естественно, что в подобной атмосфере политические деятели должны были превращаться в звезд. Ч. Райт Миллс уловил грядущие перемены задолго до того, как они превратились в тенденцию. Он показал, что знаменитость все чаще начинают путать с имиджем и имидж с реальностью, воспроизводя описание в «New York Times» еженедельного телевизионного выступления президента Эйзенхауэра в 1954 году. «Выступление президента Эйзенхауэра прошлым вечером было самым лучшим его появлением на телевизионном экране. Президенту и его телевизионному консультанту Роберту Монтгомери удалось, по-видимому, найти такой «формат», который дал возможность президенту проявить непринужденность и несравненно большую, чем раньше, свободу движений. В результате он добился наиболее желательного для телевидения качества — естественности... К концу беседы, в те моменты, когда ему хотелось подчеркнуть сказанное, генерал либо переплетал руки, либо постукивал пальцами одной руки по ладони другой. Эти действия, чисто интуитивные, создавали впечатление неподдельности всего происходящего...»²⁹

Генерал был на пути к актерскому мастерству. Если это не было важно для бывшего главнокомандующего армией освободителей, то это было крайне необходимо для обычного политического деятеля.

Например, в 1954 году приклеенная «голливудская» улыбка кинозвезды только утверждалась в качестве культового символа успеха. Легко проследить распространение этой искусственной мимики из страны в страну. Франция, несмотря на устоявшуюся систему звездности, была одной из последних стран, перенявшей ее. В этом «виновата» объединенная, но изолированная от других политическая элита страны. В иконографических терминах, улыбка для французов была символом интеллектуальной недостаточности и признаком некоторой безответственности. Да, певцы и актеры улыбались. Но если бы крупный писатель или важный политический деятель посмели показывать свои зубы, к ним не относились бы серьезно. Посмотрите на фотографии писателей до середины семидесятых годов. Чтобы держать в руках перо, человек должен сомкнуть уста. То же самое характерно и для фотографий на предвыборных плакатах. В конце 1970-х несколько политических деятелей вдруг начали выставлять напоказ зубы, тщательно растягивая и фиксируя верхнюю и нижнюю губы, одновременно приподняв их концы, чтобы все увидели, что они пока еще не выпали. Это нелепое выражение лица не имело никакого отношения ни к индивидуальности, ни к политике. Но камеры это передавали, подчеркивая звездный имидж. Внезапно улыбка стала настолько важной, что Франсуа Миттерану, тогдашнему кандидату в президенты, который уже в течение сорока лет занимался политикой, спилили резцы, чтобы он мог показывать публике свои зубы, не становясь при этом похожим на вампира.

Победное шествие «голливудской» улыбки по демократическим государствам было важным показателем. Цель общественных деятелей, обладавших властью, в девятнадцатом и в начале двадцатого века состояла в том, чтобы дистанцироваться от королей и их дворов, которых постепенно стали больше идентифицировать с их известностью, чем с их властью. Короли были очаровательны; они улыбались. Новые рациональные демократы были серьезны, они не улыбались. Сжатые губы были символом их преданности общественному служению, в то время как звезды унаследовали очарование и открытую улыбку королей. Через полтора века

представители общества вдруг устали от рассудительного, умного выражения лица. И хотя власть все еще находилась в их руках, уже не оставалось сомнений, кому именно они подражали.

Общественные деятели начали приобретать все больше черт звезд; большинство этих черт поверхностны, если не фальшивы. Спустя несколько месяцев после американских президентских выборов 1984 года Джеральдин Ферраро, первая и поэтому вошедшая в историю женщина-кандидат на пост вице-президента, стала использовать свою популярность, рекламируя пепси-колу. А на обложке глянцевого журнала в 1989 году канадский министр финансов Майкл Уилсон был изображен в смокинге вместе с кинозвездой в черном вечернем платье без бретелек. Она возлежала на высокой скамье почти на уровне его плеч и одной рукой щеконала подбородок министра. Ее губки были вытянуты, словно для поцелуя, а ноги раздвинуты; ее лобок смотрел прямо в объектив. Казалось, что ее снимали для разворота «Playboy». В статье, иллюстрация к которой была вынесена на обложку журнала, писалось о рождественских подарках. Уилсон хотел получить коньяк, пальто из кашемира, дорогую ручку и ноутбук за девять тысяч долларов. Статья появилась одновременно с предложениями Уилсона по изменению ставки налога с продаж, которые вели к серьезному ухудшению финансового положения малообеспеченных граждан³⁰.

Большинство европейцев могут утверждать, что это — признаки упадка Америки. На самом деле, это — часть общего процесса, который в разных странах принимает разные формы. Например, резко возросла доля информации о звездах в общем объеме свежих новостей. Ранее Франция всегда считалась образцом серьезного подхода к освещению важнейших событий и их политического анализа. Но когда в середине восьмидесятых умерли четыре французские звезды, каждую смерть рассматривали как событие первостепенной важности. Точнее, каждая смерть была самым важным пунктом всех телевизионных и радионовостей. И это не были просто сообщения. Вечерние выпуски новостей на каждом общенациональном канале проводили подробный

анализ их карьер. Соболезнования выразили все государственные и общественные деятели страны, включая президента республики, премьер-министра и большинство ведущих политических лидеров. Они отмечали крупный вклад, который внесли комик Колюш, разбившийся на мотоцикле в возрасте сорока с небольшим лет; пародист Тьерри Ле Люрон, умерший от СПИДа в тридцать лет; певица Далида, покончившая с собой примерно в пятьдесят, и актриса Симона Синьоре, умершая от рака в преклонном возрасте, после долгой карьеры.

Десятилетием ранее те же самые кончины были бы упомянуты в самом конце выпуска новостей, как имена футболистов на скамье запасных во время матча. Для всех четырех были организованы пышные частные похороны с почестями почти на государственном уровне. В те же семидесятые—восьмидесятые годы проходили похороны ряда великих военных деятелей и премьер-министров, но они выглядели серыми и убогими по сравнению с великолепием отпевания Тьерри Ле Люрона в церкви Мадлен. В первом ряду стояли: премьер-министр Жак Ширак с женой; жена президента Миттерана, министр культуры Франсуа Леотар и бывший премьер-министр и лидер партии Раймон Барр с супругой. Валери Жискар, прежний президент республики, не присутствовал на церемонии, но он написал о Ле Люроне эссе на две страницы для «Paris Match».

Когда Сара Бернар, самая известная звезда столетия, умерла в 1923 году, в течение трех дней было опубликовано несколько статей на первых полосах в серьезной прессе и краткие отчеты на внутренних страницах других газет. Президент республики через адъютанта передал организаторам похорон свою визитную карточку. Конечно, драматурги и актеры провожали ее в последний путь по-иному. Когда в 1959 году Жерар Филип, вероятно самый известный французский актер 1940—1950-х годов, трагически умер молодым, в возрасте тридцати семи лет, на первых полосах большинства газет не было никаких статей об этом, была только информация в рамке среди материалов, опубликованных на внутренних полосах. Не было напечатано ни одного комментария,

ни одного соболезнования от официальных лиц. Когда в 1963 году скончалась великая певица Эдит Пиаф, реакция была примерно такой же.

Когда же актер и певец Ив Монтан умер в 1991 году, французское радио и телевидение круглосуточно сообщали об этом событии. Президент, премьер-министр и все лидеры оппозиции выразили свое соболезнование. Три самые серьезные ежедневные газеты целиком посвятили первые полосы этому событию. Все остальные газеты также публиковали обширные материалы. Конституционная реформа, которая в то время обсуждалась в стране, отошла на задний план. О бомбардировке Дубровника все забыли. Все, кроме одного из серьезных еженедельников, поместили фотографии певца на своих обложках, материалы о нем занимали от тридцати до сорока страниц³¹.

Аналогичное явление можно наблюдать и в Великобритании, где постепенное повышение роли звезд происходит при помощи системы королевских почестей. Королева раздает их после консультаций с правительством. На первый взгляд, этот дождь из медалей и титулов, обрушившийся на певцов, портных и футболистов, является признаком долгожданного эгалитаризма. Но какова реальная цель почестей? Ранее они создавались для вознаграждения за услуги короне и, как следствие, государству и обществу. Вообще это предназначалось для вознаграждения за гражданскую или военную службу. Конечно, богатые всегда были в состоянии купить себе некоторый уровень почестей, либо набивая казну политической партии, либо финансируя насущные потребности общества — от богаделен и учебных центров до концертных залов и художественных галерей.

Но большинство звезд даже понарошку не делают вид, что служат общественному благу. И ответственность за раздачу им почестей лежит на тех, в руках которых находятся формальные рычаги власти. Они награждают звезд, чтобы оказаться рядом с людьми, более известными и более популярными, чем они сами. В этом смысле система почестей была полностью искажена, потому что вместо вознаграждения за службу власти эксплуатируют известность звезд.

Это смешение реальности со славой хорошо видно на примере подачи публике новостей. Менеджеры групп распределения новостей получают информацию, которая может быть разбита на три категории. Первая состоит из правды, как ее представляют политические деятели, правительства, ведомства, частные корпорации и любые другие лоббирующие группы или организации. Вне зависимости от их политики или интересов, каждый представляет свою правду в рамках современной аргументации.

Эти сообщения составлены либо в контексте эмоций, поскольку шовинизм и ура-патриотизм не совместимы с аргументацией, либо в контексте информации, поскольку информация состоит из фактов, а факты — бесспорное основание правды. Журналисты немного могут сделать с этими пустопорожними разговорами, им приходится ограничиваться цитатами, на которые с такой же пустой критикой нападают конкурирующие политические деятели, оппозиционные партии и союзы. Столкнувшись с подобной информационной грызней, люди невольно превращаются в пассивных получателей, а журналисты — в пассивных передатчиков информации. И те и другие бесконечно ждут, когда представится удобный случай, спустить этих вещателей с небес на землю.

Скандалы вокруг личностей остаются одной из немногих областей, в которых это можно осуществить. Журналисты могут поймать общественного деятеля на каком-то незначительном прегрешении: член кабинета министров брюхатит свою секретаршу, президент принимает бриллианты от императора-диктатора, который к тому же, возможно, и каннибал, другой президент дает указание подчиненным проникнуть в штаб оппозиции. Гражданин может ухватиться за этот конкретный скандал, вместо того чтобы участвовать в серьезных общественных дебатах по важным проблемам. Политические деятели возражают, что это — мелкие нарушения. Но они избегают упоминаний о своей стабильной интеллектуальной непорядочности относительно того, что они считают важными материями.

Вторая категория информации — это *чрезвычайные происшествия*: убийства, изнасилования, похищения, угоны само-

летов, наводнения и снежные бури. Нет большой разницы между старой историей о трех пожарных тревогах и одним государственным переворотом. Оба события связаны с непосредственным, конкретным насилием. Оба хороши для выпуска новостей, потому что их легко описать или показать, трудность заключается в том, что они происходят неожиданно и не длятся долго.

Наконец, есть новости о знаменитостях. Знаменитости должны делать вид, что они постоянно чем-то занимаются, и, таким образом, создавать информационные поводы, в противном случае они могут потерять известность. Они — надежные и регулярные поставщики информации и, следовательно, гаранты занятости журналистов. Настоящих звезд становится все больше, политики начинают вести себя подобно звездам, а звезды участвуют в общественной жизни. В конце концов, если видимость — это то, в чем нуждается структура новостей, то профессиональные звезды — это профессионалы в создании видимости, в то время как политические деятели — не более чем способные любители.

Комбинация из этих трех категорий новостей еще больше стирает грань между ответственной общественной деятельностью и славой. Она также отвлекает политических деятелей и бизнесменов от мыслей о реальных событиях в реальном мире и переключает их внимание на звездные моменты. Например, министр приглашает группу журналистов в шахту. Он надевает шахтерскую каску, спускается под землю, фотографируется, затем появляется наверху, чтобы сделать пустое заявление о добывающей промышленности. Иными словами, министр сочетает первую категорию — рациональную пропаганду — с третьей категорией — участием в пародии. Авария на шахте, пожалуй, была бы еще лучше для министра, который знает, как использовать в своих интересах вторую категорию — *чрезвычайные происшествия*. Полет над лесными пожарами или землетрясениями, посещение больниц, заполненных жертвами, и похорон после бедствий — это часть метафорического искажения связей с общественностью, в которых избранный чиновник исполняет воображаемую ведущую роль.

Превращение самих журналистов в звезд было только вопросом времени. Например, все электронные программы — будь то новости, публицистика или передачи о культуре — требуют присутствия ведущего. Зрители или слушатели могут обсуждать волнующие вопросы или обращаться к общественным деятелям только через этого посредника. Поэтому зритель доверяет ведущему, а не его гостям.

Ведущий был на прошлой неделе посредником зрителей. Он или она будет снова в «ящике» на следующей неделе, в то время как роль интервьюируемого гостя часто ограничивается ролью пятого колеса в телеге. Иногда ему уделяют десять минут. Иногда — пятнадцать. В редких случаях — тридцать. Имеется в виду «грязное» время. Оно включает в себя вступление, вопросы, комментарии и заключение. Поэтому самая важная личность в любых электронных СМИ — не президент Соединенных Штатов, не папа римский и даже не Джейн Фонда или Майкл Джексон. И если зритель сразу же не отождествит себя с ведущим, то он переключится на другие каналы в поисках другого посредника.

Самым важным телевизионным событием в президентской гонке Буш—Дукакис были не два этапа их дебатов, а появление Буша в программе «Вечерние новости» на канале CBS, у ведущего Дэна Разера. Разер пытался затронуть вопрос причастности Буша к делу «Иран-контрас». Тогдашний вице-президент отказался отвечать на вопросы. Вместо этого он напал на Разера, обвиняя его в грязной тактике. Эта конфронтация не имела отношения к прошлой политике; она лишь продемонстрировала способность Буша бросить вызов ведущему, что удивило всех и произвело впечатление. Буш сумел сделать невозможное: он поставил под сомнение мотивы и компетентность ведущего. Готовность бросить тень на признанную звезду доказала, что у него самого есть талант звезды. Впоследствии Разер протестовал, утверждая, что столкновение личностей было делом второстепенным, гораздо важнее был отказ вице-президента отвечать на его вопросы. Но его протест был обращен в пустоту, потому что он сам — один из тех, кто больше других пользуется благами системы, которая отдает предпочтение знаменитости, а не содержанию.

Тем не менее, телевизионные общественные программы позволяют публике увидеть руководителей и президентов компаний, услышать их ответы на вопросы. Но какое значение имеют эти вопросы и расследования, если ныне мы завершили круг и вернулись в восемнадцатый век, когда славу путали с властью. Выходит, все, что мы видим, — это иллюзия действительности?

Большинство теледебатов, например о важных для общества событиях, сведено до уровня притчи, курьезного продолжения христианской традиции. Но христианские притчи подвергали сомнению устоявшиеся взгляды, их создавали, чтобы в обществе произошли изменения. Телевизионная притча внушает самодовольство и утешение. Телевизионные интервью общественных деятелей мало отличаются от интервью Мадонны или Катрин Денёв. Люди видят как достоинства, так и недостатки политических деятелей. Конечно, о серьезных вещах типа проблем West Bank, Ливана, «кислотных дождей» или контроля над вооружениями говорят часто, но очень поверхностно, опуская аргументацию. Это — естественный продукт системы, которая всегда отдает предпочтение освещению личности, а не проблемы. В результате знаменитости, Дэну Разеру, не удалось подобрать аргументацию по конкретному вопросу, когда общественная персона, Джордж Буш, ответил в стиле звезды, переходя на личности. Политические деятели часто обвиняют СМИ в том, что они отказываются серьезно обсуждать вопросы. Совершенно очевидно, что политические деятели научились этому у СМИ и теперь сами поступают аналогичным образом.

В течение 1950–1960-х годов, в сравнительно оптимистичное время, среди технократов наблюдалось стремление к участию в политике. Они полагали, что для общества необходимо объединить в рациональных руках администрирование и политическое руководство. Один за другим к власти приходили такие мужчины и женщины, как Вильсон, Трюдо, Хит, Картер, Жискара д'Эстен, Шмидт, Ширак и Тэтчер. Очевидно, это было апофеозом рационального человека, который

прекратил служить вышедшим из моды политическим деятелям и сам становился новым лидером.

Через несколько лет большинство из них стали считаться политически неудачниками, некоторые потерпели поражение на очередных выборах из-за неумения общаться с публикой. Те немногие, кто выжил, сделали это, потому что были сильными личностями.

Следующая, противоположная волна политических деятелей не подвергала сомнению и не отвергала сложные рациональные структуры. Они просто старались привить доверие к себе, предлагая крайне простые решения. Такое возвышение посредственности до уровня общественной добродетели породило лидеров, которые не были интеллектуалами, но обладали некоторым талантом исполнителя. Они знали, как производить впечатление людей решительных, или хорошо осведомленных, или умеющих отдавать команды. Некоторые, как Маргарет Тэтчер, фактически были технократами, хотя сама она скрывала это, избрав своеобразную, резкую манеру поведения. С непоколебимым упорством она в течение почти десяти лет боролась с инфляцией, но после этого инфляция в Англии была выше, чем в почти социалистических европейских странах, где эта борьба не велась. Ее «звездные» черты были столь ярко выражены, что никто не замечал ничего, кроме ее жесткости, которая затмевала ее оригинальность и изобретательность. Ее антиинфляционные меры ограничивались стандартными методами, которые ранее безуспешно уже использовали технократы типа Валери Жискар д'Эстена, к которому она, говорят, испытывала презрение. Но тогда ее сражения мало напоминали реальные, они были больше похожи на их театральный вариант.

В США система использовала второсортных актеров. Американские интеллектуалы пытались относиться к этому как к случайности, причуде. Но именно эти качества посредственной звезды с ограниченным интеллектом возвели Рональда Рейгана на вершину власти и удерживали его на ней. До того как стать кандидатом в президенты, Рейган написал автобиографию «Где остальная часть меня?». Это — продолжение главной идеи «Королевского пути», фильма, в кото-

ром его герой приходит в себя в больнице и обнаруживает, что ему ампутировали ноги. Вместо того чтобы пылиться на полках в американских университетах, эта книга была быстро распродана. В ней Рейган объясняет, как настоящая звезда впервые с начала Века Разума смогла подняться на вершину власти.

Один из основных его принципов заключался в том, что в эпоху отсутствия упорядоченности лидерство является, прежде всего, вопросом ясной перспективы. Он, кажется, понял это уже во время своего первого появления на публике, когда ему едва исполнилось двадцать лет. Он вел по радио прямой репортаж о футбольном матче: «Мы ведем репортаж со стадиона «Мемориал» университета Айовы, поле под нами, к юго-западу, на расстоянии сорока ярдов». Рейган-автобиограф дает свой комментарий: «Я всегда верил в *рассказчика*, который указывает свое местоположение, таким образом, аудитория может видеть игру его глазами»³².

Этот принцип противоречит всему тому, во что верят и что делают рациональные люди. Они подбирают ответы и затем доказывают их правильность слушателю, который не может не чувствовать, что это — ущемление его достоинства. Рейган, возможно, оставил открытым вопрос об интеллектуальных качествах людей, но он не подвергал сомнению их достоинство. Он просто занял место в выбранной позиции, лицом к лицу с действительностью, как сумел, рассказал слушателям, где он находится, а затем описал в простых, но мифологизированных понятиях то, что видел. Если вы признаете, что он был именно в том месте, о котором он сообщал, вам будет трудно отклонить описание, которое следовало далее. Он занял такое место, что, ведя репортаж, он как бы становился глазами других людей.

Актеры понимают, что все мы хотим верить. Правдоподобие драмы всегда подразумевало наш добровольный отказ от недоверия. Очень важно — не принудительный отказ. Человек хочет верить. И едва ли следует упрекать нас в этом.

Рациональные элиты могут отрицать это при помощи всевозможных аргументов, но правда заключается в том, что становится все больше политических деятелей ниже средне-

го уровня, занимающих самые высокие властные позиции, с которых можно выдавать ясные указания. Иллюзия, которую они создают, является копией иллюзии актера Рейгана. В поисках реальной власти они должны разыгрывать из себя людей, которые делают вид, что они реальны. Канцлер Германии, лидеры двух ведущих партий в Великобритании в избирательной кампании 1992 года, премьер-министры Канады и Новой Зеландии — все они не блещут интеллектом. Они меняют свои убеждения с легкостью людей, доверяющих лицам, проводящим опросы общественного мнения. Они описывают эти мимолетные представления заученными формулировками. Их лексикон состоит из шаблонных фраз. И они ведут себя так, чтобы как можно больше походить на актеров из второсортных фильмов. Иными словами, после периода, когда технократы попытались стать звездами, а звезды — политическими деятелями, политическая пустота была заполнена посредственностями, которые могут легко овладеть техникой звезд, изображать безобидных людей и овладеть достаточным объемом рационального словаря, чтобы издавать звуки компетентности.

Джордж Буш, технократ и хорошо осведомленный человек, отполировал свой словарь, чтобы скрыть признаки своего интеллекта, используя главным образом простой лексикон деятеля шоу-бизнеса. Даже Барбара Буш не избежала того же. В июне 1989 года появились слухи, что она рассержена на Ли Атуотера, председателя Национального комитета Республиканской партии. Госпожа Буш считалась старомодной, практичной обительницей Восточного побережья, ориентированной на семейные ценности — полной противоположностью звезды. И все же она велела своему пресс-секретарю сообщить прессе, что она «позвонила ему, [г-ну Атуотеру], чтобы сказать: «Я люблю тебя». Можно сказать, что тут первая леди в большей степени, чем даже госпожа Рейган, показала себя звездой из второсортного фильма. Мало того что она с легкостью использовала сентиментальное преувеличение, исключаящее ответную реплику, что больше подходит звездам. Она также сочла возможным вмешаться в ход национальной политики, повторив слова из популярной песни

Стиви Уандера: «Я позвонил, только чтобы сказать, что люблю тебя». Это был подход, достойный Рональда Рейгана, который регулярно использовал сценарии и диалоги из фильмов в политических выступлениях, как будто они были реальными, чтобы воскресить приятные подсознательные воспоминания. Ей, как и президенту Рейгану, этот звездный прием удался. Слухи прекратились.

Забудем о госпоже Буш, но присутствие таких людей во властных структурах ставит на повестку дня вопрос о том, во что превратилась сама власть, если она находится в руках подобных людей. Превратилась ли сама власть в иллюзию в мире, где Ли Якокка считается капиталистом, Брайан Малруни — главой правительства, Ральф Лорен — лидером, Дэвид Боуи — нравственным ориентиром, Боб Гельдоф — спасителем Эфиопии, а Катрин Денёв — эталоном женственности? Эта путаница вполне естественна. Актер Том Круз получил 16 миллионов долларов за период с 1986 по 1987 год, то есть больше, чем кто-либо, за исключением президентов двух крупнейших американских корпораций. В 1986 году, когда ему было двадцать три года, Круз сказал о своем фильме «Лучший стрелок», посвященном летчикам-истребителям: «Главный инструктор однажды сказал мне, что есть только четыре занятия, достойные мужчины: актер, рок-звезда, пилот реактивного истребителя и президент Соединенных Штатов»³³. Он был актером и только что сыграл роль летчика-истребителя в фильме, который посмотрело больше людей, чем проголосовало за президента Соединенных Штатов. Тем самым эти люди сделали большее, чем просто проголосовали за него. Они вышли из своих домов и заплатили деньги, чтобы посмотреть на него. Поскольку в терминах мифологии исполнение роли летчика-истребителя значит столько же, сколько реальная служба летчика, и учитывая то, что преклонение перед ним как актером гораздо большее, чем перед президентом США, можно с уверенностью сказать, что двадцатитрехлетний Том Круз уже освоил две с половиной из четырех профессий, достойных мужчины, и его фото вскоре украсит обложку журнала «Time».

Конечно, эти высказывания можно считать дешевой рекламой. Но их делает реальными именно то, что власть относится к звездам со всей серьезностью: встречается с ними, хвалит их, подражает им. Более того, технократы и современные звезды напоминают друг друга, что и не удивительно, так как и те и другие — производные рационального общества. Никто из них не стремится к серьезному разговору и не умеет его поддержать. И те и другие пользуются ранее отработанными приемами. Актер, как современный человек разума, должен заранее знать предназначенное ему место и выучить наизусть слова перед выходом на сцену.

Подобных людей ничто не ужасает больше, чем встреча с человеком, который умеет публично думать, то есть с тем, кто умеет открыто ставить вопросы. Сама публика настолько привыкла к заранее расписанным дебатам, где звучат только теоретически «правильные» ответы, что она уже не способна положительно реагировать на аргументы, вызывающие сомнение. Реальное сомнение вызывает реальный страх.

В середине 1980-х годов наследник британского престола начал публично обсуждать вопросы о состоянии общества, архитектуре и жизни людей. Он также не раз показал, что способен мыслить открыто и независимо. Он уехал на уединенный шотландский остров, где занимался тяжелой работой на ферме, чтобы получить возможность спокойно размышлять.

Реакция общества оказалась прогнозируемой: от замешательства до язвительного осуждения. Все рассуждали примерно так: «Может ли человек, который так поступает, стать нашим королем? Он — звезда «на законных основаниях». Известность, в конце концов, это то, что у королевской семьи осталось от былой власти. Власть = известность. С другой стороны, он и его семья — элементы важнейшей действующей мифологии нации. А мифология не должна думать. Скорее, она, даже теоретически, не способна это делать.

Стремление принца думать самостоятельно весьма интересно: ведь это представляет собой прямую дорогу в прошлое, к абсолютной монархии. Он вовсе не посягает на изменения в конституции. Но его комментарии — составная часть дли-

тельной эволюции, аналогичной тому, как в Средневековье один монах писал комментарии к рукописи предшественника. Он — прямой потомок прежних держателей как неограниченной власти, так и абсолютной славы, дающий комментарии к вопросам, волнующим общество в рациональную эру.

Вилли Брандт, как и швед Улоф Пальме, с небольшим успехом пытались делать то же самое, когда были у власти. Когда так осмелился поступить Пьер Мендес-Франс, он был отлучен от государственных постов на двадцать пять лет. Пьер Эллиот Трюдо несколько раз публично размышлял о трудных проблемах и поиске их решений³⁴. Но он сразу же и со всех сторон подвергся обвинениям в безответственности. С поправкой на его время, де Голль нашел явный компромисс. Размышлениям на публике он предпочел страницы книг и в них позволил себе ставить фундаментальные вопросы. Но когда он говорил, то изъяснялся либо как человек разумный, либо — эмоциональный, то есть использовал либо ответы, либо мифологию. В себе он отделял автора, знающего, как жить с сомнениями, от государственного деятеля, который является воплощением уверенности. Это был блестящий маневр, о чем свидетельствует раздражение, а иногда и ярость, с какой относились к де Голлю противостоящие ему элиты.

Сегодня стало трюизмом, что мифологические фигуры и властители не должны думать публично. Они должны ограничить себя подтверждением истин. Звезды ведь почти не умеют вести публичные дебаты. Им противна сама мысль о том, что лучший способ борьбы с замешательством — усилить его, задавая неудобные вопросы до тех пор, пока не будет выявлен источник всех затруднений.

Если к государственным деятелям, обладающим реальной властью, присмотреться с исторической точки зрения, то станет очевидно, что власть и личную ауру изначально объединяют два очень разных вида известности. Первый — это та бесполезная известность, которой было предостаточно в прошлом при королевских дворах и которая соотносится с известностью придворного. Такой вид популярности, по сути, не изменился до нашего времени. Эта известность не зависит от того, что человек делает, и чем-то напоминает гла-

зурь на торте. Слава такого рода безобидна, и в реальности она является неким подобием наградного знака отличия, который как бы охраняет общественного деятеля.

Второй вид славы следует отнести к тем, кто принял на себя ответственность быть на виду у общества. Цель такого рода известности — представить слугу народа на обозрение гражданам, чтобы они могли высказывать свои суждения о нем. Если человек пользуется властью, чтобы служить нам, то мы должны видеть его и понимать, что он делает. В этом смысле слава — это обязанность быть на виду и, следовательно, быть открытым.

В наше время публичные персоны автоматически стремятся к первому виду известности, то есть к известности придворного и кинозвезды, имея своей целью завоевание и удержание власти. В то же время они скрывают то, как они пользуются своей властью на самом деле, и много говорят о том, что пресса охотится за ними и вторгается в их частную жизнь. Иными словами, они ведут себя как кинозвезды, но настаивают на том, что их частная жизнь — это их личное дело. Это очевидное лицемерие. Если вы желаете быть кинозвездой, то ваша сексуальная жизнь, включая количество ваших оргазмов, интересны обществу в первую очередь, точно так, как это было при власти абсолютных монархов.

На самом деле проблемой является как раз то, что публичные люди сейчас известны обществу совершенно не по тем причинам: у них слишком много частного именно в тех областях, которые по-настоящему значимы для общества. Если бы они вели себя не так, как кинозвезды, их частная жизнь перестала бы быть так интересна. Полное освещение их жизни, именно как общественно значимых личностей, тем не менее, создало бы им такую известность, которой не выдержала бы ни одна кинозвезда. Если бы прожекторы славы были направлены на них под правильным углом, общество стало бы ожидать от своих руководителей совсем иного. Людям гораздо важнее узнавать их реальные мысли из интервью и видеть их в действии в сложные моменты, а не представлять в официальном свете их непредсказуемость, свойственную кинозвездам, а не общественным деятелям.

Глава двадцать первая

СВИДЕТЕЛЬ ВЕРНЫЙ

Не удивительно, что человек, обладающий властью, стремится контролировать слова и язык, которыми пользуются люди. Навязать людям определенный способ общения — самый лучший способ контроля власти над их мыслями. Грубый правитель пытается прибегать к насилию и страху. Деспоты вводят деспотическую систему и вводят открытую цензуру. Чем более хитроумна элита, тем больше внимания она уделяет созданию интегрированных интеллектуальных систем, которые внедряются для контроля над отдельными высказываниями, появляющимися в средствах коммуникации. Для таких систем требуется только, чтобы цензура людей в мундирах была тайной. Иными словами, тот, кто обретает власть, всегда будет пытаться изменить существующий в обществе язык. А тот, кто уже находится у власти, будет пытаться его контролировать. Правительства, как пришедшие к власти в результате самых банальных выборов, так и появившиеся в результате самого жестокого государственного переворота, всегда чувствуют, что обязаны как-то оснастить себя лингвистически.

На кон поставлены не только отдельные актуальные доводы, а вообще весь багаж цивилизации. Все сказанное об истории общества создает мифологию, дает направление воображению индивидуума и ограничивает или обосновывает все, что намерены совершить власть предержащие. Мы можем смотреть на события нашей истории с любой точки зрения, искажая историю происхождения и характеристики отдельной личности, чередование монархов, последовательность войн, развитие архитектуры, взаимоотношения между богатыми и бедными, между мужчинами и женщинами — и все для того, чтобы это соответствовало тому, что в данный момент исповедует власть. Но любой, кто попытается посмотреть на это беспристрастно, обнаружит, что любое серьезное изменение в структуре власти либо сопровождалось революцией в языке, либо такая революция следовала сразу после этого. Во второй половине века мы заблудились в дебрях об-

ественных наук, которые претендуют на то, что, благодаря применению рационального анализа, они освободили человека от интеллектуальных манипуляций прошлого. И все-таки, спокойно рассмотрев любой отдельный объект, подвергшийся такому анализу, мы обнаружим, что новый подход к объективной реальности — это всего лишь еще одна манипуляция с языком во имя чьих-то интересов.

Словотворец, будь то пророк, певец, поэт, эссеист или писатель, всегда был либо катализатором подобных изменений, либо, напротив, слугой правящей власти. Он разрушает старые формулы мудрости или правды и, таким образом, освобождает человеческое воображение, чтобы человек считал, что он и общество, в котором он живет, идет новым путем, который писатель впоследствии будет должен описать уже новым языком. Он, возможно, также поставит себя на службу новой власти и построит лингвистические ловушки, в которые можно будет поймать освобожденное воображение.

Прорыв в сложившемся порядке старой лингвистики Запада начался в четырнадцатом веке, когда Данте, Петрарка и Чосер создали замечательные произведения, отразившие окружающую действительность, гениально обогатившие национальный язык великой поэзией. Они намеренно использовали народные наречия в противовес латыни — языку официальной церкви и интеллектуального мира. Этот прорыв превратился в то, что может быть лучше описано через языковую революцию шестнадцатого и семнадцатого веков, когда авторы — во главе с Шекспиром и Мольером — впервые отразили реальность в форме драмы; затем реальность прошла испытание завуалированной неспринужденностью эссе, в котором Мишель Монтень и Абрахам Коули стали подвергать сомнению теоретические истины своего времени, что, наконец, привело к рождению грубого и малодостойного средства общения — романа. Перо однорукого воина Сервантеса и забияки-врача Рабле превращало эти простые прозаические повествования в целые модели цивилизаций, которые помещались в воображении каждой отдельной личности — модели, которые отражали реальность

и не были официальными портретами миропорядка. Наконец, в восемнадцатом и девятнадцатом веках форма романа обрела полную силу, устремив свой мудрый взгляд в самые затаенные уголки установленного миропорядка. Начиная от Свифта и Вольтера, до Гете, Диккенса, Толстого и Золя высмеивалось и препарировалось все: от великих мифов до методов промышленного производства и амбиций жены доктора в небольшом городке.

Роман не был продуктом или творением разума. Это было самое иррациональное средство общения, которое не подчинялось никаким законам стиля и идеологическим формам. К законам разума он имел такое же отношение, как анимизм к религии, — так как не был привязан к организованности местной жизни и не зависел от структур общества. Для сочинителя романов все было живым и, следовательно, интересным и достойным сомнения. В своих лучших проявлениях роман стал проводником человеческой честности. Однако, как и демократия, он развивался вместе с развитием сил разума. Бесконечные варианты реформ способствовали становлению романа как основной художественной формы рациональной революции.

В ходе этой революции романисты обрели известность и стали существенно влиять на процессы развития общества. Они писали обо всех аспектах цивилизации, и если они относились к проблеме серьезно, а затем хорошо описывали ее в своих произведениях, то могли оказывать влияние на положение крестьянства, государственное образование, на нравственную оценку устройства империи или на то, что женщины думали о мужчинах, а мужчины о женщинах.

Большинство граждан все еще рассматривает наших современных литераторов как людей, имеющих независимый голос, которые склонны скорее критиковать действительность, нежели хвалить ее. И все-таки трудно вспомнить другое время, когда столь многие мастера слова были бы так далеки от основной массы граждан и когда язык, сообщающий им о том, что происходит вокруг них и с ними, был бы таким беспомощным, как сейчас. Никогда ранее деяния власти не были так отгорожены от общества мракобесием

профессиональных диалектов. Деятельность городской администрации по уборке мусора; работа дирекций оперных театров, университетов и больниц — все, что имеет отношение к науке, медицине, сельскому хозяйству, музеям и тысяче других сфер, затуманено вследствие краха ясного и понятного всем языка.

Как ни странно, но писатели или не хотят, или не способны эффективно противостоять этому мракобесию профессионалов. На самом деле большинство из них активно в нем участвуют. Они кричат о своей независимости от существующей власти, а сами признают и даже поощряют те элитарные структуры, которые возникли в литературе за последние полвека. Как рассерженные личности они справедливо критикуют власть, но как писатели они скорее поощряют ее, так как сами пользуются особыми литературными формами, и используют ту византийскую лживость языка, которая расслаивает и запутывает наше общество. От того, что должно быть свойственно писателю, они унаследовали желание открыто говорить во имя справедливости, но многие просто забыли, что делается это, прежде всего, посредством писательского творчества. В своем стремлении стать частицей рационального общества, что означает стать уважаемыми профессионалами, они забыли, что единственной и самой важной задачей литератора является не что иное, как сохранение общего для всех языка как средства, которое своей ясностью защитит общество от невнятности власти. Профессионал по определению является членом общества. У него есть предписанная ему территория, исследуя которую он получает рычаги влияния. Писатель же должен быть добросовестным наблюдателем за людьми, из которых состоит общество, и, следовательно, не должен находиться ни внутри, ни вне общества. Он должен принадлежать обществу только в качестве связующего звена между отдельными его членами.

Романисты обладают властью формировать в обществе мечту среднего класса о свободе. Они способствуют накоплению сил, которых будет достаточно, чтобы пробить защитную оболочку власти. Эти силы формируются из ра-

зумного сочетания идей, ситуаций и эмоций. Они уже использовали их, чтобы уничтожить доверие к церковным догмам и вымостить дорогу, по которой пошли нарождающиеся демократические режимы. Они, исходя из собственной точки зрения, определили, какие именно стандарты должны быть свойственны ответственному гражданину, растиражировали свои взгляды и постоянно отстаивают их. Они стали голосом гражданина, поднятым против вездесущего *разума государства*, и этот голос снова и снова вещает, давая обоснование всему: от несправедливых законов и использования детского труда до некомпетентности генералитета и антигуманных условий службы в военно-морском флоте. В таких странах, как Россия, голос писателя был слышен повсеместно, он постоянно звучал и вел за собой от Наполеоновских войн до революции 1917 года. Во всех странах Запада эти рассказчики, а также поэты и эссеисты, клеймили и обличали, снова и снова высмеивая и тех, кто находился у власти, и саму систему власти. Темы, ставшие благодаря им популярными, постепенно породили законы, пусть и несовершенные, но все-таки улучшившие человеческую природу.

Эмоциональность, которая ныне в такой немилости при решении общественных дел, была одним из наиболее сильных качеств романа, она помогала нейтрализовать самые убедительные обоснования государственных интересов и экономической необходимости. Великий романист мог испытывать гордость, его слова текли потоком, они звучали даже в бурных взрывах смеха, вырывавшихся из уст его героев-суперменов, которые все чаще захватывали власть и разрушали все на своем пути. Повсюду в обществе блестящие и приличные люди разума умолкали перед лицом таких героев. Они выявили, что разум убивает силу эмоций, необходимых для защиты. Романист может уберечься от этого, потому что ему необходимо общаться с простыми людьми, но также необходимо создавать живые характеры людей, которые выглядели бы как реальные мужчины и женщины. Романист поклоняется разуму, но как автор он зависит от здравого смысла, постоянно стремясь создавать гармонию ин-

теллекта и эмоций. Наше воображение пробуждают те авторы, которые превыше всего ценят ясность и универсальность языка. А писатели, так или иначе обслуживающие власть, почти всегда поклоняются сложности и запутанности языка высших сфер.

Романисты имеют все больше успеха и влияния, да и их самих развелось больше, чем можно себе представить. Итак, в последние годы двадцатого века гражданин непрестанно вглядывается в огромную толпу пишущей братии, надеясь отыскать среди них нового Толстого и Золя, Гете, Конрада или Лорку, и действительно, находит великих писателей и великие романы. Но прежде всего, он обнаруживает, что литература не дает ему того, что он ожидает, так как пишущее сообщество все больше зависит от несговорчивых распространителей романов, слишком сложных для любого, кто находится вне круга полупрофессиональных читателей, от толп доброжелательных и недоброжелательных профессоров литературы. Кроме того, растет количество выпускников писательских учебных заведений, членов эзотерических сект, которые плодят высокое искусство особого рода, принадлежащих миру тщеславной прессы и миру леса рук, поднятых в стремлении лично и подробно поведать о своей личной любви и проблемах. От места, однажды занятого литератором с его опасным оружием — словом, великая армия исследователей стиля и литературоведов теперь держится подальше.

Легко оплакивать общество, в котором творческое слово утратило былую значимость и не имеет прежней весомости при решении больших и малых проблем реальной жизни. Но граждане вправе спросить: «Что этот человек знает такого, что заслуживает нашего внимания?» Даже те писатели — и великие, и не очень — которые в своих романах обращаются к реальному миру, обнаруживают, что по ним прошла литературная метла, которая метет их в сторону профессионализма и узкой специализации. Возможно, что подобный уход от реальности — это просто постепенное развитие особой формы старческого слабоумия. В конце концов, за последние семьсот лет главную сцену общественной трибуны занимало

множество совершенно разных литературных жанров. Так, баллада уступила место поэме, поэма, так или иначе, спасовала перед драмой и публицистикой, а эти последние — перед романом. В наше время в центре внимания процесс вытеснения романа электронным изображением. Ни одна из упомянутых здесь форм не исчезла, но с центральной сцены, куда направлен общественный взгляд, все они удалились за кулисы. Они бродят рядом, как недовольные актеры, которые все еще убеждены, что могли бы выступать лучше, чем новички. История никогда не обходилась с литератором как с нежным цветком. И ни усталость, ни интеллектуальный аристократизм не оправдывают бездеятельность.

Эволюция языка сводится к сериям рывков в направлении большей его ясности, что позволяло более четко формулировать идеи и добиваться их понимания. Это были моменты, когда писатели разрушали уже сложившиеся в обществе взгляды и разгоняли туман, напускаемый властью. Ничто так не страшит власть предержащих, как власть писателя над страной, над фабрикой или ребенком. Чиновник сразу бросается на поиски сбежавшего языка, и, если ему удастся его схватить, он принуждает его вернуться к соблюдению принятого порядка. Два фактора являются постоянными: в моменты своей свободы язык ищет ясности и коммуникабельности; в моменты, когда его держат в заключении, слово исполняет роль какого-то сложного и непонятного защитного устройства для тех, кто им управляет.

За последние две с половиной тысячи лет язык Запада три раза совершал побег из тюрьмы установленного и надлежащего порядка. Первый раз это произошло в городе-государстве Афины, второй раз это случилось благодаря личности молодого человека, который читал проповеди как мессия. Третий побег начался с отчаянного гения Данте. Язык, несмотря на постоянное противодействие, рос и укреплялся, пока не достиг максимума свободы в романе. Теперь этот язык, кажется, близок к тому, чтобы его обуздали силы порядка.

С самого начала побега, имевшего место в Афинах, стало ясно, что освободившийся язык будет служить индивидууму,

а не государственному порядку. Когда в 594 году до нашей эры для спасения Афин от финансового, правового и политического кризиса был призван Солон, он уже был величайшим поэтом своего времени и опытным политиком. Реформы, которые он проводил, заложили основание величию города. Еще более важно, что он внедрил в сознание западного обывателя убеждение, что умеренность и честность являются сущностью общественной жизни. Его основным оружием было слово, и он доказал, что оно может служить скорее сдерживающей силой, чем подталкивать к крайностям, что наша история, как представляется, демонстрировала уже множество раз. Своим примером он показал, что писатели должны не властвовать или читать проповеди, а что их слово должно точно отражать реальность своего времени так, чтобы человек мог его понять и, опираясь на понимание, действовать.

Неожиданное освобождение языка в 594 году до нашей эры стало возможным вследствие кризиса, столь глубокого, что перед ним оказались бессильны даже органы государственной власти. Вероятно, в то время Солон был самым популярным поэтом, но поэзия была также и главным его врагом. Гений Гомера рождал строки, говорившие о правомерности старых порядков¹. «Илиада» и «Одиссея», в которых действовали официальные боги и Герои, мертвой хваткой вцепились в сознание людей и власть. Убеждение, что дела человеческие — как в целом, так и в отношении отдельной личности — решаются на божественном уровне, не оставляло места ни для ответственности отдельной личности, ни для проявления инициативы. Фактически поощрялся произвол и право на хаос, что свойственно правителям-Героям. Как только кризис в Афинах был преодолен, Солон спокойно отстранили от власти, а его конституцию консервативные силы отвергли. А ведь Солон всего-то предложил иную модель работы власти, а не то, что было бы гораздо важнее, — иную модель цивилизации и личности.

Начатая им борьба в течение следующих двух с половиной веков то затихала, то разгоралась вновь. Перикл предложил свои политические преобразования, которые произ-

водили впечатление на уровне подсознания, но, поднимаясь на уровень сознания, теряли целостность. Появление странствующих софистов — знатоков всего на свете и весьма успешных торговцев своим знанием — показало, как дезориентировано население. Софисты того времени поразительно похожи на наших социологов и технократов. В то время, примерно в 400 году до нашей эры, Сократ и Платон, по крайней мере, решили языковую проблему. Неустанные нападки Сократа на двусмысленность знаний на самом деле были направлены против поэтов. Сократ обличал не только диктатуру Гомера, но и всю школу консервативных поэтов-драматургов. Настойчиво и громко ставя невежливые вопросы и отказываясь записывать сказанное, он подорвал их возможности по части контроля над языком. Ставя вопросы на общеупотребительном языке, он усилил ту часть языка, которую государственная власть не контролировала.

Кончилось это тем, что власти официально обвинили его в ереси и развращении юных умов, а затем приговорили к смерти 221 голосом из 280. Это несправедливое и не мудрое решение рикошетом ударило по обвинителям: все закончилось тем, что прежний порядок сознания расстроился. Осуждение Сократа и его смерть подтолкнули Платона, одного из его учеников, к разработке проекта стабильного светского общественного устройства. Каковы бы ни были недостатки «Государства» и других его работ, в них была сформулирована законченная модель цивилизации и личности. Эта ярко высказанная идея справедливого общественного строя стала настолько популярной, что все западные сообщества, возникшие впоследствии, считали своим долгом учитывать ее как для того, чтобы установить контроль над мыслями личности, так и для того, чтобы устранить подобный контроль. Возможно, самую уморительную претензию на происхождение от этой идеи выдвинула наша собственная технократия.

Афинский прорыв в языке противопоставил нравственные стандарты и свободу мысли. Сначала это проявилось в народном языке, а затем в философии. Он был против высо-

ких красот поэзии, что требовало молчаливого согласия отдельной личности. В основе второго прорыва также был народный язык в его устной форме, но на этот раз в форме проповедей. Понятные народу притчи Христа всегда противопоставляли старым религиям, сначала иудаизму, затем героической и божественной пышности римских богов.

Несколько простых слов, которые он произносил, обретали, казалось, вселенскую, непреодолимую силу; их влияние росло, несмотря на тайну, окружавшую его жизнь и смерть. Они претерпели толкование и переводы на другие языки и были собраны в виде Евангелий. Язык Христа отражал реальность таким образом, что никакая организованная сила не могла подчинять себе значения его слов или извлекать из них собственную выгоду. Даже те уступки, на которые позднее пошла церковь, чтобы получить поддержку императора и официальных чиновников Рима, не смогли умалить актуальности его языка.

И только благодаря оспариваемому позднейшему включению в Новый Завет Откровения, высшие иерархи церкви и должностные лица ее формальных структур смогли взять язык Христа под свой контроль. Рим решительно выступал за включение. Константинополь и восточная церковь упорно возражали. Этот спор, происходивший в четвертом веке, был как бы прелюдией последующего спора об идолопоклонстве, который разгорелся в 361 году, когда папой был избран Дамасий, и длился до 841 года, когда полемика вокруг иконоборчества фактически завершилась победой точки зрения Рима.

Предпосылкой появления Откровения было пророчество старика по имени Иоанн, жившего на острове Патмос. Оно открылось ему через воскресшего Иисуса Христа. В пяти включенных в текст стихах Иоанн обозначает свои особые отношения с Иисусом, представляя его как «свидетеля верного», который «громким голосом, как бы трубным» призывает его записывать то, что он увидит. «Свидетель верный» — это тот, кто видит и точно об этом повествует и поэтому достоин доверия. Иоанн, таким образом, берется передать послание Христа земным церквям. Далее

следуют страницы безумствования. В них есть место откровенному язычеству, суевериям и мрачным традициям, довлевшим над воображением варваров западного мира до появления христианства. Нортроп Фрай указал, что Откровение — не что иное, как перечень элементов сведений, извлеченных из мифов Ветхого Завета². Но это, несомненно, разновидность мифологии иудаизма, которая, если ее вычленишь из основного повествования, представляется общей для всех сект Средиземноморья. Гипнотическая красота слов и образов — которую невозможно отрицать — величественна, наполнена предчувствием катастрофы, угрозами и обещаниями. Представлена такая картина небес, которая приносит физические муки и которой Христос так тщательно избегает. На деле, однако, это законченная и сложная картина, смоделированная для воображения христианина.

Если четыре всадника Апокалипсиса, семь печатей и вавилонские блудницы, вкуче с надуманным и примитивным разделением мира на добрый и злой, были поставлены на один уровень с Новым Заветом и его Нагорной проповедью, едва ли стоит удивляться тому, что были нарушены основы языка христианства. Вероятно, он стал таким же податливым, как язык любого древнего культа почитателей Луны. На самом деле, он стал даже более податливым. Действующая власть часто была не способна исказить культы язычников или как-то манипулировать ими, так как в них строгий ритуал общины был соединен с кратким перечнем жестких правил. Апостола Павла и его Послания часто критикуют за странные для христианства идеи. Но то, что он заявлял, — просто дань политикам и политике. Откровение же Иоанна по своей природе чуждо христианской этике. Оно позволяет толковать слова Христа настолько широко, что любые действия, даже самые экстремальные, как добрые, так и злые, могут быть оправданы. Таким образом, и самопожертвование, и мученичество, и непорочность, и набожность, и забота о ближнем — все это, согласно официальному тексту христианства, ничем не лучше расизма, насилия или любой разновидности самовласти. Кем бы ни был тот,

кто писал тексты Иоанна, ясно одно: он сознательно или неосознанно служил организованной власти.

То, что Откровение было официально включено в Священное Писание, вовсе не означает, что оно равнозначно созданным до него текстам Евангелий, в которых действительно цитируются слова живого Христа, на основе слышанного очевидцем. Большая часть доверия пророчествам, которые, теоретически, были услышаны от воскресшего Сына Божьего, идет от широко распространенного поверья, что их автором был тот самый апостол Иоанн, который за много лет до того, как предполагается, написал и одно из Евангелий. Конечно, все, кто хотел это знать, знают, что это были два разных человека. Во-первых, самый ранний манускрипт Евангелия от Иоанна написан по-гречески, в то время как Откровение написано на древнееврейском. Церковь никогда не утверждала, что молодой рыбак-апостол и старик с Патмоса — одно и то же лицо. Носители власти на эту тему всегда высказывались туманно. Они позволили этому недоразумению распространиться, и это произошло настолько успешно, что большинство проповедников, пасторов и даже священников по сей день убеждены, что Иоанн был только один.

Почти для всей массы верующих, которые, начиная с четвертого века, считали, что оба текста написал один человек, было очевидно, что Откровение имеет равную ценность с тем, что этот человек написал раньше. Если он лгал на Патмосе, с какой стати тогда верить тому, что он сообщал о Христе в своем Евангелии? А поскольку его Евангелие соотносится с Евангелиями от Матфея, Марка и Луки, то кто будет верить любому другому апостолу, если Иоанн лжет?

Впоследствии тысячи богословов примутся преследовать, ослеплять и разоружать исконный язык христианства, и первым среди них станет святой Августин. Вероятно, самым эффективным приемом выхолащивания силы языка было внедрение латинского перевода Библии. В результате этого первоначальный смысл наставлений, передававшихся устно, стал зависеть только от того, какое толкование даст им священник. Тем не менее, фактическая по-

беда официальной усложненности над простым и свободным языком произошла много позже: со времени первых проповедей Христа для этого понадобилось более четырехсот лет.

Третий и самый мощный прорыв в языке начался в тринадцатом веке с попыток внутри христианской церкви и в итоге достиг кульминации через романную форму в девятнадцатом и начале двадцатого века. В настоящее время он, похоже, закончился, и господствующим языком сегодня является язык перестраховки, нарочитой путаницы и контроля над людьми. То, что этот процесс начался в церкви, едва ли удивительно. Христианство является общепринятой истиной западной цивилизации. Сама эта доктрина никаких серьезных разногласий не вызывает. Очевидной альтернативой для человека, решившего уйти от идеологических и бюрократических сложностей христианского мира, станет возврат к простоте основателя церкви.

Франциск Ассизский, сын крупного торговца, отказался от всех благ цивилизации в 1206 году. В простоте образа жизни он практически не уступал самому Христу, и это было очень красноречиво. Однако более революционным деянием стало то, что он отверг тысячелетнее бесплодное умствование богословия и идеологии, чтобы думать и говорить так же просто, как говорил сам Христос³. Это вошло в мир, где все еще господствовал мистический мрак другого святого, Бернара Клервосского, умершего за пятьдесят лет до этого. Выбор Франциска был в пользу пассивности и не предполагал вызова властям. Его идеи пронесли по Европе подобно электрическому току; они передавались в устной форме и, следовательно, оставались невидимыми для интеллектуалов и не подвластными каким-либо идеологическим и богословским структурам, контролю и ловушкам. Однако, как известно по прецедентам с Сократом и Христом, устные предания после смерти их автора становятся собственностью организаций. Церковь откорректировала взгляды Франциска, похоронив память о нем в святости, в базиликах, описывая его в книгах и изображая его на кар-

тинах, иными словами — воздав ему все формальные почести, которые только может позволить себе власть.

Если бы существовала альтернативная модель воображения, она пришла бы через письменное слово. Она бы стала раскрываться в уже существующих формах: сначала в поэтической, затем в эпической, затем в драматургической и, наконец, в форме романа. Идея повествования — рассказа — присутствовала с самого начала, и она медленно прокладывала путь через различные средства информации по направлению к самостоятельному существованию. Но возможно, самая великая работа гения проявилась очень рано, через механизмы более древних форм.

Четырнадцатый век был наполнен лингвистическими вспышками, которые произвели Данте, затем Боккаччо, Петрарка и Чосер. Они в значительной мере захватили местные не церковные наречия, которые использовались, чтобы описать бытие человека. Они также наполняли эти языки, формировали при помощи своего гения и воображения. Поэзия была, таким образом, главным центром общественной сцены. Данте, участник политической борьбы в городе-государстве Флоренция, бежавший из Флоренции в 1302 году, сознательно стал писать не на вульгарной латыни, а на том народном местном наречии, которое и было настоящим, понятным и ничем не стесненным языком простых людей. То же можно сказать о Петрарке, папском придворном; о Боккаччо, флорентийском чиновнике; о Чосере, который, прежде чем стать чиновником, состоял на военной службе у короля. Такой взрыв гуманизма был частично вызван убеждением, что такая поэзия могла оказывать глубокое воздействие на читателя. Писатели также полностью сознавали, что они балансируют на очень тонкой грани социальных разногласий, и это может стоить им должности и даже жизни, а также невинных стихов, которые содержали информацию и несли радость.

Пока поэзия оставалась оружием людей, озабоченных судьбами окружающего мира, жизнью которого они жили, она была народной силой. Примеров бесчисленное множество. Александр Поп доставлял политикам беспокойство.

Джона Мильтона посадили в тюрьму за его политические и религиозные взгляды. Уолтер Рэли был искателем приключений и придворным. Александр Пушкин сочувствовал декабристам. Михаила Лермонтова отправили в ссылку за стихи, обличавшие убийц Пушкина: «Вы, жадною толпой стоящие у трона». Альфонс Ламартин был одним из вождей революции 1848 года, а Виктор Гюго — чистым наказанием для Луи Бонапарта.

То, что Гюго числится в списке самых знаменитых людей второй половины девятнадцатого века, а Байрон был едва ли не первой знаменитостью первой половины века, не оказывает серьезного влияния на мир современной литературы. На первый взгляд, это просто подтверждает мысль о том, что романтизм не создал значительной поэзии. Но ведь слава Гюго и Байрона никак не связана с их стилем. Она имеет отношение к их желанию и способности отражать веяния времени. Когда Байрон писал: «Всякая созерцательность существования плоха. Нужно что-то делать», он имел в виду, что слова — это то, что человек делает, а не то, чем он является. Вы обязаны пытаться делать что-то в этом мире не для того, чтобы добиться успеха в смысле реализации банальных амбиций, но для того, чтобы существовать в нем, чтобы понять, как говорить настоящие слова.

Пока шли длительные споры о истинной роли поэзии, республика Дубровник оставалась особым и устойчивым поэтическим примером, примостившемся на краю Запада. Изолированный и защищенный горными кручами и морем, Дубровник ближе, чем любое другое государственное образование христианского мира, подошел к воссозданию Афин. Дубровник долго управлялся ведущими поэтами, и это продолжалось тысячу лет, с девятого по девятнадцатый век, что сделало его также самой долговечной политической организацией. Правители этого города-государства менялись по ротации ежемесячно. Все они имели превосходное образование и в большинстве случаев своими стихами⁴ были способны осудить несправедливость и защитить свободу. В продолжение этого тысячелетия город то держался независимо, то вступал в союзы с мусульманами, турками, венецианцами

и австрийцами. Несмотря на то что он имел один из самых крупных торговых флотов на Средиземном море, для своей защиты город не применял ни военный флот, ни армию. Его силой была чрезвычайно хитроумная внешняя политика, при помощи которой удавалось нейтрализовать врага. В самых трудных переговорах блистательно участвовали и поэты, которые переигрывали любых соперников и врагов, стравливая их друг с другом. Уничтожил республику, разумеется, Бонапарт, оборвал жизнь системы, просуществовавшей десять веков.

Уже в начале девятнадцатого века на Западе стали укрепляться силы, которые желали направить поэзию по пути созерцательности, самодостаточности и элитарности. Центральная позиция уже была занята романом. Позднее, но в том же веке этот процесс более или менее завершился. Даже такой гений, как Бодлер, в каком-то смысле более других занимался самосозерцанием и при этом обладал огромным дарованием истинно народного поэта, но все-таки был не способен найти свой взгляд на общество. Он писал: «Любая книга, не адресованная большинству — ни в смысле количества, ни в смысле идей — глупая книга»⁵. Нарождающаяся интеллектуальная элита, «контролировавшая» французскую поэзию, даже после его смерти долго чинила препятствия включению его в антологии, школьные учебники и энциклопедии.

Подобного рода сражения происходили и в театре. На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков на подмостки всей Европы врывались национальные языки. Эмоции, политики, национальное сознание, любовь, амбиции — обо всем этом говорилось с такой точностью и таким свежим языком, как никогда прежде. Никому бы и в голову не пришло проводить границу между театром для элиты и театром для народа. Разные люди в таких пьесах, как «Король Лир» или «Гамлет», находили то, что их увлекало. Неувядающая власть этих произведений, казалось, исходит большей частью из того, что таково сознание общества. В конце концов, большая часть публики была бедна и необразованна. Мольер появился во Франции на более поздней стадии развития

французского языка, чем Шекспир у себя в стране, поэтому его роль имела меньше отношения к взрывному творчеству началу, а больше к замечательному включению прожекторов ясности и понимания. И хотя он был лучше образован, чем его английский собрат, он также был актером, драматургом и режиссером, а его современники также не считали его образованным. Он ставил свои пьесы и при дворе, и в Париже; он писал для всех слоев французского общества. И церковь, и придворные, и самые услужливые из тружеников пера были в ярости от его способности поднимать самые простые комедийные сюжеты, написанные простым и понятным языком, до уровня выражения общественного мнения, которое прямо атакует тех, кто имеет деньги, или тех, кто использует судопроизводство для удовлетворения собственных амбиций. Чтобы остановить его, они делали все, что могли, и иногда им удавалось изолировать его или настроить против него короля.

Но перо Мольера было быстрее и острее, а также популярнее многих серых кардиналов от политики. Причина заключалась в том, что общество было на его стороне, так как он описывал мир таким, каким он был на самом деле. Посреди самого противоречивого зигзага своей карьеры, когда ему постоянно угрожали физической расправой, грозились удалить от двора и заточить в тюрьму в Париже, он ответил пьесой, которая привела критиков в ярость. В середине пьесы «Критика «Урока женам» он не стал снова пенять своим литературным собратьям за то, что те не могут общаться с великим обществом: «Я только хотел бы знать, — размышляет один из его персонажей, — не самым ли великим из всех правил является стремление не делать приятное»⁶.

Именно эта неотразимая сила народного слова — слова, которое приятно слышать, — подвигла Ришельё к основанию Французской академии. «Раны, нанесенные мечом, легко заживают, — писал он в своем «Политическом завещании», — не так обстоит дело с ранами, нанесенными словом»⁷. Очевидно, что Академия была создана для того, чтобы способствовать развитию языка и литературы. Однако, повинаясь своей внутренней логике, официальная структура, занимаю-

щаяся языком, могла быть подвижна только желанием соответствовать респектабельности и убеждением, что если кому и следует говорить приятное, так это законным властям. На практике это означало, что литературная организация, призванная давать определение и толкование, не могла не заниматься цензурой.

То, как Ришельё понимал систему и способы ее использования для контроля над идеями, было, как всегда, поразительно. То, что чествование писателей и превращение их в академиков является прекрасным способом разоружения опасных литераторов, и по сей день, в общем-то, не поняли. Если бы такое понимание появилось, писатели не стали бы так страстно поддерживать создание академий по всему миру. За исключением короткого периода во второй половине восемнадцатого века, когда практически все французские учреждения вышли из-под контроля, Академия исполнила в точности то, что ожидал от нее кардинал. Она представляла собой консервативную силу, выступающую против быстрых и неконтролируемых изменений в языке.

Главная особенность свидетеля верного в том, что он не стремится к тому, чтобы его кто-либо, кроме народа, чествовал за его слова. Способность точно отражать действительность и общаться напрямую требует от писателя абсолютно-го отказа от любых обязательств перед любой организованной структурой. Писатель может заниматься делами нелитературного мира до тех пор, пока его писательский язык прямо не подвластен чьим-либо интересам. Худшая из всех возможных комбинаций — быть вне мира как человек и быть связанным с его структурами как писатель.

Постепенное оттеснение поэзии и драмы как основных средств общения на второстепенные роли может частично объясняться тем, что таковыми стали и общественные приоритеты. Так и не освободившись от исконных корней, прорастающих еще от Гомера и все более замыкающихся в рамках ставших устойчивыми национальных языков, поэты стали творить, обращаясь к собственному прошлому, а не к читателю. Такая поэзия обращения к прошлому, какой бы блестящей и революционной она ни была, скорее всего,

будет сосредоточена на самой себе, ей будет чуждо стремление отражать жизнь общества. Подъем литературной науки подталкивает именно к этому, как прежде подталкивали академии и разные премии. То, что интеллектуалы принимают за революционность, весь остальной мир считает элитарностью.

Вначале поэзия продвигалась к свободе, используя национальные языки. Это началось в четырнадцатом веке. Но чем больше поэты углублялись в местные наречия, тем меньше значения стали иметь их стихи для других языков. На других языках стало невозможно воспроизвести основные идеи стихотворного произведения и передать их смысл, хотя многое было переведено на другие языки и опубликовано. В результате развития процесса именно в этом направлении многие ведущие поэты последнего столетия стали практически неизвестны за пределами своих языков. Малларме оказал влияние на поэзию всех стран, а кто еще? Паунд и Элиот писали поразительные вещи о современном мире. Сколько французов или немцев знают об этом? Знают миф о Рембо, о том, как трагично путешествовал герой, но не его поэзию. Аполлинер, Элюар, Оден, Тцара, даже Йитс, похоже, безнадежно застряли в своем собственном языке.

Сегодня на Западе в различных университетах почти ежедневно проводятся фестивали поэзии. На них поэты читают друг другу свои стихи. Это не вынужденное ограничение свободы. За пределами мира западных демократий поэты и по сей день легко общаются с публикой при помощи своих стихов. Эту тюрьму в своих собственных умах и из своих собственных языков поэты построили сами; строительными материалами послужили достоинство, формализм, соответствующий случаю стиль и подходящая форма — свое воображение они заключили под стражу собственной завышенной самооценки. Театр прошел в основном тот же путь, но среди его проблем была еще и материальная зависимость. То, что нужно заполнять большие залы массой людей, — не только экономическая необходимость. Это также фактор, свидетельствующий о недостаточной гибко-

сти: способности быстро реагировать на происходящее. Это следствие политических трудностей становится главным недостатком театра.

Писатели, первыми избравшие форму романа, были голосом меньшинства в обществе, которое и сегодня отдает предпочтение религиозным притчам, устным рассказам, традиционной эпической поэзии и все новым формам поэзии, театра и обзорных статей. Но даже в раннем плутовском романе скрытая власть этого нового способа общения оказалась взрывоподобной. «Амадис Гальский» был, вероятно, самым первым настоящим романом. С теоретической точки зрения это было не более чем приключенческое повествование, излагающее множество правил хорошего поведения обыкновенного обывателя. Роман увидел свет в Испании в 1508 году и быстро стал одной из самых продаваемых книг в мире. Он разошелся по всей Европе и, как оказалось, произвел революцию во взглядах общества на жизнь. Отсюда же пошло любопытное противоречие между возвышением романа и идеи разума. Книга Макиавелли «Государь», появившаяся в 1513 году, была первым проявлением нового рационального подхода интеллектуалов к жизни общества. Что касается «Амадиса», то он стал образцом для всех вымышленных странствующих рыцарей-одиночек. Книжные герои двадцатого века — наследники этого рыцаря, и их также разрывают противоречия между долгом и честью, которая ограничивает личную свободу и заставляет сторониться любых организаций.

Единственный способ понять, откуда у этих книг такая власть, — взглянуть на тех, кто их писал. Сервантес — профессиональный солдат, участник Непобедимой армады, попал в плен к туркам и пять лет находился в рабстве. Его несколько раз сажали в тюрьму по обвинениям в мошенничестве и убийстве. Рабле — врач, посвятивший себя церковному праву, политике, военной стратегии и ботанике. Даниэль Дефо, автор первого современного английского романа «Робинзон Крузо» — купец, рядовой участник заговора герцога Монмаута, секретный агент Вильгельма III и публи-

цист. Генри Филдинг — юрист и полемист. В своих ранних политических комедиях он подверг нападкам королевскую семью, а в «Историческом календаре за 1736 год» принялся за Уолпола. В конце концов он стал судьей и засел за «Историю Тома Джонса, найденныша», в которой обличал и бедность, и продажных судей. Джонатан Свифт — политический памфлетист, англиканский священник и защитник прав ирландцев. Он говорил Попу о том, что «Гулливер» написан для того, чтобы «взволновать мир, а не развлекать его». Вольтер — философ, полемист, политический смутьян, придворный, заключенный Бастилии, ссыльный в Англии, советник русской императрицы Екатерины Великой и прусского короля Фридриха Великого, весьма успешный джентльмен-фермер и, как мы уже отмечали, самый знаменитый человек восемнадцатого века. Лермонтов — искатель приключений и профессиональный военный, убитый на дуэли. Гете — высокопоставленный правительственный чиновник Веймара. Толстой — профессиональный военный, политический агитатор и землевладелец, посвятивший себя сельскохозяйственным экспериментам и новым революционным способам управления земельными владениями после отмены крепостного права.

Все эти люди занимались поиском таких новых форм литературы, которые вырвались бы из рамок актуальных общественных дискуссий и влияли на власть, но так, чтобы это было не так-то легко контролировать. Роман поднялся в связке с журналистикой, поэтому романисты стремились одновременно быть памфлетистами и полемистами, авторами трактатов и резких критических статей, политической сатиры и моралистами. В период своей английской ссылки Вольтер столкнулся с тем, сколь успешно Свифт использовал такое сочетание в своем творчестве. И он не был исключением. Везде, где законы цензуры имели достаточную брешь, романы и журналистика росли, как сиамские близнецы.

Гонимые авторы не были убеждены — по крайней мере, поначалу — в том, что такая фривольная вещь, как роман, способствует изменению мира. Многих из них привлекала

нарастающая элитарность поэзии и сцены. Высокомерие клонящегося к упадку всегда подрывает самоуверенность находящегося на подъеме. Вольтер намного серьезнее относился к написанию поэм и пьес, считая их более благородными формами искусства, чем повести. Его эпическая поэма «Генриада» (1723) описывает жизнь Генриха IV, который больше других соответствовал его идеалу доброго короля. «Заир» (1732), героическая трагедия, написанная по законам сцены, обыгрывает тему агонии чести, власти и предательства. Он был убежден, что классические литературные формы в сочетании с его влиянием на монархов, таких как Екатерина II и Фридрих Великий, окажут максимальное влияние на изменение общественной и политической жизни. Он, как и многие, верил, что эти просвещенные монархи окажутся вовлеченными в реформы. В течение десятилетий он тратил время, восхваляя прусского короля в бесконечных рифмованных строфах среднего качества. В то же время он был предан и самым благородным формам искусства, что казалось порукой грядущих изменений. Поэмы и пьесы Вольтера пользовались громадным успехом, но оказали самое незначительное влияние на мир за пределами литературных салонов и театров. В конце концов они оказались забытыми. Что касается его небольших фривольных повестей, написанных скорее вследствие разочарования, чем от великой веры в их художественную или моральную ценность, то как раз они сразу обнаруживают заключенную в них силу. Как и его поэмы и пьесы, они пользовались громадным успехом, но, кроме удовольствия, эти повести, к примеру «Задиг, или Судьба» (1747) и «Кандид, или Оптимизм» (1759), доносили до читателя чудным образом воспаривший главный аргумент интеллектуала в защиту ничегонеделания вопреки существующим порядкам. Его проза не соответствовала здравому смыслу и не побеждала в спорах. Она просто помогла читателям осознать на уровне инстинкта, что такой аргумент является бессмыслицей.

Секрет романа, похоже, в том, что, наряду с тем что он представлял собою новый жанр литературы, он создавал целый мир, и этот мир глубоко волновал читателя и был ему по-

нятен. Роман адресован одинокому читателю, совсем не как поэма, драма или очерк. Он стоит особняком и открывается читателю, как трехмерный мир. Автор не имеет почти никакого отношения к тому, каким образом общество увидит в романе свое отражение. Кажется, будто каждый читатель сам пишет его. И действительно, одной из самых сильных сторон романа было то, что в подсознании каждый читатель представлял себе, что он сам написал этот роман. Находясь в твердом уме, читатель уверен, что и он мог бы его написать. И чем талантливее роман, тем легче читатель впадает в это заблуждение. Вполне очевидно, что сам писатель и его «я» должны оставаться невидимыми, иначе такое смешение окажется невозможным. И чем больше автор присутствует в своем труде, тем меньше места остается в нем для читателя. Читатель должен считать себя действующим лицом, а не мудрым наблюдателем. Разумеется, подглядывание может доставлять удовольствие, но быть участником — гораздо более увлекательное занятие. Поэтому великие писатели из своих книг исчезают.

Вероятно, самое удивительное состояло все-таки в том, что этой новой формой легко воспользовались и писатели, и читатели. Казалось, нет никаких ограничений возбуждаемым ею эмоций или спровоцированных действий. Не было видимых причин соотносить эту форму со сложными поэтическими формами. Единственными были ограничения со стороны закона. В отличие от драмы роман не зависит от театра, который власти могут закрыть. Книги можно запретить, но многого запрещением не добиться, так как трудно заранее предугадать, что именно общество почерпнет в повествовании. Правительство могло остановить типографский станок, но ведь такие простые машины можно было найти в любом количестве за границей. И книги легко проникали через границы и под прилавки. Они были слишком маленькими, чтобы их обнаружить, и их было слишком много, чтобы за ними можно было уследить. Более того, творя на языке, на котором говорит общество, писатели ориентировались на каждого умеющего читать. В 1530 году, издав «Гаргантюа», Рабле затеял малопристой-

ную и шумную возню с тем, что в Средние века почиталось хорошим поведением. Он критиковал бездельников-монахов, бессмысленность войн и догматизм. Используя форму высокой комедии, он предлагал смотреть на жизнь с точки зрения здравого смысла. Рабле постоянно конфликтовал с законом, как Филдинг, прежде чем его «История Тома Джонса, найденныша» стала подрывать доверие к судам по всей Англии.

На самом деле между обществом и рациональным использованием слов стояла прочная стена. Эту стену воздвигли власть и различные учреждения — как гражданские, так и интеллектуальные. Писатель-романист, подобно миномету, перебрасывал снаряды языка обществу, находясь по другую сторону стены. Роман был наилучшим снарядом в том смысле, что ничто не могло эффективно противодействовать ему. И никто не мог остановить такой снаряд, ибо конфисковать книги не продуктивнее, чем собирать осколки мин после того, как они уже поразили мишени. Конфискация книги всегда свидетельствовала о ее успехе.

Но все это не объясняет, почему публика так реагирует на столь фривольное средство развлечения. Своим успехом роман обязан повествованию. Именно простое повествование, без претензий, дает читателю возможность увидеть в романе себя. Кроме того, возникало ощущение, что жизнь становится жизнью, когда она выдумана. Даже факты, упоминаемые в романе, выглядят куда весомей. Правда кажется ясней, и ее легче говорить. Вымысел порой был гораздо реальнее подлинной жизни. Он проникал во внутренний мир человека и его поступки.

Хотя роман в теории ограничен носителями национального языка, очень скоро стало ясно, что он легче поддается переводу, чем поэзия или драма. Повествование, герои и их чувства и лишенный догматики стиль переходили из одного языка в другой. «Гаргантюа» не переводили на английский язык на протяжении ста лет (1653), «Принцесса Клевская» вышла в переводе в 1679 году, через год после появления оригинала. «Робинзон Крузо» был опубликован в 1716 году, и

вскоре его читали по всей Европе; «Жиль Блаз» увидел свет в 1735 году, на английском языке его читали уже в 1749 году. Таким образом, головоломка распространяющейся грамотности, будучи ограниченной местными языками, была решена при помощи художественного вымысла.

Где же во всем этом место писателя как творца? С семнадцатого до начала двадцатого века он бежал и догонял растущую популярность романа, на ходу изобретая новые, более совершенные способы доносить правдивое отражение действительности до как можно большего числа людей. Он изобретал технические приемы, чтобы выстреливать снаряды еще выше и еще дальше.

В девятнадцатом веке романисты постепенно убедились, что могут оказывать огромное влияние не только на правительство и институты власти, но и на все стороны жизни общества. Даже такая социально пассивная писательница, как Джейн Остен, имела огромное влияние просто потому, что обладала точным и достоверным видением мира, и многие читатели впервые по-новому, критически взглянули со стороны на самих себя и на общество.

После Билля о реформе избирательной системы 1832 года британское общество бурлило добрых лет сорок. Политическое и общественное давление оказывалось на все стороны жизни и требовало перемен в таких сферах, как законы о детском труде, условия труда на фабриках и городской нищете. В гущу этого процесса беспокойный Диккенс бросил такие книги, как «Оливер Твист» и «Тяжелые времена». Большинство граждан знали, что детей эксплуатируют, что трущобы — жестокая вещь, а условия труда фабричных рабочих невыносимы. Но это знание носило абстрактный характер. Диккенс привел супружескую пару, принадлежащую к среднему классу, прямо в эти трущобы и на эти фабрики. Места, которые они посетили, обрели реальные очертания, реальной стала и потребность в реформах. Алессандро Мандзони опубликовал своих «Обрученных» в 1825 году и добился таких же результатов. Чисто теоретически, это был исторический роман о коррупции и притеснениях в период испанского владычества в Ломбардии. Но все понима-

ли, что на самом деле речь шла об австрийцах, которые тогда хозяйничали в Северной Италии. За два десятилетия, с 1827 по 1847 год, Бальзак написал девяносто одно взаимосвязанное повествование своей «Человеческой комедии», которая стала, вероятно, самым удивительным достижением современной художественной прозы. Он создал портрет современной ему Франции, описав напряженные отношения между Парижем и провинцией, и это оказало колоссальное влияние не только на французов, но также на читателей и писателей всего западного мира.

В этой курьезной смеси доступности и сложности содержания было что-то, что сделало роман самым точным вербальным отражением реальной жизни, подобных которому прежде не было. Роман наделил язык такой силой, что он прорывался все дальше и дальше, охватывая все более широкие слои населения, как будто человечество изобрело, наконец, вечный двигатель свободного воображения. В частности, это относится к книгам Германа Мелвилла, который — хотя и был мистиком не меньше, чем писателем — рассказывал о китобоях, о военных моряхах и торговом флоте.

Даже Флобер укрепил силы романа как средства общественного реагирования, добившись того, что писатель совершенно исчез из сознания читателя, и в то же время создал такие образы ничем не выдающихся людей, что их стали воспринимать как «героев». Так, придуманный герой перестал составлять единое целое с рациональным Героем общества. Возможно, это был первый знак того, что авторы романов захотели отделить себя от рационального общества, ради создания которого они так много трудились. Эмма Бовари, например, невежественна, эгоистична и неприятно амбициозна. Сделав ее главным персонажем, с каковым, как подразумевается, мы должны себя идентифицировать, Флобер потряс читателя, заставив его более остро ощутить угрызения совести. Тем временем самого его привлекали к суду за оскорбление общественной нравственности. И хотя Флобера оправдали, этот суд показал, что общество создает новые административные рычаги контроля.

И все же к концу века художественная проза выпустила еще не весь пар. Золя продвинулся еще на шаг вперед. Он оживил приемы первых «популярных» писателей, таких как Дюма-отец, который в течение трех месяцев вел светскую жизнь, а затем три месяца сидел и писал. В продолжение многих лет Дюма можно было встретить в России, где он знакомился с положением крепостных, в Неаполе в гостях у Гарибальди, на Корсике у бандитов. Золя так далеко не уезжал, но зато изучал общество при помощи взгляда, острого как скальпель. Чтобы написать «Деньги», он исследовал биржи и салоны так же тщательно, как трущобы и шахты для романа «Жерминаль». Его взгляд — это романтическое видение Диккенса, но очищенное от всей нарочитой вычурности. Золя изобрел способ точно переносить на страницы все, что видел. Интерес привел его в гущу самого мощного кризиса Третьей республики: к «делу Дрейфуса». Направив открытое письмо «Я обвиняю» президенту республики, он намеренно оклеветал военное командование и вынудил вернуть дело в суд, где адвокаты Дрейфуса смогли произвести перекрестный допрос. Непосредственным результатом этого стало судебное преследование Золя, и, таким образом, дело обрело исключительно политическую окраску. Сложилась ситуация, когда каждый гражданин, наконец, почувствовал, что обязан встать на чью-либо сторону. Во время второго суда Золя в знак протеста покинул зал и уехал в Англию. В его отсутствие он был приговорен к году тюремного заключения. Через одиннадцать месяцев «дело Дрейфуса» приобрело такой оборот, что писатель смог вернуться на родину⁸.

Хотя литературное сообщество разделилось на два лагеря: тех, кто за Дрейфуса, и тех, кто против, и писатели, казалось, занимают в общественных дебатах самое что ни на есть центральное место, на самом деле это была наивысшая степень власти, которую обрели писатели-романисты. В последние двадцать лет девятнадцатого века хор литераторов медленно пополнялся новыми голосами. Они заявляли, что роман должен представлять собой произведение искусства, а не быть отражением реальной жизни. С их точки зрения,

такие как Золя занимаются грубой реальностью и пишут почти как журналисты. Художественная проза, полагали они, противостоит реальности, и, если ее смешать с общественной жизнью, она станет разлагаться. Чтобы продемонстрировать, что Золя идет против течения и вышел за пределы нормы, набирающий силы истеблишмент литературных экспертов назвал его метод натурализмом и отнес его книги к жанровой прозе, имея в виду, что они отражают реальность, но в них недостает мастерства. Его книги называли романами-репортажами, как будто они не принадлежали к художественной прозе, потому что оказывали слишком большое влияние на реальную жизнь.

На деле же Золя просто укрепил изначальную связь между журналистом, репортером и полемистом, с одной стороны, и романистом — с другой. Дефо, Свифт, Вольтер, Дидро и сотни других писателей состоялись потому, что опирались на две эти стороны писательства. Золя всего лишь обновил публицистический метод.

Тем временем в остальной части общества происходило превращение индивидуума в специалиста. Как внутри самой системы, так и за ее пределами было все труднее оставаться и тем и другим. Любая связь с профессией вела за собой или договорные, или моральные обязательства не сообщать обществу сведений о том, что с этой профессией связано. Любые отклонения от того, что считалось профессиональным долгом, служили признаком недостатка серьезности. То, что когда-то было вполне обычным делом (писатели, такие как Шеридан, Гете и Ламартин, занимали общественные должности), теперь стало редкостью. Дизраэли был последним английским писателем, занимавшим серьезную политическую должность, и его репутация пострадала, когда, будучи лидером Консервативной партии, он опубликовал свой новый роман. То, что было правдой для политиков, стало вдвойне правдой для государственных чиновников, офицеров и других служащих. Даже адвокаты и доктора, если они работали корпоративно, стали ощущать давление профессиональной солидарности, а следовательно, и общественного замалчивания.

Писатели, которые хотели оставаться частью реального мира, обнаружили, что для них постепенно сузился и без того небольшой перечень возможных профессий. Их фактически вытеснили из общества, о котором они хотели писать. Они всегда находились вне общества, но раньше маргинальность считалась привилегией свободного выхода из общества и возврата в него. Теперь, согласно установленным экспертами правилам, они должны держаться вне общества. Редкая личность могла занимать более чем одно положение.

И если бы рациональное общество сделало исключение из этого правила то такая привилегия была бы отдана, конечно, не писателям. В конце концов, они ведь только одиночки-непрофессионалы, которые в обход цензуры желают говорить правду широким массам других непрофессионалов.

Более того, в процессе принятия такого исключения из правила, писателю отказали бы в праве получить самую желанную награду рационального общества: респектабельность. В прошлом писатель не искал ее, он и без этого был объектом поклонения. В наше время все больше респектабельных читателей художественной прозы — то есть большинство — стали смотреть на романистов сверху вниз. Писатели безответственны. Они живут за гранью нормального, как танцоры или артисты, они погрязли в мире алкоголя, наркотиков и проституции. И чем больше романисты отворачивались от реального мира, балансируя между искусством и фантазией, тем больше их обвиняли в том, что они именно те, кем часто прикидывались их ранние собратья по цеху в стремлении избежать цензурной опеки: интеллектуальные бродяги, которые пишут свои истории для развлечения невинных девушек.

В конце 1918 года в британской армии были разработаны правила демобилизации; граждан разделили на восемнадцать социальных и профессиональных категорий и писателям отвели восемнадцатый уровень, где числились «все прочие»: маргиналы и люди, не имеющие профессии, включая цыган, бродяг и других бесполезных существ. Переме-

ны, однако, назревали. Беллетристику отнесли к видам искусства. И как в случае с другими группами, представлявшими каждая свои интересы, авторы стали заниматься оправданием своего существования, что они и делали, создавая произведения. Мир литературы стал расширяться за счет разного рода прихлебателей: докторов литературного анализа, радетелей отдельных писателей, приверженцев различных литературных стилей, хроникеров литературных слухов, постоянных секретарей литературных организаций, языковедов и историков литературы, и это далеко не все. Когда главное в сочинении было проанализировано, следующее поколение докторов от литературы принималось за изучение все менее значительных деталей. Они тратили десятилетия, выставляя на свет самые ничтожные и мелкие факты жизни писателя, злобно отпихивая друг друга, и даже рычали над трупом писателя.

Доведение писателя до того, чтобы он стал представителем меньшинства, да еще почти бесправного, в своем мире, было вопросом времени. Литературоведы обзавелись долгосрочными контрактами, университетскими должностями и пенсионным обеспечением. И пока большинство писателей снимали угол за пределами приличных кварталов, эксперты заняли место среди собственников среднего класса. Писатели становились все более привязанными к месту своего проживания и мало путешествовали. Профессора, тем временем, превратились в материально обеспеченную интернациональную команду, запустили для себя постоянно действующую машину путешествий, которая была им необходима, чтобы передвигаться по планете, изучать литературу и вести дискуссии с другими экспертами. То, что сами субъекты их исследований были беднее, а их жизнь не была столь стабильной, было очень кстати. Чем больше писатель пьянствовал, разводился, разорялся и имел нервных срывов, тем интереснее было его изучать и тем легче было уравнивать его внутренние муки с творчеством. Писатель представлял в образе страдающей, трагической, безрассудной, чрезмерно озабоченной собой личности. Бодлер — сифилитик и пьяница. Верлен — алкоголик. Джойс — слепой бедняк.

Пруст — астматик и законченный гомосексуалист. Фитцджеральд — жалкий алкоголик и импотент. Хемингуэй в пьяном виде покончил с собой. Уайльда в тюрьме замучили гомосексуалисты. Керуак, Барроу и компания — пьянство, наркотики и семейная трагедия. Вместе со всем этим почти неизменно соседствует тема безграничного эгоизма и нищего непризнанного трудзяги-гения.

Творческий путь американского писателя Реймонда Карвера хорошо иллюстрирует, чем все это обычно кончается. Литературоведы обратили на него внимание в восьмидесятые годы, представив его ярким и свежим примером творца, которого преследуют наследственные пороки, свойственные выходцам из рабочих, и проблемы с алкоголем. Редкие критические статьи о его творчестве не были окрашены упоминанием о нем как о личности. Его преждевременная смерть в 1989 году была воспринята теми, кто его поддерживал, почти с облегчением. Все они почувствовали, что освободились и теперь могут разбирать тело писателя на интересующие их части. То, что Карвер умер, не дожив до пятидесяти, тоже принесло пользу, так как еще раз подтверждало, что писатели не созданы для жизни.

Может показаться, что Карверу, да и любому другому писателю, нет дела до этих пожирателей трупов, чьи абсурдные выводы вызывают омерзение. Но ученые от литературы — это точно такие же профессионалы, как ученые от политики. А раз так, то, в каком бы направлении они ни тащили литературу, писателям трудно плыть против течения. Мысль о том, что они могли бы изменить природу художественной прозы, возможно, сначала показалась бы смешной, но они похожи на королевских придворных или на обоз армии. Если король позволит своим придворным выйти из-под контроля, они, словно пиявки, высосут из него всю кровь и уничтожат его, как это бывает с армией, у которой слишком большой обоз: толпы проституток, мародеров, поваров и избыток предметов домашнего обихода. Это приводит к тому, что армии проигрывают сражения.

Как только рационализм обосновал для литературы все множество причин для профессионального существования,

среди ее целей не осталось места для общения с читателем. Вместо этого взаимоотношения между романом и обществом стали рассматривать как факты случайные или забавные, достойные лишь досужих разговоров. Те факты, что женщины падали в обморок, слыша, как читает Байрон, что сотни тысяч горожан приветствовали возвращение Вольтера в Париж в 1778 году, что слушать Диккенса приходили толпы людей, стали подробностями популярных биографий. Они мало что значили по сравнению с психологическим обликом самого писателя и его творениями. Действительно ли Вольтер спал со своей племянницей? Правда ли, что Байрон был бисексуалом? Избавился ли Диккенс от своего инфантилизма? Отношения романа и общества стали восприниматься как нечто неотделимое от отношений самого писателя с обществом: они стали простой иллюстрацией его внутреннего «я» и поклонения Герою. Их значение стало ничтожным по сравнению с художественной ценностью романа и с тем, насколько автору удалось выразить личное мнение.

Форд Мэдокс Форд описывал рост профессионализации следующим образом: «Если бы вы заявили Флоберу или Конраду... что не убеждены в реальности существования Омэ или Туана Джима, они, вполне возможно, вызвали бы вас на дуэль и убили». В то же время современный английский писатель «избил бы вас (если бы смог), если бы вы стали бы сомневаться в том, что он джентльмен»⁹. В других странах слово «джентльмен» заменяют словами «интеллектуал», «художник» или «профессионал».

И хотя такие гении, как Толстой и Манн, еще творили, а другие, как Оруэлл, Мальро, Хемингуэй, Грин и Камю, еще не пришли, быстро создавались правила того, какой должна быть суть романа и что такое писатель. Мятеежники, такие как Жюльен Грах, повторяли бы то, что говорил он в шестидесятых годах двадцатого века, после того как отказался от Гонкуровской премии, мечты французских литераторов, присужденной ему за роман «Побережье Сирта»: «В искусстве нет правил, есть только примеры». Но ведь еще задолго до него Бальзак указывал, какой самодостаточной стала литера-

тура: это мир, в котором «человек любит только свои переживания». И Шпенглер в период между двумя мировыми войнами, излагая свою мешанину идей, утверждал, что современные писатели «не имеют [какой-либо] реалистической позиции в реальной жизни. Ни один из них эффективно не вмешался ни в серьезную политику, ни в развитие современной техники, ни в процесс общественного диалога, ни в экономику, и ни в один другой *значимый* для жизни аспект, ни единым своим действием и не выдвинул ни единой стоящей внимания идеи».

Авиастроители знают свои самолеты, кардиологи знают о сердце. А что теперь знает обычный западный писатель? О чем ему писать? Какие сведения должны содержать его романы? Когда Вольтер, Свифт, Бальзак и Золя писали о правительстве, промышленности, биржах и науке, они знали о своем предмете больше, чем те, для кого это было профессией. Писатель-романист постоянно находился на переднем крае профессиональных знаний и понимания сути. Современный писатель-романист, живущий, как это ему свойственно, в изолированном в самом себе профессиональном писательском клубе, на это не способен. В какой области его знания достаточно глубоки, чтобы об этом писать? В первую очередь, он знает кое-что о писательстве; во-вторых, о писателях; в-третьих, о внутреннем мире писателя; и в-четвертых, о своем собственном положении, о том, что он пребывает на грани нормального и ненормального, где он может существовать в комфорте или наоборот, в бедности. С одного края те, кто пишет о писательстве: университетские романисты и творцы экспериментальной прозы. С другого — те, кто, как Реймонд Карвер, отказался укутываться в кокон самодовольства, предпочтя проводить собственные эксперименты на грани фола.

Ни в том ни в другом случае романист не бежит впереди общества, за которым все стремятся. Уолтер Бэйджот уже смог увидеть эту проблему, которая начала вырисовываться в конце девятнадцатого века: «Причина, почему сейчас пишут так мало хороших книг, состоит в том, что слишком мало людей могут писать и хоть что-то знают».

По мере того как писатели теряли свое влияние на общество, они все чаще стали говорить об искусстве, как бы оправдываясь. Семена такого отхода были посажены еще при Иммануиле Канте и его эстетике «незаинтересованного» удовольствия от искусства. Это случилось не потому, что декадентская школа в конце девятнадцатого века взяла и объявила о том, что искусство существует только ради искусства. Или потому, что такие гении, как Уайльд или Бодлер, придали этому аргументу больше весомости. А потому, что язык постепенно попадал под контроль рациональной цивилизации, и, таким образом, аффектированное безразличие некоторых писателей было не столько разновидностью безответственности или эгоизма, сколько способом признания своего поражения.

Афоризмы Реми де Гурмона неплохо описывают это обидчивое пораженчество, доходящее до чувства презрения к человечеству: «Всякое новшество считается кощунством, всякое личное утверждение признается безумным». Или: «У нас нет принципов и нет образцов. Создавая произведение, писатель творит свою эстетику. Мы обращаемся к чувству»¹⁰.

Вычурный уход эстетов омрачил реальный эффект, который производили многие участники движения модернистов. Повсюду писатели согласились обнажать чувства отдельного человека, то есть его психологию. Но воплощение подобной потребности на практике вылилось в то, что художественная проза ушла в совершенствование стиля и формы. Они стали двумя признаками, по которым можно было оценить уровень мастерства писателя, подобно тому как это делается в других профессиях. Влияние снижения уровня содержания, эмоциональности и целей можно увидеть уже в творчестве братьев Гонкур. Они думали, что их романы дают реалистичный и подробный портрет общества. На самом деле то, во что они верили, прописано на первой странице «Journal», который они начали вести 2 декабря 1851 года, на следующий день после того, как был опубликован их первый роман. Это было в тот же день, когда Луи Бонапарт совершил успешный государственный переворот. Курьер, ко-

торый принес им новость о перевороте, вспыхнул, когда они спросили его о судьбе своей книги: «Ваш роман... роман... Ребята, на кой черт теперь Франции романы!»¹¹ И убежал, чтобы снова постигать действительность на баррикадах, оставив их протирать пол в кабинете. Рассказ братьев Гонкур о реакции курьера косвенно свидетельствует о хрупкости и беспомощности искусства, когда оно лицом к лицу сталкивается с реальностью.

Привычка к самогипнозу, необходимому для экспериментирования со стилем и формой, распространялась с поразительной быстротой. То, что этот почти научный подход был каким-то образом связан со снятием покрывала с бессознательного, также придавал этому явлению значимость в глазах внешнего мира. Возбуждение вследствие экспериментов над языком и гениальность, а на самом деле безумие, многих литераторов рождало в публике ощущение чего-то нового и значительного. Но со стороны суть этого нового выглядела совершенно по-другому. Профессиональные писатели просто-напросто создавали собственный жаргон, непонятный для непрофессионалов точно так же, как профессиональный язык врачей и экономистов. Коротко говоря, начиная с тринадцатого века писатели искали и создавали способы все более широкого взаимопонимания. Теперь они выбрали путь ограничений в использовании языка.

Самые решительные утверждения об утрате грамотных и универсальных способов общения появились в начале двадцатого века и связаны с именами Марселя Пруста и Джеймса Джойса. Как только их признали царствующими гениями современной революции в литературе, роман как ведущее лингвистическое средство постановки самых животрепещущих вопросов и изменения общества благополучно скончался. Что они совершили — в случае с Прустом безвозвратно — так это разрушили и язык, и повествование как мосты, связывающие роман и общество. Единым ударом они вывели писателя из среды здравого смысла в среду разума, сведенного с ума логикой.

То, что писал Пруст, и то, что он намеревался написать, было сильным общественно-политическим романом о гибели

ли аристократии и о грубом возвышении средних классов. «В поисках утраченного времени» полон травм, которые были нанесены евреям во Франции, глубокого раскола, к которому привело «дело Дрейфуса», достойного жалости этикета катящегося к упадку общества и грубыми амбициями тех, кто прокладывает себе путь наверх. Все это закончилось жестокой резней Первой мировой войны и гротескным послевоенным воссозданием общества, которое старательно делало вид, будто ничто не изменилось. Возможно, ощущалась некоторая натянутость языка и повествования, но событийная сторона ясна.

Литературное сообщество стремилось сфокусировать свое внимание, однако то, что оно увидело, было заторможенным созерцанием внутреннего мира. Кроме ностальгии, в рассказе не осталось никакого содержания. Из мучителя памяти Пруст превратился в ее затворника: мастера мечты, который несет литературную тоску о событиях прошлого. Это не память — активный деятель, связующий прошлое и настоящее. Это просто прошлое: пассивное и беззубое. В целом влияние подобной интерпретации сказалось таким образом, что «повествование», всегда бывшее сильной стороной романа, превратилось в грубое средство, которое можно отнести к более низким категориям художественной прозы.

Ситуация еще больше запуталась через несколько лет, когда еще один писатель, делая все наоборот, свел на нет революционные завоевания Пруста. Луи-Фердинанд Селин, вероятно, был одним из самых революционных франкоязычных писателей двадцатого века. Он взорвал язык, взорвал неписанные правила и прорвался к широкому читателю с необычайно современной прямоотой, которая придавала повествованию новое значение и силу. Но идеи, которые он нес своему читателю, ползли из грязи окопов, а из-за стабильной маргинальности его сознания этот пессимизм стал голосом темных сторон человеческой личности. В каком-то смысле он стал блистательным голосом худших сторон нашего прошлого. Его идеи явно были почерпнуты из стилистики Пруста. Если бы Пруст соединил свое виде-

ние с влиянием и революционной ясностью Селина, французский роман мог бы стать самым мощным инструментом западного языка.

В случае с Джеймсом Джойсом все было более прямолинейно. Его книги трудно читать, поскольку они написаны переполненным горечью, сердитым человеком. Он сознавал, что должен стать мессией языка, и на каждом углу видел крест. Гнев, который он при этом испытывал, отчасти был продуктом разобщенного общества, причем гнев, так и не изжитый им за бесконечную ссылку. Джойс принялся писать, как сам утверждал, не для того, чтобы освободить заключенное под стражу слово, нарушая принятые нормы, а для того, чтобы разрушить сам способ общения. Свою книгу «Портрет художника в юности» он закончил так: «Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души сознание моего народа». Его занимает только его собственная душа. Невозможно предположить, что он планировал передать другим выкованные результаты. Сначала его «Улисс», а затем «Поминки по Финнегану» показали, что он и правда этого не хотел.

Как и Пруст, он наполнял свои книги социальной и политической драмой, но все-таки в джойсовской революции доминирующее место занимал его туманный язык, непонятный большинству читателей. Такая непонятность не была случайной. Джойс, со своим мессианским рвением, прекрасно осознавал, что он отвращает свой роман от публики, ради которой он был задуман, и адресует его литературоведам. Великие романы конца девятнадцатого и начала двадцатого века часто писали врачи, инженеры, военные и землевладельцы. Джойс сознавал, что его произведения как материал для чтения не будут понятны ни врачам, ни инженерам, ни военным, ни землевладельцам двадцатого века. Из студентов университета только те, кто специализируется на литературе, откроют его книги. И только немногие из тех, кто откроют, дочитают их до конца. Как бы ни был гениален Джойс, он дал обоснование завоеваниям элитарной революции, задумавшей отнять у людей художественную литературу. Как если бы он знал, что новыми жрецами литературы и гарантами бес-

смертия станут критики, а не общество, и он принялся самостоятельно создавать современную литературную критику, сочиняя такую художественную прозу, которая зависела от этой экспертизы. В «Улиссе» много помоев для мух, для них он их туда и поместил¹².

Одновременно с «Улиссом» был написан и другой роман, ломавший нормы языка с тем же революционным рвением. Как бы то ни было, но это делалось лучше, так как автор был движим позитивными, а не негативными намерениями. Форд Мэдокс Форд писал его, не испытывая по отношению к человечеству гнева или ненависти. И в своем романе «Конец парада» он ломал язык повествования не потому, что занимался интеллектуальным трюкачеством или мстил читателю, а потому, что это было способом отражения крушения западного общества во время Первой мировой войны и после нее.

Если литературное сообщество отвернулось от Форда и поворотной точкой в художественной прозе двадцатого века признало не «Конец парада», а «Улисса», то это произошло, в основном, потому, что ни сам Форд, ни его роман не вписывались в картину тогдашней литературы. Форд не был одиноким, страдающим и замкнувшимся на себе писателем. Это был великодушный и общительный человек, полный недостатков, но уделявший много времени помощи другим писателям. Его «Конец парада» непосредственно соотносился с реальной жизнью. Форд не посвятил свою жизнь одной или двум гениальным книгам, что, как считается, должен делать современный писатель. Он написал множество книг, некоторые не очень хорошие, другие — лучшее из того, что он мог бы сделать. И наконец, Форд считал Джозефа Конрада лучшим писателем двадцатого века. Это было непростительной ошибкой для человека, чья профессия требует, чтобы он, прежде всего, считал себя выше других писателей.

Конрад был и остается источником вдохновения для писателей современной школы, которые перенесли свойственную роману мощь в двадцатый век. Эта школа прослеживается от Фитцджеральда и Хемингуэя до Грэма Грина и Габриэля

Гарсия Маркеса. Неудивительно, что литературоведы по своей схеме выстраивания класса интеллектуалов стремились определить Конрада как писателя для детей. В большинстве предисловий к работам Джойса его представляют гением, предвосхитившим весь модернизм: «Чтобы понимать такую форму, было необходимо понимать ограничения, которые налагаются на художественную прозу. Было необходимо осознать, что роман полностью расцвел и дал завязь, что Пустовом Флобером и после него Генри Джеймсом все самые крайние возможности характеристики и интеллектуальных, и духовных исследований и откровений были исчерпаны. Больше было нечего делать, кроме как отодвигать, как представлялось, уже устоявшиеся границы романа далее, чтобы стало возможным исследовать новый фактор жизни: подсознательное»¹³.

Конечно, только при реально устоявшихся границах роман был способен общаться с читателем. Что касается разработки подсознательного, то другие писатели, начиная с Конрада и Хемингуэя, не испытывали трудностей с поисками новых способов описания глубин человеческого духа и не превращали при этом роман в произведение на таинственном языке. И никто не прояснил, почему так легко принимается за абсолютную истину то, что главной задачей писателя является стремление к совершенствованию техники письма.

И все же Пруст и Джойс стали интеллектуальной стеной, за которой могут прятаться литературные эксперты. Не то чтобы поколения новых писателей оказались под их влиянием. Такого не было. Эти два имени скорее следует воспринимать как сигнал того, что профессия литератора обрела официальный статус. Критики и писатели теперь могут вести себя так, словно стиль определил понятие красоты, а красота оправдывает себя сама; будто политика не имеет отношения к художественной прозе; будто желание общаться устарело, стало восприниматься как реакционное и вообще стало признаком интеллектуальной неполноценности; и словно успех завоевания популярности у общества является признаком пошлой коммерциализации.

Нынешняя эволюция, получившая столь широкие масштабы, свидетельствует сразу о трех вещах: о поражении, которое писатель потерпел от рационального общества; о перевороте, который произвела в писательском сообществе примазавшаяся публика; и об усилении усталости все большего числа писателей, так как они все больше отдаются соблазнам и комфорту профессиональной жизни. «Безразличие к политикам у художников всегда ассоциировалось, — писал Сирил Коннолли, — с чувством бессилия. [Оно] выкристаллизовалось в теорию, что политики приносят вред, что они не являются первоочередным художественным материалом»¹⁴.

Все это выглядело почти так, словно многие писатели сменили врагов. На смену несправедливой власти и социальному конформизму пришло «мещанство» широкой публики. Как же читатели могли отнестись к растущим преградам между ними и печатным словом? Или интеллектуалы настолько уверены в том, что народу нужна беллетристика более низкого качества, что они сочли невозможным писать для народа?

Некоторые писатели почему-то сделали прямо противоположный вывод: народ якобы в ужасе от литературы и готов пойти на самоубийство из-за непостижимой уму прозы. Они посчитали, что читателю не интересно прикладывать усилия, чтобы понять искусство. Так и случилось, что серьезную прозу, начиная с самих Джойса и Пруста, читать практически перестали. Наиболее «значительных» писателей нашего времени читают меньше, чем простейшие пособия по работе с компьютером. В прошлом это было совсем не так. А значительны ли эти писатели на самом деле? Большинство великих романистов последних четырех веков в свое время и несколько позднее были чрезвычайно популярны. Как бы то ни было, талисманы современной литературы сейчас читают даже реже, чем печатают. Сила романа с самого начала проистекала из того факта, что даже самые великие произведения были доступны интеллекту всей массы читающей публики. Вместе с развитием общества развивался и роман. В двадцатом веке все резко прекратилось. Многие значительные романы недоступны даже для той ча-

сти населения, которая считалась грамотной в восемнадцатом веке. Грах обнаружил этот феномен, когда указал, что литература превратилась в предмет для обсуждения, а не для чтения. Что и неудивительно, ведь теперь писатели пишут не для того, чтобы их читали.

Это вовсе не означает, что Пруст или Джойс не были гениями. Роман может быть прекрасен и удивителен, не будучи написанным с целью проложить прямой путь для общения, мышления и обсуждений. В жизни бывает много безвыходных ситуаций, и некоторые из них чрезвычайно интересны. Конечно, двадцатый век выстроил два замечательных барочных замка в одном гиблом литературном месте, куда стоит заглянуть некоторым писателям; там можно почерпнуть идеи и адаптировать их для использования вне основного русла своего творчества. Сама профессия литератора подталкивает его свернуть с основной дороги своего творчества в это гиблое место. И в течение последних шестидесяти лет профессия чаще всего склоняла литераторов к тому, чтобы они пробивались через дарящие наслаждение сады за стенами прустовских и джойсовских дворцов в надежде найти какой-то мифический новый путь.

Способы такого отклонения с пути были чисто техническими. Техника и еще раз техника. Например, в американской беллетристике сейчас доминируют «значительные» писатели, которые являются или профессорами писательского творчества или литературы, или те, которые учились у таких профессоров. Профессор-романист Джон Барт хвастается, что его студенты «занимаются той или иной разновидностью формального новаторского письма»¹⁵. Как новаторское письмо может быть формальным, сказать трудно, и все-таки слово «формальный» здесь на своем месте. Оно описывает процесс, не имеющий никакого отношения к писателю как добросовестному наблюдателю за обществом, но полностью связанный с элитой, которая таким образом тщательно конструирует свой этикет самозащиты.

Производство писателей на подобных курсах увеличивает изолированность пишущей братии и едва ли дает им до-

статочную подготовку, которая поможет им вообще о чем-то писать. В Средние века бесплодность схоластической традиции происходила из того же. Ныне, как и прежде, схоластический подход может лишь дать определение, обозначить категорию, провести технические границы, тогда как в реальности роману ничего этого не требуется. И далеко не случайно роман ретроспективно черпал силы отовсюду, кроме схоластики, которая, будучи детищем придворных и евнухов, нуждается в структурировании и эгоцентрическом взгляде на мир. Ныне, как и прежде, влияние схоластов проявляется в том, что должности, титулы, медали и премии раздаются знаменитостям с учетом их мнения. Это неумное стремление к контролю уводит в сторону от вопросов о том, что думает читатель, и часто заставляет литературоведа забывать одну из немногих истин, касающихся романа, а именно ту, которую сформулировал Вольтер: «Все жанры хороши, кроме скучного»¹⁶.

Конечно, если Барт и прочие желают опуститься до положения хорошо обученных кастратов, что является неизбежным результатом интенсивной придворной жизни, почему бы и нет? Каждый писатель, если он того желает, имеет право быть скучным. Вместе с тем, непонятно, почему в наш век, изобилующий переменами, войнами, крушениями, голодом и радикальной сменой элит, такое количество западных писателей с трудом находят, о чем писать, кроме как о своем внутреннем мире, мире писателей и технических приемах. Возьмите, к примеру, «новый роман», который, так или иначе, обязан своим появлением Алену Роб-Грийе и еще горстке интеллектуалов, собравшихся за обеденным столом поздно ночью только для того, чтобы умно расшевелить публику, запустив этот словесный разор. Посчитайте, сколько усилий потратили крупные группы в мире литературы на развитие и анализ этого явления и на рвение, с которым университеты обхаживают это новое поколение пищи для мух. Или изучите метод, известный как деконструктивизм, который, как кажется на первый взгляд, предлагает способ раскрытия нового значения, таящегося в языке, которым написан текст. Но настоящей целью этого метода является стремление ско-

вать язык и общение, так как становится невозможным найти общее мнение о его значении. Как понимать следующее: «Замыслам автора доверять не следует. Текст опровергает видимый в нем смысл. Язык текста не имеет отношения к какому-либо мистическому содержанию. Смысл содержится не в языке»¹⁷. Это не столько нигилизм, сколько пропаганда возврата к обществу без литературы.

Писатель, стоящий в стороне от круга специалистов, где происходят подобные дебаты, едва ли не враг для сообщества профессионалов. Писатель, находящийся вне реального мира, является живым доказательством того, что роман был и до сих пор является чем-то иным. Вероятно, именно поэтому профессионалы предприняли столько усилий, чтобы разделить западную литературу на целый лабиринт жанров. Простота больше не является добродетелью. Запутанности и сложности языка стали молиться с таким усердием, что общество поверило, будто отсутствие ясности является признаком художественного таланта. Даже там, где простота проявляется в форме минимализма, превосходство стиля над любым другим аспектом содержания совершенно очевидно.

Таким образом, большинство книг, написанных нормальным языком о событиях реального мира, автоматически может быть отнесено на несколько уровней ниже, для чего применяется целый ряд выражений, подтверждающих их более низкое положение. В моде описание интриг. А еще «роман-репортаж на материале пережитого автором». Эта и другие фразы употребляются с целью подсказать читателю, что личный жизненный опыт имеет меньшую художественную ценность, если он собран за пределами души автора или мира литературы. Когда Андре Мальро спросили, является ли его роман «Условия человеческого существования» романом о «пережитом», он возразил: «Но существует ли пережитое на самом деле? Разве это не какая-то химера? Кто, считается, идеально воплотил пережитое во Франции? Бальзак. А вот Бодлер счел его самым великим провидцем нашего времени»¹⁸.

Он пытался объяснить разницу между тем, какой предстает действительность в рассказе о ней свидетеля, и тем, как она выглядит на фотографии. Ранее он уже пытался су-

зить это понятие, называя свои романы «греческими трагедиями, которые наводнены полицейскими хрониками», как будто требовалась какая-то шокирующая формула, призванная развенчать предположение о том, что художественная проза противостоит фактам, вместо того чтобы быть тем же фактом, только рассматриваемым с другой точки зрения.

Среди тех, кто наиболее успешно избегал брать на себя обязательства, налагаемые художественной прозой, были писатели, претендовавшие на то, что они не пишут художественную прозу. Задолго до того, как Томас Вулф рискнул опубликовать свой первый роман, он проделал ловкий трюк. На самом деле он всегда писал только художественную прозу. «Правильная вещь» была историей почти в духе Золя. Трумэн Капоте проделал то же самое в своем «Обыкновенном убийстве». Реакция читателей в обоих случаях напомнила о неконтролируемом влечением к роману в восемнадцатом веке. Примо Леви со своим «Человек ли это?», Рышард Капусьцинский со своим «Императором», Шива Найпол с «Севером юга», Брюс Чатвин с «В Патагонии», Джейн Крамер в «Последнем ковбое» и даже Маргерит Юрсенар в «Воспоминаниях Адриана» — все они писали, маскируя художественную прозу. Это позволило им вести повествование и не так легко подпадать под критический разбор и подведение под категории литературным сообществом. Взрыв любой разновидности нехудожественного творчества был составной частью этого же процесса.

Писатели, которым есть что сказать, отказываются от романа как средства общения, которому нанесено смертельное ранение. Многие из них, вероятно даже большинство, мечтали писать художественную прозу. Но убеждены, что их труд станет альтруистической жертвой, и этим стоит заняться, когда они займут положение серьезных писателей, не пишущих художественную прозу. Их пессимизм демонстрирует, как структура и профессионализм могут отталкивать талантливых людей от творческой работы.

Читателю же безразлично, достаточно ли литературной является реальность или нет. Он не согласен с тем, что от рас-

сказа нужно отказаться, и уже в течение десятилетий осваивает новое предлагаемое рассказчиком средство общения. Художественная проза, замаскированная под нехудожественную, является одним из таких средств. Романы разделены на различные «категории», такие как триллер. Западные читатели, имеющие время и желание читать, говорят, что они больше не читают романов. Вместо этого они читают биографии. Описывая жизнь какого-то человека, биограф обязан рассказать историю. С исчезновением викторианской утонченности эти правдивые истории впитали в себя полноту художественной драмы и динамику развития действующих лиц. И совершенно не важно, насколько необычна жизнь персонажа, писатель не может выйти за рамки связанности описания с реальной жизнью. Автор пишет о своем персонаже, в то время как писатель-романист пишет о своем читателе. Свидетель верный дает достоверное описание читателя. Биограф никогда не может предложить больше, чем подглядывание, приведение примеров и своих толкований всего этого. И все же он представляет читателю повествование, которое заставляет его сопереживать. Это лучше, чем ничего.

Эту борьбу за контроль над художественной прозой следует рассматривать в контексте возвышения романа. Его сила заключалась в том, что, в отличие от поэзии и драмы, его не подгоняли под образцы, нарушая законы стилистики. Поэтому роман оказался главным детонатором, взорвавшим язык и его способность быть понятным. Теперь же западная художественная проза загнана в рамки стилистических ограничений, категорий, соотношения высокого и низкого искусства, надлежащего материала. При этом интеллектуальные элиты все это контролируют и готовят себе последовательей. Одной из самых сильных сторон романа было то, что его можно было перевести с одного живого национального языка на другой, причем сила воздействия не утрачивалась. Схоластика двадцатого века устранила это качество, и теперь перевести роман на другой язык стало так же сложно, как поэзию. Это означает, что роман перестал быть главным носителем свободы языка. Теперь это и проблема коммуникации, и проблема, которую нужно решать.

Самые большие трудности в отношении своего литературного статус-кво испытывают писатели, которые пишут книги ради денег. Неодобрительное отношение к «коммерческим» писателям прямо не афишируется и не зависит от читательских предпочтений. Но литературный истеблишмент не может не заметить, что большая часть того, что он считает хорошей литературой, находится где-то на задворках читательского спроса. Истеблишмент поносит коммерческую литературу, утверждая, что коммерческие писатели эксплуатируют низменные инстинкты публики. Если бы они этого не делали, большая часть читателей стала бы читать серьезную литературу на его условиях.

«Коммерческая» или «популярная» литература — это детективные и шпионские романы, триллеры, приключения, научная фантастика и любовные романы. Литературные авторитеты: профессора, критики и издатели — выделили и позиционировали эти категории как самостоятельные. Мало кто из писателей, заключенных в рамки этих категорий, сами себя в них не зачислили бы, за исключением разве лишь тех, кто пишет по рецептам романчики для супермаркетов и детективы для автобусных остановок.

Сущность понятия «категория» в литературе обычно охватывает не менее одного направления, в свое время намеченного традиционным романом. Именно писатели, относящиеся к какой-либо категории, теперь описывают мир и его критические моменты. Быть может, они делают это честно, быть может — не совсем честно, используя свое воображение или чьи-то подсказки, с вниманием к деталям или поверхностно. Но даже герой третьесортного приключенческого романа стоит ближе к реальному миру, чем невнятные создания Барта и Роб-Грийе.

В 1976 году ныне покойный сенатор Фрэнк Черч, председатель сенатского комитета США, расследовавший деятельность ЦРУ, писал в своем докладе, что громадная власть технологий слежки, навязывания доктрин и мобилизаций, которую получило государство, дает ему возможность очень быстро установить фашистский режим¹⁹. В каком-то смысле шпионский роман пытается описать эту ситуацию. Точно так

же рост уголовной преступности, сопровождающийся коллапсом нашей системы правосудия, питает детективный роман. Устойчивый рост торговли оружием создал постоянную эскалацию насилия на международном уровне, что дает материал для триллера.

Необычайный успех «категориальной» литературы вовсе не означает, что общество трусливо или малокультурно. Наступило время смятения, и граждане чувствуют, что они сдавлены внутри рамок своей специализации, в которые их заключили рациональные структуры. Сейчас они сильнее, чем когда-либо, ощущают потребность, чтобы им внятно говорили о них самих и о мире, в котором они живут, фактически не видя его. Самые успешные произведения всегда представляли видение окружающего мира в развлекательной форме. Шекспир и Мольер, Гете и Гоголь, которых знают все, не считали зазорным развлекать своего читателя. Никому и в голову не приходило, что удовольствие, которое получает читатель, делает их произведения или темы, которые они затрагивают, малозначащими.

Поскольку об этом больше речи нет, почему бы не оставить литературу в покое в ее удобном сарайчике на заднем дворе? Новых средств общения, готовых занять ее место, предостаточно. Кино и телевидение оккупировали центральное место в жизни общества, где когда-то царил роман. Даже самая «успешная» литература должна отвоевывать свое место у подножия электронных СМИ, которые без всякого усилия со стороны потребителей могут моментально доставить им самые достоверные картинки. Новый вид книги — комиксы — все больше привлекает читателей. На самом деле, сегодня Запад, как никогда ранее, переполнен огромным разнообразием и количеством носителей информации, которым вполне комфортно быть в центре внимания.

В такой компании писатель чувствует, что он отделен от общества. Он пытается возражать, проявляя суровость или стеснительность, и это несмотря на века, когда общество жаждало его внимания. Возможно, причина в том, что ны-

нешний писатель — совсем другая личность. Байрон, к примеру, живи он сейчас, вероятно, стал бы рок-звездой и с микрофоном в руках пробивался к публике. И не исключено, что дело в других личностях, а не в средствах массовой информации.

Однако эти новые средства информации не дают обществу того, что ему нужно, потому, что они слишком ограничены, или потому, что ими слишком легко манипулировать. Популярная песня, скажем, это, скорее, гимн или слоган, то есть чистая эмоция, а не отражение действительности. Возврат к песне в традициях трубадуров произошел в 1960-х годах в творчестве таких поэтов, как Леонард Коэн и Боб Дилан, но был быстро подмят взрывом электронной музыки, в которой словам придается третьестепенное значение после сложного комплекса из звукового сопровождения и образов видеоклипа. Возможность объединения при помощи электроники звука со звуком, инструмента с инструментом влияет даже на реальность живого исполнения классической музыки, противопоставляемой «сверхчеловеческим» ариям и сонатам, которые повсюду продаются. Подобно тому как Герой возрастает на почве пассивности и худшей разновидности элитарности, так и эти Героические звуки, как популярные, так и классические, подрывают значение самой музыки как активного феномена единения.

Что касается комиксов, в чем бы ни состояла их сила — я не хочу заклеить их популярность, — это, прежде всего, визуальное средство общения, а не вербальное, и его главная сила в иллюстрации. Комиксы легко расходятся в сотнях тысяч экземпляров по несколько долларов за штуку. Комиксы для взрослых стоят дороже, но тоже в среднем продаются по двадцать тысяч штук. Средний тираж романа в большинстве стран колеблется между двумя и пятью тысячами экземпляров. Комиксы играют важную роль в создании образов, которые волнуют общество. Они даже занимают место печатного слова, но заменить его все равно не в состоянии. Они не способны придать этому средству общения практические механизмы языка общества, который участвовал бы в повседневной жизни, способствовал взаимопониманию и отражал происходящие перемены.

И наконец, электронные средства информации имеют слабые стороны, неотделимые от их же сильных сторон: масштабов инфраструктуры, высокой стоимости, корпоративной организации. Любые средства информации, которые можно отключить от розетки, не могут быть независимыми. И кино, и телевидение легко поддаются контролю, для чего существуют политические, военные и административные меры. За пределами горстки демократических государств, кино- и телеэкраны — бесплодная земля официальных и безобидных картинок. Раньше во время государственных переворотов стремились к захвату президентского дворца и оружейных арсеналов. Современные технологии добавили к этому аэропорты и телевизионные студии.

Изобретение видеокассеты, казалось, привнесло новый элемент свободы. Кассету не труднее, чем книгу, провезти контрабандой или спрятать. Теперь представители элиты даже в самых закрытых диктатурах привозят кассеты из-за границы. Но это касается только тех, кто достаточно богат и может иметь видеоаппаратуру; людей, достаточно богатых и высокопоставленных, могущих гарантировать, что они будут смотреть видео абсолютно тайно.

Явный контроль, навязанный в других странах, заставляет нас думать, что этой проблемы на Западе не существует. Но наши проблемы такого рода в каком-то смысле еще острее. У нас ничто не выйдет на экраны, если рекламщики или правительство не вложат в это огромные деньги. С самого начала рекламодатели поняли, что раз уж они не могут контролировать содержание, то могут легко не пустить к зрителю то, что им неуместно. Им всего-то нужно не рекламировать это. Когда некоторые структуры, пытаясь справиться с таким прессингом, предложили продавать рекламу блоками, без привязки к определенным программам, рекламодатели просто затуманили проблему и при навязывании своих решений стали действовать более тонко. Умный хозяин никогда не запрещает. Он формулирует проблему так, чтобы и своими интересами не поступиться, и конфликта не вызвать. Телевизионные рекламодатели это поняли и стали чемпионами по развлечениям, которые не будут иметь нежелательных последствий.

Тем временем держатели правительственных фондов по всей Европе поняли, что контроль над властью в их руках. Итак, они — по контрасту с той свободой, которая поначалу существовала на общественном телевидении, в некоторых странах, таких как Нидерланды, Великобритания, Германия, Канада и Австралия, — организовали пропагандистские мероприятия, иногда в скрытой форме, иногда нет. Но даже те немногие не зависимые от рекламодателей правительства постепенно устали от того, что их критикуют государственные корпорации. Политики поодиночке начали давать неуклюжий отпор телевизионным программам и журналистам, обвиняя их в том, что те работают с антиправительственным уклоном. Такой подход мог вызвать ответный огонь, так как напомнил обществу о 1930-х годах, когда изначально правомерное негодование правительства против излишней свободы слова закончилось установлением диктатур по всей Европе. Вот почему правительствам пришлось прибегнуть к бюрократическим манипуляциям. Бюджетные ограничения и политические назначения оказались настолько эффективным оружием, что продюсеры быстро поняли: для реальной или скрытой критики у них недостаточно или вовсе нет оснований. Такая же ситуация сложилась и на частных вещательных сетях.

Эта атмосфера постепенно породила самоцензуру, сначала в среде управленцев, а затем ей подчинились и руководители новостных программ. Они стали даже более внимательными и «сбалансированными», пока не стали чрезвычайно «осторожными» всякий раз, когда обсуждается какой-либо волнующий общество вопрос.

Но те, кто находится у власти, уже имеют преимущество и над оппозицией, и над прессой, вследствие чего серьезные журналисты чаще склоняются к критическому подходу и обнажению наших недостатков. У правительств и корпораций есть фонды и эксперты, которые занимаются только тем, что готовят возражения на любые неодобрительные суждения о них. Их профессионально выстроенные ответы на критику в самом худшем случае посеют сомнение, а в лучшем — полностью ее опровергнут. Жесткое противосто-

ание, если говорить о телевидении, дает постоянное преимущество тем, кто находится у власти.

И тем не менее бюджетные и политические манипуляции все-таки являются усложненным способом контроля свободы слова. Поэтому решение все чаще находится на путях коммерциализации телевидения. В конце концов, то, что привлекает рекламодателей на телевидение, так это ритуальная и гарантированная гладкость.

Яркие, шокирующие, заставляющие сомневаться программы не могут служить благоприятным фоном для рекламы продукции. Грамотное построение программы отвлекает от окружающей ее рекламы. Чего хочет спонсор, видно по тому факту, что реклама звучит громче, чем сама передача. Если применять десятибалльную шкалу громкости, то уровень звучания в телепередаче изменяется от нулевого до десятого в моменты максимальной громкости, но средний уровень звучания колеблется в границах от четырех до шести. Коммерческие вставки записываются на уровне семь-восемь, что значительно выше среднего уровня громкости передачи. К тому же громкость звука в обычной телепередаче колеблется, тогда как реклама удерживает свой постоянный уровень громкости на протяжении тридцати секунд, отчего кажется, что она звучит еще громче. Чем более коммерциализована система телевидения, тем больше рекламы в ней звучит на уровне от восьми до девяти, как в Соединенных Штатах. Но даже на седьмом уровне громкости она доминирует.

Закадровое звуковое оформление прочно вошло в практику. Для коммерческих передач фоном в основном является стремление запустить свою программу. Стоимость секунды рекламы — то, что в промышленности называется «себестоимостью», — гораздо выше, чем себестоимость программ. На самом деле большинство коммерческих программ телевидения гораздо лучше, чем коммерческие проекты, которые они финансируют, так как они богаче по цвету, сложнее по работе оператора и по тонкости написанного сценария. Если сценарий приносит выгоду, она поступает рекламодателю.

Так же легко манипулировать и кинематографом. Американские фильмы заполнили киноэкраны всей планеты, а поддержание «стандартов» Голливуда требует таких затрат, что снять по-настоящему независимое кино становится просто невозможно. Кино стало напоминать оперу в том смысле, что кинопромышленность стала настолько тяжеловесной, что она неизбежно попадает под контроль тех, кто имеет власть и деньги. Вряд ли стоит упрекать финансистов в том, что они вкладывают деньги только в то, что считают приемлемым. Что касается критики общественности и политиков, то, в сущности, кинопроизводство — это вопрос не морали, а финансов. Это весьма рискованный бизнес, который с трудом пробивается через комитеты. Вот почему фильмы редко обсуждаются общественностью без их решений. Публичные дебаты, скорее всего, отражают те мнения, которые уже были сформулированы. Само производство фильма — это только первый шаг на долгом пути. Точно так же от финансовых рисков и политических нюансов зависит и кинопрокат. Фильмы могут попасть за границу или не выйти в большой мир в зависимости от целого клубка интересов. Их могут показывать везде или в избранных местах. Такие фильмы, как «Битва за Алжир» Джилло Понтекорво или «Тропы славы» Стэнли Кубрика, долгое время не попадали во Францию. Никто толком не понимал, почему так происходит. Корпорации обладают абсолютным правом собственности на фильмы — так же как только автор, а не издатель может обладать авторскими правами на книгу.

Но кинообраз имеет другие ограничения. Даже самый блестящий полнометражный фильм, сделанный гением, не может стать больше, чем узким видением ограниченно-го количества событий. Он не способен, как это подвластно роману, создать целый мир и дать свободу воображению зрителя внутри этого мира. Гений электронных коммуникаций обращается к способности зрителя видеть и подсказывает ему ответы, в то время как гений художественной прозы уповает на способности индивидуума чувствовать и думать. Электронным средствам информации нужна более

или менее пассивная аудитория. Роману нужен активный читатель.

Такую разницу можно проиллюстрировать на простом техническом примере. Короткий рассказ — это жанр, ограниченный не своими художественными возможностями, а временем, местом, количеством персонажей, сложностью повествования, относительным эмоциональным однообразием и, разумеется, объемом отображения окружающего мира. В своих лучших проявлениях рассказ — это произведение, имеющее только один яркий полюс высокой интенсивности. Это — точечное изучение отдельных человеческих чувств, в то время как роман, в своих лучших образцах, — обобщенное исследование. Вот уже целый век печатное слово превращают в зрительный образ, и можно судить о том, что удалось, а что нет. Романы обычно превращаются в плохие фильмы, хорошие романы — в очень плохие фильмы. А вот экранные версии коротких рассказов, как правило, удаются. Они довольно точны, так как ограниченные возможности экранного времени не противостоят объему материала. На самом деле, самые лучшие фильмы часто снимают по рассказам среднего достоинства или даже по плохим, так как хороший рассказ может оказаться слишком сложным, чтобы вместить его содержание в девяносто или даже сто двадцать минут экранного времени.

Самый большой успех телевидения — это освещение спортивных событий. Только там зритель чувствует, что получает все повествование целиком. Ни в одной другой области продюсер не чувствует себя так свободно при освещении происходящих событий. И ничто другое не может гарантировать рекламодателю волнений, свободных от социально значимых противоречий. Вот уже в течение сорока лет спортивная тематика становится все более важной, и ее самым очевидным побочным результатом становится рост числа художественных фильмов на темы от бокса и бейсбола до бега на Олимпийских играх, в которых участвуют Герои.

Однако гораздо важнее, что эта тема попала в те сюжеты кино и телевидения, которые не имеют ничего общего со

спортом. На первый взгляд сюжет посвящен войне, преступности или семейной драме. При более внимательном рассмотрении обнаруживается, что, по сути, сюжет сведен к структуре драмы футбольного матча. Ключ к такой формуле лежит в сферах высокого формализма. Ясно выстроенные отношения выносятся на поверхность. Реальный мир преподносится как некий фиксированный образец, в соответствии с которым predetermined действия приведут или к славе, или к трагедии. Волнения, которые вызывает спортивная тематика, зависят от жесткой системы, в которой, однако, могут случаться и неожиданности. Официально признанный Герой, который может неожиданно промахнуть, проиграть, упасть или еще как-нибудь провалить дело, несомненно проигрывает игроку, еще не доказавшему свою силу, который может неожиданно спасти ситуацию и стать Героем.

Спортивные сценарии о подобных новых Героях гарантированно вызовут интерес и положительные эмоции, но для цивилизованного общества здесь есть и подводные рифы. Спортивная тема уподобляет человеческие отношения своеобразной лотерее. Кто-то собирается выиграть миллион долларов. Кто-то собирается стать Героем в сегодняшней игре. Это поднимает вопрос о перспективах без обоснованной надежды на уровень нормального положения дел. Вот почему все большее количество фильмов — фактически громадное большинство — прославляет неожиданного героя. Ситуацию все время спасают слабые, необученные и испуганные, то есть проигравшие. Это никак не связано с тем, что происходит в реальном мире. Слабые не чаще выигрывают сражения, чем бедные могут перехитрить богатых или покупатели лотерейных билетов выигрывают главный приз. С самого начала движущаяся картинка заиклилась на счастливом конце. Телевидение почти не знает несчастливых финалов. Чтобы осуществить такое на практике, целые сегменты западной художественной прозы пришлось специально адаптировать; то есть подогнать их под подходящие, навевающие вдохновение образцы. Благодаря Уолту Диснею и другим, жесткий реализм детской литературы — начиная от братьев

Гримм и Андерсена до Беатрис Поттер и книг о волшебнике из страны Оз Л. Франка Баума — довольно легко переделали таким образом. Кто-то скажет, что такие маленькие притчи, рассказанные с помощью движущихся картинок, вселяют в слабых людей надежду. На самом деле они ложно отражают реальность и только ослабляют их надежды на то, что все изменится.

Трудность, касающаяся новых средств общения, заполнивших общественные трибуны, состоит в том, чтобы минимизировать язык, или сделать его малозначимым, или просто перестать им пользоваться. Но безязыкой, то есть поствербальной цивилизации не существует. Язык является одним из важнейших элементов любого общества. Он помогает нам понять организацию и строить отношения в обществе. Само слово «цивилизация» происходит от «*Roman civil law*» (римское гражданское право), регулировавшего отношения между отдельными личностями. Но электронные средства информации утопили нас в количестве слов, лишив их значений и внешней формы.

Остается вопрос: достаточно ли в наше время у романа сил, чтобы сделать с диктатурой разума то, что он когда-то сделал с диктатурой произвола. Стоит только взглянуть на большую часть западной литературной элиты, чтобы отказаться от этой идеи.

За пределами Запада ситуация совершенно иная. В Восточной Европе и Латинской Америке роман все еще отражает жизнь общества. Писатели играли такую важную роль в событиях 1989 года в Восточной Европе именно потому, что они и их слова были голосом оппозиции на протяжении сорока лет. В Африке и почти повсюду в Азии, где эра национализма только начинается и политическая нестабильность опасна для любого, кто говорит открыто, роман процветает. С другой стороны, тюрьмы Восточной Европы и развивающегося мира в течение последних сорока лет забиты писателями, а ежегодный список политических убийств и казней заполнен писателями, эссеистами и журналистами.

Даже беглый взгляд на прошлое художественной прозы, оказавшей серьезное влияние на Запад за последние полвека, выносит на поверхность такие имена, как Артур Кестлер, Борис Пастернак, Габриэль Гарсия Маркес, Александр Солженицын, Воле Шойинка, Жоржи Амаду, Рышард Капусьцинский, Марио Варгас Льюса и Дж. М. Кётце. Поразительно, сколь многие из них вышли именно из тех мест, на границе западного мира или вообще из-за его пределов, где роман все еще важен для общества, как это было в Европе в конце восемнадцатого и в девятнадцатом веке. Или действительно были западные писатели, такие как Альбер Камю и Грэм Грин, которые нашли в себе силы написать о Западе в контексте отношения к нему со стороны. Сегодняшний читатель почерпнет из всех их книг подлинное отражение — свидетельство верное — то, чего подавляющее большинство современных прозаических произведений уже не предлагает.

Только на Западе, где электронные средства информации преобладают над общественными, мастера слова сошли с общественной сцены. Может показаться, что дело Рушди в 1989 году продемонстрировало как раз противоположное. Но разумеется, «Сатанинские стихи» не имеют ничего общего с тем, что западный писатель опровергает западные предрассудки. Вместо этого один политико-религиозный лидер использовал этот роман в качестве орудия для создания дипломатического инцидента между Западом и исламским миром. Инцидент напоминал один из кризисов с канонерками девятнадцатого века, только наоборот. Мы на Западе привыкли регулярно набрасываться на незначительные оскорбления, нанесенные нашим принципам, таким как свободный доступ наших торговцев или миссионеров на чью-либо территорию, а затем посылать вооруженные силы, чтобы добиваться уступок принципиального характера. Аятолла Хомейни ухватился за публичное оскорбление и направил террористов, чтобы дестабилизировать Запад и арабских соседей.

Угроза жизни Салмана Рушди стала апофеозом продолжающихся угроз различных правительств по разнообразным

поводам в адрес разных писателей за пределами Запада и ежегодных убийств десятков писателей, журналистов, драматургов и поэтов. Меньше чем за полвека до этого мы делали то же самое. И все же реакцией Запада на угрозы аятоллы Хомейни было лишь недоумение по поводу того, что из-за слов могло возникнуть столько проблем. Мы настаивали сами и заставили Салмана Рушди подчеркнуть, что он не имел намерения оскорблять, это было всего лишь творчество. Но Рушди родился мусульманином, писал на одну из своих излюбленных тем и знал, что он делает, точно так же, как Вольтер, должно быть, понимал, что нападает на католическую церковь, или Толстой, когда он критиковал помещиков, или Филдинг, когда он выставил на всеобщее обозрение продажность судебной системы. Что касается реакции Хомейни, то едва ли ее можно считать неожиданной, поскольку она последовала от опытного политического лидера радикального крыла религии, которая на шестьсот лет младше нашей и все еще охвачена религиозным рвением. В конце концов, на Западе религия утратила большую часть своей власти всего два века назад, а христианские секты все еще убивают друг друга в Ирландии.

Хоть этому и нет оправдания, но действия Хомейни можно понять. Реакция Запада была гораздо более удивительной. Старик в разоренной развивающейся стране сказал всего несколько слов, и наша огромная инфраструктура забилась в судорогах и стала ходить кругами. Рациональные структуры восстали против веры, и вера победила почти без борьбы. Большинство писателей — независимо от того, насколько они погружены в свою частную жизнь, — поддержали Рушди. Некоторые, как покойный Роалд Дал, действительно звонили ему, прося издать книги, чтобы каждый мог жить своей жизнью, и таким образом полагая, что свобода слова является ценным приобретением общества до тех пор, пока она ничто не тормозит и не стоит денег. Даже то большинство писателей, которые продолжают его поддерживать, чувствуют, похоже, только то, что произошло варварское вмешательство в право творчества, в то время как на кон поставлено право творчества вмешиваться в варварство и власть, не говоря уже

о неспособности нашей собственной цивилизации определить такое право.

Еще более удивительным является то, что наши литераторы покинули общественную трибуну, словно бы позабыв о том, что обществу необходимо высказывать мнение. Писателям лучше всего удастся роль террористов: иногда общественных террористов, иногда политических, иногда террористов по велению сердца. Если писатель хорош, он будет един в трех лицах. Его оружием являются слова, которые поставлены на нужное место, чтобы будить разум и делать понятными мысли, эмоции и действия. Его гений, если он у него есть, поможет ему взорвать самоудовлетворенность. Он создает смятение, чтобы сделать возможной ясность. И если гражданин захочет читать о современном мире: о том, как на него влияет растущая преступность, о неподвластной контролю наркомании, об элитах, потерявших ориентиры, о контрасте между богатством и бедностью, об отчуждении, царящем в городах и промышленных комплексах, где правит бал производство вооружений, — он обнаружит, что список тех, кто об этом пишет, поразительно мал. К их числу можно прибавить писателей остального мира, а также огромное количество тех, кто причислен к какой-либо из категорий. Кроме того, многое из причисленного к «категориям», очень хорошего качества. Уже давно похоронили и забыли Барта, а «Вечный сон» и «Долгое прощание» Чендлера читаются как шедевры.

Что же тогда уводит в тень печатное слово Запада? Склероз? Претенциозность? Не те люди пишут? Или что-то более серьезное?

В конце концов, роман родился в борьбе за торжество разума. Художественная проза была самым главным врагом старой системы и самым передовым стражем новой. И хотя роман представляет собой гуманистическое явление, неподдающееся измерению, его самые глубокие надежды неотделимы от мечты рационального человека о движении к более совершенному миру. Едва ли удивительно, что, когда разум стал сбиваться со своей колеи, писатели сбились с пути. Они обнаружили, что легко критиковать тоталитарные режимы,

но они все еще не отделились от тех элементов в основании разума, которое сделало возможным появление новых тоталитарных режимов.

Те, кто по-настоящему пытается заниматься современными проблемами, стремятся нарисовать портрет цивилизации, которая сошла с ума и которую предали дожившие до нашего времени темные стороны нашего языческого сознания. Курт Воннегут, Томас Пинчон, Милан Кундера, Янн Квевфелек, Ян Макэван, Мартин Амис — все блестящие, а некоторые просто истеричные — кажется, нашли вдохновение в подходах, похожих на шоковую терапию: в грубых пародиях и сатире восемнадцатого века. Но сходство обманчиво. «Путешествие Гулливера», «Задиг» и «История Тома Джонса, найденныша» также были тщательно нацеленными ракетами. Читатель с полуслова понимал суть проблемы и то, в каком направлении должно двигаться общество, чтобы стать лучше. Современный роман отражает то смятение, которое чувствуют люди, но его цели часто менее понятны. Вместо того чтобы давать описания и свидетельствовать, он предлагает читателю участвовать в каком-то кинематическом действе. Проблемы, которые пытается ставить роман, имеют мало общего с анархией современного сумасшествия, он занят исключительно формой логического здравомыслия, которое скрипит, как вечный двигатель, противоречащий здравому смыслу.

Ожидать, что писатель станет выступать против диктатуры разума, значит надеяться, что он двинется вспять и будет пожирать своих детей. Ему следует не только решить на это, но он также должен найти способ, как это сделать. В наше время большинство людей понимает, что западный писатель отделен от мира, в котором живет основная часть населения. Он сидит где-то в отведенном ему уголке особого ящичка, отдельно ото всех. Но сам писатель тоже страдает оттого, что он всего лишь один из экспертов цивилизации и работает по одной из тысяч специальностей, доступных образованному гражданину. Сложные требования печатной индустрии, а также звания, премии, владение имуществом, гранты и другие блага, которые он по-

лучает, или — что хуже — не получает и которые ему необходимы для выживания, — это цепи, которыми он прикован к отведенному ему месту.

Чтобы вновь стать свидетелем верным, ему необходимо вновь обрести недоверие, если не ненависть, к существующим структурам. Ему нужно стряхнуть свои литературные цепи и бродить, как когда-то, то внутри общества, то вне его, в поисках средств, способных избавить нас от оков рационального языка, и найти новые модели творческого воображения, отличающиеся от современных. Писатели, одинокие по своей природе, шествующие по жизни в своем одиночестве и все-таки замечающие все вокруг, изначально имеют преимущество. Но даже они не остались без оков. Его цель, говорил Оруэлл, «писать на простом, сильном языке... и думать бесстрашно». Такие качества дают писателю силу служить обществу. «Слово, которым делишься, это меч, охраняющий лучше, чем молчание»²⁰, — писал Роберт Фрост. С таким оружием писатель может предостеречь и увлечь свое племя своими рассуждениями.

Стандартный анализ общества, охваченного тревогой, акцентирует внимание на устаревающих структурах. Язык, однако, может быть более важен, чем эти реально существующие структуры. С течением времени именно устоявшиеся формулировки, известные всем аргументы, упорно цепляющиеся за власть истины становятся принципиальными защитниками структур на своем месте. Чем старше общество и чем более оно стабильно, тем глубже в подсознание проникает субструктура данностей. Данности представляют собой те необходимые вопросы, ответы на которые, как представляются собеседникам, получены еще до того, как прозвучало или написано слово. Запад сейчас нагромоздил несколько слоев предрассудков, к которым со стороны разума и не подступишься. Активный словарь, необходимый, чтобы разобраться, да хотя бы просто обсуждать вопросы, отсутствует.

Еще хуже, что эти данности обрели огромную внутреннюю силу. Последние два века подпитывали полнокровие абстрактных данностей, которые то входили в моду, то устаре-

вали. Империализм проложил путь социализму, фашизму, капитализму, чтобы освободить людей, рынки, производительность и конкуренцию. Правительства усердно стараются занять определенные позиции по отношению к словам, точно так же, как это делают организации и отдельные личности. Они могут завернуться в них, как в плащи, или взвалить их, как булыжники, на плечи других людей.

Больше нет необходимости извращать идеи, которые породил разум. Сегодня любой использует слово «свобода», которое может означать все, что угодно. Это понятие в наше время стоит не дороже бумажных денег Веймарской республики. Уже не существует каких-либо эмоциональных или разумных противовесов, которые могли бы упасть, если слово будет неправильно использовано.

Там, где строились ранние западные сообщества на основе военной или религиозной власти, разум созидался на основе мысли и языка. Структуры, которые принесли нам свободу, затем сдерживали ее, а теперь душат нас, являются, прежде всего, абстрактным выражением тех мыслей и того языка.

Пока писатель продолжает сидеть в клетке своей специализации и не отказывается от своих профессиональных привилегий, приступив к освобождению самих основ языка от всего наносного, от того, что Малларме и Элиот называли косноязычием²¹, из существующего ныне смятения нет выхода. Только они смогут дать нам возможность увидеть безумие профессиональных диалектов, которые претендуют на то, что могут дать ответы на все вопросы, даже если такие ответы не имеют отношения к реальности. Реальность языка состоит не в том, чтобы быть правильным. Деформация, которую такие лицемерные требования привнесут в главное средство нашего общения, сможет лишь строить тюрьму для нашей цивилизации.

Свидетели верные, такие как Солон и Сократ, Вольтер и Свифт, даже сам Христос, совершали самое благое дело, когда, прежде всего, задавали вопросы и что-то разъясняли, а не были одержимы, как специалисты, навязыванием решений. Свидетель предает общество, когда молчит, или

до него не достучаться, или, что хуже всего, пребывает в состоянии блаженства, пытаюсь нас в чем-то уверить. Он верен себе и людям, когда его честная позиция не дает нам покоя.

Глава двадцать вторая

ДОБРОДЕТЕЛЬ СОМНЕНИЯ

Пустыня начинается там, где кончаются деревья, и в Северной Африке, и в Арктике. В таких местах, где каждый видит открытую даль, всегда есть ясность. Суровость жары и холода в сочетании с отсутствием воды делает эти пространства из песка, камня и снега бесплодными. Если говорить точнее, то там трудно. Жизнь там есть, но только мимолетная: травинка за травинкой, каждая в свое время и в своем месте, и каждая травинка ждет своей секунды.

Несколько лет назад я путешествовал по западной части Сахары. Рио-де-Оро защищает группа партизан, известных под названием Фронт Полисарио. Для них это был разгар войны против марокканцев, и их вместе с их полуразобранными четырехколесными верблюдами в стиле рацция оттесняли в пустыню. Воевали они точно так же, как за тысячу с лишним лет до них воевало племя регейбат.

Однажды ранним вечером мы попали под сильный ливень. Нас было семеро, и мы сидели в крытой землянке, выкопанной посередине русла высохшей реки. Крыша, сделанная из разных кусков дерева и ящиков от минометных снарядов, была покрыта песком. До этого здесь несколько лет не было дождя. А теперь вода неслась по пустыне, словно по мощеной поверхности, заливая потоками все низины. Поднимающаяся река окружила нашу насыпь, а затем вода стала проникать внутрь землянки. Думаю, что там я бы и остался и был бы единственным кельтом ростом в шесть футов и два дюйма, который утонул в Рио-де-Оро. Но наш проводник, старый регейбат вовремя вывел нас через узкий лаз в бурлящую темноту. Пока моторы не скрылись под во-

дой, люди успели завести два вездехода и сбежали на берег с винтовками и минометами, а следом беспорядочной толпой бежали мы.

На следующее утро весь безжизненный песок покрылся проросшими растениями. К середине дня вся земля была опутана стеблями до нескольких метров длиной; к обеду, когда мы сидели под натянутыми между вездеходами тяжелыми шерстяными одеялами, укрывавшими нас от жары, все зацвело. Цветы отцветали, завязывались плоды. К концу дня они созрели. На следующее утро полные семян плоды высохли и завяли, погружаясь в сон, ожидая, когда ветер разнесет семена и засыпет их песком до следующего дождя, который, вероятно, пойдет через несколько лет.

То же самое происходит и в Арктике в течение короткого лета и при незаходящем солнце. Разумеется, не столь быстро, так как там по-настоящему экстремальным фактором является холод. Но растения проходят полный цикл своего развития в течение нескольких недель, на что во всех других местах требуются месяцы. За это время они успевают вырасти на слое оттаявшей под солнцем почвы глубиной лишь в несколько сантиметров, взрываясь массой цветения и запахов.

Люди, считающие эти места родными, приноровились к экстремальному климату. Их цивилизация напоминает натянутую струну. Даже при оснащении западными технологиями малейшая ошибка чревата фатальными последствиями. Если снегоход или вездеход ломаются, продолжительность жизни людей начинает измеряться в часах. Если судно тонет в арктических водах, людей не спасти. Секундная невнимательность может превратить невинную прогулку в хаос заблудившейся вечности, где рядом бродит смерть.

И это вовсе не романтические цивилизации, достойные всяческого подражания. Но западного человека гипнотизирует зависимость других цивилизаций от постоянного совершенствования деталей. Он, скорее всего, считает это непостижимым. Как и внимание, которое там обращают на все, что окружает людей. Если сравнить умение приспособиться

к обстоятельствам жителя пустыни и типичного взрослого городского жителя Запада, то поведение последнего окажется очень шаблонным во многих отношениях.

Недавно я гостил в маленьком селении на северном острове за Полярным кругом у охотника инуита (самоназвание эскимосов — *прим. ред.*). Он жил в типовом домике западного образца, построенном ему правительством. Войти в дом можно было через неотапливаемую веранду, которая служила хранилищем замороженного моржового и китового мяса. На дощечке на полу кухни лежал размороженный кусок сырого мяса карибу (северного оленя — *прим ред.*): хочешь есть, можешь отрезать ломтик. Первый раз, когда я пришел к охотнику, он ремонтировал багор. Он не говорил по-английски и не учился в школе, но, снуя по комнате, включил сложную аппаратуру и показал мне видео, которое совсем недавно снимал вместе с друзьями и в котором сам снимался. Меня поразила эта пропасть между культурой каменного века и легкостью в обращении с новейшими технологиями.

Но самыми удивительными качествами обитателей пустынных цивилизаций являются их утонченность и сдержанность. Это культуры высокого сознания. Человек Запада в полусонном состоянии плывет через мир, обитый мягкими подушечками. Механизмы и значение большинства событий нам непонятны. И в этом нет ничего плохого, кроме того, что мы слишком легко относимся к таким неприятностям, как бедность. Более того, мы, в общем-то, занимаем на планете умеренные и плодородные зоны, поэтому для нас феномен выбора не является ни привилегией, ни чем-то особым. Это само собой разумеется.

У людей пустынь возможность выбора невелика. Существуют лишь суровые условия жизни их цивилизации, это можно заметить, присмотревшись, с каким вниманием люди относятся к передвижению в пространстве. Их неспешность — это только часть реакции на жару или холод. Прежде всего, следует отметить, что их движения продуманны. В этом смысле эскимос так же осмыслен, как регейбат. Я помню, как в Арктике меня остановила молодая женщина и сказала,

что мой энтузиазм и энергичные движения могут быть неправильно поняты. Если жители поселка Иглулик, где мы тогда были, увидят, как быстро я иду, они подумают, что что-то случилось, а если ничего не случилось, значит, я душевнобольной.

Размеренность движений не обязательно связана с реакцией на события. Но есть разновидность путешественников, которых привлекает пустыня — не таких случайных пришельцев, как я, — и они чем-то похожи друг на друга. Кажется, что они ищут способ снять мягкую обивку с тех помещений, где находятся их собственные общества. Некоторых привлекает ложная романтика, такие долго не задерживаются. Те, кто остается, стремятся приспособить свое сознание и получать от этого неромантическое удовольствие. Это можно увидеть по тому, как они двигаются, по их глазам, по ритму их разговоров. Они, похоже, пытаются перестроить себя целиком, в том числе свой разум, а также и эмоции, и то, что можно назвать духом или душой. Такие были бы понятны Сократу: человек как триединство интеллекта, духа и желаний. Два последних пункта жизненно важны, но подчинены связному мышлению.

Возможно, современному интеллектуалу будет трудно уравнивать мнение Сократа с этими минимальными достижениями, которые даже не имеют словесного выражения. Исполнение, без сомнения, должно быть отнесено к явлениям более низкого порядка, подходящего только для социологических или антропологических исследований. И все же знание в этих экстремальных местах может довольно легко повлиять на то, что на самом деле стоит за таким пониманием. Убежденность Сократа в том, что добродетель является формой знания и, следовательно, остается неизменной, и означает, что «никто добровольно не совершает зла».

С нашими элитами все наоборот. Они часто оправдывают неправильные поступки тем, что обладают знанием. И это рациональное мудрствование убеждает их в том, что структурные неурядицы неизбежны и их следует принимать как должное. При таком понимании этого поставленного с ног на голову желания Сократа разумным человеком счита-

ется тот, кто понимает, что должен иметь дело с реалиями мира, вне зависимости от того, насколько этот мир несчастен. И поэтому он напичкан знаниями, ощущает вселенскую усталость и готов принять самое худшее.

Это далеко уводит от гуманистической мечты, оснащенной добродетелью и знанием, которую предложил миру Данте. Даже самым великодушным наблюдателям было бы трудно обнаружить хоть какую-нибудь связь между современными элитами и тем, что он себе представлял. Можно, однако, обнаружить связь с цивилизациями пустынь. А то, что описывал Данте, не было нереализуемым идеалом. Архитектор шестнадцатого века Андреа Палладио верил, что человек, строя здания, целиком перестраивает себя: история сольется с будущим, природа с математическими пропорциями, душа с тем, что представляет собой общество. «Город — это лишь чуть-чуть больше, чем большое здание, а здание — это маленький город». Его здания должны были соединять прекрасное с полезным, его интерьеры соотносились с экстерьерами через проекцию внутренней структуры здания на его фасад¹. Несмотря на единообразные и интегрированные идеи, он считал себя рациональным архитектором. Но это говорит нам только о том, как сильно отличаются оптимистические ожидания рациональности от противоречивой реальности, которая даже тогда к ним готовилась.

Наряду с самоуверенностью, самими общими отличительными признаками наших элит являются цинизм, риторика, а также поклонение амбициям и власти. Такими же были главные характеристики придворных восемнадцатого века. Можно предположить, что уставший от жизни цинизм демонстрирует интеллектуальное превосходство. На самом деле это не свидетельствует ни об уме, ни об опыте, ни о точности. Если элитам что-то и свойственно, так это серость и неумение извлекать уроки из прошлого. Утратить вкус к жизни — значит сознательно повторять старые ошибки.

Сейчас мы переживаем один из тех редких моментов истории, когда все элиты — военные, правительство, бизнес-

мены и университеты — имеют возможность доказать, что они лучше, чем нам кажется. В течение трех десятилетий они пытались справиться с запутанными экономическими проблемами, раскручивая колесо военной индустрии и в области гонки вооружений, и в области международной торговли оружием. В результате наши экономические проблемы не решены. Тем временем западная промышленная и финансовая инфраструктура стали зависеть от этих товаров, искусственно причисленных к разряду потребительских. Самое страшное в этой зависимости то, что никто, даже спровоцировавшие ее элиты, точно не знает, насколько она велика. Финансовые механизмы, научные приоритеты и методы производства простираются далеко за пределы контрактов о продаже ракет и танков и проникли буквально во все сферы экономики.

С окончанием «холодной» войны время оправдания подобных экономических решений миновало. Через многие средства массовой информации прошли сообщения о том, что производство вооружений будет радикально сокращено. Но что явится на смену ему — неясно. Быстрое сокращение производства вооружений даже всего на 10 процентов способно спровоцировать сильные потрясения в промышленности. Если оно будет большим, то испытают потрясение финансовые механизмы Запада. Пока наши элиты игнорируют эту проблему. Их риторика о выздоровлении экономики концентрирует наше внимание на идеологии силы рынка. Даже поверхностное наблюдение за реальностью показывает, что элиты растерялись и на сегодняшний день выбрали тактику выигрыша времени. Возможно, они придут к тому, что утвердятся в своем пресыщенном цинизме. Всплеск национализма и появление по крайней мере двух зон нестабильности на европейском континенте создаст новые рынки вооружений по мере того, как недоверие и насилие будут все ближе и ближе придвигаться к Западу как к анклаву стабильности. Это также оправдывает работу над новыми западными системами вооружений. Они должны стать вооружениями нового типа, так как угроза будет по своей природе другой, чем та, которую генерировали сопер-

ничавшие сверхдержавы. Существующее вооружение не имеет экономической стоимости. Связанным с ним структурам требуется новое производство. Таким образом, устаревшие ядерные ракеты и арсеналы тяжелых танков сократятся, и будет создан новый арсенал обычных вооружений.

Чтобы справиться с растерянностью нескольких ближайших лет и дать новые ответы на любые серьезные вопросы, нашим элитам понадобятся все их навыки в области риторики. Они уже начали претендовать на то, что крах коммунизма — это победа западного образа жизни, который называют по-разному: и капитализмом, и свободным рынком, и индивидуализмом, и демократией. Такой способ толкования напоминает то, как иезуиты вынесли решение по поводу лиссабонского землетрясения, назвав его карой Божьей. В конце концов, крах Советов наступил наполовину потому, что им в наследство достались века русского империализма. Вторую половину обеспечило беззастенчивое применение рациональных методов, которые они позаимствовали у Запада.

Следующее десятилетие станет десятилетием проверки для нашей цивилизации софистов и фарисеев. А пока подъем национализма удобно вписывается в рациональную методологию. Национальное государство обязано своим появлением раннему и страстному браку с разумом: помолвка между кардиналом и абсолютным монархом состоялась в начале семнадцатого века. Как бы то ни было, при подготовке этого события Лойола уже отделил рациональные методы от гуманистических корней, продемонстрировав, что разум является ничем не ограниченным оружием. Гуманистическая мечта сулит человеку сделать его мерилom эстетических ценностей и моральной добродетели, но именно эти последние и превратились во второстепенные идеалы, не имеющие отношения к реалиям власти. Мы начали семнадцатый век в объятиях слепой логики и заканчиваем двадцатый в руках слепого разума, который представляет собой изощренный вариант логики.

Дух, желание, вера, чувство, интуиция, воля, опыт — все это не имеет значения для функционирования нашего об-

щества. Игнорируя все это, мы автоматически приписываем наши неудачи и преступления импульсам неразумного поведения. Наше понимание человека как единого целого, то есть как нашей сознательной памяти, распалось на части, и теперь мы не имеем ни философских, ни практических убеждений, способных дать нашему обществу и его институтам обоснование ответственности за совершаемые действия. Лишенные стабилизирующих гуманистических основ, мы с ужасом обнаружили, что самые естественные эмоциональные ресурсы, которые необходимы для пребывания в рамках нашей цивилизации, легко вырождаются в низменные чувства.

Наше нынешнее общество — это порождение придворных. Соответственно, именно они определяли, какой должна быть современная идеология, причем таким образом, чтобы это укрепляло их мастерство. И мы теперь, как будто это само собой разумеется, черним те силы, которые им не нравятся, называя их реакционными, неэффективными, неопределенными, упрощенческими — в общем, непрофессиональными. Неудивительно, что, подобно большинству стареющих религий, разум может перестать быть силой, способной решать проблемы, которые сам же порождает. Это происходит не в первый раз в истории Запада, когда придворные не видят необходимости изменяться в случаях, когда они обретают власть, и уверены, что власть и задумана была по их образу и подобию. После того как они четыре с половиной века кружили вокруг одних и тех же решений, мы утратили память о том, что происходило раньше. Теперь мы живем наедине со своим веком, как это может случиться с любой цивилизацией. Никто серьезно не занимается выработкой стратегии развития, нет в обществе и серьезных противоречий. На самом деле мы с вами живем в нашем собственном прошлом.

Этим неприкаянным блужданием, возможно, и объясняется гипнотическое воздействие, которое оказывает на нас идея эффективности. Мы утратили вектор движения, но решили двигаться быстро. Мы применяем эффективность — этот второсортный субпродукт разума — для экономического

развития, администрирования, искусства и даже для развития нашей демократии. Мы путаем намерение с его осуществлением. Созидание с бухгалтерией. На той темной равнине, где мы блуждаем, мы воздвигли символы, но не для того, чтобы они служили нам указателями, а для того, чтобы создать для себя надежду на облегчение. Самая большая надежда возлагается на эффективность как на самодовлеющую моральную ценность.

В этом контексте трудно удержать в сознании то, что сущность цивилизации должна тяготеть к размышлению, а не к проворству. Легко сказать, что принятие решений следует отделить от администрирования, так как первое органично и требует размышлений, а второе линейно и структурировано. Но если цивилизация использует ошибочные методы управления моральными ценностями, исполнение любого решения заводит ее в тупик.

Электронные средства общения еще больше усложняют ситуацию, так как развиваются именно за счет своей скорости, формул правды и изменчивой внешности, что достигается при помощи манипулирования формулами. Новые международные новостные сети гордятся оперативностью, с которой они доставляют колоссальные объемы информации. Но иракская кампания продемонстрировала, что такое положение дел еще больше стирает грань между размышлением и действием. Эффективная подача информации в объеме, который невозможно переварить, не оставляет обществу иной возможности, кроме как наблюдать за событиями из зрительного зала.

Рациональные защитники эффективности зачастую сами оказываются неэффективными. Сосредоточивая внимание на том, как делаются дела, они не могут уследить, почему они делаются именно так. Они высчитывают особые цены, не понимая, каковы цены реальные. Эта зависимость от линейной эффективности и является одной из причин нашего бесконечного экономического кризиса. Они генерируют узкое понимание логики, с помощью которой можно доказать, что производство вооружений — дорога к процветанию. Хуже всего то, что они способны изъять из демократии самую

сильную ее сторону: способность действовать нестандартно; они также отбирают у человека силы оставаться нелинейным существом.

Когда я встречаюсь с представителями элит, меня всякий раз поражает их глубочайший пессимизм. Прежде всего, пессимизм в отношении человека. Они считают маловероятным, что средний человек станет много работать, признает красоту, проголосует за наилучшие решения или хотя бы станет повиноваться должным образом. Они принимают за данность, что такая личность не может или не хочет понимать, сколь сложной может быть ответственность, возложенная судьбой на человека, оснащенного знаниями специалиста и властью.

Это особенно очевидно сегодня в тех людях, которых мы называем правыми. Справедливости ради следует заметить, что в целом элиты уже давно начали испытывать в отношении нас все больше пессимизма. Идеология, которую исповедуют левые, конечно, прочувствовала нужды людей и готова дать им то, что необходимо. Более умеренные реформаторы примерно такие же, но они особенно уповают на то, что можно до мельчайших деталей разработать для людей законы. На первый взгляд кажется, что «новые правые» принципиально иные, так как главным считают восхваление индивидуализма и нападки на бюрократию. Но это фальшивые лозунги. В голове они держат другое: не бюрократия, сама по себе, а ее качество. Когда такие правые приходят к власти, управленческие штаты крупных корпораций и банков разбухают. Штаты правительства не сокращаются. Программы социальной поддержки просто сокращаются, а те, что выгодны управляющим частных корпораций и определенным категориям обладателей личных состояний, растут.

То, что «новые правые» крепнут, является, возможно, неизбежным результатом развития рационального государства, которое шаг за шагом осваивает идею корпоративности. Да и как бы могла цивилизация, преданная структурированию, экспертизе и умению отвечать на вопросы, не превратиться в коалицию профессиональных

групп? И как бы тогда отдельный гражданин не рассматривался как серьезное препятствие для осуществления такого сценария развития событий? Все закамouflировано определенной пропорцией крайне упрощенных понятий, существующих вне всякой связи с любыми реалиями общества и выдаваемых за некие ценности. Они заимствованы из Откровения Иоанна Богослова и других образцов фальшивой мифологии. Например, представление о том, что оборванец-индивидуалист освоил просторы американского Запада, до сих пор как абсолютная правда вдальблывается в головы десятка миллионов людей, живущих на крошечной территории Нью-Йорка. Это представление столь же правдиво, как утверждение, что десять миллионов быков могли бы втиснуться в один китайский магазин и желали бы этого.

На самом деле, в среде технарей, системных манипуляторов и спекулянтов зреет отчаянная потребность разрушить все оставшиеся свидетельства возможности западного общества функционировать на еще уцелевших основах сотрудничества между людьми. Нашим элитам в их собственных интересах приходится взирать на нас с пессимизмом. Ключ к пониманию их подходов виден в том, что они уверены и внушают другим, будто эгоизм является главной движущей силой человека. Сейчас мы переживаем один из самых трудных периодов нашей истории, когда любой разумный подход к решению важных вопросов выглядит неинтересным и неэффективным, а силы эгоизма и групповщины — неодолимыми и притягательными.

Какие надежды остаются у отдельной личности с ее частными проблемами, если те, кто находятся у власти, так громко навязывают эту риторику фальшивого индивидуализма, не оставляя гуманизму иной мифологии, кроме самой второстепенной? Однако надежда ютится там, где в ходу неспешные, близкие к реальной жизни вопросы, и там, где обеспокоены гуманизмом. Но прежде всего, мужчины, хотя, наверное, больше надежд на женщин, должны перестать верить, что достижения последних нескольких веков — это результат применения рациональных методов, организаций и эгоизма,

а неудачи и насилие связаны с гуманизмом и способностью к сопереживанию. Несмотря на всю риторику, которая доминирует в нашей цивилизации, истиной является обратное.

Джефферсон сформулировал это, разделив людей по их природному складу на тех, кто боится людей и не доверяет им, и на тех, кто считает себя одним из многих и верит людям. Наша цивилизация все чаще приводит к власти тех, кто боится и не доверяет. Те, кто доверяет, всегда отстаивали точку зрения, что совесть является ключом к улучшению условий человеческой жизни. А властные структуры всегда считали совесть общества опасностью, которую нужно уменьшить, а затем, пропустив через механизмы языка, мифологии и структурирования, направить туда, где она утратит наступательные качества.

Общества скатываются к катастрофе, сами того не сознавая, или находят в себе силы остановиться и реформироваться. Именно это означала великая афинская пауза, когда общество выдвинуло Солона и поощрило его стремление «страхнуть бремя». Афиняне понимали, что, как писал Солон, общественное зло входит в дом каждого и ворота в его двор не защита от этого.

Легко перечислить действия, которые могли бы помочь нам справиться с трудностями: это пересмотр отношений между политикой и администрированием, например прекращение поклонения Герою; возрастание значимости знаний, разрыв союза варварства (генералы, Герои, звезды, спекулянты) с технократией; развенчание эгоизма, бессмысленной власти, цинизма, риторики. Для всего этого необходимо просто сменить наши элиты.

Но пустоты общества образовались вследствие утраты нами ценностей. Ценности нельзя утвердить списком. Победа одной ценности над другой приносит огромную радость, но быстро забывается. Постоянная база, необходимая для формулирования той или иной ценности, является результатом методичной работы. Личность обретает власть и ответственность, потому что участвует в ней. Но у нас нет широко распространенной веры в ценность участия во власти. Рациональная система заставляет нас бояться того, что мы в чем-то

серьезно отличаемся от других. Участие во власти — это процесс производства, но и само оно является продуктом практических ценностей и здравого смысла, а не экспертных знаний и рациональности.

Итак, секрет состоит в том, что мы должны изменить нашу цивилизацию готовых ответов на цивилизацию, которая при возникновении сомнений испытывает удовлетворение, а не беспокойство. По возможности сохранять спокойствие во время паники. Если наша цивилизация передовая, на что мы претендуем, нам не следует действовать так, будто все решения принимаются во имя стабильности. Жизненно важные вопросы не должны низводиться до упрощенного уровня, когда можно дать ответ «да» или «нет», а затем к тому, чтобы решить проблему за определенное время. Это неизменно будет означать, что общественные разногласия — это конфликт рационального и иррационального, в котором здравый смысл сведен до разновидности раздражения меньшинства, которое следует размолоть двумя тяжелыми булыжниками абстракции. «Исторический процесс, — писал Майкл Ховард, — уже тем, какие вопросы он ставит и какие ответы вызывает к жизни, сам создает мораль человечества»². В конце концов, истинные характеристики цивилизации учитывают время, необходимое для выработки того, что ей необходимо. Тогда зачем нам постоянно выдвигают политические, экономические и социальные ультиматумы?

Цивилизация ответов не может быть ничем иным, как цивилизацией круговорота причуд и обманчивых эмоций. Но что же делать? Что же делать? Так долго и так много людей занимались тем, что давали ответы. У одних была власть казнить и миловать. Другие хотели воспользоваться этой властью. Третьи были веселыми поставщиками разных идей. Иные были популистами или апологетами элитарности, бескорыстными или помешанными на извлечении прибыли. Так много ответов. Так много истин. Желание найти ответ стало болезнью, которая бежит по нашим жилам, как крыса, мечущаяся в поисках истины в бесконечных коридорах знаний.

Если сократовские вопросы все еще актуальны — это, конечно, не рационально. Вольтер указывал, что римское понятие «*sensus communis*» означало «здравый смысл», но также «гуманность» и «способность к сопереживанию». Сейчас его свели до понятия «состояние между глупостью и умом». Мы сузили это понятие еще больше, как если бы оно имело отношение только к труду рабочего и воспитанию маленьких детей. Это сужение влияния цивилизации, которая, предлагая свои ответы, автоматически стремится разделить людей, в то время как мы отчаянно стремимся объединиться на почве решения существующих проблем.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Цитаты из Вольтера: «Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux» (L'Enfant prodigue, préface, 1736). «Il faut avoir pour passion dominante l'amour du bien public» (Le siècle de Louis XIV). «Dieu n'est pas pour les gros bataillons, mais pour ceux qui tirent le mieux» (The Piccini notebooks).

2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Людвиг Витгенштейн. Избранные работы. М., 2005. С. 219. Это последняя фраза книги. Впервые было опубликовано в «Annalen der Naturphilosophie», 1921: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. *Voltarie*. Dictionnaire philosophique. Paris: Librairie de Fortic. 1826. Vol. 6, 307. Под заголовком «Juste (du) et de L'injuste» «Il est evident à toute la terre qu'un bienfait est plus honnête qu'un outrage, que la douceur est préférable à l'emportement. Il ne s'agit donc que de nous servir de notre raison pour discerner les nuances de l'honnête et du deshonnête».

2. *Denis Diderot*. L'Encyclopédie. Ed. Alain Pons. Paris: Flammarion, 1987. Vol. 1. P. 35. Первоначально опубликовано в 18 томах между 1751 и 1766 годами. Цитата из «Предисловия» Понса.

3. *Oliver Germain-Thomas*. Retour à Bénarès. Paris: Albin Michel, 1986, 56. «La cathédrale de mon pays n'est que le souvenir d'une culture alors qu'en ce temple tout parle, tout vibre, tout chante, tout vit».

4. The Political Testament of Cardinal Richelieu. Madison: University of Wisconsin Press, 1961. P. 45. Подлинность этого документа долгое время оспаривалась. Не исключено, что он подлинный. В любом случае, бесконечные исследования показали, что его содержание точно отражает и то, что, бесспорно, написано самим Ришельё в других документах, и его общие убеждения. Следовательно, если бы этот документ на самом деле был написан его «серым кардиналом» отцом Жозефом или его сторонником, который после смерти Ришельё использовал документы, чтобы сфабриковать фальшивое завещание, которое можно было использовать против тогдашнего правительства, то все равно в нем были точно отражены убеждения кардинала. В этом смысле документ является более правдивым, чем многие автобиографии, в которых известные общественные деятели не спеша переписывают историю и свои собственные взгляды на нее в свете позднейших событий. На самом деле «Завещание» Ришельё — это совершенная иллюстрация современного смещения фактов и правды. Быть может, это не факт, но это правда. Действительно ли он писал его, чтобы опубликовать, — факт, но без сомнения неправда.

5. Постановление № 45-2283, от 9 октября 1945 года, «Exposé des motifs» // *Michel Dedré. La Réforme de la Fonction Publique. 1945.*

6. Фернан Бродель в интервью Луи-Бернару Робитай в «L'Actualité», февраль 1986 года:

«Вопрос: Не кажется ли Вам, что человечество в процессе модернизации становится менее варварским?

Бродель: Вспомните Вторую мировую войну! Отличие в том, что стало меньше поводов проявлять варварство. Я считаю, что люди в высшей степени варвары».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. *Pierre Miguel. Les Guerres de Réligion. Paris: Fayard, 1980. Vol. 1, 53.*

2. *Isaiah Berlin. The Age of Enlightenment. Chicago: Mentor, 1956. 113.*

3. *Northrop Frye, Sheridan Baker, and George Perkins, ed. The Harper Handbook to Literature. New York: Harper & Row, 1988. P. 168–169.*

4. *Diderot. L'Encyclopédie. Vol. 2, 220. «Machiavélisme, espèce de politique détestable qu'on peut rendre en deux mots, par l'art de tyranniser».*

5. См.: *Ignatius Loyola. Autobiographie, trans. Alain Guillemmou. Paris: Editions du Seuil, 1962. 45.*

6. *Ibid. 142. «Государственный нотариус» — это примерный перевод словосочетания «greffier publique». В современной Франции такой должности больше не существует.*

7. *The first summary of the institute, August 1539. The Papal Bull «Regimini Militantis», September 27, 1540, para 1.*

8. См.: *Candido de Delmases // Ignatius Loyola. His Life and Work. St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1985. P. 184–200. Цит.: С. 200.*

9. *Ibid.*

10. *Бэкон Фрэнсис. Сочинения. Т. 2. М., 1978. С. 13.*

11. *Michel Carmona. Richelieu. Paris: Fayard, 1983. P. 687.*

12. *Ibid, 393. «Six vices majeurs: l'incapabilité, la lâcheté, l'ambition, l'avarice, l'ingratitude, et la fourberie».*

13. *The Political Testament of Cardinal Richelieu. P. 71.*

14. *Ibid, 84, 118.*

15. *Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 112.*

16. *Carmona. Richelieu. P. 35.*

17. *Giambattista Vico. La Méthode des Études de Notre Temps. Paris: Grasset, 1981. P. 226–230.*

18. *Ibid.*

19. *Ibid. P. 203.*

20. На самом деле Корсика считалась королевством, но Мария Непорочного Зачатия исполняла должность королевы на постоянной основе и не была, конечно, доступна настолько, чтобы к ней ходили за советом. Это был изящный способ учредить республику и не потрясти при этом тогдашние нравы.

21. *Joseph Foladare. Boswell's Paoli. Connecticut: Archon Books, 1979. P. 27. Из письма к Ди Пейру от 4 ноября 1764 года.*

22. Ibid. P. 42.

23. Journal of the Rev. John Wesley, ed. Nehemiah Curnock, London, 1909–1916. Vol. 5. P. 342. Запись датируется октябрём 1767 года.

24. Руссо Жан Жак. Об общественном договоре. М., 1998. С. 240. «Il est encore en Europe un pays capable de législation, s'est l'Isle de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrir et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui aprot à la conserver».

25. Foladare. Boswell's Paoli. P. 33.

26. Ibid. P. 160.

27. Voltaire. Philosophical Dictionary. London: Penguin Classics, 1971. P. 27. Voltaire. Dictionnaire Philosophique. Paris: Librairie de Fortic, 1826. Vol. 7. P. 252. «Celui qui brûle de l'ambition d'être édile, tribun, préteur, consul, dictateur, crie qu'il n'aime que lui-même». Первое издание вышло в 1764 году.

28. Foladare. Boswell's Paoli. P. 154.

29. International Gerald Tribune. 1987. 7 May.

30. Бёрк Эдмунд. Размышления о революции во Франции. М., 1993. С. 45.

31. The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson. New York: Modern Library, 1944. P. 51. Autobiography. P. 1821.

32. Ibid. P. 317. Paper, 28 April 1793.

33. Ibid. P. 373. Письмо к Питеру Карру, 19 августа 1785 года.

34. Ibid. P. 576. Письмо к судье Джону Тайлеру, 28 июня 1804 года.

35. Ibid. P. 448. Письмо к И. Рутледж, 18 июля 1788 года.

36. Ibid. P. 173. «The Charaster of George Washinton».

37. Voix de Napoléon. Genève: Edition du Milieu du Monde. P. 27. Май 1795 года, из беседы Наполеона с мадам де Шатене: «En pareil cas il convient qu'une victoire complète soit à l'un des partis: dix mille par terre, d'un côté ou de l'autre. Autrement il faudra toujours recommencer». Вторая цитата, июнь 1797 года: «Il leur faut de la gloire, les satisfactions de la vanité».

38. Ibid. P. 30. 10 декабря 1797 года: «Lorsque le bonheur du peuple français sera assis sur les meilleures lois organiques, l'Europe entière deviendra libre».

39. Ibid. P. 35. 9 ноября 1791 года: «Cet état de chose ne peut pas durer. Avant trois ans il nous mènera au despotisme! Mais nous voulons la République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile et de la tolérance politique. Avec une bonne administration, tous les individus oublieront les factions don't on les a faits membres et il leur sera permis d'être Français!»

40. Ibid. P. 58, 21 февраля 1801 года: «Ceci est triste général!» «Oui, comme la grandeur!»

41. Ibid. P. 193. Из беседы с Нарбонном в Кремле, 15 октября 1812 года: «Moi, j'aime surtout la tragédie, haute, sublime, comme l'a faite Corneille. Les grands homes y sont plus vrais que dans l'histoire. On ne les y voit que dans les crises qu'ils développent, dans les moments de décision suprême; et on n'est pas surchargé de tout ce préparatoire et de conjectures, que les historiens nous donne souvent à faux. C'est autant de gagné pour la gloire. Car, mon cher, il y a bien des misères dans le héros. C'est la statue monumentale, où ne s'aperçoivent plus les infirmités et les frissons de la chair. C'est *Le Persée* de Benvenuto Cellini, ce groupe correct et sublime, où on ne soupçonne guère, ma foi, la présence du plomb vil et des assietes d'étain, que l'artiste en fureur avait jetés dans le moule bouillonnant, pour en faire sortir son demi-dieu».

42. The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson. P. 656, письмо к Альберту Галлатину от 16 октября 1815 года; P. 683, письмо к Джорджу Тикнору от 25 ноября 1817 года.

43. Ibid. P. 684, письмо к графу Дугнани, папскому нунцию во Франции в 1789 году, от 14 февраля 1818 года.

44. *Léon Bloy*. L'âme de Napoléon. Paris: Mercure de France, 1912. P. 8. «Napoléon est inexplicable et, sans doute, le plus inexplicable des hommes, parce qu'il est, avant tout et surtout, le Préfigurant de CELUI qui doit venir et qui n'est peut-être plus bien loin».

45. *Шпенглер Освальд*. Закат Европы. Т. 1. М., 1998. С. 310.

46. Там же. С. 172.

47. *Elizabeth Becker*. When the War is Over. New York: Simon & Schuster, 1986. P. 295.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. *Diderot*. L'Encyclopédie. Vol. 1. P. 320. См.: Cour: «des productions artificielles de la perfection la plus recherchée».

2. *Duc de Saint-Simon*. Mémoires. Vol. 2, Chap. 62. «C'était de ces insectes de cour qu'on est toujours surpris d'y voir et d'y trouver partout, et don't le peu de conséquence fait toute la consistance».

3. *Baldesar Castiglione*. The Book of the Courtier. New York: Doublday. 1959. P. 299. Впервые опубликована в Италии в 1628 году.

4. *Richard A. Gabriel*. Military Incompetence: Why the American Military Doesn't Win. New York: Hill & Wang, 1985. P. 189.

5. Ibid.

6. *Макнамара Роберт*. Путем ошибок — к катастрофе. М., 1988. С. 33.

7. *Charles de Gaulle*. Discours et Messages. Vol. 4: 1956—1965. Paris: Plon, 1970. P. 85. Allocution prononcée à l'École Militaire, 15 février 1963: «Il est évident que, pour un pays, il n'y a plus d'indépendance imaginable s'il ne dispose pas d'un armement nucléaire, parce que, s'il n'en a pas, il est forcé de s'en remettre à un autre, qui en a, de sa sécurité et, par conséquent, de sa politique».

8. Ibid. Vol. 5: 1966—1969. P. 18, Conférence de presse tenue au Palais de l'Élysée, 21 février 1966: «Dans ce cas l'Europe, serait automatiquement impliquée dans la lutte lors même qu'elle ne l'aurait pas voulu».

9. *Gabriel*. Military Incompetence. P. 3.

10. *Макнамара Роберт*. Путем ошибок — к катастрофе. С. 31, 34, 42. См. также интервью, данное Макнамарой журналу «Time» 11 февраля 1991 года (с. 62). Оно преисполнено трогательной скромности и искренней заботы о благосостоянии человека. Вместе с тем его толкование происшедших событий глубоко волнует и объясняет то, как Макнамара в свое время пришел к тому, что делал, когда он был у власти. Например, соглашаясь, что Америка преувеличивала угрозы во время «холодной войны», он пояснял: «Начнем с ядерной угрозы. И я говорю не просто о разнице по ракетам. Мы мог-

ли бы сохранять сдерживание и с частью созданных нами боеголовок. Затраты огромные, и не только на боеголовки. Это и исследования, это и изготовление всех этих чертовых бомбардировщиков и ракет. За последние 20 лет лишние расходы исчисляются десятками миллиардов. Сумасшедшие. Это было не нужно. Более того, наши действия в конечном итоге подстегнули русских».

Ключевыми в этом, в основном, точном анализе были слова: «за последние 20 лет»; то есть проблема возникла после его ухода.

Его комментарии о том, насколько малоэффективной была кампания бомбардировок во Вьетнаме, поражают тем, как он относится к своим словам: они свидетельствуют о таланте винить всех, кроме себя, качество, которое делает реальный гуманизм невозможным.

«Вопрос: В то время, когда вы вышли из правительства, США проводили самые мощные за всю историю войн бомбардировки... Вы в то время полагали, что бомбардировки достигнут цели?

Ответ: Нет, в то время я не думал, что бомбардировки достигнут цели.

Вопрос: Зачем же тогда они проводились?

Ответ: Во-первых, потому, что мы пытались доказать, что они не достигнут цели, а другие думали, что они сработают.

Вопрос: Кто эти другие?

Ответ: Большинство высшего военного руководства, сенатский комитет по вооруженным силам, президент.

Вопрос: Вы возражали с самого начала?

Ответ: Не то чтобы я возражал, я с самого начала не думал, что бомбардировки достигнут цели».

11. *Nathaniel McKinterick. The World Bank and McNamara's Legacy // The National Interest. 1986. Summer.*

12. *Ibid.*

13. *Elio Gaspari // New York Times. 1983. November 2. Op. Ed. page.*

14. *Peter Jenkins. Mrs Thatcher's Revolution. Harvard University Press, 1988. P. 197*

15. Михаил Лермонтов написал «На смерть поэта» в тот день, когда Пушкина вызвали на дуэль, в которой он не мог победить и был убит. *William Shawcross. Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia.* New York: Simon & Schuster, 1979. P. 77.

16. *Руссо Жан Жак.* Об общественном договоре. С. 239. Также см. книгу Киссинджера, которую он написал из лести к Клеменсу фон Меттерниху: *A World Restored: Europe after Napoleon.* Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1972.

17. *Генри Киссинджер.* Речь, произнесенная на двадцать восьмой международной конференции Института стратегических исследований, Киото, сентябрь 1986 года.

18. *Seymour M. Hersh // Atlantic Monthly.* May 1982.

19. Киссинджер отрицал такую версию событий. Однако его склонность к секретности и подходы к описанию тех событий, участником которых он был, дают путаную картину, как это видно из книги *William Shawcross*, опубликованной в то время, когда первый том мемуаров Киссинджера «Годы в Белом доме» еще был в типографских гранках. Киссинджер тогда забирал из типографии гранки, чтобы подправить свое видение событий. Он несколько раз отказывался подтвердить, что это делал. Газета «New York Times» опровергла его отрицания: «Киссинджер редактировал свою книгу больше, чем он об этом сообщает». Более глубокое описание происходивших тогда событий и того, как редактировал Киссинджер, см.: *William Shawcross. The Literary Destruction of Henry Kissinger // Far Eastern Economic Review.* 1981. January 2.

Позиция Киссинджера по поводу Ирана, вооружений, экономической модернизации, цен на нефть и инфляции, изложенная во втором томе, разительным образом отличается от той, что была представлена в первом томе его мемуаров. В книге «Годы в Белом доме» он серьезно высказался в защиту своей позиции по Ирану: «Также нельзя сказать, что покупка шахом вооружений отвлекла средства от экономического развития, покупку вооружений развивающимися странами обычно критикуют. Шах делал и то, и другое. Экономический рост Ирана от этого не замедлился, и то, что он тратился на оборону, не привело к политической

зависимости» (с. 1260). Чего Киссинджер не упоминает, так это того, что в начале семидесятых годов доходов, которые шах получал от нефти, не хватало на поддержание уровня и покупок вооружений, и экономического роста. Было только два выхода: или снизить расходы, или увеличить цену на нефть. Но Киссинджер указывает, что шах стал играть важную роль и в американской стратегии, и в политике торговли оружием. Более того, нефть оставалась источником его доходов. «Вакуум, образовавшийся вследствие ухода британцев, теперь угрожал советским вторжением и радикализацией, его следовало заполнить, поставив у власти дружественные нам силы. Ирак тогда не решится на авантюру против Эмиратов в Заливе, против Иордании и Саудовской Аравии. Сильный Иран поможет ослабить желание Индии одержать полную победу над Пакистаном. И все это достигалось без всяких затрат со стороны Америки, поскольку шах желал платить за поставки из своих нефтяных доходов» (с. 1264). Чтобы все это осуществить, требовались огромные военные ресурсы. И Киссинджер подтвердил, что для поддержания своей экономической политики шаху пришлось поднять цены на нефть: «Причиной [для шаха] повышения цены на нефть была не политика, а экономика; в отличие от других стран, он хотел получить максимальную выгоду для развития своей страны» (с. 1262). Такое внезапное нежелание упоминать то, что «максимальная выгода» также была нужна для финансирования стратегии роста вооружений в восточном Средиземноморье, на которой настаивало американское правительство, было, мягко говоря, неискренним. Киссинджер и дальше продолжает высказываться в поддержку политики шаха в отношении цен на нефть: «Фактически, реальная цена на нефть с 1973 по 1978 год снизилась на 15%». О чем он не говорит, так это о том, что причиной подобного снижения была растущая во всем мире инфляция, а ее корни находились в Соединенных Штатах.

Сделанные Киссинджером выкладки соотношения цен вооружения/нефть стали частью растущего кома информации, ответственность за которую несет его ведомство. Во вто-

ром томе своих мемуаров «Годы сдвигов» (Boston: Little, Brown, 1982) он сделал попытку отрицать то, чем буквально восхищался три года назад: «Позднее иногда заявляли, что политика администрации Никсона по отношению к шаху диктовалась нашим желанием увеличить его доходы, чтобы он мог купить больше военного снаряжения. Это правда, вывернутая наизнанку... Самым абсурдным примером, возможно, является широко распространенное мнение, что нас многократно предупреждали об опасности повышения цен, а мы отклоняли такие предупреждения, потому что Вашингтон приветствовал высокие доходы от нефти для финансирования перевооружения Ирана... [Этот довод показывал] невежество демагогов» (с. 857–858).

В примечании к своим доводам он продолжает: «Это малосерьезное заявление прозвучало в телевизионной программе новостей CBS «60 минут»: «Киссинджер и шах: как они связаны?», программа прошла 4 мая 1980 года, были также публикации Джека Андерсона в разных рубриках газеты «Washington Post», как, например, 5, 10 и 26 декабря 1979 года. Смотри также еще более ложные публикации Жан-Жака Серван-Шрейбера в «The World Challenge», New York: Simon & Schuster, 1981. P. 51–56, 65–70 (с. 1252). Если эти попытки отрицания справедливы, то очень жаль, что Киссинджер не называет самый ложный из всех источников: самого себя в «Годах в Белом доме» (с. 1260–1264).

Описание поразительного роста иранских вооружений и связанного с ним роста зависимости военной промышленности США от Ирана дал Antony Sampson (The Army Bazaar. London: Hodder & Stoughton, 1977. P. 241–259). В главе «The Arming of the Shah» также описывается роль Киссинджера и то, как он подталкивал шаха и помогал ему покупать самое современное вооружение.

20. Описание характера Саймона Рейсмана очень часто встречается в книгах и газетах. Одно из первых описаний см.: *Christina McCall-Newman*. Grits: An Intimate Portrait of the Liberal Party. Toronto: Macmillan of Canada, 1982. P. 219–225, где упоминается роль Рейсмана в отмене гарантированного годового дохода (P. 223) и приводится описание тех дейст-

вий Рейсмана, которые привели к появлению новых правил игры при конфликте интересов (Р. 444, прим. 197 к 4-й части). Более свежее краткое описание см.: *John Sawatsky. The Insiders: Government, Business and the Lobbyists*. Toronto: McClelland & Stewart, 1987. Р. 184. О поведении Рейсмана, когда он принимал участие в переговорах по ФТА, см.: *Linda McQuaig. The Quick and the Dead: Brian Mulroney, Big Business and the Seduction of Canada*. Toronto: Viking, 1991. Р. 1–7, 161–166.

Репутация Рейсмана как человека, который может терять терпение и использует взрыв эмоций как технику ведения переговоров, создавалась на протяжении многих лет. Сначала такие приемы многими рассматривались как жесткий, но эффективный подход. Постепенно укреплялось мнение, что приемы, эффективные при работе с подчиненными и коллегами, могут действительно служить детонатором в переговорах на международном уровне. При анализе переговоров по ФТА, как представляется, постепенно уделяется все больше внимания методам Рейсмана как одному из главных факторов того, что Канада в окончательном варианте договора выглядит плохо.

Такая эволюция общественного восприятия прослеживается во всех трех упомянутых выше книгах. Маккол-Ньюмен почти восторженно говорит о «человеке, который ругается, истошно вопит, смеется и курит толстые сигары» и прилюдно может крикнуть помощнику заместителя министра: «Слушай, Томми, брось ты это! Когда мне понадобится твой паршивый совет, я тебя спрошу» (с. 219). Заватский называет его «шумным, заносчивым и противным, но эффективным заместителем министра финансов» (с. 184). Маккуэйг описывает раунды переговоров по ФТА, во время которых «разъяренный Саймон Рейсман» был, «по всей видимости, не в состоянии долго себя контролировать. Во всяком случае, он мог только прикидываться». Маккуэйг полагает, что американцы сознательно провоцировали Рейсмана, чтобы он «яростными тирадами спускал пар» и отвлекал канадцев от самых главных спорных вопросов.

Изучая обстоятельства канадско-европейских переговоров в Кеннеди-Раунд, я разговаривал со многими людьми,

включая Джеймса Грэнди (краткий телефонный разговор) и Саймона Рейсмана (продолжительный телефонный разговор). Грэнди, который вместе с Рейсманом принимал участие в Женевском раунде переговоров, в целом уменьшил значение той драмы, которая имела место. Он сказал: «Мы прервали переговоры». Когда я его спросил, означает ли это, что они ушли демонстративно, он, в конце концов, ответил, что они «ушли, ну, фактически, демонстративно». Он думал, что европейцы не то чтобы были шокированы тактикой Рейсмана, «они потом скорее использовали это как дубину, чтобы бить нас».

Мой разговор с Рейсманом можно рассматривать как иллюстрацию его методов ведения переговоров. Сначала он преуменьшил значение инцидента, должно быть вспомнив, как нарастала волна критики его методов в начале девяностых годов. «Шли переговоры. Не очень хорошо шли... У нас хорошие дебаты были... Они думали, что мы на них очень давим, [однако] со временем все преувеличили». Когда я спросил, правда ли, что они ушли демонстративно, он сначала сказал, что нет, затем добавил: «Демонстративно ли мы ушли? Вот еще! Ну, нам не удалось прийти к соглашению». Когда я его спросил, правда ли, что он вышел из себя, он заявил: «Такого, как вспышки раздражения, не было... Это были жесткие переговоры... Они ушли, и мы ушли... Остальное — слухи, преувеличение!»

Наш разговор начался спокойно. Постепенно Рейсман повышал тон, у него появились крикливые нотки. В конце концов, он уже кричал, что европейцы хотели, чтобы канадцам «досталось место на самом краю корыта», о «какой-то женщине, которую звали Дибель, или как-то так», которая занималась «безответственной журналистикой... сбивающей с толку канадский народ!» (это он о Линде Дибель из «Toronto Star»); наконец, он переключился на своего собеседника: «Вы бегаєте за сенсациями! Выставляете себя историком! Вы больше похожи на разгребателя грязи! Вы и так отняли у меня больше времени, чем нужно!»

Какова бы ни была его репутация, все-таки удивительно слышать, как публичная фигура выкрикивает оскорбления

человеку, которого никогда раньше не видел, не встречал, и даже говорит, что и не знал. При этом ему просто задавали вопросы информационно-ориентированного характера. Вот и пример того, какие методы он применял на переговорах в Кеннеди-Раунд с европейцами, трудно представить, чтобы позиции Канады не был нанесен ущерб.

21. См.: Time. 1989. 13 February.

22. Ibid.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Описаний этого процесса предостаточно: имеются личные наблюдения, добросовестные свидетельства, аналитические отчеты. Четыре новейшие публикации: *Malachi Martin*. The Jesuits. New York: Linden Press, 1987. P. 192; *David Mitchell*. The Jesuits. A History. New York: Watts, 1981; *F.E. Peters*, New York: Marek, 1981; *Les Jésuites: spiritualité et activité*. Paris: Éditions Beauchesne, 1974. Вышеприведенная цитата о том, как Лойола трактовал повиновение, дана по книге Мартина (P. 196–199).

2. The Masters Programme, London Business School брошюра презентационного курса. Цитата из предисловия Элроя Димсона и Дэвида Таргетта. Дата отсутствует, вероятно, 1986 год (с. 3).

3. Course Development and Research Profile, Harvard Business School, 1986.

4. The business of the Harvard Business School, публикация Школы, вероятно, 1985 года.

5. Ibid.

6. *Frank B. Copley*. Frederic W. Taylor, Father of Scientific Management. 2 vols. (Harper's, 1923). Vol. 1. P. 422.

7. *Judith A. Merkle*. Management Ideology. Berkeley: University of California Press, 1980. P. 15. Книга Меркле подробно анализирует суть научного менеджмента как явления. Также см.: Classics in Management. Ed. Harwood F. Merrill. New York: American Management Association, 1970.

8. *V. I. Lenin*. Selected Works. London: Lawrence and Wishard, 1937. Vol. 3. P. 332. Подборку комментариев Ленина о тейлоризме см. у Меркле.

9. *Merkle*. Management Ideology. P. 291.
10. The business of the Harvard Business School.
11. Особый взгляд на Школы: *Peter Cohen*. The Gospel According to the Harvard Business School. Garden City, N.Y: Doubleday. 1973.
12. Professor Abraham Zaleznik. MBAs Learn Value of Home Life // New York Times. 1985, 16 October. Living Section. P. 19.
13. British Business Schools, Report by The Rt. Hon. Lord Franks, British Institute of Management, London, 2 November 1963.
14. Тест допуска к сдаче выпускных экзаменов по менеджменту (иногда называемый «Принстонский тест») см.: London Business School. The Masters Programme. P. 5.
15. London Business School // Annual Report 1984/85. Course Development.
16. John F. Kennedy School Government, Harvard University, Catalogue, 1982–1983.
17. Débre. La Réforme.
18. Цит. по: *Jean-Michel Gaillard*. Il Sera Président, Mon Fils. Paris: Ramsay, 1987. P. 58.
19. Ibid. P. 23.
20. Ecole Nationale d'Administration, 1975 (внутренняя брошюра № 36).
21. Le Monde. 1986. 16 Octobre. P. 9. «Il faut donner #8 l'administration le sens de l'efficacité, du rendement et de la performance».
22. См. материалы, опубликованные ENA, например, годовой отчет «Remarques à l'usage des candidats et des préparateurs», подготовленный преподавателями. Или по поводу спортивных экзаменов сборник документов: Ecole Nationale d'Administration condition d'accès et régime de scolarité. 1986.
23. *Voltaire*. Philosophical Dictionary. P. 149. Ibid. Vol. 3. P. 246. «Un Parisien est tous surpris quand on lui dit que les Hottentots font couper #8 leurs enfants mâles un testicule. Les Hottentots sont peut-être surpris que les Parisiens en gardent deux».
24. Report by Forum Educational Organization Leaders, представленный в Вашингтоне и опубликованный в «Herald Tribune». 3 June 1967.

25. *Le Nouvel Observateur*. 1986. 29 August.
26. Can the Humanities Improve Management Effectiveness? (Семинар Уоррена Эдварда Баунаха в Аспеновском институте, 1986 год).
27. *Harold Nicholson*. *The Age of Reason*. London: Panther, 1930. P. 169.
28. *Gaillard*. *Il sera Président*. P. 66.
29. *Northrop Frye*. *Acta Victoriana* (адрес-инсталляция президенту колледжа Виктории, Торонто, декабрь 1959 года).
30. *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*. См., например, его письма к Питеру Карру от 19 августа 1785 года (с. 373) и 10 августа 1787 года (с. 428); к Джорджу Вашингтону Льюису от 25 октября 1825 года (с. 722); к Джеймсу Медисону от 17 февраля 1826 года (с. 726).
31. *Ibid*, письмо к Генри Ли от 10 августа 1824 года (с. 714).
32. *Michael Beer, Bert Spector, Paul R. Lawrence, D. Quinn Mills, and Richard E. Walton*. *Managing Human Assets: The Groundbreaking Harvard Business School Program*. New York: Free Press, 1984.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Все большее число институтов публикует данные, в основном это годовые сводки, о феномене вооружений. Каждый подходит к исследованиям со своими целями и, следовательно, производит анализ одних и тех же «фактов» под своим углом зрения. Никаких грубостей в виде искажений в них не содержится. Они просто не нужны. Цифры настолько фантастичны, что их уже не преувеличишь. И в сфере оружейного бизнеса нет ни одной «твердой» цифры. В статистике в основном отражены скрытые или открытые правительственные субсидии, а также цены, зафиксированные на искусственном или политическом рынке. Один и тот же самолет может быть продан в десять раз выше или в десять раз ниже своей себестоимости. Институты могут выборочно использовать данные, которыми они располагают. Никто не упрекнет их в недостатке профессионализма, если цифры окажутся неточными, так как точных цифр не существует.

Статистика по вооружениям, доступная общественности, такова, что заставляет признать отчеты железнодорожных акционерных компаний девятнадцатого века весьма честными. На самом деле институты делают все возможное в невозможных обстоятельствах.

Ежегодный *Military Balance* Международного института стратегических исследований в Лондоне публикует отчеты результатов такого бизнеса: то есть то, каким вооружением оснащены те или иные армии. К тому, что они рассматривают как потребности западной обороны, они относятся с большим или меньшим сочувствием. Стокгольмский международный институт по изучению проблем мира (SIPRI) публикует ежегодные отчеты о продаже вооружений. Совет экономических приоритетов в Нью-Йорке жестко критиковал эту практику в множестве докладов, которые придерживаются старого либерального подхода, который состоит в том, что оружие — это напрасная трата денег, и статистика это доказывает.

Статистические данные приведены в десятках книг. Самые ранние из них особенно интересны, так как в них делается попытка разобраться в том, что на самом деле происходит. Вот несколько полезных изданий:

John Stanley and Maurice Pearton. The International Trade in Arms. London: The International Trade in Arms (IISS), 1972.

Jean-François Dubos. Ventes d'Armes: Une Politique. Paris: Gallimard, 1974.

SIPRI, The Arms Trade with the Third World. New York: Council on Economic Priorities, 1977.

Steven Lydenberg. Weapons for the World. New York: Council on Economic Priorities, 1977.

The Brookings Institution. Armed Forces as a Political Instrument. Washington, D. C., 1978.

Robert W. De Grasse, Jr. Military Expansion — Economic Decline. New York: Council on Economic Priorities, 1983.

William D. Hartung. The Economic Consequences of a Nuclear Freeze. New York: Council on Economic Priorities, 1984.

Carol Evans. Reappraising Third World Arms Production // Survival. 1986. March.

James Adams. Engines of War. New York: Atlantic Monthly Press, 1990.

Martin Navias. Ballistic Missile Proliferation in the Third World. London: IISS/Brassey's, 1990.

2. Официальные цифры французского экспорта в 1984 году: вооружений: 61,8 миллиарда франков; мирной продукции: 56,5 миллиарда франков.

3. По поводу Дассо см.: *John Ralston Saul. The Evolution of Civil-Military Relations in France After the Algerian War*, неопубликованная диссертация (Kings College, London, 1973. Chap. 10, 439–456).

По поводу статистики, которая приводится на этих страницах, а также более подробный анализ этого явления, см.: *Walter Goldstein. The Opportunity Costs of Acting as a Superpower: U.S. Military Strategy in the 1980's // Journal of Peace Research. 1981. 18 (3). P. 248; Stephen Strauss. Defence Dominates Research // Toronto Globe and Mail. 1987. 14 January; Michael S. Serrill. Boom into Bust // Time. 1989, 3 July. P. 28–29.*

4. См., например: *New York Times. 1987. 12 February. B13.* Заявление Мориса Н. Шубера, старшего офицера Пентагона по логистике.

5. *International Herald Tribune. 1988, 10 August.*

6. См.: *Stanley and Pearson. The International Trade in Arms.*

7. *Де Голль Шарль. Военные мемуары. Т. 1. М., 1957. С. 237.* По поводу Макнамары см.: *Stanley and Pearson. The International Trade in Arms. P. 72–81.*

8. Речь Генри Касса, обращенная к Американской артиллерийско-технической ассоциации, 20 октября 1966 года. Цит. по: *Arms Sales and Foreign Policy, Staff study prepared for the use of the Committee on Foreign Relations, U. S. Senate, Washington: Government Printing Office, 1967. P. 4.*

9. Два других случая это: 1) отказ США и Великобритании предоставить Парижу информацию о ядерном оружии в конце 1950-х годов, хотя в военное время французы играли важную роль в работах по расщеплению атомного ядра. (Прямым результатом стало то, что Франция начала разрабатывать *force de frappe*.) 2) Де Голль обнаружил, что не может от-

давать приказы собственному флоту в Средиземном море, так как флот был «интегрирован» под командование НАТО, которое постоянно возглавляли американцы. Он немедленно вывел свой флот из-под такого подчинения.

10. *Général Pierre Gallois*. Paradoxes de la Paix. Paris: Presse du temps Présent, 1967. P. 126.

11. *Robert Gilpin*. France in the Age of the Scientific State. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968. P. 252.

12. *De Gaulle*. Discours. Vol. 3. P. 81. Речь в университете в Тулузе 14 февраля 1959 года. «C'est à l'Etat qu'il appartient de déterminer, dans le domaine de la Recherche, ce qui est le plus utile à l'intérêt public et d'affecter à ces objectifs-là ce dont il dispose en fait de moyens et en fait d'hommes».

13. Цит. по: Toronto Globe and Mail. 1988. 14 January.

14. С такими расчетами согласно большинство исследовательских центров, занятых изучением этого. Например, The Arms Trade with the Third World, Stockholm: SIPRI, 1975. P. 12.

15. Цит. по: *Anthony Sampson*. The Arms Bazaar. New York: Viking, 1977. P. 304.

16. Ibid. P. 114. Французское название главного продавца вооружений: DMA (Délégué Ministériel pour l'Armement).

17. *Pierre Briançon*. Editorial: Puissance de Feu // Liberation. 1987. 7–8 Mars. P. 3. «Quelques envois un peu romantiques ont pu faire regretter que dans telle ou telle partie du globe, la fameuse 'politique de la France' se limite à celle d'un 'marchand de canons.' C'est oublier un peu vite qu'on ne peut avoir d'autre politique que celle de sa puissance, c'est-à-dire celle de ses canons: ceux que l'on possède, et ceux que l'on vend».

18. Цит. по: International Herald Tribune. 1987. 24 February. Раздел «Business».

19. New York Times. 1991. 9 March. См. отчет о поездке госсекретаря Бейкера на Ближний Восток.

20. Marchands de canons cherchent terre d'accueil // Liberation. 7–8 Mars 1987. P. 2. Анри Конз цитирует: «L'avenir est très incertain, mais les industriels ne doivent pas se laisser aller à la morosité. Les marchés existent. Le problème est de savoir quand les clients disposeront #8 nouveau de moyens financiers pour moderniser leur défense. Qui peut dire quel sera le prix du pétrole dans un an?»

21. Harper's Magazine. 1987. January. P. 50—51.
22. Sweden's New Realities // International Herald Tribune. 1987. 3 June. Special News Report. P. 7; о смерти официально лица см.: Toronto Globe and Mail. 1987. 17 January.
23. The Arms Trade with the Third World. P. 12; Toronto Star. 1988. 18 July A16; Washington Post. 1991. 27 January. C1.
24. Far Eastern Economic Review. 1987. 9 July. P. 28.
25. The Arms Trade with the Third World. P. 43.
26. Toronto Globe and Mail. 1991. July. B11.
27. Le Monde, 10 August 1988, 3; Washington Post, 27 January 1991, C1.
28. Far Eastern Economic Review, 9 Juli 1987, 3.
29. Annual Report to the Congress by the Secretary of Defense, Fiscal Year 1987, Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1987. P. 293.
30. Michel Fourquet. Revue de la Défense Nationale. Paris: Ministère de la défense nationale, 1967, 756. Генерал Фурке был DMA с 1966 по 1968 год и занимал должность Chef d'Etat-Major des Armées с 1968 по 1971 год. «Admettre comme règle que ces industries doivent vivre de l'exportation».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. По поводу числа погибших военных и гражданских лиц см., например, у Джона Гельнера, редактора «Canadian Defense Quarterly» (Toronto Globe and Mail. 1980. 31 December. P. 7). Цифры всегда преуменьшены. Подсчет погибших в войнах с 1945 по 1989 год был произведен Уильямом Экхардтом, руководителем исследовательских программ Ленцкого института исследований мирного времени (Lentz Peace Research Institute). Согласно его подсчетам, это 13,3 миллиона гражданских лиц и 6,8 миллиона военных. В этих цифрах не учтены конфликты, в которых погибло менее тысячи человек в год. Для того чтобы цифры выглядели «твердыми», также обходят стороной значительное число жертв среди гражданского населения от партизанских действий на удаленных территориях. Бирма, например, дает 22 тысяч смертей. Я внимательно следил за этим

конфликтом на протяжении десятилетия. Более точной, с учетом беспорядков, насилия и последовавшей за этим нищеты в Шанском автономном государстве, могла бы быть цифра в 220 тысячи жертв. Другой порядок цифр представляет Николь Болл из National Security Archives, Washington, D. C. В газете «Toronto Globe and Mail» (30 September 1991) она пишет о 40 миллионах смертей в 125 войнах и конфликтах после 1945 года.

2. *Général F. Gambiez, Colonel M. Suire. Histoire de la Première Guerre Mondiale.* Paris: Fayard, 1968. P. 216. Приводятся следующие цифры о гибели французских солдат в ходе Первой мировой войны:

300 тысяч за 4,5 месяца

31 тысяча в месяц

21 тысяча в месяц

13,5 тысячи в месяц

21 тысяча в месяц

3. Ibid. P. 124. «Notre âge sera celui des guerres plus ambitieuses et plus barbares que les autres».

4. *Sun Tzu. The Art of War* (trans. by Samuel B. Griffith; foreword by B. H. Liddell Hart). New York: Oxford University Press, 1963. VI.

5. Сунь-цзы. Искусство стратегии. М., 2006. С. 67.

6. Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. С. 233.

7. *Pierre Lellouche. L'avenir de la Guerre.* Paris: Mazarine, 1985.

8. Ibid. P. 22.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Сунь-цзы. Искусство стратегии. С. 83.

2. Там же. С. 76, 82–83, 96, 100, 120.

3. Там же. С. 90.

4. Цит. по: *Michael Elliott-Bateman. Defeat in the East.*, London: Oxford University Press, 1967. P. 171.

5. *Sir Basil Liddell Hart. The History of the First World War.* London, 1970. P. 80. Впервые опубликовано в 1930 году.

6. *Sir Basil Liddell Hart*. The Other Side of the Hill. London: Pan, 1978. P. 31. Впервые опубликовано в 1948 году.

7. *Charles de Gaulle*. Le Fil de l'épée, Paris: 10/18, 1964. Впервые опубликовано в 1932 году.

8. *Comte de Guibert*. Écrits Militaires 1772–1790 (préface et notes du Général Ménard). Paris: Editions Copernic, 1976. P. 192. «Si par hasard il s'élève dans une nation un bon general, la politique des ministres et les intrigues des courtisans ont soin de le tenir éloigné des troupes pendant la paix. On aime mieux confier ces troupes à des hommes médiocres, incapable de les former, mais passifs, dociles à toutes les volontés et à tous les systèmes... La guerre arrive, les mahleurs seuls peuvent ramener le choix sur le general habile».

9. *Gambiez, Suire*. Histoire de la Première Guerre. P. 105.

10. *Liddell Hart*. The Other Side. P. 32.

11. *Brian Bond*. The Victorian Staff College, London: Methuen, 1972, 169.

12. Ibid. P. 165. Более подробное сравнение с другими источниками см. на с. 162–169.

13. Цит. по: Le commandant Charles Bugnet. En Ecoutant le Maréchal Foch., Bernard Grasset, 1929. P. 39. Бюнье был одним из адъютантов Фоша. «La guerre a montré la nécessité pour la direction d'avoir un but, un plan et une méthode et d'en poursuivre l'application avec une active tenacité». Он начал с заявления: «La guerre a montré la nécessité pour la direction d'avoir un but, un plan et une méthode».

14. *Gambiez, Suire*. Histoire de la Première Guerre. P. 330.

15. *Bond*. The Victorian Staff College. P. 279. Цитаты из Хейга и Робертсона.

16. Ibid. P. 328.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. *Gardian Weekly*. 1991. 13 January. P. 8. Рецензия Джейн Эдвард Смит на книгу John Ellis. Brute Force. New York: Viking, 1991. «В последние 18 месяцев войны союзники развернули 80 тысяч танков против 20 тысяч немецких; 1,1 мил-

лиона грузовиков против 70 тысяч; 235 тысяч боевых самолетов против 45 тысяч».

2. Цит. по: *Liddell Hart*. *The Other Side of the Hill*. P. 26. Следует отметить, что в 1989 году Джон Дж. Мирсхаймер опубликовал критику Лиддел Гарта, преуменьшая его роль в развитии танковой стратегии. Сэр Майкл Говард упомянул книгу Джона Дж. Мирсхаймера «*Liddell Hart and the Weight of History*» (London: Brassey's Defence Publishers, 1989) в обозрении, опубликованном в «*Spectator*» (1989, 25 February. P. 28), дав ей надлежащую оценку. Так же о ней говорилось в письме от Алистера Хорна (*Spectator*. 1989. 18 March. P. 22).

3. *Ibid*. P. 470.

4. *Elliott-Bateman*. *Defeat in the East*. P. 67. См. также описание генерал-майором Эриком Дорман-Смитом кампаний Уэйвелла и Окинлека (*Liddell Hart*. *Strategy*, 2nd rev. ed., New York: Meridian, 1991. Appendix I). Это письмо, написанное Дорман-Смитом Лиддел Гарту в октябре 1942 года, то есть вскоре после второй кампании. См. также рецензию на эту книгу в *Spectator*. 1991. 30 March.

5. *Ibid*. P. 67.

6. Слова адмирала сэра Роулэнда Джеррама. Цит. по: *Philip Warner*. *Auchinleck, The Lonely Soldier*. London: Buchanard Enrigts, 1981. P. 253.

7. *Gavin Stamp*. *The Spectator*. 1987. 24 October. P. 14.

8. Цит. по: *Charles J. Rolo*. *Wingate Raiders*. London: Harrap, 1994.

9. См.: *Shelford Bidwell*. *The Chindit War*. London: Hodder & Stoughton, 1979. P. 38.

10. *Сунь-цзы*. Искусство стратегии. С. 96.

11. Например, *Lellouche*. *L'Avenir de la Guerre*. P. 13. Он приводит цифру 160 для стран Третьего мира до 1985 года.

12. *William Manchester*. *American Caesar: Douglas MacArthur: 1880–1964*. Boston: Little, Brown, 1978. P. 575.

13. *Сунь-цзы*. Искусство стратегии. С. 87.

14. *Richard Gabriel and Paul Savage*. *Crisis in Command*. New York: Hill & Wang, 1978, Table II; *Gabriel*. *Military Incompetence* P. 21.

15. *Gabriel*. *Military Incompetence*. P. 184.

16. *Guilbert. Crises Militaires.* P. 107.
17. *Newsweek.* 1987. 31 August. P. 14.
18. *Gabriel. Military Incompetence.* P. 27. См. у Габриеля полный анализ проблем высоких технологий, мешающих военным победам.
19. *Guardian Weekly.* 1991. 24 March. P. 18.
20. *International Herald Tribune.* 1991. 22 April. P. 5.
21. *International Herald Tribune.* 1991. 15 April. P. 3.
22. *R. Jeffrey Smith. The Patriot Less than a Hero* // *Washington Post Service.* 1991. April. Также см.: *William Safire. International Herald Tribune.* 1991. 7 March; «Израильские ученые и офицеры заявляют, что до 20% боеголовок ракет «Скад» были перехвачены при помощи ракет «Пэтриот» (*International Herald Tribune.* 1991. 2–3 November); *New York Times.* 1992. 9 January. А8 касательно 52-страничного доклада доктора Теодора А. Постола, физика и бывшего советника по науке Пентагона, ныне специалиста по политике национальной безопасности Массачусетского технологического института (MIT): «Почти полная неудача при отражении атак, осуществляемых совсем примитивными ракетами».
23. *Gabriel. Military Incompetence.* P. 14.
24. Так сообщали автору те, кому довелось быть в Пентагоне в то утро на встрече, не связанной с Ираном.
25. *Gabriel. Military Incompetence.* P. 185.
26. Описание этого феномена см.: *Robert Merle. La Journée ne se lève pas pour nous.* Paris: Plon, 1986.
27. *Сунь-цзы. Искусство стратегии.* С. 130.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. «Война из-за уха Дженкинса» началась в 1739 году после того, как Роберт Дженкинс, хозяин грузового судна, появился перед комитетом Британской палаты общин с коробочкой, в которой, как он утверждал, находится его собственное ухо. Оно, заявлял он, было отрезано испанской береговой охраной в Вест-Индии, где, опять-таки по его утверждению, его судно разграбили. В результате была развязана, вероятно, первая современная война национального госу-

дарства, намеренно спровоцированная при помощи насилия на национально-расовой почве в собственных грубых коммерческих интересах. Термин «джингоизм» обозначал безрассудный патриотизм, он был изобретен в 1878 году, чтобы оправдать посылку британского флота в турецкие воды для борьбы против русских. Он взят из патриотической песни, которая называлась «By Jingo!».

2. См., например: Second Inaugural Address. 1805. 4 March // *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*. P. 334.

3. *Roger-Henry Guerrand. Les Lieux*. Paris: Editions la Découverte, 1986. P. 43. Все последующие описания и статистические данные, относящиеся к одной из самых необычных современных революций — созданию системы канализации, взяты из этой замечательной книги.

4. *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, письмо к писателю Томасу Лоу от 13 июня 1814 года (P. 636).

5. *Ibid.*, письмо к Питеру Карру из Парижа от 10 августа 1787 года (P. 429).

6. Имеется много источников, касающихся перестройки Парижа Османом. Например, *J. M. and Brian Chapman. The Life and Times of Baron Haussmann*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1957; *William E. Echard. Historical Dictionary of the French Second Empire 1852–1887*. Conn.: Greenwood Press, 1985; *Stuart L. Campbell. The Second Empire Revisited: a Study in French Historiography*, New Branswick, N. J.: Rutgers University Press, 1978.

7. *Золя Эмиль. Собрание сочинений*. Т. 14. М., 1964. С. 169. «Le coeur serré, madame Caroline examinait la cour, un terrain ravagé, que les ordures accumulées transformaient en un cloaque. On jetait tout là, il n'y avait ni fosse ni puisard, c'était un fumier sans cesse accru, empoisonnant l'air... D'un pied inquiet, elle cherchait à éviter les débris de légumes et les os, en promenait ses regards aux deux bords, sur les habitations, des sortes de tanières sans nom, des rez-de-chaussées effondrés à demi, mesures en ruines consolidées avec les matériaux les plus hétéroclites. Plusieurs étaient simplement couvertes de papier goudronné. Beaucoup n'avaient pas de porte, laissaient entrevoir des trous noir de cave, d'où sortait une halaine nauséabonde de misère. Des

familles de huit et dix personnes s'entassaient dans ces charniers, sans même avoir un lit souvent, les hommes, les femmes, les enfants entas, se pourrissant les uns les autres, comme les fruits gâtés, libérés des la petite enfance à l'instinctive luxure par la plus monstrueuse des promiscuités».

8. Альберт Шпеер вступил в национал-социалистскую партию в 1931 году, то есть перед приходом Гитлера к власти. Его первой ответственной должностью были обязанности архитектора, которого Гитлер предпочитал другим, затем он стал министром вооружений. В правительстве гросс-адмирала Карла Дёница, существовавшем некоторое время в 1945 году, он занимал пост рейхсминистра экономики и производства. Его мемуары назывались «Inside the Third Reich» (New York: Macmillan, 1970). Разбор попытки Шпеера затушевать зловещие моральные аспекты своей роли можно найти в книге: *Matthias Schmidt. Albert Speer: The End of a Myth*. New York: St. Martin's Press, 1984. Впервые опубликована под названием «Albert Speer: Das Ende eines Mythos» (München: Bernard Scheiz Verlag).

9. *Colin Campbell. Government Under Stress*. Toronto: University of Toronto Press, 1983. Кэмпбелл взглянул на Лондон, Оттаву и Вашингтон. Однако он вытащил себя из-под влияния правящей мифологии всего лишь в той степени, чтобы сравнить их между собой, а не затем, чтобы дать им оценку.

10. Цит. по: *Theodore C. Sorensen. Kennedy*. New York: Harper & Row, 1965. P. 283.

11. См.: *Garry Wills. The Kennedy Imprisonment*. Boston: Atlantic/Little, Brown, 1981. В главе 13 дается замечательный анализ стиля правления Белого дома при Кеннеди.

12. *Jimmy Carter. Why Not the Best?* Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1975.

13. Эта перепалка произошла 20–21 июля 1979 года.

14. *Independent (London)*. 1990. 30 March. Чарльз Пауэлл, секретарь г-жи Тэтчер по вопросам внутренней и внешней политики, завтракая с Конрадом Блэком, владельцем газеты «Daily Telegraph», убеждал его оказывать правительству больше поддержки.

15. Цит. по: *Catherine Nay. Le Noir et le Rouge. Paris: Grasset, 1984. P. 227. «Au niveau de l'homme politique, il n'y a qu'un ambition: gouverner».*

16. *Le Monde. 1989. 10 February. P. 1.*

17. *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, письмо к президенту Джорджу Вашингтону от 23 мая 1792 года (P. 513).

18. *New York Times. 1989. 5 June. P. 1.* Статья содержит таблицу, в которой указывается, какие денежные суммы платят сенаторам и их представителям корпорации и РАСы.

19. См., например: *Demand Growth for MPs in Business World // Independent (London). 1989. 18 January.*

20. *Antony Sampson. The Changing Anatomy of Britain. London: Hodder & Stoughton, 1981. P. 181.*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Смотрите, например, обращение Мориса Ф. Стронга к Центру международных отношений Гарвардского университета, Кембридж, Масс., 3 марта 1987 года.

2. Подробное описание см.: *Peter Ludlow. The Making of the European Monetary System. London: Butterworth Scientific, 1982.*

3. Цит по: *Life. 1987. September. P. 63–64*, из статьи Джорджа Гилдера.

4. *International Gerald Tribune. 1989. 21 January. P. 4.* Сообщение получено от *Washington Post Service*.

5. Цит. по: *New York Times. 1989. 12 January. P. 8.*

6. Цит. по: *Independent (London). 1989. 18 January.*

7. О визите Рейгана в Японию см.: *International Gerald Tribune. 1989. 12 May* (в колонке новостей, а также в колонке Уильяма Сэфайера). Японской компанией была *Fujisankei Group*.

8. *London Times. 1989. 13 February.*

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. *Сунь-цзы. Искусство стратегии. С. 131–132.*

2. *Desiderius Erasmus. De Civilitate Morum Puerilium, 1530. French version, 1544. Цит. по: Guerrand. Les Lieux. P. 24.*

3. Цит. по: *Harold Nicolson*. The Age of Reason. London: Panther, 1930. P. 219.

4. The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson, три цитаты: письмо из Парижа к Джеймсу Медисону от 20 декабря 1787 года (P. 436); инаугурационная речь 4 марта 1801 года (P. 321); к министру финансов (Альберт Галлатин), Вашингтон, 1 апреля 1802 года (P. 566). Об Александре Гамильтоне и федералистах см. последнюю главу книги: *James Thomas Flexner*. The Young Hamilton. Boston: Little, Brown, 1978.

5. Стандартный текст о том, как на Западе приучают детей к туалету и какие это дает результаты, приводится в книге: *Erik Erikson*. Childhood and Society. London: Penguin, 1965.

6. *Asa Briggs*. The Longman Encyclopedia. London: Longmans, 1989.

7. Фигура безопасности: International Gerald Tribune. 1986. 30 May. Данные о безопасности: International Gerald Tribune. 1990. 19 April; передовица из «New York Times» под заголовком «6, 796, 501 Secrets». На самом деле номер был «6, 796, 501».

8. Times (London). 1989. 11 February.

9. Речь идет о книге: *Alfred W. McCoy*. The Politics of Heroin in Southeast Asia. New York: Harper & Row, 1972.

10. См., например: Le Monde. 1986. 23 Mai (статья Бернара Гетта).

11. Daily Telegraph. 1989. 12 May.

12. Toronto Star. 1991. 21 June. Уполномоченный Джон Грэйс.

13. Первая цитата из статьи А.М. Розенталя в «New-York Times» (1991. 11 June. A15). Во время происшествия с бумагами Пентагона Розенталь был ответственным редактором. Его колонка от 11 июня подводила итог событиям, сопровождавшим весь этот инцидент.

14. Портрет Роберта Армстронга дан в главе 4 нашей книги.

15. Касательно Британской SAS и Гибралтара см.: Independent. 1989. 27 January. P. 1. Передача «The Thames Television» называлась «Смерть на Скале». Отчет был подготовлен бывшим министром внутренних дел в консерватив-

ном правительстве лордом Уинделешамом и Ричардом Рэмптоном, советником королевы.

16. Дидро: «On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je le trouve».

17. Дефиниции по порядку:

Johnson's Pocket Dictionary of the English Language. London: Chiswick, 1826.

E. Chambers. Cyclopaedia: or an Universal Dictionary of Arts and Sciences. London, 1738, 2 vols.

Dictionnaire Littré. Paris: Librairie Hachette, 1876: «Verité — Qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles son assentiment».

Noah Webster. An American Dictionary of the English Language. New York: S. Converse, 1828. 2 vols.

Le Petit Robert. Paris: Robert: «Verité — Connaissance conforme au réel. Ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment».

18. Высококвалифицированного банкира Роберта Кальви привлекли для работы в этом непонятном треугольнике, где в восьмидесятые годы переплелись интересы банка Ватикана, мафии и мира финансов. Игорь Гузенко был шифровальщиком в советском посольстве в Оттаве. Он совершил предательство в 1945 году. Представленная им информация о сети советских шпионов, работающих в Северной Америке, дала сенатору Джозефу Маккарти начальный импульс для развертывания кампании против «красной опасности», в ходе которой часто выдвигались необоснованные обвинения.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. *Jacob Bronowski*. Science and Human Values. New York: Harper & Row, 1965. P. 59.

2. *Michael Polanyi*. The Republic of Science // *Minerva*. Vol. 1. № 1. Autumn 1962. P. 53—73.

3. *J. Robert Oppenheimer*. Science and the Common Understanding. New York: Simon & Schuster, 1953. P. 85.

4. Цит. по: *Le Monde*, 5 Juli 1968. Это было последнее интервью Андре Мальро.

5. *John Ruskin. Selection and Essays // Time and Tide: The White-Thorn blossom.* New York: Charles Scribner's, 1918. P. 365. Впервые опубликовано в 1871 году.

6. *Bronowski. Science and Human Values.* 7. P. 19.

7. *John Ruskin. Introduction to Modern Painters.* Ed. David Barrie. London: André Deutsch, 1987. P. XXXII.

8. Многое касательно дискуссий об ответственности физиков-атомщиков здесь и в следующем разделе взято из неопубликованной работы Джона Поляный, датированной февралем 1986 года. Представлены цитаты из работы Поляного и из доклада Франка. Предоставлено автором.

9. *Oppenheimer. Science and the Common Understanding.* P. 4.

10. Цит. по: *Le Canard Enchaîné* (1987. 21 May). «L'incident est d'une gravité... encore jamais rencontrée jusqu'ici sur les réacteurs à eau pressurisée... Une défaillance supplémentaire... aurait donc conduit à une perte complète des alimentations électroniques de puissance, saturation hors dimensionnement... La nonfermeture des vannes aurait constitué une voie dégénérescence supplémentaire de l'incident vers une situation difficilement contrôlable».

11. *Guardian.* 1987. 6 July. P. 5.

12. *Mathew L. Wald. Can Nuclear Power Be Rehabilitated? // New York Times.* 1991. 31 March.

13. Сообщение в «*International Herald Tribune*» (1988. 5 October).

14. *Martin Amis. Einstein's Monsters.* London: Jonathan Cape, 1987. P. 8–9.

15. Цит. по: *Guardian.* 1989. 10 November. P. 1, 7. Также см.: *Financial Times.* 1989. 11 November. P. 6.

16. См., например: *Libération.* Paris. 1991. 24 avril. P. 24: «Seule certitude: les centrales de demain seront sûres ou ne seront pas. C'est du moins ce qu'affirment les industriels. Leur nouveau credo: la sûreté passive»; *New York Times.* 1991. 31 March (Can Nuclear Power Be Rehabilitated?): «Эта область промышленности пытается улучшить свой образ тем, что не дает своим людям совершать много ошибок».

17. Некоторые ссылки по приведенным сведениям:

О сальмонеллах: *London Times.* 1988. P. 7. December (материал Мэриан Баррос); *ibid.* 1989. 10 February. P. 1, 12; *ibid.* 1989.

11 February. P. 1,16; *ibid.* 1989. 13 February. P. 10; *ibid.* 1989. 15 February. P. 1.

О гормонах: *Le Monde*. 1987. Octobre (материал Филиппа Лемэтра).

О пестицидах: *Toronto Star*. 1988. 3 January (материал Эндрю Читли); *London Times*. 1989. 20 June (материал Майкла Маккарти).

Об удобрениях: *Toronto Star*. 1988. 28 August (материал Линды Харст); *International Gerald Tribune*. 1988. 9 August (материал Стивена Гринхауса); *New York Times*. 1989. 8 September. P. 1 (материал Кейт Шнейдер).

О ядерных отходах: *International Gerald Tribune*. 1988. 5 October (материал Кейт Шнейдер).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Имеется много описаний истории Каласа. Классическая биография Вольтера (*Gustave Lanson. Voltaire*. 1906) дает четкое описание событий, и я часто использую ее. В отличном английском переводе она была опубликована в 1960 году.

2. *Oxford English Dictionary*. s.v., 3rd ed., «justice».

3. *Руссо Жан Жак*. Об общественном договоре. С. 244.

4. *Learned Hand. The Spirit of Liberty // Papers and Addresses of Learned Hand*. Chicago: University of Chicago Press, 1952. P. 189.

5. Эдмунд Бёрк, 22 марта 1775 года.

6. Описание этих дебатов см.: *Antony Sampson. The Changing Anatomy of Britain*. P. 159.

7. *William Shawcross. The Crips and the Bloods // The Spectator*. 1988. 28 May. P. 10.

8. *Lord McCluskey. Law, Justice and Democracy. The Reith Lectures*. London: Sweet and Maxwell, 1986. P. 2.

9. Цит. по: *Archibald Cox. Storm Over the Supreme Court. Blumenthal Memorial Lecture*. 1986. February 13. P. 21.

10. *Montesquieu. De L'Esprit des Lois* (впервые опубликовано в 1748 году): «Quand je vais dans un pays, je n'examine pas s'il y a des bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il ya a des bonnes lois partout».

11. *McCluskey*. Law, Justice and Democracy. P. 6.
12. The Court's Pivot Man // *Time*. 1987. 6 July. P. 8.
13. Верховный суд США, дело «Пайн против Теннесси» (28 июня 1991 года). С отставкой судьи Маршалла семь из девяти судей будут голосовать, руководствуясь консервативными и правоконсервативными взглядами. См.: *New York Times*. 1991. 28 June. A1. P. 10–11, цитаты из высказываний судей Маршалла, Стивенса и Ренквиста.
14. *Benjamin Hart*. The Task of the Third Generation; Young Conservatives Look to the Future. Forewords by Attorney General Edwin Meese and President Ronald Reagan, Washihgton, D. C.: Heritage Foundation/Regenery Gateway, 1987.
15. Chief Justise Brian Dickson, address to the annual meeting of the Canadian Bar Association. 1987. August 24.
16. Цит. по: *Time Magazine*. 1987. 6 July. P. 32.
17. *International Gerald Tribune*. 1987. 20 May.
18. *Financial Times*. 1992. 12 February.
19. *Le Monde*. 1989. 26 January. P. 14 (материал Мориса Пейро). Лафонтен: «Selon que vous serez puissant ou misérable...»
20. *Toronto Globe and Mail*. 1991. August. B11.
21. *John Rowis*. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.
22. *Мани Томас*. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1959. С. 239. Впервые опубликовано в 1924 году.
23. *Voix de Napoleon*. P. 35. Выступление в Законодательном собрании 18 брюмера: «Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Je vous ai laissé la paix et j'ai retrouvé la guerre! Je vous ai laissé des victoires et j'ai retrouvé de revers! Je vous ai laissé les million d'Italie et j'ai retrouvé les lois spoliatrices et la misère! Qu'avez-vous fait de cent milli Français que je connaissais, mes compagnons de gloire? Ils sont mort! Cet état de choses ne peut pas durer».
24. *Мани Томас*. Собрание сочинений. Т. 4. С. 171.
25. Герои бесчисленных биографий: Гарибальди и другие представители Рисорджименто, такие как Кавур и Мадзини, были ясно и беспристрастно описаны в целой серии книг, опубликованных в последние несколько десятилетий

Денисом Максмитом, откуда и почерпнута большая часть информации.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. *Erik Erikson*. Young Man Luther. New York: Norton and Co., 1958. P. 75.
2. *Schmidt*. Albert Speer: The End of a Myth. P. 13–20.
3. *Erikson*. Luther. P. 109.
4. *Jean Genet*. The Thief's Journal. Harmondsworth: Penguin Modern Classics, 1967. P. 170. Впервые опубликовано во Франции в 1949 году под названием «Journal du Voleur».
5. *Жене Ж.* Балкон // Театр Жана Жене. СПб., 2001. С.166–167.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1. Росс Джонсон занимал должность главного исполнительного директора R. J. R. Nabisco с 1984 по 1988 год. Его уволили из компании после того, как он попытался приобрести компанию в личную собственность. После опубликования «Barbarian at the Gate: The Fall of R.J.R. Nabisco» (New York: Harper & Row, 1990) его как финансового менеджера стали считать символом расточительности или безответственности, в зависимости от точки зрения. Например, в книге «Barbarian at the Gate» говорится: «Он бы подошел на роль символа делового мира в «ревушие восьмидесятые» (с. 11). В семидесятых годах в Монреале он стал другом Брайана Малруни и играл ключевую роль в организации проталкивания американским бизнесом торгового соглашения между США и Канадой через конгресс. Его воздушный флот, состоявший из десяти самолетов, был занят тем, что кружил вокруг широкого круга бизнесменов и спортсменов, включая Малруни и его жену. Госпожа Малруни стала известна как партнерша по шопингу госпожи Джонсон, имевшей гораздо большие финансовые возможности.

2. *André Malraux*. La Condition Humaine. Paris: Folio/Gallimard, 1977. P. 230. Впервые опубликовано в 1933 году.

«Le Capitalisme moderne... est beaucoup plus volonté d'organisation que de puissance».

3. Розабет Мосс Кантер, профессор Гарвардской школы бизнеса; начала свою карьеру с изучения взглядов общественности и кооперации на экономику. Пройдя через период совершенно справедливой критики больших корпораций, она постепенно пришла к «постпредпринимательской экономике». Приведена цитата из книги: *Rosabeth Moss Kanter. Where Giants Learn to Dance: Mastering the Challenging Strategy, Management and Careers in the 1990s*. New York: Simon & Schuster, 1989. P. 52. Книга заканчивается разделом «The Coming Demise of Bureaucracy and Hierarchy». В контексте этих дискуссий см. практический анализ гуманистических традиций: *David Olive. Just Rewards: The Case for Ethical Reform in Business*. Toronto: Penguin, 1987. Также см. его программу реформирования советов директоров (*Olive. Board Games // The Report on Business Magazine, Toronto Globe and Mail*. 1991. September).

4. *Le Monde*. 1989. 18 February. P. 31.

5. *Far Eastern Economic Review*. 1987. 27 August. P. 17; *Newsweek*. 1987. 31 August. P. 27.

6. Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса и автор «*Competition Strategy*» (1980), «*Competitive Advantage*» (1985) и «*Competitive Advantage of Nations*» (1990; New York: Free Press). Интересные комментарии по поводу его метода можно прочитать в «*Competitiveness, Strategic Management, Democracy and Justice: The Bad News*». Это предварительный отчет об изучении в течение трех лет феномена «конкурентоспособности», как ее понимает Портер. Исследованием руководил профессор Джон Александер из Карлтоновского университета в Оттаве. Предварительные выводы таковы, что подход Портера приведет к тому, что правительство откажется от своей руководящей роли в социальной сфере и экономике и вместо этого займется созданием среды, «в которой рынки будут вольны выносить решения в соответствии со своими собственными интересами».

7. Описание ситуации с «Боингом» см.: *International Herald Tribune*. 1989. 2 February. Business Section. P. 1 (Laura Parker, Washington Post Service).

8. Цит. по: *New York Times*. 1987. 6 September. P. 15.

9. *Maurice F. Strong*. Opportunities for Real Growth in an Independent World. Speech to Banff Conference. 1987. 17 May.

10. Стронг так говорил в Гарвардском университетском центре по международной политике, Кембридж (Масс.), 3 марта 1987 года.

11. *Dominic Lawson* // *Spectator*. 1989. 17 June. P. 9.

12. Все три примера взяты из *Spectator*. 1991. 18 May. P. 5 (передовица).

13. Цифры, приведенные в этом абзаце, см: *International Gerald Tribune*. 1988. 3 November. P. 15; *Globe and Mail*. 1989. 2 January. B7; *Bangkok Post*. 1990. 24 January; *International Gerald Tribune*. 1990. 26 January.

14. Сводные цифры IDD Information Services см.: *Bangkok Post*. 1990. 24 January. Более точные расчеты процентов движения наличности, поглощенного оплатой процентов, отталкивались бы от цифры 2. 2 триллиона долларов плюс еще \$1.1 триллион. Цифры финансовых учреждений, конечно, не учитывают те средства, которые банк получает в депозитах как посредник. Такие сведения мы получили от экономистов в *Federal Reserve Bank* (Роберт Реуолд и Сара Голден). Общие сведения по таким цифрам Великобритании мы получили от экономистов *The Bank of England*. Также см.: *Newsweek*. 1989. 7 November; *Time*. 1988. 7 November; *Globe and Mail*. 1989. 6 January.

15. Цит. по: *International Gerald Tribune*. 1988. 1 November. P. 13.

16. *Akio Morita, with Edwin M. Reingold and Mitsuko Shimomura*. Made in Japan: Akio Morita and Sony. New York: E. P. Dutton, 1987.

17. Эти и следующие за ними статистические данные взяты из работы Питера Дракера, напечатанной в *Foreign Affairs*. Их приводил Морис Ф. Стронг на лекции в университете Виктории, Британская Колумбия, 30 октября 1986 года.

18. *Strong*. Opportunities for Real Growth.

19. Ницше Ф. Веселая наука. Кн. 3. 116 // *Ницше Фридрих*. Избранные произведения. Спб., 2003. С. 239. «*Moralität ist Herden-Instinkt, in Einzelnen*».

20. Сэр Дерек Алан-Джонс, председатель *Ferranti International*, сообщает об этом в «*Times*» (London. 1989. 18 November. P. 17). Эта статья позволяет понять происшедшее.

21. Socialist International Congress, Resolution. Vancouver, 1978. November. P. 22; *Robert Engler*. The Brotherhood of Oil. New York: New American Library, 1977. P. 9.

22. *Robert Engler*. The Brotherhood of Oil. New York, 1977. P. 9.

23. Ibid. P. 51.

24. См.: The Brotherhood of Oil; Toronto Globe and Mail. 1984. 14 March.

25. *Diderot*. Encyclopédie. Vol. 2. P. 129: «*FORTUNE (Morale): Les moyens de s'enrichir peuvent être criminels en morale, quoique permis par les lois*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1. Падение Джима Слейтера можно проследить по публикациям в «The Economist» (1974. 1 June. P. 95; 1974. 24 August. P. 81; 1975. 1 November. P. 72; 1975. 15 November. P. 89; 1976. 18 September. P. 115; 1977. 15 October. P. 121). Явление в целом проанализировано в работе: *Charles Raw*. Slater Walker. London: André Deutsch, 1977.

2. The Economist. 1977. 15 October. P. 121.

3. «Змея» впервые приняла свои очертания в 1972 году, в разгар первого крупного валютного кризиса семидесятых годов. «Змея» — это режим обмена валют, при котором страны-участники должны сохранять курс обмена своих валют внутри согласованного коридора, имеющего верхний и нижний пределы, определяемые сеткой, где зафиксирована относительная стоимость валют всех стран-участниц. Европейскую денежную систему впервые ввели в 1979 году, и постепенно это привело к созданию единой европейской валюты или чему-то другому, что не слишком далеко от этого идеала. Хорошее описание происхождения EMS см.: *Ludlow*. The Making of the European Monetary System.

4. Цит. по: International Gerald Tribune. 1982. 24 November. P. 4.

5. См.: *Diane Cohen*. Signals of a Looming Depression // Maclean's. 1988. 25 August. P. 7; *Anthony Bianco*. The Casino Society // Business Week. 1985. 16 September. P. 78; *Rowan Bosworth-Davies*. Too Good to be True: How to Survive in the

Casino Society, London: Bodley Head, 1987; *John Taulor. Storming the Magic Kingdom*. New York: Alfred A. Knopf, 1987.

6. *Bianco*. The Casino Society. P. 79; *Cohen*. Signals.

7. *Thomas Jefferson*. The Life. Autobiography (письмо к Джеймсу Медисону от 16 сентября 1789 года).

8. *Вебер Макс*. Протестантская этика. Ч. II. М., 1973. С. 104, 111; Ч. I. Прим. 43. М., 1972. С. 137. Впервые опубликовано в Германии в 1904–1905 годах.

9. См.: Второзаконие, 23, 20; Исход, 22, 24; Левит, 25, 35–37; Иезекииль, 18, 13; Псалмы, 15, 5.

10. *Золя Эмиль*. Собрание сочинений. Т. 14. М., 1964. С. 117–118. «A quoi bon donner trente ans de sa vie, pour gagner un pauvre million, lorsque, en une heure, par une simple operation de Bourse, on peut le mettre dans sa poche?.. Le pis est qu'on se dégoûte du gain légitime, qu'on finit même par perdre la notion de l'argent».

11. См.: *Harold Lever and Christopher Hulme*. Debt and Danger. Boston: Atlantic Monthly Press, 1986.

12. Как описано в книге *Anthony Storr*. Solitude – A Return to the Self. New York: Free Press, 1988.

13. Описание сражения см.: New York Times. 1983. 1 November. Д9; Financial Times. 1983. 25 November. P. 18; Ibid. 1983. 28 November. P. 7; Ibid. 1983. 31 December; International Gerald Tribune. 1983. 31 December. Business Section. P. 1.

14. International Gerald Tribune. 1987. 27 May. Business Section. P. 1.

15. Описание поглощения Beatrice см.: New York Times. 1987. Sunday. 6 September. Business Section. P. 1.

16. Цит. по: *David Hilzenrath* // Sunday Star. 1991. 1 September; *Gail Sheehy*. Heaven's Hit Man // Vanity Fair. 1987. August.

17. Цит. по: *Bosworth-Davies*. Too Good to Be True.

18. *Carol Ascher*. Can't Anyone Tell Right from Wrong? // Present Tense. 1987. January–February. P. 6–13.

19. Ibid.

20. Times (London). 1987. 24 April.

21. Компания «Dome Petroleum» владела на правах аренды обширными территориями в арктической зоне Канады. Открытия конца семидесятых годов были использованы для того, чтобы продавать появляющиеся на рынках по всему миру акции по

спекулятивным ценам. В конце восьмидесятых годов задолженность компании в сочетании с продолжающимся ростом эксплуатационных расходов привели к фактическому коллапсу.

22. *Phil Roosevelt*. The Secretive Ways of George Soros // International Herald Tribune. 1987. 13 April. P. 9.

23. См.: *Le Monde*. 1989. 14 février. P. 21; 1989. 1 mars; International Herald Tribune. 1991. 15 April.

24. См., например: *Le Monde*. 1989. 15 février.

25. *Times* (London). 1989. 17 July.

26. *Sidney Homer*. A History of Interest Rates. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1972.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1. Замечательная панорама мнений и детальное описание возвышения римской церкви и ее взаимоотношений с римскими языческими поверьями, архитектурой и образами, а также пришествия византийской магии и идолопоклонства содержится в труде: *Richard Krautheimer*. Rome, Profile of a City: 312–1308. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1980. Мы многое приводим по этой книге.

2. *Блаженный Августин*. О граде Божием. Кн. VII. Гл. V. М., 1994. Т. I. С. 347.

3. См.: *H. Daniel-Rops*. The Church in the Dark Ages. London: Dent, 1959. P. 556–562.

4. Коран. Сура 56 (М., 1990. С. 440–441). Не включена фраза, повторяющаяся после каждого стиха: «Какую же из милостей вашего Господа вы не признаете?»

5. Евангелие от Матфея, 15: 10; 18: 4; 19: 23.

6. Тремя самыми значительными текстами переходного периода пятнадцатого–шестнадцатого веков были: трактат Леон Баттиста Альберти «О живописи» (1435), засвидетельствовавший изменение эстетических концепций во Флоренции, трактаты Пьеро делла Франческо «О перспективе в живописи» (1474–1482) и «Книжица о пяти правильных телах» (после 1482).

7. Цит. по: *Claude Keisch*. Grand Empire – Virtue and Vice in the Napoleonic Empire. New York: Hippocrene Books, 1990. P. 71.

8. *Коллингвуд Р. Дж.* Принципы искусства. М., 1999. С. 18. Впервые опубликовано в 1938 году.
9. Оба высказывания Фрэнсиса Бэкона цит. по: *Spectator*. 1985. 25 May. P. 36.
10. *Хаксли Олдос.* О дивный новый мир! Обезьяна и сущность. Через много лет. Романы. М., 2002. С. 145.
11. *Marshall McLuhan.* Understanding Media: The Extension of Man. New York: New American Library, 1964. P. 269.
12. *Ibid.* P. 299.
13. См.: *Le Point*. Paris. 1988. 24–30 October. P. 122.
14. *Letters of Marshall McLuhan.* Toronto: Oxford University Press, 1987. P. 220.
15. См., например: *Liberatore, Tamburini.* Ran Xerox à New York. Paris: Albin Michel. P. 1982.
16. *Bilal.* La Femme Piegé. Paris: Dargand, 1986.
17. *Le Nouvel Observateur.* Paris. 1986. 29 August.
18. *Art Spiegelman.* Maus. New York: Pantheon, 1986.
19. Цит. по: *Claude Marks.* Lichtenstein // *World Artists.* 1950–1980, New York: H. W. Wilson Publishers, 1984.
20. *Chester Brown.* Returning to the Way Things Are // *Yummi Fur*. №. 9. Toronto: Vortex Publishing, 1988.
21. *J. M. Le Clézio.* Le Procès-verbal. Paris: Folio, 1963. P. 128. «Je suis pris dans la bande dessinée de mon choix».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1. *Шоу Б.* Поживем — увидим // *Шоу Бернард.* Полное собрание пьес. Т. 1. М., 1978. С. 531. Впервые опубликовано в 1899 году.
2. *Манн Томас.* Собрание сочинений. Т. 4. С. 171.
3. *Милль Джон Стюарт.* О свободе. Нью-Йорк, 1982. С. 162–163.
4. Как в первую очередь используются следующие слова, см.: *Oxford English Dictionary.* 2nd ed. Vol. XVI. Oxford: Clarendon Press, 1989. P. 152–153:
Specialization: 1843, *Mill.* Logic. P. 270: «We have seen above in the words *pagan* and *villain*, remarkable examples of the specialization of the meaning of words» («Выше мы видели в словах *язычник*

и селянин замечательные примеры специализации в значении слов»; 1865, *Mill. Comte*. P. 94: «The increasing specialization of all employments... is not without inconveniences» («Усиливающаяся специализация всех профессий... не без неудобств»).

Specialise: 1865, *M. Pattison*. Oxford Ess. P. 292: «The very fact that the new statue has restrained and specialized the subjects in the School of Literal Humanitoires...» («Сам факт, что новая статуя очертила ограничительный круг и разделила понятия в школе литературного гуманизма...»)

Specialist: 1862, *Herbert Spenser*. *First Princ.* II. 1. 36. P. 130: «Even the most limited specialist would not describe as philosophical an essay which...» («Даже самый узкий специалист не назвал бы философским такой очерк, который...»)

5. *Charles Bonnet*. *Palingénésie philosophique ou Idées sur l'état futur des être vivants*. 17 partie. Chap. 4. «Je sious un être sentant et intelligent: il est dans la nature de tout être sentant et intelligent de vouloir sentir ou exister agréablement, et vouloir c'est cela s'aimer soimême».

6. *Learned Hand*. *The Spirit of Liberty*. P. 7.

7. *McLuhan*. *Lettres*. 29 August 1973.

8. Стронг и Полк процитированы по их разговорам с автором в 1989 году.

9. *Монтеस्कьё III*. *Персидские письма*. Письмо LXXXIX. М., 1956. С. 214. *Uzbeka à Ibben*: «Tout homme est capable de faire du bien à un homme: mais c'est ressembler aux dieux que de contribuer au bonheur d'une société entière». *Voltaire*. *Poeme sur le désastre de Lisbonne*: «Et vous composer dans ce chaos fatal/Des malheurs de chaque être un bonheur general!»

10. *Thomas Jefferson*. *The Life*. P. 711. Письмо к господину А. Кораю от 31 октября 1823 года.

11. «Happinees» TM Pending: «Если вы стоите на коленях — HAPPINEES — самый лучший защитник ваших колен». *Happinees Inc.* P. O. Box 130, Station Z, Toronto, Canada M5N 2Z3.

12. Цит. по: *Sunday Telegraph*. 1989. 14 May. P. 7.

13. *Vanity Fair*. 1987. August. P. 134.

14. *John F. Love*. *McDonald's — Behind the Arches*. New York: Bantam Press, 1986. P. 15.

15. Описание Hyatt Regency Waikoloa см.: Time. 1989. 27 February. P. 67.

16. *Louis Harris*. Inside America. New York: Random House, 1987. Там приводится соответствующая таблица.

17. См.: *Walter Kenrick*. The Secret Museum: Pornography in Modern Culture. New York: Viking, 1987. Также см. рецензию на эту книгу Джона Кросса (New York Times. 1987. 7 May).

18. Такой вид порнографии и ее контекст подробно рассмотрен в: *Steven Marcus*. The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in mid-Nineteenth Century England. New York: Norton, 1985.

19. *McLuhan*. Lettres. P. 511. Письмо к Пьеру Эллиоту Трюдо от 2 июля 1975 года.

20. American Vogue. 1986. June. P. 236. Материалы симпозиума «American Men: What Do They Want?». Приведены слова доктора Роберта Гоалда, психиатра и профессора Нью-Йоркского медицинского колледжа.

21. Из беседы с автором в Белграде, 22 октября 1987 года.

22. *Мальро А.* Наше единство — только в вопрошающих раздумьях // *Мальро Андре*. Зеркало лимба. М., 1989. С. 448. «Pour moi, le grand décalage, c'est que les terroristes que nous voyons à l'heure actuelle sont des personnages assez logiques alors que terroristes que j'ai connus étaient assez près des nihilistes russes, c'est-à-dire au fond assez métaphysiciens».

23. Список альтернатив заимствован из Rebirth of a Notion // Toronto Magazine. 1988. September.

24. International Gerald Tribune. 1987. October. Курсив автора.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1. *Thomas Jefferson*. The Life. Autobiography. P. 104.

2. Цит. по: *Jesse Kornbluth*. Faye Fights Back // Vanity Fair. 1987. August. P. 94.

3. *Миллс Р.* Властвующая элита. М., 1959. С. 113.

4. *Hand*. The Spirit of Liberty. P. 38; из речи, названной «Сохранение индивидуальности».

5. *Миллс Р.* Властвующая элита. С. 113.

6. Что именно в этом деле послужило источником вдохновения для Гойи, бесконечно много обсуждалось. Историк искусства Жаннин Батикль считает, что образ Гойи навеян гравюрой Мигеля Бамборино. Однако имеется также «Видение Апокалипсиса» Эль Греко. Полотно, написанное в 1613 году, находится в музее Сулоага, Сумайя. Это было в конце его жизни, когда у него начался период вялотекущего лирического сумасшествия, несколько напоминающего ничем не обусловленное самосозерцание современного художника. Главная фигура на картине изображена с поднятыми вверх руками — нарочитый жест, который выражает одновременно и радость, и страх.

7. Картина написана в 1831 году.

8. Daily Mail. 1987. 1 July. P. 1.

9. Times (London). 1989. 20 June. P. 42.

10. Цит. по: William R. McMurthy, Q.C. Speech to the Canadian Bar Association, Toronto, 16 January 1987.

11. Ibid.

12. Реклама «Lannick Group» // Toronto Globe and Mail Report on Business Magazine. 1989. August.

13. См.: Albert Goldman. The Lives of John Lennon. New York: William Morrow, 1988. Примером реакции общественности является рецензия на эту книгу (New York Times. 1988. 12 September. P. 15).

14. Кристиан де ла Мазьер процитировала «Paris Match» (1987. 15 mai. P. 75). В этой статье Далида говорит: «Je sers un art mineur mais c'est quand même une servitude qui implique d'aller jusqu'au bout de soi-même». «Loin dans la nuit, elle me confiait sa fascination pour le néant».

15. New York Times. 1987. 8 September. A24.

16. Joseph Roth. Confession of a Murderer, Told in One Night. New York: Overlook Press, 1985. P. 107. Впервые книга опубликована в 1937 году.

17. New York Times. 1989. 11 June. P. 28.

18. Описание дома Пресли см.: Amazing Graceland // Life. 1987. September. P. 44.

19. Давид Боуи цит. по: Paris Match. 1987. 10 avril. P. 37.

Question: Dans les années 70, vous clamiez votre bisexualité.

Aujourd'hui, vous vivez avec votre fils, Zowie, en Suisse près de Lausanne. Vous semblez avoir renoncé à vos extravagances.

Bowie: J'ai beaucoup changé depuis mon départ des Etats-Unis; en 1976. Là-bas, je menais une vie stéréotypée, décadente. Je ne savais plus qui j'étais. Je suis retourné en Europe et j'ai décidé de consolider mon rôle de père. En vivant au côté de mon fils, j'ai grandi. J'ai mûri.

Question: Vous avez dit un jour: 'Je veux traverser ma vie comme Superman...

Bowie: Mon Dieu! Je devais être ivre mort. J'ai du lire trop d'ouvrages de Nietzsche.

Question: Quel est le plus grand risque que vous avez pris dans votre vie?

Bowie: Celui de me droger. C'est un risque je ne recommande à personne.

20. Paris Match. 1988. Juin. P. 26.

Macciocchi sur le Pape: J'avais rencontré Mao, de Gaulle, Hèl Chi Minh, et un fois, tout au fond de Qom, la ville sainte de l'Iran, j'avais été reçue par le terrible Khomeini. Mais jamais je ne m'étais sentie aussi chiffonnée...

Beatrice Dalle: Moi scandaleuse? Jamais... «On me propose toujours des rôles de bête de sexe alors que je suis la réincarnation de la Sainte Vierge!

Question: C'est difficile d'être un sex-symbol?

George Michael: Il y a des hauts et des bas.

Le Pape: Jean-Paul II Pasteur du Tiers Monde.

21. Le Monde. 1987. 20 Mai. Сведения об опросе, проведенном IPSOS в период между 6 и 13 мая 1987 года в возрастной группе от пятнадцати до двадцати пяти лет. Вопрос был такой: «Quelles sont les personnalités dont le nom vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux actions efficaces d'aide au développement?»

Форбс публикует список сорока наиболее высокооплачиваемых артистов эстрады 21 сентября 1987 года. «Quelles sont les trois femmes célèbres sur lesquelles vous vous retourneriez en les croisant dans la rue?» (Le Monde. 1987. 13 mai, вкладыш «Image de Femmes»).

22. Описание распродажи в основном заимствовано из: *Dominick Dunne. The Windsor Epilogue // Vanity Fair. 1987. August. P. 100.*

23. См., например: очерк Салли Биделл Смит (Vanity Fair. 1991. June).

24. Paris Match: «Si le sultan de Brunei achète le 'Nabila I' en mars, dans ce cas je ferai construire le 'Nabila II' qui est déjà dessiné. Il sera équipé d'un sousmarin pouvant contenir six personnes et d'une caméra placée sous la coque, permettant de filmer les fons marins. Chaque cabine aura son écran.»; «Si les modérés prennent le pouvoir en Iran et si la paix avec l'Irak en découle, ce sont deux nations qu'il faudra reconstruire. Soit un marché de 170 milliards de dollars. Si nous obtenons le dixième de ce marché, cela fera 1.7 milliards de dollars!»

25. International Gerald Tribune. 1987. 7 April. P. 1.

26. Ibid. 1986. 10 June. P. 10.

27. Подробности свадьбы Грейс Келли и князя Ренье Гримальди см.: *James Spada, Grace: The Secret Lives of a Princess*. Garden City, N. Y.: Doubleday, 1987. Модельером свадебного платья была Хелен Роуз.

28. Bangkok Post. 1990. 28 January.

29. *Миллс Р.* Властвующая элита. С. 114–115.

30. См. обложку журнала «Toronto» за декабрь 1989 года.

31. О Саре Бернар см.: *Le Figaro, Journal des Débats, L'Intransigeant, Le Journal*. 1923. 26–30 марта; об Эдит Пиаф: 1963. 13–15 октября; о Жераре Филипе: 1959. 26–29 ноября; см. также: *Le monde, Le Figaro и Combat*. Иву Монтану посвятили всю 1-ю полосу, *Libération, Quotidien de Paris, France-Soir*; половину 1-й полосы – *Figaro, Le Monde*; обложки еженедельников: *Le Nouvel Observateur, L'Express, Événements de Jeudi, VSD*.

32. *Ronald Reagan. Where's the Rest of Me?* 1965. P. 51.

33. *Toronto Globe and Mail*. 1986. 6 May. A13.

34. Весьма противоречивое интервью Трюдо дал 28 декабря 1975 года Брюсу Филлипсу и Карол Тэйлор по сети СТВ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1. По общему мнению, Гомер как личность никогда не существовал. Его авторство «Илиады» и «Одиссеи» такое же, как авторство Матфея в отношении Евангелия.

2. По вопросу о долге Откровения перед Ветхим Заветом см.: *Northrop Frye. The Great Code: The Bible and Literature.* New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982 (вся книга, но прежде всего с. 73, 35). Что касается того, что апостола Иоанна и Иоанна с Патмоса путают, то это широко распространенное заблуждение. Например, в именном указателе к King James Version (Oxford University Press) об Откровении Иоанна говорится в статье: «Иоанн, апостол».

3. По поводу дискуссии о лингвистическом феномене Франциска в контексте его времени см.: *Erik Auerbach. Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature.* New York: Doubleday, 1953, Ch. 7. Оригинальный текст на немецком языке был издан в 1946 году.

4. Тремя наиболее известными ректорами-поэтами были: Динко Ранин (1536–1607), Динко (Доминко) Златарич (1558–1613) и Иван Гундулич (1589–1638), который написал самую великую эпическую поэму Дубровника «Осман».

5. *Charles Baudelaire. Curiosités esthétiques: «Tout livre qui ne s'adresse pas à la majorité – nombre et intelligence – est un sot livre».*

6. *Molière. La Critique de l'Ecole des Femmes. Scene 6. Vol. 2.* Paris: Flammarion, 1965. P. 132. «Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire...»

7. *Richelieu. Testament.* P. 41.

8. Целая библиотека написана по поводу «дела Дрейфуса». Самой точной представляется книга: *Jean-Denis Bredin. L'Affaire.* Paris: Julliard, 1985. По поводу участия Золя см. 3-ю часть.

9. *Ford Madox Ford. The English Novel.* Manchester: Carcanet, 1983. P. 76. Впервые опубликовано в 1930 году.

«En art il n'y a pas des règles, il n'y a que des exemples» (цит. по: *Hubert Haddad. Julien Gracq.* Paris: Le Castor Astral, 1986. P. 74).

Balzac: «Ainsi va le monde littéraire. On n'y aime que ses inférieurs» (Une fille d'Eve).

10. *Де Гурмон Рيمي.* Книга масок. Томск, 1996. С. 5, 8. «Nous n'avons plus de principes et n'y a plus de modèles; un écrivain créé son esthétisme en créant son oeuvre: nous en sommes réduits à faire appel à la sensation bien plus qu'au jugement».

11. Edmond and Jules de Goncourt: «Votre roman... un roman... la France se fiche pas mal des romans aujourd'hui, mes

gaillards!» (Journal, Mémoires de la Vie Littéraire. Vol. 1. 1851—1861, Paris: Pasquelles Editeurs. P. 9).

12. Эта фраза принадлежит кому-то другому. Американский писатель Стенли Кроуч ее узнает.

13. Предисловие Герберта Гормана (1928) к изданию *James Joyce. A Portrait of the Artist as a Young Man*. New York: Modern Library, 1944.

14. *Cyril Connolly. Enemies of Promis*. Harmondsworth: Penguin, 1938. P. 108.

15. Цит. по: *Brian F. Griffin. Panic Among the Philistines* // *Harpers*. 1981. August. P. 38.

16. Voltaire: «Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux» (L'Enfant Prodigue, предисловие).

17. См., например: *The Fontana Dictionary of Modern Thought*. Rev. ed. Ed. Alan Bullock and Oliver Stallybrass. London: Fontana, 1988. P. 206.

18. *Мальро Андре*. Зеркало лимба. С. 451. «Écoutez, est-ce qu'il existe sérieusement du vécu quelque part? N'est-ce pas une espèce de chimère incroyable? Qu'a-t-on considéré comme le comble du vécu en France? Balzac. Mais Baudelaire écrivait qu'il est le plus grand visionnaire de notre temps».

19. Цит. по: *New York Times*. 1978. 22 January.

20. *R. A. D. Ford. Doors, Words and Silence*. Toronto: Mosaic Press, 1985.

21. *Элиот Т. С.* Литтл Гиддинг // *Элиот Томас Стернз*. Голые люди. СПб., 2000. С. 206. Впервые опубликовано в 1942 году.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1. По поводу дискуссии о Палладио см.: *Michelangelo Muraro. Civilization des Villas Vénitiennes*. Paris: Mengès, 1987. Итальянский оригинал появился в 1986 году. Также см. различные книги и статьи Джеймса Акермана, например *Palladio*. Harmondsworth: Penguin, 1966.

2. *Sir Michael Howard. Process and Values in History*. Лекция, прочитанная в Оксфордском университете в 1989 году.

Научно-популярное издание

Джон Ролстон Сол

УБЛЮДКИ ВОЛЬТЕРА. ДИКТАТУРА РАЗУМА НА ЗАПАДЕ

**Оформление обложки дизайн-студия
«Дикобраз»**

**Ответственный за выпуск *А.Ю. Голосовская*
Младший редактор *Е.В. Дорофеева*
Технический редактор *Н.А. Духанина*
Корректор *И.М. Мокина*
Компьютерная верстка *Е.М. Илюшинной***

Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 25.10.2006.

Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Ньютон».

Бумага офсетная. Печать высокая с ФПФ.

С.: Philosophy. Тираж 1500 экз. Заказ 3797.

**Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — литература научная и производственная**

**Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006 г.**

**ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а**

**ООО «Издательство АСТ»
170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, 27/32**

**Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru**

**Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
Республика Беларусь, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.**

**Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Красная, 23.**